



# От империй — к империализму

## Государство и возникновение буржуазной цивилизации

Борис Кагарлицкий

Центр политической теории

Института общественного проектирования

СЕРИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ  
О МЫСЛИ  
ШКОЛА  
ЭКОНОМИКИ

# ОТ ИМПЕРИЙ — К ИМПЕРИАЛИЗМУ

## *Государство и возникновение буржуазной цивилизации*

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ



*Издательский дом  
Государственного университета — Высшей школы экономики*  
МОСКВА, 2010

УДК 321.01

ББК 66.0

К12

Рукопись подготовлена в рамках грантовой программы  
Центра политической теории  
Института общественного проектирования

*Составитель серии*

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

*Дизайн серии*

ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

*Рецензент*

доктор филологических наук, профессор

ЕЛЕНА ПЕНСКАЯ

**Кагарлицкий, Б. Ю.**

К12

От империй — к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации [Текст] / Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 680 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0761-2 (в пер.).

Книга историка и социолога Бориса Кагарлицкого посвящена становлению современного государства и его роли в формировании капитализма. Анализируя развитие ведущих европейских империй и Соединенных Штатов Америки, автор показывает, насколько далек от истины миф о стихийном возникновении рыночной экономики и правительстве, как факторе, сдерживающем частную инициативу. На протяжении столетий государственная власть всей своей мощью осуществляла «принуждение к рынку».

В книге использован широкий спектр источников, включая английские и американские периодические издания XVIII и XIX века. Предназначена как для специалистов в области истории и социологии, так и для широкого круга читателей.

УДК 321.01

ББК 66.0

ISBN 978-5-7598-0761-2

© Кагарлицкий Б.Ю., 2010

© Оформление. Издательский дом  
Государственного университета —  
Высшей школы экономики. 2010

# СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА .....	6
ВВЕДЕНИЕ .....	9
I. МИРЫ-ИМПЕРИИ .....	27
II. КРИЗИС И РЕВОЛЮЦИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ .....	80
III. РЕФОРМАЦИЯ И ЭКСПАНСИЯ .....	184
IV. КРИЗИС XVII ВЕКА .....	288
V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕГЕМОНИИ .....	380
VI. ОТКРЫТИЕ «ЗАПАДА» .....	434
VII. ЭПОХА ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ .....	482
VIII. БУРЖУАЗНАЯ ИМПЕРИЯ .....	521
IX. ИМПЕРИАЛИЗМ .....	554
X. КРИЗИС ГЕГЕМОНИИ .....	583
XI. СМЕНА ГЕГЕМОНА .....	611
XII. ИМПЕРИАЛИЗМ БЕЗ ИМПЕРИИ: США .....	640
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	674

Работа над книгой началась в сравнительно спокойное время, однако по мере того как она развивалась, менялась и общественная ситуация, так что работать приходилось в основном урывками, выкраивая время от политически более важных и срочных занятий. В 2008 году разразился мировой экономический кризис, подтвердив анализ и прогнозы марксистских критиков капитализма, но одновременно возложив на плечи активистов левого движения новые задачи, а главное — новую ответственность. Прятаться от реальности за академическими исследованиями и сектантскими дискуссиями в подобных условиях не просто бесполезно, но и безнравственно.

Однако общественные события — не повод, чтобы прекращать теоретическую работу. Напротив, живя в истории, научаешься лучше понимать историю. Теоретические вопросы никуда не уходят, они лишь видятся под несколько иным углом. Очередной кризис капитализма дает дополнительный материал и создает потребность в том, чтобы разобраться в истоках системы, агония которой наблюдается в ходе повседневного опыта.

На уровне практики либеральные мифы, сводящие развитие экономики к постепенному торжеству «свободного рынка», к концу 2000-х годов отвергались всяким, кто способен был просто внимательно осмотреться вокруг. Однако исторический анализ капитализма по-прежнему, даже в марксистской литературе, был перегружен мифологическими представлениями о сугубо рыночном происхождении буржуазной системы, о том, что частное предпринимательство развивалось как-то само собой, стихийно перестраивая общество, которому оставалось только следовать по пути, заданному требованиями рыночной экономики. Соответственно, критика капитализма в левых кругах на каждом шагу превращалась в однообразную критику рынка, причем сама «критика» часто сводилась к потоку lamentаций или, наоборот, к злой, но банальной иронии. Несмотря на старания марксистских исследователей и других представителей исторической социологии, военно-политическая и социально-экономическая история государств слишком часто оставались в подобных повествованиях лишь фоном друг для друга, пересекаясь исключительно в моменты революционных катаклизмов.

Между тем в реальной истории «западное» государство постоянно выступало и по отношению к собственным подданным, и по отношению к внешнему миру в качестве неумолимой и последовательной силы *принуждения к рынку*, причем происходило это еще до того, как само государство стало в полной мере буржуазным. Написать историю действительных взаимоотношений государства и капитала — дело не одного

автора, и тем более, задача не одной книги. Но, признаюсь, мной двигало любопытство: я стремился как можно больше узнать, понять и сформулировать для самого себя. Историю государства и капитала, которые то и дело выступали в качестве двух параллельных сюжетов, требовалось соединить в единое целое.

Разумеется, я далеко не первый, кому подобная мысль пришла в голову. Целый ряд глубоких марксистских (и не только марксистских) работ продемонстрировали огромное значение, которое политические системы Запада имели в процессе становления буржуазного общества. Если у данной книги и есть какое-то преимущество перед данными работами, то лишь в том, что я попытался разобраться в этом вопросе систематически, превратив сухой историко-экономический анализ в последовательное повествование, охватывающее события нескольких столетий.

Начиная работу, я даже не ожидал, сколь много нового откроется мне по мере того, как я погружался в исследование материала. На этом пути меня ждали многочисленные, часто совершенно неожиданные открытия, еще более разжигающие мое любопытство.

С некоторых пор проблема состояла уже не в том, чтобы сформулировать выводы или найти что-то новое, а в том, чтобы остановиться, положив себе какие-то рамки, между тем как исторический материал ставил все новые вопросы и открывал все новые перспективы.

Для того чтобы объединить и упорядочить этот огромный материал, нужна была сквозная тема. И этой темой оказалась империя — благо это понятие внезапно вошло в моду к началу 2000-х годов.

Политическая гегемония великих держав была не только и не столько следствием их собственного успешного развития, сколько важнейшим условием буржуазного развития как такового. А культурные, социальные и идеологические нормы, обеспечивавшие такой порядок вещей, сделались неотделимы от сложившегося в итоге понятия о прогрессе.

Закономерно, что «главным героем» книги, посвященной тому, как складывалась и развивалась в капитализме система политической гегемонии, оказывается Британская империя, чье мировое господство совпало со становлением и расцветом буржуазной миросистемы. Хотя о «совпадении» говорить не приходится. Британская гегемония была важнейшим условием формирования миросистемы — империя развивалась вместе с капитализмом, обслуживая его и обустроивая новое мировое экономическое пространство политически.

Однако Британская империя появилась не на пустом месте, она опиралась в своей идеологии и практике на длительную историю древних и средневековых империй, хотя сама представляла собой явление совершенно нового порядка — первую в мире *буржуазную империю*. В свою очередь, американская модель мирового господства, заместившая бри-

танскую гегемонию после Второй мировой войны, была одновременно и отрицанием старой имперской практики, и ее продолжением в новой форме.

Конечно, было бы крайне механистично и наивно полагать, будто политическая и экономическая гегемония существовала в капиталистической системе всегда, или, что еще более абсурдно, воспринимать мировую экономику как нечто внеисторическое и существующее испокон веков. Грустно констатировать, что именно такие взгляды стали высказывать в начале 2000-х годов некоторые представители школы миросистемного анализа, так много сделавшей прежде для понимания капитализма как глобального феномена. Начиная с опоры на целый ряд ключевых идей этой школы, я в процессе работы вынужден был все больше внимания уделять и ее слабым сторонам, предопределившим в конечном счете очевидный кризис, с которым она столкнулась к началу XXI века. Упрощенное представление о гегемонии как некоем постоянно и равномерно действующем факторе миросистемы привело исследователей к странным и порой абсурдным выводам, отставание которых отбросило всю дискуссию назад, практически к исходной точке. Ключевая проблема здесь состоит, на мой взгляд, в том, что в полном соответствии с догмами либеральной идеологии, история представляется этим авторам в виде бесконечного процесса глобальной конкуренции, в то время как она в гораздо большей мере является процессом социальной эволюции и классовой борьбы, подстегиваемой политическими революциями. В свою очередь гегемония ключевых держав хоть и оказывается в масштабах истории, необходимостью для капиталистической системы, сама по себе порождена развитием этой системы, эволюционирует вместе с ней. Она не является ни постоянным, ни непрерывным фактором. А способность той или иной державы выполнять эту роль зависит не в последнюю очередь от соотношения классовых сил в самой этой стране.

Январь 2010 года

## ВВЕДЕНИЕ

Тема «империи» всегда занимала историков. Одни выполняли заказ власти и прославляли подвиги великих завоевателей, доказывали нерушимость государственных границ и расписывали на разные лады лояльность и благодарность подданных — представителей разноязыких народов, объединенных под скипетром одной династии, одним флагом, одной идеологией или религией. Другие разоблачали несправедливость и угнетение, пытаясь восстановить подлинную историю с позиций победителей и покоренных. Более или менее успешно это удавалось, однако, лишь тем народам, которые выжили, сохранили свою культуру и социальную общность, а зачастую и развили их под властью империи. Парадоксальным образом, наиболее подробные повествования об имперском угнетении оставили идеологи именно тех народов, что были сравнительно менее угнетены. Националистическая традиция в Ирландии и Индии, в находившихся под властью Габсбургов странах Восточной Европы или захваченных Россией странах Прибалтики составила богатый список претензий к империям. О завоевании Африки европейцами и рабстве негров мы знаем в основном по чистосердечным признаниям и архивам самих угнетателей. А от многих народов не осталось даже и перечня претензий. Жаловаться некому — они исчезли с лица планеты.

Народы, которым посчастливилось получить свое «национальное» государство, приобрели вместе с ним и собственную «национальную» историю, обслуживающую его интересы так же, как прежняя история обслуживала интересы империи. В свое время Ленин призывал делать различие между национализмом господствующего и угнетенного народа, но в сфере истории доверять антиимперскому национализму надо не более, чем имперскому. Ведь в основе его лежит потребность обосновать исключительные права своей нации или государства, ссылаясь на прошлое угнетение. Наиболее ярким примером подобного подхода во второй половине XX века стал сионизм: в рамках этой идеологии трагическая повесть о погромах, антисемитских издевательствах над евреями и в конце концов ужасающая история Холокоста оказываются не более, чем аргументами, с помощью которых объясняется, почему израильское государство может позволить себе не считаться ни с международным правом, ни с интересами арабского населения Палестины. Аналогичным образом работает в политике Балтийских стран повесть о завоевании и оккупации этих государств Российской империей и Советским Союзом, превращающаяся в непрерывное идеологическое самооправдание новых национальных элит.

Для истории как науки нет разницы между мифами, порождаемыми тем или иным национализмом, ибо строятся они на одном и том же



основании. В этих мифах политический и идеологический итог развития опрокидывается в прошлое, события интерпретируются в соответствии с логикой государственного интереса, даже если самого государства на момент описываемых событий не существовало. Любое восстание отныне представляется нам как борьба за национальные права, хотя порой его причины не имели к этому никакого отношения, любой конфликт между местными элитами и имперской столицей объясняется протоборством культур и дискриминацией.

К концу XX века суждение о том, что «век империй ушел в прошлое», сделалось общим местом. Великие монархии остались в учебниках истории, колониальные державы прекратили свое существование, а распад Советского Союза в 1991 году воспринимался либеральным общественным мнением как «неизбежное крушение последней империи». Карта мира запестрела многоцветьем национальных государств, которые энергично занимались обустройством своих границ, укреплением таможен и внимательно следили за тем, чтобы их новые граждане ни в коем случае не проявляли симпатий к своим соседям-иностранцам, в недавнем прошлом — подданным одной и той же имперской державы.

Одновременно теоретики глобализации бодро доказывали, что не только империи, но и национальное государство есть архаический атрибут уходящей эпохи, которому в ближайшее время предстоит уступить место какому-то новому порядку, когда власть государственных чиновников будет заменена «естественными законами рынка» и решениями правлений крупнейших корпораций.

Однако в начале XXI века тема «Империи» неожиданно снова вошла в моду. Националистические идеологи в России пролили море слез, извели тонны бумаги и потратили бессчетное количество электроэнергии, распространяя свои ностальгические рассказы о великом имперском прошлом (и, предположительно, совершенно неотличимым от него будущем). В Британии начали выходить одна за другой книги, объясняющие читателю, что нет необходимости стыдиться прежней колониальной империи<sup>1</sup>. Как выразился один из историков, политика империи положила начало глобализации, объединив мир, и никто кроме британских джентльменов не мог бы это сделать «так быстро, эффективно,

<sup>1</sup> В качестве примеров неоимперской апологетики на английском языке можно привести книгу: *N. Ferguson. Empire: How Britain Made the Modern World. London: Allen Lane, 2003.* См. также: *V. Davis Hanson. Why the West Has Won: Carnage and Culture from Salamis to Vietnam. London: Faber, 2001.* Что касается российской ностальгической литературы на тему империи, то указывать какие-либо особенно значимые книги не представляется возможным. Во-первых, из-за чрезвычайной многочисленности подобных произведений, а во-вторых, из-за их неизменно позорно-низкого академического уровня.

элегантно и гуманно»<sup>2</sup>. Изменяя мир, «Британская империя выступала в качестве силы, навязывающей свободные рынки (an agency for imposing free markets) и верховенство закона, защищающей инвесторов и установившей относительно некоррупцированное правительство примерно на четверти территории земли. Империя также всеми силами поддерживала аналогичные тенденции за пределами своей территории, пользуясь своим экономическим влиянием — это был «империализм свободной торговли». В конце концов надо признать, что империя содействовала росту глобального благосостояния, в общем, она делала хорошее дело (was a Good Thing)»<sup>3</sup>.

В качестве примера поучительной «фрейдовской оговорки» следует заметить, что автор этого пассажа, Найл Фергюсон (Niall Ferguson), ни разу не упоминает демократию или права человека — возможно, поскольку интеллектуальная честность не позволяет ему представить империю в качестве носителя этих ценностей, а может быть потому, что, говоря про действительно важные вещи вроде свободных рынков и защиты интересов инвесторов, он просто забыл про подобные мелочи. Однако аргументацию Фергюсона, сколь бы скандальной она ни казалась с точки зрения левой идеологии, невозможно с ходу отбросить хотя бы потому, что даже столь непримиримый критик капитализма, как Маркс, признавал, что распространение по планете буржуазного порядка было частью прогресса человечества.

Приняв у Британии эстафету в качестве лидера капиталистического мира, правящие круги Соединенных Штатов на первых порах отказывались признавать Америку империей. Однако к началу XXI века их риторика изменилась. Они уже открыто обсуждали уроки Древнего Рима и новую роль американской державы в качестве его законной наследницы — в глобальном масштабе. А на левом фланге с не меньшим энтузиазмом строили свои теории модные мыслители Майкл Хардт и Тони Негри, описывающие некую утопическо-фантастическую Империю, вездесущую, всепроникающую и всеобъемлющую, но почему-то совершенно невидимую<sup>4</sup>. Эта Империя (непременно с большой буквы) была, по их словам, уже полноценной и тотальной реальностью, но в то же время находилась еще в стадии зарождения и становления.

В основе всех этих мыслительных конструкций были не столько анализ или знание, сколько ощущение, социальная интуиция, говорившая, что век империй далеко не закончен. Однако имперское начало явно ре-

<sup>2</sup> A. Herman. To Rule the Waves. How the British Navy Shaped the Modern World. London: Hodder & Stoughton, 2004, p. xvii.

<sup>3</sup> N. Ferguson. Op. cit. 2003, p. xx.

<sup>4</sup> См.: М. Хардт, А. Негри. Империя. М.: Праксис, 2004.

ализовывалось не в форме монархического государства, добивающегося лояльности подданных к представителю правящей династии, а в какой-то другой форме, ускользавшей от понимания авторов. Чем хуже они понимали происходящее, чем менее ясными для них были очевидные вещи, тем более мистическим, а потому и привлекательным выступал образ Империи.

Если в середине XX века критика империализма в значительной мере сводилась к перечню всевозможных эксцессов и моральному осуждению, то в начале следующего столетия обязательное упоминание о колониальных преступлениях превратилось в своего рода алиби для консервативных историков, которые, посетовав на эту жестокость, переходили к рассуждениям о цивилизаторской роли империй. Между тем приходится признать, что на протяжении истории всевозможные преступления и жестокости случались постоянно — во имя империй и во имя национального освобождения, во имя революций и во имя контрреволюций. Задача исследователя состоит не в том, чтобы сетовать по этому поводу или, наоборот, оправдывать произошедшее, а в том, чтобы понять сложный исторический механизм, лежащий в основе описываемой драмы.

Между тем в социально-исторических процессах не было не только никакой мистики, но и особой загадки. Природа происходящего была хорошо понята уже марксистскими теоретиками начала XX века, прежде всего В.И. Лениным и Розой Люксембург. Надо было только немного отвлечься от политической мишуры и не попадаться в примитивные ловушки официальной идеологии, чтобы увидеть экономическую и социальную логику процесса. Империя — государственная форма, созданная Древним Миром, оказалась востребована капитализмом. Причем капитализмом глобальным.

На протяжении долгого времени происхождение капитализма не вызывало больших вопросов. Для Маркса, как и для других авторов второй половины XIX века, не было никакой загадки в том, что Западная Европа подчинила себе Индию и Китай, заставив страны Азии идти в фарватере формируемой ими новой мировой экономики. Производительные силы Запада были значительно более развиты, в силу чего именно там сложились более передовые производственные отношения и, как результат, более динамичное, более эффективное общество.

Картина совершенно изменилась, когда историкам стало ясно, насколько в XV–XVI веках страны Востока опережали Западную Европу по уровню экономического развития. В то же время, заставив нас отказать от политэкономии XIX века, подобные исследования не дали нам нового объяснения описываемых процессов. Вернее, объяснения эти выглядели крайне неубедительными и поверхностными (начиная от предположения о превосходстве уникальной культуры Запада до совсем уже отчаянного

вывода позднего Андре Гундер Франка, что Западу просто повезло, когда Колумб случайно открыл Америку). Парадоксальным образом, хотя новое знание об экономическом развитии Востока стало результатом исследований целого ряда левых авторов, стремившихся поставить под вопрос империалистическую идеологию европоцентризма, оно нанесло мощнейший удар по марксистским историко-экономическим теориям, способствуя распространению своеобразного культурного расизма, отстаивающего превосходство западных ценностей. Однако если дело исключительно в культуре, то откуда происходит сама культура?

Продолжавшаяся в течение полутора десятилетий дискуссия выявила, что даже при всех своих (ставших теперь очевидными) недостатках исходная теория Маркса в научном отношении более обоснована и более логична, чем все концепции, которые призваны были прийти ей на смену. Возникает, казалось бы, неразрешимое противоречие: теория Маркса опирается на ряд явно неверных посылок, и следовательно «фактически» не верна, но все остальные теории еще более ошибочны!

Единственно возможный ответ состоит в том, что теория Маркса все же верна, но не полна. Иными словами, существует некое недостающее звено, которое не было в полной мере проанализировано автором «Капитала», в силу чего и обнаружили нестыковки в его исторической схеме. Таким недостающим звеном, скорее всего, является институциональная роль государства.

«Вплоть до промышленной революции XIX в., — считает Фернан Бродель, — до момента, когда капитализм присвоит себе индустриальное производство, возведенное в ранг источника крупных прибылей, он чувствовал себя как дома по преимуществу в сфере обращения, даже если при случае он не отказывался совершать нечто большее, нежели простые набеги, в иные сферы»<sup>1</sup>.

С характерной для него интеллектуальной осторожностью Бродель в данной цитате оставляет себе пути к отступлению, признавая, что далеко не все развитие капитализма сводилось к торговле, но именно в этой сфере оно происходило в наиболее чистом виде, именно здесь буржуазные отношения господствовали полностью и безраздельно. При более внимательном рассмотрении обнаруживается, что проникновение капитала в сферу производства начинается задолго до индустриальной революции, причем речь идет не только о городских мануфактурах, но и о сельском хозяйстве Западной Европы. Однако не подлежит сомнению, что торговый капитал рос быстрее, активнее и обретал политическое влияние раньше, нежели капитал, формировавшийся в сфере промышленного производства.

<sup>1</sup> Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVII вв., т. 2. М.: Весь мир, 2006, с. 230.

Американский социолог Чарльз Тилли куда более категоричен. Ни появление капитала, ни использование наемного труда сами по себе еще не создают буржуазной системы. Формируется лишь определенный хозяйственный уклад, развивающийся и функционирующий в обществе, живущем в целом по совершенно иным правилам. В свою очередь, торговый капитал отнюдь не стремится соединиться с наемным трудом в производственной деятельности. Это соединение в массовом масштабе происходит в Западной Европе лишь к концу XVII века под непосредственным воздействием государства. До этого собственники капитала «тысячелетиями процветали без прямого вмешательства в производство, — констатирует Тилли. — Капитализм как система появился на поздних этапах развития капитала»<sup>2</sup>.

Целью капиталистической экономики является накопление капитала, средством — эксплуатация свободного наемного труда. Однако накопление капитала может осуществляться и другими средствами. Исторически ни торговый, ни финансовый капитал не нуждались в наемном труде в качестве обязательного условия своего существования либо нуждались в нем лишь в ограниченной степени (используя труд приказчиков, моряков и клерков). В любом случае, они вполне могли осуществлять накопление капитала, опираясь на производство, построенное совершенно не по буржуазному принципу.

Иное дело — промышленный (или в более широком смысле — производственный) капитал, который собственно и воплощает буржуазный способ производства. Великий русский историк Михаил Покровский рассматривал эволюцию буржуазной системы с точки зрения взаимодействия и борьбы торгового капитала с промышленным, демонстрируя, что именно торговый капитал, а вовсе не ушедший в прошлое феодализм, был ключевым элементом «Старого режима» в России. Однако только ли в России?

Если распространить концепцию Покровского на Западную Европу и колониальный мир Нового времени, многие загадки и проблемы найдут свое разрешение.

Подчеркивая значение наемного труда как основы буржуазных производственных отношений, Маркс в «Капитале» одновременно указывал: «Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю капитала»<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Ч. Тилли. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009, с. 43 (англ. изд.: *Ch. Tilly. Coercion, Capital and European States AD 990–1992. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1990, p. 17*).

<sup>3</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 23 с. 157.

Таким образом, капитал (как и рыночная экономика) не только существует еще задолго до капитализма, развиваясь и укрепляясь прежде всего в торговле, но и опирается на производство, отнюдь еще не организованное по новым буржуазным принципам. Крестьянин и ремесленник подвергаются экспроприации, утрачивают свое мелкое хозяйство, превращаясь в наемных рабочих. Однако это происходит не сразу и уже после того, как буржуазия сумела добиться экономического и политического влияния. Иными словами, капитал сперва возникает вне производства, потом подчиняет себе производство, а затем уже в массовом порядке создает собственное производство, основанное на использовании наемного труда.

Да и сами буржуа далеко не сразу становятся капиталистами в том смысле, какой это слово приобретает к концу XIX века. До начала индустриальной революции накопление капитала происходит в значительной мере и преимущественно вне сферы производства. Более того, как свидетельствует сам Маркс в «Капитале», первоначальное накопление вообще имеет мало общего с производством. В сфере торговли (часто сопровождающейся войной и грабежом) сделать большие деньги даже в XVI веке, не говоря уже о XIV–XV столетиях, было гораздо легче, нежели вкладывая средства в изготовление ремесленных изделий. Некоторые мануфактуры уже в XIV–XV веках становятся крупными процветающими предприятиями. Но все равно капиталы купцов и владельцев промышленных мастерских несопоставимы. Торговля требует значительно больших инвестиций, но дает сверхвысокие прибыли (в противном случае дальние морские плавания и сухопутные торговые караваны были бы просто невозможны). Подобное положение дел вызвано не только возможностью получения сверхприбылей от продажи экзотических и остро необходимых товаров или предметов роскоши, но и самой природой торгового капитализма. Как отметил Покровский, накопление торгового капитала было тесно связано как раз с сохранением старых докапиталистических, феодальных и даже еще более примитивных способов производства. В сложившейся системе все издержки оставались (и абсорбировались) в рамках докапиталистического сектора, тогда как прибыли концентрировались в руках торговой буржуазии.

Однако о торжестве капитализма всерьез можно говорить только тогда, когда капиталистические принципы массово утверждаются именно в *производстве*, и вследствие этого общественное разделение труда, структура общества становятся вполне буржуазными.

Сторонники ортодоксальной интерпретации марксизма рассматривали торговлю лишь как форму организации обмена, тем самым лишая ее системообразующей функции в экономике. Между тем торговля, как неоднократно отмечал Иммануил Валлерстайн, может иметь разную

экономическую функцию. В одном случае мы имеем дело с обменом излишками между странами и регионами. Этот обмен, способствуя развитию экономики, товарно-денежных отношений и, позднее, накоплению капитала, не меняет радикальным образом социальную систему и способ производства. Однако совсем другой характер принимает торговля, если через нее реализуется международное и межрегиональное разделение труда. Это не просто новый тип миросистемных связей, приходящих на смену прежнему обмену излишками. Меняется функция торговли, она непосредственно подчиняет себе производство и диктует не только то, что будет изготовлено, но зачастую и как, каким способом этот товар будет произведен. Как заметил американский марксист Пол Суизи (Paul Sweezy), «международная торговля нередко становилась создающей силой, благодаря которой наряду с привычным феодальным производством, ориентированным на собственное потребление, складывалась новая *система* производства товаров, изначально предназначенных для рыночного обмена»<sup>4</sup>.

Буржуазная мировая торговля с самого момента своего возникновения выступала не только как фактор накопления капитала, но и как фактор организации производства. Буржуазия создавала плантации для африканского кофе в Америке, превращала китайский чай в важнейший продукт сельского хозяйства Индии, а сахарный тростник — в основу развития Карибских островов. Все это — ради поставок на европейские рынки. Распространение рабского труда на плантациях Виргинии и торжество свободного найма на промышленных предприятиях Англии были тесно связаны между собой, и связь эта осуществлялась именно через торговое посредничество. Иными словами, буржуазный способ производства (вернее его глобальное торжество) был бы невозможен без капиталистической торговли. Но возможна ли организованная международная торговля без защищающего, организующего и поддерживающего ее государства?

Значение торговли и связанных с ней конфликтов в XVI–XVII веках настолько велико, что возникает вопрос: почему уже к концу XVII века торговый капитал в возрастающей степени начинает на Западе инвестироваться в производство, а торговля на дальние расстояния из инструмента накопления становится инструментом перераспределения — от патриархальной экономики «периферии» к основанной на свободном труде экономике «центра». Несвободный труд на «периферии» служит уже не только обогащению торговой буржуазии, но и субсидирует использование свободного труда в Европе и протестантских колониях Северной Америки.

<sup>4</sup> The Transition From Feudalism to Capitalism. Ed. by R. Hilton. London: Verso, 1978, p. 42.

Советские историки, поставившие в качестве рубежа Нового времени не Великие географические открытия и Реформацию, а Английскую буржуазную революцию, были правы в том смысле, что именно с конца XVII века начинает постепенно меняться характер экономического развития, причем не только в плане вытеснения капитализмом добуржуазных форм общественной организации на Западе, но и внутри самого формирующегося капитализма. Однако этот процесс развивается медленно и болезненно, завершаясь лишь в эпоху индустриальной революции. И только начиная с этого момента можно говорить и о возникновении Британской империи как полноценного и эффективного гегемона в миросистеме.

С определенного момента меняется логика поведения самой буржуазии, которая от накопления богатства переходит к накоплению капитала, подчиняя свою хозяйственную деятельность инвестиционному циклу. Здесь сыграли немалую роль и знаменитая протестантская этика, воспетая Максом Вебером, и потребности нового городского производства, которые, в отличие от сельского хозяйства и традиционной торговли, уже не были связаны с природными циклами<sup>5</sup>. Воспроизводство промышленности зависит от размеров и эффективности инвестиций, а не от смены времен года. И чем больше масштабы промышленного производства, тем больше значение инвестиционного цикла.

И все же, каким образом перелом XVII–XVIII веков определил новый вектор развития? Ни качественно новых технологий, ни новой организации труда мы не увидим еще достаточно долго, вплоть до массового внедрения паровой машины. Зато постепенно формируется на глобальном уровне разделение труда между «центром» и «периферией». Это разделение Иммануил Валлерстайн обнаруживает уже в XVI–XVII веках, когда ресурсы заморских стран потекли на Запад, стимулируя там развитие новых общественных и производственных отношений. Однако если ранняя буржуазная экономика XVI века подчинена логике накопления торгового капитала, то к XVIII веку мы наблюдаем, как на Западе постепенно выходит на передний план промышленный капитал, тогда как в странах «периферии» продолжается и даже укрепляется господство торгового капитала.

Изучая историю капитализма, легко обнаружить, что периоды, когда преобладала политика свободной торговли, неизменно и регулярно сме-

<sup>5</sup> В древней и средневековой торговле природные циклы играли большую роль. Во-первых, потребность в определенном товаре возникала в определенное время в зависимости от логики сельского хозяйства. Во-вторых, морская и речная навигация на Севере Европы была связана с погодными условиями, а регулярное дорожное сообщение по суше было крайне ненадежным до середины XIII века. Крупные ярмарки в Шампани и других местах тоже были приурочены к сельскохозяйственным циклам.



нялись периодами активного государственного вмешательства и правительственного регулирования. На уровне идеологии это может быть манчестерское фритредерство и французский меркантилизм, кейнсианство и неолиберализм, но так или иначе повторяющаяся смена данных двух тенденций характеризует всю историю буржуазной экономики. Господствующие с конца XVIII века либеральные идеологии разумеется, представляют дело как столкновение «естественных рыночных законов» со всевозможными «помехами», которые чинит им государство и не осознающее собственного блага общество. Но само повторяющееся возникновение этих «помех» и хозяйственные успехи, достигнутые в соответствующие периоды, свидетельствуют о том, что государственное вмешательство для капитализма есть нечто не менее органичное и необходимое, чем частная собственность и рынок.

Легко заметить, что чередование этих фаз соответствует и меняющемуся соотношению сил между разными формами существования капитала: торгово-финансовый «мобильный» капитал (по выражению Макса Вебера) доминирует в эпохи свободного рынка, тогда как промышленный капитал добивается наибольших успехов в периоды, когда экономическая роль государства сознательно или вынужденно активизируется. Разумеется, в данном случае речь идет лишь об общих тенденциях, которые очень редко получают выражение в чистом виде, тем более что порой правительства оказывались обречены повышать свою экономическую роль вопреки собственной идеологии, а иногда, наоборот, не отказываясь от стремления к регулированию, сворачивали его на практике, уступая давлению господствующих групп бизнеса. Так, английское правительство, неизменно придерживавшееся начиная с середины XVIII века и вплоть до Великой депрессии XX века принципов свободной торговли, на практике нередко активно стимулировало промышленное развитие — из-за военной или политической необходимости.

Проблема в том, что политика свободного рынка предполагает порой не меньшую, а часто даже большую государственную активность, нежели периоды, когда правительства регулируют экономику. Другое дело, что эта активность выражается в иных формах, часто приобретая характер военной агрессии или социальных репрессий. Даже если правительство отводит роль исключительно роль «ночного сторожа», следует помнить, что этот сторож должен постоянно бодрствовать.

Как заметил консервативный британский историк Н. Фергюсон, свободная торговля требует «соответствующего политического оформления, без которого она не будет работать»<sup>6</sup>. Иными словами, существование империи-гегемона оказывалось необходимым условием функционирования мирового рынка, во всяком случае — важным фактором его стабилизации. Однако мировой рынок всегда сосуществовал

<sup>6</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. xix.

с локальными рынками, развитие которых далеко не всегда и не во всем совпадало с глобальными тенденциями. Эти противоречия, с одной стороны, составляли главную проблему, с которой сталкивалась любая глобальная гегемония и вообще любая мировая империя, а с другой стороны, их разрешение оказывалось важнейшей задачей этой гегемонии, задачей, ради которой, собственно, гегемония и была необходима.

По мнению Иммануила Валлерстайна, именно с возникновением капитализма многочисленные самостоятельные миры-экономики и миры-империи объединяются в целостную мирозкономику, которая постепенно охватывает всю планету. Новый экономический порядок, как и любой другой, должен быть оформлен политически. Соответствующей капитализму формой организации мирового пространства оказываются национальные государства, складывающиеся в «центре» системы, тогда как ее «периферия» в значительной мере остается подчинена власти различных империй. Ведущая мировая держава выступает в роли гегемона, организующего систему в целом, поддерживающей общие правила игры, но одновременно принужденной отстаивать свое положение от посягательств других держав, периодически претендующих на гегемонию.

Описанная Валлерстайном схема неоднократно оспаривалась, тем более, что как и любая схема, она слишком проста, чтобы объяснить все.

В свою очередь, исследователи, принадлежащие к школе миросистемного анализа — Андре Гундер Франк, Самир Амин, Джованни Арриги, выдвигали собственные версии истории капитализма, одним из наиболее заметных результатов этой работы является книга Арриги «Долгий двадцатый век». Заслуга Арриги состоит в том, что он более чем кто-либо из теоретиков миросистемной школы показал связь между развитием миросистемы и циклами накопления капитала. В конечном счете не политическое господство или хозяйственные успехи отдельных стран, а именно логика накопления капитала приводит к разделению мировой системы на «центр» и «периферию». Для того чтобы накопление было эффективным, этот процесс должен быть сосредоточен в ограниченном количестве центров. Они могут сменять друг друга и конкурировать друг с другом, но если не будет централизации, произойдет распыление, блокирующее или оборачивающее вспять весь процесс. Однако этот подход привел Арриги к механистическому предположению, что каждый цикл накопления должен не только иметь своего гегемона, но и сам этот гегемон должен более или менее соответствовать одному и тому же «стандарту».

Напротив, Самир Амин и ряд других авторов категорически возражали против схемы, сводящей историю к череде «последовательных гегемоний» (*successive hegemonies*). На протяжении длительных периодов времени невозможно убедительно продемонстрировать наличие в мировой системе какой-либо одной державы, успешно выполняющей эту роль. Другое дело, что сознательно или бессознательно на это место пре-

тендовали сразу несколько соперничающих государств (противостояние Голландии с Испанией и Португалией в XVI–XVII веках, борьба Англии против Голландии в конце XVII века, столкновение Англии и Франции в XVIII–XIX столетиях). Мировым империям, претендующим на глобальную роль, постоянно приходилось иметь дело и с региональными державами и их вызовами, поддерживать баланс силы между ними, особенно когда речь касалась европейской политики.

Для либеральной публицистики конца XX века было самоочевидным противопоставление понятий «империя» и «национальное государство». Точно такой же аксиомой являлся и тезис об извечном противостоянии государственных институтов и свободного рынка, который якобы развивается лишь тогда, когда прекращается правительственное вмешательство в экономику.

Обе эти идеи сравнительно новы. Если идея «национального государства» вообще возникает в XIX веке, причем широкое распространение получает лишь во время общеевропейской революции 1848 года, то представление о государстве как силе, сдерживающей рыночную экономику, зарождается в пропаганде британских вигов в XVIII столетии, но окончательно оформляется лишь в том же XIX веке, причем именно тогда, когда трудовые классы и их союзники из числа интеллигенции и мелкой буржуазии предпринимают первые робкие попытки использовать политические институты, для того чтобы ограничить эксплуатацию.

Буржуа XVI века подобные идеи, несомненно, показались бы не только абсурдными, но и крайне опасными. Ведь на практике буржуазное хозяйственное развитие было тесно связано с развитием и преобразованием государственных институтов, а нации в современном смысле слова возникают как раз в процессе строительства империй (как успешного, так и неудачного). Но, конечно, речь идет об империях Нового времени, радикально отличающихся от империй древности — буржуазных империй.

Итак, нации — сравнительно недавнее изобретение. Многочисленные народы и племена Древности или Средневековья по большей части не отождествляли себя с каким-то конкретным государством, не связывали свой гражданский статус со своим этническим происхождением. Государство, как правило, было больше или меньше «народа». Для греков оно ограничивалось территорией полиса, который ошибочно называют «городом» — первоначальные полисы могли быть и скоплением деревень<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Так, например, Спарта возникла из объединения сельских общин. Как известно, она не имела стен, но не потому, что ее воинственному народу (как говорила позднейшая спартанская пропаганда) стены не нужны, а потому, что это были изначально сельские, а не городские поселения. См.: Н. Хаммонд. История Древней Греции. М.: Центрполиграф, 2008, 118–119 (англ. изд.: N. Hammond. History of Greece to 322 B.C. Oxford — N.Y.: Oxford University Press, 1986). Аристотель определял полис как «сообщество нескольких деревень» (см.: Там же, с. 119).

Для египтян или ассирийцев родина была там, где действовала власть царя или фараона. Разумеется, римляне называли себя «народом Рима», но этот «народ» первоначально не включал в себя даже всего населения Лациума, говорившего на одном с ним языке, а под конец империи, рассматривал в качестве своей неотъемлемой части эллинизированных иудеев, цивилизовавшихся галлов и неизменно лояльных греков.

Суть национальной идеи в органическом слиянии, неразделимости народа и государства.

В этом смысле древние греки были народом, но не могли быть нацией, ибо единого государства у них не было. Точно так же римляне были гражданами, имевшими единое государство, но это государство было своим только для полноправных граждан. Рабы не только не чувствовали своей принадлежности к государству, но даже самый строгий законодатель и патриот Рима не стал бы этого от них требовать.

Империи создавали не только политическое, гражданское и правовое, но и экономическое пространство, без которого немислимы были развивающиеся и растущие рынки. Они упрощали обмен и налаживали единую систему налогообложения, зачастую обременительную, но необходимую для концентрации ресурсов, без чего невозможен был рост производства.

Со времен Адама Смита в Европе господствовало представление о саморегулирующейся рыночной экономике, которая настолько эффективнее любых других форм хозяйственной организации, что она естественным образом (в силу «естественных» законов) сама прокладывает себе дорогу, если только будут удалены «искусственные» преграды на ее пути, создаваемые государством, религией или традициями. В свою очередь имперские походы, завоевательные экспедиции и колониальные авантюры регулярно осуждались экономистами как совершенно ненужные эксцессы, которые порождены либо людскими слабостями (жадностью, злобой, завистью), либо стремлением государства к постоянному вмешательству во все и вся. Иными словами, завоевательная политика европейских держав уже экономистами XVIII века воспринималась скорее как пережиток Средневековья либо как отклонение от нормы, и в любом случае — скорее как препятствие на пути развития буржуазного хозяйственного порядка, нежели как его необходимое условие<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Показательным примером такого подхода является книга французского историка Ж. Ле Гоффа «Рождение Европы» (СПб.: Александрия, 2007; фр. изд.: *L'Europe est-elle née au Moyen Âge?* Paris: Seuil, 2003), где автор задним числом пытается доказать изначальное единство европейской истории и культуры, причем именно в границах сложившегося Европейского союза. Колониализм воспринимается автором как некая темная страница, находящаяся в противоречии с общей логикой европейской истории, культурой Просвещения и демократическими традициями Запада. На самом деле, как мы увидим ниже, без колониализма были бы невозможны ни современные европейские нации, ни их сложившаяся после XVIII века культура и их институты, не говоря уже об Европейском союзе, созданном на основе этих наций и институтов.

В многочисленных описаниях развития рыночной экономики мы находим рассказы о предприимчивых торговцах и странствующих купцах, пробирающихся в самые дальние уголки известного им мира, соединяющих между собой разрозненные хозяйственные единицы и тем самым формирующих рынки. Эти повествования порой увлекательные, порой анекдотические и даже комичные, закрепленные в тысячах мемуарных текстов и архивных документов, гипнотизируют не только либеральных историков, но и таких критически мыслящих исследователей, как Фернан Бродель, который, впрочем, избегает делать какие-либо однозначные выводы<sup>9</sup>. Даже Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» пишут про буржуазию: «Дешевые цены ее товаров — вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам». По мнению Маркса, буржуазия распространяет свою цивилизацию «быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения»<sup>10</sup>.

Если бы это всегда было так, то зачем же понадобились героические походы британских «красных мундиров» в Индию и Африку, зачем пришлось Соединенным Штатам прибегать к «дипломатии канонерок», а русским казакам да государевым людям строить остроги по Сибири?

Основоположники капитализма были на этот счет куда откровеннее и прозорливее. Основатель Батавии (нынешней Джакарты) и один из руководителей легендарной голландской Ост-Индской компании Ян Питерсзон Кун (Jan Pieterszoon Coen) отчеканил в 1619 году фразу, ставшую девизом всей европейской политики на протяжении последующих столетий: «мы не можем торговать без войны, точно так же, как не можем воевать без торговли» (we cannot carry on trade without war, nor war without trade)<sup>11</sup>.

Для того чтобы обмен товарами действительно приобрел массовый характер, для того чтобы он дополнился техническим сотрудничеством между регионами и разделением труда между ними, нужна была экономическая интеграция такого масштаба, какую никогда не смогли бы обеспечить усилия странствующих торговцев и авантюристов-предпринимателей. Интеграция мировой экономики осуществлялась государством, прибегавшим к насилию всякий раз, когда возникающие препятствия не удавалось преодолеть иным способом.

Противопоставление местного и глобального развития, столь привлекательное для провинциальных романтиков-традиционалистов, идеали-

<sup>9</sup> См.: Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVII вв., т. 2, с. 126–151.

<sup>10</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, с. 428.

<sup>11</sup> Цит. по: N. Robins. The Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational. London: Pluto Press, 2006, p. 40.

зирующих самостоятельную патриархальную жизнь «малых народов», не имеет никакого смысла. Одно тесно связано с другим. Глобальные процессы были невозможны без местных ресурсов. А местные ресурсы не находили себе применения (даже зачастую вообще не были «ресурсами» в экономическом смысле) до тех пор, пока водоворот политических событий не соединял повседневную жизнь тех или иных мест с более широкими процессами. И решающую роль во всем этом играло государство.

400 лет мировой истории, начиная с XVI века и заканчивая началом XXI столетия, разворачивают перед нами масштабную картину глобального процесса. Это строительство капитализма — зачастую стихийное, порой осознанное, нередко являвшееся побочным эффектом других процессов и конфликтов, но неуклонно продолжавшееся и неизменно требовавшее усилия государства, точнее целой системы государств.

С точки зрения Макса Вебера, государства начиная со времен Возрождения конкурировали за «мобильный капитал». Эта конкуренция определяла как характер международной политики, так и многие внутренние процессы, влиявшие на развитие европейских стран, однако «привела к тому незабываемому союзу между возвышающимися государствами и преуспевающими и привилегированными капиталистическими силами, который был главным фактором в создании современного капитализма»<sup>12</sup>. Иными словами, капитал своими потребностями и интересами уже тогда в значительной мере формировал политику правительства и само государство. Однако при таком подходе капитал предполагается как нечто существующее до государства, отдельно и независимо от него. Между тем капитал отнюдь не оказывался неизменной и «внешней» по отношению к государству силой. Он сам эволюционировал в тесной связи с проводимым правительствами курсом, установившимися структурами управления, законами, обычаями и господствующей политической идеологией.

Исходя из этого Фернан Бродель, в противоположность Веберу, отмечает, что капитализм создается государством, буржуазный экономический порядок возникает там и тогда, когда буржуазия сама становится государством: «Капитализм не восторжествует до тех пор, пока он не отождествит себя с государством, пока он не станет государством»<sup>13</sup>.

Обмен товаров и рынок существовали с древнейших времен, но они были вторичны по отношению к производству и не играли решающей роли в воспроизводстве сельских общин, а порой даже городов, выступавших в роли административных и религиозных центров. Для того чтобы подчинить производство задачам обмена, добиться отчуждения

<sup>12</sup> M. Weber. *Economy and Society*. Berkeley, CA: California University Press, 1978. p. 353.

<sup>13</sup> F. Braudel. *La dynamique du capitalisme*. Paris: Flammarion, 1985. p. 68.

труда от потребления, чтобы сделать рынок основным экономическим регулятором, потребовались не только усилия купцов и предпринимателей, но и изрядная доля государственного принуждения. Рынок развивался там, где ему благоприятствовала власть. Он достигал все больших масштабов благодаря непрекращающимся усилиям чиновников, правителей, военных и карательных органов.

Присоединение новых народов к мировому рынку, их включение в международное разделение труда сопровождалось непрекращающимся насилием. Власть завоевателей и собственных правителей принуждала миллионы людей к участию в новых экономических и социальных отношениях, о которых еще недавно они не имели ни малейшего представления. Колониальные экспедиции и захваты сыграли ключевую роль в «экономической интеграции», развивавшейся по сценарию, выработанному ведущими державами Запада. Превосходство европейской военной организации становится к концу XVI века очевидным фактором, определяющим характер возникающего мирового хозяйства, его иерархическую структуру. Однако эта военная сила, позволившая навязывать народам будущей капиталистической периферии новые правила игры и упорядочивать отношения внутри самого европейского общества, тоже возникает не сама по себе — она является итогом сложного процесса политического и социального развития.

В этой системе, неустойчивой, постоянно взрывающейся конфликтами и войнами, покоящейся на противостоящих интересах и ненадежных союзах, все равно требовались какой-то порядок, логика и предсказуемость, без которых движение вперед было бы невысказанным. Необходим был гегемон, руководящая сила, далеко не всегда заявляющая о себе публично, далеко не всеми признаваемая и отнюдь не всегда осознающая свою миссию, но тем не менее постоянно вступающая в действие всякий раз, когда нарушается равновесие.

Во всяком случае таков тип буржуазного развития, который мы получили в результате реальной истории. Поддержание миросистемного порядка само по себе предполагало постоянную необходимость с кем-то бороться и воевать, кого-то защищать или наоборот «ставить на место». Каждый новый этап в технологическом и экономическом развитии порождал очередное нарушение равновесия, очередные столкновения и кризисы, которые необходимо было завершать установлением нового порядка. Эта роль политического гегемона складывающейся мировой системы на протяжении большей части ее истории выпала на долю Британской империи, хотя на короткий период казалось, что выполнить ее предстоит Голландии, а в XX веке она перешла к Соединенным Штатам Америки.

Роль гегемона никогда не была официально признана или закреплена общепринятыми правилами. А потому и сама гегемония, ее пределы и

методы постоянно оспаривались, подвергались сомнению и были предметом борьбы (не только между соперничающими державами, но и внутри государства, осуществлявшего гегемонию).

Далеко не всегда, конечно, преобладание одной ведущей державы было очевидно. Именно поэтому система периодически оказывалась в состоянии хаоса. Но рано или поздно хаос, сопровождавшийся потрясениями, кризисами, войнами и социальными катаклизмами, завершался восстановлением старой или установлением новой гегемонии. Империи сменяли друг друга, становясь все более глобальными.

Региональные державы, например, как Австрия и Пруссия в XVIII веке, не претендовали до поры на влияние в Новом Свете, не вступали в борьбу за колонии, но ревностно отстаивали свои территориальные и экономические интересы, нередко определяя своими действиями и выбором альянсов соотношение сил между противостоящими мировыми империями. Подобные региональные державы, не выступая против общей логики миросистемы, даже не претендуя на руководящую роль в ней, часто требовали пересмотра отношений на региональном уровне, что само по себе оказывалось источником конфликтов, порой, не менее значительных, чем борьба за гегемонию.

Империи, претендовавшие на гегемонию или осуществлявшие ее, не могли оставаться в стороне от подобных конфликтов. Им постоянно приходилось выбирать в локальных конфликтах ту или иную сторону. И чем более масштабной и эффективной была гегемония, тем труднее было удержаться, оставаясь не вовлеченным. Британской империи на определенных этапах это удавалось (достаточно вспомнить *splendid isolation* — политику «блестящей изоляции»). Соединенным Штатам не удавалось практически никогда. Удовлетворить всех сразу — значит серьезно ослабить общую систему глобальной гегемонии.

В свою очередь региональные силы всегда готовы были — на определенных условиях — не просто признать отстаиваемый гегемоном компромисс, но и оказать ему прямую поддержку, защищая интересы гегемона, прежде всего в борьбе с притязаниями других региональных держав. Однако цена такой поддержки нередко была столь высока, что в долгосрочной перспективе меняла соотношение глобальных сил и ставила под сомнение всю систему гегемонии.

Впрочем, несправедливо было бы пытаться представить всю историю буржуазных государств как сплошной конфликт и противостояние. Мировые империи нередко выступали и в качестве партнеров, причем вчерашние противники на каждом шагу превращались в стратегических союзников. Потерпев поражение в борьбе с Англией, ее союзником на долгие годы сделалась Голландия, после Наполеоновских войн то же самое произошло с Францией.



Наконец, важным элементом системы являлись начиная с конца XVII века «периферийные империи» — Россия, Турция и вплоть до момента своего крушения Речь Посполитая. Находясь экономически на периферии, организуя колониальную по сути эксплуатацию собственного населения, эти государства одновременно не просто сохраняли независимость, но часто претендовали на роль великих держав, вступая, порой, в конфликт с ведущими странами буржуазного «центра». Интересы развития империи часто диктовали действия, выходящие за рамки региональной политики, превращая Стамбул, Москву, Петербург, а на первых порах и Варшаву, в важные центры, с которыми приходилось считаться наиболее передовым буржуазным странам.

С первого дня своего существования мировая капиталистическая экономика нуждалась в политической организации. Ей требовалась более или менее устойчивая структура, система правил, поддерживаемая властью не только на локальном, но и международном уровне. Капитал нуждался в порядке. Видоизменяющееся буржуазное государство не только завоевывало все новые и новые пространства, превращая их в «новые рынки», не только подчиняло себе миллионы новых подданных, приучая их быть наемными работниками и потребителями, но и постоянно выходило за границы своей территории. Мирозкономика формируется с возникновением Испанской и Португальской глобальных империй. Она трансформируется под влиянием успехов Голландии, в ходе англо-французского противостояния. Итогом глобального развития капитализма в конце XIX века стал империализм, обрекший человечество на две мировые войны. Русская революция, Великая депрессия и Вторая мировая война потрясли систему настолько, что вырвали из ее орбиты значительную часть населения планеты. Однако к концу века страны, пережившие антибуржуазную революцию, одна за другой возвращались в лоно капиталистического порядка. После распада Советского Союза элиты «новой России» мечтали только о достойном месте в рядах мировой буржуазной олигархии, к тому же стремились и лидеры Китая, формально все еще верного коммунистической идеологии. Несмотря на предоставление независимости бывшим колониям, признание равноправия наций и политическую корректность, имперское доминирование оставалось важнейшим инструментом поддержания контроля в системе, и вчерашние национально-освободительные движения одно за другим предоставляли контролируемые ими страны в распоряжение иностранного капитала. Но очень скоро триумф буржуазного миропорядка оказался новой катастрофой, глобальным экономическим кризисом. Механизмы контроля чем дальше, тем хуже срабатывают. А сам капиталистический порядок неминуемо движется к своему концу. И на смену этому процессу может прийти только становление новой глобальной цивилизации, построенной на качественно других основах, нежели капитализм. Иными словами — социалистического общества.

# I. Миры-империи

В конце XX века, когда доверие к марксистской исторической традиции было подорвано — не столько научной критикой, сколько политическим крахом режимов, апеллировавших к марксистским идеям, — в моду вошел «цивилизационный подход». Вместо развития общественных отношений исследователям предстояло изучать специфику самодостаточных и в основе своей неизменных «цивилизаций», находящихся в непреодолимом и необъяснимом конфликте друг с другом.

Обычно цивилизация предстает перед нами в образе культуры и исторического наследия, но за ними сразу же встают куда менее приятные и привлекательные требования политической идеологии. «Столкновение цивилизаций» — явно не из области культуры. От сопоставления особенностей образа жизни различных народов мы быстро переходим к геополитике, которая, в свою очередь, становится обоснованием вооруженной борьбы и полицейского контроля.

Зародившись в Германии и России XIX века, эта традиция долгое время находилась на периферии исторического мышления, поскольку явственно противостояла доминировавшей прогрессистской традиции. Русский консервативный мыслитель Н.Я. Данилевский четко сформулировал это противостояние, создав еще до Шпенглера и Тойнби теорию «культурно-исторических типов». В книге «Россия и Европа» противостояние западной и русской цивилизаций воспринимается как нечто извечное и изначально данное, само собой разумеющееся и непреодолимое. За 100 лет до появления книги Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» («The Clash of Civilizations») Данилевский доказывал, что Россия как носитель идей дисциплины и порядка должна сокрушить Запад, несущий разрушительную идею свободы.

Крушение Запада предсказывал и Освальд Шпенглер в «Закате Европы» («Untergang des Abendlandes»). Любуясь тем, как цивилизации «появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются», он представлял историю как процесс, происходящий «с возвышенной бесцельностью»<sup>1</sup>. Те же идеи развивал и систематизировал в трактате «Постижение истории» («A Study of History») Арнольд Дж. Тойнби, являющийся, пожалуй, единственным представителем этой школы, явно старавшийся отмежеваться от расистских, националистических и авторитарных выводов, к

<sup>1</sup> О. Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории, т. 1. М.: Мысль, 1993, с. 151.

которым с удивительной, но закономерной неизбежностью приходили другие авторы. В конце XX века, однако, связь между цивилизационной теорией и консервативной политической повесткой дня восстановилась полностью: труд Самуэля Хантингтона о столкновении цивилизаций стал идеологическим обоснованием нового «крестового похода» американских правых против «исламской угрозы»<sup>2</sup>.

Главная проблема сторонников цивилизационного подхода всегда состояла в том, что они не могли договориться между собой — не только по поводу частных, что вполне естественно в научном сообществе, но и по поводу основных категорий. Они так и не сумели прийти к общим выводам ни о том, сколько вообще существовало цивилизаций в истории, ни о границах между ними. Сэр Арнольд Дж. Тойнби насчитал сначала 21 цивилизацию, потом 37 или 39, из которых 13 «независимые» («первичные»), а все остальные «дочерние» или «вторичные». А российские авторы, начиная с Н.Я. Данилевского и заканчивая Львом Гумилевым, вообще не видят в истории никакого иного содержания, кроме противостояния между «русским миром» и Западом.

В то же время бросается в глаза и двойственность идеи «западной цивилизации»: с одной стороны, это одна из цивилизаций наряду с другими, с другой стороны, ее то и дело представляют в виде всеобщей нормы.

Греки и римляне, которые ввели в обиход понятие «цивилизации», противопоставляли себя не другим цивилизациям, а варварству. Причем особенностью цивилизации было не развитие техники или даже демократии и политической свободы (ведь свободой многие дикие племена обладали даже в большей степени, чем жители Римской империи), а существование гражданской жизни. Необходимым условием «цивилизованной жизни» оказывалось, конечно, не ношение мужчинами тоги, в противоположность варварским штанам, а существование писаного права и системы государственных институтов. Цивилизация — это система социально-экономических и политических норм, исторически закрепляемая в форме культуры.

Пытаясь обобщить идеи многочисленных и почти во всем расходящихся между собой сторонников «цивилизационного подхода», молдавский историк Л.А. Мосионжик пишет, что цивилизация — это «сложная иерархическая общность людей в масштабах от этноса и более, способная к длительному автономному существованию и саморазвитию по своим специфическим законам». В основе ее жизни лежит «единство подсознательных, архетипических представлений о мире и человеке», причем этот комплекс представлений «не может быть адекватно выра-

<sup>2</sup> См.: S. Huntington. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon & Schuster, 1996 (рус. изд.: С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003).

жен словами, он доступен лишь пониманию и «вчувствованию», но его легче всего обнаружить в мифологии и символике»<sup>3</sup>.

Легко заметить, что такое определение оставляет больше вопросов, чем ответов. Откуда берутся эти устойчивые «подсознательные представления» (к тому же не индивидуальные, а коллективные), почему вообще они такие устойчивые? Почему одни цивилизации исчерпывают себя, другие живут тысячелетиями? Чем и почему «специфические законы» одной цивилизации отличаются от таких же «специфических законов» другой?

В основе цивилизационного подхода явственно вырисовывается отрицание единой человеческой истории, даже потенциальной. Ибо мировая цивилизация оказывается в соответствии с этой логикой не более чем относительно случайной общностью, живущей по «специфическим законам», которые могут быть по непонятным причинам заменены другими законами, основанными на ином, неизвестно откуда взявшемся и непостижимом комплексе «подсознательных представлений».

Неясным остается ни то, сколько в мире существует (или существовало) цивилизаций, как проходят границы между ними и что делает их принципиально отличающимися друг от друга.

Парадоксальным образом единственный внятный ответ на эти вопросы был найден в рамках все той же марксистской традиции. Рассматривая ранние этапы истории человечества, Иммануил Валлерстайн пришел к выводу, что хотя мировой экономики в докапиталистическую эпоху не могло быть, существовали своего рода миры-экономики<sup>4</sup>. Политической же формой, в которой существует такой «мир-экономика», по большей части оказывается «мир-империя». В каждом из этих миров формировался более или менее устойчивый рынок, складывалась своя система хозяйственных связей, на основе которых развивалась и общая система культурных норм и символов. В конечном счете из этого выросло сходство художественных вкусов, единство политических, религиозных и эстетических представлений, правил повседневной жизни. Иными словами, цивилизация.

Миры-экономики по Валлерстайну — это и есть цивилизации по Шпенглеру и Тойнби. Ничего мистического и загадочного нет ни в их появлении, ни в их развитии, ни даже в их упадке и исчезновении, ведь экономические условия и границы мировых хозяйственных регионов с течением времени менялись.

<sup>3</sup> Л.А. Мосионжик. Антропология цивилизаций. Кишинев: ВАШ, 2000, с. 47.

<sup>4</sup> См.: I. Wallerstein. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004 (рус. изд.: И. Валлерстайн. Мировсистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. См. также: И. Валлерстайн. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001).

По мере развития хозяйства складывается (а отчасти и сознательно формируется) устойчивая система институтов, правил, культурных традиций и даже эстетических вкусов, необходимая для поддержания стабильности и преемственности в социально-экономическом устройстве, предсказуемости рынка, надежной производственной кооперации. Единая технологическая культура опирается в традиционном обществе, где главной основой производства остается физическая сила человека, на единые религиозные представления и одинаковые нормы социальной жизни, схожие представления о долге, обязанностях, иерархии. Разумеется, эти представления, закрепившись в культуре и повседневном поведении, становятся до известной степени самодостаточными, воспроизводящимися на бессознательном уровне. Но если разрушается или радикально изменяется материальный базис цивилизации, то исчезают или эволюционируют соответствующие нормы и представления. Так, во времена Макса Вебера восходящая к Конфуцию консервативная китайская традиция считалась одной из причин отсталости страны, в то время как на рубеже XX и XXI веков на ту же традицию ссылались, объясняя стремительный прогресс государств Дальнего Востока.

Чем более мир-империя изолирован, чем более он экономически и технологически самодостаточен, тем более цивилизационного своеобразия. По мере того как локальные рынки и экономики сливаются в единый капиталистический мировой рынок, приходит и конец «цивилизационной самодостаточности».

Именно поэтому нет и не может быть «русской цивилизации», но безусловной реальностью была «советская цивилизация», развивавшаяся на протяжении некоторого времени в условиях экономической самоизоляции, пытавшаяся создать самодостаточную хозяйственную систему<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Идеология «русского мира», пришедшая на смену идее «советского народа», представляла собой попытку сохранить остатки разрушающегося советского своеобразия на фоне очевидного и признанного идеологами краха советской системы. Для того чтобы такое сохранение состоялось, чтобы советские нормы представлялись не только по-прежнему актуальными, но и неизменными, востребованными и по сути вечными, их срочно перекрашивают из «советских» в русские. Схема сохраняется, но «советское» (социальное и исторически опосредованное) обоснование заменяется «русским» (этническим и внеисторическим). Другое дело, что подобная операция не является только лишь результатом идеологического произвола. В основе ее опора на определенные культурные факты, которые действительно имеют место в реальности. В конце концов Советский Союз не просто развивался на территории бывшей Российской империи, но в значительной мере (несмотря на революционный разрыв) выступил ее преемником, а сталинский тоталитаризм до известной степени опирался на культурные традиции русского самодержавия. Точно так же и постсоветская Россия сохранила в значительной мере культурные и политические традиции советского времени. Проблема в том, что консервативные идео-

На ранних этапах человеческой истории мы наблюдаем повсеместное формирование локальных миров-экономик, развивающихся параллельно и более или менее независимо друг от друга. Разумеется, это параллельное и независимое развитие отнюдь не означало отсутствие взаимодействия — уже в Риме эпохи империи можно было обнаружить китайские товары, не говоря уже о товарах, поступавших из Индии, связь которой с Восточным Средиземноморьем устойчиво поддерживалась на протяжении столетий. Однако этот обмен товарами не играл решающей роли в становлении местного производства, не был, в отличие от более поздних времен, фактором, определяющим складывающиеся общественные отношения и институты.

Кризис «миросистемной теории» в начале 2000-х годов привел к появлению работ Андре Гундер Франка и Джованни Арриги, описывавших единую мировую экономику как существующую с незапамятных времен, как нечто вечное, по существу внеисторическое. Капитализм в лучшем случае представлялся авторам подобных теорий в виде частного эпизода глобальной экономической истории, а порой напрашивался вывод, что никакого капитализма, как особой, качественно новой системы, и вовсе не было, имело место лишь временное преобладание Запада над Востоком. На методологическом уровне смысл подобного «ревизионизма» состоял в том, чтобы разорвать связь «миросистемной школы» с марксистской традицией, вернувшись к принципам либеральной политэкономии Адама Смита.

В качестве главного аргумента для обоснования своих взглядов Франк и Арриги ссылались на существование мощных товарных потоков, уже в древности направлявшихся из Азии в Европу, и аналогичного потока серебра, перемещавшегося в обратном направлении — из Европы в Азию. Следовательно, Запад был не более чем периферией великой азиатской экономики, центром которой являлся Китай.

При этом сам исследователь в жанре «фрейдовской оговорки» заявляет, что его схема переворачивает (turn) «евроцентристскую историографию и социальную теорию вверх ногами»<sup>6</sup>. Иными словами, внеисторическое и априорное представление об изначальном превосходстве Запада сменяется таким же представлением о превосходстве Востока,

---

логи с удивительным чутьем выбирают из всей массы традиций и культурных норм лишь наиболее реакционные, авторитарные и жестокие. Точно так же, как сталинский режим в 1940-е годы все более апеллировал к консервативным традициям царизма, так и наследники «русского духа», черпая вдохновение в сталинской истории, находят там опору не в прогрессивных переменах, поднявших российское общество до уровня других европейских народов, а в самых мрачных и отвратительных сторонах тогдашней истории.

<sup>6</sup> A. Gunder Frank. *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press, 1998, p. xv.

которое в силу ряда временных и случайных обстоятельств оказалось утрачено. Если бы не поток серебра из Америки, центром мировой экономики были бы Индия и Китай.

Гундер Франк представляет миросистему как извечную. Между тем существование товарообмена между Европой и Азией еще не доказывает существования единой миросистемы, которая предполагает глобальное разделение труда. Существование на протяжении столетий Великого шелкового пути говорит само за себя — процветание городов Центральной Азии и Ирана было обеспечено этим товарным потоком независимо от превратностей политической борьбы и восстанавливалось после любых варварских нашествий. Однако обмен товарами отнюдь не свидетельствует о существовании единой экономической системы. Иммануил Валлерстайн задолго до Франка и Арриги указывал на существование подобной торговли, подчеркивая, что речь идет об обмене излишками, который сам по себе не оказывал решающего влияния на социальные или хозяйственные структуры Востока или Запада. Строго говоря, решающую, системную роль подобный обмен имел лишь по отношению к Ирану и Центральной Азии, которые как раз в наименьшей степени вызывали интерес «ревизионистов миросистемной школы».

Про единую мировую экономическую систему можно говорить лишь в той мере, в какой речь идет о международном разделении труда, когда целые отрасли производства (и соответствующие социальные отношения) в одних странах формируются для производства товаров, реализуемых на рынках других государств. Международное разделение труда в конце XVII века только начинало складываться, и без европейской экспансии в Америку и Азию просто не сложилось бы. Классическими примерами такого развития являются кофейные плантации Америки (кофе привозят из Африки в Америку и насаждают там исключительно для того, чтобы продавать в Европе), массовое производство пеньки для англо-голландского флота в крепостнической России или распространение англичанами чайных плантаций в Индии, а затем в Кении. С другой стороны, никто иной как Арриги видел в миросистеме прежде всего механизм перераспределения ресурсов для глобального накопления капитала, который, естественно, не мог работать до тех пор, пока не началось само капиталистическое накопление. Особенностью азиатских экономик Средних веков и Древности было как раз то, что, несмотря на постоянный поток серебра с Запада, активного процесса накопления капитала там не происходило. Отсутствие капиталистических порядков при развитой рыночной экономике, передовых технологиях и богатейших ресурсах как раз и является одной из главных загадок Азии, не разгадав которую трудно ответить и на вопрос о причинах успеха Запада.

Миросистема складывается и развивается вместе с капитализмом точно так же, как капитализм торжествует благодаря тому, что выходит

на мировую арену и получает в свое распоряжение богатейшие ресурсы Америки и Африки. Но сам буржуазный порядок не возникает в Европе автоматически из хозяйственного развития — в противном случае он должен был бы появиться гораздо раньше и в гораздо более развитых формах в Китае или Индии. Общественно-политическое преобразование Запада на рубеже XIV и XV веков создает новую реальность, которая в конечном счете оборачивается источником формирования новой глобальной системы, преобразившей жизнь всего человечества.

## ЦИВИЛИЗАЦИИ-ИМПЕРИИ

Всякое повествование об истории западной цивилизации и рыночной экономики начинается с Древней Греции и Рима. Античность принято считать культурно-историческим фундаментом Запада, и спорить с этим бессмысленно. Вопрос лишь в том: какую античность? Идет ли речь об обществе и культуре, реально существовавших в Афинах, Риме и Александрии I века до нашей эры, или о той античности, которую открыли для себя и реконструировали в эпоху Возрождения? Ведь реконструкция, на которую опирается европейская культура Нового времени, отличается от подлинной истории так же, как беломраморные статуи, изучавшиеся Винкельманом, от ярко раскрашенных скульптур реально украшавших древнегреческие города.

Не случайно с XVIII века вплоть до нынешних времен периодически появлялись мыслители, серьезно пытавшиеся доказать, что никакой античности вообще не существовало и что вся Древняя Греция вместе с Римом, Персией и Египтом была выдумана какими-то идеологами XVI века. Новейшим проповедником подобных теорий в России стали Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко со своей «новой хронологией»<sup>7</sup>.

Как ни парадоксально, в этих теориях, сколь бы дикими они не казались историкам, есть рациональное зерно. Не в том смысле, конечно, что античности «не было», но в том смысле, что сознательное «воссоздание» античности как культурной и исторической традиции действительно имело место в эпоху Ренессанса. Античность, прочно забытая в Европе на протяжении столетий, была неожиданно востребована и реконструирована в соответствии с историческими задачами Нового времени. И напротив, античная традиция, игравшая значительную роль в мире средневекового арабского ислама, была предана почти полному забвению в Оттоманской (Османской) Турции.

Разумеется, любая реконструкция имеет в основе своей реальные факты, причем даже ошибки реконструкции предопределены этой реальностью. Однако в данном случае для нас важно не то, насколько точны

<sup>7</sup> См.: Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? М.: «Крафт +», 2001.



были историки и эстетика XVI века в своем понимании древнеримского и древнегреческого прошлого, сколько то, насколько экономические и политические институты европейской цивилизации Нового времени могут считаться прямым продолжением институтов античности? И насколько экономические, социальные и политические институты античности сами по себе являются «европейскими» и «западными»?

Система общественных институтов, опираясь на которую Запад достиг в XVIII–XX веках господства над миром, в своей основе имела буржуазный способ производства. Но капитализм отнюдь не является специфическим порождением «западной» цивилизации. Для идеологов естественна склонность путать причины со следствиями, внешние признаки явления с его сущностью. Поскольку торжество буржуазного способа производства произошло именно на Западе, это предопределило как повсеместное распространение западной культуры, доминировавшей в рамках миросистемы, так и готовность отождествить власть капитала с господством Запада, а освобождение — с освобождением от этого господства. И наоборот, распространение демократии и прогресса с признанием буржуазных «западных ценностей», которые иногда для успокоения слушателей назывались «общечеловеческими». Универсализация капитализма как системы общественных отношений и способа производства одновременно означала распространение в качестве всеобщей нормы «западного образа жизни», соответствующих правил, индивидуализма, гуманизма, Просвещения, национализма и милитаризма, даже одежды, причесок и моды.

Проблема в том, что европейское буржуазное общество возникает в XVIII веке, буржуазные отношения в XIV–XV, а «западная цивилизация», к которой апеллируют идеологии буржуазии, опирается на наследие античности и христианства — иными словами, восходит к глубокой древности. Здесь, разумеется, мы имеем дело с сугубо идеологической потребностью правящего класса, стремящегося представить свои институты, принципы и требования как вечные или, по крайней мере, древние, освященные историей и традицией. Однако это не снимает принципиального вопроса о том, в какой мере эти претензии обоснованы, в какой мере буржуазная цивилизация Нового времени является преемницей более ранних цивилизаций Запада. Да только ли Запада?

Большинство институтов, составляющих сегодня фундаментальную основу рыночной экономики, возникли отнюдь не на Западе, и корни их приходится искать не в греко-римской античности, а в истории восточных империй.

Как подчеркивает Иммануил Валлерстайн, миры-экономики древности имели тенденцию к превращению в миры-империи<sup>8</sup>. Это было логи-

<sup>8</sup> См.: I. Wallerstein. The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. San Diego: Academic Press Inc., 1974, p. 16.

ческим следствием хозяйственной интеграции. Для того чтобы производство и рынки функционировали как одно целое, было желательно, чтобы на общем для них пространстве существовал единый политический и правовой порядок, единая система мер и весов, денежная система. Однако, как и любая общая схема, концепция Валлерстайна дает сбой, если пытаться применять ее в качестве универсальной отмычки. Безусловно, не случайно, что борьба Рима за объединение стран Средиземноморья разворачивается примерно в то же время, когда возникает империя Цинь Шихуанди, объединившего под своей властью все китайские княжества в 221 году до нашей эры<sup>9</sup>. И в том и в другом случае политические процессы явно опираются на определенный уровень развития производительных сил. Однако ничуть не менее развитая Индия оставалась страной, где раз за разом срывались попытки объединения и политической централизации.

Государственное оформление древних цивилизаций в виде миров-империй происходит неравномерно, через острые социальные конфликты и далеко не всегда успешно. В свою очередь результаты политической борьбы влияют на складывающиеся экономические институты, нормы хозяйствования и способ производства.

Исследователь дальневосточной цивилизации Марсель Гране отмечает, что Китай в качестве единого географического и экономического пространства сложился в результате ирригационных работ, которые в древние времена были предприняты местными властителями. «Именно они в расчлененной стране, где можно было жить только по краям плато и на холмах, открыли сухопутные и водные пути сообщения. Ими была создана территория, наконец-то пригодная для образования единой цивилизации и готовая к политическому объединению. Нынешнее единообразие Китая в зоне лёссовых и осадочных земель — это результат огромного общественного усилия. Если, по китайскому выражению, реки в конце концов сдались морю со спокойствием и величием вассалов, приносящих дань, то потому, что уделы пришли к сближению и объединению лишь после того, как приручили природу»<sup>10</sup>.

На этой основе складывалась система, получившая впоследствии название «азиатского способа производства». Задним числом эту систему европейские историки и публицисты описывают почти исключительно в негативных категориях — косность и консерватизм, подавление личности, неспособность к инновациям и бюрократическая централизация, вот то, на что обращали внимание множество западных и российских авторов

<sup>9</sup> Написание китайских имен в русской транскрипции в различных изданиях варьируется. В настоящей работе имена сверены по книге: А.А. Дельнов. Китай. Большой исторический справочник. М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2008.

<sup>10</sup> М. Гране. Китайская цивилизация. М.: Алгоритм, 2008, с. 63.

начиная с середины XIX века. Именно эти черты «азиатского» порядка помешали восточным цивилизациям развиться и создать у себя передовые институты, аналогичные европейским. Между тем не стоит забывать, что именно китайская централизованная империя была на протяжении многих столетий крупнейшей и, пожалуй, самой передовой экономикой мира, оказалась родиной важнейших открытий, без которых немислима была бы модернизация Европы, — порох, шелк, фарфор, вентиляционные системы, бумага, компас<sup>11</sup>. Как отмечает Марсель Гране, в основе китайского порядка лежит «не жесткая логика субординации, но гибкая логика иерархии»<sup>12</sup>. Иными словами, не только подчинение низших высшим, но и четкое разделение полномочий. Благодаря такому пониманию управления авторитарный строй бюрократической империи отнюдь не обязательно означал подавление инициативы и формализм.

Бюрократическая система Поднебесной империи для своего времени являлась наиболее передовой и эффективной. «Ни одно государство до Испании Филиппа II (1556–1598) и Франции Людовика XVI не смогло создать бюрократии, подобной той, что управляла Китаем», — признает английский историк<sup>13</sup>. Формирование эффективной бюрократии было важнейшей задачей, без решения которой Европа вряд ли могла бы стать тем, чем она стала к XVIII столетию. Однако именно эту важнейшую государственную задачу Китай не только решил на много столетий раньше, но и сумел сохранить, несмотря на неоднократные нашествия и завоевания, преемственность правительственных структур, чего на Западе после распада Римской империи достичь не удалось. Бюрократическая система, построенная в Поднебесной империи, была неразрывно связана со всей системой культуры и образования, которая стихийно воспроизводилась даже тогда, когда сами политические учреждения оказывались подорваны или даже разрушены. Конфуцианская традиция гласит: «Хороший порядок в значительной степени зависит от правильного языка»<sup>14</sup>. В свою очередь, язык — вернее система знаний и общественных представлений — воспроизводит порядок.

<sup>11</sup> Показательным примером подобной логической ловушки является книга Л.А. Мосионжника «Антропология цивилизаций». С одной стороны, он сетует, что в экономике старого Китая доминировал «косный» государственный сектор (с. 231), а с другой стороны, на той же странице сообщает, что эта экономика вплоть до XVIII века была технически и организационно самой передовой в мире: китайское ткацкое производство опережало английское вплоть до начала индустриальной революции, горнорудная промышленность шла вровень с европейской, а систему вентиляции шахт, как в Поднебесной империи, на Западе не могли устроить до XIX века (Там же, с. 230–231).

<sup>12</sup> М. Гране. Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы. М.: Алгоритм, 2008, с. 397.

<sup>13</sup> G. V. Scammell. The First Imperial Age: European Overseas Expansion c. 1400–1715. London: Unwin Hyman, 1989, p. 2.

<sup>14</sup> М. Гране. Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы, с. 301.

Распространяясь за пределами собственно Поднебесной империи, этот общественный порядок в той или иной степени воспроизводился почти повсюду, где доминировало китайское культурное влияние. Однако были и исключения. Япония, несмотря на то что в первые столетия своей истории развивалась как периферия китайской цивилизации, сформировала иной социальный порядок, сближавшийся с европейским феодализмом. Поскольку материальные условия были на Японских островах иными, чем на континенте, иными оказывались и социально-экономические структуры, несмотря даже на то что сам правящий класс, проникнутый китайским влиянием, добросовестно пытался воссоздать здесь империю по образцу «старшего брата».

Чем больше обособлялась Япония от континента политически и экономически, тем больше в ней было своеобразия, порожденного не столько религиозными или этническими особенностями, сколько быстрым развитием феодальных отношений — на фоне стагнирующего в «азиатском способе производства» Китая. Значительную роль в этом разрыве сыграло монгольское нашествие XIII века. Успешное завоевание Китая Чингизханом не было дополнено покорением Японии. Несмотря на старания монголов, Япония, огражденная морем, выстояла, сохранила свою независимость, отделившись не только от подчинившегося новой династии Китая, но и от единого политико-экономического пространства, возникшего в Азии благодаря монгольским завоеваниям. Однако показательно, что средневековая Япония свои отличия от Китая не выпячивает, а наоборот скрывает. И чем больше эти отличия, тем более тщательно они скрываются (поразительным примером является сознательная «китаизация» текстов средневековой японской литературы).

«Азиатский» тип государства, наиболее последовательно воплощенный в Китайской империи, отнюдь не был нормой для всего континента (например, Месопотамия развивалась совершенно иным путем). Но с другой стороны, «азиатский» тип государства мы обнаруживаем во многих частях мира, совершенно не подвергавшихся китайскому влиянию — в доколумбовой Америке, в Древнем Египте. Причем именно в доколумбовой Америке мы находим наиболее последовательно выраженный азиатский способ производства<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Разрабатывая концепцию «азиатского способа производства», Маркс опирался прежде всего на британские публикации по истории и социальному развитию Индии, потому, естественно, характеризовал описываемые отношения как «азиатские». Однако именно в Индии из всех Восточных стран подобная система выражена наименее последовательно. Позднейшие исторические исследования (в том числе археологические данные и продолжавшаяся на протяжении XX века расшифровка древних текстов) показали, что Древний Египет и доколумбова Америка могут использоваться в качестве куда более ярких примеров подобной социально-экономической системы.

Во всех этих случаях, несмотря на «цивилизационные» различия, общей была необходимость координации хозяйственных усилий людей на значительных территориях. Разрозненные общины объединялись внешней силой, которая организовывала их взаимодействие и взаимопомощь в масштабах, недоступных для «сетевой координации» между соседями и родственниками. Сотрудничество может быть добровольным и принудительным, оно может осуществляться в форме прямой производственной кооперации и в виде обмена. Но чем больше его масштабы, тем значительнее роль центрального правительства.

Уже в Древнем Египте мы обнаруживаем «восточный» тип государства, во многом схожий с тем, что в те же времена начинает формироваться в Китае. Кооперация между общинами обеспечивается за счет действий централизованного государства, стоящего над ними. Строительство ирригационных сооружений из-за регулярных разливов Нила было так же необходимо, как и работы по укрощению рек в Китае. Неустойчивость сельского хозяйства, чередовавшего изобильные урожаи с годами «тощих коров», ставила в повестку дня еще одну задачу: формирование стратегических запасов, перераспределение ресурсов между общинами. Такая роль государства была понятна и приемлема для общинников даже без особого принуждения. Именно поэтому в странах Азии и Африки государственные структуры начинают формироваться быстрее, чем само общество разделяется на классы. Но само по себе возникновение государственного аппарата оказывается важнейшим стимулом для социального расслоения. Даже если кооперация добровольна, необходимо отчуждение полномочий, предоставление власти некоему органу, находящемуся за пределами общин и над ними. Появляются привилегии, социальное разделение труда, оформляются закрытые касты, присваивающие себе не только политические полномочия, но и идеологический статус, закрепляющие за собой монополию на определенный род знаний.

Чем более общины самодостаточны, чем более они замкнуты на себе и разобщены в своей повседневной жизни, тем менее они способны контролировать этот внешний орган, тем более авторитарной становится власть. Накопление информации и знания невозможно внутри отдельной общины, живущей натуральным хозяйством. Эту функцию берет на себя отчужденная от масс элита. Но, в свою очередь, накопление ею знаний приводит к увеличению и закреплению разрыва между верхами и низами.

Жрецы и чиновники Древнему Египту жизненно необходимы. Ими осуществляется накопление и анализ информации о режиме вечной реки (что можно эффективно осуществить, лишь работая на территории, охватывающей большую или значительную часть русла Нила). Их дело — составление календаря и прогнозирование разливов.

Поскольку наука еще не отделена от религии, эта работа может быть сделана лишь кастой жрецов, которая в свою очередь заинтересована в сохранении своего исключительного положения. Религиозная мистификация знания нужна, для того чтобы знания постоянно и неизменно конвертировались во власть. Господствующие позиции в государстве оказываются в руках своего рода интеллектуальной олигархии.

Другая задача египетского государства — поддержание устойчивого воспроизводства в условиях нестабильного сельского хозяйства. То, что блестяще делал библейский Иосиф. Накопление запасов в урожайные годы, поддержка населения в неурожайные действительно была важнейшим принципом египетской экономической политики.

Иосиф (вернее, его исторический прототип, заправлявший хозяйственными делами в годы правления гиксосов), разумеется, никак не мог быть изобретателем этой системы. Археологические данные показывают, что подобное накопление ресурсов проводилось фараонами задолго до него — еще в эпоху Древнего Царства, и даже раньше, до объединения Египта во времена Царя-Скорпиона.

Как бы ни хотелось видеть великого экономиста древности в библейском Иосифе, покорившем сердце фараона своим толкованием сновидений, приходится сделать вывод, что красивая история о 14 «тощих» и «тучных» коровах, не более чем плод позднейшего вымысла. Если Иосиф чем-то и отличался от своих предшественников, выполнявших сходные функции при дворе прежних фараонов, то лишь тем, что, по видимому, придал этой работе невиданный доселе масштаб и использовал это для укрепления собственного политического влияния. Впрочем, нельзя забывать, что гиксосы, во времена которых развернулась бурная деятельность библейского героя, были в Египте чужими и могли плохо понимать, как устроена система. В таком случае можно предположить, что смысленный сын Израилев, разобравшись в задачах хозяйственного управления, объяснил их фараону с помощью сказки о коровах.

Описывая возникновение государства, Энгельс подчеркивал, что в основе власти лежит насилие и принуждение, которые, в свою очередь, становятся необходимыми, поскольку существует антагонизм между классами. Однако опыт древних держав Востока (которые хронологически были куда старше западных) свидетельствует о том, что государственные структуры начинают складываться еще до того, как сформировались социальные классы. Другое дело, что общественное разделение труда в какой-то форме уже существует, а оно неминуемо ведет к образованию классов, являясь исходным пунктом социального размежевания. Необходимость в разделении труда порождает и классы, и государство одновременно.

Стоило государству сложиться, оно само становилось важнейшим катализатором развития социальных и классовых различий. Отделение

управления от производства, превращало управленческую деятельность в источник привилегий. Элита понемногу переходила от управления к угнетению. Однако именно эта эксплуататорская природа новой элиты делала возможным расширенное воспроизводство, концентрацию ресурсов и внешнюю экспансию.

Новый политический порядок разрывал и ослаблял связь между людьми, ранее существовавшую на основе рода, заменяя ее общностью территории, на которую распространялся контроль правителя. Главный принцип бюрократии — учет и контроль. Но это в свою очередь требует развития письменности и математики. Так что не случайно, что именно бюрократизированным обществам древности человечество обязано этими двумя своими важнейшими достижениями.

Впрочем, общества Древней Азии породили не только бюрократию, с ее цивилизационными достижениями, но и многие из структур, которые впоследствии принято было считать «открытием» европейского Запада. Финикия и Вавилон создали торговое государство значительно раньше греческих полисов, которые в значительной мере воспроизводили их опыт. В обществе, сосредоточенном на торговле, функции власти меняются. В первую очередь это поддержание порядка, соблюдение правил, защита купцов (наказание за обиду — еще в классической Греции и потом в Риме типичный *casus belli*, да и в XIX веке между «цивилизованными» нациями и остальным миром).

Парадоксальным образом, именно торговое государство выдвигает на первый план силовую функцию. Оно должно не просто организовывать жизнь на собственной, не очень значительной территории, но и иметь возможность защищать интересы своих купцов далеко за ее пределами. Территориальная экспансия бюрократических империй Востока была медлительна и не слишком агрессивна. Завоевательные войны Египта начались лишь тогда, когда развитие купеческих центров Восточного Средиземноморья изменило всю местную экономику, втянув фараонов и их поданных в борьбу за контроль над торговыми путями и поставками сырья. Тем не менее военная слабость Египта проявлялась довольно быстро — при столкновении с кочевниками-гиксосами, ассирийцами, персами. Китай всегда был государством с мощной бюрократией, но крайне слабым силовым блоком. Именно поэтому Поднебесная империя не столько завоевывала своих соседей, сколько сама то и дело становилась жертвой завоеваний.

Оказавшись политически самостоятельными, торговые города обрели новую роль и возможности, которых не было у городских центров древних империй. Те центры выполняли административные функции, и лишь в качестве побочного эффекта в них происходило развитие торговли и производства. Такие города почти не имеют экономического значения в

позднейшем европейском понимании. Они, конечно, являются центрами товарообмена, но в первую очередь — военно-политическими, религиозными и, как мы сейчас сказали бы, научными центрами (инков и ацтеков современное разделение религии и науки очень бы позабавило).

С того момента, когда торговый город становится политически самостоятельным, меняются и его отношения с сельской местностью. Неэквивалентный обмен с деревней становится нормой, поддерживаемой на протяжении столетий — рост городов требует дополнительного изъятия прибавочного продукта на селе. Это может быть достигнуто принуждением или торговлей, но так или иначе деревня оказывается подчинена городу.

Города древности и средневековья нуждались в деревне куда больше, чем деревня в них. Сельское население в значительной мере было самодостаточным. Разумеется, оно потребляло товары из города, но если бы рост городов был ограничен исключительно потребностью села в их товарах, расцвет торговых центров вряд ли был бы возможен. Так что с самого начала внеэкономическое принуждение было важнейшим фактором и условием возникновения рынков. Без изъятия прибавочного продукта их развитие трудно себе представить. Перераспределение ресурсов между массами и элитой дополняется другим перераспределительным потоком — из деревни в город.

Позднее, по мере роста городов и изменения образа жизни, усложняющееся разделение труда изменит объективные отношения города и деревни, снижая потребность во внеэкономическом принуждении. Но произойдет это много столетий спустя, в эпоху буржуазных революций, когда развивающийся городской капитал утратит заинтересованность в феодалах как поставщиках ресурсов.

Политическая власть сосредоточиваясь в городах, обеспечивает их ресурсами. Торговые города и аграрное (ирригационное) государство развивались в значительной мере параллельно. Но с определенного момента они начинали нуждаться друг в друге. Торговый город, обретая самостоятельность, остается крайне уязвимым, ему нужна защита и связь с «внутренними территориями» (рынками сбыта, источниками сырья), нужен административный механизм, обеспечивающий перекачку ресурсов из сельских районов. В свою очередь, перед правителями аграрных империй городское хозяйство открывает новые возможности, обогащает их<sup>16</sup>. Так начинает складываться «смешанная экономика» древности.

<sup>16</sup> Города-государства Азии, за исключением Вавилона, то и дело оказываются под властью чужеродного правителя и прекрасно себя чувствуют. Даже греки в Малой Азии долгое время были лояльными подданными Персии, поставляли ей войска и флот против своих соплеменников на Западе. Существование подобного «ксенократического» господства на Востоке по отношению к городам (кроме Вавилонии) не случайность. Города не только страдали под властью азиатских царей, но и получали от сотрудничества с ними немалые выгоды.



Государства Месопотамии и Восточного Средиземноморья одними из первых демонстрируют смешанную модель власти, для них характерно сочетание торговых и строительно-хозяйственных задач. Здесь мы находим смешение элементов хозяйственной и социальной организации, из которой впоследствии разовьются «античный» и «азиатский» способы производства. Исключением является лишь Египет, где структуры азиатского способа производства не только вполне сложились и достигли полного развития уже во времена Древнего Царства, но и проявили удивительную устойчивость, пережив эллинизм и сохранившись без серьезного изменения даже при Птолемах.

Что касается государств Передней Азии, то здесь формируется своего рода «смешанная экономика». Разделение двух путей развития происходит окончательно, по-видимому, лишь в Темные века, когда рушатся торговые и культурные связи, а греческий «запад» и азиатский «восток» на какое-то время оказались предоставлены сами себе.

Торжество азиатского способа производства над рыночным рабовладельческим типом хозяйства в Месопотамии было прекрасно объяснено еще Марксом. Причиной того, что государство продолжало играть решающую роль, была ирригация. В условиях Междуречья прекращение ирригационных работ привело бы к стремительному заболачиванию значительной части земель и фактическому краху всего сельского хозяйства.

В условиях дефицита плодородной земли, типичного для материковой Греции и западного побережья Малой Азии, напротив, складывались совершенно иные отношения. Однако даже в Греции дорические общины Лаконии развивались в сторону государственного феодализма, а не рыночного хозяйства.

Пионерами рыночной экономики в Средиземноморье выступают не греки, а финикийцы.

После краткого периода расцвета древних цивилизаций в Микенах и на Крите там наступает новый период упадка, обозначаемый историками как «Темные века». Именно в этот момент первые ростки цивилизации начинают пробиваться на Западе. Но и тут немалую роль сыграло влияние Востока. Финикийцам принадлежит, по выражению Оскара Егера, «честь пересадки приобретенной культуры восточного мира на Запад»<sup>17</sup>. В условиях экономического упадка Востока, торговля финикийцев могла выжить лишь за счет появления новых рынков. В их поисках финикийцы проникают в самые отдаленные уголки европейского континента, предлагая все еще диким племенам Севера изделия более развитых народов, и тем самым становятся разносчиками опыта передовых цивилизаций своего времени.

<sup>17</sup> О. Егер. *Всемирная история*. Т. 1, Древний мир. СПб.: Полигон, М.: АСТ, 2001, с. 36.

Если идеологи, настаивающие на «уникальности» Запада, готовы признать роль азиатских обществ в становлении бюрократии, развитии военного дела и формировании централизованного государства, то уж в вопросе о происхождении демократии и рыночной экономики они настаивают на приоритете Европы. Увы, это далеко не так.

Не только деньги, кредит и многие другие базовые элементы рыночной экономики родились на Востоке (точно так же, как и имперское государство, бюрократия и «европейский тип» алфавитной письменности, не говоря уже об «арабских» цифрах, привезенных в Европу из Индии еврейскими купцами), но и город-полис, ставший первой формой демократического государства, возник отнюдь не в Греции.

Города-государства «полисного» типа существовали еще в древнем Шумере и позднее у финикийцев — задолго до начала греческой истории. Причем, как и у греков, первоисточником полиса было несколько сельских общин, объединившихся по военным, экономическим или религиозным соображениям. Вавилон тоже начинался как город-государство, не сильно отличающийся от позднейших греческих. Разумеется, эти шумерские полисы не были демократиями, но и ранние греческие государства — тоже.

Хотя города Месопотамии имели царей, позиции последних были не прочнее, чем в ранних греческих полисах. Историки, изучающие шумерские хозяйственные документы, констатируют, что «власть царей была отнюдь не столь беспредельной, как они это изображали в своих надписях, и что община, хотя и ослабленная в результате происшедшего в ней процесса дифференциации, продолжала оставаться силой, с которой царю приходилось все еще считаться»<sup>18</sup>. Еще слабее была монархия в Финикии: «Крупные рабовладельцы держали под своим неослабным контролем и царя, который в торговых городах-государствах Финикии не обладал деспотической властью царей Египта и Вавилонии»<sup>19</sup>.

Укрепление царской власти происходило по мере роста территории государства, что опять же относится и к греко-римской истории. Республиканский строй Рима, допускавший широкое участие плебеев в политике, как и Афинская демократия, были скорее исключением, чем правилом для античного мира, где преобладали все же монархии и олигархии.

Если история демократических Афин закончилась крахом государства, то история Римской республики завершилась созданием великой средиземноморской империи. Но в политическом отношении итоги римской победы и афинского поражения были поразительно схожи: и в том и в другом случае демократическим порядкам пришел конец, а граждане попали под власть монархов (в одном случае — македонских царей, в другом — собственных императоров).

<sup>18</sup> Всемирная история. М.: Академия наук СССР, Политиздат, 1956, т. 1, с. 213.

<sup>19</sup> Там же, с. 389.

Крупные территориальные объединения древности просто не могли управляться по правилам полисной демократии, которая оставалась в значительной мере пережитком общинного строя, пусть и трансформировавшимся под влиянием новых условий. Эта демократия принципиально отличается от сословного представительства средневековой Европы, ставшего прообразом буржуазного парламентаризма. Больше того, первое отнюдь не создает благоприятной почвы для развития второго. Ибо возродившаяся (точнее, заново сложившаяся) демократия полисного типа в городах Европы X–XII веков сдерживала становление единого государства. Флоренция, Новгород и Любек не породили парламентов, земских соборов и Генеральных Штатов. Эти формы сословного представительства были созданы монархиями, подавившими политическую самостоятельность городов.

Городские республики возникли в Финикии. Классическим примером такой республиканской олигархии является, конечно, Карфаген. Но в еще более ранний период республиканская форма правления была известна финикийцам: в сохранившейся дипломатической переписке «по отношению к ряду городов, как, например, к Арваду, всегда говорится лишь о “людях Арвада” и никогда не упоминается царь Арвада»<sup>20</sup>. В период персидского господства внутреннее устройство находящихся под их протекторатом финикийских городов было республиканским. Царская власть понемногу исчезала и в городах Этрурии.

Язык этрусков так и не удалось до настоящего времени расшифровать. А большая часть информации о политической системе финикийских колоний приходит к современному историку из римских и греческих источников, которые рисуют картины ужасающей коррупции и всеобщей продажности — в противовес республиканским доблестям римлян. Легко догадаться, что подобные рассказы имеют отпечаток политической пропаганды. Нет сомнений, что продажности и коррупции в Карфагене было более чем достаточно. Но политические нравы в Коринфе и поздней Римской республике были, безусловно, не лучше. На протяжении истории Карфагена мы наблюдаем такую же борьбу традиционной олигархии и демократов, какую мы находим в греческих полисах и в самом Риме, причем ко времени Третьей Пунической войны демократы явно начинают одерживать верх<sup>21</sup>.

Чеканить монету, судя по всему, придумали в азиатской Лидии. Это царство, расцветшее благодаря собственным месторождениям золота — рудникам Тмола, золотоносным пескам реки Пактол. Именно здесь дога-

<sup>20</sup> Всемирная история, с. 213.

<sup>21</sup> Впрочем, надо признать, что среди историков нет полного единства относительно того, какую из соперничавших карфагенских партий считать демократической.

дываются нарезать золотую проволоку маленькими кусочками, ставить на них клеймо, и тем самым использовать драгоценный металл для мелких и средних торговых сделок.

Алфавит появляется в Финикии. Характерно, что его родина — город Угарит был многонациональным торговым центром, тесно связанным с Египтом, Кипром, Микенами, Передней Азией. Здесь микенские вазы можно было обменять на балтийский янтарь, а изделия из кипрской меди поставлялись в страну хеттов и бедную сырьем Месопотамию. Как отмечают французские историки, появление алфавита тесно связано с торговым и космополитическим характером финикийского общества. Условием для этого было «многонациональное население городов и расширение торговли, потребовавшие использования единого алфавита для передачи знаний на разных языках. Алфавит, бывший предком греческого и латинского, служил средством сохранения знаний и их широкому распространению: каждый мог запомнить начертание 20 или 30 знаков, не проходя при этом специальной подготовки»<sup>22</sup>.

Именно многонациональные и культурно разнородные общества Востока, а не этнически более однородный Запад, были источником постоянных инноваций как технических и экономических, так и культурных. К концу бронзового века археологи и историки дружно констатируют «отставание Европы»<sup>23</sup>. Это отставание проявляется в одновременной слабости центральной государственной власти и неразвитости рыночной экономики. Сильное правительство, характерное для древних держав Азии и Восточного Средиземноморья, оказалось, по крайней мере, на том этапе истории фактором, благоприятствующим развитию рынка.

В плане военной традиции Запад обязан Ассирии ничуть не меньше, нежели Древней Греции и Риму. По ироническому замечанию одного из историков, «Ассирия ничего не дала миру, кроме идеи империи и устройства военной машины»<sup>24</sup>. Действительно, в отличие от бюрократического или теократического государства, формировавшегося в Китае и Египте, правители Ассирии смогли создать крупную территориальную державу, опиравшуюся прежде всего на организованную военную силу. В 745 году до нашей эры царь Тиглатпаласар III создал первую в истории профессиональную армию, содержавшуюся за счет казны. Она имела некое подобие единой униформы, стандартизированное вооружение, сосредоточенное в царских арсеналах, знамена (два бегущих буйвола на фоне диска, насаженного на шест), разделение на рода войск. Наряду с конницей и пехотой существовали и инженерно-саперные подразделе-

<sup>22</sup> История мира. Древний мир. М.: Белфакс, 2000, с. 132 (ориг. фр. изд.: *L'Histoire du monde. L'Antiquite*. P.: Larousse, 1993).

<sup>23</sup> См.: Там же, с. 86.

<sup>24</sup> Л.А. Мосионжник. Цит. соч., с. 103.

ния, служба разведки, которую по обычаю возглавлял наследник престола. Были здесь и свои «политработники» — жрецы, закрепленные за соответствующими боевыми отрядами и даже военные музыканты. В бою подобная армия могла сохранять четкое построение, дисциплину и эффективно управляться командующим. Как отмечает историк Л.А. Мосионжник, «такая армия изменила весь характер общества»<sup>25</sup>. Военная организация в значительной мере стала основой политической. В то же время содержание на постоянной основе мощной военной машины требовало очень больших средств, которые могли быть получены либо за счет военной добычи и постоянного расширения державы, либо за счет жесткой эксплуатации подвластных территорий. Причем эксплуатация могла быть эффективной лишь в финансовой форме — парадоксальным образом, милитаристский режим империи способствовал развитию денежной экономики, ибо иная форма хозяйства не могла удовлетворить его потребность в содержании регулярной армии.

В конечном счете ассирийская держава рухнула, столкнувшись с проблемой ограниченности ресурсов. Военная машина пожрала весь ассирийский народ, армия пополнялась случайным сбродом со всех концов империи. Легко заметить, что несмотря на все культурные различия, Римская империя в значительной мере повторяла развитие Ассирии, сталкиваясь с теми же проблемами и противоречиями.

После краха Ассирийской империи в том же историческом регионе формируется новая держава — Персия. Расширение персидской империи на Запад было естественным следствием укрепляющейся связи между торговыми городами и аграрными империями. Финикийцы (особенно жители Сидона) сопротивлялись завоевателям гораздо активнее, чем греки, ведь финикийские города были ориентированы на глобальную морскую торговлю. Зато города Месопотамии были лояльны к персам. А ионийские греки, несмотря на презрение к варварам, отнюдь не продемонстрировали стремления к свободе. Именно они втянули персов в войны с Афинами и Спартой!

Персы не пошли же на Индию, хотя это богатая и легкая добыча, они двинулись на Запад, пытаясь установить контроль над торговой зоной Восточного Средиземноморья, иными словами, положили начало процессу, завершённому уже Римом. История сохранила нам не только миф о героическом сопротивлении свободных греков Персидской империи, но и случаи многочисленных переходов греков к персам — в этом списке мы находим не только Алкивиада, но и самого Фемистокла, победившего персов при Саламине и тем спасшего эллинскую свободу. Оклеветанный соотечественниками, после долгих скитаний он бежал к персидскому царю Артаксерксу I и получил в управление ряд греческих городов Ма-

<sup>25</sup> Л.А. Мосионжник. Цит. соч., с. 97.

лой Азии. Предатели есть в любое время и в любой стране, но эти переходы были слишком частыми и массовыми, чтобы их можно было считать просто частными случаями, не требующими особого объяснения.

Греческие войска и корабли были постоянной частью военной машины персов. В персидской державе был влиятельный греческий «сегмент» со своими специфическими интересами, которые не только принимались во внимание царями, но зачастую и определяли их политику.

Другое дело, что интересы торговой олигархии не всегда совпадали с настроениями и интересами городских масс. Именно в этом была суть замечательной идеологической диверсии, устроенной Фемистоклом перед сражением при Саламине.

Плутарх: «Плывя вдоль берегов, Фемистокл повсюду, где неприятель необходимо должен был приставать, спасаясь от бури, делал заметными буквами надписи на камнях, которые случайно находил или сам ставил около корабельных стоянок и источников. В этих надписях он обращался к ионянам с воззванием, если можно, перейти к афинянам, своим отцам, борющимся за их свободу; а если нельзя, то, по крайней мере, вредить варварскому войску во время битвы и приводить его в расстройство. Он надеялся этими надписями или склонить ионян к измене, или смутить варваров, заставив их относиться с большей подозрительностью к ионянам»<sup>26</sup>. Фемистокловы камни за две с лишним тысячи лет до Ленина были обращенным к низам призывом превратить империалистическую войну в гражданскую.

На первых порах Греция находилась на окраине культурной зоны «Среднего Запада», простиравшейся от Восточного Средиземноморья до Междуречья (то, что сейчас называют Ближним Востоком). Древние греки не были первыми ни в том, что касается рыночной экономики, ни даже в создании институтов народоправства. Их историческая заслуга состоит в том, что идеям и опыту, полученному ими с Востока, они сумели придать собственную форму, настолько законченную, осмысленную и последовательную, что их культура за весьма короткий срок распространилась по всему Средиземноморью, став образцом для подражания.

Куда значительнее были новации греков в военном деле. Дисциплинированное ополчение превратилось в фаланги тяжеловооруженных гоплитов. Ранее подобные элитные подразделения могли формироваться лишь в качестве царской гвардии, тогда как демократизация военной системы, осуществленная эллинами, позволяла организовать массовую мобилизацию граждан полиса, одновременно обеспечивая их хорошим вооружением.

На море греческие города создали постоянный военный флот. Финикийцы, будучи искусными мореплавателями, не делали морскую войну

<sup>26</sup> Плутарх. Избранные жизнеописания. М.: Правда, 1990, т. 1, с. 223.

отдельным искусством. Ни Тир, ни Сидон, являясь крупными торговыми центрами, не были в военно-политическом смысле морскими державами. Они выставляли боевые корабли по мере необходимости для защиты собственных интересов или по требованию очередной господствовавшей над ними сухопутной империи. Не создав собственной военной силы хотя бы на море, торговые города — за исключением Карфагена — не стали серьезными политическими центрами. Напротив, Афины в ходе войн с персами не просто построили мощный флот, но и превратили его в постоянно действующую силу, присутствующую на море не только во время войны, но и в дни мира. Именно это постоянное содержание военного флота стало стержнем Афинского морского союза — младшим партнерам приходилось регулярно жертвовать деньги на содержание этой силы. Сосредоточив в своих руках морскую мощь, Афины неожиданно обнаружили себя центром финансового накопления.

Финикия и Греция могут быть представлены как «Голландия» и «Англия» древности. Подобно голландцам XVII века, финикийцы были морскими извозчиками древности, сосредоточившими в своих руках посредническую торговлю по всему Средиземноморью и даже за его пределами. Как отмечает Л. Мосионжник, «вся морская торговля от Британии до Сомали совершалась на их кораблях, так что вплоть до эпохи Александра Македонского все крупные державы Передней Азии нанимали себе на службу тирян вместе с их кораблями, вместо того чтобы заводить собственный флот. Однако торговля финикийцев была именно и только посреднической. И в Тиро-Сидонском царстве, и в Карфагене собственное ремесло было развито слабо и обслуживало в основном лишь нужды самих этих городов, торговавших чужими товарами»<sup>27</sup>. Иное дело греки, которые, подобно англичанам в Новое время, были не только торговцами, но и производителями. «В отличие от финикийцев (что и обеспечило эллинам победу над ними в конкурентной борьбе), греки не ограничивались перевозкой на своих судах чужих товаров, но торговали в основном собственной продукцией: ремесленными изделиями, вином, оливками и т.д. Свое значение мировых торговцев эллины сохранили даже тогда, когда политическая свобода Греции окончательно отошла в прошлое»<sup>28</sup>.

Таким образом, вытеснение финикийцев эллинами на вторые роли в древней торговле было в значительной мере повторено победой Англии над Голландией в XVII веке. История вообще полна повторяющимися сюжетами (что часто оказывается ловушкой для историков). Об эти повторы спотыкается наивная критика источников, начиная от русских «антинорманистов», отрицавших существование варягов на том осно-

<sup>27</sup> Л.А. Мосионжник. Цит. соч., с. 128.

<sup>28</sup> Там же, с. 388.

вании, что сюжет про трех братьев, основавших государство, явно носит мифологический характер<sup>29</sup>, заканчивая Фоменко, посчитавшим, будто античной истории вообще не было. Дело не только в том, что сами мифологические сюжеты часто обобщают ситуации, случающиеся в реальной жизни, но и в том, что в истории существуют общие закономерности, порождающие в сходных условиях многократное повторение однотипных сюжетов (народные восстания, завоевательные походы, торговое соперничество, устранение конкурентов, предательство, порабощение и борьба за свободу).

Таким же политическим «прасюжетом» для последующей истории стала и борьба олигархических и демократических партий в греческих городах. Борьба демократии и олигархии была типична для большинства государств полисного типа не только в Греции, но и за ее пределами. Однако переворот VII–VI века до нашей эры в Афинах привел к тому, что олигархия потерпела беспрецедентное поражение. В этом плане устойчивый, сохраняющийся на протяжении длительного исторического периода демократический строй действительно был историческим исключением. Причем не только по отношению к Востоку, но и по отношению к большей части Греции.

Однако распространение греческой культуры в соседние страны не имело ничего общего с распространением институтов демократии. Напротив, именно с поражением демократических сил в Афинах и других полисов начинается новая эпоха, когда эллинизм превращается в культурный инструмент недолговечной, но блестящей македонской империи.

Эллинизация Востока происходила задолго до Александра Македонского точно так же, как и эллинский мир в более раннюю эпоху находился под сильным влиянием обществ, сложившихся в Египте и в Передней Азии. Эллинские колонии на Востоке находились в постоянном взаимодействии с «варварами», которые активно перенимали все, что считали для себя полезным, включая художественный стиль и философские знания. Греки из городов Малой Азии были подданными персидских царей, греки-эмигранты — их советниками, получая иногда даже сатрапские должности, а греки-наемники составляли ударную часть их армии. Главное же то, что включив в состав империи греческие города и Финикию, персидские цари соединили континентальную Азию со Средиземноморьем экономически задолго до того, как Александр Македонский объединил их культурно и политически. Вот почему после походов

<sup>29</sup> При этом существование трех братьев князей в Киевской Руси — Владимира, Ярополка и Олега — никто, естественно, не отрицает, хотя параллель с мифологическим сюжетом и с историей о Рюрике, Синеусе и Труворе просто бросается в глаза. Кстати, еще раз сюжет о трех братьях повторяется в случае Ярослава, Бориса и Глеба.



Александра эллинизация произошла с поразительной быстротой и легкостью, завоевательные походы были на удивление короткими и успешными, а эллинистические династии диадохов прочно удерживались на своих престолах, несмотря на первоначальную малочисленность греко-македонского элемента в покоренных обществах. И напротив, Индия, не затронутая ранее процессом экономической и культурной интеграции со Средиземноморьем, оказалась Александру не по зубам.

Древняя Греция в VI–V веках до нашей эры выступала в роли экономического и культурного гегемона по отношению к «полуварварским» Эпиру и Македонии, но именно македоняне в конечном счете смогли превратить греческое экономическое и культурное влияние в политическое господство. Причем прежде чем распространить свое влияние на Грецию, македонские цари из династии Теменидов, научились использовать эллинскую культурную гегемонию в качестве политического инструмента в собственном царстве. Греческий язык правящей династии (происходившей, по преданию из Аргоса на Пелопоннесе) сделался государственным, позволяя объединить в единое целое разрозненные племена иллирийского или фракийского происхождения. Еще задолго до Александра Великого эллины описывали македонян в качестве варваров, говорящих на греческом языке<sup>30</sup>.

В самой Греции македонское завоевание принесло с собой существенные культурные перемены, без которых эллинизм был бы в принципе невозможен. Несмотря на то что культурная ассимиляция «варваров» происходила стихийно на протяжении длительного исторического периода, сами эллины не только не способствовали этому процессу сознательно, но, напротив, всячески стремились ограничить его, проводя жесткое разделение между варварами, говорящими на греческом языке, и собственно греками. Показательно, что Александр Македонский был допущен до участия в Олимпийских играх только потому, что его род происходил от Теменидов, правителей Аргоса. Подданные же его допущены быть не могли.

Македоняне, будучи сами эллинизированными варварами, резко изменили ситуацию, поставив на первое место культурную, а не этническую идентичность. Подобная политика, ориентированная на культурную ассимиляцию новых подданных, первоначально реализованная в самой Македонии, была впоследствии навязана грекам (вместе с преодолением полисной ограниченности, при которой даже грек из соседнего города считался «метеком», бесправным чужаком), а затем стала нормой, повлиявшей на культурную практику всех успешных империй. Тот

<sup>30</sup> См.: Кембриджская история древнего мира. М.: Ладомир, 2007, т. 3, ч. 3, с. 337 (англ. изд.: *The Cambridge Ancient History. Second Edition. Cambridge University Press, vol. 3, p. 3, ch. 40*).

же культурно-политический механизм во времена эллинизма был перенесен македонскими царями-диодохами в Азию, а позднее стал универсальным методом имперской культурной интеграции, для всех мировых держав, начиная от Рима и заканчивая Великобританией.

В географическом отношении Великая персидская империя представляла собой сухопутный мост между мирами-экономиками Восточного Средиземноморья, с одной стороны, Южной и Восточной Азии — с другой. Александр Македонский, завоевав эту державу, достроил «мост», включив в единое политическое пространство греческий мир на Западе и берега Инда на Востоке (иными словами, сделал то, что не удалось персидским царям Ксерксу и Дарию во время их войн против Афин и Спарты). Однако завоевания македонян, несмотря на сопровождавшие их культурные и этнические перемены на Востоке, не только не укрепили единство и взаимную связь подвластных территорий, но, напротив, привели к обрушению этого «моста». Больше того, держава Селевкидов, унаследовавшая большую часть персидской империи, сама довольно быстро распалась.

Подобный итог не может быть объяснен одной лишь ранней смертью завоевателя и последующим соперничеством его наследников — диадохов. Совершенно очевидно, что экономическая и культурная интеграция персидских владений была недостаточной для сохранения единого государства, более того, она неуклонно ослабевала. Завоевание огромной Персии скромными силами Александра Великого воспринималось как военно-политическое чудо, причем чем больше времени проходило со времен македонских походов, тем более удивительными и чудесными казались их результаты. Чудо объясняли либо полководческим гением завоевателя, либо военным превосходством его армии. Образ могучей македонской фаланги в течение длительного времени гипнотизировал историков, повторявших друг за другом, что «именно фаланга одерживала победы, прославившие Александра»<sup>31</sup>. Европоцентристская историческая традиция усматривала здесь и доказательство духовного и организационного превосходства «Запада» над «Азией»<sup>32</sup>.

Действительно, македонская фаланга являлась мощнейшей военной машиной. Но она была непобедима лишь при условии, что ее надежно прикрывали с флангов, а противник был не способен активно маневрировать. Важнейшие победы Александра были достигнуты благодаря действиям кавалерии, точнее — благодаря эффективному взаимодействию родов войск. Между тем противостояли македонянам отнюдь не дикие

<sup>31</sup> С.А. Нефедов. Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008, с. 31.

<sup>32</sup> См.: V. Davis Hanson. Why the West Has Won: Carnage and Culture from Salamis to Vietnam. London: Faber, 2001.

толпы варваров, а зачастую такие же греческие фаланги, состоявшие из служивших персам наемников. Еще задолго до похода Александра греческие отряды свободно действовали в Персии, не встречая достойного сопротивления. Ксенофонт в «Анабазисе» (или «Походе Кира» — «Κύρου ὑΰβασις») подробно описал поход Кира Младшего во время гражданской войны, охватившей Персию. Несмотря на неудачу экспедиции, десяти-тысячный отряд греков дошел до Вавилона, а после битвы при Кунаксе сумел отступить через Армению к Трапезунту и далее на Запад в Византию, Фракию и Пергам. В Пергаме Ксенофонт, который еще в Месопотамии был избран одним из стратегов греческого войска, а во Фракии сделался его главнокомандующим, передал уцелевших солдат в распоряжение Фиброна — спартанского военачальника, собиравшего войско для ведения войны с сатрапом Фарнабазом. К тому времени, несмотря на все трудности похода, под его началом оставалось около половины армии — до 5000 человек.

Не удивительно, что персидские цари, зная о превосходстве греческих гоплитов над азиатскими отрядами, превратили греческие подразделения в основную боевую силу своей армии. Превосходство македонского войска над персидским, таким образом, отражало не столько превосходство западной организации над восточной, сколько превосходство македонской фаланги над греческой (что показало в 338 году до нашей эры сражение при Херонее). По отношению к греческому копью македонская сарисса длиной в 14 локтей (6,3 м) была как английское нарезное оружие против русского гладкоствольного ружья под Альмой.

Несмотря на техническое превосходство македонян над греками и персами, ключевым фактором их успеха было то, что и греческие полисы, и персидская империя находились ко времени похода Александра в глубочайшем упадке. Это прекрасно сознавал уже Филипп II, отец Александра, начавший готовить большой поход на Восток сразу же после подчинения Греции.

Однако те же факторы, что обеспечили легкость македонского завоевания, предопределили и непрочность созданной империи. Вместо того чтобы подчинить Персию себе, македонские победители лишь ускорили ее обрушение. Слабость связи и отсутствие взаимной экономической потребности между средиземноморским миром и обществами Индии, Китая, Южной Азии сделали великую македонскую империю ненужной и невозможной. По мере того, как уходит в прошлое представление об абсолютном культурном превосходстве Запада, обнаруживается, что победы Александра Македонского были скорее завершающим этапом распада персидской державы, нежели основанием новой мировой империи. «Нельзя воспринимать деятельность Александра Великого и его преемников, греков и македонцев, на Востоке как несущую исключительно

прогресс и процветание так называемым варварам», отмечает российский историк А.А. Попов<sup>33</sup>. Походы греко-македонской армии сопровождались значительным разрушением производительных сил в Центральной Азии, и даже последовавший за этим экономический подъем, связанный с греческой колонизацией и созданием полисов, не привели к становлению единого экономического пространства на огромной территории от Инда до Нила, оказавшейся под властью сначала Александра, а затем диодохов. Распад Македонской державы превосходно свидетельствует против «ревизионистских» версий «миросистемной теории», пытающихся представить мировую экономику как единое целое уже в древности. Средиземноморский экономический мир нуждался для своего развития и консолидации в землях Передней Азии, Египта и Анатолии. Это было достигнуто благодаря завоеваниям Александра. Не удивительно, что именно на данных территориях культурное и политическое наследие эллинизма оказалось прочным и долговечным, готовя государственное объединение под властью Рима, тогда как в более восточных землях оно постепенно сошло на нет. Причина тому не в географической отдаленности, а в слабости экономических связей. После распада империи Александра греческое присутствие было очень сильно в Бактрии, но объективные обстоятельства заставляли ее правителей больше интересоваться делами Индии, нежели Эллады или даже Вавилона.

Греческое царство в Бактрии отделилось от державы Селевкидов в 250 году до нашей эры одновременно с Парфией и превратилось в могущественную державу, контролировавшую большую часть Центральной Азии — нынешних Афганистана, Узбекистана и Туркмении. В 190 году бактрийский царь Деметрий совершил поход на юг, начав завоевание Северо-Западной Индии, где быстро распространялось греческое влияние. Как отмечал Страбон, правители Бактрии «приобрели такое могущество, что стали владыками не только Арианы, но, по словам Аполлодора из Артемиды, также и в Индии; они подчинили себе больше племен, чем Александр»<sup>34</sup>. Однако последний бросок на юг для греков закончился распадом единой бактрийской державы. На северо-западе Индии возникли две соперничающие эллинистические династии.

Само по себе существование греко-индийских эллинистических государств является наглядным опровержением идей о закрытых и самодостаточных цивилизациях, живущих собственной изолированной жизнью. Археологические находки на территории древней Бактрии демонстрируют смешение александрийских, сирийских, индийских и греческих произведений искусства, тут же присутствуют китайские лакированные изделия.

<sup>33</sup> А.А. Попов. Греко-Бактрийское царство. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008, с. 223.

<sup>34</sup> Цит. по: Там же, с. 145.

Держава греческого царя Менандра, вошедшего в индийскую традицию под именем Милинды, оказалась одним из центров развития буддизма, а сам царь в индийской традиции превратился в «легендарную личность, подобную самому Будде»<sup>35</sup>. Буддийские тексты изображают его «мудрым и внимательным собеседником буддийского монаха Нагасены»<sup>36</sup>. На основе их бесед сложилось одно из классических произведений буддизма «Милиндапаньха» («Вопросы Менандра»). Остается открытым вопрос, принял ли сам царь в конечном счете буддизм, но вне всякого сомнения он покровительствовал его сторонникам, стремясь укрепить свое политическое влияние в Индии. Если для мыслителей начала XXI века аристотелевская логика и восточный менталитет представляют собой два диаметрально противоположных подхода к жизни, то для людей эллинистической эпохи они были лишь двумя взаимодополняющими источниками мудрости — ведь в то время еще не придумали теорию цивилизаций, предполагающую подобную несовместимость.

Однако как эллинистическая Бактрия, так и индо-греческие царства разрушились, почти не оставив следов, кроме археологических. Впоследствии историки находили следы греческого влияния в монетной чеканке, технике обработки камня и даже в индийской философии<sup>37</sup>. Однако в целом разрыв связей между Средней Азией и Индией в III–XII веках предопределил и «вымывание» античной традиции в местной культуре.

Далеко не всем империям удавалось превратиться в единое хозяйственное пространство. Существование развитых экономических связей между ее основными частями было важнейшим условием, от которого в конечном счете зависело выживание этого государства. Крах эллинистических держав на Среднем Востоке свидетельствует о том, что несмотря на развитие межрегиональной торговли, здесь не было единой экономики, устойчивого разделения труда и неразрывной связи между регионами. Как справедливо отмечал Иманнуил Валлерстайн, сама по себе торговля еще не является доказательством экономической интеграции. Торговля излишками позволяет нескольким экономикам существовать бок о бок друг с другом, влиять друг на друга, никоим образом не становясь единым целым.

Разумеется, торговые связи между Востоком и Западом не прерывались никогда. Но они не были существенны для воспроизводства той или другой системы. Некоторые удачные заимствования сохранялись. Так аттический монетный стандарт продолжал существовать на территории Индии и Центральной Азии спустя долгие годы после того, как там исчезли следы греческой цивилизации, а сами Афины превратились

<sup>35</sup> История мира. Древний мир, с. 376.

<sup>36</sup> А.А. Попов. Цит. соч., с. 96.

<sup>37</sup> См.: История мира. Древний мир, с. 377.

из мирового центра в заштатный провинциальный город. Точно так же греческий алфавит продолжал использоваться в этих краях еще целую тысячу лет, пока не был вытеснен арабским.

В то время как единое политическое и экономическое пространство распадалось на Востоке, на Западе происходила консолидация. Первоначально Карфаген, по мнению историков, «в большей степени был озабочен формированием торговых сетей, чем созданием империи»<sup>38</sup>. Однако логика торговой экспансии неминуемо вела к экспансии политической. Борьба Рима и Карфагена за господство над западной частью Средиземноморья оказывается прологом к возникновению новой империи, объединяющей под властью единой державы Италию и Северную Африку, Испанию и Египет, Британию и Сирию.

Если кто-то в Западном Средиземноморье и пытался в древности заложить основы будущей мироэкономики, то это были не римляне, а карфагеняне. Они не только осваивали новые торговые пути, но и вовлекали в регулярный обмен ресурсы, ранее недоступные — народы находившиеся за пределами привычной ойкумены. Еще Геродот упоминает торговлю, которую вели пунийцы за Геркулесовыми Столпами в Африке. В обмен на средиземноморские товары, местные жители поставляли золото, которое, по мнению позднейших историков, привозили «из Западного Судана путем, известным позже, в эпоху арабской торговли»<sup>39</sup>. Это было то самое золото, в поисках которого полторы тысячи лет спустя португальцы предприняли свои путешествия вдоль западного побережья Африки.

Архивы Карфагена погибли в огне Третьей Пунической войны, что представляет собой невосполнимую утрату для историков, которые не только должны теперь смотреть на финикийское общество глазами его врагов, но не имеют уже и полной картины истории Средиземноморья в целом, включая историю самих греков и римлян<sup>40</sup>. Остается только на-

<sup>38</sup> Э. Дриди. Карфаген и Пунический мир. М.: Вече, 2009, с. 76.

<sup>39</sup> История, социология, культура народов Африки. Статьи польских ученых. М.: Наука, 1974, с. 47.

<sup>40</sup> Показателем того, насколько слабо современная историография представляет себе развитие Карфагена, можно судить по многотомной «Истории мира», подготовленной издательством «Larousse». Четко соблюдая принцип равенства культур, авторы дают описание мировых событий в строгом хронологическом порядке, перемежая сообщения о греках и римлянах отчетами о событиях, происходивших в Китае и Индии, о жизни ольмексов и развитии цивилизации в Африке. Однако даже при таком подходе история Карфагена, насчитывавшая несколько столетий, не удостоилась отдельной главы, он упоминается исключительно в связи с его борьбой против Рима. В течение XX века археологические исследования позволили несколько дополнить картину, но, как признает французский историк Эди Дриди, враждебные пуническому миру греко-римские авторы остаются основными источниками, «если мы не хотим свести историю Карфагена к скудным отчетам о проведенных раскопках и к изучению отдельных предметов» (Э. Дриди. Цит. соч., с. 10).

деться на какие-либо новые археологические открытия в Северной Африке, которые хоть немного исправят положение.

Однако даже по отрывочным сведениям из римских источников (к тому же явно искаженных в духе военной пропаганды) можно сделать вывод, что политическая структура двух соперничающих государств была весьма схожей. Как римская держава в Италии на первых порах представляла собой неравноправную федерацию городов и территорий, где полноценными гражданами были только жители Рима, так и Карфагенское государство объединяло граждан полиса с союзниками и подданными, имевшими более низкий статус. И там и тут мы видим острую борьбу партий, восстания городских низов и господство олигархии в Сенате. Два карфагенских шофета в точности соответствуют двум римским консулам (в качестве системы сдержек и противовесов закон требовал, чтобы эти должности не могли одновременно исполнять два представителя одного и того же рода).

Впрочем, Римская республика, скорее всего, была действительно демократичнее, что позволяло ей создать армию на основе всеобщей воинской обязанности граждан. В Карфагене, где уровень социального расслоения и соответственно острота конфликта между верхами и низами были значительно выше, правящие круги такого себе позволить не могли и воевали с помощью наемной армии. Само по себе это лишь свидетельствует о том, что пуническое общество опережало Рим по своему развитию (ведь там с течением времени произошло ровно то же самое). Однако Римская держава столкнулась с подобными проблемами не только позднее, но в тот момент, когда империя уже обладала достаточными ресурсами для их решения. Карфаген, разрываемый социальными противоречиями, борьбы со сравнительно консолидированным римским обществом не выдержал. Даже полководческий гений Ганнибала не мог изменить того факта, что карфагеняне не могли в случае неудачи выставлять одну за другой новые армии на замену разгромленных, тогда как Рим — мог.

## КРАХ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАПАДА

Римская эпоха представляет собой время бурного расцвета рыночной экономики. Некоторые исследователи даже находили в Древнем Риме своего рода античный «капитализм». Однако это была рыночная экономика с ограниченным накоплением капитала, а главное — без свободного найма рабочей силы.

Разумеется, найм работников практиковался, о чем мы можем найти изрядное количество свидетельств, начиная с латинских текстов и заканчивая Библией. Однако наемный труд не был основой массового производства. Полноценная рыночная экономика требует превраще-

ния рабочей силы в товар, но только европейский капитализм смог решить эту проблему, не превращая в товар самого человека. Античный рынок рабочей силы был рынком рабов. Окончание наступательных войн и стабилизация империи означали одновременно сокращение потока рабов и постепенное ослабление экономической основы державы. Но и вести наступательные войны бесконечно не было никакой возможности. Территория империи достигла своего естественного предела, объединив все пространство Средиземноморья с Галлией и Британией, которые уже в финикийскую эпоху были связаны с ним поставками сырья, а также с Причерноморьем, являвшимся поставщиком продовольствия. Экономическая интеграция единого пространства была достигнута в максимально возможных пределах (в течение короткого времени римляне контролировали даже Вавилон), но именно это делало крайне затруднительной и дорогостоящей дальнейшую экспансию, выходящую за границы привычного мира.

Хотя в период III–IV веков можно наблюдать постепенную варваризацию Рима, одновременно происходит и распространение античной цивилизации на варварские племена, находившиеся за пределами империи. Однако уже к концу IV века ситуация меняется. С одной стороны, Рим продолжает варваризироваться, но с другой стороны, происходит и явное одичание самого варварского мира. Связано это как с деградацией римского общества и цивилизации, так и с мощным натиском гуннов и других кочевых народов с Востока, разрушающих общество готов и приводящих весь варварский мир к востоку от империи в состояние катастрофической нестабильности. Вообще основной удар гуннов пришелся не по Риму, а как раз по другим варварам.

В результате мы видим откровенный упадок именно варварского общества: племена, жившие торговлей и земледелием, превращаются в кочевников или полукочевников, государственные порядки рушатся, уступая место военной организации банд и племен. Варвары к IV веку во многом достигли того же уровня, что был у римлян и греков на пороге их классической истории, например, у готов было вполне упорядоченное государство, но оно уничтожено гуннами.

Деградация гражданских институтов Рима привела, как известно, к варваризации армии. Причем показательно, что римляне набирали в свои легионы и вспомогательные подразделения именно наиболее диких и свирепых варваров (тех же гуннов, например). В итоге «римские» армии, во-первых, были уже не особенно римскими и во многом оказывались ближе к варварскому обществу по ту сторону границы, чем к собственно-му обществу. А во-вторых, возник разрыв между военной организацией, становившейся откровенно варварской и гражданской организацией, которая оставалась римской. Варварам позволялось достигать высоких по-



стов в военной иерархии, но их категорически не пускали в гражданские институты империи. При этом, однако, гражданские институты постоянно слабели, а значение военной организации усиливалось. В итоге оставалось только достроить систему политически, подчинив гражданские институты военным, что и произошло при Одоакре и Теодорихе. Причем сохранилась та же система двойной администрации, только под политическим контролем варварских вождей, сменивших западных римских императоров. Та же система, которую Одоакр и Теодорих установили в Италии, с меньшим успехом воспроизводилась в других варварских королевствах к концу V века и Галлии. Иными словами, появление варварских королевств было результатом постепенной эволюции римского государства и даже итогом внутреннего военного переворота не в меньшей (а возможно, и в большей) степени, нежели завоевания.

В военном отношении варварские нашествия представляют собой несколько затяжных военных кампаний, развивавшихся по общей логике. Римская оборона была построена в два эшелона. Первую линию составляли крепости и защитные валы вдоль Рейна и Дуная — *limes*, своего рода «линия Мажино» древности. Правда к V веку на некоторых, менее опасных участках сплошную систему укреплений сменили отдельными крепостями, например, в районе Кельна. Причем расчет был верным — именно в этой зоне, населенной франками, вплоть до окончательного падения Рима было сравнительно спокойно. Вторжения и набеги происходили и тут, но не представляли для империи стратегической угрозы.

Вторую линию составляли три мобильные армии, в основном варварские, но сохранявшие боеспособность и лояльность империи вплоть до самого переворота Одоакра. Эти армии должны были наносить удары по варварским отрядам в случае прорыва через *limes*. Третьего эшелона не было (уже не было ресурсов) и это оказалось для Западной империи роковым.

Балканская армия действовала относительно успешно в значительной мере потому, что гористый рельеф местности сковывал свободу маневра вторгающихся сил даже в случае прорыва через *limes*. Основную проблему составляли готы, которые, как известно, через *limes* не прорывались, а были переправлены на южный берег Дуная самими римлянами, когда готское государство было разгромлено гуннами. Лояльность была подорвана безответственной политикой по отношению к ним, которую проводили чиновники империи, но впоследствии главная забота Константинополя состояла в том, чтобы перенаправить активность готов на Запад, что в конечном счете и удалось. Благодаря этому Восточная империя выжила.

Напротив, западные армии, действовавшие в равнинной зоне, не смогли сдержать натиск варваров. После прорыва *limes* 31 декабря 406 года варварские отряды ударили «в стык» между двумя римскими армиями

и пройдя между ними устремились на юго-запад, вплоть до Испании и Африки. Северная римская армия была блокирована в Северной Галлии, а итальянская армия римлян удерживала рубеж вдоль Альп. Причем довольно успешно. Отдельные прорывы, конечно, были, но крупных завоевательных походов не было. Готы Теодориха пришли с Востока при поддержке византийцев уже после переворота Одоакра. Вандалы в Рим прибыли с юга из Африки. Разгром Рима вандалами стал нарицательным именно потому, что эта атака явно не преследовала никакой иной цели кроме грабежа. Позднее Теодорих долго и добросовестно восстанавливал «вечный город», но все было опять разрушено после его смерти во время войн Велизария против готов. Лангобарды пришли с севера по приглашению самих византийцев, которые упорно не могли справиться с готами. Таким образом, альпийский оборонительный рубеж оказался вполне эффективен.

В 440-е годы римлянам ненадолго удалось восстановить *limes*, хотя варвары уже хозяйничали в тылу во многих провинциях. Им предоставляли статус федератов, таким образом легализуя, причем воспроизводилась та же система двойного — военно-гражданского управления. В 451 году *limes* были вновь по тому же сценарию прорваны гуннами, которые ранее были союзниками Рима — Азций активно привлекал их на военную службу и использовал, чтобы терроризировать других варваров.

Окончательное крушение римской цивилизации происходит не во время нашествий, а в течение 50–70 лет после них, когда распад империи вызывает утрату хозяйственных связей между регионами и экономический упадок Запада. Окончательный удар ему наносят «освободительные» войны Юстиниана, который, несмотря на полководческий талант Велизария, не смог сходу завоевать Италию и вверг ее в многолетнюю разорительную войну. Итогом оказался окончательный упадок не только Италии, но и других связанных с ней регионов Запада. Ранее Италия выступала главным рынком сбыта и центром обмена для западных провинций. Ее разорение привело к тому, что даже относительно спокойные территории не могли развиваться. Их экономика, лишенная внешних рынков, падала, производство разрушалось, города приходили в упадок.

## ВАРВАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Экономический и культурный упадок Запада, наступивший после падения Римской империи был вызван отнюдь не военными разрушениями и не дикостью варваров, завладевших бывшими римскими провинциями. Напротив, варварские вожди и их окружение были хорошо знакомы с латинской цивилизацией, стремились использовать ее институты и обычаи, а некоторые, подобно Теодориху Великому, даже прилагали целенаправленные усилия, чтобы восстановить ее в былом бле-

ске. Главной причиной упадка был распад хозяйственных связей между провинциями бывшей империи, последовавший за разрушением ее политического единства. По словам английского историка Криса Уикхема (Chris Wickham), произошедшее в Западной Римской империи во многом схоже «с падением Советского Союза». После распада единого государства на составные части «каждая часть сохранила элементы римских социальных, экономических и политических структур, но развивала их по-своему»<sup>41</sup>. Германские короли, овладевшие римскими территориями, имитировали стиль управления, присущий поздним римским императорам, а зачастую опирались на остатки старой бюрократии. В свою очередь, латинские авторы старались «описывать германских королей очень в римском духе»<sup>42</sup>. Однако государства, уменьшившиеся в размерах, не могли поддерживать экономическую жизнь на прежнем уровне. «В экономике, ставшей локальной, разрушалось все, в чем ее местная инфраструктура зависела от внешних связей, так, например, прекратились поставки зерна из Африки в Рим, ушли в прошлое огромные состояния римских сенаторов»<sup>43</sup>. После того как исчезла имперская централизация и сократились доходы правительства, не было ресурсов на поддержание развитой античной инфраструктуры. Дороги приходили в упадок, связи между соседними провинциями ослабевали. По мере того как приходила в упадок торговля, хирели и города, несмотря на то что на первых порах они сохраняли свои административные функции. Общество становилось все более аграрным и постепенно переходило к натуральному хозяйству. Аристократия переселялась в загородные поместья, чем еще больше усиливала деурбанизацию общества. Распад хозяйственных связей в рамках бывшего единого Средиземноморского пространства ударил по византийским торговым и ремесленным центрам, но по-настоящему тяжелые последствия он имел на Западе, где централизованное государство перестало существовать.

Период экономического упадка и политического хаоса закончился с возникновением франкской державы Карла Великого. После падения Рима в Европе была только одна империя — Византийская. Отныне на Западе опять был император. Приняв этот титул, король франков не только закрепил свои права верховенства по отношению к покоренным им племенам и народам, но и заявил о преемственности по отношению к Риму. Возрождение империи было тесно связано с идеей восстановления порядка, традиции и культуры. Эта волна экономического и культурного подъема в Западной Европе опиралась на внутренние ресурсы

<sup>41</sup> Ch. Wickham. *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 10.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 80.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 10.

региона, политически консолидированного империей Карла Великого. Каролингское возрождение знаменует конец «Темных веков» и начало нового периода в истории Запада, который за прошедшие после краха Рима столетия еще больше отстал в своем развитии не только от Византии и возникших на Ближнем Востоке арабских обществ, но даже от образовавшейся на восточной окраине Европы Киевской Руси.

Каролингская система оказалась неустойчивой, поскольку не имела профессиональной бюрократии, опираясь на сотрудничество региональных элит, совмещавших административные функции с управлением собственными феодальными вотчинами. Как отмечает французский историк Люсьен Мюссе, «до тех пор, пока имело место продвижение вперед, у имперской власти оставались шансы на результативность. Однако она оказалась абсолютно не готова без труда давать отпор при встрече с серьезными невзгодами и неожиданными опасностями. У нее не было ни постоянной армии, ни флота, ни прочных фортификаций, ни финансов, достойных этого названия, ни даже, вероятно, подлинной поддержки со стороны народа. Ничто не убедит нас в том, что несколько сотен семейств, пользовавшихся благами режима, были в состоянии расположить к себе общество, по крайней мере пока они не имели вотчин, чтобы распределять их между своими самыми преданными друзьями. Несомненно, почти до 840 года ее верхушка была вполне способна реагировать на встававшие перед ней новые задачи. Но позднее эта способность к обновлению быстро угасла: в раздробленной империи правящий класс, целиком погрязший во внутренних конфликтах, утратил возможность предупреждать крупные внешнеполитические проблемы»<sup>44</sup>. Достижением Каролингского режима было то, что ему удалось в сотрудничестве с Церковью «достичь нравственного объединения Запада»<sup>45</sup>, но вскоре и это духовное единство «далекое от того, чтобы в испытаниях стать крепче, рассыпалось»<sup>46</sup>. Новая волна варварских нашествий — викингов с Севера, сарацинов с Юга и венгров с Востока — до основания потрясла политическую и социальную систему Запада, способствуя частичной смене элит и восхождению к власти новых не-Каролингских родов (Капетингов во Франции, Оттонов в Германии).

Однако к XI веку на Западе установилось некоторое спокойствие, главным образом за счет того, что новые волны варваров, более или менее успешно интегрировались в европейскую систему, укрепив ее собственными военно-политическими институтами. Последнее из больших нашествий на Европу имело место в XIII веке, когда, пройдя как нож

<sup>44</sup> Л. Мюссе. Варварские нашествия на Западную Европу: волна вторая. СПб.: Евразия, 2006, с. 140–141.

<sup>45</sup> Там же, с. 140.

<sup>46</sup> Там же, с. 141.

сквозь масло через русские земли, монголы обрушились на Венгрию, Польшу, Чехию и Германию. Военные средства Запада были абсолютно недостаточными для отражения этой новой угрозы, но сама Монгольская империя уже расширилась за все возможные пределы. Нашествие не было отражено вооруженной силой, но сами захватчики повернули назад, узнав о развернувшейся в Азии междоусобной борьбе.

Новый рывок общественного развития начинается во второй половине XI века. В Западной Европе происходят процессы, революционным образом изменившие облик континента. Медленное восстановление сил, продолжавшееся на протяжении «Темных веков» и «Каролингского возрождения», сменяется динамичным развитием.

Строительные технологии теперь позволяют возводить каменные замки, причем делать это сравнительно быстро — за три-пять лет. Начинается процесс, получивший название «*castellazione*» (от итальянского *castello* — замок). В каменных крепостях феодалы чувствуют себя гораздо увереннее, укрепляя свой контроль над подвластным им сельским населением. Бревенчатые палисады сменяются мощными каменными стенами, высокими башнями, за которыми может разместиться свита и дружина, запасы продовольствия и арсеналы. Усилившаяся эксплуатация позволяет увеличить количество прибавочного продукта, идущего на содержание правящего класса, — теперь можно содержать не только более крупные боевые отряды, но и менестрелей, переписчиков книг, придворных ремесленников. Вокруг удачно построенных на торговых путях замков стремительно складываются города.

Таким образом, распространение технологий каменного строительства, с одной стороны, позволило феодалам не только укрепить свою власть над крестьянами, а с другой стороны, способствовало росту и укреплению городов. Город и замок воспринимаются задним числом как противостоящие друг другу, а городские жители, бюргеры считаются могильщиками феодализма. Но их противостояние относится к гораздо более позднему времени. На первых же порах мощные цитадели, построенные баронами и рыцарями, оказались центром притяжения для ремесленников и торговцев. Здесь была защита и здесь же были клиенты. А поскольку феодалы обладали еще и судебными правами, здесь можно было рассчитывать на решение спорных вопросов по закону.

Однако рост местных центров — одновременно и военных, и экономических — привел к еще большему ослаблению государства, которое и так не было ни сильным, ни эффективным. Некоторое исключение являла собой Англия после прихода Вильгельма Завоевателя. Расправившись с англо-саксонской знатью, бывший нормандский герцог сосредоточил в своих руках большую часть земли, не допуская формирования крупных феодальных вотчин. Это предопределило многие последующие успехи

английского королевства. Несмотря на то что на севере страны — у границы с Шотландией — сложились почти самостоятельные владения лордов, на которых центральное правительство свалило бремя охраны страны от опасных и воинственных соседей, с которыми шла почти непрерывная война, южная часть королевства прочно находилась под контролем центральной власти. А после завоевания Уэльса многочисленные замки строились не только как резиденции для пришедших сюда нормандских феодалов, но и как крепости для королевских гарнизонов.

Однако Англия времен Вильгельма Завоевателя и его преемников является явным исключением. Государство раннего Средневековья было, безусловно, слабым. Оно не обладало ни ресурсами, ни институтами для эффективного контроля над территорией и населением. Но это слабое государство было гораздо более централизованным или, во всяком случае, более единым, нежели королевства и империи XII–XIII веков.

Первым результатом экономического развития, радикально изменившего лицо Европы к концу XI столетия, был именно распад единого государства, — что в советской исторической науке получило название «феодальной раздробленности». Эта раздробленность возникает не в начале средневековой истории, а, напротив, в тот момент, когда Европа окончательно выходит из мрака «Темных веков», когда богатеют города, возникают первые университеты.

Натуральное хозяйство раннего Средневековья, почти не знавшее денег, исключало возможность создания сильного правительства, опирающегося на профессиональную бюрократию и регулярную армию. Но оно же делало невозможным и появление локальных центров силы, очагов развития, имеющих собственные интересы, зачастую находящиеся в противоречии с интересами королевства или соседних регионов. Изолированные друг от друга общины не слишком нуждались в государстве, но и не были ему враждебны. Возникновение ранних форм рыночного хозяйства, напротив, порождает новую ситуацию, когда неизбежны конфликты интересов, когда возникает возможность и необходимость вмешательства центральной власти, но одновременно и потребность в самостоятельности. В результате укрепление политической власти происходит на местном уровне — как правило, в противостоянии с «центром». Новые функции берут на себя региональные лидеры — князья, герцоги и бароны, — превращающиеся из представителей центральной власти на местах в самостоятельных правителей. Государство ослабевает в «центре», но формируется и консолидируется на региональном уровне.

В целом период XI–XIII веков оказался временем динамичного экономического, социального и культурного развития. Монгольское нашествие, потрясшее Восточную и Центральную Европу в первой половине XIII века, не только не остановило экономического развития континен-

та, но и придало ему к середине столетия новый импульс. «Огромная Монгольская империя объединила всю Великую Степь, и это позволило проложить новую трассу Великого Шелкового пути — прямо по степи от Каракорума через Сарай к портам Крыма. Тысячи запряженных верблюдами огромных повозок с шелком, фарфором и другими товарами двигались по этому пути от одного караван-сарая к другому. В порту Кафы товары погружали на итальянские суда, развозившие их по всему Средиземноморью», — пишет историк С.А. Нефедов<sup>47</sup>. Торговые пути стали безопасными и хорошо организованными, товарные потоки сопровождалась передачей технологий и информации с Востока на Запад. «Установление прочных государственных и торговых связей привело к распространению культурных достижений китайской цивилизации, тех великих открытий, которые долгое время определяли культурное превосходство Китая над Европой»<sup>48</sup>. Среди открытий, которые стали доступны европейцам, была технология чугунного литья, порох и многое другое.

Население Западной Европы заметно растет, причем увеличение численности людей опережает рост производительности труда в сельском хозяйстве. Свободные земли в Западной Европе почти все распаханы (если не считать малого количества заповедных лесов, которые теперь феодалы вынуждены тщательно оберегать в качестве своих охотничьих угодий<sup>49</sup>). Но «демографический взрыв» затрагивает не только низы общества. В феодальных семействах появляется изрядное число младших братьев, не имеющих шансов получить по наследству ни титулов, ни земель. Нет еще аппарата центрального правительства, куда всю эту массу ищущих карьеры молодых людей можно было бы пристроить. Единственный шанс получить статус и земли — «взять на меч». Но междоусобные войны становятся слишком трудным делом из-за появления каменных крепостей. Силами мелкого феодального отряда не возьмешь даже небольшой замок соседа. Местные князья становятся центром мини-государств, между которыми возникает неустойчивое равновесие.

Западной Европе становится тесно в своих прежних пределах. Начинается экспансия, обоснованная идеологически в виде борьбы с неверными. Эта экспансия идет в трех направлениях. На Юго-Западе, в

<sup>47</sup> С.А. Нефедов. История России. Факторный анализ. Екатеринбург, 2009, т. 1, с. 102.

<sup>48</sup> Там же, с. 99.

<sup>49</sup> Легко заметить, что баллады о Робине Гуде отражают не просто социальный конфликт средневекового английского общества, но и совершенно конкретное противостояние между сельским населением и правящим классом на почве «права охоты».

Испании, разворачивается Реконкиста. В Восточном Средиземноморье начинается эра Крестовых походов. На Северо-Востоке немецкие феодальные армии подавляют сопротивление поморских славян и расширяют Германию на Восток. К началу XIII века Крестовые походы в северо-восточном направлении организуют датчане и шведы<sup>50</sup>.

## РАСШИРЕНИЕ ЗАПАДА

Успех Первого Крестового похода был ошеломляющий. За несколько лет были отвоеваны самые богатые и густонаселенные провинции Ближнего Востока, ведущие торговые города. Крестоносные государства захватили не только почти все деловые центры региона, но и значительную часть плодородных земель — узкие приморские пространства Палестины, Леванта и Сирии имели куда большую ценность, чем пески Аравийской пустыни. Однако успех крестоносцев predetermined и их последующие трудности. Позднейшие историки неоднократно отмечали неспособность крестоносных правителей наладить отношения на территории своих королевств не только со своими мусульманскими подданными и евреями, но даже с православными (восточными) христианами. Объясняли это обычно религиозным фанатизмом и феодальным высокомерием. Хотя и то и другое, несомненно, имело место, была и причина гораздо более глубокая и более роковая. Западная Европа нуждалась в новых землях для колонизации: феодальной, крестьянской, купеческой. Без этого христианские правители на Ближнем Востоке не получили бы поддержку Западной Европы. Но чем больше они поощряли колонизацию, чем больше опирались на узкий и медленно растущий слой переселенцев, тесня коренных жителей, тем больше вступали в конфликт с местным населением — многочисленным, хорошо организованным и более культурным, чем выходцы из все еще отсталых стран Запада. В такой ситуации крах крестоносных государств оказывался неизбежен, несмотря на их первоначальное военное превосходство. К концу XIII века, когда демографическое давление со стороны Европы ослабло, положение крестоносцев на Востоке стало отчаянным.

Это отнюдь не означает, будто экспансия Запада сошла на нет. Как раз наоборот. Крестовые походы, ознакомившие европейцев с новыми технологиями, давшие импульс торговле и ремеслам, сделали эту экспансию еще более масштабной. Но теперь расширение Западной Европы шло сразу по нескольким направлениям. Германия росла за счет завоевания земель западных славян, а затем Крестовых походов, орга-

<sup>50</sup> Кстати, сами участники событий прекрасно понимали связь между тем, что происходило на берегах Балтики, в Испании и в Палестине. См.: Крестоносцы и Русь. Конец XII - 1270 г. М.: Индрик, 2002.



низованных Тевтонским и Ливонским рыцарскими орденами на Балтику. Короли Дании и Швеции покоряли Эстонию и Финляндию (позднее эстонские владения датчан перешли к Ливонскому ордену). Кастильские, Арагонские и Португальские короли вытесняли арабов из Испании. Одновременно продолжается рост городов и формирование королевских бюрократий. Все чаще амбициозные феодальные лидеры предпочитают государственную службу дальним походам на Восток, а обеты об участии в Крестовом походе остаются невыполненными<sup>51</sup>. Крестоносные мероприятия становятся делом, интересующим главным образом Рим и отчасти французскую аристократию, связанную родственными и феодальными узами с домами, сохраняющими позиции в Святой Земле. Материальная и демографическая база крестоносного движения стремительно сужается. Могущественный Орден тамплиеров предпочитает заниматься финансовыми операциями на Западе (из-за чего в конечном счете и был уничтожен позарившимися на его доходы французским королем). Орден госпитальеров продолжает воевать на Востоке вплоть до 20-х годов XVI века, но его главной заботой становится защита морских путей для европейской торговли.

С 1248 по 1254 год французский король Людовик Святой предпринимает Седьмой Крестовый поход в Египет. Планировалось, захватив здесь важные территории, позднее обменять их на Иерусалим. Начало похода ознаменовалось блистательными успехами, но самоуверенность рыцарей и разногласия между крестоносцами помешали вовремя заключить мир, осуществив первоначальный план. В итоге крестоносцы, не имевшие надежного тыла, потерпели поражение. Новый поход, предпринятый в 1270 году Людовиком, завершился столь же плачевно, а сам король нашел смерть под Тунисом.

Важной движущей силой Крестовых походов и Реконксты был земельный голод мелкого дворянства. Это движение находило свою политическую и организационную форму в значительной мере вне государства, через создание экстерриториальных духовно-рыцарских орденов. Подобные ордена конституировались при поддержке католической церкви и обладали значительной политической самостоятельностью. Однако в XIV веке изменившаяся демографическая ситуация в Европе привела к тому, что внешняя экспансия западного мира выдохлась. Эпидемия чумы окончательно изменила демографическую картину Запада, которая, впрочем, начала меняться уже раньше. В новой ситуации оказался неизбежным крах крестоносных государств в Святой Земле, а Реконкста в

<sup>51</sup> Характерно, что основатель английского парламента французский аристократ Симон де Монфор, уже «приняв Крест» (то есть пообещав Папе участие в Крестовом походе), предпочел исполнению обета карьеру администратора и политического лидера в Гаскони и Англии.

Испании приостановилась до конца XV века, дав возможность арабскому владычеству сохраниться в Гренаде еще на целую эпоху. В Прибалтике, где все «языческие» земли были уже завоеваны, установилось относительное спокойствие, а в Литве понемногу распространялось христианство. Рыцари Ливонского ордена переходят от военных столкновений с Новгородом к политике мирного сосуществования. То же относится и к отношениям Новгорода со Швецией (приграничные конфликты в Финляндии замирают на сто с лишним лет). Натиск германских рыцарей на Литву постепенно ослабевает, а после поражения в битве при Грюнвальде они сами становятся обороняющейся стороной и в конечном счете превращаются в вассалов Польско-Литовского королевства.

Соответственно приходят в упадок и рыцарские ордена. Расправу, которую учинили во Франции над тамплиерами, принято объяснять преимущественно как результат жадности королевской власти, стремившейся присвоить богатства ордена. Что, конечно, имело место. Однако разгром тамплиеров представляет собой лишь часть более общего процесса укрепления территориального государства, постепенно преодолевающего сопротивление экстерриториальных структур Средневековья. Тамплиеры стояли поперек горла не только королевской власти, но и городской буржуазии, формируя собственные феодальные финансовые сети, конкурировавшие с развивающимся городским торгово-финансовым капиталом. В то время как обвиненных в ереси тамплиеров отправляли на костры во Франции, кастильские и арагонские короли вели длительную борьбу за подчинение рыцарских орденов своему контролю. Эта борьба завершилась успехом в XV веке. Напротив, немецкие ордена сами превратились в обычное территориальное государство под покровительством «Священной Римской империи».

В конце XIV века крестоносная агитация порождает последний всплеск рыцарского энтузиазма. Но после того как эпидемия чумы радикально изменила социально-демографическую ситуацию Европы, Крестовые походы стали делом и вовсе безнадежным, несмотря на призывы Святого Престола, пытавшегося возродить крестоносное движение для борьбы с Османской Турцией. К несчастью, османская угроза всерьез волнует только итальянские торговые республики, теряющие контроль над восточным Средиземноморьем. В самом конце XIV века европейские феодальные армии последний раз отправляются на Восток, отвечая на призывы Святого Престола и купеческих городов Италии. Итогом этого похода была Никопольская катастрофа 25 сентября 1396 года. Армия Сигизмунда Люксембургского (короля Венгрии, а впоследствии Германского императора), состоявшая из венгров, французов, англичан, немцев, испанцев, итальянцев и чехов, потерпела сокрушительное поражение от войск турецкого султана Баязида I Молниеносного (Bayezid I), на стороне которого сражались также отряды сербского короля Стефана.

Накануне сражения военный совет, собранный Сигизмундом, до хрипоты спорил о том, кто больше достоин первым начать сражение, а утром французские рыцари вышли из лагеря и, не дождавшись других отрядов, атаковали османов. Франко-бургундская тяжелая конница обратила в бегство авангард турок, но оторвалась от своих главных сил и была окружена янычарами. Остальные европейские войска, бросившиеся ей на помощь, ничего не могли сделать и сами были обращены в бегство. Большая часть французских рыцарей, участвовавших в первой атаке, была истреблена, пленных турки не брали, кроме 300 наиболее знатных вельмож, за которых потом был получен богатый выкуп. Разгром был полный — господство османов над Балканским полуостровом стало неоспоримым политическим фактом на несколько веков, а окончательное падение Византии оказалось отсрочено на половину столетия лишь из-за того, что сам Баязид вскоре потерпел на Востоке поражение от войск другого великого завоевателя — Тамерлана.

Поражение рыцарей, нанесенное хорошо вооруженной и организованной турецкой пехотой, было вполне закономерно, вставая в один ряд с другими военными фактами — сражениями при Куртрэ, Креси и Пуатье. Но даже если бы Никопольская битва и закончилась не разгромом, а триумфом европейского рыцарства, у феодального Запада сил, чтобы закрепить успех, все равно не было.

Совсем иначе складывалась ситуация на Востоке Европы. Плотность населения была изначально меньше, свободных земель значительно больше. Угро-финские, славянские и балтийские племена, на которых велось наступление, в техническом и политическом отношении отставали от крестоносцев на целую эпоху. Не удивительно, что даже сравнительно меньшими силами завоевателям здесь удавалось добиться более прочных результатов. А близость расстояния до метрополии создавала благоприятные условия для растущего потока колонистов именно в этом направлении. Немецкие феодалы все меньше интереса проявляли к Палестине, куда их отчаянно призывали отправиться Римские Папы, зато по мере нарастания успехов на Северо-Востоке действовали здесь все активнее.

Происходящие здесь процессы официальные русские историки в XIX и XX веках характеризовали как проявление немецкой или крестоносной агрессии против Руси. Даже в книгах, публиковавшихся в XXI веке, продолжает повторяться тезис про «попытки навязать Руси католицизм»<sup>52</sup> и про то, что крестоносцы «замыслили захват новгородских земель»<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> П.Г. Дейниченко. Россия. Полный энциклопедический справочник. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001, с. 36 – 38.

<sup>53</sup> См.: История России с древнейших времен до конца XVII в. М.: АСТ, 1996. С. 249–50.

В свою очередь, консервативные немецкие историки писали про цивилизаторскую миссию, которую взяли на себя германские проповедники и рыцари. Впрочем, в этом с ними готовы солидаризироваться и некоторые представители российского западничества. «Если немцы приходили в эти края торговать, проповедовать христианство и просвещать, — пишет Александр Нестеренко, — то русские грабить и получать дань»<sup>54</sup>.

Между тем целью шведских Крестовых походов в Финляндию, датских завоеваний и войн немецких рыцарей были не русские земли, а заполнение политического и экономического «вакуума» в Северо-Восточной Европе. Другое дело, что с точки зрения новгородцев и псковичей эти действия воспринимались, по меньшей мере, как крайне опасные. Восточную часть нынешних Латвии и Эстонии новгородцы, псковичи и князья Полоцка традиционно рассматривали как свою сферу влияния. С приходом немцев рушилось привычное равновесие. И не только политическое, но прежде всего экономическое.

Варяги и новгородцы совместно или попеременно облагали данью финские и балтийские племена, совместно контролировали акваторию Восточной Балтики и не видели серьезных причин для соперничества. В XIII веке здесь не просто появляются немецкие купцы — на Балтике разворачивается настоящая революция в мореплавании, радикально изменившая общее соотношение сил.

На место славянско-варяжским ладьям приходит глубоководный немецкий парусник «ког» (Kogge). О том, какое значение имели эти корабли для современников и какое потрясающее впечатление на них производили, можно судить по гербам приморских городов и их печатям — почти всюду на них красуется изображение этого парусника.

Резко увеличилось водоизмещение судов, а вместе с тем и их грузоподъемность. Увеличилась и скорость. Ладьи новгородцев и варягов плавали в основном вдоль берегов. Вообще-то ладьи были очень хорошими судами. Саги сообщают о дальних путешествиях викингов — к берегам Исландии, Гренландии и даже в Винланд (нынешнюю Северную Америку). Но то были не торговые рейсы. Для дальних плаваний нужен запас провизии и пресной воды, которую можно загрузить лишь за счет уменьшения количества перевозимого груза. Ладьи с товарами от берега далеко отойти не могли. Ког, напротив, был в состоянии выбирать оптимальный маршрут, ориентируясь по солнцу и по звездам в хорошо изученной балтийской акватории.

Союз городов, вошедший в историю как Немецкая Ганза, был создан по инициативе купцов из Любека — города, построенного на отвоеванных у западных славян землях.

<sup>54</sup> А. Нестеренко. Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006, с. 125.

В 1241 году портовые города Гамбург и Любек заключили между собой союз, который лег в основание Немецкой Ганзы. Шесть лет спустя к ним присоединился Брауншвейг, а затем Бремен. Столицей Ганзы стал Любек, где раз в три года собирались союзные сеймы и хранился архив. К началу XIV века в состав союза вошло 85 городов, объединившихся в четыре округа. Ганзейские конторы открыты были в Лондоне, Брюгге, Бергене и Новгороде — соответственно основным рынкам, где велась внешняя торговля союза.

Пять веков спустя немецкие романтические историки с восторгом описывают могущество и богатство Ганзы. «Уже в XIV в. Ганза заняла такое положение, которое по своему фактическому значению далеко превосходило положение тогдашней германской империи. Союз господствовал над всем Севером торговлей и оружием, подчинил себе королей Норвегии, Швеции и Дании, раздавал и отбирал короны. То, что теперь превратилось в мечту патриотических сердец — германский военный флот — было в то время действительностью. Военный флаг Ганзы победоносно развевался на морях и, точно так же, как она очищала от разбойников и различных нарушителей земского мира границы своей обширной территории, она очищала и море от пиратов, в особенности же от страшного союза морских разбойников, известного под именем Виталиева братства, члены которого играли в Средние века роль позднейших флибустьеров. Ее цивилизующее влияние обнаружилось также в проведении дорог и прорытии каналов, а по этим двум отраслям в Средние века не делалось почти ничего»<sup>55</sup>.

Описывая торговые успехи Ганзы, французский историк Эрнест Лависс замечает, что «не следует забывать и о селедке»<sup>56</sup>. Ловля и засол рыбы были не только важнейшей отраслью производственной деятельности немецких городов, но и серьезным фактором их военно-политической деятельности: «сельдь тоже была важным историческим лицом, очень своенравного характера, и ее причуды не раз до глубины души волновали весь северный мир и стоили жизни тысячам людей. До конца XII в. она шла вдоль померанских берегов, где ее было такое множество, что стоило бросить в море корзинку, и она оказывалась полна рыбы. Тогда возвысились Любек, Васмар, Росток и Штральзунд. В XIII в. рыба изменила путь, пошла мимо Шонена и норвежских берегов; северные моряки последовали за ней, и ганзейцы, дав ряд сражений англичанам, шотландцам и голландцам, разрушив множество датских крепостей и пустив ко дну немало иностранных кораблей, удержали за собой поле битвы»<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> И. Шерр. Германия. Цивилизация за 2000 лет. Минск: МФЦП. Т. 1, с. 294.

<sup>56</sup> Э. Лависс. Очерки по истории Пруссии. М.: УРСС, 2003, с. 138.

<sup>57</sup> Там же.

Двигаясь на Восток немецкие купцы быстро вытеснили с Балтики скандинавских конкурентов (вскоре в торговых городах Швеции, Дании и Норвегии значительная часть торговых контор принадлежали немцам) и столкнулись с Новгородом. Нестеренко неоднократно повторяет, что только после ряда войн новгородцы, наконец, поняли, что торговать выгоднее, чем воевать. Между тем не нужно глубокого знания истории, чтобы понять, что новгородские купцы догадывались об этом заранее. Но не случайно голландские теоретики XVII века писали, что торговля и война неразделимы. Ведь торговля — не только обмен товарами, но и конкуренция.

Новгородцы проигрывали как технологически, так и географически. Корабли, аналогичные «Kogge», можно было, в конце концов, построить. Позднейшие суда русских поморов не сильно отличались от немецких кораблей Средневековья. Но для обслуживания нового флота нужны были морские гавани. А все русские торговые города стояли на берегах рек. Во времена, когда флот состоял из ладей, так было даже удобнее. Но теперь все изменилось. Водоизмещение немецких судов давало им возможность входить в реки. Однако для хорошего порта нужны большая гавань и удобный рейд, позволяющие обслуживать большое число кораблей в короткий срок. Ни Новгород, ни Псков такими возможностями не обладали. Зато у основанного датчанами Ревеля был превосходный рейд. По той же причине не стали шведы отстраивать разоренную набегом балтов старую столицу Сигтуну (Sigtuna), стоящую на озере, а построили вместо нее город Стокгольм на берегу моря<sup>58</sup>.

Технически выход к морю был и у новгородцев. Но хорошей гавани на берегах Невы не было, местá были гиблые, болотистые. Даже в XVIII веке, когда Петр Великий, пользуясь уже совершенно другими технологиями, построил здесь Петербург, наладить нормальную жизнь и торговлю долго не удавалось. А петербургский порт, несмотря на огромные усилия царей, проигрывал Риге.

Однако даже на пике своего могущества ганзейские города нуждались в поддержке территориальных государств. Соперничая с датчанами, они установили тесные связи со шведскими королями, а на южных бере-

<sup>58</sup> Разгром Сигтуны, судя по всему, был совершен совместными силами балтов и новгородцев. Трофейные ворота из шведской столицы по сей день украшают западный вход Софийского собора в Великом Новгороде, но большинство историков считают этот объект позднейшей подделкой. Вообще любопытно, что центры цивилизации гибнут от варварских набегов лишь в том случае, если уже до того находятся в упадке. В противном случае они либо успешно отбиваются от варваров (используя преимущество в технике и организации), либо быстро восстанавливаются, «побеждая победителей» за счет культурного превосходства. Точно так же печенеги, а затем половцы постепенно перешли от набегов к защите внешних рубежей Руси.

гах Балтики их интересы готовы были отстаивать рыцари Тевтонского и Ливонского орденов, создавшие на завоеванных у местных язычников землях собственное военно-религиозное государство под покровительством Германского императора и Римского Папы.

Масса немецких безземельных дворян, устремившихся на Восток, составили основу рыцарского войска крестоносцев, а крестьяне-колонисты, могли быть легко мобилизованы в пешее ополчение. Все эти силы были, в отличие от феодальных ополчений Западной Европы, великолепно организованы и дисциплинированы. В отличие от рыцарей Франции и или Германии, каждый из которых был самостоятельной фигурой феодального общества, тевтонские и ливонские рыцари были прежде всего частью единой военно-политической и религиозной организации, они прибывали на Балтику, уже оторвавшись от старых социальных связей, и теперь находились в состоянии постоянной мобилизационной готовности. Что относилось в значительной мере и к колонистам.

Тевтонский орден имел регулярный флот на Балтике и речные флотилии, большие арсеналы осадных орудий, изготовленных по древним римским и азиатским образцам. И стоило появиться в Европе огнестрельной артиллерии, как уже в 1328 году она была поставлена тевтонскими рыцарями на вооружение.

К тому же тевтонские рыцари были не только мощной военной силой, но и преуспевающей хозяйственной организацией. Тысячи немецких колонистов, захватив земли пруссов, организовали там собственные процветавшие деревни, в то время как выжившая часть коренного населения, доведенная до полурабского состояния, обеспечивала достаток помещиков. Грозные и богобоязненные рыцари не чурались, впрочем, и торговли. «Орден богател одновременно со своими подданными и одинаковыми с ними способами. Представляя собой крупного потребителя и крупного производителя, он в то же время был торговым домом с очень обширными коммерческими связями»<sup>59</sup>. В каждом территориальном подразделении Ордена был свой торговый уполномоченный — Schaeffer. Главный или «Великий Schaeffer» состоял при гроссмейстере Ордена в качестве своего рода министра торговли. Даже во время войн торговля не прерывалась — орденские делегации закупали меха в Новгороде в то самое время, когда русские и немецкие воины сходились на поле битвы. Не удивительно, что города, выступавшие центрами торговли и рынками для сельскохозяйственной продукции, бурно развивались. В середине XIV века группа рыцарей, приехавших из Меца, насчитала в Пруссии 3007 городов. На самом деле большая часть этих городов была скорее поселками и укрепленными деревнями, занятыми более сельским хо-

<sup>59</sup> Э. Лависс. Цит. соч., с. 140.

зяйством, чем торговлей и ремеслом. Но сами эти деревни во многом не уступали небольшим городам на франко-германской границе.

Немцы и датчане заняли все удобные места на Балтике, возведя там не только портовые сооружения, но и крепкие каменные крепости. Самостоятельная морская торговля новгородцев теряла всякий смысл. Можно было только вести товар речными ладьями до Ревеля, Нарвы, шведского Выборга или в лучшем случае до Риги и сдавать немецким перекупщикам. Немцам доставались и основные прибыли от продажи товара на Западе.

Тем не менее остававшаяся в руках новгородцев территория в устье Невы сохраняла и для русских, и для немцев стратегическое значение. Тот, кто контролировал это место, мог контролировать и судоходство. Можно было бы брать пошлину с каждого проходящего русского или немецкого судна (о чем с гордостью сообщал своему парламенту Густав II Адольф, когда 400 лет спустя, все-таки установил шведскую власть на данной территории).

Это прекрасно понимали и немцы, и русские. Любопытно, что Нестеренко буквально проходит мимо разгадки, когда восторженно рассказывает про то, как шведы обещали немцам сохранить свободную торговлю на Балтике, приводя этот факт как доказательство шведского миролюбия. Вся дальнейшая история шведской империи показывает, что дело обстояло совершенно наоборот. Если бы немецкие купцы не сознавали нависшей угрозы, они не стали бы требовать гарантий у шведских правителей.

Вот почему незначительные по масштабу стычки, которые здесь происходили неоднократно, заняли в летописях достойное место, не пропорционально масштабам боевых действий.

Невское «сражение» 1240 года произошло в тот момент, когда шведы высадили небольшой отряд, который либо строил на берегу Невы военно-торговый опорный пункт, либо всего лишь разведывал место для такого строительства. Это была привычная шведская тактика — построив замок, передвинуть на несколько километров фактическую границу и получить контроль над стратегически важной местностью. Точно так шведы, основав в 1475 году замок Олафсборг (Olafsborg), ныне известный как Савонлинна (Savonlinna), вытеснили новгородцев в XV веке из Западной Карелии. Уже после Невской битвы шведы в тех же местах все-таки сумели построить форт — Ландскрону. Но вскоре его срыли до основания новгородцы. В случае с Александром все произошло еще быстрее. Княжеская дружина напала на шведский отряд и прогнала его из лагеря еще до того, как он успел что-то построить.

Как справедливо замечает Нестеренко, позднейшие русские и советские историки не могли объяснить, почему шведы вместо того, чтобы идти на Новгород, стояли на месте. Но сам толком объяснить этого тоже



не может, ограничиваясь замечанием, что здесь была стоянка шведских купцов. Напомним, однако, что аналогичная немецкая торговая стоянка незадолго до того превратилась в крепость и порт Ригу.

Шведы стояли на месте потому, что идти им было некуда и незачем. Никто не собирался завоевывать ни Новгород, ни тем более Русь. Но если бы Александр не проявил бдительность и дал шведам закрепиться, убытки как Новгорода, так и немецких купцов были бы немалыми. Именно поэтому малозначительный в военном отношении эпизод на Неве воспринимается новгородской хроникой как важная победа. А это, в свою очередь, заставляет преувеличить и масштабы битвы. Средневековое сознание не могло признать Александра героем просто за зоркую охрану государственной границы. Требовалось что-то более весомое.

Не удивительно и молчание шведских хроник — все-таки речь не идет о серьезном поражении. Никто из видных военачальников в стычке не участвовал. Да и завершилась она не разгромом, а организованным отступлением. Шведы прощупали русскую границу, обнаружили, что она хорошо охраняется, и отошли. Тактическая операция, не получившая стратегического развития.

Точно так же и в борьбе с немцами главная заслуга Александра состояла не в разгроме Ордена во время Ледового побоища, а в том, что вытеснив орденский гарнизон из Пскова и сменив администрацию княжества, он установил окончательную линию границы, которая, несмотря на все последующие столкновения, просуществовала вплоть до Смуты XVII века. Причем самым главным достижением было даже не освобождение Пскова, не слишком активно оборонявшегося, а уничтожение крепости Копорье на подступах к Неве. В XVII веке Копорье вошло в систему крепостей, прикрывавших все тот же выход из Невы в Балтику. Целью военных действий во всех случаях было обеспечение свободы для новгородского судоходства на Неве. В этой борьбе Новгород действительно защищался. Только не от захватчиков, а от конкурентов. И князь Александр оказал торговому городу очень важные услуги. И отстоял он не независимость Руси, а доходы новгородского купечества.

Для воинов Средних веков, впрочем, причина войны была не так важна, как слава. А для завоевания славы масштабы выигранных им сражений были явно недостаточны, так что пришлось преувеличивать численность врагов и размах битв. Чем, впрочем, грешили все военные историки и репортеры от Античности до наших дней. Для Нового времени с его национальной идеей воинской славы — добытой даже в крупном сражении — было уже недостаточно. Так, пограничный торговый конфликт превратился в защиту страны от вражеского нашествия, борьба за свободу торговли — в битву за независимость родины. Хотя независимость к середине XIII века как раз и была утрачена. На Руси го-

сподствовали татары, а герой всех российских патриотов, святой князь Александр был их верным слугой — именно он добился признания новгородцами вассальной зависимости от хана Золотой Орды.

После нескольких десятилетий соперничества Новгород превратился в торгового партнера Ганзы и мирного соседа Ордена. Если XIII век был временем постоянных военных столкновений новгородцев с немцами, датчанами и шведами, то в XIV веке отношения с соседями у русской северной республики стали вполне мирными и, несмотря на некоторые мелкие конфликты, оставались таковыми вплоть до самого завоевания Новгорода великим князем Иваном III Московским.

Основными противниками тевтонских рыцарей в XIV–XV веках оказались не новгородцы, а Литва и Польша. Польское королевство, некогда опрометчиво пригласившее немецких рыцарей для Крестового похода против пруссов, оказалось вовлечено в двухсотлетний конфликт со своими бывшими союзниками, который смогло выиграть лишь объединившись с Литвой.

## РОЖДЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА

Экономический рост Европы поддерживается не только развитием технологий, но и увеличением доступных ресурсов. Серебряные рудники Богемии обеспечивают потребность Германии и других стран в полноценной монете. Натуральное хозяйство постепенно уступает место торговому обмену. У государства появляется возможность содержать не только постоянные боевые отряды, численность которых, первоначально в мирное время незначительная, понемногу растет, но и все большее число бюрократов.

Бюрократия и армия — две основы государства. Однако история армий изучена значительно лучше, нежели история бюрократии. Начиная с Макса Вебера бюрократию рассматривают как неизменный механизм, построенный по единому рациональному принципу, как будто она была неизменна на протяжении столетий. В лучшем случае рассматривают культурно-географические различия (чем отличается английская *civil service* от русского чиновничества или от американских «федералов»). Между тем в Европе позднего Средневековья идет сложный и не всегда успешный поиск новой модели управления, который далеко не сразу привел к возникновению государственного аппарата современного типа.

Первым образцом европейской бюрократии была католическая церковь, организованная вокруг единого духовно-политического центра в Риме<sup>60</sup>. Однако в XII–XIII веке короли не только начинали перенимать

<sup>60</sup> О церкви как прообразе централизованной имперской администрации см.: The Political Economy of Merchant Empires. Ed. by J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, p. 124.

опыт Церкви (в том числе назначая священнослужителей на ключевые правительственные должности), но и пытались выработать собственную культуру управления, причем далеко не всегда успешно.

Преобразование государства идет наиболее динамично в Англии, где столкновения королевской власти с феодальной знатью заканчиваются созданием новых политических институтов. Историки, опирающиеся на французский опыт в качестве своего рода нормы, характерной для средневековой Европы в целом, обращают внимание на союз городов с королевской властью как на основу, благодаря которой «феодалная раздробленность» сменилась централизованным государством. Между тем в Англии XIII века богатые города объединились с баронами в борьбе против короля (а во Фландрии они позднее боролись одновременно и против феодалов, и против королевской власти). В борьбе за свои права и вольности растущая городская буржуазия вступала в союз с теми, кто был готов на данный момент предложить более выгодные условия. Специфика Англии, однако, состоит не в особой, отличающейся, например, от Франции, комбинации общественных сил, а в том, что итоги этой борьбы каждый раз закреплялись институциональным компромиссом и взаимными обязательствами сторон. Первой победой такого рода стала Великая хартия вольностей (*Magna Charta Libertatum*), которую принудили подписать неудачливого короля Джона (Иоанна Безземельного) в 1215 году. Однако принятие Хартии было не завершением, а лишь началом конфликта, вылившегося в открытую гражданскую войну. Новые шаги по преобразованию английского государства были предприняты в середине XIII века Симоном де Монфором (*Simon de Montfort*). И хотя по объективным причинам его реформы не могли выйти за пределы средневековой сословной системы, именно он положил начало эволюции английских институтов, которые позднее предопределили политическую специфику островного королевства. Показательно, что войдя в историю в качестве основателя английского парламента, Симон де Монфор начал с попыток укрепления централизованной администрации. Причем не собственно в Англии, а во французских владениях Плантагенетов. «Средневековая Англия...», — пишет британский историк, — не была островом: Нормандия и Гасконь были к Лондону ближе, чем Уэльс и Шотландия»<sup>61</sup>.

У британских историков-вигов с Симоном де Монфором большая проблема: «основатель английской свободы» был иностранцем. Разумеется, его можно представить как «иммигранта», переселившегося из Франции и ставшего, как это часто бывает с иммигрантами, патриотом своей новой Родины. Однако в реальности Симон де Монфор был при-

<sup>61</sup> *B. Simms. Three Victories and a Defeat. The Rise and Fall of the First British Empire, 1714–1783. N.Y.: Basic Books, 2007, p. 10.*

вязан к Англии ничуть не более, чем к Франции. Он вообще служил не Англии и не Франции, а династическому государству Плантагенетов, где Гасконь была не менее органичной частью, чем Йоркшир. Собственно и его конфликт с королевской властью начался с того, что будучи представителем центра в Гаскони, пытаясь унять своеволие феодалов и навести порядок в городах, он не только не получил ожидаемой поддержки из Лондона, но и был, по существу, предан двором. Именно верность династическому государству предопределила в конечном счете крушение де Монфора. Став фактическим диктатором Англии, он не решился посягнуть на монархию, с которой отчаянно боролся. И дело не только в том, что, будучи человеком Средневековья, он не мог представить себе крупного государства иначе как монархическим, но и в том, что даже смена династии — явление далеко не редкое в тогдашней Европе — была для него невозможна: вместе с Плантагенетами исчезало бы само государство, которому он служил.

Реформа государства не в последнюю очередь оказалась реформой финансового управления. Главное, чего требовала буржуазия растущих городов от монархии, был контроль над налогами и расходами правительства. Именно эта функция для средневековых парламентов была важнейшей. И этого же требовали сто лет спустя французские реформаторы, пытавшиеся поставить под контроль выборных представителей сословий административную и финансовую деятельность парижского двора.

Если развитие денежной экономики позволяло королям создавать на платной основе собственный управленческий аппарат, то, в свою очередь, потребность казны в деньгах видоизменяла жизнь и городов, и деревни. Разделение труда между ними вновь становится движущей силой хозяйственного развития, способствуя технологическим новациям и распространению денег. В советском учебнике по истории Средних веков, изданном в 1960-е годы, внимание детей неизменно привлекала картинка, призванная иллюстрировать раздел о «натуральном хозяйстве»: в сельской кузнице рыцарь примеривал только что изготовленные блестящие латы. Доспехи рыцаря были изображены в соответствии с образцами XV века. Изготовить столь сложное изделие в сельской кузнице, занимавшейся производством подков и ремонтом простейшего сельскохозяйственного инвентаря, было совершенно невозможно. Даже качественную кольчугу могли сделать только специализирующиеся на этой работе профессионалы. Примитивные доспехи, изготавливавшиеся «домашним способом», представляли собой ряды металлических пластинок, нашитых на ткань. Но к XIII веку такое вооружение не давало рыцарю ни надежной защиты, ни даже превосходства над пешими ополченцами.

В конце XIII века итальянский автор Гальвано Фьямма (Galvano Fiamma) хвастался, что Милан «снабжает оружием все города Италии и

вывозит его даже к татарам и сарацинам»<sup>62</sup>. Такое производство требовало развитой технологии и профессиональной специализации. «В миланских мастерских XV века, — пишет английский историк, — мы находим специализацию, не уступающей таковой на современных поточных линиях массового производства товаров. Каждый из работавших в Милане ремесленников был занят исключительно изготовлением какой-то одной определенной части доспехов. Действительно, маловероятно, что когда-либо было такое время, что один человек мог изготовить доспехи целиком — от начала до конца. Так же невероятно, чтобы один человек в наше время сделал автомобиль от начала до конца»<sup>63</sup>.

Итальянские мастера экспортировали значительную часть своей продукции. Феодалы из разных частей Европы отправляли миланским мастерам свои мерки, по которым мастера подгоняли латы так же, как портные подгоняют костюмы. Те, кто не мог приехать на примерку, посылали образцы одежды или даже восковые манекены. Рыцари победнее довольствовались готовыми изделиями *pret-au-porté*, которые могли подогнать местные умельцы, либо обращались к мастерам из ближнего города. Но и это стоило недешево. А, например, в Англии до 1519 года вообще не было мастерских, способных изготовить полный комплект рыцарских доспехов. Речь идет о своего рода «высокой технологии», доступной далеко не всем странам. Разумеется, латы местными умельцами все же изготовлялись. Британский историк иронически замечает, что «иностранные оружейники копировали итальянские и немецкие образцы — подобно тому, как сейчас изготовители одежды по всему миру копируют парижские модели»<sup>64</sup>. Лондонская компания оружейников с XIV века пыталась соперничать с итальянцами, только ничего не получалось. Ограничивалось дело либо производством низкосортного вооружения, либо подгонкой, ремонтом и изготовлением отдельных компонентов. Немногим лучше обстояло дело в Испании и Франции, а в Скандинавских странах не было даже этого. В Россию тяжелые кавалерийские доспехи тоже завозились из Германии в небольших количествах, хотя во время битвы между москвичами и новгородцами на реке Шелони последние были облачены в диковинные для Руси пластинчатые латы, в которых, однако, воевать не умели.

Усовершенствование замков диктовало необходимость развития архитектуры, причем не только фортификационной — феодалы стремились к

<sup>62</sup> Цит. по: Э. Окшотт. Рыцарь и его доспехи. М.: Центрполиграф, 2007, с. 22 (англ. изд. E. Oakeshott. A Knight and his Armour. London: Lutterworth Press, 1961).

<sup>63</sup> Там же (Ibid., 22–23).

<sup>64</sup> С. Blair. European Armour. London: B.T. Batsford Ltd., 1958, p. 107 (рус. изд. К. Блэр. Рыцарские доспехи Европы. М.: Центрполиграф, 2006, с. 115).

большему комфорту, перестраивая свои резиденции. Продолжается рост потребления, накопление богатства, растет спрос на предметы роскоши.

Ведение дел становится более сложным: надо поддерживать переписку, работать над расходными книгами. Появляется целый штат прислуги, помощников, специалистов и администраторов<sup>65</sup>. Нередко владельческие сеньоры, испытывая потребность в деньгах, сами нанимались на роль советников и администраторов к феодалам покрупнее (особенно типично это было для церковных деятелей).

Города богатеют. В XII веке предпринимаются первые, пока еще не очень успешные попытки улучшения сухопутных дорог, которым, во всяком случае, теперь уделяют куда больше внимания. Применительно к Ломбардии, Венецианской республике и Тоскане можно, по мнению итальянского экономического историка, говорить об «определенном успехе» этих усилий в связи с необходимостью организовать вывоз местных товаров в соседние европейские регионы<sup>66</sup>. Речной и морской транспорт были гораздо более удобны для перевозки крупных грузов, но последний требовал постоянной военной защиты, именно поэтому коммерческая и военно-морская мощь таких государств, как Венеция и Генуя или Немецкая Ганза идут рука об руку (тогда как торговое значение Новгорода, не имевшего собственного военного флота, снижается).

С конца XIII века по Европе распространяется новый архитектурный стиль — французская готика. Мастера возводят грандиозные соборы, поражающие соединением изящества и монументальности. Как и всякий долгосрочный проект, сооружение собора требует четкой организации и планирования, в том числе и финансового. В городах предпринимаются первые, пока еще довольно робкие попытки коммунального благоустройства: деревянные мосты сменяются каменными, улицы становятся мощеными.

В общем Запад демонстрирует картину экономического, социального и культурного прогресса. Но внезапно наступает кризис, решительным образом все изменивший.

<sup>65</sup> Позднефеодалная Европа демонстрирует разделение интеллектуального труда на два вида — бюрократический и собственно интеллектуальный. В Китае различия между этими группами не было. У греков и ранних римлян на ранних этапах истории не было бюрократии (общественная служба выступала как гражданская обязанность, давая почет и возможность влияния). В Западной Европе университеты готовили кадры как для бюрократии, так и для интеллектуальной деятельности. Но их разделение (предопределившее само становление автономной по отношению к власти университетской системы) порождено разделением полномочий между светской и церковной властью. Причем интеллектуал, как общественно значимый тип, появляется не в одной из этих систем, а за счет возникновения зазора между ними.

<sup>66</sup> См.: G. Luzzatto. *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*. Firenze: G.C. Sansoni Editore, 1963, p. 211.

## II. Кризис и революция в средневековой Европе

Недостроенные готические соборы наглядно демонстрируют нам и масштабы кризиса, и неподготовленность к нему общества. В Северной Европе и Франции мы обнаруживаем, как, например, в Страсбурге или Антверпене, что из двух готических башен достроена оказалась лишь одна; порой величественный замысел завершается неожиданно скромными конструкциями, а Кельнский собор превращается в долгострой, который заканчивали уже романтические архитекторы XIX века. В Италии, где стиль проторенессанса диктовал собственные требования, мы видим фасады, подготовленные для облицовки мрамором, но так и оставшиеся по сей день кирпичными. Иногда мрамор покрывает нижние несколько метров здания. То место, где мраморная облицовка заканчивается, оставляет нам память о моменте, когда в городе кончились деньги.

Как отмечает американский историк Джейсон Мур (Jason W. Moore), к концу XIII века развитие Европы шло бурными темпами на фоне относительной политической и социальной стабильности. «Но около 1300 года что-то сломалось. Дела пошли по-настоящему плохо. Доходы señоров стали падать. Крестьяне — восставать. Распространился голод. А за голодом следовали катастрофические эпидемии. Центральные правительства, раньше успешно ограничивавшие власть феодалов, стали терять позиции. Купцы и финансисты в городских республиках стали нести убытки. Между государствами разгорелись войны. Феодализм как социальная система и как способ производства переживал кризис»<sup>1</sup>. Первопричиной этого кризиса Мур считает исчерпание экологических ресурсов, прежде всего выразившееся в ухудшении почв, за которым последовало снижение производительности труда. «В то время, как феодальная система ограничивала возможности для реинвестирования прибавочного продукта в усовершенствование аграрного производства, та же система всячески стимулировала рост населения, труд которого можно было бы эксплуатировать»<sup>2</sup>.

До определенного момента это противоречие могло разрешаться — либо за счет освоения земель, либо за счет внешней экспансии. Но и сво-

<sup>1</sup> Review of Fernand Braudel Center, 2003, vol. XXVI, No. 2, p. 106.

<sup>2</sup> Ibid., p. 107.

бодные земли были заняты, и возможности внешних завоеваний исчерпаны. Людей было, с одной стороны, слишком много для того, чтобы их нормально прокормить при существующей производительности труда, а с другой стороны, слишком мало, чтобы за счет одного лишь демографического давления продолжать расширение «христианского мира».

### КРИЗИС XIV ВЕКА

Переломным моментом стали эпидемии чумы, первая из которых прокатилась по Европе в 1348 году. Однако кризисные тенденции нарастали гораздо раньше и к 30-м годам XIV века ситуация была крайне драматичной. Историки отмечают, что уже в начале века во Франции «численность населения перестала расти и даже начала сокращаться»<sup>3</sup>. В 1315–1317 годах страну охватил настоящий голод. В целом по сравнению с началом XIV века население Франции — крупнейшего государства европейского Запада — сократилось к середине XV столетия наполовину, а по некоторым подсчетам и на две трети<sup>4</sup>.

Производительность труда в сельском хозяйстве оказывалась недостаточной, чтобы прокормить растущее население — все доступные земли были уже распаханы, а рост числа людей в деревнях из фактора, стимулировавшего экономический рост, превращался в демографическую проблему. В свою очередь, феодальные владения, доход которых ранее рос пропорционально количеству подданных, начали испытывать серьезные трудности. Они все больше нуждались в деньгах, но деньги эти становились все более дефицитными. А демографический упадок, последовавший за чумой и голодом, хоть и стимулировал в долгосрочной перспективе рост производства, на первых порах привел к одновременному падению налоговой базы государства, доходов феодальных вотчин и спроса на товары, производившиеся и продававшиеся городами. Например, данные о сборе налогов свидетельствуют, что население Англии к 1376 году сократилось до 2,5 миллионов человек<sup>5</sup>.

Чума изменила земельные отношения в Европе. Одни феодалы, испытывая материальные трудности, видели в освобождении крестьян за деньги единственный способ быстро получить наличность и залатать дыры в бюджете, а другие, напротив, отказываясь от старых феодальных связей, старались привлечь новых поселенцев на опустевшие земли<sup>6</sup>. Наконец,

<sup>3</sup> История Франции. Под ред. Ж. Карпантие. СПб.: Евразия, 2008, с. 174.

<sup>4</sup> См.: Там же, с. 175.

<sup>5</sup> См.: *L. James. Warrior Race. A History of the British at war from Roman times to the present.* Abacus, London, 2002, p. 141.

<sup>6</sup> См.: *J.M. Klassen. The Nobility and the Making of the Hussite Revolution.* Eastern European Quarterly. Boulder, 1978. Eastern European Monographs, No. XLVII, p. 11.



владельцы поместий обращались к государству в надежде использовать его мощь для принудительного прикрепления крестьян к земле и усиления феодальной эксплуатации. Это, в свою очередь, вызывало сопротивление крестьян, а и одновременно делало правительство необходимым арбитром и важнейшей инстанцией в разрешении многочисленных социальных конфликтов. Способность государства справиться с этими задачами далеко не всегда оказывалась на высоте. Но слабость правительства, обнаруженная именно в период, когда правящий класс в нем особенно нуждался, подталкивала общество к реформам и революциям.

Не удивительно, что подобные процессы привели соперничающие государства к острым политическим столкновениям. Испытывая растущую потребность в деньгах, и королевская власть, и крупные сеньоры отчаянно старались изыскать новые способы их получения — и все чаще добывать средства приходилось, отнимая их друг у друга. Причем финансовый кризис, обострившийся после эпидемий чумы, начался гораздо раньше. Дело тамплиеров во Франции было одним из самых скандальных примеров того, как королевская власть прибегла к масштабной судебной фальсификации, чтобы заполучить ранее недоступные для нее средства. Однако единовременная конфискация капиталов опального ордена не решила долгосрочной финансовой проблемы. Большинство монархов прибегало к порче монеты, пытаясь за счет этого бороться с бюджетным дефицитом. Деньги английской чеканки оставались полновесными на протяжении большей части кризисного периода, но к концу XIV века порча монеты началась и здесь. Это дестабилизировало финансовую систему, ослабляло торговлю и препятствовало накоплению капитала.

Долги — как частные, так и государственные — росли, а прибыли падали, снижая налоговую базу государства. Это происходило даже в наиболее передовых частях Европы, таких как Италия, Богемия или Фландрия. Купец из Регенсберга (Regensberg), некий Рутингер (Rutinger), продававший итальянский текстиль в Праге, сообщает, что «прибыли его дела упали с семидесяти процентов в 1383 году до примерно тринадцати процентов в 1401 году»<sup>7</sup>. По понятиям более позднего капитализма это по-прежнему была бы очень высокая прибыль, но при низких оборотах того времени подобное падение доходов ставило бизнес на грань разорения (Рутингер вынужден был свернуть свое дело в Праге).

Уже к началу XIV века стало ясно, что самый популярный сюзерен это тот, кто может регулярно субсидировать своих вассалов. Постоянно усложняющееся оружие приходилось приобретать за деньги, причем стоило оно все дороже. Военно-политическая роль феодала все больше оказывалась в зависимости от его экономических возможностей. Но наличие свободных денег у короля или князя, в свою очередь, зависело от

<sup>7</sup> J.M. Klassen. Op. cit., p. 21.

его отношений с городами и от способности собирать налоги. Иными словами, от того, насколько он мог опереться на формирующиеся зачатки буржуазной экономики и бюрократической организации. Так, влияние Иоанна Люксембурга в Западной Германии росло благодаря тому, что, будучи королем Чехии, он использовал деньги пражских бюргеров для «покупки» вассалов на границе своих западных владений.

Именно правители, которые могли в какой-то степени опереться на не-феодалные отношения, становились и самыми эффективными феодалами. Связь между буржуазными и не-буржуазными отношениями выглядит здесь зеркальным отражением порядков, сложившихся на периферии капитализма в XVIII–XIX веках. С той лишь разницей, что начиная с конца XVIII века капитал использовал феодальные структуры для получения ресурсов, укреплявших глобальный буржуазный порядок, тогда как в Средние века все обстояло наоборот.

Укрепление государства, начавшееся в Западной Европе в XIII веке, создание централизованного аппарата управления и первые попытки организации постоянных военных сил сопровождались стремительным ростом государственных расходов, которые к середине XIV века перестала выдерживать. В конце XIII века рост государственных бюджетов способствовал расцвету первых банков. Если на первых порах их деятельность сводилась к кредитованию купцов на ярмарках и поддержке дальней морской торговли, то в очень скором времени среди их клиентов появились короли и владетельные сеньоры. Новый финансовый капитал получил развитие прежде всего в Италии. Тосканские города превратились в международные финансовые центры. Итальянские коммерческие компании начали приобретать транснациональный характер. В середине XIV века торговый дом Перуцци (Peruzzi) имел 133 отделения в разных странах, а компания Барди (Bardi) к 1345 году опиралась на 346 филиалов от Лондона до Иерусалима<sup>8</sup>. В этом же ряду стоят Бонсиньори из Сиены (Buonsignori di Siena) и флорентийские Анджиони (Angioini).

За итальянскими банкирами потянулись испанские и португальские. Уже в конце XIII века банкирские дома Барселоны, Валенсии и Бургоса «были активными участниками европейских финансовых рынков»<sup>9</sup>. В Германии сложились собственные банкирские компании. Более мелкие ростовщические операции оставались евреям, что вызывало злобу и зависть добропорядочных христиан.

Короли прибегали к займам, с помощью которых они оплачивали ведение войн и административные затраты, но к середине XIV века даже самые блестящие военные победы и эффективное управление не давали достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами, как показал слу-

<sup>8</sup> См.: G. Luzzatto. Storia economica d'Italia. Il Medioevo, p. 238, 239.

<sup>9</sup> А. Рюка. Средневековая Испания. М.: Вече, 2006, с. 155.

чай Эдуарда III. Он вынужден был признать себя банкротом. Дефолты королей Англии и Сицилии, последовавшие почти одновременно, привели к волне банкротств в Италии. Флорентийский хронист Джованни Виллани с горечью описывает разорение банкирских домов Барди, Перуцци, Аччайуоли, Бонаккорси, Кокки, Антеллези, Корсини, да Уццано, Перендоли и множества других мелких компаний и отдельных ремесленников. Этот кризис был вызван, по его мнению, не только неплатежеспособностью коронованных должников итальянских финансистов, но и тяготами, наложенными на местный бизнес самой флорентийской коммуной, которая, как и другие государства, испытывала нехватку средств. Виллани называет произошедшее «великим бедствием и поражением», подобного которому никогда ранее не знала Флоренция<sup>10</sup>. Банкротство Барди и Перуцци имело, по оценкам современников, характер «настоящего гражданского бедствия», а последствия его были «более тяжелыми, чем могло бы иметь военное поражение»<sup>11</sup>. Республики северной Руси — Новгород и Псков тоже испытывают экономические трудности. Немалый урон им наносит чума, завезенная из Германии. Между тем московский князь-ростовщик Иван Калита в те же годы умудрился повернуть общеевропейский экономический кризис себе на пользу, забирая земли своих соседей в качестве компенсации за неуплату долга. Причем ему не приходилось нести военные расходы — в деле выбивания долгов ему помогал хан Золотой Орды.

На Руси кризис XIV века совпал с господством татар, которое отнюдь не было для подвластных им земель однозначно разрушительным. Последствия «татарского ига» до сих пор являются предметом острой дискуссии среди российских историков. Ордынское государство, утверждает Александр Нестеренко, «взяло под контроль междоусобные конфликты, создав предпосылки для объединения русских земель вокруг единого центра»<sup>12</sup>. Действительно, восхождение Москвы как будущей столицы было бы без участия татар невысказано. Однако было бы странно воспринимать Золотую Орду исключительно как благодетеля русского народа, хотя бы потому, что ордынские ханы меньше всего интересовались благосостоянием своих православных подданных. «Власть Орды, — утверждает Нестеренко, — способствовала развитию экономики Руси. Что требовала Орда от своих данников? “Десятину” — десять процентов. Любой экономист скажет, что это очень низкий процент»<sup>13</sup>. К со-

<sup>10</sup> См.: Дж. Виллани. Новая Хроника или История Флоренции. М.: Наука, 1997.

<sup>11</sup> G. Luzzatto. Storia economica d'Italia. Il Medioevo, p. 238, 250.

<sup>12</sup> А. Нестеренко. Цит. соч., с. 318.

<sup>13</sup> Там же, с. 317.

жалению, это заявление грешит непониманием экономической истории. С точки зрения экономиста XXI века, 10% действительно очень высокий налог. Однако производительность сельскохозяйственного труда в XIV–XV веках была крайне низкой, и в таких условиях «десятина» превращалась в тяжелое бремя. Именно поэтому аналогичный церковный налог на Западе вызывал столь сильное возмущение. К тому же, как и в случае с церковным налогом в католических странах, уплата «десятины» в пользу Орды не освобождала русского крестьянина и ремесленника от феодальных поборов в пользу собственных, «православных» властителей. Другое дело, что налачился учет, принципы которого татары заимствовали в завоеванном ими Китае, появились условия для становления дееспособной государственной бюрократии, «ямская гоньба», основанная на регулярной смене лошадей, обеспечила почтовую связь между территориями будущего русского государства.

Иван Калита максимально использовал преимущества, которые открывались для Москвы благодаря тесному сотрудничеству с Ордой. Будучи, по выражению М. Покровского, у татарского хана «чем-то вроде главного приказчика»<sup>14</sup>, он не только собирал дань в пользу иноземных хозяев, но использовал их силу для укрепления собственной власти и влияния. Москва поднималась не за счет героической борьбы и отважных завоеваний, а благодаря деловой хватке и успешным интригам ее правителя, обернувшего на пользу себе даже общеевропейский экономический кризис. Как отмечает Покровский, «столица Калиты уже в XIV веке становится крупным буржуазным центром, население которого начинает вести себя почти по-новгородски»<sup>15</sup>. Деловой и торговый центр Руси смещается на юг — от древних торговых республик на берегах Балтики к более южным территориям, составившим ядро будущего Московского государства.

### ГОРОД И ГОСУДАРСТВО

Было бы совершеннейшей ошибкой представлять себе позднее Средневековье как столкновение неизменных или «разлагающихся под влиянием рынка» феодальных порядков с параллельно развивающимися буржуазными отношениями или как противостояние консервативной деревни и динамично развивающегося города. На самом деле модернизация европейского общества продвигалась волнами. И очень часто социальные отношения и политические силы, порожденные предшествующей волной перемен, сами оказывались опрокинуты следующими волнами модернизации.

<sup>14</sup> М. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. М. — Л.: ГИЗ, изд. 7-е, 1929, т. 1, с. 41.

<sup>15</sup> М. Покровский. Русская история. СПб.: Полигон, 2002, т. 1, с. 129.

Буржуазные производственные отношения складывались в Европе начиная с конца XIV века, достигнув значительной степени развития в Италии, Нидерландах, Англии, некоторых частях Франции и Германии. Однако нигде не смогли они создать той критической массы экономических перемен, которая превратила бы буржуазный уклад в господствующий способ производства, в капиталистическую систему. В Европе недоставало ресурсов. Процесс накопления капитала шел достаточно активно, чтобы способствовать разложению старого феодального порядка, но слишком слабо, чтобы на его основе могла сложиться новая логика общественного развития. Перелом наступил гораздо позднее, благодаря Великим географическим открытиям и последовавшими за ними торгово-колониальной экспансии, большим экспедициям и завоеваниям. Однако, в свою очередь, успех европейцев в XVI веке в очень большой степени был предопределен теми общественными структурами, с которыми Запад вступил в новую эпоху.

На первых этапах своей истории буржуазия не только не находилась в конфликте с феодализмом, но, напротив, помогала ему обрести новые стимулы для развития. Хорошо известно, что королевская власть во Франции и Кастилии, а позднее и в Англии укрепляла свои позиции, опираясь на города, которые достаточно окрепли, чтобы составить противовес феодалам. Буржуазия, выступая носителем новых социальных и экономических отношений, в свою очередь, нуждалась в укреплении центральной власти — не только стремясь отстоять свои права перед лицом феодальных сеньоров, но и для того чтобы окончательно переориентировать сельское производство с натурального хозяйства на потребности города. Точно так же как в древности торговые города не могли обойтись без поддержки территориальных империй, обеспечивавших для них связь с внутренними областями, так и теперь укрепление государства оказывалось важнейшим условием развития. Бюргерам было уже тесно в рамках локальных рынков, они стремились продавать и покупать товары в масштабах всего континента. Впечатляющим примером новой торговой экономики были знаменитые ярмарки в Шампани, где итальянские купцы и товары встречались с покупателями из Северной Европы. Увы, экономический кризис XIV века привел к упадку ярмарок.

Нестабильность рынков в Средние века заставляла буржуазию искать покровительства государства ничуть не меньше, чем в последующие эпохи. Однако сотрудничество центральной власти и городов принимало весьма разнообразные формы в зависимости от социальной и экономической ситуации конкретного региона и далеко не всегда было равнозначно распространению новых, более демократичных общественных отношений.

Сравнение двух испанских государств — Кастилии и Арагона — наглядно демонстрирует, что развитие торгового капитала само по себе не

вело ни к распространению свободного наемного труда, ни к преодолению феодализма. Города Кастилии были ремесленными, сравнительно небольшими, не слишком богатыми, они развивались за счет обмена товарами с окружающей сельской местностью. В свою очередь, крестьянство было по большей части свободным. Даже если крестьянские объединения — «бегетрии» (*behetrias*) — устанавливали номинальные отношения с сеньорами, они оставляли за собой право менять своего покровителя «хотя бы семь раз в день»<sup>16</sup>. Города и крестьянские общины нуждались друг в друге как экономически, так и политически.

Напротив, в Арагоне, где вокруг Барселоны сложился мощный центр международной торговли, сохранялись куда более консервативные отношения, крестьянство было порабощено влиятельными аристократическими фамилиями, которые тесно сотрудничали с представителями купеческого капитала. Феодальная знать помогала торговой олигархии завоевывать опорные пункты в Западном Средиземноморье, создавая политические и экономические форпосты на Балеарских островах, в Сицилии, Южной Италии и даже в Тунисе. В свою очередь, городская элита, контролировавшая общественную жизнь в Барселоне или Пальме-де-Майорке неизменно выступала на стороне аристократии в противостоянии с периодически восстававшими крестьянами. Другое дело, что само городское общество здесь было куда менее однородным и сплоченным, нежели в Кастилии, здесь постоянно возникали социальные конфликты (что в свою очередь усиливало заинтересованность торговой олигархии в сотрудничестве с феодалами).

Итальянские, русские и немецкие города-республики, многими авторами воспринимаемые как образцы раннего буржуазного государства и передовой экономики, на самом деле демонстрируют гораздо более сложную картину. Все они, от Венеции до Новгорода, начинают с XIV века клониться к упадку, иное дело, что далеко не всегда это осознается современниками.

В XII–XIII веках возрождающаяся средиземноморская торговля превратила Венецию и Геную в важнейшие экономические центры, значение которых было велико не только для Запада. Справочник «*Practica della mercatura*», составленный в начале XIV века для сотрудников флорентийской компании Барди описывает рынки всего Средиземноморья и других стран, включая туда территории, находящиеся далеко за границами древней Римской империи.

Морские путешествия средневековья требовали не только серьезной подготовки, но и больших затрат времени. Путешествие из Венеции в Бейрут или Александрию и обратно занимало 6 месяцев, а торговая экспедиция во фламандский Брюгге и вовсе год. Понятно, что при такой

<sup>16</sup> Цит. по: А.Е. Кудрявцев. Испания в Средние века. М.: URSS, 2007, с. 105.

технике коммерческий оборот средств мог быть только медленным, что, в свою очередь, требовало эффективной и развитой банковской системы, которая своими кредитами позволяла купцам продержаться в промежутке между торговыми операциями.

Располагая ограниченным количеством драгоценных металлов, европейцы просто не в состоянии были бы развивать свою торговую экспансию, если бы не могли одновременно экспортировать собственную продукцию, на которую был устойчивый спрос<sup>17</sup>. Ведя торговлю с арабскими портами Средиземноморья, итальянцы не только выменивали восточные товары на серебро, но и сами, по выражению польского историка, «располагали широким ассортиментом дорогих товаров»<sup>18</sup>. Вывозились на Ближний Восток ткани, металлы, часто оружие, стекло, бумага, красители, ювелирные изделия, вино, в неурожайные годы — зерно. Кроме того, венецианцы и генуэзцы занимались посреднической торговлей, доставляя в страны Магриба азиатские пряности и другие товары, которые приобретали в Леванте<sup>19</sup>. В свою очередь, итальянские торговые предприятия через систему ярмарок поставляли средиземноморскую продукцию в разные страны Европы. Начиная с XIII века купцы поставляют на внешние рынки не только экзотические и дорогие товары для феодальной элиты, но и «изделия первой необходимости, предназначенные для самых широких слоев общества»<sup>20</sup>.

Развитие международной торговли самым непосредственным образом сказывалось на производстве, способствуя его укрупнению и усилению контроля капитала над непосредственными производителями. «Именно потребности крупной международной торговли (*grande commercio internazionale*), — пишет итальянский историк Джино Луц-

<sup>17</sup> После того, как обнаружилось, что представления об экономическом превосходстве Запада над Востоком применительно к XV–XVI векам являли собой миф, сложившийся под влиянием последующей колониальной практики, стала набирать силу противоположная тенденция, изображающая саму Европу в качестве безнадежно отсталой хозяйственной «периферии» азиатского мира. На практике все было гораздо сложнее. Европейские страны начиная с конца XI века активно осваивали новые идеи и технологии, успешно преодолевая отсталость.

<sup>18</sup> История, социология, культура народов Африки. Статьи польских ученых, с. 131.

<sup>19</sup> Историки указывают и на рост «пассажирского сообщения» вдоль побережья Северной Африки, причем купцы из Магриба отправлялись в Александрию на своих судах, а обратно плыли на венецианских или генуэзских. Собственные корабли они в Александрии продавали, поскольку там всегда была нехватка дерева и соответственно торговых судов (см.: История, социология, культура народов Африки. Статьи польских ученых, с. 133).

<sup>20</sup> G. Luzzatto. Storia economica d'Italia. Il Medioevo, p. 230.

цатто (Gino Luzzatto), — вели к совершенствованию технических методов, как и юридических институтов, к появлению более рационально организованных и управляемых предприятий, точно так же как и к развитию того духа инициативы и предпринимательства, без которого невозможно представить себе фигуру капиталиста нового времени»<sup>21</sup>. Производство все больше отрывается от местных рынков и ориентируется на экспорт, начинает зависеть от импорта сырья. Итальянский текстиль продавался в Германии, но красители прибывали на фабрики полуострова из Индии, Египта, Месопотамии. От иностранных поставок зависело и фармацевтическое производство, которое тоже больше ориентировалось на внешние рынки. Здесь наблюдается прямая зависимость: именно способность купцов организовать вывоз товара на внешние рынки делает возможным использование более дорогого сырья и технологии. В свою очередь торговля способствовала развитию судостроения, восстановлению и строительству дорог, техническим усовершенствованиям.

Наряду с промышленным производством, на экспорт переориентировалось и итальянское сельское хозяйство, поставлявшее на север Европы вино, оливковое масло, но также соль и зерно, которые «вместе с тканями и текстильными изделиями составляли основу крупной средневековой коммерции»<sup>22</sup>.

Наряду с итальянцами торговлю вели каталонцы, португальцы, купцы из Марселя, причем у историков есть основания считать, что торговый баланс этих операций далеко не всегда был для европейцев отрицательным. В Тунисе к началу XIV века утвердились представители флорентийских банкирских домов — Барди (Bardi), Перуцци (Peruzzi), Аччайуоли (Acciaïoli, Acciaiuoli). Кризис XIV века привел к банкротству этих банков, но деловые связи сохранялись, а с середины XV столетия вновь стали расширяться.

Отстояв свою политическую самостоятельность, торговая буржуазия итальянских республик и немецких ганзейских городов, превратила государство в инструмент своих коммерческих интересов. Но как вскоре выяснилось, это не только не стимулировало развитие экономики и становление новых общественных отношений, а наоборот, с какого-то момента начало тормозить их.

Буржуазные отношения формировались как в городе, так и в деревне. Более того, именно распространение наемного труда и ориентированного на рынок производства в сельской местности сыграло решаю-

<sup>21</sup> Ibid., p. 209.

<sup>22</sup> Ibid., p. 227.



щую роль в развитии новых порядков<sup>23</sup>. В результате отделившиеся от феодальной деревни города-государства не могли стать эффективным центром общественных преобразований. Они окупались и в социальном плане стагнировали. Создание стратегических форпостов на морских берегах не заменяло связи с сельской экономикой глубинных районов Европы, связи, которая наоборот слабела. В Новгороде, где контролируемая сельская территория была довольно значительной, населена она была слабо, производительность труда была крайне низкой, а представители купеческой олигархии использовали покупку земель не для инвестиций в производство, а в качестве надежного вложения капитала, защищаемого от коммерческих рисков.

Развитие политически самостоятельных городов очень мало влияло на жизнь окружавшей их сельской местности, остававшейся все еще вполне феодальной. Города не столько преобразовывали общество вокруг себя, сколько выделялись из него, отстаивая свое право жить иначе. Территориальная экспансия городов в подобной ситуации приводила к феодализации правящих там буржуазных элит. И в Новгороде, и в Венеции буржуазная элита, приобретая сельские имения, не преобразовывала их в подобие капиталистических хозяйств (как это позднее происходило в Англии), а сама феодализировалась. Например, венецианские «новые колонии», захваченные на Балканах и в Восточном Средиземноморье по мере ослабления позиций Византии, «имели преимущественно феодальный характер»<sup>24</sup>. Так, завоевав Крит, венецианцы распределили

<sup>23</sup> Становление аграрного капитализма и его роль в развитии буржуазного способа производства наиболее подробно анализируется в работах американского историка Роберта Бреннера. См.: *R. Brenner. Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism. In: The First Modern Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1989; The Brenner Debate. Ed. by T.H. Aston & C.H.E. Philpin. The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.*

<sup>24</sup> *G. Luzzatto. Storia economica d'Italia. Il Medioevo, p. 36.* По мнению Ричарда Лахмана, как возникновение и расцвет городов-государств, так и их позднейший упадок были вызваны геополитической конъюнктурой и общим соотношением сил в Европе позднего Средневековья. «Те же самые зазоры в политике итальянских и европейских крупных сил, которые дали городским элитам их автономию и экономические возможности, также побуждали флорентийских патрициев и их коллег в Венеции, Генуе и Милане устанавливать олигархии, а затем рефеодализировать свою политику и экономику для того, чтобы наилучшим образом сохранить власть и приумножить свое богатство» (*Р. Лахман. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2010, с. 173 (англ. изд.: R. Lachmann. Capitalists in Spite of Themselves. Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe. Oxford: Oxford University Press, 2000).* Эта оценка безусловно верна, только она — как и большая часть тезисов

лучшие земли между своими патрициями, эксплуатировавшими местное зависимое население.

Не случайно эволюция политических систем городов-государств шла от демократии к олигархии. Чем более могущественным и влиятельным становился город, тем более олигархическим делалось его внутреннее устройство. Примерами в равной степени могут служить и Новгород, и Венеция.

Советские историки связывали блеск и роскошь возникавшей в Италии культуры Ренессанса со слабостью и нестабильностью процесса накопления капитала. Вместо того чтобы инвестировать средства в производства, олигархия городских республик строила великолепные дворцы и заказывала картины модным художникам.

«Большие состояния быстро создавались и иногда быстро прожигались. Крупные торговые обороты, ростовщические операции собирали в руках купцов и банкиров огромные состояния невиданных прежде размеров; но нередко за этим следовало разорение в результате неудач с торговыми экспедициями, захвата торговых судов пиратами, политических осложнений, отказа могущественных должников от уплаты долгов. Неуверенность в завтрашнем дне вызывала желание пользоваться настоящей минутой. Богачи соперничали друг с другом в роскоши. Это было время красивых дворцов, роскошной домашней обстановки, дорогих и изысканных костюмов. Народ эксплуатировали, презирали и старались держать в узде, но в то же время заискивали перед ним, стремились отвлечь его... сооружая большие и великолепные постройки, устраивая пышные празднества»<sup>25</sup>.

Описывая эволюцию государства в конце Средневековья, Дж. Арриги противопоставляет «капитализм», воплощением которого считает Геную и Венецию, «территориализму», восторжествовавшему во Франции и Англии<sup>26</sup>. Борьба этих двух принципов после поражения городов-государств завершается вполне по Гегелю — синтезом в образе «национального государства», территориального по форме и буржуазного по содержанию.

Лахмана об элитном конфликте как двигателе перемен — равным счетом ничего не объясняет. То, что городские олигархии Италии или Германии выбрали стратегию рефеодализации вызвано было в первую очередь ограниченностью их ресурсов, узостью производственной и экономической базы для их господства, отсутствием перспектив для вовлечения аграрного общества в капиталистическое развитие.

<sup>25</sup> История Средних веков. М.: Политиздат, 1952, т. 1, с. 629.

<sup>26</sup> См.: G. Arrighi. *The Long Twentieth Century*. London — N.Y.: Verso, 1999, p. 43–46 (рус. изд.: Дж. Арриги. Долгий двадцатый век. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006, с. 80–83.

Нетрудно заметить, что Арриги противопоставляет несопоставимое. Капитализм, как способ организации производства, торговая система, как и соответствующие им общественные отношения, никак не могут стоять в одном ряду с неким абстрактным «территориализмом», под которым исследователь понимает принцип организации крупных территориальных государств (строго говоря, из рассуждений Арриги про эти государства мы понимаем лишь то, что они крупные). На практике города-государства нередко обладали весьма обширными территориями: Новгород был в XV веке одним из крупнейших государств Европы, да и Венеция создала впечатляющих размеров империю. Генуя обладала обширными владениями в Крыму. Эти земли были отдалены от столицы морскими просторами, но это же можно сказать и про Португальскую империю более позднего времени. Дания, превращаясь в одно из ведущих государств Севера, имела под своей властью, как и Венеция, владения, разбросанные по разным берегам. Невозможно представлять ту же Венецию или Новгород как своего рода экстерриториальные образования, построенные на одной лишь торговле и финансовых операциях. Они содержали впечатляющих масштабов вооруженные силы, местная знать вкладывала торговые прибыли в приобретение сельскохозяйственных имений, они вели борьбу за контроль над стратегически важными территориями, вступали в политические союзы и коалиции.

Чарльз Тилли связывает упадок городов-государств с нехваткой ресурсов (что составило конкурентное преимущество крупных «территориальных» государств). На самом деле проблема не в размерах территории (под властью Венеции и Новгорода находилось большее пространство и население, нежели у многих европейских королей), а в структуре, во внутреннем устройстве этих олигархических республик. Они просто не ставили перед собой задачи, которые ставились и решались будущими национальными государствами Европы.

Главная проблема состояла не в том, насколько велики были территориальные владения Венеции, Флоренции, немецких ганзейских городов или Пскова с Новгородом, а в том, насколько сложившийся там тип олигархического правления соответствовал перспективам развития капитализма. Династические государства оказались на поверку не менее буржуазными, чем торговые республики, но в то время как городские республики зависели от ограниченных в своем объеме традиционных «международных рынков» Средневековья, династические государства одновременно формировали свои собственные внутренние рынки и новый мировой рынок. В силу этого обстоятельства они были и гораздо более представительными. Вопреки взглядам, сложившимся в более позднее время, власть монархов отнюдь не была неограниченной, она предполагала активное взаимодействие с представителями сословий и регионов, в то время как

политика города-государства при всем формальном «демократизме» процедур, основывалась на олигархическом контроле внутри стен города и жестком подавлении подданных за его стенами.

Самир Амин не скрывая восхищения пишет о итальянских городских республиках эпохи Возрождения: «В эти времена некоторые итальянские города управлялись, как настоящие коммерческие фирмы, во главе которых стоял синдикат богатейших держателей акций, что представляло собой более четко выраженную связь с ранними формами капитализма, чем между протестантизмом и капитализмом: типичным представителем такой связи стала Венеция»<sup>27</sup>. Между тем именно превращение города в коммерческое предприятие делало его непригодным в качестве политического инструмента для создания капиталистического общества, более того, он становился препятствием для такого развития. Формирование капиталистической системы не только не может быть сведено к погоне за коммерческой прибылью (которая имела место и задолго до торжества буржуазного порядка), но в определенных ситуациях и находится в прямом противоречии с этой целью. Капитализм нуждался в интеграции рынков, и в первую очередь в создании масштабного рынка труда, без чего немислимо расширение буржуазного производства. Напротив, города-государства, защищавшие свои коммерческие привилегии и специфические интересы, были одним из самых серьезных препятствий на этом пути. Неудивительно поэтому, что именно неспособность централизованного государства подавить сопротивление городов-республик в Италии и Германии оказалось важнейшим препятствием для модернизации и буржуазного развития в этих странах.

Рынки городов-государств оказывались слишком узки для накопления капитала, который уже в конце XIII века ищет более обширные территории и более могущественных клиентов в лице королей, обладающих серьезной налоговой базой. К тому же эта налоговая база, находящаяся все еще в аграрной экономике, является более устойчивой к колебаниям рыночной конъюнктуры, которые уже в XIV веке обернулись банкротством крупнейших итальянских компаний.

Успехи ганзейских городов были впечатляющими, но тем более значим вопрос о причинах их последующего упадка. Если экономическую и политическую деградацию итальянских городов-государств обычно связывают с падением Константинополя, открытием Америки и смещением торговых путей, то для городов Немецкой Ганзы смещение торговли на северо-запад было скорее благоприятным фактором, многие из немецких портов продолжают активно развиваться, а значение Балтики

<sup>27</sup> С. Амин. Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира. М.: Европа, 2007, с. 89–90 (англ. изд.: S. Amin. *The Liberal Virus. Permanent War and the Americanization of the World*. N.Y.: Monthly Review Press, 2004, p. 58).

как торговой зоны неуклонно повышается на протяжении XVI–XVII веков. Однако это отнюдь не ведет к укреплению политических позиций старых ганзейских центров.

Немецкие историки XIX века связывали экономический упадок приморских городов с событиями Тридцатилетней войны, но процесс этот начался значительно раньше. Французский историк Э. Лависс отмечает, что уже в начале XV века Ганза находилась «в состоянии полного разложения»<sup>28</sup>. Короли Дании, традиционно конфликтовавшие с Ганзой, благодаря Кальмарской Унии 1389 года присоединили к своим владениям Норвегию и Швецию, традиционно с Ганзой сотрудничавших. И хотя Швеция уже в середине XV века отделилась от унии фактически, а в 1523 году официально, соотношение сил в регионе изменилось необратимо.

Торговля на Северном море и Балтике в XVI веке бурно развивалась, но воспользоваться этими новыми возможностями удалось не немцам, а голландцам и отчасти англичанам. Проблемы у городов-государств (как в Италии, так и в Германии) начинаются уже в XV веке еще до того, как пал Константинополь. Корень этих проблем надо искать не во внешних факторах, а в самой социально-политической структуре городов-государств, в ограниченности их экономической базы, узости внутреннего рынка и олигархическом характере правления, при котором политика деградировала до коммерции.

К началу XV века Венеция явно опережает своих соперников — Флоренцию и Геную — как в плане морского могущества, так и в финансовом, политическом и территориальном отношении. Для Генуи, находившейся на западе Италии, большое значение имели французский рынок и политические связи с французскими королями. Поэтому события Столетней войны нанесли по генуэзской буржуазии серьезный удар. Часть свободного капитала, не находившего применения, была перенаправлена на Запад — в Испанию и Португалию, где генуэзские деньги сыграли не последнюю роль в финансировании морских экспедиций и географических открытий. Эти инвестиции, впрочем, оказались оправданными. В XVI веке генуэзские фирмы все еще пожинали плоды своего успеха, получая немалые прибыли из Испании и Португалии<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Э. Лависс. Цит. соч., с. 181. К торговому упадку прибавился очередной сдвиг в миграции сельди, которая переместилась к берегам Голландии, способствуя расцвету Амстердама.

<sup>29</sup> Дж. Арриги в книге «Долгий XX век» (G. Arrighi. The Long Twentieth Century) описывает Геную в качестве гегемона, не только контролировавшего средиземноморскую торговлю, но и выступавшего в роли политического и экономического центра для всего процесса накопления капитала. Однако вскоре читатель с изумлением обнаруживает, что автор не может убедительно продемонстри-

Успехи итальянских торговых городов были тесно связаны с Византийской империей. Как отмечают историки, «итальянские морские республики могли оказать Византии эффективную военную поддержку в обмен на коммерческие привилегии»<sup>30</sup>. Упадок Константинополя предопределил неизбежное ослабление позиций Генуи и Венеции. Однако немалую долю прибылей получали итальянские предприниматели от прямой торговли с мусульманскими странами. Несмотря на почти постоянный военный конфликт, эти отношения никогда полностью не прерывались. Следует, впрочем, учитывать, что воевали венецианцы с турками, а торговали с арабами — политические конфликты здесь отнюдь не совпадали с религиозными различиями. В Крыму генуэзские колонии находились под фактическим протекторатом ханов Золотой Орды, хотя временами между ними бывали и конфликты. Генуэзская пехота была в составе татарского войска в битве против русских на Куликовом поле, а в момент падения Византии генуэзцы не только не поддержали греков, а предпочли договориться с турками.

В конце XIV — начале XV века более 60% судов, выходявших из порта Бейрута, направлялись в Геную или Венецию. Из Александрии каждый пятый, а порой и каждый четвертый корабль плыл в Геную. Соревноваться с итальянскими портами могла лишь Барселона, на которую приходилось от одной пятой до четверти торгового потока (traffic)<sup>31</sup>. Укрепление позиций Османской Турции, а позднее завоевание ею Сирии и Египта нанесло по интересам венецианцев не меньший удар, чем взятие турками Константинополя.

Коммерческое влияние Венеции распространялось не только на Восточное Средиземноморье, но и на Южную Германию, где местные торговые дома работали в тесном союзе с венецианцами. На рынках Нидерландов итальянские купцы обменивались товарами с представителями Немецкой Ганзы, господствовавшей на Балтике. Инвестиции уже приобрели международный характер, деньги, заработанные благодаря левантийской торговле, шли на развитие шахт в Богемии и ткацких производств во Фланд-

---

рывать значение Генуи как гегемона ни в торговой, ни в военной, ни в производственной, ни даже в финансовой сфере. Роль Генуи не обосновывается и даже не выявляется в ходе повествования, а просто изначально констатируется. Единственная причина, заставившая Арриги сделать вывод о «генуэзской гегемонии», состоит в том, что согласно его логике система по определению должна иметь гегемона, а Генуя, с его точки зрения, наилучшим образом подходит для этой роли. Сама возможность того, что система как таковая еще могла не сложиться либо на определенном этапе могла обходиться вообще без гегемона, остается за пределами обсуждения.

<sup>30</sup> The Rise of Merchant Empires: Long Distance Trade in the Early Modern World 1350–1750. James D. Tracy, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. 16.

<sup>31</sup> См.: Ibid., p. 19.

рии. Английская шерсть потоком шла во Флоренцию, где производились высококачественные ткани, продававшиеся по всей Европе. Развитие экономики сопровождалось ростом классовых противоречий и социально-политической борьбы. В одной лишь Генуе с 1413 по 1453 год произошло 13 восстаний и переворотов. На этом фоне Венеция выглядела образцом стабильности, главным образом за счет того, что власть была эффективно разделена между господствующими коммерческими группировками. Тем не менее, по признанию итальянского экономического историка, конфликты между собственниками и рабочими возникали постоянно, после 1400 года, «принимая явный характер классовой борьбы»<sup>32</sup>.

Принципиальное отличие Венеции от Флоренции и многих других республик Италии состояло в том, что производство (за исключением судостроения) было не слишком развито — основой богатства республики была торговля. Как следствие этого, не столь многочисленными и менее политически влиятельными были ремесленники и пролетарии, ставшие возмутителями спокойствия в Генуе, Флоренции и городах Фландрии. Венецианская промышленность не была ориентирована на массовый рынок. В то время как флорентийцы и фламандцы производили товары для растущего городского населения, в Венеции специализировались на изготовлении предметов роскоши либо строили корабли на государственных верфях. В результате местная индустрия не слишком страдала от колебаний массового спроса, но зато оказалась «самой отсталой во всей Адриатике»<sup>33</sup>.

Как и во всякой империи, государство играло очень значительную роль в экономике Венеции, не только выступая оптовым заказчиком (нужно было вооружать флот, строить крепости), но и владея мощным торговым флотом. Местные морские законы были прообразом британских Навигационных актов, запрещая привозить специи иначе как на судах, принадлежащих республике. Военные корабли сопровождали торговые караваны, делая мореплавание безопасным. Экономическая политика была последовательно протекционистской.

Венецианское государство опиралось на эффективную фискальную систему, позволявшую получать в виде налогов и таможенных сборов значительные средства для казны. Финансовая дисциплина в республике была важнейшей и постоянной заботой правительства на протяжении большей части Средневековья. Вводились и монополии — власти запрещали солеварам Кюджийи (Chioggia) вывозить свой товар за пределы местного рынка, остальная торговля солью шла по каналам, организованным государством.

<sup>32</sup> G. Luzzatto. *Storia economica di Venezia dall' XI al XVI secolo*. Venezia: Centro internazionale delle arte e del costume, 1961, p. 194.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 67.

Даже пребывание в составе аристократического сословия зависело не только от происхождения, но и от соблюдения финансовых обязательств перед правительством. Венецианская аристократия представляла собой, по словам современного исследователя, «открытый класс, допускавший в свои ряды вновь прибывших людей, новоиспеченных богачей. Им требовалось только быть избранными в Большой Совет, чтобы сблизиться с аристократами, а переизбрание давало право войти в состав этого класса»<sup>34</sup>. Патрициат состоял в республике к 1300 году из 257 семей, причем система позволяла не только пополнять аристократию новыми семьями, но и «вычищать» из нее тех, чей материальный достаток не соответствовал наследственному статусу. Так, в 1383 году, когда республика испытывала серьезные финансовые трудности после очередной войны, Большой Совет проголосовал за исключение из состава аристократии тех, кто не справлялся со своими налоговыми обязательствами. Некоторые семьи, правда, были позднее восстановлены в своих правах.

Напротив, гражданство в Венеции было получить крайне трудно вплоть до 1348 года, когда эпидемия чумы, выкосив значительную часть потомственных граждан, не принудила республику радикально изменить правила, облегчив процесс получения гражданских прав.

Как отмечает итальянский историк, многие налоги возникали в виде добровольных пожертвований, «но затем превратились в обязательные сборы»<sup>35</sup>. Так формировался своеобразный венецианский госкапитализм. Не только налоговая система и монополии, но и значительная часть транспорта находились в руках правительства. Галерный флот, в отличие от Генуи, принадлежал правительству республики: «с XIV века все галеры постепенно перешли в собственность государства»<sup>36</sup>. В условиях экономического кризиса концентрация ресурсов в руках правительства оказывалась важнейшим условием развития, не вызывая недовольства буржуазии. Галеры могли использоваться и для военных, и для коммерческих целей, обслуживая в мирное время регулярные рейсы между Венецией и портами Восточного Средиземноморья. Уже в 1278 году был установлен порядок отправки караванов на Восток, расписаны сроки и правила, которые должны были соблюдаться «отныне и навсегда» (*d'ora in poi*)<sup>37</sup>. В начале XIV века к восточным караванам добавились аналогичные рейсы в Англию и Фландрию. Поскольку теперь венецианский флот должен был выходить в Атлантический океан, началось строительство новых, более тяжелых галер, которые позднее стали использоваться и

<sup>34</sup> Ж.-К. Оке. Средневековая Венеция. М.: Вече, 2006, с. 134.

<sup>35</sup> G. Luzzatto. *Storia economica di Venezia dall' XI al XVI secolo*, p. 33.

<sup>36</sup> G. Luzzatto. *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, p. 222.

<sup>37</sup> G. Luzzatto. *Storia economica di Venezia dall' XI al XVI secolo*, p. 42.



на традиционных морских линиях. Строительство галер было также государственным предприятием, сосредоточенным вокруг принадлежавшего республике Арсенала. Рабочие получали зарплату, начислявшуюся поденно. Напротив, суда небольшого водоизмещения строились ремесленным способом независимыми предпринимателями. Эти многочисленные суда, «морские бродяги», находились в частной собственности, дополняя своей инициативой рейсы, «субсидируемые, организованные и контролируемые государством»<sup>38</sup>. Вооруженные галеры транспортировали «самые дорогие и дефицитные товары» (специи, духи, крашенные ткани, лекарства, драгоценные камни, а также венецианская продукция, которая шла на Восток для обмена на эти изделия)<sup>39</sup>. Цена товара, которым была загружена одна галера, могла превышать 200 тысяч золотых дукатов<sup>40</sup>. Более дешевые товары доставлялись потребителю «морскими бродягами». Эти небольшие суда принадлежали своеобразным акционерным обществам, образуемым буржуазными семьями, причем управление делом находилось в руках семьи, которая владела и самым крупным паем.

Собственная производственная база итальянских городов-республик первоначально была довольно узкой. Решающую роль играла посредническая торговля. Предметы роскоши, привозимые с Востока, обменивались здесь на текстиль, прибывавший из Фландрии, серебро и медь, которые добывали и обрабатывали в Центральной Европе. Лишь постепенно увеличивалось собственное производство и улучшалось его качество. Венеция производила стекло, керамику, бумагу и ювелирные изделия, Флоренция текстиль. Перенимая восточные технологии, венецианцы научились выращивать сахарный тростник на Крите и Кипре, откуда он распространился на Сицилию и Мальту, а затем в Испанию, Португалию и на острова Атлантического океана. Постепенно спрос на итальянские изделия вырос настолько, что пришлось создавать новые производственные центры в Южной Германии — Ульме, Аугсбурге и Нюрнберге. Итальянские технологии воспроизводились во Фландрии и Франции. Экспорт капитала и технологий шел на смену экспорту товаров. Немецкие и фламандские торговые города не только с легкостью воспринимали технические и организационные новации итальянцев, но и сами вводили у себя новые институты, соответствовавшие требованиям буржуазной экономики. Первая биржа появилась в средневековом фламандском Брюгге, рядом с домом дворянской семьи Ван ден Берс (Börse). Отсюда произошло и немецкое слово «börse» — биржа.

<sup>38</sup> G. Luzzatto. *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, p. 222.

<sup>39</sup> См. G. Luzzatto. *Storia economica di Venezia dall' XI al XVI secolo*, p. 46.

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 47.

«В XV веке, — констатирует Антонио Грамши, — предприимчивость итальянских купцов резко падает: они предпочитают скорее вкладывать приобретенные средства в земельные владения и получать верный доход от сельского хозяйства, чем снова рисковать ими при поездках и вложениях за границей»<sup>41</sup>. При этом, однако, не столько аграрное производство становилось буржуазным, сколько буржуазия феодализировалась. К середине XV века итальянские города вернулись к роли торгово-финансовых центров, в то время как центры производства все более смещались к Северу. Нидерланды и Англия уже к XVI веку обладали гораздо более мощной производственной базой, чем итальянские города.

Европейские банкиры XV–XVI веков (Аугсбургские Фуггеры и др.) активно кредитовали королей и императоров, и именно работа с этими крупными клиентами (а не со средней руки предпринимателями) вела к бурному развитию частных финансовых учреждений. Города-государства позднего Средневековья, где зародились подобные банковские дома, вскоре оказались слишком малы для их развития. Как отмечает Грамши, невозможность эффективного развития капитализма заложена «в самой структуре государства-коммуны, которое не может развиваться в крупное территориальное государство»<sup>42</sup>.

Банкирам нужны были сильные и крупные государства: они обеспечивали доступ к куда более значительным ресурсам, одновременно предоставляя защиту на большой территории. Наконец, именно в этих королевствах появлялась возможность использовать кредит не только в торговле, но и в сельском хозяйстве, которое, несмотря на все происходившие перемены оставалось основой любой экономики. Разумеется, речь, как правило, не идет об аграрном кредите как таковом. Процессы вовлечения сельского хозяйства в рынок и накопление капитала были гораздо более сложными. Землевладельческая аристократия прибегала к заимствованиям для того, чтобы финансировать свое растущее потребление, реконструировать замки и усадьбы, содержать многочисленную прислугу, свиту и своих сотрудников. Расплачиваясь с кредиторами, она усиливала эксплуатацию крестьян и ориентировала село на производство продукции для рынка. Технические и организационные улучшения были чаще побочным эффектом этих усилий, нежели результатом продуманной стратегии и инвестиций.

Британский историк Нил Дэвидсон (Neil Davidson) объясняет, что несмотря на бурное развитие новых общественных отношений независимые города не смогли создать в Италии новое общество — причиной их поражения «была неудача попыток Фридриха II создать единое государство, за которой последовало многовековое подчинение коммун

<sup>41</sup> А. Грамши. Избранные произведения. М.: Изд-во иностр. лит., 1959, т. 3, с. 268.

<sup>42</sup> Там же.

власти феодальных баронов, контролировавших сельские окрестности городов»<sup>43</sup>. В действительности ситуация была несколько сложнее: между феодальной элитой и городской олигархией происходило сближение. С одной стороны, феодальные семейства перебирались в города (порой, их даже принуждали к этому), вкладывали деньги в коммерческие предприятия. С другой стороны, ведущие буржуазные кланы приобретали сельские имения в окрестностях коммуны, присваивали себе титулы и феодальные привилегии. Эту картину в равной степени можно наблюдать в Новгородско-Псковской Руси и в средневековой Италии.

Именно ведущие итальянские города, возглавляемые партией гвельфов стали главной силой, которая не позволила Фридриху II и другим германским императорам установить единое государство в Италии, а сеньоры, пришедшие к власти в городах к концу XV или в начале XVI века, сами были выходцами из городской буржуазии. Появление «новых феодалов» из среды городской олигархии само по себе было как раз результатом политического триумфа города, отстаивавшего свою независимость и восторжествовавшего над старыми феодальными семьями, которые с течением времени лишились не только влияния на городское правительство, но и собственности.

Если во Франции союз королевской власти и городов стал основой нового государства, то в других частях Европы мы видим куда более сложную картину. Даже во Франции этот союз возникал далеко не автоматически. В Англии королям удалось наладить сотрудничество с буржуазией путем уступок и формального соглашения, закрепленного парламентскими актами. Во Франции королевской власти приходилось постоянно декларировать уважение к городским вольностям и свободам, расширяя и дополняя их. В России правители Москвы вели борьбу с городами-республиками, одновременно поощряя лояльные торговые центры. В Германии именно вольные города оказались в жесткой оппозиции к политике императоров, не будучи в то же время революционной силой, ориентированной на изменение окружающего общества.

Отстояв свою самостоятельность в XIV–XV веках, вольные города Германии к XVI веку оказались в кризисе — «все общественное устройство городских республик разрушалось, не только под давлением извне, но и изнутри»<sup>44</sup>. Социальная борьба низов дополнялась расколом верхов, соперничеством олигархических группировок и появлением на этой почве «городских тиранов» (*Stadttyrannen*), игнорировавших традиционные республиканские институты.

<sup>43</sup> *N. Davidson. Discovering the Scottish Revolution. 1692–1746. London: Pluto Press, 2003, p. 73.*

<sup>44</sup> *H. Schilling. Aufbruch und Krise. Deutschland 1517–1642. Berlin: Siedler Verlag, 1988, S. 171.*

Позднее развитие протестантских торговых центров отнюдь не стимулировало развитие Германии в целом, поскольку города не готовы были делиться с отсталыми регионами своими ресурсами во имя создания национального внутреннего рынка. Это вообще задача, которую без вмешательства государства решить крайне трудно, ведь речь идет о перераспределении средств.

Между тем создание единого рынка имеет принципиальное значение не только для развития капитализма, но особенно — на этапе перехода от господства торгового капитала к развитию промышленности. Окончательный распад Германии на самостоятельные мини-государства закрепил ее отсталость точно так же, как объединение страны в середине XIX века стало важнейшей предпосылкой индустриализации. То же самое справедливо и применительно к Италии, если не считать того, что там были свои специфические причины отсталости.

К XVI веку обнаружилось, что купцы из городов-государств «не могли конкурировать с торговцами из новых централизованных государств»<sup>45</sup>. Причем одна и та же тенденция прослеживалась и в Западной Европе, и в Азии, и в России. Успех итальянских купцов не в последнюю очередь основывался на поддержке, которую они получали от французских королей, обеспечивавших им защиту и беспошлинную торговлю на ярмарках в Шампани и Лионе, точно так же балтийская торговля Немецкой Ганзы зависела от политической поддержки Дании и Швеции (и в определенные моменты от способности ганзейских купцов влиять на политику Ливонского ордена). В Новгороде постоянно шла борьба партий — одни тяготели к Москве, другие проявляли интерес к Литве и Швеции, но по сути даже те, кто номинально отстаивал сохранение независимости, понимали, что без опоры на внешнюю силу республика выжить не сможет.

Военная сила Новгорода непрерывно слабела. Неумение и нежелание новгородцев воевать было хорошо известно Московским князьям, которые на этом построили свою политику подчинения купеческого государства. Однако военная слабость далеко не всегда была характерной чертой Новгорода. Причина упадка — в олигархическом характере республики. Здесь не было военного сословия в лице феодального дворянства (имевшаяся аристократия обуржуазилась), но и народного ополчения не было нужно: в условиях постоянных социальных конфликтов оно могло оказаться опасным. Нечто похожее происходило и в итальянских республиках. Чем меньше доверяла олигархия собственным массам, тем больше нуждалась в наемниках. Результатом стало восхождение профессиональных наемных полководцев, кондотьеров, которые во многих случаях уже не удовлетворялись оплатой за свои услуги, а стремились к политическому влиянию.

<sup>45</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 75.

Постепенно углубляющийся упадок городов не привел к сколько-нибудь существенным реформам или попыткам переломить нарастающую тенденцию. Правящая олигархия была слишком косной, слишком своекорыстной, слишком сосредоточенной на своих привилегиях. А движения городских низов подавлялись жесткой рукой, не приводя — в отличие от крупных государств — к уступкам или компромиссам.

Как заметил чешский историк Йозеф Мацек, XIV век прошел «уже не под знаком борьбы феодалов и городов, а под знаком бурной борьбы бюргерства с патрициатом»<sup>46</sup>. Рост внешней торговли, как отмечает бельгийский историк Анри Пиренн, способствовал тому, что производитель утрачивал прямую связь с потребителем и товар продавался через посредников. Это, в свою очередь, вело к пролетаризации ремесленников, которые теперь работали не на себя, а на купцов, фактически нанимавших их для выполнения экспортных заказов. Таким образом, «между купцом и производителем появилось резкое разделение: первый был капиталистом, второй — наемным рабочим»<sup>47</sup>.

В первой половине XIV века в наиболее развитых частях Западной Европы наблюдается широкомасштабное распространение наемного труда, причем не только в крупных городах. Как отмечает английский историк: «На удивление много промышленных рабочих может быть обнаружено в период около 1350 года живущими в деревнях. Не только кузнецы, плотники, изготовители седел, кровельщики, ломовые извозчики, что вполне естественно, но также чеканщики, красильщики тканей, мыловары, кожевники, изготовители иглоков, специалисты по изготовлению древесного угля и многие другие»<sup>48</sup>.

Фландрия, Северная Италия, некоторые зоны Франции, Англии и Германии переживали бурный процесс урбанизации. В крупнейших городах Фландрии к середине XIV века насчитывалось до 50 тысяч жителей<sup>49</sup>. «Рабочие массы больших городов жили, по-видимому, в условиях довольно близких к условиям жизни современных пролетариев», — констатировал Пиренн в начале XX века<sup>50</sup>. Число пролетариев увеличилось благодаря экономической экспансии, продолжавшейся на протяжении полутора столетий. А кризис, пришедший на смену росту, сопровождался увеличением безработицы и акциями протеста. Уже в XIII веке ере-

<sup>46</sup> *И. Мацек*. Табор в гуситском революционном движении. М.: Иностранная литература, 1956, т. 1, с. 69.

<sup>47</sup> *А. Пиренн*. Средневековые города Бельгии. СПб.: Евразия, 2001, с. 222.

<sup>48</sup> *J. Clapham*. A Concise Economic History of Britain. From the Earliest Times to 1750. Cambridge: At the University Press, 1949, p. 115.

<sup>49</sup> См.: *А. Пиренн*. Цит. соч., с. 227.

<sup>50</sup> Там же, с. 224.

си, распространявшиеся по Европе, были не только антифеодальными, но и антибуржуазными. Недовольство низов городским патрициатом и олигархическим правлением находило себе выход в религиозных проповедях. Пиренн отмечает, что пролетаризация городского населения во Фландрии уже к концу XII века начала проявлять себя на идеологическом уровне. «Рабочий класс, в котором в XII веке происходило брожение под влиянием еретических учений, в XIII веке охвачен был бурными социальными требованиями»<sup>51</sup>. На первый план вышел вопрос о заработной плате и о праве наемных работников создавать собственные гильдии.

В итальянских республиках классовая борьба к концу столетия достигла крайнего накала. Городские восстания XIV века во Флоренции и Сиене демонстрировали те же политические и идеологические тенденции, что и развернувшееся позднее гуситское движение в Богемии. Восстания чомпи (*ciompi*) во Флоренции показали, что попытки переложить тяготы экономического кризиса на трудовые низы чреватые серьезными социальными потрясениями. Чомпи (чесальщики шерсти и другие наемные рабочие сукнодельческих мануфактур во Флоренции и в других итальянских городах) на протяжении XIV века бунтовали неоднократно. Первое подобное выступление имело место во Флоренции в 1345 году в форме забастовки, которая была подавлена. В 1371 году произошли волнения рабочих в Перудже и Сиене. В 1378 году флорентийские чомпи вновь восстали. К ним присоединились бедные ремесленники сукнодельческих цехов. Рабочие требовали политических прав и повышения заработной платы на 50%. Они добивались, чтобы им предоставили места в правительственных органах коммуны и позволили организовать собственный цех наемных рабочих. Создание такого цеха не только позволило бы трудящимся организовать некое подобие профсоюза, но и сделало бы их полноправными гражданами, поскольку соответствующий статус во Флоренции имели лишь члены цехов. Рабочие также потребовали упразднить должность «чужеземного чиновника» (надсмотрщика, приглашаемого хозяином из другого города). На некоторое время восставшим удалось захватить в свои руки власть в городе и сформировать собственную сеньорию. Однако новая власть столкнулась с экономическим бойкотом, организованным окрестными феодалами, а само движение резко разделилось на умеренных и радикалов, не доверявших правительству и сформировавших собственное альтернативное руководство — «Восемь святых Божьего народа». Захват власти радикалами привел к переходу умеренных на сторону старой элиты, а затем движение было жестоко подавлено<sup>52</sup>. После подавления

<sup>51</sup> Там же, с. 301.

<sup>52</sup> Подробнее о восстании чомпи см.: В.И. Рутенбург. Народные движения в городах Италии. XIV — начало XV в. М. — Л., 1958.

восстания была разогнана наиболее радикальная из вновь созданных гильдий рабочих, которую Чарльз Тилли определяет как «более пролетарскую» (*more proletarian*), тогда как «две коллаборационистские гильдии» (*collaborators*) стали частью реформированной системы городского управления<sup>53</sup>.

В Венеции патрицианская власть сознательно ограничивала развитие ремесленных корпораций, поскольку они воспринимались как «политически опасные»<sup>54</sup>. Ограничивалось и использование наемного труда, даже в ущерб развитию производства (что, впрочем, не сильно волновало городскую элиту, зарабатывавшую на международной торговле).

Олигархии городов-республик могли с помощью террора и коррупции удерживать власть, но не имели ресурсов для того, чтобы обеспечить приемлемый для большинства населения социальный компромисс, без чего невозможно было никакое долгосрочное развитие. Впрочем, в таком законсервировавшемся виде городские олигархические режимы в Италии смогли просуществовать в течение длительного времени, используя накопленные за предыдущие столетия ресурсы, связи и знания.

Французское вторжение в Италию в 1494 году продемонстрировало военно-политическое бессилие городов-государств. Французские армии прошли через всю страну, не встретив серьезного сопротивления. Никколо Макиавелли и другие мыслители того времени, еще недавно считавшие Италию важнейшим политическим центром мира, были потрясены. Единственным способом остановить французов оказалось создание Лиги, в которую наряду с Венецией, Миланом и Папой Римским вошла Испания. Однако вступив на территорию Италии, испанцы уже не собирались уходить оттуда. В XVI веке испанские и французские войска свободно перемещались по стране, сражаясь друг с другом. По мере того как победа склонялась на сторону испанского оружия, гегемония в Италии переходила в руки «католических королей» Испании и наследовавших им Габсбургов. Лишь Венеция и Генуя сохранили независимость и традиционные институты олигархических республик. Неаполь стал владением испанской короны, а северные герцогства сделались фактическим протекторатом Габсбургов на несколько столетий. В униженном политическом состоянии итальянские города и их олигархические элиты еще полтора столетия продолжали воспроизводить свою социальную структуру, гордясь своими культурными достижениями и героическим прошлым.

Победа португальцев над египтянами в Индийском океане и последующее завоевание Египта турками имели катастрофические последствия для венецианской торговли, для которой решающее значение име-

<sup>53</sup> Ч. Тилли. Цит. соч., с. 57 (англ. изд.: *Ch. Tilly. Op. cit.*, p. 26).

<sup>54</sup> Ж.-К. Оке. Средневековая Венеция. М.: Вече, 2006, с. 154.

ла Александрия. На фоне снижающейся деловой активности частный финансовый капитал повсюду приходит в упадок в странах средиземноморского региона, хотя продолжает развиваться в Северной Европе. «К началу XVI века, за исключением Генуи, повсюду в Италии наблюдается закат частных банкирских домов, на место которых приходят общественные банки», — констатирует Луццатто<sup>55</sup>. По примеру Каталонии такие банки создаются в Сицилии и Неаполе, Риме, Милане, Венеции и, наконец, в Генуе.

Как отмечают историки «точкой невозврата» (*fatal turning point*)<sup>56</sup> для итальянских торговых городов оказалась лишь Тридцатилетняя война. Потеря германских рынков привела к крушению экономики Венеции, а генуэзские банкиры, тесно связанные с испанскими Габсбургами, потерпели поражение вместе с ними. Финансовое банкротство Испании, наступившее уже в 1627 году — задолго до окончательного военного поражения, знаменовало конец генуэзских финансовых империй.

В торговых делах города-государства проводили очень жесткую протекционистскую политику в интересах своей олигархии, которая по сути была одновременно и правящим коммерческим классом, и правительством. По мере того как развивалась экономика и торговля внутренних территорий Европы, усиливалась конкуренция между формирующейся буржуазией этих государств и олигархией независимых городов. Доступ к продукции, производимой для понемногу складывающегося внутреннего рынка, становился важнейшим конкурентным преимуществом возникающей национальной буржуазии, одновременно претендовавшей на поддержку «своего» короля.

Итальянские банковские дома в XIV столетии пережили серию банкротств. Развитие кредита вело к увеличению мобильности капитала. Но одновременно оно способствовало укреплению государства и усилению его зависимости от буржуазии. Правительства становились зависимы от кредиторов, но выживание банков, финансировавших королей, теперь зависело от платежеспособности коронованных клиентов. Что далеко не всегда было гарантировано — кредитный дефолт Англии в XIV веке привел к крушению важнейших ломбардских банков.

«Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита, которая зачастую представляет собой один из скрытых источников первоначального накопления у того или другого народа», — констатирует Маркс<sup>57</sup>. Дефицит средств заставлял монархов постоянно искать способы пополнения казны, однако стратегия, избранная прави-

<sup>55</sup> G. Luzzatto. *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, p. 238, 300.

<sup>56</sup> *The Rise of Merchant Empires*, p. 33.

<sup>57</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*, т. 23, с. 765.



телями разных стран отнюдь не была однотипной. В то время как французская монархия совершенствовала налоговую систему, английские короли все более зависели от экспорта. В Англии уже в середине XV века около половины доходов короны поступало от внешней торговли, основу которой составлял экспорт шерсти<sup>58</sup>. Рост влияния буржуазии, укрепление ее позиций в парламенте сопровождается усилением контроля за королевскими финансами. Отсутствие у королей свободы в получении и использовании денег вело (хотя не всегда и не сразу) к более эффективному использованию средств.

Островное положение Англии и связь с морем влияли на общественное развитие тем больше, чем более торговой и экспортной становилась ее экономика.

Феодализм так же связан с землей, как ранний капитализм с морем. Но море было не только сферой частного предпринимательства. Оно было также и стихией, стимулировавшей развитие централизованного государства. Именно потому, что феодальная система была привязана к земле, феодального флота в строгом смысле слова быть не могло. Разумеется, феодальная знать нередко промышляла пиратством, а иногда и морской торговлей, но в подобных случаях землевладельцы скорее выступали как частные предприниматели. Феодальная система, привязанная к земельным правам, просто не могла выработать собственный механизм формирования и комплектования флота, как она прежде создала механизм формирования частных армий и ополчений. Морские ополчения были изначально городскими, буржуазными, и чем больше было значение морской войны, тем большим было и военное значение городов, а следовательно, их политический вес. Однако города-республики, хоть и организовали мощные военно-морские силы, все больше зависели на суше от королей с их армиями. Напротив, сухопутные монархии (к числу которых тогда принадлежала и Англия), опираясь на собственную буржуазию, начинали постепенно создавать и свой военный флот.

## НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

«Повиновение мертво, справедливость страдает, ни в чем нет правильного порядка», — говорит анонимный автор трактата «*Reformatio Sigismundi*», написанного в середине XV века<sup>59</sup>. Это было время, которое лучше всего можно было бы охарактеризовать словами Сталина, сказанными про другое время и в других обстоятельствах — «эпоха войн и революций».

<sup>58</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 47, 93.

<sup>59</sup> Цит. по: *Я. Альберт. Гуситство и европейское общество*. Прага: Обрис, 1946, с. 3.

Английский историк Томас Брэди (Thomas A. Brady) называет конец XIV — начало XV века «золотым веком простолюдина» (political Golden Age of the Common Man), временем, которое дало массам «элементы самоуправления», но одновременно было «временем стагнации, беспорядка и нестабильности» (stagnant, troubled and disrupted)<sup>60</sup>. Подобная характеристика может быть применима практически к любой революционной эпохе. Народные выступления позднего Средневековья не привели и не могли привести к формированию демократического порядка, поскольку, будучи (как мы увидим ниже) ранней попыткой буржуазной революции, они не могли ни создать нового буржуазного общества, ни удовлетворить потребности масс в реальном народовластии. Кризис позднего феодализма был в конечном счете, преодолен режимами «цезаристского» или даже «бонапартистского» типа. Новое абсолютистское государство могло взять в свои руки управление процессом общественных преобразований, который не сумело осуществить само общество. Но и новая монархическая система не могла полностью преодолеть кризис до тех пор, пока в ее распоряжении не оказались дополнительные ресурсы, позволяющие форсировать процесс развития.

Эпицентрами перемен стали Англия, Богемия и Фландрия, где новые общественные отношения прокладывали себе дорогу через острые политические и идеологические конфликты, подрывая старый, сложившийся на протяжении столетий и, казалось бы, естественный порядок вещей.

Несмотря на то что по уровню экономического развития и традициям городских свобод Фландрия XIV века может легко быть поставлена в один ряд с Италией, она представляла собой более сложную политическую картину. Характеризуя идеологическую эволюцию фламандского общества, А. Пиренн замечает, что среди горожан распространяется, «как почти во всех торговых и промышленных государствах, республиканский идеал»<sup>61</sup>. Города, обретая значительную самостоятельность, не смогли здесь полностью избавиться от феодальной зависимости. Тем самым они оказывались вовлеченными в гораздо более масштабный социально-политический процесс, отстаивая не только собственные интересы, но и выступая силой, преобразующей окружающее общество. Причем не только во Фландрии и Бранбанте, но также в Англии и Франции, отчасти даже в Германии.

В начале XIV века города Фландрии пережили острую вспышку социальных конфликтов, завершившихся французской интервенцией, которая, однако, обернулась катастрофой для армии вторжения. Как отмечает Пиренн, франко-фламандская война была результатом «не только политического конфликта, но и борьбы классов»<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 137.

<sup>61</sup> А. Пиренн. Цит. соч., с. 259.

<sup>62</sup> Там же, с. 331.

Города Фландрии становятся «ареной социального движения, серьезность которого все усиливается по мере приближения к XIV веку»<sup>63</sup>. В 1280 году по всей Фландрии происходили восстания городских низов, сопровождавшиеся баррикадными боями на улицах. Страх перед массами заставил патрициат обратиться за помощью к французскому королю, втягивая Париж в местную политическую жизнь. Так закрутилась спираль событий, которая в конечном счете привела к битве при Куртрэ и к Столетней войне.

Во фламандском войске, вставшем на пути французской армии в 1302 году, лишь немногие вожди были по своему происхождению из феодалов и патрициев, выступая по сути в роли военных специалистов при народной армии. В массе своей привилегированные классы были полностью на стороне французов, именно благодаря их призывам французские силы прибыли во Фландрию. «Все пестрело противоречиями во фландрской армии, в которой молодые князья, воспитанные на французский лад и говорившие только по-французски, командовали массами рабочих и крестьян, язык которых едва понимали»<sup>64</sup>. Эта наспех собранная и на первый взгляд не слишком боеспособная армия нанесла при Куртрэ (Courtrai) сокрушительное поражение интервентам, уничтожив цвет французского рыцарства. Эта битва оказалась не только первой решительной победой пехоты над кавалерией, положив начало перевороту в военном деле, но и прообразом целого ряда революционных битв, подобных сражению при Вальми, в ходе которых революционная масса демонстрировала свое превосходство над профессиональной армией.

Гражданская война, перемежавшаяся с французскими интервенциями, продолжалась во Фландрии на протяжении двух десятилетий, завершившись в конце концов восстановлением феодального режима и номинального суверенитета Франции. Крупная буржуазия, напуганная растущим политическим влиянием городских низов, предпочла уступить во имя порядка и стабильности. Восстание выдыхалось. Спустя 26 лет после Куртрэ в битве при Касселе (Cassel) французские рыцари смогли взять реванш, одержав верх над фламандским ополчением. Начались массовые репрессии, и казалось, что мятежный дух Фландрии сломлен. Однако конфликту очень скоро предстояло вспыхнуть вновь, уже в форме международной конфронтации, в которую наряду с Францией оказалась втянута и Англия.

Разумеется, понятие «международного конфликта» применительно к той эпохе можно использовать лишь условно. Поскольку национального государства еще не существовало, то и границы того или иного «общества» оставались весьма расплывчатыми. Однако применительно к Боге-

<sup>63</sup> А. Пиренн. Цит. соч., с. 304.

<sup>64</sup> Там же, с. 332.

мии и Англии можно все же говорить об обществе, физические границы которого более или менее совпадают с границами государства. Именно поэтому здесь наблюдаются наиболее интенсивные политические и социальные процессы, а социальные и культурные перемены, охватывая широкие массы населения, не оставляют никого в стороне, неизбежно порождая идеологические и политические кризисы. Взаимное влияние города и деревни настолько велико, что кризис феодального порядка охватывает все стороны жизни. Политическая борьба, начавшаяся с одного локального конфликта, разрастается и распространяется по всей стране, вовлекая в себя не только разные территории, но и различные группы населения. Именно в этих конфликтах формируется у людей чувство причастности к тому, что происходит по всей стране, складывается национальное государство.

В Англии и Богемии социальные конфликты быстро приобретают масштабы революционного кризиса. Более того, стремление к общественному переустройству получает в обеих странах сходное идеологическое обоснование в виде учений Уиклифа и Гуса, являющихся явными предшественниками и по существу ранними представителями религиозной Реформации. Напротив, во Франции кризис XIV века сопровождается скорее укреплением позиций традиционной феодальной знати — последующие бурные перемены в значительной степени оказались результатом внешних воздействий и вызовов.

Феодальная централизация, осуществленная королями Англии и Франции в XIII веке, имела то неожиданное последствие, что изменила политическую структуру и систему интересов феодального класса. Если в прежние времена удельные князья боролись с королем за самостоятельность, отстаивая интересы провинций против столицы, то в конце XIV — XV веке феодальные магнаты уже борются между собой за влияние при дворе, стремясь, как пишет Эдуард Перруа (Eduard Perroy), «подчинить себе администрацию, держать под контролем государство»<sup>65</sup>. При этом они отнюдь не утрачивают связь с провинциями. Модернизируя систему управления в своих собственных владениях, они копируют там структуры центральной администрации, превращая свой двор в «настоящий питомник функционеров»<sup>66</sup>. Теперь задача состоит не в том, чтобы отстаивать политическую самостоятельность, а в том, чтобы использовать королевскую бюрократию и финансы для перераспределения в свою пользу общегосударственных средств. По большей части финансовых, но зачастую военных и дипломатических (внешнеполитические возможности государства все чаще используются для поддержки династических интересов «своей» аристократии за его пределами).

<sup>65</sup> Э. Перруа. Столетняя война. М.: Вече, 2006, с. 271.

<sup>66</sup> Там же, с. 273.

Если в Англии к началу XV века казалось, что с победой Ланкастеров централизованная государственная бюрократия при поддержке буржуазии и мелкопоместного дворянства подавила феодальных магнатов, которые здесь изначально были слабее, чем на континенте, то во Франции магнаты все более брали верх, а буржуазные лидеры метались между соперничающими аристократическими партиями, пытаясь защитить свои интересы, вступая в блок с одной из них. В значительной степени подобная рефеодализация Франции оказалась результатом предшествующей политики централизации. В XIII веке почти все крупные вассальные домены на территории королевства были ликвидированы или жестко подчинены монархии (исключениями были Бретань и Госконь, принадлежавшая английским Плантагенетам<sup>67</sup>). Однако королевская власть в XIV веке начала раздавать новые вотчины родственникам и клиентам правящей династии. Хозяева этих наделов первоначально были (в отличие от магнатов прошлой эпохи) жестко ограничены в правах, наследование вотчин не было автоматическим, а Париж мог в любое время изъять или конфисковать эти владения. Но по мере развития экономического и политического кризиса способность центра контролировать ситуацию слабела.

Таким образом, развитие политического процесса в разных странах идет разными путями. Если в Богемии мы видим революцию масс, сопровождающуюся гражданской войной и иностранной интервенцией, то в Англии, несмотря на массовые народные выступления, перемены в конечном счете обретают форму «революции сверху» или, пользуясь выражением Антонио Грамши, «пассивной революции», когда верхи, подавив сопротивление низов, одновременно идут на выполнение значительной части их требований; а во Франции «революция сверху», осуществленная на полвека позже Карлом VII, оказывается как ответом на поражения, нанесенные ему англичанами, так и следствием перемен, сопровождавших английское проникновение в страну.

Социальное преобразование двух стран, которым столетия спустя предстоит стать культурными, экономическими и политическими лидерами Европы, разворачивается на фоне многолетнего вооруженного конфликта между их королями. Именно королями, а не странами, поскольку значительная часть французского общества до самого конца Столетней войны держала сторону английской династии. И вовсе не воспринимала это как предательство национальных интересов, поскольку само понятие о чем-то подобном еще не существовало.

Продолжавшаяся больше ста лет война (в которой, по иронии судьбы, принял участие и основатель династии Богемских Люксембургов Иоанн

<sup>67</sup> В литературе это герцогство также фигурирует под старым названием Аквитания (хотя речь идет лишь о небольшой части обширной области, оставшейся к XIV веку в руках Плантагенетов) или как Гиень.

Слепой) задним числом представлялась историками как первый межгосударственный конфликт современного типа, легший в основу позднейшего противостояния двух держав или как событие, которое привело к пробуждению национального сознания<sup>68</sup>. Однако эта успокоительно-банальная формулировка скорее запутывает вопрос, нежели проясняет его. Какое отношение имеет «пробуждение сознания» к формированию нации как историческому процессу? Одно из двух: либо нации в Англии и Франции уже существовали реально, а благодаря Столетней войне люди вдруг разом осознали этот факт, либо, наоборот, нации сформировались идеальным образом в результате развития сознания, которое как-то само собой пробудилось в ходе войны. При этом любое проявление лояльности к своему королю или просто воинской доблести, религиозной аффектации или наоборот рационального выбора в пользу победителя нам подают в качестве очередного доказательства национальных чувств, хотя горы аналогичных «доказательств» можно было бы набрать и на столетие раньше.

Исследования Эдуарда Перруа в значительной мере поколебали подобное представление о Столетней войне. Однако поздняя советская и российская историография оказывается последним бастионом старой французской школы, описывающей конфликт пятисотлетней давности с позиций национального противостояния<sup>69</sup>. Если новообращенные вар-

<sup>68</sup> Например, Н.И. Басовская пишет, что благодаря Столетней войне «французы вполне осознали себя французами, а англичане — англичанами» (*Н. Басовская. Столетняя война: леопард против лилии. М.: Астрель — АСТ, 2007, с. 7*). С ней соглашается стоящий на совершенно иных позициях историк Вадим Устинов: «Народы начали осознавать свою национальную принадлежность, понятие Родины начало обретать реальный смысл в умах» (*В. Устинов. Столетняя война и Войны Роз. М.: Астрель — Хранитель — АСТ, 2007, с. 3*). До середины XX века подобные высказывания можно было прочесть и в работах английских и французских историков. Напротив, классовый конфликт и социальная борьба, составлявшая в значительной мере суть происходивших событий, доминирующей историографией затушевывалась. Несмотря на формальную верность советских историков «марксистской» интерпретации прошлого, они уделяли социальным аспектам Столетней войны даже меньше внимания, чем их западные коллеги, ограничиваясь изолированными от общего повествования рассказами об антифеодальных крестьянских восстаниях XIV века, фактически игнорируя городские движения.

<sup>69</sup> В ряду позднесоветских и продолжающих эту же традицию российских исследований особенно тягостное впечатление оставляет книга *Н. Басовской «Столетняя война: леопард против лилии»*. Она выделяется не только нарочитыми усилиями представить любое антифеодальное и даже разбойно-феодальное выступление во Франции в качестве примера «национально-освободительной борьбы», но и большим количеством фактических ошибок, трудно объяснимых в работе историка медиависта. Городок Верней, где произошло столкновение между англичанами и армией Карла VII, превращается в Вернейль (с. 317).

вары склонны быть большими католиками, чем сам Папа, то российские историки в повторении мифов французского патриотизма порой умудряются перещеголять самих французов.

Подобный взгляд на историю принципиально исключает анализ, и в особенности анализ классовый. Националистическая мифология апеллирует к эмоциям. Она выискивает в средневековых источниках малейшие проявления патриотических чувств либо то, что может быть истолковано как проявление таковых (например, победные кличи армий и возгласы толп), игнорируя огромный массив свидетельств, убедительно говорящих об обратном. А понятие «своих» и «чужих» задним числом интерпретируется в духе государственного патриотизма.

Разумеется, Столетняя война имела прямое отношение к возникновению современных наций, поскольку была связана с формированием национальных государств. Однако в Англии новое государство, начавшее формироваться еще до войны, к ее исходу переживало кризис, завершившийся обрушением всего политического здания. И наоборот, во Франции новый государственный порядок стал складываться только к концу противостояния, а завершилось его становление значительно позже. Реальная история Столетней войны — это не только и не столько история борьбы англичан и французов, сколько история серии гражданских войн в самой Франции, сопровождавшихся чередой английских интервенций. Завершение французской гражданской войны и консолидация нового государства, в свою очередь, обернулось крахом политической системы и вспышкой гражданской войны в Англии.

---

Фруассару приписывается оценка битвы при Азенкуре, которую он не мог сделать просто потому, что умер задолго до этого сражения (с. 292). Рассказ об этой битве полон нелепостями, особенно удивительными, поскольку в списке литературы указаны английские и французские труды, содержащие подробное описание сражения. В частности, Басовская утверждает, будто английские лучники «атаковали» французских рыцарей, а затем «отходя» вбивали колья, причем это был «новый прием» (с. 290). На самом деле англичане только обстреливали французов, провоцируя их на атаку (трудно представить крошечное войско Генриха атакующим огромную массу неприятельских латников). Вбивали колья лучники не отходя, а приблизившись к французским позициям. Прием был далеко не нов, а при Азенкуре применить его в полной мере не удалось: из-за размытой дождем почвы колья падали. Неточности имеются и при переводе имен: «ужасный» Роберт Ноллис превратился в Роберта Кноллеса (с. 239). Последняя ошибка вызывает вопрос о том, насколько были использованы и поняты английские источники, указанные в книге. Несмотря на пространственный список английских изданий, в работе Басовской не удается найти следы работы или хотя бы знакомства с ними. Например, в ее книге содержатся ссылки на Хронику Уолсингема (*Thomæ Walsingham. Historia Anglica*), однако редактор цитируемого издания 1863–1864 годов указан как Rilly, в то время как на самом деле его имя пишется Riley.

Война началась в результате обострения сразу двух тлеющих конфликтов, которые возникли значительно раньше. С одной стороны, принадлежавшая английскому королю Гасконь (то, что осталось от домена Плантагенетов во Франции) была постоянным яблоком раздора между Парижем и Лондоном. С другой стороны, фламандские города, отстаивавшие свою самостоятельность по отношению как к местным сеньорам, так и к французскому королю, стремились получить поддержку Англии. Поставки шерсти во Фландрию были важнейшим фактором английской экономики — от них в большой степени зависели и королевский бюджет, и доходы купцов, и поступление денег в сельское хозяйство. В свою очередь, перманентный финансовый кризис, переживаемый королевским правительством Франции, толкнул его на действия, обострившие обе проблемы разом. С одной стороны, усиливалось французское давление на богатую Фландрию, с другой — в Париже в очередной раз решили конфисковать домен Плантагенетов в Гаскони (Гиень). Такие попытки предпринимались уже несколько раз и регулярно заканчивались соглашениями. Однако на сей раз терпение лондонского двора лопнуло. Дело усугублялось тем, что правивший в Англии Эдуард III имел на французский трон не меньшие, а может быть и большие права, чем новая династия Валуа, совсем недавно воцарившаяся в Париже. Правда, пока Гасконь никто не трогал, Эдуард тоже своих прав не предъявлял, даже принес омаж французскому королю за эту территорию. Но после того как Париж объявил о конфискации, в Лондоне вспомнили про наследственные права.

Как отмечает французский историк Эдуард Перруа, начавшаяся война была «по происхождению феодальным конфликтом», и она оставалась таковым «почти до конца XIV в., то есть до восхождения Ланкастеров на английский трон»<sup>70</sup>. Плантагенеты всегда готовы были отказаться от своих прав, гарантируя мир в обмен на территории. Описывая политику Эдуарда III накануне мира в Бретиньи (Brétigny), Перруа заключает: «Династические притязания для него — лишь разменная монета. И тут же выяснилось, чего он действительно хотел: возвращения Гиени в пределах, как можно более широких, — пока речь шла о границах герцогства времен доброго короля Людовика Святого, но от успехов английской оружейной промышленности будет возрастать. Более того, для этой увеличенной Гиени он был намерен требовать полного суверенитета: больше никаких вассальных связей, никакого вмешательства французских чиновников в ее дела, никаких апелляций в Парижский парламент, никаких угроз конфискации. Если бы Гиень перестала быть частью Французского королевства, Плантагенеты наконец стали бы в ней хозяевами, а сам повод к

<sup>70</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 67.



войне исчез»<sup>71</sup>. Показательно, что новое суверенное княжество Аквитания, созданное на основе старой Гиени, оказывалось бы неподконтрольно и лондонскому парламенту, превращаясь в личную собственность династии.

Однако если Плантагенеты отстаивали свои династические права, то у торговцев и ремесленников Фландрии, подталкивавших Эдуарда III к войне с Францией, был собственный интерес. В 1339 году Фландрия и Брабант заключили антифранцузский договор, мотивируя совместные действия тем, что «эти две страны полны людей, которые не могут существовать без торговли»<sup>72</sup>. Еще до того, как союз с Англией был оформлен открыто, к этому договору примкнула Голландия. А в 1340 году Эдуард III, побуждаемый фламандскими лидерами, принес на Пятницком рынке в Генте присягу в качестве нового короля Франции, обещая соблюдать права и независимость городов Фландрии. Легко заметить, от кого исходила инициатива. Английский король колебался, но фламандцы толкали его на необратимые шаги, видя в борьбе двух королевств единственную защиту от французского феодального рэкета.

На первых порах, похоже, не только в Париже, но и в самом Лондоне не понимали, что бросив вызов Плантагенетам, французские короли ввязались в конфликт с государством, которое за полтора столетия, прошедших со времени Великой хартии вольностей и реформ Симона де Монфора, радикально модернизировалось и теперь существенно отличалось от государств континента. Очень скоро эта разница обнаружилась. И не только на полях сражений.

Еще до того, как первые английские солдаты высадились на континенте, в Лондоне продемонстрировали, что эта война будет совершенно непохожа на все предыдущие. Она заложила основу важнейшего института, без которого трудно представить себе более позднее государство: массовой пропаганде.

Разумеется, определенная система идеологического господства характерна для любого классового общества, но прежде ведущую идеологическую роль играла Церковь. Больше того, короли и князья мало задумывались о том, как обеспечить информирование и поддержку своих подданных по вопросам текущей политики, не говоря уже о международном общественном мнении. Теперь все было иначе. «Помимо официальных писем к папе, кардиналам и светским правителям, король Эдуард предпринял целую серию обращений к своим подданным, подданным французской короны и других государств. Эти обращения и прокламации расклеивались на дверях храмов во всех крупных городах, а также зачитывались вслух королевскими чиновниками и клириками в местах

<sup>71</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 127.

<sup>72</sup> Цит. по: А. Пиренн. Цит. соч., с. 436.

скопления народа, информируя людей о различных важнейших событиях: о причинах войны, о нападениях врага, победах, перемириях и т.д.»<sup>73</sup>. Значительное место в этих прокламациях уделялось нападениям французских пиратов на английских купцов и торговые города. А некоторые аргументы могут вызвать изумление тем, насколько они напоминают политическую пропаганду конца XX века. Так, доказывая свое право унаследовать французскую корону по женской линии (в связи с отсутствием прямого потомства по мужской), Эдуард, вполне в духе современного феминизма, обвиняет своего французского соперника в том, что тот сеет ненависть «человека к человеку» и «пола к полу», что Филипп Валуа «попирает права женщин, что является нарушением закона природы» (*jus naturae*)<sup>74</sup>.

Прибегли в Лондоне не только к методам психологической войны, но и к войне экономической. Впервые в качестве средства борьбы между государствами использовалась торговая блокада. Стремясь дестабилизировать положение во Фландрии, Эдуард III запретил экспорт шерсти, на которой держалось фламандское ткачество. Побочным эффектом этой меры было развитие собственного английского производства (тем более, что многие фламандские ткачи перебрались на остров)<sup>75</sup>. Однако главная цель блокады состояла в том, чтобы усугубить прекрасно осознаваемый в Лондоне классовый конфликт между буржуазией и феодальной элитой во Фландрии. Причем попытку удачную. Эмбарго, наложенное Эдуардом III на поставку шерсти во Фландрию, нанесло удар по суконной промышленности этого края и способствовало развитию данной отрасли в самой Англии. Но важнейшим последствием этого решения стало то, что снова пришел в действие механизм социального конфликта, который был блокирован на протяжении нескольких десятилетий победой французов при Касселе в 1328 году.

Народные движения, которые в начале XIV века нанесли мощные удары феодальной знати, господству городских патрициев и власти французского короля, были хоть и с большим трудом подавлены после битвы при Касселе. Брюгге и Ипр, игравшие решающую роль в демократических восстаниях, были истощены борьбой и утратили прежнюю роль, однако в середине столетия на первое место выдвигается Гент, где местный патрициат ранее удерживал ситуацию под контролем, избегая

<sup>73</sup> Искусство власти. Сборник в честь проф. Н.А. Хачатурян. СПб.: Алетейя, 2007, с. 137.

<sup>74</sup> Там же, с. 139.

<sup>75</sup> Данная мера подробно рассматривается Дж. Арриги в качестве раннего исторического примера протекционизма. Однако он, как часто бывает среди авторов миросистемной школы, полностью игнорирует имевший место классовый конфликт.

демократических переворотов и противостояния с Францией. Социальный мир обеспечивался в городе за счет уступок и компромиссов, которые постепенно вели к усилению позиций демократической партии. Массовая безработица сопровождалась взрывом ненависти к правительству, допустившему конфликт с Англией и остановку промышленности. Как пишет Анри Пиренн: «Патриции, со столь давних пор управлявшие городом объединились с теми самыми ткачами, все попытки которых к восстанию они еще недавно беспощадно подавляли»<sup>76</sup>. В начале января 1338 года во главе города встало революционное правительство из пяти капитанов (*hoofdmannen*) и трех старшин, представлявших соответственно ткачей, сукновалов и мелкие цеховые объединения. Этот компромисс открыл путь к власти легендарному Якобу Артевельде (*Artevelde*). Возглавив демократическую партию, он сумел сплотить вокруг Гента города Фландрии и, объединившись с англичанами, нанести тяжелый удар по французской короне.

Артевельде, которого консервативные авторы изображают (как и всякого революционера) кровавым тираном, стал героем фламандских народных песен и левых историков более позднего времени. В свою очередь Пиренн оценивает его как эффективного и энергичного оппортуниста. На деле лидер Гента «питал к рабочим суконной промышленности те же чувства недоверия и вражды, как и другие городские капиталисты»<sup>77</sup>. Однако будучи проницательным политиком, он сделал ставку на поднимающуюся волну демократического движения и чутко реагировал на давление и требования масс. В правительство Гента он вошел в качестве одного из трех капитанов, представлявших как раз интересы привилегированных слоев, но став одним из лидеров города, примкнул к демократической партии. В скором времени, благодаря успешно проведенным переговорам с англичанами, шерсть вновь стала поступать на сукновальни Гента и других фламандских городов.

После неудачной осады Турнэ (*Tournai*) позиции Артевельде пошатнулись, как и союз Фландрии с Брабантом, патриции которого опасались распространения в своих землях влияния демократической партии, а в самом Генте начались столкновения между поддерживавшими Артевельде ремесленными цехами — ткачи и сукновалы дошли до вооруженного столкновения между собой. Вскоре в Генте вспыхнули новые волнения, в ходе которых Артевельде погиб, пытаясь противостоять установлению диктатуры ткачей. По словам Пиренна, этот политик неминуемо был обречен на крах. В основе его карьеры стоял классовый компромисс. «Но интересы этих классов были слишком противоположны, чтобы согласие их могло быть продолжительным. В силу противоречия интересов

<sup>76</sup> А. Пиренн. Цит. соч., с. 427.

<sup>77</sup> Там же, с. 430.

между богатыми и бедными, купцами и рабочими, мелкими цехами и цехами, занимавшимися обработкой шерсти, затем противоречий внутри самих этих цехов, наконец, ввиду соперничества между ткачами и сукновалами, гармония первых дней вскоре сменилась столкновениями и гражданской борьбой»<sup>78</sup>. Новые социальные противоречия были уже слишком развиты, чтобы сохранить возможность эффективной политики, построенной на сословном представительстве, договорах между цехами и династических комбинациях, но они были еще слишком слабо развиты, чтобы обеспечить возникновение новой политики, опирающейся на устойчивые и консолидированные интересы ведущих классов. В этом, впрочем, была не только драма Артевельде, но и всей его эпохи, в этом была заложена одна из важнейших причин неудачи революционных и реформистских попыток, порожденных «кризисом XIV века».

### ПРОСТОЛЮДИН НА ПОЛЕ БОЯ

Военный историк Альфред Берн отмечает, что военные формирования английского короля Эдуарда III, высадившегося на континенте в 1339 году, были первой армией современного типа в Западной Европе. Король был не только блестящим тактиком, но также «мастером стратегии» (*was a master of strategy*)<sup>79</sup>. Берн указывает на «некоторые неожиданно современные черты кампаний Эдуарда, например, на способность его армии вести боевые операции зимой» (*some surprisingly modern features about Edward's campaigns, such as his carrying on operations in the winter seasons*)<sup>80</sup>. Действительно, этого большинство европейских армий не в состоянии было делать даже в XVIII веке.

Но особенно важное значение имела организация снабжения и транспорта, совершенно незнакомая прежним феодальным армиям, а также организационные методы и мобилизационный механизм, созданный англичанами еще в конце XIII века. Солдаты и рыцари служили не на основе феодальных обязанностей, а на основе индивидуального или коллективного найма. Уже с 1277 года в Англии начали выплачивать жалование за службу королю, а с 1338 года бойцы, поступая на службу, оформляли свои отношения с короной письменными контрактами.

<sup>78</sup> Там же, с. 445.

<sup>79</sup> A. Burne. *The Crecy War: A Military History of the Hundred Years War from 1337 to the Peace of Bretigny, 1360*. Oxford: Oxford University Press, 1955, p. 10 (рус. изд.: А. Берн. *Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год*. М.: Центрполиграф, 2004, с. 7). В русском переводе Эдуард III продемонстрировал «мастерство в стратегии». Вообще следует отметить, что русский перевод книг Берна сделан достаточно небрежно, из-за чего в данной работе приходится обращаться для цитирования к английскому оригиналу и переводить текст заново.

<sup>80</sup> A. Burne. *The Crecy War*, p. 40 (в рус. изд. см.: А. Берн. *Битва при Креси*, с. 37).

В стране было создано что-то вроде системы всеобщей военной подготовки. Все взрослые мужчины, включая даже священнослужителей, должны были проходить сборы и тренироваться в стрельбе из лука. Знаменитый валлийский «большой лук» (longbow) оказался грозным оружием, против которого не могли устоять традиционные рыцарские доспехи. Но его боевая эффективность обеспечивалась способностью бойцов вести быструю и согласованную стрельбу, четко выполнять команды.

Создать массовую армию даже такая всеобщая военная подготовка не позволяла. Главной проблемой было не наличие или отсутствие людей: численность населения в Европе начала XIV века была примерно такой же, как и в середине XVI столетия, когда под боевые знамена собирались уже довольно значительные армии. Однако производительность труда была настолько низкой, что даже весьма эффективная система воинского призыва, существовавшая в Англии того времени, позволяла оторвать от работы максимум 2–3% мужского населения — это была уже всеобщая мобилизация<sup>81</sup>. Преимущество английской системы было не в способности мобилизовать большие массы рекрутов (войска Эдуарда III и Генриха V были немногочисленными), а в том, что в стране всегда были люди, пригодные для воинской службы, их не надо было переучивать.

Армия понемногу теряла сословный характер: бедные джентльмены, не имевшие денег на доспехи, поступали на службу лучниками. Напротив, пехотинцев учили верховой езде. Английский лучник времен Столетней войны передвигался на лошади, а в бой вступал спешным. В свою очередь рыцарей приучили вместе с лучниками вести бой в пешем строю. Немецкий военный историк Ганс Дельбрюк считает, что хотя «спешивание рыцарей было только эпизодом, все же его можно рассматривать как прелюдию для нашего времени в том отношении, что это является известной переходной ступенью к позднему офицерскому корпусу»<sup>82</sup>. Однако рыцарь (или точнее, дворянин в латах, не всегда имевший рыцарское звание) по отношению к лучнику далеко не обязательно выступал в качестве командира.

Разрыв между конным и пешим воином перестал быть знаком сословного различия, превратившись в различие чисто тактическое. В этом отношении лучники Эдуарда III были чем-то вроде позднейших драгун или даже мотопехоты XX столетия. Скорость их передвижения оказалась полной неожиданностью для противника. В социальном отношении это была армия, чья способность к совместным действиям гарантировалась высокой (по средневековым масштабам) социальной и культурной однородностью — нечто совершенно новое для того времени.

<sup>81</sup> См.: *L. James. Warrior Race. A History of the British at war from Roman times to the present.* Abacus, London, 2002, p. 141.

<sup>82</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории. СПб.: Наука, 2001, т. 3, с. 297.

Подобные качества английской пехоты XIV–XV веков заставили многих историков согласиться с тем, что это были самые лучшие солдаты своего времени, за исключением, быть может, турецких янычар. Но даже если Османская Турция и опережала западные страны в плане военной организации, не подлежит сомнению, что на христианском Западе английским солдатам в XIV веке не мог противостоять никто.

Энгельс отмечал, что сражения английской армии времен Столетней войны «по большей части были оборонительными, сочетавшимися с наступательными контрударами, подобно сражениям Веллингтона в Испании и Бельгии»<sup>83</sup>. Однако успех обороны (как, кстати, и в случае Веллингтона) в значительной мере предопределялся предшествующим маневром, гарантировавшим, что армия всегда выбирала наиболее подходящее ей место для сражения и оказывалась способна занять на поле битвы господствующие позиции. Преимущество регулярной армии выразалось не только в том, что она эффективнее сражалась на поле боя, но и в том, что будучи более однородной и дисциплинированной, она быстрее передвигалась. В ходе победоносных кампаний Эдуарда III и Генриха V англичане с незначительными силами выигрывали у многократно превосходящих по численности французов за счет быстроты маневра. Владея инициативой, английские отряды появлялись не там и не тогда, где и когда их ждали, наносили внезапные удары или имели возможность выбрать наиболее удобную местность для сражения. Причем малочисленность их отрядов оказывалась как раз преимуществом — при Рош-Дерьене (La Roche-Derrien) сэра Томас Дагуорт (Dagworth) и при Обероше (Auberoche) граф Дерби одержали блестящие победы именно потому, что войск у них было мало<sup>84</sup>.

Даже если бы Эдуарду III удалось мобилизовать для своих кампаний больше людей, в условиях крайней отсталости тогдашней европейской морской техники он не мог перевести на континент многочисленную армию, а поддерживавшие англичан бретонские, гасконские и позднее нормандские контингенты в основном сражались на своей феодальной территории, не участвуя (кроме битвы при Пуатье) в походах, проходивших в глубине неприятельской территории.

Французские короли пытались уравновесить качество количеством. Армии собирались медленно, упуская инициативу. Узкое поле боя средневековой битвы не позволяло использовать разом все войска, их приходилось вводить в бой эшелонами (эффект численного преимущества снижался). Управлять войсками в процессе боя было практически невозможно. Огромные неповоротливые колонны вступали в бой слиш-

<sup>83</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 414.

<sup>84</sup> Перруа был одним из первых историков, кто догадался, что Эдуард III победил потому, что «его армия была меньше» (Э. Перруа. Цит. соч., с. 131).

ком рано или слишком поздно, создавали хаос. Количество переходило в качество, но противоположным, чем надеялись Валуа, образом. Во всех знаменитых сражениях Столетней войны численный перевес французов оборачивался против них же. Недисциплинированные группы рыцарей и плохо держащие строй толпы пехотинцев постоянно мешали и давили друг друга, смешивались, теряли управление<sup>85</sup>.

Наиболее знаменитые военные кампании, закончившиеся разгромом французских войск, развивались по схожему сценарию. Англичане отступали под давлением многократно превосходивших их армий Валуа, когда же затем преследователям удавалось их нагнать, происходило генеральное сражение, оборачивавшееся истреблением французских рыцарей. При Креси французские рыцари впервые испытали на себе мощь «большого лука». Разобравшись с французской полевой армией, Эдуард III двинулся на Кале, следуя призыву уже погибшего к тому времени Артевельде, чтобы уничтожить это «разбойничье гнездо, тех кто грабили и убивали купцов»<sup>86</sup>. Порт принудили к капитуляции (французские войска, посланные на выручку городу просто не решились вступить в бой). Часть населения, отказавшаяся принести присягу Плантагенетам, была из города выселена и заменена английскими переселенцами, за которыми пришли и торговые капиталы купцов из Лондона и Дувра. После этого Кале оставался в течение 300 лет не только военным, но и коммерческим форпостом Англии на континенте. Через Кале пошли транспорты с шерстью во Фландрию и Брабант.

После перерыва связанного с эпидемией чумы, военные действия возобновились. Англо-гасконская армия во главе с «Черным принцем», сыном Эдуарда III, на этот раз двинулась с юга на север. Под Пуатье преследовавшие ее французские силы, возглавляемые королем Иоанном, были разгромлены, а сам король взят в плен. В год битвы при Пуатье английский язык был введен на острове в официальное употребление, оттеснив господствовавший ранее французский (точнее — франко-нормандский). Однако как бы мы ни стремились продемонстрировать на этом примере рост национального самосознания, нельзя не заметить, что битва при Пуатье была не только успехом английских лучников, но и триумфом гасконских рыцарей, которые были, по словам Перруа, «творцами победы»<sup>87</sup>. Внезапной кавалерийской атакой во фланг они опро-

<sup>85</sup> В XIX и начале XX века историки скептически относились к данным о численности средневековых армий, приводимых в хрониках. Однако чем более тщательно изучаются архивные документы, тем более исследователи приходят к выводу, что оценки хронистов не так уж преувеличены — другое дело, что любые отчеты с полей сражений отличаются пристрастностью и полны сознательных или бессознательных пропагандистских искажений.

<sup>86</sup> Цит. по: А. Пиренн. Цит. соч., с. 437.

<sup>87</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 148.

кинули последнюю наступающую французскую колонну и взяли в плен короля Иоанна. Позднее под Орлеаном против Жанны д'Арк сражались не только англичане, но и парижане, а также отряды пикардийцев и нормандцев. Так что во Франции с национальным самосознанием дело обстояло еще хуже, чем в Англии. В лучшем случае, оно, как замечает Перруа, «возникало лишь проблесками. Существовало Французское королевство, но не французская нация». Так что «о патриотизме в современном смысле слова говорить еще нельзя»<sup>88</sup>.

Первая англо-французская война закончилась миром в Бретиньи (Brétigny), по которому Плантагенеты получали собственное суверенное княжество в Аквитании (неподконтрольное не только Парижу, но и парламенту в Лондоне), а со своей стороны отказывались от прав на французскую корону. Тут надо сделать очень важную оговорку: суверенная Аквитания не была английским владением, даже если в военном смысле оставалась протекторатом англичан. В плане юридического это было новое независимое государство, связанное с Англией личной унией.

Франция находилась в плачевном состоянии, эффективная прежде бюрократическая модель разваливалась на глазах, крестьяне, озлобленные феодальными поборами, восставали, причем их движение, получившее название «Жакерия», на начальном этапе получило поддержку и в городах. Парижские буржуа требовали дешевой администрации и прекращения коррупции.

Перруа называет Жакерию «синонимом крестьянского бунта — опустошительного, не имеющего ни цели, ни завтрашнего дня»<sup>89</sup>. На самом деле «жаки», как презрительно именовали своих сельских подданных представители аристократии, прекрасно сознавали за что они сражаются — феодальные поборы становились непомерными из-за растущей в условиях рыночных отношений потребности сеньоров в наличных деньгах. Реальная политическая значимость Жакерии состояла в том, что восстание нашло поддержку в городах, прежде всего в столице. Собравшиеся в столице Генеральные Штаты добивались реформ, а купеческий прево Парижа Этьен Марсель (Étienne Marcel) возглавил восстание. Толпа ворвалась в покои дофина, истребила прямо на его глазах придворных, убила маршалов Нормандии и Шампани, а затем надела на наследника престола сине-красный шаперон — символ парижских горожан.

Немецкий историк Винфред Эберхард (Winfred Eberhard) замечает, что восстание Марселя было на самом деле «первой революцией» французской буржуазии<sup>90</sup>. Власть в Париже, как отмечает Эберхард, оказалась

<sup>88</sup> Там же, с. 259.

<sup>89</sup> Там же, с. 154.

<sup>90</sup> Husitství — Reformace — Renesance. Praha: Historický ústav, 1994. S. 86.



в руках «неформальных собраний» народа, которые «получили почти такое же значение, как официальные институты». Они принимали ключевые решения и санкционировали «акты революционного насилия»<sup>91</sup>. Люди собирались в церквях, на кладбищах, на Гревской и других площадях столицы. Свободные дискуссии завершались коллективными решениями. Представители власти, включая дофина и, позднее, его соперника Карла Наваррского (Карла Злого), вынуждены были на этих собраниях обращаться к народу за одобрением своих действий. Перед нами разворачивается классическая картина революционного двоевластия, когда официальная власть не имеет силы, а народная власть не имеет законного статуса.

Чувствуя, что положение его становится изо дня в день все более шатким, дофин бежал из столицы.

По словам Перруа, Этьен Марсель «полагал, что призван осуществить великие замыслы, считал себя защитником городских свобод против некомпетентной и деспотичной власти монарха. Он пишет фламандским городам, напоминает им об Артевельде, назначая себя его духовным наследником»<sup>92</sup>. Однако умеренной части буржуазии не слишком нравилась власть городской черни, поддерживавшей «диктатуру» Марселя, который к тому же выступил в поддержку крестьян. Заговоры следовали один за другим. Движение «жаков» было утоплено в крови. По просьбе парижан в город вступил англо-наваррский гарнизон. Капитаном города был назначен Карл Злой, правитель Наварры и Нормандии, пользовавшийся поддержкой английского короля. Однако «умеренным» все же удалось осуществить переворот. Этьен Марсель был убит, а Карл Наваррский ушел назад в свои владения. «Дофин возвратился в Париж, и те, кто его изгнал, теперь заискивали перед ним, — констатирует Перруа. — Не было необходимости ни долго свирепствовать, ни казнить много людей. Парижская революция закончилась. Королевская власть, изнуренная материально, вышла из нее морально усилившейся»<sup>93</sup>.

Движение было подавлено, но ужас, пережитый аристократией и чиновниками во время восстания Марселя, оставался в классовой памяти французской элиты, надолго определяя ее подозрительно опасливое отношение к собственной столице и ее населению. В годы Великой французской революции Этьена Марселя вспомнили и оценили в качестве одного из ее предшественников<sup>94</sup>. Однако ему, в отличие от других пер-

<sup>91</sup> Husitství — Reformace — Renesance. Praha: Historický ústav, S. 88.

<sup>92</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 154.

<sup>93</sup> Там же, с. 155.

<sup>94</sup> См.: F.T. Perrens. Étienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au quatorzième siècle (1356–1358). Paris, 1860.

сонажей той эпохи, не нашлось места в консервативном национальном мифе, на котором воспитывались последующие поколения французов.

Вскоре новая война, вспыхнувшая между Валуа и Плантагенетами, обернулась неожиданным поражением последних. У историков (и в особенности у военных историков) вызывает некоторое недоумение то, с какой легкостью английские завоевания в Аквитании были потеряны после мира в Бретиньи. Государство, обладавшее победоносной армией, не проигравшей за 20 лет ни одного крупного сражения, отдавало город за городом противнику, который даже не решался вступить с англичанами в открытую битву. Французский командующий Бертран Дюгеклен<sup>95</sup> (du Guesclin) не проявил себя выдающимся полководцем (в серьезных сражениях он участвовал дважды: оба раза был разбит и взят в плен). Возглавлявший основные силы французов на юге герцог Анжуйский вообще не был известен военными подвигами. Не понадобилось ни пассионарного порыва Жанны д'Арк, ни полководческого гения будущих французских генералов, ни даже рыцарской отваги, чтобы постепенно очистить территорию, занятую, по мнению современников, лучшей армией Европы!

Перруа констатирует: «Провинции, потерянные с 1360 г., возвращали скорее благодаря дипломатии, нежели вооруженной силе»<sup>96</sup>. Некоторые авторы ссылаются на старость Эдуарда III и смерть «Черного принца». Но именно «Черный принц» в качестве правителя суверенной Аквитании позволил втянуть себя в междоусобную войну, которую вели претенденты на кастильский престол и имея ограниченные силы и ресурсы, растратил их на войну в Испании (где дело, несмотря на очередные выигранные сражения, обернулось не в пользу поддержанного им кандидата). Английские авторы объясняют неудачи своих соотечественников тем, что (the command of the sea passed to the French and their Spanish allies) «было утрачено господство на море»<sup>97</sup>. Действительно, франко-кастильский флот блокировал побережье Аквитании, препятствуя переброске подкреплений из Британии. Но это не помешало Джону Гонту с пятнадцатитысячной армией совершить в 1373 году «большой поход», пройдя насквозь всю Францию от Кале до Бордо, не встретив сопротивления.

Лоуренс Джеймс приводит куда более прозаическую причину катастрофы, постигшей Аквитанский доминион Плантагенетов в 1370-е годы.

<sup>95</sup> В русскоязычных источниках фигурирует также как дю Гесклен, Дюгесклен.

<sup>96</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 195.

<sup>97</sup> T.F. Tout. The Political History of England. London, 1906, p. 164. Цит. по: А. Берн. Битва при Азенкуре: История Столетней войны с 1369 по 1453 год. М.: Центрполиграф, 2004, с. 18 (англ. изд.: A.H. Burne. The Agincourt War. A Military history of the latter part of the Hundred Years War from 1369 to 1453. London: Greenhill Books, 1956, p. 25).

У английского короля просто кончились деньги<sup>98</sup>. Нехватка денег вынудила Эдуарда III объявить себя банкротом, и этот суверенный дефолт разорил кредитовавших короля ломбардийских банкиров. Правда, даже после этого Плантагенету удавалось находить на континенте финансистов, готовых ссужать его деньгами, но по большей части это оканчивалось плачевно для кредиторов. Даже огромный выкуп, полученный после Пуатье за взятого в плен французского короля Иоанна II, не исправил положения (правда, в полном объеме согласованная сумма никогда не была выплачена)<sup>99</sup>.

Англия XIV и XV веков могла собрать армию нового типа, но все еще опиралась на средневековую финансовую систему. Она не могла долго поддерживать подобные вооруженные силы. Финансовая база была слишком узкой. Потому после каждой выигранной битвы следовало не развитие успеха, а наоборот, отступление, передышка. Одерживая победы на полях сражений, Эдуард почти никогда не мог их стратегически развивать.

Нехватка ресурсов, с которыми столкнулись победители после мира в Бретиньи, была порождена не случайными обстоятельствами, а структурными противоречиями. Последние Плантагенеты использовали регулярную армию и модернизированное государство для достижения целей все еще вполне феодальной политики. Плантагенеты, хоть заявляли претензии на французскую корону, стремились вовсе не к завоеванию и даже не к расчленению или разгрому Франции. «В течение 22 лет Эдуард III, король Англии, преследовал единственную цель — ликвидацию вассальной зависимости своего владения на французской территории от короля Франции»<sup>100</sup>. Одновременно король и «Черный принц» стремились по возможности вернуть прежние границы своих аквитанских владений, а при случае и расширить семейную вотчину за счет земель в Пуату. Все эти цели были достигнуты в Бретиньи, но они не имели никакого отношения к государственной политике. Если на первом этапе подобный подход дал блестящие результаты, то с течением времени выявлялась его несостоятельность.

<sup>98</sup> См.: *L. James. Warrior Race*, p. 105–106.

<sup>99</sup> Лоуренс Джеймс описывает гротескную сцену пленения французского короля при Пуатье, которое сопровождалось перебранкой между английскими и гасконскими рыцарями. Они окружили несчастного Иоанна II, «и каждый кричал: “Это я взял его!”» (each shouting “I took him”), а король упрасивал собравшихся успокоиться и отвести его «благородным образом» (in a gentlemanly way) к его кузену, английскому «Черному принцу». В конечном счете француз Дени де Морбек (*Denis de Morbeke*) формально принял от имени «Черного принца» капитуляцию монарха, но несмотря на длительные тяжбы в лондонских судах, он так и не получил свою долю выкупа (*L. James. Warrior Race*, p. 130–131).

<sup>100</sup> *A.H. Burne. The Agincourt War*, p. 17 (А. Берн. Битва при Азенкуре, с. 9).

Иными словами, ресурсы и возможности английского государства были мобилизованы для защиты династических интересов одного из французских феодалов, являвшегося по совместительству королем Англии. С точки зрения интересов буржуазии, которая бдительно следила за выделением средств через парламент, единственным по-настоящему ценным приобретением Бретиньи был порт Кале. Он, кстати, остался в руках англичан не только после неудачной войны за Аквитанию, но даже после того, как Столетняя война завершилась в 1453 году победой Франции.

Рост национального самосознания и гордость, вызванные блестящими победами при Креси и Пуатье среди англичан, оказывались в противоречии с конкретными политическими целями, ради которых велась война. Растущая буржуазия заинтересована была в Кале, как торговых воротах на континент, куда больше, нежели в Аквитании. Регулярную армию, собранную для войны, невозможно было содержать в условиях мира. Пытаясь найти применение для своих оставшихся без дела и жалованья солдат, «Черный принц» вмешался в борьбу претендентов, борющихся за трон Кастилии. Несмотря на то что английские лучники вновь показали себя непобедимыми, эта авантюра закончилась катастрофическими последствиями. Расходы на кастильский поход оплачены не были, а победоносные солдаты превратились в грабителей: «прогнанные без оплаты из Аквитании, хлынули в Овернь и грозили Бургундии»<sup>101</sup>. Кастилия превратилась в союзника Франции против Плантагенетов. А «Черный принц», правивший Аквитанией, пытался возместить свои расходы за счет дополнительных налогов и тем самым спровоцировал недовольство местной знати, обратившейся с апелляцией в Париж. Это противоречило договору в Бретиньи, но было на руку Валуа, стремившимся к реваншу.

Захваченные территории надо было оборонять английскими гарнизонами, на содержание которых парламент все менее охотно давал деньги точно так же, как и на морские экспедиции в Бискайский залив. Дисциплина регулярной армии ушла в прошлое, военные лидеры англичан превратились в полевых командиров, воевавших зачастую на собственные средства и ради собственного интереса. Гасконь должна была защищать себя сама, не имея для этого ни ресурсов, ни военно-политической организации, подобной английской. Показательно, что в своих французских вотчинах Плантагенеты сохранили традиционные феодальные порядки, в постепенном преодолении которых как раз и состояла сила Англии. Надежды Плантагенетов на лояльность гасконской знати оказались преувеличенными. Хотя буржуазия крупных городов и большая часть дворянства осталась им верна, многие феодалы колеба-

<sup>101</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 191.

лись, примыкая к той стороне, которая на данный момент оказывалась сильнее. «Черный принц» не нашел ничего лучшего, как мстить подданным за предательство их сеньоров: так катастрофическому разорению был подвергнут Лимож. Впрочем, не исключено, что жестокая расправа была вызвана тем, что изменивший принцу епископ Лиможский утратил контроль над ситуацией — французский отряд герцога Беррийского бежал при приближении англичан, а в городе начался антифеодальный бунт. Хроники жалуются на «разбушевавшуюся чернь» (*indisciplinatum vulgus*), заправлявшую в Лиможе<sup>102</sup>. Показательно, что взяв город, «Черный принц» пощадил предателя епископа, тогда как рядовые горожане подверглись безжалостным репрессиям.

В скором времени у Плантагенетов не осталось ничего от их недавних завоеваний, не сохранилась в целости даже старинная провинция Гиень. Лишь Бордо и несколько небольших территорий вокруг нее составляли теперь феодальный домен английского короля.

Парадоксальным образом, поражения англичан в 1370-х годах продолжают ту же логику политического развития, что и их победы в 1340-е годы. Суть этой логики в ослаблении военной организации феодализма, на смену которому должно было прийти новое государство.

## ГУСИТЫ: РЕВОЛЮЦИЯ СНИЗУ

Английская армия, разгромившая французских рыцарей под Креси и Пуатье, была не единственным примером новой военной организации в Европе XV века. Точно так же не была Англия и единственной страной, где происходили социальные и политические катаклизмы. Пока короли Англии и Франции боролись за власть, ведя Столетнюю войну, еще более драматичные события и еще более радикальные потрясения происходили на востоке Европы в Богемии.

На протяжении последующих веков истории изображали гуситское движение то как социальный протест, то как национальное выступление чехов против немецкого засилья, то как религиозную борьбу. Разумеется, имело место и то, и другое, и третье. Но значение гуситского движения велико именно тем, что оно представляло собой полномасштабную революцию, потрясшую и попытавшуюся изменить общество.

Гуситская революция — самая ранняя из всех известных в истории (если не считать революциями перевороты, происходившие в полисах древности), является одновременно и самой малоизученной. Конечно, речь идет не о перипетиях политической и военной борьбы, подробно описанной в многочисленных исследованиях, или о боевой тактике

<sup>102</sup> T. Walsingham. *Historia Anglicana. Cronica Monasterii S. Albani*. Ed. by H. T. Riley. London: Longman, Green, Longman, Roberts and Green, 1863–64, vol. 1, p. 311.

гуситской армии, которой посвящено множество работ военных историков. Речь идет именно об анализе и понимании специфики революционного процесса, развернувшегося в центре Европы в середине XV столетия. Даже в 90-е годы XX века для историков остается открытым вопрос, действительно ли «эпоха революций началась с гуситского движения»<sup>103</sup>.

Чешский историк Йозеф Мацек констатирует: «Националистический миф сводит сложную картину гуситского движения к простой повести о победоносной борьбе чехов против немцев»<sup>104</sup>. Идеологи и вожди народных выступлений Ян Гус и Ян Жижка предстают перед нами в образе патриотов, борцов за независимость. Между тем это движение никогда не определяло себя как национальное. «Программа гуситов основывалась на христианском универсализме. К гуситам присоединялись немецкие священники и польские дворяне, их прокламации распространялись во Фландрии и Венгрии (в венгерской Трансильвании в 1438 году даже произошло большое восстание крестьян, которое возглавили гуситские проповедники). Все это более чем наглядно свидетельствует об интернационализме гуситской революции»<sup>105</sup>.

Советские историки, державшиеся жесткой нормативной доктрины официального «марксизма», вели счет буржуазным революциям с нидерландской реформации, а потому категорически отказывались признавать революционный характер событий, происходивших в Богемии XV века. Они демонстративно игнорировали прямые высказывания Энгельса, характеризовавшего Крестьянскую войну в Германии начала XVI века как неудавшуюся революцию<sup>106</sup>, и уж тем более не признавали статуса социальной революции за борьбой, развернувшейся в Чехии на сто лет раньше. Солидаризируясь с буржуазной традицией чешского патриотизма, они предпочитали трактовать борьбу гуситов как сугубо национальную, выступление славян против немецкого засилья. Иного мнения придерживались чешские марксисты. Так, Роберт Каливода писал в 1961 году, что гуситское движение «является революцией в собственном смысле слова»<sup>107</sup>.

Эта революция, хоть и потерпевшая в конечном счете поражение, оказалась своего рода моделью всех последующих революционных переворотов вплоть до XX века. Табориты и чашники оказались прообразами

<sup>103</sup> Husitství — Reformace — Renesance, s. 285.

<sup>104</sup> J. Macek. Histoire de la Bohême des origines à 1918. Paris: Fayard, 1984, p. 123.

<sup>105</sup> Ibid., p. 120.

<sup>106</sup> См., например: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 417.

<sup>107</sup> R. Kalivoda. Husitská ideologie. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, S. 496.

последующих революционных партий — пресвиториан и индепендентов в Англии, якобинцев и жирондистов во Франции, меньшевиков и большевиков в России. Был в гуситской революции свой «термидор» — битва при Липанах, был даже и собственный «Бонапарт» — гуситский король Иржи из Подебрад.

События, происходившие в Чехии в начале XV века, были тесно связаны с общеевропейскими процессами точно так же, как «еретические» идеи, за которые сожгли пражского теолога Яна Гуса, были самым тесным образом связаны с теориями, выдвигавшимися Джоном Уиклифом (John Wiclif, Wycliffe, Wyclif) в Англии. Когда после смерти Уиклифа его сторонники (лолларды) стали подвергаться преследованиям у себя на родине, многие перебрались в Богемию, где продолжали свою агитацию, объединившись с учениками Гуса. Как отмечают английские историки, идеи Джона Уиклифа проникли в Богемию, и у него гуситы «позаимствовали больше, чем из других источников, включая целый ряд идей, которые самому Гусу казались чересчур радикальными»<sup>108</sup>.

К концу XIV века Чехия (Богемия) была одной из наиболее развитых стран Европы, находясь в одном ряду с Северной Италией и Фландрией. Серебро из местных рудников играло важную роль в экономике всего континента. В середине столетия его ежегодная добыча оценивалась примерно в 100 тысяч марок в год, огромная сумма по тем временам<sup>109</sup>. С 1348 года в Праге действовал крупнейший, и в течение некоторого времени единственный, университет в Центральной Европе.

В середине XIV века императорская корона оказалась у богемского короля Карла Люксембургского, который, будучи искусным дипломатом и, говоря современным языком, эффективным менеджером, успешно использовал свое положение в качестве формального лидера Германской империи для того, чтобы расширить собственные владения и увеличить богатство Богемии. Под власть Карла оказались земли в Верхнем Пфальце, Тюрингии и Саксонии, и даже маркграфство Бранденбург. В отличие от своего отца Иоанна Слепого, превратившего Богемию в источник средств для непрерывных и, как правило, неудачных авантур, Карл воспринимал развитие чешских земель как гарантию своего влияния в империи, а потому заботился об их процветании. Для остальных частей империи правление Карла было менее благополучным — именно он «Золотой Буллой» 1356 года закрепил раздробление Германии.

Чума и экономический кризис затронули земли Чешской короны в гораздо меньшей степени, чем соседние страны. Добыча серебра, олова и железа постоянно увеличивается, вводятся различные технологиче-

<sup>108</sup> The Cambridge Medieval History, vol. VIII. The Close of the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1936, p. 76.

<sup>109</sup> См.: История Средних веков, т. 1, с. 445.

ские усовершенствования — новые каменные печи для плавки железа, механический молот, приводимый в движение водой. Создаются литейные производства, которые впоследствии использовались для изготовления артиллерийских орудий. Развивались также сукноделие и ткачество. Использование труда наемных рабочих в местных мануфактурах и рудниках уже приняло массовый масштаб, так что в 1399 году историки фиксируют первые сообщения о забастовках, сопровождавшихся требованием улучшения условий труда и повышения заработной платы. В том же году пражские подмастерья создали некое подобие профсоюза. Еще одна крупная забастовка произошла в Праге в 1410 году.

Торговые связи Чехии с германскими городами активно развивались в годы правления Карла Люксембургского, который, в качестве императора Священной Римской империи, добился привилегий для пражских купцов на всей ее территории. Венецианцы создали в Праге свое постоянное представительство (что-то среднее между посольством, коммерческим офисом и товарным складом), а чешские купцы получили возможность беспрепятственной торговли в Венеции. В Восточной Европе торговое лидерство богемской буржуазии было неоспоримым, ее представители активно вели дела не только на территории Литвы и русских княжеств, их связи простирались и дальше на Восток. «С далекого Урала был доставлен в Чехию малахит, которым Карл украсил Святовацлавскую часовню в Пражском Замке. Транзитом через Восточную Европу шли в Чехию восточные ткани, краски, лекарства»<sup>110</sup>.

Как отмечает чешский историк, к началу XV века кризис затронул Богемию, быть может даже несколько меньше, чем некоторые другие западные общества, но здесь «напряжение пробилось наружу не местными возмущениями или восстанием одного сословия, как это имело место в других странах Европы уже в течение предыдущего столетия, а разразилось всеобщей революцией»<sup>111</sup>.

Экономика Чехии стимулировалась «внезапным размахом добычи кутногурского серебра, имевшим все последствия инфляции»<sup>112</sup>. Покупательная способность денег падала. Купцы были недовольны снижением прибылей. «Для остальных представителей городского общества спад производства оборачивался стагнацией заработной платы, ростом безработицы и повышением стоимости жизни. В результате многие впали в долги, закладывали свои дома и вещи, чтобы добыть денег на повседневное существование»<sup>113</sup>.

<sup>110</sup> Там же, с. 447.

<sup>111</sup> Я. Альберт. Цит. соч., с. 4.

<sup>112</sup> Там же.

<sup>113</sup> J.M. Klassen. Op. cit., p. 21.



Американский исследователь оценивает снижение реальной заработной платы, приводя следующий пример: «В 1378 году один рабочий день строителя, участвовавшего в сооружении собора Святого Вита, оплачивался суммой от 9 геллеров до одного гроша. Спустя 20 лет рабочие, выполнявшие аналогичные задачи, получали либо пол гроша плюс еду, либо один грош без еды»<sup>114</sup>. Между тем цены росли. Дорожало зерно, увеличивалась квартплата. Экономический спад чувствовался в Богемии острее именно потому, что эта страна была более развита, а население больше зависело от состояния рынка и денежного хозяйства. Как отмечает чешский историк Йозеф Мацек, зарплата все больше отставала от роста цен: «На неизменный заработок наемного работника можно было купить все меньше продовольствия»<sup>115</sup>.

Ремесленники были недовольны конкуренцией монастырских мастеровских, освобожденных от налогов. Массы были возмущены растущей стоимостью жизни. Буржуазия в целом требовала юридического равенства сословий и «дешевой церкви».

Положение крестьян в Чехии было в целом не хуже, чем за 50 или 100 лет до того (некоторые историки, даже утверждают, что оно улучшилось), но усиливалась социальная дифференциация села и потребность в деньгах. Напротив, часть дворянства нищала, а потому «положение богатого крестьянина бывало лучше, чем положение бедного владыки»<sup>116</sup>. Неудивительно, что обедневшие за время кризиса дворяне, надеялись поправить свои дела за счет захвата церковных земель.

Социальное напряжение накладывалось на конфликты между немецкой и чешской буржуазией в городах. Соотношение немецкого и чешского элементов было постоянным источником конфликтов. Немецкими были верхушка церковной иерархии, монастыри и городской патрициат, тогда как основная масса городской буржуазии и мелкопоместного дворянства, как и крестьяне говорили по-чешски. Не удивительно, что бюргерская критика официальной церкви накладывалась здесь на анти-немецкие настроения, а перевод Яном Гусом Библии с латыни на народный (то есть чешский) язык приобретал еще более острый политический смысл, чем в Англии, где тем же занимался Уиклиф.

Владения католической церкви к середине XIV века были очень велики, один лишь пражский архиепископ владел 900 селениями, 14 городами и 5 замками, вызывая не только зависть местного дворянства, но и

<sup>114</sup> *J.M. Klassen*. Op. cit., p. 22.

<sup>115</sup> *J. Macek*. Die Hussitische Revolutionäre Bewegung. Berlin: Deutsche Verlag der Wissenschaften, 1958, S. 17.

<sup>116</sup> *Й. Мацек*. Табор в гуситском революционном движении. М.: Иностранная литература, 1956, т. 1, с. 165.

неприятель короны — призывы радикальных проповедников к национализации церковных земель находили при дворе заинтересованных слушателей.

В 1391 году в Праге была основана Вифлиемская часовня, где проповеди велись на чешском языке, а в 1409 году чешские профессора вытеснили немцев из Пражского университета. Обиженные немцы уехали в Лейпциг, где основали новый университет, а ректором в Праге был избран Ян Гус, уже прославившийся проповедями в Вифлиемской часовне.

Король Вацлав поощрял деятельность Яна Гуса и на первых порах все шло в направлении реформы сверху, о которой велась дискуссия и в правящих кругах Англии, где привечали Уиклифа. При этом, однако, как и многие неудачливые реформаторы, король был непоследователен, колеблясь между сторонниками Гуса и консерваторами.

Между тем давление снизу было слишком велико. Смерть Вацлава и приход на смену ему такого же непоследовательного, но находившегося под влиянием консерваторов Сигизмунда, подтолкнула развитие революционного кризиса.

Критические выступления Гуса и его единомышленников проходили безнаказанно в условиях, когда сама католическая церковь пребывала в состоянии анархии, а право возглавлять ее оспаривали одновременно два, а то и три Папы. Но в 1414 году, когда единство церковной иерархии было восстановлено, Констанцкий Собор занялся делом Гуса. Чешский реформатор прибыл туда с охранной грамотой императора Сигизмунда Люксембургского, что не помешало организаторам собора бросить его в тюрьму. Вопрос о судьбе проповедника был решен опросом делегатов собора, которые после краткого обсуждения решили, что проще всего будет Гуса сжечь, что и произошло 6 июля 1415 года.

Еще до того, как Яна Гуса казнили, богемское и моравское дворянство начало писать петиции Сигизмунду Люксембургскому, заявляя, что «они воспринимают обвинения против Гуса как обвинения против всей чешской нации и богемской короны» (they regarded accusations against Hus as accusations against and affront to the Czech nation and the Bohemian Crown)<sup>117</sup>.

Наряду с чисто религиозным требованием Причастия для мирян под двумя видами выдвигались и вполне конкретные экономические лозунги — отмена церковной десятины и экспроприация церковных имуществ. Начался стихийный захват монастырской и церковной собственности, в котором участвовала значительная часть средних слоев и даже чешской знати. Впрочем, лозунг Причастия из чаши для мирян, с точки

<sup>117</sup> The Cambridge Medieval History, vol. VIII, p. 65.

зрения позднейшей истории кажущийся сугубо символическим, имел для людей XV века конкретный политический смысл. Утверждая одинаковые обрядовые правила для всех, независимо к какому сословию они принадлежали, гуситское движение закладывало основы гражданского равенства, а потому чаша на знаменах чешских повстанцев становилась вполне внятным и привлекательным символом.

Ситуация быстро вышла из под контроля. Крестьяне отказывались платить церковную десятину, а сельские священники их в этом поддерживали. Начались погромы монастырей. В июле 1419 года на горе Табор собралось 42 тысячи крестьян с семьями, к которым присоединилось значительное число обедневших рыцарей, чешских священников и представителей городских низов. Основанный ими новый город стал политическим центром для радикального крыла гуситского движения, играя в чешской революции ту же роль, что и Якобинский клуб во французской. «Радикальное левое крыло буржуазных революций и его программу, — пишет Роберта Каливода, — таким образом, впервые в истории мы находим в гуситской революции»<sup>118</sup>.

Городские низы Праги, возглавляемые лидером столичного плебса проповедником Яном Желивским (Jan Želivský), восстали 30 июля. Народ начал громить церкви и дома немецких патрициев. Восстание перекинулось на Пльзень и другие города. Политическую платформу революции сформулировали «4 пражские статьи», а затем более радикальные «12 таборитских статей». Смерть короля Вацлава (Wenceslas IV) в том же 1419 году окончательно закрепила ситуацию безвластия, поскольку кандидатура императора Сигизмунда Люксембургского, имевшего наибольшие права на богемскую корону, была неприемлема для чешского общества, которое не могло простить ему гибели Яна Гуса.

Политические течения, сформировавшиеся в Чехии в годы гуситской революции, оказались прообразами партий и движений, которые мы видим во всех последующих революциях вплоть до 1917 года, — от сторонников ограниченной монархии и буржуазного порядка до социалистов и коммунистов, отвергающих частную собственность. Табориты ввели у себя общность имущества. На улицах города ставили бочки, куда все приходящие складывали свои вещи, поступавшие теперь в общее пользование: «В Таборе нет ни моего, ни твоего, но все имеют поровну, у всех все всегда должно быть общим, и никто не имеет права иметь что-либо для себя одного»<sup>119</sup>.

В основе идеологии таборитов лежал своеобразный коммунизм, который «был идеалом, вдохновлявшим массы и основой объединявшей их

<sup>118</sup> R. Kalivoda. Op. cit., S. 497.

<sup>119</sup> История Средних веков, т. 1, с. 453.

демократической общины (Volksgemeinschaft)»<sup>120</sup>. Однако производственная деятельность обобществлена в Таборе не была. Как отмечали позднейшие исследователи, это был «только коммунизм потребления»<sup>121</sup>.

В лагере таборитов были представлены все будущие левые течения — от умеренно-социалистических до анархо-коммунистических, а многие вожди таборитов крайне неодобрительно относились к пропаганде радикалов. Ян Жижка, непобедимый военный лидер Табора, не только не разделял идей левого крыла движения, но и периодически вступал в борьбу с ним. По мнению Энгельса, лидеры Табора воспринимали общность имуществ «лишь в качестве чисто военного мероприятия»<sup>122</sup>.

В связи с этим Энгельс замечает, что, поскольку практическое воплощение коммунистического принципа было в условиях Средневековья технически невозможно, данная идеология по существу становилась знаменем радикальной демократии: «Нападки на частную собственность, требование общности имущества неизбежно должны были выродиться в примитивную организацию благотворительности; неопределенное христианское равенство могло, самое большее, вылиться в буржуазное “равенство перед законом”; упразднение всяких властей превращалось в конце концов в учреждение республиканских правительств, избираемых народом. Предвосхищение коммунизма в фантазии становилось в действительности предвосхищением современных буржуазных отношений»<sup>123</sup>.

Тем не менее для практических интересов буржуазии «здесь и сейчас» этот радикальный плебейский коммунизм представлял непосредственную угрозу, будучи конкретным выражением классовой борьбы, которую низы общества уже вели не только против старого феодального порядка, но и против капитала, не дожидаясь того момента, когда просвещенные социалистические идеологи откроют пролетариат в теории и признают за ним всемирно-историческую роль. В конечном счете дворянство и крупная буржуазия выиграли от участия в гуситском движении, укрепив свои состояния за счет захваченного церковного имущества, однако это была рискованная игра, исход которой не был очевиден вплоть до битвы при Липанах. «Левое крыло» гуситов, объединившееся вокруг Табора, периодически вступало в конфликт с умеренными пражскими бюргерами, известными как чашники или утраквисты

<sup>120</sup> K. Kreibich. Tabor. Eine halbjahrtausend-feier des Kommunismus. Reichenberg: Verlag Volksbuchhandlung Runge & Co, 1920, S. 15.

<sup>121</sup> Ibid., S. 14.

<sup>122</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, с. 364 (Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии — II).

<sup>123</sup> Там же.

(Utraquisten)<sup>124</sup>. Поэтому не удивительно, что в Германии, Венгрии и Италии формирующий средний класс возлагал надежды на реформы, а не на революцию.

По словам Роберта Каливоды, мы «находим в гуситской революции классическое воплощение механизма, диалектики левого и правого крыльев, характеризующих ход и завершение революции буржуазного типа»<sup>125</sup>. Внешняя угроза не давала консолидировать завоевания «умеренных», борьба с интервентами была невозможна без поддержки масс, а потому «требовала гегемонии левизны почти в течение всего 15-летнего периода революционных столкновений»<sup>126</sup>.

Революция, свергнув власть Люксембургского дома, на протяжении долгого времени была не в состоянии организовать стабильные государственные структуры. И не только потому, что идея республики еще не стала распространенной и понятной в обществе. Движение поднималось снизу и было совершенно новаторским для своего времени, оно не могло найти для себя готовых политических форм. В 1420 году чешскими сословиями были приняты «4 пражские статьи», выдвигавшиеся в качестве условия престолонаследия, однако ни один из европейских монархов не готов был приобрести богемскую корону ценой признания пражских принципов, ибо это означало бы открытый разрыв с Папой Римским.

В Чехии развернулась острая борьба партий, периодически принимавшая форму военных столкновений. Прагу контролировали умеренные чашники (Utraquisten), опиравшиеся на столичную буржуазию и часть чешской аристократии, которая поживилась за счет экспроприации собственности монастырей и немецкого городского патрициата. На этом, по их мнению, революция должна была бы закончиться, уступив место новой монархии, которую надеялись установить, пригласив короля из Польши или какого-либо другого соседнего государства. Единственная проблема состояла в том, чтобы заключить с католической Европой политический компромисс, который признал бы религиозные права новой Церкви, а заодно и права новых собственников на захваченное в ходе революции имущество. Однако препятствием для такого компромисса становилось растущее влияние Тавора. Эта партия говорила о новом социальном порядке, отвергала возможность компромисса с папистами и подозрительно относилась к перспективе восстановления монархии.

<sup>124</sup> В некоторых источниках умеренные гуситы называются также каликстинцами. Определенную путаницу вносит то, что термины «чашники» и «каликстинцы» порой употреблялись для обозначения гуситов вообще, без разделения на партии.

<sup>125</sup> R. Kalivoda. *Op. cit.*, S. 498.

<sup>126</sup> *Ibid.*, S. 497.

Как и в последующие эпохи, главным международным вопросом стал экспорт революции. Дельбрюк, описывая переход гуситов от обороны к наступательным военным операциям в 1427 году, справедливо констатирует: «Это развитие аналогично тому, которое затем всемирная история пережила во время английской и французской революций»<sup>127</sup>. Однако распространение политического влияния гуситов опиралось не только на превосходство военных сил, созданных революцией.

Во Франции собирали пожертвования на поддержку борющейся Богемии, во Фландрии сторонники гуситов вели открытую агитацию, которую официальная Церковь смогла подавить лишь жестокими репрессиями, из Польши и Венгрии в Прагу направлялись добровольцы.

Гуситское движение получило сильную поддержку в Польше. Как заметил один из позднейших историков, в этой стране многочисленные бедные дворяне, стремившиеся поживиться за счет разграбления церковного имущества, «были гуситами в плохом смысле» (*im schlechten Sinne Hussiten waren*)<sup>128</sup>. Борьба между последователями Яна Гуса и официальной католической церковью продолжалась в Польше вплоть до 80-х годов XV века.

Гуситская пропаганда активно распространялась в соседних странах, хотя сами гуситы стремились демонстрировать умеренность, боясь оттолкнуть потенциальных союзников из числа дворян, крупной буржуазии или местных князей. Раздел церковного имущества был привлекателен для дворянства, многих представителей знати и даже королевской власти, но для них нетерпима была революционная форма, в которой это происходило, ибо как показали события в Чехии, процесс грозил пойти слишком далеко. Консервативная пропаганда апеллировала прежде всего к ужасам анархии, сопровождающим революционный переворот, доказывая, что потеря контроля над низами приведет к крушению всей социальной иерархии, к ликвидации существующих отношений собственности. «Дворянство Германии и иных стран и само отлично это сознавало, поэтому у него нигде не нашла благоприятного отзвука даже та гуситская пропаганда, которая маскировала молчанием антифеодалное острие своей революции. Оно здесь было, дворянство это чувствовало, боялось его и в соответствии с этим поступало»<sup>129</sup>. Потому идеи чешской революции находили отклик преимущественно в низах общества. Современники писали о волнениях в деревнях, жаловались, что еще много и «крестьяне из Германии перейдут на сторону чехов»<sup>130</sup>.

<sup>127</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 3, с. 309.

<sup>128</sup> Th. Wotschke. Das Hussitentum in Grosspolen. Posen: Oskar Eulitz Verlag, 1911, S. 42.

<sup>129</sup> Я. Альберт. Цит. соч., с. 15.

<sup>130</sup> Цит. по: Там же, с. 8.

Немецкий городской патрициат был вытеснен из Богемии, но не из Моравии. Чешский язык потеснил в Праге не только немецкую речь, но и латынь. Однако разделение на папистов и гуситов далеко не всегда происходило по национальному признаку. Значительная часть чешских феодалов объединилась со своими немецкими братьями по классу. Национальные различия, как всегда бывает во время революции, уступали место идеологическим и классовым.

Рост национального самосознания в Чехии был скорее следствием революции и успешных освободительных войн, чем их причиной. Как и в случае последующих буржуазных революций, нация формировалась под влиянием социального переворота. Немецкие патриции, поддерживавшие католическую партию, были вытеснены из крупных городов, что, как справедливо отмечает Йозеф Мацек, обернулось прежде всего «торжеством чешской буржуазии»<sup>131</sup>. Именно эта буржуазия, взявшая в свои руки власть в городах, получила возможность культурной гегемонии. Чешский язык оказался одним из первых среди новых европейских языков, потеснивших латынь, причем не только внутри страны, но и на международном уровне, он «стал официальным языком государственной службы и даже дипломатическим языком»<sup>132</sup>. На нем составлялись дипломатические документы в Польше и Венгрии.

Табориты и чашники находились в постоянном противостоянии, перераставшем в вооруженные столкновения. Но несмотря на все конфликты, их сплачивала внешняя угроза. Как бы ни стремились к компромиссу лидеры умеренных партий в Праге им приходилось периодически объединяться под общими знаменами с Табором для борьбы с Крестовыми походами, которые организовывали немецкие князья и Папа Римский.

У радикального крыла гуситов были даже собственные представления о Перманентной революции: «Исходным пунктом таборитов являлось их учение о начавшемся мировом перевороте, который должен закончиться победой добрых людей над злыми. Переворот табориты представляли себе как акт насильственного устранения «грешников и противников закона Божьего», под которыми они мыслили феодалов, высший церковный клир и чиновников феодального государства»<sup>133</sup>. Это угодное Богу дело должно быть совершено под руководством религиозно-политического «авангарда» — «верными», ревнителями «Божьего дела», готовыми «лично проливать кровь противников закона Христа»<sup>134</sup>. Легко заметить, что

<sup>131</sup> J. Macek. Le mouvement Hussite en Bohême. Prague: Orbis, 1965, p. 91.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Всемирная история, т. 3, с. 702.

<sup>134</sup> Там же, с. 703.

сама идея религиозно-военной организации, являющейся по совместительству политическим союзом и боевым братством, возникла под влиянием опыта рыцарских орденов, только приспособленного, переосмысленного и демократизированного для решения религиозных задач. В этом смысле Сталин был по-своему верен исторической традиции, сравнивая большевистскую партию с орденом «меченосцев». Только логичнее было бы возводить преемственность не консервативно-феодалной рыцарской структуре, а к гуситскому движению.

Первое крупное военное столкновение между гуситами и крестоносцами императора Сигизмунда произошло под Витковым. Под началом императора было до 80 тысяч бойцов, включая немецких рыцарей, наемную пехоту и 12 бомбард, которые обслуживали около тысячи человек орудийной прислуги. Войска гуситов были почти в десять раз меньше. Серьезного сопротивления императорская армия не ожидала, а потому решительные действия пришедших на выручку Праге таборитов оказались для ее командиров полной неожиданностью. Заняв господствующие возвышенности, табориты поставили рыцарскую конницу в невыгодное положение. Всадники вынуждены были, как и при Азенкуре, спешиваться. Бестолковый штурм укрепленных позиций закончился для крестоносцев плачевно — им пришлось отступить. Ничего революционного в военном плане при Виткове еще не произошло, но исход столкновения не предвещал для имперских армий ничего хорошего. Как отмечает российский военный историк, «эта первая победа таборитов показала, насколько безответственно подходило руководство армии крестоносцев к военным действиям против еретиков»<sup>135</sup>.

Последующие битвы одна за другой заканчивались разгромом крестоносцев. В то время как католические армии действовали шаблонно, повторяя раз за разом одни и те же ошибки, табориты совершенствовали свою тактику и организацию.

Как отмечают военные историки, новая тактика гуситов стала возможна потому, что, с одной стороны, Богемия XV века являлась одним из наиболее развитых «промышленных регионов» Европы, а с другой стороны, войско таборитского вождя Яна Жижки состояло в основном из крестьян, которые «не умели сражаться копьями, как выученная пехота» (*were mainly peasant infantry with no tradition of pike warfare*)<sup>136</sup>. Поэтому в Таборе было создано новое вооружение на основе крестьянских орудий

<sup>135</sup> С. Жарков. Средневековая пехота в бою. М.: Яуза — ЭКСМО, 2008, с. 352–353.

<sup>136</sup> М. Беннет, Дж. Брэдбери, К. Де-Фрай, Й. Дикки, Ф. Джестайс. Войны и сражения Средневековья. М.: ЭКСМО, 2007, с. 69, 70 (англ. изд.: M. Bennett, J. Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, Ph. Jestice. *Fighting Techniques of the Medieval World. AD 500 — AD 1500*. London: Spellmount, 2005, p. 63–64).



груда — топоров, цепов, вил и т.д. Эта пехота активно использовала огнестрельное вооружение, не только тяжелые бомбарды, но и всевозможные виды ручного стрелкового оружия, которое было еще новостью на полях сражений. Пехота действовала под прикрытием мобильной крепости, составленной из тяжелых повозок с защищенными бортами — вагенбург (Wagenburg). Такое укрепление не было изобретением чешских повстанцев, оно применялось при обороне и раньше (причем не только в Центральной Европе), а после начала гуситских войн получило еще большее распространение — англичане построили вагенбург, чтобы защищаться от французской артиллерии во время «битвы селедок» (Battle of the Herrings) в 1429 году<sup>137</sup>. Однако лишь гуситы превратили вагенбург в центральный тактический элемент своей военной организации. Специально оборудованные повозки использовались одновременно для транспортировки войск и грузов, как прикрытия для стрелков, подвижные артиллерийские батареи и т.д. Подобно английской армии Генриха V, табориты сочетали высокую мобильность и способность быстро появляться в нужном для себя месте с оборонительной тактикой во время полевых сражений. Как отмечает российский военный историк, основой боевой организации таборитов была «комбинация стрелков и воинов, вооруженных длиннодревковым оружием ближнего боя в сочетании с «боевыми» повозками»<sup>138</sup>.

Кавалерия в войсках таборитов играла второстепенную роль, однако в решающие моменты сражения именно она наносила внезапный удар по измотанному или начинающему отступать противнику. В рядах таборитов было немало представителей чешского мелкого дворянства и рыцарей, привыкших сражаться верхом. Под Витковым конница Жижки составляла примерно 1800 всадников, дополнявших семь с небольшим тысяч пехотинцев, — вполне нормальная пропорция для армий того времени<sup>139</sup>.

Необходимость давать отпор Крестовым походам, заставляла чашников и таборитов объединяться — в такие моменты пехота Табора укреплялась за счет тяжелой конницы чашников. Изменение социальных и экономических условий позволило изменить и соотношение сил за счет новой тактики и технологии. Гуситы были не просто крестьянским ополчением, а революционной армией. Потому, в отличие от таких же ополчений недалекого прошлого, они не разбежались при столкновении с рыцарской конницей, а применяли новую городскую технику. Именно гуситы первыми начали эффективно использовать огнестрельное ору-

<sup>137</sup> Сражение при Рувре (Rouvray) получило такое название (по-французски — *Journée des Harengs*) из-за того, что селедки были грузены повозки английской обоза, использовавшиеся для прикрытия.

<sup>138</sup> С. Жарков. Цит. соч., с. 346.

жие в полевых сражениях, создавая высокую плотность огня, способную сдерживать и рассеять конницу, идущую в лобовую атаку.

Победы над крестоносцами сопровождалась обострением межпартийной борьбы в лагере гуситов. В 1424 году между чашниками и таборитами вспыхнули военные действия. Жижка разбил чашников у города Малешов (Malešov) 7 июня 1424 года. Исход битвы решила внезапная контратака таборитской конницы. Табориты, укрепившиеся на возвышенности, пустили по склону горы повозки, врезавшиеся в ряды чашников и вызвавшие там смятение. После этой победы на некоторое время Жижка был фактически хозяином Чехии, но 11 октября 1424 года он умер от внезапно вспыхнувшей эпидемии чумы.

Вплоть до 1436 года Чехия жила без короля. В 1433 году католическое духовенство, собравшееся на Базельский Собор, пошло на компромисс с чашниками. Документ, закрепивший условия этого соглашения, вошел в историю как Пражские компактаты. Собор признал Причащение из чаши для мирян и согласился с проведенной в Чехии секуляризацией церковных имуществ. Новые собственники получили легальный статус. Это был «термидор» гуситской революции. Умеренные чашники, поддержанные католической партией, нанесли таборитам поражение в битве у Липан 30 мая 1434 года. Несколько позднее в Польше король Владислав III Варненчик (Władysław III Warneńczyk) нанес поражение сторонникам гуситов под Гротниками (Grotniki).

Табор не был взят — его занял лишь много лет спустя гуситский король Иржи из Подебрад. Однако дело радикалов было проиграно не только из-за изменившегося соотношения военных сил. Страна устала от войн, революционных потрясений и безвластия. Она мечтала о спокойствии и порядке, который обещала политика компромиссов, проводимая чашниками.

Соглашение умеренных чашников с католиками, вошедшее в историю как Компактаты, формально положило конец гуситским войнам. Очередной компромисс 1435 года вынудил короля считаться с представителями сословий. В 1436 году Чехия приняла католического короля Владислава Люксембурга. Однако история гуситского движения была еще далеко не закончена.

### БОНАПАРТЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Как известно, бонапартистские, или «цезаристские», режимы возникают на спаде революции, когда новая элита, с одной стороны, стремится нормализовать ситуацию, поставив под контроль разбушевавшиеся массы, а с другой стороны, закрепить некоторые результаты революционного переворота. По словам Антонио Грамши, «цезаризм является

отражением такой ситуации, когда борющиеся между собой силы находятся в состоянии катастрофического равновесия, то есть такого равновесия, при котором продолжение борьбы может иметь лишь один исход: взаимное уничтожение борющихся сил»<sup>140</sup>.

Политический порядок, воцарившийся в Англии в начале XV века и тем более в Чехии к концу гуситских войн, идеально подходит под данное определение. Разумеется революции в Англии не произошло. Однако социальные потрясения были очень масштабными. Старый феодальный порядок получил серьезный удар. В этом смысле можно, пользуясь терминами Грамши, говорить о «пассивной революции» или о «революции сверху».

По мнению Грамши, «пассивная революция» осуществляется частью верхов в ответ на растущее давление снизу. С одной стороны, попытки революции низов потерпели поражение. Но с другой стороны, удержать старый порядок уже невозможно, и наиболее разумная часть верхов сознает это. Часть революционной программы проводится сверху самими правящими кругами. Государственный лидер получает при этом относительную свободу действий, имея возможность маневрировать между классами. Именно поэтому «цезаристский режим», как правило, может прославить себя великими победами: политик, умеющий использовать открывшиеся возможности, оказывается гораздо сильнее, чем его конкуренты, связанные традиционными интересами.

К концу XIV века социально-политический кризис, переживаемый Европой, достиг таких масштабов, что серьезные перемены были неминуемы. Эпидемия чумы, прокатившаяся по Европе, оказалась одновременно и кульминацией кризиса, и поворотным моментом, после которого разложение старой феодальной экономики начало дополняться становлением новых производственных отношений.

В Англию чума (или как ее тогда называли «Черная смерть») проникла к концу лета 1348 года. После массовой гибели населения работать в феодальных имениях стало некому. Вилланы (или колонны, как их называли по-латыни на древнеримский манер) — просто вымерли. «Тогда прекратились доходы, тогда земля вследствие недостатка в колонах осталась невозделанной», — констатировал летописец.<sup>141</sup> Если раньше главной проблемой была нехватка земли, то теперь ее сменил дефицит рабочей силы.

1348 год был урожайным, и на первых порах цены на продовольствие резко упали: ведь число потребителей снизилось катастрофически. Продавался за бесценок и скот, зачастую оставшийся без хозяев. Но уже в

<sup>140</sup> А. Грамши. Избранные произведения. М.: Изд-во иностр. лит., 1959, т. 3, с. 185.

<sup>141</sup> Д.М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. Очерки из истории разложения феодального строя в Англии. М. — Л., 1927, с. 202.

следующем году цены столь же резко пошли вверх, поскольку сократилось производство. Это, в свою очередь, усиливало тенденцию к удорожанию рабочей силы. Землевладельцы жаловались на «злонамеренность» рабочих, которые не хотели наниматься на прежних условиях, требовали вмешательства государства. «Злонамеренность, — отмечает советский историк Д.М. Петрушевский, — проявили не одни только сельскохозяйственные рабочие. Не в меньшей степени “наглыми и строптивыми” (elati et contrariosi) показали себя и ремесленники, также поднявшие цену на свой труд, а также продавцы съестных припасов, повысившие цены на предметы первой необходимости».<sup>142</sup> Государственное вмешательство последовало в виде королевского ордонанса 18 июля 1349 года, обязывавшего всех наемных рабочих трудиться за ту плату, которая была установлена в соответствующей местности в течение последних 5–6 лет до эпидемии чумы. Иными словами, на фоне свободных цен заработная плата была заморожена (как видим, государственное регулирование рынка началось не в XX и даже не в XIX веке, а уже в Средние века, причем, как всегда бывает в кризисные моменты, по инициативе частных собственников).

Увы, как и следовало ожидать, ордонанс 1349 года не достиг поставленной цели, зато он резко накалил социальную ситуацию, создав условия для политизации общественного недовольства. Противоречие между конкретным наемным работником и его лендлордом превращалось в конфликт между формирующимся классом наемных рабочих и королевской властью.

Этот конфликт достиг кульминации в ходе крестьянского восстания Уота Тайлера (Wat Tyler) в 1381 году, когда на протяжении нескольких месяцев королевская власть в Англии висела на волоске. Родившийся в Бордо молодой Ричард II унаследовал престол от Эдуарда III, но он не имел ни авторитета, ни опыта своего отца, ни даже репутации отважного военного лидера, как его преждевременно умерший старший брат — «Черный принц». Он находился в постоянном конфликте с парламентом.

В 1399 году Генрих Болинброк, герцог Ланкастерский, низвергнув Ричарда II при поддержке парламента, стал королем Генрихом IV. Вступая на трон, он обещал новый порядок, ответственное управление и финансовую дисциплину, однако сам оставался обычным феодальным правителем.

Династия Ланкастеров заложила основы современного бюрократического государства в Англии, в значительной степени вопреки собственной воле. На протяжении двух столетий — со времени подписания Великой хартии вольностей — в королевстве поддерживался определенный баланс сил. Монархи пытались укрепить свою власть, манипулируя крупными феодальными кланами, срамливая их друг с другом либо

<sup>142</sup> Там же, с. 207.

удовлетворяя их растущие амбиции за счет внешней экспансии в Уэльсе, Шотландии, Ирландии и Франции. В свою очередь, аристократия совместно с ведущими городами, опираясь на растущее влияние парламента, пыталась ограничивать власть королей. Всякий раз, когда король выходил за рамки своих полномочий, начинался очередной феодальный мятеж, поддерживаемый горожанами, затем следовало примирение, и власть монарха возвращалась в отведенные Хартией границы. Социальный порядок был поколеблен в XIV веке чумой, изменившей экономическую структуру деревни, а затем восстанием Уота Тайлера. Однако, несмотря на обострение классовой борьбы в конце столетия, политический режим еще некоторое время держался. Даже Генрих Болинброк, будущий король Генрих IV и основатель ланкастерской династии, на первых порах выяснял отношения с «зарвавшимся» королем Ричардом обычным способом, — с помощью феодального мятежа, за которым последовало очередное примирение. Но после смерти влиятельного Джона Гонта — отца Генриха — король Ричард решил, что настало время решительно разобраться со своими обидчиками, учинив серию политических процессов, которые закончились суровыми приговорами. Генрих Болинброк, находившийся в изгнании во Франции, воспользовался случаем. Высадившись на острове, он легко занял Лондон и провозгласил себя правителем. переворот был активно поддержан лондонской буржуазией, уставшей от королевских фаворитов и финансовой безответственности двора. Однако находящийся под стражей Ричард по-прежнему представлял опасность. После некоторых колебаний Болинброк принял решение, достаточно простое и естественным образом напрашивающееся, но имеющее далеко идущие последствия для всей государственной системы, — короля убить, а самому сесть на его место.

Если первое никого особенно не удивило и не возмутило, то второе было абсолютно беспрецедентным. Болинброк, хоть и был королевской крови, но законным наследником не являлся. Мало того, что он узурпировал трон, но, что гораздо важнее, в Англии нашлось изрядное количество семей, имевших на корону ничуть не меньшие, а часто и большие права.

Не удивительно, что все царствование Генриха IV представляло собой сплошную череду феодальных мятежей, причем, в отличие от прежней эпохи, дело никак нельзя было решить миром. Трон оказался полностью лишен поддержки феодальной аристократии. В свою очередь, у Ланкастерских королей не оставалось иного выхода, кроме как искать поддержки городов и парламента, делая им уступку за уступкой. Традиционный для предшествующей эпохи альянс крупной буржуазии и феодальных баронов был разорван.

Мало того, что выросло влияние парламента, начал меняться и характер государственной власти. Если раньше правительство формиро-

валось представителями аристократических семей, то теперь на их место пришли профессиональные администраторы. Разумеется, большая часть этих администраторов вышла из той же аристократии, но система формирования аппарата радикально изменилась. Раньше связь со своим кланом — как позднее и принадлежность к той или иной партии — была важнейшим критерием при отборе кадров и основой политического влияния того или иного деятеля. Отныне, напротив, людей подбирали по личным качествам. Причем, чем меньше связи было у того или иного администратора с его феодальной родней — тем лучше.

Начала меняться и армия. Для борьбы против аристократических мятежей и подавления геррильи, развернувшейся в Уэльсе, феодальная дружина оказалась непригодна. Она могла оказаться нелояльной (Генрих IV, например, планировал отправить дружины Перси воевать в Шотландию в то самое время, когда клан Перси поднял восстание на севере Англии). Невозможно было и кормить армию за счет грабежа местного населения. После нескольких лет контрповстанческих операций в Уэльсе, грабить там было уже нечего. Нужна была армия дисциплинированная, надежная — такая, которая не разойдется по домам по собственной воле (как сделал ранее тот же Перси в Уэльсе, бросив армию и принца, когда стало ясно, что в восставшей провинции пожить нечем). Короче, нужна была регулярная армия, получающая казенное жалованье и служащая непосредственно короне.

Военная реформа, начатая еще в конце XIII века и продолженная Эдуардом III, получила новый стимул. Принцип комплектования войск оставался еще долгое время феодальным, но организация и управление начали меняться. Бойцов можно было теперь перераспределять между ротами и менять командиров подразделений, нечто в феодальной дружине немыслимое.

Когда принц Гарри возглавил военные силы отца, в них появились специализированные саперные, инженерные и артиллерийские подразделения, была организована постоянная разведка местности, появились полевые хирурги. Организация медицинской службы особенно волновала молодого короля, получившего рану стрелой в лицо во время подавления одного из мятежей в Англии.

Позднее в Нормандии снабженная продовольствием, получавшая регулярное жалованье армия во время похода не грабила мирное население, не жгла поселков (кроме тех случаев, когда это специально приказывали) и этим выгодно отличалась от французских войск, которые терроризировали своих соотечественников.

Валлийская кампания для принца Гарри оказалась важным уроком. Он понял, что война — это прежде всего деньги. Отныне ни одно серьезное предприятие не начинается без основательной финансовой подго-

товки и согласования с парламентом. Это, в свою очередь, означает, что цели и смысл войны меняются: интересы буржуазии оттесняют традиционные феодальные мотивы.

Генрих IV вряд ли в полной мере осознавал смысл происходящего. До конца жизни он оставался всего лишь феодальным магнатом, захватившим престол, озабоченным сохранением своей добычи и периодически мучающимся угрызениями совести. Его расходы вызывали регулярные скандалы в парламенте, которому король каждый раз принужден был делать унижительные уступки, внутренне уверенный, что низкородные депутаты в палате общин просто злоупотребляют своим положением и пользуются его временной слабостью.

Обещание нового порядка материализовалось при Генрихе V, который проводил молодость, деля время между подавлением феодальных мятежей и работой в парламентских комиссиях, обсуждая финансовые вопросы с депутатами Палаты общин. Этот король-рыцарь уделял изучению финансовой отчетности не меньше времени, чем боевым операциям, лично читал бухгалтерские книги, делал пометки и перепроверял расчеты. Король-бухгалтер Генрих VII Тюдор был в этом смысле преемником и последователем героя Азенкурской битвы.

Уильям Шекспир описал юного принца Гарри как шалопая, проводившего время в бессмысленных попойках с недостойными людьми, но позднее раскаявшегося. Эта история явно противоречит известным сегодня фактам о юности короля. Из документов времен Генриха IV возникает совершенно другой образ принца Уэльского: очень делового, великолепно образованного и крайне деятельного. В самом деле, трудно представить себе, как молодой принц, находил время для распутства и гулянок в промежутках между заседанием парламентских комиссий, военными операциями, официальными церемониями и проверкой бухгалтерских книг. Разумеется, пиры и пьянки во дворце принца Уэльского были частью социальной нормы того времени, явно не выходя за рамки общепринятого и даже необходимого общения, типичного для элиты феодального общества.

Сохранились и финансовые документы, свидетельствующие о «щедрых дарах», которые принц преподносил своим «друзьям». Но странным образом, парламент, который весьма негативно относился к королевскому расточительству в случае Ричарда II и Генриха IV, никогда не протестовал против трат принца Уэльского. По-видимому, «дары» принца были сравнительно скромными по сравнению с тем, как поощряли своих фаворитов и лояльных феодалов его предшественники — никто никогда не обвинял Генриха V в фаворитизме (стоившем, как известно, Ричарду короны и жизни). Однако дело не только в этом. Бросается в глаза, что большая часть «даров» представляет собой денежные суммы

или ювелирные изделия, которые в те времена нередко переплавляли или просто продавали для получения финансовых средств. Традиционная феодальная система предполагала в первую очередь вознаграждение за службу и лояльность в виде замков и поместий, которые Генрих V раздавал куда более скупо.

Лояльность парламента к принцу была вызвана не только тем, что он проявлял в своих расходах разумную сдержанность, но и тем, что его расходы, с точки зрения буржуа, были вполне целесообразными. Дошедшие до нас сведения о «дарах» явно представляют собой просто информацию о вознаграждении за службу.

Откуда же тогда легенда о распутстве и пьянстве, столь прочно укоренившаяся, что ее продолжали повторять даже некоторые историки XX века? Похоже, мы имеем дело с очередным примером идеологической борьбы. Ведь ключевым моментом критики, обрушившейся на голову принца посмертно (а возможно — в виде слухов и сплетен — уже при жизни), было не то, что он пьянствовал и гулял — нормальное поведение для молодого аристократа, а то, что делал это в обществе «недостойных людей». Иными словами, принц окружал себя людьми сравнительно низкого звания. Не простолюдинами, конечно, но представителями семейств, стоявших достаточно низко в феодальной иерархии. Это не могло не рассматриваться старой аристократией как скандальное поведение. В свою очередь, «собутельники» принца показали себя позднее хорошими администраторами и эффективными военачальниками, что, разумеется, было далеко не случайностью.

Не удивительно, что парламент легко доверял королю деньги: доходы казны удвоились за счет жесткого контроля над работой королевских представителей на местах, подавления коррупции и ликвидации феодальных синекур. Королевский флот, в промежутках между боевыми походами, совершал коммерческие рейсы, перевоза вино из Бордо. Благодаря частичному самофинансированию флота, Генриху удалось нарастить серьезную морскую мощь при сравнительно умеренных расходах, обеспечивая одновременно безопасное судоходство — в отличие от своих предшественников и последователей он вел жесткую борьбу с пиратством, не только иностранным, но и английским.

Современники отмечают глубокую религиозность Генриха V<sup>143</sup>. Его речи и письма поражают крайней религиозной экзальтацией. В то время как в переписке других государственных мужей и даже церковных деятелей мы встречаем лишь стандартные и достаточно формальные упоминания о Боге, тексты Генриха просто пестрят ссылками на Божественную волю и предопределение. Объяснить подобные высказыва-

<sup>143</sup> См.: П. Эйрл. Жизнь и эпоха Генриха V. СПб.: Евразия, 2003 (англ. изд.: P. Earle. The Life and Times of Henry V. London: Weidenfeld and Nicolson, 1972).



ния исключительно пропагандистскими задачами, которые решал этот, в остальных отношениях весьма прагматичный, монарх, невозможно, поскольку даже современникам религиозность короля казалась чрезмерной, своего рода «перебором» и, следовательно, не могла эффективно служить его пропагандистским целям. Как совместить христианский фатализм короля с его полководческой деятельностью, трезвым политическим расчетом и совсем не феодальной любовью к бухгалтерской отчетности? Все это совершенно не сочетается в образе средневекового монарха. Зато те же черты, в тех же пропорциях наблюдаются у деятелей английской и голландской революций полтора столетия спустя.

В канун битвы при Азенкуре, король поразил одного из своих соратников, жаловавшегося на то, что они не смогли взять с собой несколько дополнительных отрядов, ответом: если Бог решил дать англичанам победу, то он дал им ровно столько солдат, сколько для этого потребуется. «А те, что пришли сюда со мной, это Богом избранные люди, которых Он определил совершить это дело вместе со мной» (For these I have here with me are God's people, whom He designs to let me have at this time)<sup>144</sup>.

В отличие от Жанны д'Арк, чья религиозность была глубоко католическая и средневековая, Генрих предстает перед нами явным предшественником протестантизма.

Христианский фатализм Генриха несомненно сложился под влиянием идей Уиклифа. Это фатализм не средневековый, а по сути протестантский, точно соответствующий религиозно-философским воззрениям, которые спустя полтора столетия будут проповедовать Жан Кальвин и английские пуритане!

Образ дополняет подчеркнута скромная («не королевская», по мнению современников) манера одеваться, напоминающая одежду пуритан XVII века. Это выглядело очень странно на фоне изысканной «бургундской моды» аристократии того времени, но явно импонировало народу и буржуазии.

Есть глубокая историческая ирония в том, что ультраконсервативную Жанну д'Арк сожгли как еретичку, а Генрих, был признан Папой христианнейшим королем. Объяснение этого парадокса, впрочем, лежит не в тонкостях теологии, а в сфере реальной политики. Генрих был достаточно сильным дипломатом, чтобы учитывать интересы Церкви — как у себя дома, в Англии, так и в Риме. Эта политика даже привела его к конфликту с движением лоллардов, несмотря на то что их религиозные идеи оказали явное влияние на короля и его окружение.

Последователи оксфордского теолога Джона Уиклифа, получившие прозвище «лоллардов», имелись к началу XV века в самых разных слоях

<sup>144</sup> J. Barker. Agincourt. The King, the Campaign, the Battle. London: Abacus, 2006, p. 263.

английского общества, включая и придворную аристократию, но наибольшую поддержку его идеи нашли в городских средних слоях<sup>145</sup>. Пока реформаторские взгляды Уиклифа, который перевел Библию на английский язык и резко критиковал порядки, царившие в католической церкви, оставались темой для университетских дискуссий, официальные власти не обращали на его деятельность особого внимания. Когда в 1377 году Папа Григорий XI осудил оксфордского богослова, английское правительство взяло его под свою защиту. До 1378 года Уиклиф, пользовавшийся покровительством герцога Ланкастерского, заседал в Королевском совете. Даже после того, как он был изгнан из Оксфорда, где его проповеди привели к волнениям среди студентов, никто не мешал ему продолжать литературную деятельность в сельском приходе. Призывы Уиклифа к секуляризации церковного имущества вызывали явную симпатию в рядах королевской администрации, как и сто с небольшим лет спустя схожая пропаганда Мартина Лютера нашла понимание среди немецких князей. Однако когда в 1381 году страну охватило народное восстание, возглавленное Уотом Тайлером, обнаружилось, что массы воспринимали идеи Уиклифа по-своему, трактуя их, вслед за радикальным проповедником Джоном Боллом, как призыв к борьбе против феодального порядка и социального неравенства.

Сам Уиклиф дальше критики церковного феодализма не пошел, считая, что отношения между «господами» и «слугами» должны строиться на основе строгого выполнения взаимных обязанностей. Тем самым в лоллардизме, как позднее и среди богемских гуситов, сложилось «левое» и «право» крыло. Идеологию ланкастерской партии можно определить как своего рода «мягкий лоллардизм». Сочувствуя идее реформы, король и его окружение не только не шли на разрыв с Римом, но напротив, без колебаний принесли в жертву стабильности радикальных сторонников Уиклифа, когда те зашли слишком далеко. Эта типично бонапартистская тактика позволила Генриху, говоря современным политическим языком, опереться на «левых» в проведении реформ, преодолевая сопротивление консервативных сил, но не помешала ему нанести удар по радикалам, когда те представляли угрозу для его политики.

Разочаровавшись в короле, лолларды с наивностью, впоследствии свойственной многим другим ультралевым, организовали заговор, главными жертвами которого стали они сами. Неясно, как далеко они продвинулись в подготовке восстания. Однако правительство Генриха V было убеждено в серьезности заговора. Если до этого ланкастерская администрация отделялась от Рима отписками и обещанием крепить

<sup>145</sup> Ересь «лоллардов» распространилась в Англии и Нидерландах еще до появления книг Уиклифа, однако к концу XIV века в Англии она однозначно связывалась с его идеями.

веру, то теперь начались активные преследования религиозных радикалов. Некоторых казнили. Предполагаемый глава заговорщиков Уиллиам Клейдон (William Cleydon) был «захвачен, допрошен, законно приговорен к наказанию за ересь и сожжен в Лондоне»<sup>146</sup>. Многие были прощены. Однако в качестве политической партии в Англии долларды были разгромлены. Значительная часть последователей Уиклифа бежала в Чехию, где объединилась с учениками Яна Гуса.

Принц Гарри, взросление которого пришлось на короткое и бурное царствование своего отца, представлял уже не просто иное поколение, но и иную эпоху. Он прекрасно понял суть произошедших в стране перемен, осознав, что в конечном счете они выгодны для его власти: при условии, разумеется, что роль монарха тоже меняется. Молодой король, интуитивно или сознательно, начинает заниматься всем тем, что в последующую эпоху считается условием успешного управления: приводит в порядок финансы, разъясняет суть проводимой политики не только элитам, но и собственному народу, занимаясь политической пропагандой и формируя в массах позитивный образ справедливой власти. Нация отныне должна быть консолидирована вокруг короля, который становится понятен и доступен, а борьба с внешним врагом является необходимым условием для подъема национальных чувств. Такой враг был налицо — Франция<sup>147</sup>.

Антифранцузские настроения в народе подогревались постоянными пиратскими рейдами через Ла-Манш — вопреки позднему мифу, Англия отнюдь не была еще надежно защищена морями от вражеских вторжений. Британский флот практически не существовал, в проливе господствовали французские корабли, которые были настоящим бедствием для английских, а временами и фламандских купцов. Именно Генрих V делает первые шаги к созданию флота, который спустя 250 лет станет господствовать на мировых океанах.

Английские историки много спорили о том, что было бы, если Генрих V с его недюжинными административными способностями не пошел бы во Францию, а остался на родине. Однако этот вопрос не имеет смысла. Для Генриха война, как впоследствии и для Бонапарта, была необходимым элементом всего государственного проекта, условием консолидации нации и легитимации сложившегося режима.

<sup>146</sup> T. Walsingham. *Historia Anglicana*, vol. 2, p. 312.

<sup>147</sup> История Столетней войны полна пропагандистских версий обеих сторон. Однако английская пропаганда выглядит убедительнее, и отнюдь не потому, что она непременно более правдива. Просто пропагандистские версии, на которые опирались французские историки, создавались задним числом начиная с 1450-х годов, тогда как в Англии пропагандистская машина работала уже во время войны.

Вообще, чем внимательнее мы присматриваемся к ланкастерскому режиму, тем больше мы обнаруживаем сходство с бонапартистскими или цезаристскими режимами более позднего времени.

Новая война предлагала смену стратегии. От феодальной стратегии последних Плантагенетов Генрих V явно отказался. Возвращение семейных вотчин его мало интересовало. Боевые действия должны были подчиняться четкому плану, включавшему концентрацию сил, обеспечение тыла, стремление к разгрому основных сил противника (интересно, что в полном масштабе опыт Генриха V не был никем до Наполеона повторен).

Вместо отвоевания старых вотчин была поставлена новая задача: создание торговой державы на обоих берегах Ла-Манша. Для этого нужна была не Аквитания, а Нормандия. Этот подход сразу вызвал понимание не только у английской, но и у французской буржуазии. Английское сырье, фламандское производство и парижский рынок должны были соединиться.

Военные кампании Генриха V обернулись блистательными победами, затмившими все достижения Эдуарда III и «Черного принца». Кульминацией противостояния стала битва при Азенкуре, обернувшаяся настоящим избиением французской знати и рыцарства.

Под Азенкуром сошлись военные формирования по сути представлявшие две разные эпохи. С одной стороны — регулярная армия, с другой — аристократическое ополчение, феодальная рать. Шеститысячный отряд англичан легко одолел противника, имевшего по самым скромным подсчетам трехкратный численный перевес (впрочем, большинство источников, включая французских авторов, говорят о шестикратном превосходстве армии Валуа).

Зная о плачевных последствиях кавалерийских атак на строй английской пехоты, французские командиры спешили большую часть рыцарей, выстроив их в подобие македонской фаланги. Дело в том, что после Креси и Пуатье рыцарские доспехи были существенно модернизированы и их далеко не всегда могла пробить даже стрела английского «большого лука». Но слабым местом рыцаря становилась незащищенность коня. Лишь немногие могли позволить себе в дополнение к крайне дорогим латам заковать в такую же броню и лошадь. Решено было оставить в конном строю лишь тех, у кого кони были защищены, создав из них мощный бронированный кулак.

Спешенные рыцари шли вперед под градом стрел и уже не могли ни остановиться, ни тем более повернуть назад, поскольку на первую линию давила огромная масса сзади. Задние ряды напирала на передние, затаптывая в грязь падающих. Атака спешенных масс латников обернулась кровавым хаосом. Тяжелая конница, не сумев развернуть строй на узком пространстве и попав под обстрел, бежала с поля боя уже на

первом этапе сражения, хотя составлена она была из элиты французского рыцарства. Бегство оказалось наиболее правильным, с военной точки зрения, решением.

В разгар битвы небольшой французский отряд напал (скорее всего с целью грабежа) на английский обоз. Опасаясь, что находившиеся там же пленные французские аристократы могут быть освобождены, Генрих велел перебить их. Хотя английские рыцари отказались подчиниться подобному приказу, его выполнили солдаты из простонародья. В итоге Азенкур обернулся совершенным истреблением аристократии Северной Франции, сделав неизбежным широкомасштабный земельный передел, серьезно изменивший всю аграрную ситуацию.

Убийство пленных под Азенкуром вызвало всеобщее осуждение, однако на практике подобное постоянно случалось и раньше. Критика, которой подвергся Генрих V, говорит скорее о росте моральных требований к государю. Другое дело, что пленным принято было сохранять жизнь ради выкупа. Убийство пленника, неспособного заплатить выкуп было обычным делом, а Генрих отличился тем, что пожертвовал выкупом ради безопасности армии.

Катастрофа французского войска была столь масштабной, что некоторые историки просто отказывались верить в численное превосходство побежденных. Например, Ганс Дельбрюк, признавая, что «все источники сходятся на том, что французы были численно сильнее англичан», заявляет, что такого просто не могло быть<sup>148</sup>.

На самом деле именно избыточная численность французов предопределила беспрецедентные масштабы разгрома: зажатые на узком пространстве массы спешенных и конных рыцарей оказались неуправляемыми. Небольшая, но четко подчиняющаяся приказам и дисциплинированная армия Генриха V обратила численное превосходство противника себе на пользу.

Блестящие военные победы Генриха принесли закономерный результат — на него сделала ставку французская буржуазия Парижа и Нормандии. После убийства Бургундского герцога Иоанна Бесстрашного, которое произошло при явном попустительстве, если не личном участии, французского дофина Карла, политическая борьба во Франции резко обострилась. Бургундия, в орбиту влияния которой входили и города Фландрии, порвала с Валуа и официально приняла сторону Ланкастеров, авторитет правящей династии упал до минимального уровня, население боялось «своих» феодальных банд больше, чем иностранных войск. После того как армия Валуа, возглавляемая партией арманьяков (сторонников Орлеанского дома), была разгромлена под Азенкуром,

<sup>148</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 3, с. 293.

Генрих Ланкастерский многими во Франции воспринимался как единственная фигура, способная навести порядок в стране. Произшедший в Париже государственный переворот привел к власти сторонников Бургундской партии, которые вместе с королевой Изабеллой подготовили мирный договор в Труа (Troyes). Договор объявлял Генриха наследником французского престола и регентом королевства в связи с безумием царствовавшего монарха. Женидьба английского короля на французской принцессе Екатерине должна была объединить две соперничающие династии, а родившийся от этого брака Генрих VI выглядел вполне приемлемым наследником для французского престола. Как отмечает Перруа, Генрих Ланкастерский вступил в Париж «под приветственные крики горожан»<sup>149</sup>. Штаты Лангедойля (Северной Франции) с энтузиазмом поддержали договор. «Казалось, кошмар гражданской войны, свирепствовавшей тринадцать лет, и кошмар войны внешней, которая в последние пять лет добавилась к первой, окончательно рассеялся»<sup>150</sup>.

Этой идиллии, однако, дано было продолжаться недолго. Генрих умер, так и не дождавшись коронации в качестве официального монарха Франции.

Если Генрих V был политиком «пассивной революции», то его младший современник Иржи из Подебрад (Jiří z Poděbrady) обязан своим успехом настоящему революционному движению снизу.

Отец Иржи, Виктор из Подебрад, был одним из руководителей таборитов — радикального крыла гуситов, однако через некоторое время перешел в лагерь умеренных. Иржи быстро выдвинулся как военный лидер, член партии Чашников. В 14 лет он участвовал в сражении при Липанах (Lipany) в 1434 году, затем был гетманом милиции в восточных провинциях Богемии. После смерти Сигизмунда в Чехии начинается новое междоусобие. Когда под давлением католической партии новым королем был избран Альбрехт V Австрийский (по совместительству являвшийся Германским императором под именем Альбрехта II), Виктор и Иржи из Подебрад примкнули к оппозиции, добивавшейся избрания Казимира Польского.

После битвы при Липанах гуситская и отчасти даже католическая знать закрепила за собой собственность, захваченную в ходе кризиса, но положение победителей оставалось шатким и двусмысленным. Королевская власть была формально восстановлена, но ослабела настолько, что монарх не мог не только навязывать свою волю правящей элите, но и гарантировать соблюдения ее собственных интересов с помощью эффективной государственной машины.

<sup>149</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 307.

<sup>150</sup> Там же.

Смерть Альбрехта Габсбургского в 1439 году опрокинула планы тех, кто связывал с реставрацией монархии в Чехии надежду на консолидацию политической реакции. Борьба католической и гуситской партий возобновилась с новой силой. Эта борьба открыла Иржи из Подебрад путь к власти. Не имея 20 лет от роду, он уже занял видное место в среде чашников-утраквистов. Смерть Альбрехта вновь оставила Чехию без короля. Для поддержания внутреннего порядка страна была разделена на округа. Иржи из Подебрад был избран начальником Кралоувеградского округа, что позволило ему в 1444 году стать во главе утраквистской партии.

В 1448 году войска Иржи заняли Прагу, разогнав местную власть, которая находилась в руках католиков и умеренных чашников. Этот переворот сделал Иржи фактическим лидером страны, однако он не стал и на первых порах не пытался стать королем. С 1452 года он числился официальным правителем Чехии. Табор без восторга, но все же признал нового правителя и открыл ему ворота. Некоторое время спустя монархия была в очередной раз реставрирована. Склонный к компромиссам Подебрад согласился на воцарение Ладислава I (Ladislav).

Король-ребенок Ладислав Габсбург был избран на богемский престол в 1453 году, а Иржи из Подебрад оставался фактическим правителем страны в должности регента. Несмотря на появление в Праге законного короля, Иржи продолжал уверенно направлять политику государства. Очередной монарх прожил недолго. В 1457 году Ладислав скончался. После его смерти Чехия опять осталась без короля и в 1458 году созданный Иржи сейм избрал его королем. Аналогичным образом в соседней Венгрии был избран на престол Матиаш Корвин (Mátyás Corvin) из семьи Хуньяди (Hunyadi), тоже не принадлежавший к королевскому роду.

Когда Иржи наконец был коронован 2 марта 1458 года королем Богемии, он стал первым официальным лидером европейского Запада, не исповедовавшим католическую веру. Даже поддержанная Австрией католическая партия выразила лояльность новоизбранному королю, который обеспечил религиозную свободу в Чехии. Более серьезное сопротивление встретил Иржи в Моравии и Силезии.

Бонапартистский режим, установленный Иржи из Подебрад, связанный с восстановлением гуситской идеологии и укреплением центральной власти, опирающейся на пражских бюргеров, был, несмотря на явный сдвиг «влево», построен на компромиссах. Земельная аристократия воспринимала новую власть противоречиво. Администрация Иржи ей не нравилась, но во многом соответствовала ее потребностям. Новый режим был достаточно силен и эффективен, а главное имел легальный статус, позволявший узаконить результаты земельного передела, произошедшего в ходе революции.

«Великолепный администратор», по оценке чешского историка Йозефа Мацека, Иржи из Подебрад еще в молодости научился основам хозяйственного управления, занимаясь семейными делами в родовой вотчине на востоке Богемии<sup>151</sup>. Подобно Генриху V английскому и своему младшему современнику Генриху VII Тюдору, он был в равной степени рыцарем и хозяйственником: умея руководить войсками на поле боя, он ничуть не хуже разбирался с финансами и экономикой.

Была налажена работа налоговой системы, теперь государство могло опереться на постоянный приток средств в казну. Прекратилась порча монеты. Для помощи в решении хозяйственных вопросов ко двору пригласили советников из Германии и Италии. Судебная власть была упорядочена и начала исправно работать. Общественный порядок, отсутствие которого столь явно подрывало авторитет любой власти на протяжении предыдущих лет, был также восстановлен. Военные силы Чехии король реорганизовал на основе местных ополчений (ландфридов). Мирные соглашения были подписаны со всеми основными политическими и военными группировками. Долше всех колебался Табор. Но, как отмечает Й. Мацек, там возобладали «интересы консервативной буржуазии»<sup>152</sup>. Табор был уже совсем не тот, что при Яне Жижке и Прокопе Голем. Успешное экономическое развитие превратило бывший оплот плебейского коммунизма в «нормальный» буржуазный город, в котором развернулась острая борьба между противостоящими классами. Радикалы Табора в полном соответствии с логикой ультралевых заявляли, что не видят никакой разницы между католической партией Ульриха де Рожмберка (Ulrich de Rožmberk) и чешской национальной церковью Яна Рокицаны (Jan Rokycana), за которой стоял Иржи из Подебрад. Как бывало и в последующих конфликтах, подобная позиция привела ультралевых к самоизоляции и политическому краху. В 1452 году лидеры радикалов были арестованы самими таборитами и выданы Иржи, который заключил их тюрьму в своих родовых Подебрадах.

Фактическая власть в стране перешла к буржуазии и мелкопоместному дворянству. Из них формировалась новая администрация, причем назначаемые на государственные должности бюргеры автоматически становились дворянами. Однако в полном соответствии с марксистской теорией бонапартизма правительство Иржи постоянно балансировало между «правыми» и «левыми», стараясь задобрить знать, демонстративно учитывая ее интересы. Как отмечает американский историк, проводя свои реформы, Иржи постоянно заботился о том, чтобы «умиротворить своих противников и консолидировать поддержку своих союзников

<sup>151</sup> J. Macek. Histoire de la Bohême des origines à 1918, 1984, p. 129.

<sup>152</sup> Ibid., p. 126.



среди баронов»<sup>153</sup>. Как типичный лидер бонапартистского типа Иржи вынужден был балансировать между конфликтующими социальными силами, периодически вызывая недовольство дворянства, но удерживая под контролем демократические низы общества. Задача власти состояла в консолидации итогов гуситского движения — в том виде, в каком они устраивали средние слои тогдашнего общества — и с этой задачей король-еретик блестяще справился. Католической партии потребовалось полтора столетия, чтобы восстановить свое господство в Богемии, да и то произошло это уже в другую эпоху и в других социально-политических и экономических условиях. Успех короля Иржи зиждился на его умении находить компромисс буквально со всеми. Благодаря этому своему качеству, он не только умудрялся сохранять власть, несмотря на напор с разных сторон, но и заслужил почти единодушное одобрение историков разной политической ориентации. Консервативный Оскар Егер пишет про него как про лидера, который правил «выказывая разумную политическую сдержанность, и старался вновь соединить нацию»<sup>154</sup>. Он противопоставляет эффективность гуситского короля продажности и бездарности современных ему немецких правителей: «благодаря упорядочению своих финансов и прекрасно организованным военным силам он пользовался в продолжении всего своего царствования ролью третейского судьи среди бесконечных споров немецких городов и князей между собой»<sup>155</sup>. Чешский марксист Мацек характеризует его как «исключительно способного политика, который прекрасно понимал и возможности своей власти, и ее границы»<sup>156</sup>. Кембриджская история Средних веков превозносит Иржи из Подебрад как одного из самых передовых людей своего времени: «В плане образованности, его конечно не сравнить с таким знаменитым чешским королем как славный Карл IV или многими принцами того времени, особенно в Италии. Он не знал латыни и из иностранных языков владел только немецким. Но он обладал тем, чего у большинства наследных монархов его времени не было — талантом правителя и дипломата»<sup>157</sup>. Дружеские отношения, которые установились между еретиком Иржи и рядом католических правителей, имели «почти революционное значение» (almost revolutionary significance)<sup>158</sup>. Происходило разделение религиозного и политического, утверждался (задолго до Аугсбургского и Версальского мира) принцип

<sup>153</sup> J.M. Klassen. Op. cit., p. 142.

<sup>154</sup> О. Егер. Всемирная история. Т. 2, Средние века, с. 504.

<sup>155</sup> Там же, с. 505.

<sup>156</sup> J. Macek. Histoire de la Bohême des origines à 1918, 1984, p. 127.

<sup>157</sup> The Cambridge Medieval History, vol. VIII, p. 101.

<sup>158</sup> Ibid., p. 102.

государственного суверенитета. Политические партнеры Иржи внутри и вне Чехии вынуждены были признать, что религиозные различия не касаются «вопросов управления и администрации» (matters touching government and administration)<sup>159</sup>.

Однако при всем искусстве компромисса, присущем «гуситскому бонапарту», Иржи из Подебрад был вынужден воевать почти постоянно. Аристократическая оппозиция, возглавляемая Зденеком Штернберком (Zdenek de Šternberk), сформировала Зеленогорскую лигу (Ligue de Zelená Hora), которая начала сперва политическую, а потом и вооруженную борьбу против короля.

Быстро растущее влияние Иржи в германских и европейских делах заставляло его мечтать об императорской короне, но здесь непреодолимым препятствием оказывалась враждебность Рима. В течение некоторого времени богемскому королю удавалось успокаивать Папу разговорами о церковной унии между гуситами и католической церковью, регулярно откладывая выполнение своих обещаний ссылками на сложное внутривосточное положение. Однако эти дипломатические игры вызвали недовольство в рядах утравкистов, которые заставили короля в 1461 году принести торжественное обязательство сохранять гуситские обряды. Последовало новое обострение конфликта с Римом, но Иржи вновь выручила дипломатия: его поддержал император Фридрих III, находившийся с ним в союзе против венгров.

В 1461 году новый Папа, Павел II, после неудавшейся попытки возобновить переговоры отлучил чешского короля от церкви и организовал против него очередной Крестовый поход, который провалился, как и все предыдущие.

Отразив Крестовый поход и победив взбунтовавшихся аристократов (которых так и не удалось умиротворить уступками и подачками), Иржи в 1464 году обратился к королям Европы с пропагандистским предложением создать общеевропейскую христианскую конфедерацию. Этот образец откровенной политической демагогии (уж кто-кто, а реалист Иржи прекрасно знал, что подобный проект в конкретной обстановке того времени не имел ни малейших шансов на успех) позднее сделал его популярным среди идеологов Европейского союза, увидевших в нем своего предшественника. В проекте Иржи из Подебрад предусматривалось создание единых институтов власти, обсуждалось их функционирование, предлагалось принятие решений большинством участников Союза. Иными словами, за столетия до Европейского союза он предложил проект Конституции, причем куда более разумный, чем Лиссабонский договор, который, преодолевая сопротивление народов, в начале XXI века отстаивали западные правительства.

<sup>159</sup> Ibid.

Чешские войска разгромили крестоносцев, но теперь Иржи приходилось бороться и с Римом, и с императором, и даже со своим зятем венгерским королем Матиашем Корвином, который взошел на престол не без помощи чехов.

Политические процессы, развивавшиеся в Венгрии, во многом были схожи с тем, что происходило в соседней Богемии. Матиаш, принадлежавший, как и Иржи, к знатному, но не королевскому роду, проводил политику централизации, формировал государственный аппарат из среднего дворянства, горожан-бюргеров, зажиточных крестьян. Феодалные рекрутские наборы, проводимые аристократами, были заменены наемным национальным войском, сформировавшимся на регулярной основе, — «Черной армией». Была проведена и финансовая реформа, установлены единые правила сбора налогов. В 1465 году Матиаш Корвин основал в Братиславе Академию Истрополитану (*Academia Istropolitana*) — первый университет в Словакии.

Под предлогом исполнения папской воли венгерский король захватил большую часть Моравии и в Оломоуце провозгласил себя королем Богемии в 1469 году. Однако Иржи вновь удалось одержать верх с помощью дипломатии, призвав на помощь Польшу. Правда, ради этого ему пришлось провести через чешский сейм решение о том, что после его смерти престол Богемии будет унаследован польским королем. Династические интересы, похоже, не существовали для Иржи, он был уже политиком нового типа, куда более обеспокоенным партийными и национальными вопросами (и в этом смысле выгодно отличался не только от своих современников, но и от Наполеона Бонапарта, который упорно мечтал стать «настоящим» монархом и основателем династии). Матиаш Корвин был взят в плен и в 1469 году принужден подписать перемирие. Но в 1471 году Иржи из Подебрад умер, так и не завершив начатого дела. Двое его сыновей, Виктор и Гинек Мюнстербергские, впоследствии служили чешской короне в качестве рядовых подданных. Несмотря на все достигнутые успехи, он, подобно другому «бонапарту средневековья» Генриху V Ланкастерскому, оказался скорее неудачником — созданное им государство начало быстро разрушаться. В Венгрии после смерти Матиаша Корвина, как и в Чехии, начинается реакция: традиционная знать берет реванш, лишая нового короля Ладислава значительной части власти и даже денег на содержание армии.

И все же оценивать итоги гуситского движения как неудачу было бы грубой исторической ошибкой. Гуситские войны подготовили последующую Реформацию не только в идеологическом отношении, но и в плане коллективного социального опыта, на которые могли опираться действующие лица последующих буржуазных революций. Переигрывая по-новому все ту же драму, участники событий XVI и XVII веков

опирались на этот опыт, его уроки и достижения. Политические успехи европейской буржуазии на протяжении двух веков были подготовлены классовыми битвами позднего Средневековья, благодаря чему новый государственный и общественный порядок, с которым пришлось иметь дело поднимающемуся капитализму, уже не был в полной мере феодальным. В свою очередь, буржуазии удавалось, несмотря на повторяющиеся революционные кризисы, сохранять контроль над политическими процессами и массовыми движениями — вплоть до конца XVIII столетия, когда во Франции изменившееся и развившееся на новых основаниях общество пережило социальный взрыв такой силы, что восстановить систему классового господства удалось лишь с очень большим трудом.

### «ПАССИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ВО ФРАНЦИИ

Во Франции с середины XV века мы видим те же признаки пассивной революции и цезаристского режима, маневрирующего между феодальными и буржуазными интересами. Столкновение французской монархии с новым государством, сложившимся в Англии, ускорило становление единого национального и государственного сознания во Франции. Любопытно, что ровно то же, спустя четыре столетия, случилось в Центральной Европе после того, как туда пришли армии Наполеона. Однако модернизация государства происходила с большим трудом, причем скорее под давлением снизу, чем по инициативе сверху.

Королевская власть все больше оказывалась под влиянием аристократической партии «арманьяков», возглавляемой герцогами Орлеанского дома. Напротив, буржуазные слои Парижа и других городов сплотились вокруг Бургундской партии. Последняя, разумеется, не может рассматриваться как буржуазная или тем более народная, но политический выбор, сделанный бургундскими герцогами, превратил их на долгие годы в лояльных союзников городских движений, включая даже радикальные.

В 1413 году взбунтовались парижские ремесленники и торговцы, возглавляемые мясником Симоном Кабошем (*Simon Caboche*). Последовавшие за этим расправы над аристократами вызвали у английского историка Джанет Баркер живую аналогию с «насильственными действиями народных толп во время Великой французской революции» в 1790-х годах (*mob violence, which would be a hallmark of the French Revolution in the 1790s*)<sup>160</sup>. Восставшие требовали передачи власти Бургундской партии. Ворвавшись во дворец, они принудили короля вновь, как в 1358 году, надеть эмблему взбунтовавшейся черни, на сей раз — белый колпак. Еще одна сцена, по замечанию Баркер, «которая поразительно напоми-

<sup>160</sup> *J. Barker. Op. cit., p. 54.*

нает события 1790-х годов»<sup>161</sup>. Восстание Кабоша во многом напоминало ремейк выступления парижан под руководством Этьена Марселя, но на сей раз его продуктом был указ об административной реформе, подготовленный комиссией, одним из участников которой был Пьер Кошен, впоследствии обесславленный историками как предатель из-за своей роли в процессе Жанны д'Арк. Позднее этот документ многими воспринимался как первая попытка написать для Франции конституцию. Перруа оценивает его куда более скромно, замечая, что «речь шла только о реформировании администрации», и в целом в «кабошьенском» ордонансе «ничего революционного нет»<sup>162</sup>. По мнению историка, реформа, которой добивались парижане на сей раз была даже более умеренной, чем во времена Этьена Марселя. Однако и в таком виде она была неприемлема для аристократии, которая после нескольких недель волнений смогла вернуть власть, опираясь на умеренную часть буржуазии, напуганную эксцессами «бунта». После восстановления порядка последовали репрессии против Кабоша и его сторонников, многие из которых нашли спасение, укрывшись во фламандских городах, принадлежавших герцогу Бургундии, категорически отказывшемуся их выдавать.

Экономическое и культурное развитие Бургундии было достаточно динамичным, тем более, что под ее властью оказались торгово-промышленные центры Фландрии. Подобно Ланкастерам, бургундские герцоги стремились учитывать в своей политике интересы местной буржуазии, которая обеспечивала им стабильную финансовую базу.

В свою очередь, буржуазия Парижа и других городов Франции видела в Бургундии образец правильно управляемого государства, в противоположность французской монархии, находившейся в руках аристократических клик. Парижские буржуа прекрасно отдавали себе отчет в своих действиях, когда поддерживали бургундцев против арманьяков: за герцогом Бургундии стояли фламандские торговые города. Париж прочно стоял за бургундцев не только против арманьяков, но и позднее — против Жанны д'Арк. Когда после убийства арманьяками Иоанна Бесстрашного в 1419 году его наследник Филипп решил на открытое сотрудничество с англичанами, это решение было продиктовано не просто чувством мести и феодальными амбициями Бургундского герцогства. Города Фландрии, находившиеся под властью бургундцев, оказывали самое активное влияние на политику как английского, так и бургундского дворов.

Вплоть до 1420 года Бургундия, не участвуя реально в войне с Англией, формально сохраняла верность парижской династии Валуа. В ответ

<sup>161</sup> J. Barker. Op. cit., p. 54.

<sup>162</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 291.

на призыв французского короля многие бургундские рыцари пошли к Азенкуру, движимые, однако, не национальным чувством, а представлениями о феодальной чести (от которых отступил герцог, не явившись — во имя политической целесообразности). Рыцарей приняли — в их лояльности не сомневались. А парижское ополчение не пустило на поле боя, опасаясь, что оно ударит в спину рыцарям. «Чужие» Ланкастеры парижским буржуа были ближе, чем «свои» Орлеаны и Валуа. Но у Генриха не было плана воевать за интересы парижских буржуа. А Бургундцы подчинили все свои действия в конечном счете феодальному интересу. Потому социально-политическая коалиция, которая вручила английскому королю ключи от Парижа, оказалась в 1420–1430-е годы крайне нестабильной.

События 1420 года задним числом были интерпретированы как попытка завоевания Франции англичанами. Это вполне соответствует идеологической традиции позднейшего французского национализма, хотя во французской литературе XIX века можно найти и сетования по поводу упущенного в XV веке шанса на создание единого англо-французского государства, которое доминировало бы в Европе.

В действительности об объединении двух государств речь никогда не шла.

Добросовестные историки признают, что ни в один момент Столетней войны не вставал вопрос о присоединении Франции к Англии или создании единого англо-французского государства: «Для английских королей земли Плантагенетов всегда существовали отдельно от наследия Капетингов. Две короны должны были сосуществовать вместе, но не объединяться»<sup>163</sup>. Еще в самом начале войны Эдуард III вынужден был под давлением парламента издать статут 1340 года о раздельном существовании двух государств в случае, если ему удастся получить корону Франции. Беспокойство парламента было понятно, ведь объединение двух королевств могло грозить английским вольностям. Слияние Англии со все еще глубоко феодальной Францией означало бы потерю политических завоеваний буржуазии. В 1420 году после подписания мира в Труа парламента потребовал от Генриха V подтвердить этот статут, что и было сделано.

Генрих V, как и его предшественники, использовал свои претензии на французский престол как аргумент в политическом торге с династией Валуа. Максимум, на что он мог рассчитывать после сокрушительного разгрома французских армий в 1415 и 1417 годах, — это на установление личной унии между двумя королевствами. Такие унии возникали в

<sup>163</sup> Французский ежегодник 2008. Англия и Франция — соседи и конкуренты XIV–XIX вв. М.: URSS, 2008, с. 16.

истории неоднократно, но редко вели к реальному объединению государств<sup>164</sup>.

Вопреки позднейшей националистической пропаганде, речь не шла об исчезновении Франции с карты Европы. В рамках подписанного в 1420 году договора в Труа государственная самостоятельность французского королевства сохранялась. Страна неизбежно вновь обрела бы и собственного отдельного короля<sup>165</sup>. Вопрос, который оставался открытым в 1420-е годы состоял лишь в том, какая династия в конечном счете закрепилась бы в Париже: младшая ветвь Ланкастеров, Валуа или Бургундский дом?

Мирный договор, подписанный в Труа, принято представлять победой Англии, но при внимательном чтении его пунктов обнаруживается нечто совершенно иное. Провозгласив личную унию двух королевств, договор одновременно обязывал англичан вернуть Франции все завоеванные территории, включая Аквитанию. Законодательство и администрация французского королевства оставались неизменными — ни о каком слиянии государств речь не шла. Как заметил один из британских историков, «англо-французская ассоциация, предлагавшаяся Уинстоном Черчиллем в 1940 году, была более тесной, чем та, что предусматривалась договором в Труа»<sup>166</sup>.

Подписывая договор, Генрих V во имя династических интересов жертвовал интересами Англии. Объясняется ли это тем, что французы выиграли на дипломатическом поприще все, что проиграли на поле боя, или тем, что в английском короле феодальный лорд победил политика Нового времени, — нам остается только гадать.

Победитель при Азенкуре находился на вершине популярности и успеха и мог позволить себе многое, но рано или поздно английское общество должно было выразить недовольство. Генриху и его наследникам была нужна французская корона, а английской буржуазии наследство

<sup>164</sup> Можно привести примеры династических уний между Данией и Швецией, Испанией и Португалией, Австрией и Испанией, Люксембургом и Чехией, Венгрией и Чехией, Саксонией и Польшей, которые не завершились межгосударственной интеграцией. С другой стороны, унии между Кастилией и Арагоном, Австрией и Венгрией, Литвой и Польшей привели к созданию общего государства. Однако текст договора в Труа не оставляет никаких сомнений, что речь идет именно о первом варианте, поскольку не предусматривает создания каких-либо межгосударственных или надгосударственных «общих» органов.

<sup>165</sup> В этом плане показательна ситуация с Англо-Ганноверской унией XVIII века: после того как на британский трон взошла в 1837 году Виктория, королевство Ганновер, где корона передавалась по мужской линии, обрела собственного короля из младшей ветви той же династии.

<sup>166</sup> А. Берн. Битва при Азенкуре, с. 136 (англ. изд.: A. Burne. The Agincourt War, p. 144).

Плантагенетов было глубоко безразлично. Ей нужны были порты в Нормандии, безопасный морской путь через Ла-Манш и торговые ворота на континент. Ради этого купцы Лондона финансировали экспедиции Генриха. Вся предшествующая политика английских королей основывалась на принципе «обмена мира на территории». Отказ от претензий на французскую корону, гарантирующий Франции защиту от повторных английских вторжений, должен был компенсироваться передачей захваченных земель или хотя бы их части под английский суверенитет и прекращением пиратских набегов на английские портовые города с побережья Франции.

Учитывая, что официальные цели войны в Англии всеми признавались и не оспаривались, критиковать договор в Труа было невозможно. Генрих V формально достиг многолетней цели, ради которой велась война, выполнил ее идеологическую программу, но одновременно свел на нет ее экономические и политические результаты. Однако буржуазия выразила свое отношение к итогам войны вполне в своем духе: парламент, со своей стороны, свел к минимуму расходы на военные и политические дела во Франции, объясняя это тем, что французы сами должны финансировать свое новое правительство.

Король несомненно осознавал возникшую проблему. Этим объясняется явная противоречивость его высказываний и политики после Труа. Он настаивал на сохранении за собой и наследниками французской короны, но тут же говорил о возможности отказаться от нее ради Нормандии — и это в то время, когда английский гарнизон спокойно находился в Париже, а имени Жанны д'Арк никто еще не слышал. Нормандия была передана Генриху в пожизненное владение на правах апанажа как официальному наследнику французского престола. Однако для английских буржуа эта провинция представляла самостоятельный интерес и предстоящее возвращение ее под власть Франции не вызывало особого восторга.

Договор в Труа откровенно не выполнялся, и срывали его выполнение именно англичане: в Нормандии была сформирована собственная администрация, состоящая из местных французов, но неподконтрольная парижскому правительству того же Генриха! После смерти Генриха V передача Нормандии под власть Парижа откладывалась на неопределенный срок. Создавалась в Руане и собственная система образования, ориентированная на подготовку местных кадров. Для этой цели в 1432 году был основан университет в Каене (l'université de Caen), что вызвало открытое недовольство парижской администрации и столичного университета, который обычно выступал в качестве интеллектуальной и идеологической опоры Ланкастеров.

Договор в Труа имел еще один весьма странный раздел. Генрих V в качестве регента Франции и будущего короля *обязывался* продолжать



войну против лишённого прав на престол дофина Карла Валуа. Почему защита собственной должности и титула была зафиксирована договором не в виде права, а в виде обязанности Генриха? Почему вообще потребовалось вписывать в документ специальный параграф, требующий не прекращать войну против тех, кого сама же французская сторона отныне объявляла мятежниками? Ответ становится очевиден, если принять во внимание противоречие между династическими интересами Плантагенетов — Ланкастеров и «национальными интересами» Англии (точнее, интересами ее формирующейся буржуазии). Соблазн обменять Париж на Нормандию оставался до тех пор, пока сохранялась возможность мира между Генрихом V и дофином. Для того чтобы гарантировать территориальную целостность Франции, авторы договора в Труа стремились сделать такое соглашение невозможным, обрекая страну на продолжение войны.

Если Генрих V после Труа все меньше был уверен в поддержке Англии, то его противники отнюдь не похожи на патриотов Франции. Битву при Боже (Baugé) выиграли для французского дофина Карла шотландцы, а в Мо (Meaux) под знаменами дофина сражались — по утверждению английских историков — «прохвосты разных наций (scallywags of divers nations, English deserters, Scots, wild Irishmen), дезертиры-англичане, шотландцы, неистовые ирландцы»<sup>167</sup>. Напротив, в армии английского короля вместе с традиционными соратниками англичан, гасконцами, сражались бретонцы, пикардийцы, нормандцы и бургундцы.

Документы свидетельствуют, что уже при осаде Мо в 1422 году Генрих высказывался в том духе, что, заняв этот город, «счел бы свой моральный долг выполненным и мог бы примириться со сторонниками дофина на юге страны»<sup>168</sup>. Взятие Мо он воспринимал, по словам современников, как последний подвиг, необходимый для «завершения его дел» (conclusion of his labours)<sup>169</sup>. Однако против этого возражало его французское окружение.

В конечном счете цель воссоединения королевства была достигнута несколько иначе, чем предполагали создатели договора, — за счет изгнания англичан 30 лет спустя. Однако по большому счету это ничего не меняет. Суть договора в Труа такова, что данная цель была бы достигнута в любом случае. Кто бы ни победил, Валуа или Ланкастеры, Нормандию и Аквитанию англичанам пришлось бы эвакуировать. А отказ английской стороны от выполнения договора всегда оставался бы юридическим по-

<sup>167</sup> А. Берн. Битва при Азенкуре, с. 163 (англ. изд.: *A. Burne. The Agincourt War*, p. 170).

<sup>168</sup> Там же (англ. изд.: *Ibid.*).

<sup>169</sup> Там же (англ. изд.: *Ibid.*).

водом для возобновления войны в тот момент, который был наиболее для этого удобен. Договор в Труа оказался, возможно, первым великим триумфом французской дипломатии, который остался неоцененным лишь потому, что в последующий период идеологические приоритеты французского государства потребовали иной трактовки истории.

Несмотря на всю свою популярность, Генрих V начал испытывать серьезные финансовые затруднения сразу после подписания договора в Труа. Ему даже пришлось вернуться в Англию, оставив на континенте незавершенные дела, чтобы успокоить общественное мнение и восстановить отношения с парламентом. После его смерти герцог Бедфорд, ставший регентом в обоих королевствах, сталкиваясь с недостатком средств, должен был кормить свои войска за счет оккупированных французских территорий. Военные налоги на содержание армии приходилось собирать с французов, что, естественно, вызвало сопротивление. Здесь, в отличие от Англии, налоги не согласовывали с парламентом, зато и собирать их не удавалось. Армия, нерегулярно получавшая жалованье, все чаще прибегала к грабежам, дисциплина падала. Хуже того, не имея денег, Бедфорд вынужден был прибегнуть к традиционному феодальному способу «материального стимулирования», вознаграждая английских дворян за службу французскими землями. Это позволяло укрепить контроль над территорией, но вызывало новые конфликты.

Английские войска во Франции могли длительное время сравнительно небольшими силами сдерживать натиск французской армии. Однако денег катастрофически не хватало. Правительство вынуждено было прибегнуть к кредитам. «Английский бюджет не покрывал расходов, а парламент требовал своевременно возвращать все займы, — отмечает Лоуренс Джеймс (Lawrence James). — Никто не хотел давать займы короне в 1440-е годы, и было совершенно ясно, что кредиторы от войны устали. В 1446 году «богатые и достойные люди» в Нортгемптоншире жаловались на бедность, когда королевские комиссионеры обращались к ним с просьбой о займах. Некоторые даже отказывались выслушивать эти просьбы»<sup>170</sup>.

То, что Генрих V и французский престарелый король Карл VI Безумный умерли почти одновременно, причем оба неожиданно, создало патовую политическую ситуацию: на юге закрепился дофин Карл, а на севере — герцог Бедфорд. Владея Парижем и Реймсом, англичане демонстративно тянули с коронацией малолетнего Генриха VI в качестве короля Франции — многие в Лондоне надеялись завершить войну сделкой с дофином, обменяв объединение Нормандии с Англией на отказ от французской короны. Навязать такую сделку дофинистам было бы

<sup>170</sup> I. James. Warrior Race, p. 106.

не слишком трудно. Но в данном вопросе единства среди английских правящих кругов не было, буржуазные интересы вступали в противоречие с феодальными претензиями, а Бургундская партия в Париже не собиралась уступать арманьякам.

В военном отношении тоже сложилась патовая ситуация. У Бедфорда, почти не получавшего поддержки с родины, не было сил для наступления на юг, но попытка дофинистов двинуться на север с армией, главной ударной силой которой были шотландские союзники и итальянские наемники, закончилась для них очередной катастрофой в битве при Вернее (Verneuil).

Как отмечает Перруа, английская администрация в Нормандии получила поддержку со стороны духовенства и горожан. Если священники активно занимали бюрократические должности, то буржуазия была довольна, поскольку под властью Ланкастеров «началось процветание коммерции»<sup>171</sup>.

Старая аристократия бежала или была истреблена, но ее место быстро заняли новые феодальные собственники (иногда англичане, иногда французы, а к концу английского присутствия на первый план выдвинулась новая элита, состоявшая из англичан, женившихся на нормандках, и потомков смешанных браков).

Небогатые английские дворяне и буржуа активно приобретали земли в Нормандии. В Руане и других городах успешно ведущие дела англичане быстро переставали считаться «переселенцами» (*arrivistes*) и легко получали статус «горожан» (*lettres de la bourgeoisie*). Даже солдаты гарнизонов, которым это категорически запрещалось, начинали заниматься предпринимательской деятельностью, скупая недвижимость. При этом англичане смешивались с французами и быстро ассимилировались. «Вплоть до 1450 г. большинство английских держателей в Нормандии и не помышляло о возвращении на родину. Самым надежным способом интегрироваться в местное сообщество оказался брак. Многие предпочли остаться во Франции и после 1450 г., присягнув на верность Карлу VII»<sup>172</sup>.

Ситуация в деревне была более сложной. Начало XV века оказалось для французского крестьянства вполне благополучным временем. Английские захваты не сопровождались разорением затронутых войной провинций. Истребление старой феодальной знати при Азенкуре и в ходе последующих кампаний, фактически делало крестьян хозяевами положения на местах. Как отмечает английский историк Колин Моерс (Colin Mooers), «во многих провинциях Франции сельские общины получили статус корпораций и право контролировать общественные

<sup>171</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с 316.

<sup>172</sup> Французский ежегодник 2008, с. 23.

земли, на которые они давно претендовали»<sup>173</sup>. Таким образом, для значительной части крестьянства вторая половина Столетней войны была «периодом безусловного процветания и экономического прогресса» (a period of significant prosperity and economic advance)<sup>174</sup>. Однако прежние аристократические вотчины на севере страны постепенно переходили в собственность английских рыцарей и городских буржуа, которые стремились получить от своего нового имущества максимальную выгоду. Ответом на это были многочисленные бунты в «Ланкастерской Франции», которые представляли собой отнюдь не патриотическую борьбу против иностранных оккупантов, как позднее писали националистические историки, а социальное сопротивление попыткам новых хозяев навести в деревне свои порядки. Смена владельцев в перспективе вела не к ослаблению, а к усилению гнета. В традиционной феодальной вотчине большая часть прибавочного продукта сосредоточивалась при дворе крупного феодала, а мелкие кормились не только за счет крестьян, но и за его счет, примыкая к свите сюзерена, неся его службу, пристраиваясь при его дворе. Исчезновение крупных феодальных доменов вело к тому, что собственники поместий вынуждены были содержать себя сами, а если хозяевами оказывались буржуа, то феодальную ренту все чаще требовали выплачивать в натуральной форме. Только теперь смысл ее был не в том, чтобы прокормить владельца имения с его семьей и свитой, а в том, чтобы поставить имеющие спрос товары на рынок.

По сути ланкастерская администрация в Нормандии не имела выбора. Опираясь на поддержку городов, она оказалась заложником объективного противоречия между интересами городской буржуазии и крестьянства. Буржуа получили от англичан то, чего не могли получить от французского правительства, — эффективную, поддерживающую ремесло и торговлю администрацию, которая была еще и дешевой. Но даже дешевую администрацию надо было содержать. Чем больше королевская администрация искала поддержки буржуа, тем больше она вынуждена была перекладывать финансовые тяготы на село, где и без того обострялась борьба между крестьянами и собственниками поместий<sup>175</sup>.

<sup>173</sup> C. Mooers. *The Making of Bourgeois Europe. Absolutism, Revolution, and the Rise of Capitalism in England, France and Germany*. London: Verso, 1991, p. 47.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Пытаясь совместить «национальную» интерпретацию событий с присущим советским историкам требованием «социальности», Басовская пишет: «Превращая феодальная верхушка... глубоко скомпрометировала себя многочисленными компромиссами с захватчиками. К тому же пробудившееся и окрепшее за время долгой войны чувство патриотизма было чуждо французским рыцарям. Его основными носителями были горожане и крестьянство» (*Н. Басовская*. Цит. соч., с. 319). Между тем источники демонстрируют совершенно противоположную картину. Именно буржуазия городов выступает то в роли

Выступления крестьян против землевладельцев было бы очень легко представить в виде патриотического партизанского движения, если бы не аналогичные выступления, периодически вспыхивающие и на французской территории, да и в самой Англии. Тот факт, что значительная часть землевладельцев была иностранного происхождения, возможно, играл определенную роль, возрастающую с течением времени. Также выступлениями «патриотов» считаются набеги феодальных банд, пытавшихся вернуть утраченную собственность или отомстить за ее потерю. Беда в том, что цели этих банд были *прямо противоположны* целям сельских выступлений. По едкому замечанию Перруа, «крестьян их приближение пугало не меньше, чем английские гарнизоны»<sup>176</sup>.

Между тем у Карла Валуа, избравшего в качестве столицы город Бурж, имелось серьезное преимущество — у него было больше денег. В руках дофинистов оставались наименее пострадавшие от войны южные провинции. Соотношение доходов между «Буржским королевством» и «Ланкастерской Францией» было явно не в пользу последней. По оценке Перруа, поступление средств в казну Карла VII «в целых пять-шесть раз превышало сумму, которую мог рассчитывать собрать в своих доменах Бедфорд»<sup>177</sup>. Даже не в самые удачные годы на 100 или 200 тысяч ливров, полученных ланкастерской администрацией, Валуа получали не менее 500 тысяч. Если потребовалось не менее четверти века, чтобы этот разрыв в финансовых возможностях сказался на ходе войны, то лишь потому, что в Буржском королевстве принято было разворовывать и растрачивать казенные деньги вместо того, чтобы использовать их — по образцу Англии — на создание регулярной армии и эффективной администрации.

Историческая традиция представляет Карла VII как правителя безвольного, слабохарактерного и апатичного, но одновременно коварного. Однако, странным образом, именно этот король оказался одним из самых успешных монархов в истории Франции. Почти все его начинания

---

сторонников компромисса, то в качестве прямого союзника англичан, причем происходит это при явном сочувствии городских низов. Крестьянство сопротивляется феодальному гнету, независимо от того, кем являются угнетатели по происхождению — англичанами или французами. К тому же город и деревня не только не составляют единого «народного» целого, но то и дело оказываются в конфликте друг с другом. Напротив, феодальная знать упорно сохраняет верность династии Валуа, но в силу своей непопулярности и неэффективности терпит одно поражение за другим, пока, наконец, сама королевская власть при Карле VII не идет на компромисс с буржуазией за счет своих феодальных союзников. Этот поворот внутриполитического курса предопределяет и перелом в военно-политической борьбе: Франция начинает выигрывать.

<sup>176</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с 317.

<sup>177</sup> Там же, с. 333.

завершались успехом, в годы его царствования страна была объединена и вернулась на арену европейской политики в качестве ведущей державы, экономика восстанавливалась, а его кадровая политика вызывала восхищение у современников: недаром еще при жизни он получил прозвище «Карл, которому хорошо служат» (Charles le Bien Servi)<sup>178</sup>.

Недовольство историков и, возможно, недоумение многих современников король заслужил тем, что его поведение совершенно не соответствовало модному в XV и возрожденному в XIX веке рыцарскому идеалу, зато удивительным образом вписывалось в образ эффективно-го администратора, государственного чиновника и политика, которому предстояло сформироваться в более позднюю эпоху. Карл обладал замечательным талантом — находить наиболее удачный момент для того, чтобы действовать, и редким умением выжидать, подолгу готовить удар, бездействовать тогда, когда преждевременная инициатива могла бы нанести ущерб делу.

Он сумел угадать шанс, представившийся ему с появлением при дворе фанатичной Жанны д'Арк, и сумел избавиться от нее в тот момент, когда Дева начала представлять опасность. Он легко дал убедить себя начать поход на Реймс, но не позволил втянуть себя в новую наступательную кампанию, которую Жанна д'Арк и ее соратники затевали после успехов под Орлеаном, Пате и Реймсом.

Жанна д'Арк в военном отношении была не самым успешным из французских военных или политических лидеров. И не она первая из французов смогла нанести поражение англичанам. Под Орлеаном осаждавшие город английские отряды еще до появления войск Жанны по численности и вооружению серьезно уступали оборонявшимся и только огромный моральный перевес объясняет то, что при таком соотношении сил они вообще могли вести наступательные действия. В тот момент, порой, достаточно было одного лишь боевого клича англичан, чтобы обратить в бегство французские отряды. При подобных обстоятельствах принципиально важно для Карла VII было поднять боевой дух войск. И молодая героиня оказалась идеальным инструментом пропаганды. Ее появление знаменует определенный психологический и культурный перелом в ходе войны. Как заметил российский историк Вадим Устинов, она выступала «не в роли военного лидера, но своего рода талисмана, поднимавшего боевой дух войск, помогавшего вербовать сторонников и получать финансирование»<sup>179</sup>.

Тем не менее организованный Жанной поход на Реймс в стратегическом плане действительно был блестящим решением. Политически, ко-

<sup>178</sup> См.: Там же, с. 381.

<sup>179</sup> В. Устинов. Цит. соч., с. 218.

ронация в Реймсе обеспечивала легитимацию Карла, который до этого был только непризнанным дофином. Одновременно, двигаясь в этом направлении, войска буржского короля, наносили удар в стык между позициями англичан и бургундцев, вбивая клин между ними. Наконец они овладевали богатыми торговыми городами Шампани.

В этих городах не было английских гарнизонов либо присутствие англичан было совершенно символическим. Сам этот факт свидетельствует о том, насколько высока была поддержка администрации Ланкастеров в торговых центрах Северной Франции. Однако будучи лояльными подданными Генриха VI и Бедфорда, мирные горожане Шампани отнюдь не готовы были ради них подвергаться ужасам осад и штурмов, а потому безропотно открывали ворота армии Карла VII.

Увы, поход на Реймс знаменовал не только начало восхождения Карла VII к власти во Франции, но и начало конца для Жанны д'Арк. Если Дева и окружающие ее капитаны склонны были приписывать достигнутые успехи собственной военной доблести, то король прекрасно понимал, что победы стали возможны благодаря тому, что англичане оказались застигнуты врасплох. Теперь, когда прошел первый шок, вызванный поражением под Орлеаном и случайной неудачей при Пате (Pateau), военно-административная машина Ланкастерской Франции будет вновь отмобилизована. После Вернея король прекрасно понимал, что имеющиеся у него войска просто неспособны разбить англичан в полевой битве, а стратегически у него нет никаких шансов выиграть войну пока не разрушен англо-бургундский союз. Атаки французских капитанов против бургундских войск и замков отнюдь не способствовали примирению с герцогом. Совершенно ясно, что наступательная политика, за которую ратовала Дева после похода на Реймс, должна была бы закончиться для французов вторым Вернеем. О том, что представляли собой военачальники из окружения Орлеанской Девы, можно судить по их дальнейшей карьере. Не только никто из них впоследствии не прославился блестящими победами, но значительная часть из них возглавила банды «живодеров», разбойные отряды, действовавшие не столько против англичан, сколько против собственных соотечественников: «опустошали деревни, жили за счет населения, грабили крестьян, завладевая их жалкими сбережениями»<sup>180</sup>. Некоторые окончили жизнь на эшафоте. Уже летом 1431 года французские войска терпят одно поражение за другим, сдавая занятые ими позиции в Шампани, а в 1432 году толпа руанских горожан буквально растерзала французских диверсантов, пробравшихся в городскую цитадель.

Когда войска Жанны д'Арк подошли к Парижу, где почти не было английских войск, горожане не выразили по этому поводу никакого вос-

<sup>180</sup> История мира. Средние века. М.: Белфакс, 2000, с. 486 (фр. изд.: L'Histoire du monde. Le Moyen Age. P.: Larousse, 1994).

торга. Осада столицы была отражена силами местных сторонников Бургундской партии, которые склонны были видеть в Орлеанской Деве не освободительницу, а ведьму.

Между тем, не ограничиваясь планами взятия Парижа, Жанна д'Арк уже мечтала о новом Крестовом походе против чешских гуситов. Она обратилась к жителям Богемии с высокомерным посланием, требуя сложить оружие, подчиниться законной власти и Церкви, в противном случае, «грозя пойти на них войной со своей армией»<sup>181</sup>. Заинтересованность Орлеанской Девы событиями, происходившими в далекой Богемии объясняется далеко не только ее религиозным фанатизмом и политическим консерватизмом. В самой Франции, особенно на севере страны и во Фландрии, широко распространялись бюргерские и плебейские ереси, источником которых были идеи Яна Гуса и Джона Уиклифа. Эти идеи буржуазной и демократической реформы и были как раз тем «дьявольским злом», против которого в конечном счете сражалось феодальное войско Орлеанской Девы.

После неудачи под Парижем, когда бургундский гарнизон и городское ополчение практически без помощи англичан с легкостью отбросили от стен города возглавляемое Жанной войско, Карл VII сделал все возможное, чтобы избавиться от Девы, которая в роли мученицы была теперь для Франции куда полезнее, чем в роли военного лидера. И не удивительно, что он не предпринял ничего для ее спасения, когда она попала в плен и была отдана под суд в Руане. Зато впоследствии им были затрачены изрядные усилия, чтобы в ходе реабилитационного процесса создать эффектную легенду, ставшую одним из ключевых национальных мифов Франции.

Захватив Деву, бургундцы передали ее англичанам. Но судили и сожгли Деву все же не англичане, а представители нормандской администрации. В ходе длительного судебного процесса решающую роль играли местные функционеры. Задним числом участники процесса были представлены прислужниками англичан и предателями Франции. Особенно мрачной предстает в этой традиции фигура епископа Пьера Кошона (Pierre Cauchon), политического реформатора и активного деятеля Бургундской партии. Но с точки зрения их собственной логики, они были защитниками законной власти и руководствовались французскими законами — церковными и светскими.

Миф о Жанне был в значительной мере создан уже после окончания войны, в 1450-е годы, когда окрепшему французскому государству нужна была собственная идеология. Именно тогда проводится повторный — реабилитационный — процесс Жанны д'Арк, призванный установить

<sup>181</sup> J. Macek. Histoire de la Bohême des origines à 1918, p. 108.



новую, идеологически корректную версию событий. Характерно, что те самые государственные мужи, которые с полным равнодушием наблюдали гибель Девы в 1431 году, теперь проявляют изрядную активность, добиваясь, чтобы ее посмертно не только оправдали, а при возможности и причислили к лику святых.

Создатели мифа об Орлеанской девственнице не только добились своих целей, но в известном смысле переусердствовали. В тени Жанны потерялись остальные деятели той эпохи, включая самого Карла VII. Если про Орлеанскую Деву написаны сотни исторических книг и художественных произведений, то имя французского короля, выигравшего Столетнюю войну, вспоминается с трудом. А про кеннетабля Артура Ришмона (Arthur de Richemont), создавшего новую французскую армию и изгнавшего англичан из Нормандии, вообще мало кто знает. В конечном счете, Карл VII предстал перед потомками не блестящим администратором, успешным реформатором, дипломатом и эффективным политиком, каковым он, безусловно, был, а трусом и предателем, косвенным виновником трагической гибели национальной героини. Незамеченной осталась и роль других деятелей той эпохи, например, братьев Жана и Гаспара Бюро (Jean and Gaspard Bureau), которым Франция обязана победами, действительно решающих боях 1440–1450-х годов, создателей самой передовой для своей эпохи артиллерии.

В соответствии с мифологической интерпретацией истории победы французов объяснялись не реформой армии и администрации, планомерно осуществлявшейся королем и его окружением после провала авантюры Жанны д'Арк, не социальными изменениями в обеих воюющих странах, а «национальным духом». Это сыграло весьма плачевную роль во второй половине XIX и в начале XX века, когда националистическая истерия достигла своего пика. Французские генералы, верные консервативной традиции, искренне думали, будто сражения выигрывают не за счет превосходства в тактике и организации, а за счет «*élan vitale*», боевого духа, заботясь о его поддержании больше, нежели о тактике, снабжении и подготовке войск.

Поскольку, с одной стороны, все же было понятно, что возникновение французского государства не могло быть делом одной лишь Жанны, а с другой стороны, в новой исторической мифологии Карлу VII отводилась в основном негативная роль, то все хвалы достались Людовику XI, завершившему процесс, начатый его отцом.

Миф о Жанне, в основу которого легли материалы «реабилитационного» процесса (такого же, в сущности, если не более тенденциозного, чем прежний, «обвинительный»), превратился в одну из идеологических основ консервативного национализма. Парадоксальным образом, героиня, погибшая на костре по приговору священников, стала, благодаря

своей мистической средневековой религиозности, одним из символов официального католицизма во Франции. Радикальное крыло буржуазии в Жанне д'Арк не нуждалось, создавая собственную традицию гражданского патриотизма. Вольтер даже предпринял попытку деконструкции этого мифа, написав сатирическую поэму «Орлеанская девственница». Зато образ Жанны д'Арк занял центральное место в пропаганде режима Виши во время Второй мировой войны и в идеологии крайне правого Национального фронта к концу XX века. По мере того как националистическая трактовка истории Франции все больше ставилась под сомнение, усиливалась и критика официальной версии биографии Орлеанской Девы. Дошло до того, что даже сведения о процессе и сожжении Жанны стали вызывать недоверие. Так, например, Вадим Устинов считает историю Жанны д'Арк «лишь красивой легендой»<sup>182</sup>. Тем более, что легенда о человеке из народа, спасающем страну и короля, возникла еще до появления Жанны при дворе дофина<sup>183</sup>. В связи с этим Устинов категорически отрицает версию о крестьянском происхождении девушки, считая ее незаконнорожденной дочерью герцога Луи Орлеанского (что объясняет и легкость, с которой она получила доступ ко двору, и ее связь с Орлеанской партией). Устинов и ряд других историков ставят под сомнение даже факт сожжения Жанны в Руане, утверждая, что героиня французских легенд благополучно закончила свою жизнь в качестве замужней дамы в замке Жольни в 1449 году, после чего и был инициирован процесс ее реабилитации, из материалов которого сложилась национальная легенда<sup>184</sup>.

С точки зрения Устинова, Жанна д'Арк была, говоря современным языком, своего рода «пиар-проектом» Карла VII и его окружения, причем проектом на редкость удачным, перекрывшим (на столетия!) все успехи английской пропаганды. Но даже если отказаться следовать подобным Устинову радикальным критикам «Орлеанской легенды», очевидно, что официальная версия, построенная практически исключительно на данных реабилитационного процесса, несет в себе мощнейшую идеологическую нагрузку и сконструирована сознательно. Единственное, чего не учли Карл VII и его окружение, это масштабов влияния их собственной пропаганды на будущие поколения французов.

<sup>182</sup> В. Устинов. Цит. соч., с. 3.

<sup>183</sup> Забавно, что Н. Басовская, полностью принимающая националистическую версию истории Жанны д'Арк, сама же признает, насколько она соответствует заранее существовавшей идеологической конструкции. Ссылаясь на «Хронику первых четырех Валуа», она сообщает, что «за семьдесят с лишним лет до Жанны д'Арк родилась идея избрания Богом для спасения Франции человека из народа» (Н. Басовская. Цит. соч., с. 323).

<sup>184</sup> См.: В. Устинов. Цит. соч., с. 220.

Подавляющее большинство изданных в России обзорных книг по французской истории повествование о Столетней войне завершает эпопеей Жанны д'Арк. После рассказа о том, как она была сожжена в Руане, авторы ограничиваются несколькими абзацами, а то и фразами, сообщая читателю, что вслед за тем англичане потерпели новые поражения, бургундцы в 1435 году перешли на сторону Карла VII, и в 1450-е годы война закончилась победой Франции. Так, советская двухтомная «История Средних веков» сводит всю информацию об этом периоде к двум фразам: «Дела англичан шли с каждым днем все хуже. Они терпели одну неудачу за другой»<sup>185</sup>.

Бросается в глаза, что этими несколькими сухими фразами покрывается эпоха в два десятилетия. Для сравнения, вся история Генриха V от высадки в Нормандии до его смерти в Венсенском замке занимает 7 лет, эпопея Жанны д'Арк — вообще два года<sup>186</sup>. Зато авторы «Истории Средних веков» посвятили целых две страницы рассказу о «патриотической партизанской войне», которой попросту не было — в эту повесть искусственным образом объединены разрозненные свидетельства о самых разных событиях (от крестьянских антифеодальных выступлений до разбойных действий банд английских дезертиров). В качестве источника авторы монографии ссылаются на «целый поток патриотической литературы — художественных произведений, политических трактатов и произведений других литературных жанров»<sup>187</sup>.

<sup>185</sup> История Средних веков, т. 1, с. 343.

<sup>186</sup> В качестве типичного примера можно сослаться на классический трехтомный труд советского времени: История Франции в трех томах. Под ред. А.З. Манфреда. М.: Наука, 1973, т. 1 (фр. пер.: Histoire de la France. Des origins à 1789. Ed. du Progrès, Moscou, 1978, p. 204–205). История Жанны д'Арк занимает здесь 9 с лишним страниц, а весь последующий период меньше одной страницы. Несмотря на то что советские авторы в соответствии с общей идеологической установкой обязаны были уделять достаточно большое внимание классовой борьбе, восстанию Кабоша посвящено лишь несколько строчек, причем ни слова не сказано о связи между парижскими ремесленниками и Бургундской партией. Более того, народные выступления, происходившие в ходе Столетней войны в Англии и Франции, никак не связываются с событиями этой войны, как будто они происходили на другой планете. Социальные выступления, имевшие место на территории занятой англичанами, представляются как национально-освободительные, аналогичные события на французской территории просто игнорируются. Подобные «провалы» в анализе типичны для исторической школы советского сталинизма, полностью разделявшего «классовую» и «национальную» историю. Национальное начало считалось настолько священным, что всякая мысль о классовой опосредованности национальных чувств выглядела — как и для буржуазно-националистической историографии — кощунственной.

<sup>187</sup> История Средних веков, т. 1, с. 342.

Если французская националистическая традиция (за которой следовали советские историки) представляет каждый феодальный отряд, грабивший купцов на дорогах, партизанами-патриотами, а такой же английский отряд «оккупантами», то английские авторы с удовольствием приводят примеры того, как французское население требовало «избавить страну от засилья дофинистов» (to rid the land of Dauphinist dominance) и обращалось к англичанам с просьбами уничтожить банды, которые терроризировали сельское население (which terrorized the countryside)<sup>188</sup>.

Серьезное понимание исторических событий требует анализировать не эмоции, а интересы. Национальная традиция воспринимает «народ» и «население» как единое целое, иногда исключая из него «эгоистические элиты» (но отнюдь не правящий класс как таковой). Между тем в реальности народ разделен на группы, классы и сословия, преследующие весьма разные (зачастую — противоположные) цели.

Национальное государство отличается от традиционной феодальной державы или империи не «чувствами» подданных, а системой институтов (общее законодательство и политическое представительство, единый внутренний рынок, унифицированная школа, регулярная армия, централизованная бюрократия и т.д.). Ничего этого не только не было во Франции времен Столетней войны, но не было и в политической программе первых Валуа. Иное дело — Англия, где первые элементы подобного государства начали формироваться со времен Симона де Монфора. В этом плане столкновение двух стран оказалось принципиально важным именно для дальнейшей судьбы Франции. На первом этапе мы видим, как Плантагенеты пытались использовать возможности формирующегося (но не сложившегося еще) английского национального государства в качестве инструмента для феодальной борьбы внутри Франции. Эта война, сопровождавшаяся разорением села и обогащением городов, массовым истреблением французского правящего сословия и ростом соперничества среди высшей аристократии, создала новую социальную ситуацию, смысл которой первоначально не был осознан ни одной из борющихся сторон. Однако военные поражения подтолкнули Валуа к тому, чтобы повнимательнее присмотреться к опыту соседнего государства и начать его перенимать. На первых порах механически пытались копировать военную тактику, что вело к катастрофическим последствиям. Бюрократическая структура государства, складывавшаяся при последних Капетингах и первых Валуа, не выдержала испытаний войны и потрясений XIV века. К началу следующего столетия распад государства во Франции был налицо, что и породило стремление значительной части общества найти спасение под покровительством Ланка-

<sup>188</sup> А. Берн. Цит. соч., с. 163 (A. Burne. Op. cit., p. 169).

стерской династии. И хотя политика Ланкастеров в конечном счете потерпела поражение, их присутствие в Париже оказало немалое влияние на развитие страны. Не случайно почти все фигуры, сыгравшие решающую роль в возрождении государственного порядка Франции при Карле VII, начинали свою карьеру в административных и военных структурах, созданных Ланкастерами. К концу войны во Франции начинает сказываться влияние английской военно-политической, а затем и социальной организации. Именно это и обеспечивает решающий перелом. Домен Валуа начинает превращаться в бюрократическую монархию.

Если на первых порах поход во Францию представлял собой скорее интервенцию в ходе бушевавшей там гражданской войны, то после смерти Генриха V английское присутствие в стране все больше принимало характер оккупации, по крайней мере в сельской местности. Это ускорило деморализацию и распад изначально однородной Бургундской партии.

Изгнание англичан из Франции было обеспечено не победами Жан-ны д'Арк, а дипломатией и реформами, проведенными правительством Карла VII. Договор 1435 года в Аррасе между бургундцами и французской короной обеспечил прекращение англо-бургундского союза ценой очень серьезных уступок со стороны короля. Мало того, что Карл VII принес покаяние за убийство Иоанна Бесстрашного и обещал наказать виновных, он уступил герцогу ряд земель и города на Сомме (которые, впрочем, имел потом право выкупить за 400 тысяч экю). Однако еще важнее было примирение Валуа с буржуазной частью Бургундской партии, которая контролировала столицу страны и ряд других городов.

В 1436 году бургундский военачальник Жан Вилье де Лиль-Адан (Jean de Villiers de l'Isle-Adam) занял Париж и передал его под власть французского короля. Английский гарнизон без боя покинул столицу «под свист тех самых горожан, которые когда-то с радостью приняли его»<sup>189</sup>. После ухода англичан из Парижа активные военные действия на какое-то время практически прекращаются. За англичанами остаются Нормандия и Аквитания, что в целом и соответствовало их изначальному плану.

На протяжении второй половины 1430-х годов английские войска одержали целый ряд серьезных побед над неприятелем и даже, несмотря на разрыв с бургундцами, периодически умудрялись расширять контролируемую ими территорию. Их отряды беспрепятственно подходили к пригородам французской столицы. Затяжной характер войны, продолжавшейся 14 лет даже после разрыва англо-бургундского союза, связан с тем, что боеспособность французов оставалась значительно ниже, чем у их противника.

<sup>189</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с 378.

Однако компромисс между Валуа и Бургундской партией означал для исхода войны куда больше, чем любые выигранные сражения. Он представлял собой не только соглашение Карла VII с Бургундским герцогом, но и знаменовал окончательное поражение Арманьяков во внутривосточной борьбе. Карл сделал ставку на буржуазную часть Бургундской партии. Не победы французов на поле боя привели к переходу кадров от Ланкастеров к Валуа, а наоборот, переход кадров predetermined переходом в борьбе двух династий.

Во время как Ланкастерский режим в Англии слабел, подтачиваемый феодальными распрями и финансовыми затруднениями, во Франции происходили реформы, призванные не только изменить систему управления, но и расширить социальную базу королевской власти. Казначеем короля становится Жак Кер — простолюдин, сын скорняка из Буржа, инициировавший создание первой шелковой мануфактуры. Жак Кер оказался родоначальником целой традиции — за ним идет длинная череда французских буржуа, создававших свой капитал и добивавшихся влияния путем сотрудничества с казной, которую они систематически субсидировали, но также систематически и обворовывали. Добившись дворянского титула от Карла VII, он становится полноценным членом правящего сословия, тем самым закладывая основу двухвековой практики интеграции финансовой элиты в феодальную верхушку. В отличие от английской модели, основанной на жесткой отчетности и прозрачности, французский абсолютизм был готов отдать свои финансовые дела в руки представителей буржуазии, но не путем создания представительных институтов, а на основе частного сговора между двором и конкретными предпринимателями. Эта система, просуществовавшая практически до Великой французской революции, predetermined стремительное восхождение целого ряда талантливых, но порой нечистых на руку финансистов, достигавших не только богатства, но власти и славы. Однако эти истории систематически заканчивались таким же стремительным и катастрофическим падением, поскольку за спиной этих финансовых гениев (в отличие от их более умеренных английских коллег) не стояло консолидированной поддержки буржуазного класса в целом. Жак Кер был первым, проделавшим этот путь: после изгнания англичан из Франции обнаружилось, что король в его услугах больше не нуждается. Были преданы гласности коррупционные скандалы, на которые еще недавно никто не обращал внимания (незаконная торговля оружием, придворные интриги, присвоение государственных средств). В 1451 году Кер получил отставку, затем был арестован и два года спустя изгнан из страны. Впрочем, по сравнению с другими опальными финансистами ему еще повезло.

Из перипетий Столетней войны возникает — пока еще в неразвитой, зачаточной форме — французская модель национального государства,

находящаяся в прямом контрасте с английской, но гораздо более приемлемая для соседних стран континента. Если на острове национальное государство строилось в значительной степени снизу, то во Франции — сверху. Если в Англии буржуазия систематически расширяет свое влияние, завоевывая, а порой и выторговывая права у аристократии и монархии, то на континенте королевская власть играет на опережение, осуществляя модернизацию в том объеме, в той форме и такими темпами, какие сама сочтет нужными. Французская модель интеграции буржуазии в государство была, таким образом, прямой противоположностью английской: вместо того чтобы ограничить феодальный грабеж, создав систему политического контроля, буржуазному классу давали возможность принять в нем участие.

При всей их ограниченности, реформы Карла VII создали к началу 1440-х годов совершенно новую ситуацию. Генеральные Штаты получают определенную роль в формировании налоговой политики, хотя часть налогов собирается без их санкции. Прекращение военных действий способствовало экономическому возрождению, начинают возделываться ранее заброшенные земли. Самое главное — королевская власть идет на компромисс с той частью французского общества, которая в начале XV века поддержала бургундцев и англичан. Институты власти, действовавшие в Париже и провинциях, находившихся ранее под англо-бургундским контролем, интегрируются с администрацией, организованной Карлом VII в Бурже и Пуатье. Новые землевладельцы, получившие собственность от англо-бургундской администрации после изгнания старых феодальных семейств, декретом 1447 года защищены от возвращения прежних владельцев.

Декрет санкционировал стихийный земельный передел, который произошел (главным образом — на занятых англичанами территориях) в ходе войны. Это фактически открыло французским войскам путь в Нормандию. На место старой феодальной знати понемногу приходили новые землевладельцы, которые больше не нуждались в поддержке Лондона, чтобы отстаивать законность своих прав. Даже англичане, получившие земельную собственность в Нормандии благодаря победам Ланкастеров, легко готовы были смириться с новой властью при условии, что та гарантировала сохранение их имущества. «Быстрота ассимиляции и укоренения англичан на территории французской провинции» была, по словам современного историка, столь велика, что приходится «задуматься об условности национальной идентичности в рассматриваемый период»<sup>190</sup>. Если национальные различия оказывались весьма условными, возникающая социальная общность между местными и приезжими буржуазными собственниками была вполне конкретна и осознана.

<sup>190</sup> Французский ежегодник 2008, с. 24.

После изгнания англичан из Франции процесс перехода феодальной собственности в руки буржуа не только не прекратился, а продолжал набирать силу. Признание прав новых собственников было важнейшим политическим решением Карла VII, в значительной мере обеспечившим ему победу в войне. По мнению английского историка Колина Моерса, этот процесс был неразрывно связан с укреплением политического режима первых Валуа. Приход в деревню «буржуазных выскочек» (*bourgeois parvenu landlords*) радикально изменил ситуацию<sup>191</sup>. Новые собственники поместий, в отличие от старой знати, не имели ни морально-идеологического авторитета, освященного традицией, ни собственных вооруженных отрядов для принуждения крестьян к покорности. Потому они нуждались в сильном государстве, которое, в свою очередь, именно на них делало ставку в противовес старой аристократии.

Возрождение феодализма, происходившее во французской деревне в середине XV века, было, таким образом, вызвано не слабостью буржуазии, а парадоксальным образом ее силой. Вернее тем, что социально-политическая сила буржуазии сочеталась (в отличие от Англии) со слабостью буржуазных производственных отношений. В итоге складывалась стратегия накопления капитала, опирающаяся не на обновление производства, а на эксплуатацию традиционного сектора.

Политический поворот Карла VII вызвал недовольство в рядах его недавних союзников. В 1440 году королю удалось подавить возмущение феодальной знати, а в 1442 году раскрыть заговор, зачинщиком которого был граф Арманьяк. Земли графа отчуждаются в пользу короля. Партия арманьяков, ответственная за катастрофу при Азенкуре, теряет свои позиции, а феодальная знать, истребленная английскими лучниками и разоренная в ходе перераспределения земель на Севере Франции, теряет теперь и свои экономические позиции на Юге.

Военные и административные структуры новой власти пополняются людьми, сделавшими карьеру и обучившимися в «Ланкастерской Франции». Это и организатор военной реформы кеннетабль Артур Ришмон, и братья Жак и Гаспар Бюро, занимавшиеся одновременно финансами и артиллерией, и Тома Базен (*Thomas Basin*), начавший свою карьеру под руководством Пьера Кошона, а затем ставший одним из организаторов реабилитационного процесса Жанны и идеологом французской монархии. Множество других деятелей бывшей Бургундской партии и ланкастерской администрации верой и правдой служили позднее Карлу VII.

Буржуа Парижа и других крупных городов были теперь вполне удовлетворены своими отношениями с королевской администрацией и не нуждались в покровительстве бургундского герцога. А низам общества

<sup>191</sup> См.: *C. Moers. Op. cit., p. 47.*



в любом случае ничего хорошего ждать не приходилось ни от англичан, ни от бургундцев, ни от «собственного» короля. Однако именно в этих условиях национальная идея приобретает особую ценность, позволяя максимально расширить социальную базу власти.

В 1444 Англия и Франция заключили на пять лет перемирие в Туре. Это перемирие было использовано Карлом VII для продолжения преобразований, в первую очередь в военной сфере. Решающим элементом реформы стало появление «ордонансных рот», которые призваны были заменить феодальную кавалерию. Эти отряды пополнялись из людей, не имевших дворянского звания, превращаясь в основу новой профессиональной армии, подчиняющейся приказам и соблюдающей дисциплину. Выходцы из буржуазии теперь способны были составить костяк тяжелой кавалерии, обеспечив себя дорогими и надежными доспехами. Они не были наемниками, но служили за деньги, получая довольно приличное жалованье, а в мирное время роты были расквартированы по отдельным областям королевства — на местные власти были возложены расходы по их содержанию. Стимулом к службе была уже не добыча, а военная карьера, рост социального статуса. В это же время начинает разрабатываться и пропагандироваться идеология патриотизма, которой предстоит консолидировать королевство.

Когда после перемирия в Туре война возобновилась, англичанам противостояла уже совершенно иная Франция. Не понимая этого, новый виток конфликта спровоцировали сами англичане, захватив Фужер (Fougères). Королевская власть при молодом Генрихе VI ослабела, а умеренные политики в Лондоне не контролировали ситуацию. Как часто бывает с военными, они, опираясь на опыт прошлых кампаний, не соznавали, насколько изменилась ситуация. Французская армия развернула контрнаступление и вскоре была в Руане.

Этот поход, однако, далеко не всеми был воспринят как освободительный. В то время как в сельской местности приход французских войск воспринимался как окончание разорительной войны, горожане испытывали в лучшем случае смешанные чувства. В тот момент, когда войска Карла VII уже стояли под стенами Руана, в Лондон прибыла делегация из нормандской столицы, требовавшая срочно прислать армию для защиты от французов. Парламент, говоря языком политиков XX века, «пошел навстречу пожеланиям народа» и выделил деньги на очередную экспедицию. Однако небольшой отряд, высадившийся в Нормандии уже после капитуляции Руана, был зажат между двумя французскими армиями и потерпел поражение при Форминьи (Formigny). Англичане почти выигрывали битву, несмотря на численное превосходство неприятеля, и даже захватили обстреливавшие их бомбарды, но в последний момент с

фланга по ним ударила свежая французская армия под началом кеннетабля Рошмона<sup>192</sup>.

После этого настал черед Гаскони. Несмотря на отсутствие какой-либо помощи из Англии, гасконцы упорно сопротивлялись. Даже взятие Бордо королевской армией не положило конца сопротивлению. В 1452 году город восстал. За Бордо последовали другие города. Тем не менее защищаться своими силами провинция не могла. По требованию гасконцев из Англии был отправлен очередной десант, как и прежде малочисленный, но возглавляемый легендарным Джоном Талботом. Поскольку силы были не равны, Талбот, предваряя тактические приемы более позднего времени, попытался разгромить двигавшиеся с нескольких сторон французские колонны поочередно, до их соединения. Но под Кастильоном (Castillon) англо-гасконские отряды потерпели поражение, а сам Талбот погиб. Решающую роль в исходе битвы сыграла артиллерия, которую французы, наконец, научились эффективно применять в полевых условиях. Если под Форминьи, как и ранее в «битве селедок», плотность артиллерийского огня оказалась недостаточной, чтобы остановить атаку пехоты, а позиции артиллерии плохо защищены, то теперь эти ошибки были учтены. Жан Бюро поставил свои батареи на господствующей позиции, прикрыв их полевыми укреплениями и пешими отрядами. Этот редут выдержал отчаянный натиск солдат Талбота.

В 1453 году сопротивление Гаскони было сломлено: Бордо сдался армии Карла VII. В руках у англичан остался только порт Кале, который был утрачен лишь Марией Кровой в 1558 году.

### КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

Политический порядок, установившийся в Англии под властью Ланкастерской династии, оказался непрочным. Поражение во Франции усугубило кризис режима. Качество управления постоянно падало. Разложение ланкастерского режима означало утрату взаимного интереса между буржуазией и аристократической административной элитой. Буржуазия не восставала против правительства, она просто переставала платить, провоцируя углубляющийся финансовый кризис государства. В свою очередь, административная аристократия, контролирующая ключевые правительственные посты, все более склонна была — как и во Франции за несколько десятилетий до этого — использовать свои позиции для решения собственных проблем. Административная и феодально-земельная аристократия вели борьбу за свои интересы при

<sup>192</sup> Любопытно, что сценарий битвы при Форминьи в значительной мере был повторен в 1815 году при Ватерлоо, только на сей раз роли поменялись: англичане с помощью пруссаков разгромили французов.

демонстративном безразличии других сословий. Власть, потеряв доверие буржуазии, рухнула. Началась эпоха феодальной реакции, вошедшая в историю под названием Войны Алой и Белой розы. Воспользовавшись неудачами во Франции и слабостью малолетнего Генриха VI, феодальные группировки, собравшиеся под знаменами соперничающих династий Ланкастеров и Йорков, рвали страну на части. В конечном счете на троне закрепились Тюдоры — младшая ветвь Ланкастеров. Основателю новой династии осторожному и расчетливому Генриху VII, удалось завоевать доверие буржуазии, восстановив условия прежнего ланкастерского компромисса. Междоусобная война закончилась.

Если в Англии итогом Столетней войны стал крах ланкастерского режима, то французское государство, напротив, вышло из войны существенно модернизированным. Опыт Пуатье и Азенкура было невозможно игнорировать. Под его влиянием короли из династии Валуа не только начали создание регулярной армии по английскому образцу, но и принуждены были использовать сословное представительство для того, чтобы обеспечить стабильное поступление средств в казну. Хотя формально Генеральные Штаты, как и парламент в Англии, ограничивали финансовые полномочия королей, они становились эффективным инструментом для организации налогообложения, поддержания финансовой дисциплины внутри правительства, а главное — участие представителей сословий в принятии финансовых решений гарантировало, что социальная стабильность не будет нарушена. Все стороны вправе были ожидать, что налоговые претензии власти не будут запредельными, и в то же время населения будет готово платить.

И английский, и французская буржуазия укрепляли свое положение в обществе не за счет конфликта с монархическим государством, а, напротив, за счет тесного с ним сотрудничества. Однако стратегия сотрудничества была принципиально разной, что и предопределило характер дальнейших событий. Если в Англии буржуазный класс добивался своих целей через систему политических институтов, в которых его коллективные интересы были законно представлены, то во Франции после поражения народных движений в конце XIV века буржуа пошли по пути встраивания в феодальную систему, решая свои вопросы на уровне личных отношений с двором и представителями власти либо делая карьеру непосредственно внутри этой власти. Это привело к тому, что и государство, и буржуазная элита оказались гораздо более коррумпированными<sup>193</sup>. Но

<sup>193</sup> Это особенно хорошо видно на примере управления финансами. Английские министры очень часто были аристократами и, уж непременно, джентльменами. Но им приходилось постоянно отчитываться перед буржуазным парламентом. Напротив, во Франции министрами финансов почти всегда были буржуа, которм (из-за полной некомпетентности в этих вопросах двора) практически ни перед кем не нужно было отчитываться.

парадоксальным образом, именно отсутствие представительных институтов, способных обеспечить некое подобие консенсуса или, во всяком случае, сотрудничество общества, требовало создания эффективно работающей бюрократии. Причем коррупция на высшем уровне вовсе не обязательно сопровождалась воровством и взяточничеством на местах. В этом смысле модель французской бюрократии оказалась к XVIII веку зеркально противоположна российской, где высшие сановники, соблюдавшие правила своеобразной аристократической этики, далеко не обязательно были коррумпированы, зато на низшем и среднем уровнях царили казнокрадство и мздоимство.

Шотландский историк Нил Дэвидсон, размышляя о становлении капиталистического порядка в Европе, замечает, что предпосылкой буржуазных революций неизменно был открытый и очевидный для всего общества кризис феодального порядка. «Этот кризис был очевиден в Европе позднего Средневековья, но феодализм не только выжил, но и возродился к концу XV века, трансформировавшись, но все равно сохраняя свое господство»<sup>194</sup>.

Действительно кризис XIV–XV веков не привел к созданию буржуазного порядка в том смысле, как это произошло в XVII–XIX веках. Однако сам же Дэвидсон подчеркивает, что революция — это не только одномоментный акт смены власти, но и длительный период социальных, политических и культурных преобразований, затрагивающих все стороны жизни общества. В этом смысле революция в Западной и Центральной Европе действительно происходила, причем, по крайней мере, в одной стране — Чехии — можно говорить о «классическом» революционном восстании, в ходе которого сменилась не только правящая династия, но и сама власть.

Если в Чехии революционные перемены приняли наиболее открытую и «современную» (с точки зрения критериев XVII–XIX веков) форму, то в Англии происходила «пассивная революция». Эта революция была экспортирована во Францию на пиках и мечях английских латников и йоменов в ходе второго этапа Столетней войны, который на самом деле представлял собой иностранную интервенцию в гражданскую войну, разворачивавшуюся во Франции.

Ирония истории в том, что успех английской интервенции предопределил радикальное преобразование французского общества и государства, а как следствие этого — поражение англичан во Франции и крушение ланкастерского режима в самой Англии.

Хотя революционные потрясения XIV–XV веков не привели к свержению феодального порядка и замене его буржуазным, общественное

<sup>194</sup> N. Davidson. Op. cit., p. 9.

и политическое устройство Западной Европы существенно изменилось. Главным итогом перемен было возникновение нового государства.

Это государство, было еще не буржуазным, но уже и не феодальным. Представляя собой результат компромисса между старыми элитами и превращавшимся в буржуазию «третьим сословием», оно создало оптимальные условия для развития капитализма, оказалось идеальным инструментом для экспансии европейских экономических интересов по всему миру. Новая система, получившая задним числом название «абсолютизма», отнюдь не предполагала в первую очередь «абсолютной» власти монарха. Более того, королям на протяжении последующих двух столетий пришлось вести постоянную борьбу за укрепление и расширение своих полномочий, которые, по крайней мере номинально, были не более значительными, чем у их феодальных предшественников. Но что категорически отличало новое государство от старого, это — система упорядоченного правления и бюрократической администрации, которая опиралась на представителей «третьего сословия» (даже если номинально они получали дворянское звание). Такая система идеально устраивала буржуазные элиты и торговый капитал того времени, однако стремительное развитие мировой экономики, начавшееся после открытия Америки и морского пути в Индию, изменило соотношение сил и породило новые противоречия, которые, в свою очередь, потребовали новой череды буржуазных революций.

В ходе классовых битв XIV и первой половины XV века радикальные плебейские движения, поддержанные мелкопоместным дворянством и на первых порах частью буржуазии, в разных частях Европы бросили вызов феодальному порядку, но потерпели поражение — в значительной мере из-за позиции крупной и средней буржуазии, которую пугал демократический хаос. Движения Якоба Артевельде, Этьена Марселя, Яна Жижки и Уотта Тайлера были разгромлены, но феодальный порядок понес в ходе войн, кризиса и революций столь тяжелый урон, что восстановление его в первоначальном виде было уже невозможно. Импульс модернизации был подхвачен воцарившимися на руинах послекризисной Европы монархическими режимами, новым абсолютизмом. Этот абсолютизм в значительной мере продолжал работу революции, но уже сверху, авторитарными методами, без демократических «эксцессов», столь напугавших торговую буржуазию. В этом плане он выполнял применительно к средневековому обществу ту же, работу, что бонапартистские режимы во Франции и других европейских странах в Новое время. В работах Маркса и Энгельса легко обнаружить параллели в их анализе ранних форм абсолютистского государства и бонапартистских режимов, лавирующих между классами и пытающихся, опираясь на армию и бюрократию, поставить себя над обществом. Между тем подоб-

ные параллели не случайны. Они демонстрируют схожее соотношение общественных сил, отражающее и в том, и в другом случае политический итог революционной эпохи.

Абсолютная монархия, как отмечает Маркс, оказалась естественной формой политической организации в обществе, где буржуазные отношения уже получили развитие, но сама буржуазия «еще не конституировалась политически как класс», а государственная власть «еще не превратилась в ее собственную власть»<sup>195</sup>. В Англии успехи парламентского режима позволили буржуазии организоваться политически уже на исходе Средневековья. В других европейских государствах «абсолютная монархия выступает как цивилизующий центр, как объединяющее начало общества. Там она была горнилом, в котором различные элементы общества подверглись такому смешению и обработке, которое позволило городам променять свое средневековое местное самоуправление на всеобщее господство буржуазии и публичную власть гражданского общества»<sup>196</sup>.

В конце Средневековья первая попытка радикальной демократии в Европе потерпела поражение, а развитие нового, выходящего за рамки феодализма, общества продолжалось в формах авторитарного централизованного государства. Именно это развитие дало начало системе, которая позднее получила название капитализма.

<sup>195</sup> К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, с. 298.

<sup>196</sup> Там же, т. 10, с. 431-432.

### III. Реформация и экспансия

Социально-экономические порядки, царившие в Европе к началу XV века, уже настолько отличались от классических образцов феодализма, что у некоторых историков возникают сомнения относительно того, о каком именно общественном строе идет речь: «феодализм в Западной Европе уже умирал, если не был мертв, но капитализм еще не родился», а господствующий порядок был «ни феодальным, ни капиталистическим» (*neither feudal, nor capitalist*)<sup>1</sup>. Долгие проводы феодализма (или «осень Средневековья», по терминологии Йохана Хейзинги) сопровождались серией революционных и военных кризисов, но не вели к торжеству нового социального порядка. Потребность в общественных переменках стала новой политической реальностью лишь в XVI–XVII веках, когда внутренняя социальная эволюция Запада получила мощный стимул извне за счет новых ресурсов и новых экономических возможностей, появившихся благодаря великим географическим открытиям.

Описывая первые антифеодальные выступления, британский историк Нил Дэвидсон приписывает их поражение военно-политической слабости. Однако именно в военном отношении революционные и бонапартистские режимы позднего Средневековья превосходили своих противников. Ланкастерский режим в Англии пал не в результате поражения во Франции, напротив, это поражение явилось следствием внутреннего надрыва и деградации режима, первые симптомы чего были заметны уже при жизни Генриха V. Тем более невозможно говорить о военном поражении гуситов, которые неизменно громили феодальные армии. Правда, Дэвидсон связывает неудачу гуситского движения с «вооруженной контрреформацией», окончательно восторжествовавшей «в начале Тридцатилетней войны»<sup>2</sup>. Однако разгром чехов в Белогорской битве имел место в 1618 году, а гуситское движение развернулось за 200 лет до этого! Если бы реформация и буржуазная революция беспрепятственно развивались в Богемии на протяжении 200 лет, к началу XVII века Габсбурги не покоряли бы Чехию, а выполняли указания тамошнего правительства.

Неудачи раннебуржуазных движений были вызваны не политически, а экономическими обстоятельствами. Экономическая база для развития капитализма была еще слишком мала, любая попытка построить

<sup>1</sup> P. Sweezy, R. Hilton, M. Dobb et al. *The Transition from Feudalism to Capitalism*. London: Verso, 1976, p. 49.

<sup>2</sup> N. Davidson. *Discovering the Scottish Revolution. 1692–1746*. London: Pluto Press, 2003, p. 73.

общество на основе новой системы отношений разбивалась об узость этой базы. Причем речь идет не о глубине буржуазных преобразований в отдельно взятом регионе (которая могла быть очень велика, часто превосходя то, что мы видим во многих странах даже к XIX веку), а в первую очередь об узости рынка, о недостаточной интеграции мировой экономики, об отсутствии глобального разделения труда. Иными словами, не было еще тех экономических факторов, которые радикально преобразили жизнь к середине XVI века.

«Товарное обращение есть исходный пункт капитализма, — констатировал Маркс. — Историческими предпосылками возникновения капитала являются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю капитала»<sup>3</sup>.

Необходимые для очередного рывка средства Европа смогла получить и накопить лишь тогда, когда географические открытия испанцев и португальцев обернулись потоком драгоценных металлов, пряностей и новыми возможностями для военно-политической и торговой экспансии. Внешним стимулом и поводом для начала этого процесса послужил — по мнению позднейших историков — захват турками Константинополя и кризис европейской торговли в Восточном Средиземноморье. Однако не только внешние события толкали королей и предпринимателей Запада на поиск новых земель, торговых путей и рынков. Внутренние социальные процессы вызывали в европейском обществе потребность во внешней экспансии. Предпосылки к ней создавал возобновившийся после кризиса XIV века экономический рост. И эта внутренняя потребность нашла выражение в новой страсти западного человека к исследованию, открытию и последующему завоеванию все новых и новых земель.

Адам Смит подчеркивал, что открытие Америки и морского пути в Индию «представляют собою два величайших и важнейших события во всей истории человечества» (the two greatest events in the history of mankind)<sup>4</sup>. Если плоды этих замечательных успехов достались одной лишь Западной Европе, то причиной тому «превосходство силы на стороне европейцев», которое являлось не более чем одним из «привходящих обстоятельств», сопровождавших великие открытия. Военное превосходство Запада породило всевозможные насилия и несправедливости. И в итоге «для туземцев Ост- и Вест-Индии все коммерческие выгоды, которые могли получиться от этих событий, были совершенно парализованы порожденными ими ужасными бедствиями»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 156.

<sup>4</sup> А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007, с. 593.

<sup>5</sup> Там же.



Ацтекский вождь или инкский крестьянин, таким образом, представляются шотландскому мыслителю полной аналогией английского буржуа или голландского фермера, которые при первом же удобном случае готовы воспользоваться открывающимися коммерческими возможностями, броситься осваивать новые заморские рынки. Беда их была лишь в том, что европейцы, руководствуясь собственной корыстью, не предоставили им такой возможности. Мысль о том, что экономические отношения, существовавшие в Америке до прихода европейцев, строились на принципиально иной основе, оказывается недоступна либеральному теоретику, уверенному, что законы буржуазного рынка столь же абсолютны и всемогущи, как и законы природы. Между тем купцы и солдаты Запада, осваивавшие Америку за два столетия до того, как Адам Смит взялся за сочинение своего труда, прекрасно понимали, с какой реальностью они столкнулись и действовали соответственно.

В период XVI–XVII веков сравнительно небольшим группам людей, не обладавшим значительными ресурсами, удавалось овладевать обширными территориями и ставить под свой контроль огромные человеческие массы. Порой подобные успехи объяснялись превосходством европейского вооружения, хотя соотношение военных сил далеко не всегда благоприятствовало завоевателям. Иногда видели причину этих успехов в моральном превосходстве, обеспеченном Ренессансом и Реформацией, хотя, как известно, первые мировые империи создали Испания и Португалия, которые отнюдь не были в центре культурных процессов Ренессанса и не пережили Реформацию. Однако каковы бы ни были материальные и моральные факторы, обеспечивавшие победы европейцев, в конечном счете их достижения были бы немислимы, если бы не опирались на социально-политическую организацию, позволявшую эти факторы успешно использовать.

## ПОРОХ И ЗОЛОТО

С конца XV века и на протяжении всего XVI столетия Европа постоянно воюет. Христиане сражаются с турками, сторонники Реформации с ее противниками, французская монархия борется за господство на континенте с Испанией, а в это самое время испанские и португальские отряды устанавливают свою власть на землях, которые стали доступны благодаря Великим географическим открытиям.

Пол Кеннеди (Paul Kennedy) считает, что в XVI веке «национальное и династическое соперничество отныне соединилось с религиозным фанатизмом, заставляя людей сражаться в ситуации, при которой раньше они искали бы компромисса»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000.* London — Sydney — Wellington: Unwin Hyman, 1988, p. 35.

На фоне непрекращающихся вооруженных конфликтов происходит процесс, получивший позднее у историков название «Военной революции». Этот переворот связывали прежде всего с внедрением пороха. «Военная революция лишила аристократию ее оружия», заявляет российский историк<sup>7</sup>. Исчезают феодальные ополчения, им на смену приходят наемные армии (слово «солдат» происходит от итальянского «soldi» — деньги, этот тот, кто сражается за плату). Рыцарь в качестве ключевой фигуры на войне сменяется пехотинцем, вооруженным пикой или аркебузой.

Причиной подобных перемен принято считать прогресс в развитии огнестрельного оружия, которое сделало бесполезной рыцарскую броню. Однако приглядевшись к фактам, можно заметить, что организационные перемены не только опережают технические, но и подстегивают и определяют их.

Переосмысливая историю войн, Энгельс в поздних своих работах обнаружил, что порох *сам по себе* не имел того революционного значения, которое ему приписывали. «До конца Средних веков ручное огнестрельное оружие не имело большого значения, что понятно, так как лук английского стрелка при Креси стрелял так же далеко, как и гладкоствольное ружье пехотинца при Ватерлоо, а может быть, даже более метко, хотя и не с одинаковой силой действия»<sup>8</sup>. Осадная артиллерия, напротив, оказалась весьма эффективной, но как показывал опыт, технически она вполне могла сочетаться и с традиционной феодальной армией. Возникновение новой армии и новой тактики было связано не с техническими нововведениями, а с тем, что короли повсеместно стремятся освободиться от феодального войска, «создать собственное войско»<sup>9</sup>. В свою очередь, спрос на технические новации в области вооружения порожден именно этой новой политической реальностью.

Средневековый рыцарь был не только тяжеловооруженным всадником. Рыцарство представляло собой корпорацию, членство которой не было наследственным. Ни аристократический титул, ни дворянское звание не делали человека рыцарем автоматически, нужны были личные заслуги. В этом смысле рыцарское звание резко выделялось на общем фоне феодальных отношений.

В обыденном сознании, рыцарей часто смешивают либо с тяжелой кавалерией (далеко не все всадники в тяжелых доспехах были по званию рыцарями), либо с низшим слоем феодального дворянства (не все члены которого, даже участвуя в войнах, удостаивались рыцарского звания). Первоначальное понятие «*man-at-arms*» сложилось в Британии именно

<sup>7</sup> С.А. Нефедов. Война и общество, с. 28.

<sup>8</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 415..

<sup>9</sup> Там же, с. 413.

для того, чтобы определять профессиональных воинов, имевших рыцарскую подготовку и доспехи, но далеко не всегда — рыцарское звание.

Ключевым элементом рыцарства как корпорации была система орденов, в значительной степени повторявших структуру монашеских и сложившихся в ходе Крестовых походов.

В XVII–XVIII веках исчезнувшие рыцарские ордена были заменены системой правительственных наград. Кавалер ордена, как и член рыцарского братства должен быть отмечен определенными личными заслугами, но если раньше надевавшиеся на грудь или шею украшения были свидетельством принадлежности к определенной корпорации, то теперь речь идет, в лучшем случае, о совершенно формальном сообществе людей, удостоившихся одинаковой награды.

Правда, Англия сохранила рыцарские титулы, которые постепенно стали частью общей системы государственных поощрений. Но рыцарство, возрожденное буржуазным государством в романтический век, имело очень мало общего с корпорациями Средневековья.

На теоретическом уровне комплекс идей, связанных с рыцарством — как идеологией и образом жизни — разработан во второй половине XIII века<sup>10</sup>. Во времена Крестовых походов, которые задним числом нередко воспринимались в качестве «золотого века» рыцарства, соответствующие культурные и идеологические нормы только еще начинали формироваться, а повседневное поведение реальных героев сражений и турниров было весьма далеко от провозглашенных позднее идеалов рыцарской чести.

Уже в XV веке нередко можно натолкнуться на сетования относительно упадка рыцарской этики. Но была ли она так сильна в XII–XIII веках? То, что мы знаем про эпоху Крестовых походов, говорит об обратном. Вероломство, убийство пленных и безоружных, нарушение слова были достаточно распространенными явлениями в эпоху, которую принято считать «золотым веком» рыцарства. Разумеется, рыцарство это не только войны и турниры. Трубадуры воспевали не столько ратные подвиги, сколько любовные переживания — и в этом их заслуга перед культурой. Хотя кровожадные стихи Бертрана де Борна (Bertran de Born) вряд ли можно считать примером высоких этических норм в поэзии. Пожалуй, это единственный автор, который сумел воспеть в поэзии не только убийство и насилие, но и социальное угнетение, издевательство сильно над слабым.

Если говорить о рыцарях именно как о военном сословии, трудно отметить какую-то особую деградацию нравственных норм в конце XIV —

<sup>10</sup> В качестве примера можно привести книгу Рамона Льюля «О рыцарском ордене» (*Р. Льюль. Книга о Любящем и Возлюбленном; Книга о рыцарском ордене; Книга о животных; Песнь Рамона.* СПб.: Лит. памятники, 1997).

XV века. Скорее в ту эпоху можно наблюдать своеобразную романтизацию рыцарства или попытку военного дворянского сословия укрепить собственный дух и идеологию за счет обращения к ностальгическим образам прошлого.

Расцвет рыцарского романа относится как раз к XIV–XV векам. Французский рыцарский роман XIV века представлял собой своего рода утопию, которая по мнению историков литературы, к концу столетия «оказалась в большой степени исчерпанной, что, безусловно, предвещало гибель жанра»<sup>11</sup>. Рыцарский роман, однако, продолжал развиваться в Кастилии и Каталонии, находившихся на границе западноевропейского культурного мира. Самый знаменитый испанский (точнее каталонский) роман «Тирант Белый» («*Tirant le Blanc*») Жуанюта Мартуреля (*Joanot Martorell*), например, опубликован в 1490 году<sup>12</sup>.

Знаменитый французский рыцарь Баярд (*Pierre Terrail, seigneur de Bayard*), ставший символом доблести и чести, жил уже в XVI веке, сражаясь под знаменами Франциска I. Описывая его подвиги, Жан-Жюст Руа (*Jean-Juste Roy*) сравнивает его с Дюгекленом: «Это были рыцари в полном значении этого слова. С мужеством, храбростью и ловкостью они соединяли еще и прекрасные душевные качества: они были добры, сострадательны, великодушны; у них не было ни гордости, ни тщеславия, ни зависти. Насколько они относились строго к самим себе, настолько были снисходительны к другим. Они даже щадили и врагов своих, и всегда искренне сожалели, если поединок оканчивался смертью их противника. Такие рыцари принесли много пользы своему отечеству и покрыли свои имена бессмертной славою»<sup>13</sup>.

Между тем показательно, что и Дюгеклен и Баярд совершали свои подвиги во время кампаний, завершившихся для французской рыцарской кавалерии полным провалом. То же самое может быть сказано и про знаменитую «Битву Тридцати» — еще один сюжет рыцарского мифа, связанный со Столетней войной. В ходе этого боя, который был на самом деле скорее турниром, участники которого сражались боевым оружием, французы и бретонцы одержали верх над противостоявшей им группой английских, немецких и, опять же, бретонских рыцарей. Никакого военного значения эта схватка не имела, никак не повлияла на междоусобную войну в герцогстве, которая завершилась в пользу партии, пользовав-

<sup>11</sup> М.А. Абрамова. Поэтика романа «Тирант Белый». В кн.: Ж. Мартурель. М.Ж. де Галба. Тирант Белый. М.: Наука, 2005, с. 711.

<sup>12</sup> Первое печатное издание вышло в Валенсии в 1490 году в количестве 715 экземпляров, разошлось в течение шести лет, и в 1497 году роман был издан повторно на сей раз в Барселоне (см. М.А. Абрамова. Цит. соч., с. 705).

<sup>13</sup> Ж.Ж. Руа, Ж.Ф. Мишо. История рыцарства. Современная версия. М.: ЭКСМО, 2007, с. 136.

шейся поддержкой англичан. Тем не менее, по утверждению романтических историков, «бретонцы, очевидцы этого боя, рассказывали о нем своим детям и внукам, прославляя храбрость и мужество славных соотечественников»<sup>14</sup>. Высказывание в высшей степени двусмысленное, если учесть, что бретонцы сражались с обеих сторон...

Легко догадаться, что во всех перечисленных случаях мы имеем дело со своеобразной логикой компенсации. Поражения армий и королей должны были восприниматься не столь болезненно, если наряду с этими неприятными сообщениями можно было рассказать о случаях индивидуальной доблести воинов. С течением времени повести о личных достижениях рыцарей обрастали новыми подробностями и пышными деталями, усиливая их пропагандистский эффект и утешая феодальное общество, испытывавшее на рубеже XIV–XV веков явный культурный стресс.

Вопреки мнению позднейших авторов, которые склонны считать подобных героев последними представителями уходящей традиции, среди современников они воспринимались совершенно иначе. Более того, наши последующие представления о рыцарской чести опираются как раз на опыт XV–XVI веков, а не на сведения, почерпнутые из истории раннего Средневековья или эпохи Крестовых походов. Именно кризис рыцарства как социальной, военной и политической силы порождает мощный всплеск мифологического сознания, на которое, в свою очередь, смогла опереться романтическая традиция XIX столетия.

Упадок рыцарства на протяжении XV–XVI веков очевиден. Развитие в литературе рыцарского мифа, в том числе стремление отдельных представителей сословия поддерживать этот миф на уровне личного поведения (что с оттенком трагической иронии описано в «Дон Кихоте» Сервантеса), как раз результат этого упадка. Чем меньше военное значение рыцаря, тем выше к нему моральные требования.

Однако связан ли этот упадок с изменением военной техники? Ордонанские роты Карла VII наносят по рыцарству больший удар, нежели первые бомбарды и аркебузы, хотя жандармы ордонанских рот по своему вооружению и тактике от рыцарей ничем не отличаются. И все же на социальном уровне это был своего рода переворот. Через ордонанские роты происходило продвижение буржуазии в военное сословие. Для рыцарей это означало конец сословной привилегии.

Рыцарская служба как проявление вассальной преданности теряет смысл по мере того, как ополчение сменяется регулярной армией, даже если вооружение остается прежним.

Упадок рыцарства сам по себе еще не означал конца тяжелой кавалерии. Является ошибкой мнение, будто появление на поле боя «большого лука» (longbow), а затем огнестрельного оружия делают бесполезными

<sup>14</sup> Там же, с. 140.

рыцарские доспехи, а вместе с этим знаменуют и закат рыцарства как социально-культурного явления. В техническом плане все обстоит прямо противоположным образом. Именно с этими военно-техническими новшествами связан расцвет производства доспехов.

Полный (или «белый») доспех появляется в 1390–1410 годах. Кольчуги и пластинчатые латы сменяются полноценной броней, превращающей всадника в настоящую боевую машину, наподобие позднейшего танка. Прогресс в технологии обработки металла способствовал появлению новых пушек и кулеврин, но он же позволил производить доспехи, которые, по крайней мере на определенных дистанциях и под определенным углом, были непробиваемы: ни для стрел английских лучников, ни даже для огнестрельного оружия. Наиболее серьезной опасностью для законного в латы всадника долгое время по-прежнему оставался арбалетный болт, который летел в цель с невероятной силой и точностью. Но арбалет не имел достаточной скорострельности.

Говоря про «упадок» военной роли доспехов, авторы ссылаются на декоративность многих комплектов лат, находящихся в современных музеях. Но надо помнить, что до нас дошло большое количество экземпляров декоративного вооружения именно потому, что, будучи декоративным, оно в бою не применялось. Точно таким же образом можно с уверенностью предположить, что число автомобилей класса «Rolls Royce», которые сохранятся через 200–300 лет, будет, скорее всего, превышать число сохранившихся экземпляров «Запорожцев» или «шестерок», хотя в реальной жизни масштабы производства первых и вторых были просто не сопоставимы. Оружие боевое, напротив, часто уничтожалось. Например, после битвы при Азенкуре Генрих V велел уничтожить все трофейные французские доспехи, кроме тех, что англичане могли унести с собой или на себе. Этот приказ не был выполнен до конца, но в общей сложности уничтожены или сознательно испорчены были тысячи комплектов лат!

С другой стороны, требования к красоте оружия — общие для Ренессанса, для всех видов изделий. Они предъявляются к идущей на подъем артиллерии ничуть не меньше, чем к вооружению всадников. Так, ревельский оружейный мастер Хинрик Хартман (Hinrik Hartmann), отчитываясь перед магистратом, сообщал, что заказанные артиллерийские орудия изготовлены «с соблюдением всех правил украшения и художественности»<sup>15</sup>. Пушки не только изящно украшали, но давали им звучные имена. Например, орудия из мастерской Хартмана назывались «Толстая львица», «Ревущий лев», «Птичий свист», «Красный лев» и совсем уж мрачно, но гораздо более точно — «Горькая смерть». В соответ-

<sup>15</sup> Цит. по: Л. Антинг. Таллинские оружейники и огнестрельное оружие XV–XVI веков. Таллин: Eesti Raamat. 1967, с. 29.

ствии с общими требованиями эстетики Ренессанса, пушки украшались не только гербами и изображением мифологических и геральдических фигур — львов, дельфинов, грифонов и т.д. «Очень часто казенная часть ствола полностью покрывалась строфами, где восхвалялись качества орудия и содержалась угроза врагу»<sup>16</sup>.

Огнестрельное оружие было известно на Западе с 1330 года, но потребовалось почти два столетия, чтобы оно стало господствующим, и дело не только в технических проблемах, которые предстояло решить мастерам-оружейникам, но и в изменившейся военной организации. Последняя, в свою очередь, была порождена изменением общественного и государственного порядка. Новая военно-политическая организация требовала нового оружия, стимулируя технические нововведения.

Еще до того как получило развитие огнестрельное оружие, английский большой лук и арбалет могли пробить рыцарскую броню. На первых порах огнестрельное оружие было в этом отношении даже менее эффективно. Выстрел из пищали, ручной бомбарды или даже аркебузы, несмотря на высокую пробивную силу, был куда менее точным, чем выстрел из арбалета, а перезаряжалось это оружие крайне медленно. Недостатки огнестрельного оружия были достаточно очевидны современникам. Именно поэтому вплоть до времен Тридцатилетней войны во многих армиях сохранялись отряды лучников.

Как отмечает английский историк, огнестрельное оружие само по себе не делало доспехи бесполезными: «ни новое оружие, ни успехи английских лучников и швейцарских пехотинцев, а также железные стрелы арбалетчиков не могли еще вытеснить с полей сражений рыцаря, облаченного в тяжелые доспехи, и он оставался главной фигурой на поле боя до конца XV в., а иногда и намного дольше»<sup>17</sup>.

Тяжелая пехота тоже продолжала надевать металлические панцири вплоть до конца Тридцатилетней войны. Это вооружение часто называли «немецкими латами» и окончательно оно вышло из употребления лишь в 1650-е годы.

Использование огнестрельного оружия редко приносило успех в средневековых битвах. В 1408 году льежцы пытались остановить атаку неприятеля пушечным огнем, но перезаряжали медленно и потерпели неудачу. Два года спустя немецкие пушки не повлияли на ход битвы при Грюнвальде. При Рюпельмонде (1452 год) кулеврины ополченцев из Ген-та оказались бессильны против стрел пикардцев. Даже в XVI веке мы находим упоминания о том, что пули отскакивали от лат всадников либо сплющивались.

<sup>16</sup> Л. Антинг. Цит. соч., с. 35.

<sup>17</sup> С. Blair. (London: V.T.Batsford Ltd., 1958) Op. cit., p. 112 (рус. изд.: К. Блэр. Цит. соч., с. 121).

Разумеется, гуситские армии регулярно наносили поражения немецким рыцарям, применяя огнестрельное оружие. Но также использовались ими и арбалеты, а победа достигалась не столько за счет превосходства в вооружении, сколько за счет более эффективной организации и тактики. У Сигизмунда Люксембургского под Витковым были замечательные бомбарды, но это не спасло его от неудачи.

Парадоксальным образом появление на поле боя огнестрельного оружия на первых порах увеличивало именно уязвимость пехоты. В битве при Креси залп английских бомбард привел в смятение и дезорганизовал выдвигавшуюся на исходные рубежи колонну генуэзских арбалетчиков<sup>18</sup>. Плотный строй английских лучников или швейцарских копейщиков становился удобной целью для артиллеристов. Ручное огнестрельное оружие было тяжелым и неудобным, а пешая атака сомкнутым строем на артиллерийские батареи, которую практиковали англичане в последних битвах Столетней войны, оборачивалась огромными потерями. Но и здесь преимущество нового оружия проявилось далеко не сразу. В конце войны французская армия постоянно усиливала свой артиллерийский парк, который должен был стать противовесом боевой силе английских луков. Однако далеко не сразу этот подход стал давать эффект. Во время «Битвы селедок» и при Форминьи английской пехоте удавалось захватить артиллерийские позиции лобовой атакой. И только в битве при Кастильоне плотность артиллерийского огня сделалась столь велика, а прикрытие батарей столь надежным, что пешая атака на пушки оказалась бессмысленным самоубийством.

Напротив, кавалерия могла атаковать быстро и не обязательно сомкнутыми рядами (при Грюнвальде польские всадники именно так справились с немецкими пушками).

Другое дело, что развитие артиллерии повышало на первых порах роль городских ополчений, которые одни только и могли использовать этот новый вид оружия.

С развитием огнестрельного оружия повышается роль города и падает значение замка. Дело не только в уязвимости каменных стен. Метательные орудия Древности были способны наносить урон, вполне сопоставимый с артиллерийским огнем позднего Средневековья. А некоторые средневековые фортификации продолжали сохранять военное значение вплоть до Наполеоновских войн и даже — в исключительных,

<sup>18</sup> Относительно использования пушек при Креси — среди историков нет полного единства, поскольку артиллерийский залп упомянут далеко не во всех описаниях сражения. Но, про залп бомбард упоминают именно итальянские источники. Поскольку английская батарея вела огонь по генуэзцам, вполне естественно, что об этом событии написали их соотечественники.



конечно, случаях — во время Второй мировой войны<sup>19</sup>. Превосходство города над замком было комплексным. Имели значение и размеры — большой периметр сложнее блокировать, и численность гарнизонов, и технические возможности, включая «ремонтную базу» для все более сложного артиллерийского оборудования.

В XIV веке артиллерией называлось любое оружие, стрелявшее на дальнее расстояние, однако уже к началу следующего века значение пушки становится велико, если не на полях сражений, то во всяком случае при осаде и обороне городов. Первоначально крупных пушек было очень мало, стоили они дорого и применялись редко — вся огнестрельная артиллерия английского короля могла уместиться в арсенале Тауэра. А уже к началу XV века каждая серьезная крепость была обеспечена своими собственными пушками, причем зачастую местного производства.

Артиллерия требовала более развитой организации производства, нежели прежнее оружие, изготавливать пушки в кустарных условиях было просто невозможно. Закономерно, что распространение этого оружия связано с усилением военной и экономической роли городов. На первых порах литье пушек происходило в принадлежащих Церкви мастерских, созданных для изготовления колоколов. Эта связь сохранилась даже в современном английском языке: сапоп одновременно означает и пушку и каноника. В XV веке Церковь все еще была тесно связана с артиллерией. Так, например, Генрих V, готовясь к походу во Францию, решал вопросы о поставке пушек с церковными властями<sup>20</sup>. Очень скоро, однако, основную роль в производстве нового оружия стали играть города. Так, в Ревеле уже в 1396 году был свой оружейный мастер. А в 1418 году магистр Ливонского ордена просил город прислать оружейного мастера и медь в Ригу на помощь своим литейщикам<sup>21</sup>. В западной части Европы городские оружейные мастерские были созданы еще раньше.

«Уже в 1356 г. большая часть крупных городов, в основном немецкие имперские города — Нюрнберг, Аугсбург, Любек, Ульм, Шпейер и другие имели собственные пушки и пороховые запасы, — сообщает Герман Вейс в «Истории культуры». — В этом же году в Льовене во Фландрии было продано 12 мортир. Запасы пороха в городах иногда бывали столь значительны, что порой причиняли разрушения: в 1360 г. взлетела на воздух ратуша в Любеке из-за взрыва сложенного в ней пороха»<sup>22</sup>. Бы-

<sup>19</sup> В Крыму советские войска в 1942 году использовали генуэзские крепостные стены против немцев, которым удавалось преодолеть их лишь с помощью тяжелой артиллерии — танковые снаряды и полевые пушки пробить средневековые стены были не в состоянии.

<sup>20</sup> См.: *J. Barker. Op. cit., p. 90.*

<sup>21</sup> *Л. Антинг. Цит. соч., с. 15.*

<sup>22</sup> *Г. Вейс. История культуры. М.: ЭКСМО, 2002, с. 784.*

стрее всего новое оружие распространяется в Италии и Германии, несколько позже литью пушек научаются на севере Европы — в Дании и Швеции и Московии.

Артиллерийские парки являлись, говоря современным языком, муниципальными предприятиями, причем городские власти сосредоточивали в своих руках не только производство пушек, но и управление ими. Мастера, отвечавшие за литье пушки, нередко руководили и ее «эксплуатацией». Пушки не только ставили на стены и башни, отправляли вместе с артиллерийской прислугой на королевскую службу, но и отдавали взаймы или в аренду другим городам и феодальным сеньорам. После битвы при Азенкуре городские власти Амьена (Amiens) отправили своих представителей, чтобы забрать с поля боя принадлежавшее городу имущество. Они обнаружили и вернули три большие, две малые пушки и несколько щитов, использовавшихся для прикрытия стрелков<sup>23</sup>.

Поражения рыцарей уже не были редкостью к началу XV века и должны были чему-то научить французских и немецких военачальников. Однако следует помнить, что события виделись современникам совершенно иначе, чем последующим историкам. Наряду с битвами, завершившимися победой пехоты над конными рыцарями, по-прежнему имели место и успехи кавалерии. Через 80 лет после битвы при Куртрэ французы вывели оттуда захваченные фламандцами шпоры, предварительно спалив город. При Роозбеке пехотная фаланга фламандцев, очень похожая на ту, что участвовала в «битве шпор», была наголову разбита французскими рыцарями. Фламандское пехотное ополчение было разгромлено еще до Столетней войны при Мон-ан-Певеле (Mons-en-Pève) и Касселе, а позднее при Отэ, Рюпельмонде, Гавере, Брюстеме. К тому же большие битвы дополнялись малыми стычками между феодальными отрядами, а тут решающую роль играла доблесть и вооружение всадников.

Тактические итоги Столетней войны, казалось бы, свидетельствовали о мощи рыцарской кавалерии, которая, будучи поддержана пушками, вновь превращалась в грозную силу. Правда, с появлением и усовершенствованием огнестрельного оружия началась гонка вооружений, подобная той, которая сопровождала развитие корабельной брони в конце XIX века или танковой брони в XX веке. Артиллеристы увеличивали пробивную силу снарядов, а создатели брони — ее защитные качества. Причем далеко не всегда преимущество оставалось за снарядами.

В XVI столетии высококачественные доспехи проходили обязательное «испытание», как отмечают специалисты, «с помощью самого мощного стрелкового оружия того времени» (the most powerful hand-weapon of the day)<sup>24</sup>. Нагрудная пластина всадника должна была выдерживать

См.: J. Barker. *Op. cit.*, p. 353.

<sup>24</sup> C. Blair. *Op. cit.*, p. 143 (К. Блэр. Цит. соч., с. 156)

выстрел из мушкета или пистолета по крайней мере не хуже, чем в XX веке лобовая броня танка. Даже в самом конце XVI века мы находим в документах упоминания про «пуленепробиваемые латы» (pistol, caliver and musket proof)<sup>25</sup>.

Наиболее эффективным орудием против кавалерии оказывается в XV–XVI веках не огнестрельная аркебуза, а пика или алебарда. Без прикрытия пик мушкетеры даже в XVII веке сражаться против конницы не могли.

Разумеется, усиление оборонительной брони в большинстве случаев сопровождалось ее утяжелением. Кавалеристы жаловались, что им нелегко было вскочить обратно на лошадь, в случае если их выбили из седла. Но совершенствование доспехов происходило далеко не всегда за счет их утяжеления. Те же технологические новшества, которые позволяли производить более качественное стрелковое вооружение, обеспечивали и производство более качественной брони из более прочной стали. Уже в начале XV века английские лучники обнаружили, что броня рыцарей стала значительно надежнее. Чтобы пробить ее, были введены новые бронебойные наконечники для стрел (в основе лежал тот же принцип, что и в противотанковых снарядах XX века). Однако даже они не пробивали нагрудную кирасу с дальнего расстояния. Собственно расцвет «эпохи доспехов» приходится как раз на время позднего Средневековья и Возрождения, когда огнестрельное оружие уже стало частью военной техники всех стран.

Уязвимость бронированного всадника сама по себе еще не делает доспехи бесполезными. Точно так же уязвимость танка для огня противотанковой артиллерии вовсе не сделала танковые войска бесполезными во Второй мировой войне и последующих конфликтах XX века. Несмотря на развитие бронебойного оружия, танки оставались основной боевой силой всех армий и успешно действовали на всех фронтах.

Еще в 1664 году в трактате «Главные правила военной науки» австрийский генерал Раймонд Монтекуколи (Raimondo Montecucoli) писал, что полные кирасы или цельные латы при столкновении кавалеристов с пехотным строем «к храброму претерпению первого от него огня весьма изрядны»<sup>26</sup>. Доспехи все еще предлагалось «пробовать выстрелом мушкетной пули»<sup>27</sup>. Правда, от выстрела с близкого расстояния латы не спасали.

Доспехи должны были защитить рыцаря не только от огнестрельного, но и от холодного оружия, которое все еще играло решающую роль

<sup>25</sup> С. Blair. Op. cit., p. 143 (Там же, с. 157).

<sup>26</sup> Цит. по: В.В. Тараторин. Конница на войне. История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн. Мн.: Харвест, 1999, с. 283.

<sup>27</sup> Там же.

в сражениях. Легкая кавалерия ничего не могла сделать против бронированной тяжелой конницы даже в конце XVI века, когда появился кавалерийский пистолет. Как средство защиты против холодного оружия кираса сохраняла свое значение вплоть до XIX века. А металлические шлемы пехоты, вышедшие из употребления в XVII веке, вернулись в военный обиход во время Первой мировой войны, причем модели первой половины XX века в значительной мере повторяли разработки средневековых оружейников.

Первые поражения рыцарской конницы не имели ничего общего с техническим переворотом. «Битва шпор» при Куртрэ в 1302 году, положив начало развитию новых пехотных войск, отнюдь не была переломным событием в вопросах военной тактики и организации. Напоровшиеся на ряды фламандских пик французские всадники в панике бежали, оставив на поле боя огромное количество оружия и шпор, которыми победители украсили один из местных соборов. Но после Куртрэ фламандские буржуа терпели от французских рыцарей одно поражение за другим. Соотношение сил на поле боя вновь изменилось только благодаря появлению на континенте английских стрелков.

Победа фламандцев в «Битве шпор» была достигнута не за счет технических новшеств, а за счет того, что изменилась социальная организация пехоты. Сплоченные, построенные плотными рядами, дисциплинированные пехотинцы уже не разбежались при виде тяжеловооруженных всадников.

Борьба швейцарских кантонов за самостоятельность против австрийских Габсбургов породила новую военную силу, прославившуюся на всю Европу. Как отмечает Дельбрюк, основой боевой дисциплины швейцарцев была связь с гражданской властью и крепкой общинной организацией. Привычная структура общины воспроизводилась на поле боя, ее лидеры имели непререкаемый авторитет, поддерживавшийся жесткой системой наказаний, которые над трусами и дезертирами приводили в исполнение их собственные односельчане. Бойцы не рассеивались по полю сражения в случае успешной атаки, не грабили, не покидали строя, пока не получали соответствующего разрешения. Таким образом, «здесь речь идет не о революционном восстании мирных, доведенных до отчаяния крестьян, а о планомерной борьбе воинственно настроенной общины с опытными в военном деле вождями под руководством испытанного командования»<sup>28</sup>.

Швейцарская, английская, фламандская пехота наносила поражение рыцарям еще со средневековым оружием. Единственным нововведением швейцарцев стала алебарда, совместившая на одном древке копьё, топор

<sup>28</sup> *Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории.* СПб.: Наука, 2001, т. 3, с. 347.

и крюк, по оценке Дельбрюка, — идеальное оружие для «незащищенных доспехами пехотинцев против тяжело вооруженных рыцарей»<sup>29</sup>. Одержав верх поочередно над австрийцами, миланцами, французами и бургундцами, швейцарцы не только прославились на всю Европу, но и спустя некоторое время превратили военное искусство в форму экспортного бизнеса, отправляя свою пехоту за деньги воевать под знаменами Франции и других иностранных государств. К началу XVI века швейцарская пехота оказалась ударной силой сразу нескольких европейских армий.

Победы пехоты над конницей в конце Средних веков — победы рождающегося буржуазного порядка и бюрократического государства над феодальным порядком, но отнюдь не новой военной техники над старой. Общей чертой, объединявшей швейцарцев, английскую пехоту, фламандских копейщиков и даже гуситов являлась не тактика или вооружение, а новая «демократическая» социальная организация, когда представители «элиты» сражались в одном строю с пехотой. Другое дело, что изменение общественного порядка открывало возможности для новой военной тактики, что отлично продемонстрировали революционные войны гуситов.

Напротив, новаторские подходы не спасли Карла Смелого от катастрофического поражения в борьбе со швейцарцами. Как отмечают историки, «Карл собрал лучшие силы отовсюду» (*recruited an army of the best of everything*)<sup>30</sup>. У него было все: итальянские кондотьеры со своей тяжелой кавалерией, лучники, нанятые в Англии, большое количество огнестрельного оружия, включая великолепный артиллерийский парк, превышавший 500 стволов. Была даже униформа — синяя с белым андреевским крестом на груди. Отряды имели систематизированные флаги и вымпелы. С 1471 года периодически издавались специальные указы, подробно описывающие развертывание боевых сил. Но несмотря на все эти новации, у Карла Смелого была не регулярная армия, а феодальное войско, изображавшее из себя регулярную армию. В результате Карл Смелый терпел одно поражение за другим от швейцарцев, чья «простая тактика и смелый напор праздновали триумф над более сложно организованной и уязвимой за счет этого военной машиной» (*a triumph of simple tactics and elan over an apparently more sophisticated force*)<sup>31</sup>.

Революция в военном деле, развернувшаяся на протяжении XV века, была неотделима от социальных и культурных изменений, происходив-

<sup>29</sup> Г. Дельбрюк. Цит. соч., с. 350.

<sup>30</sup> М. Беннет, Дж. Брэдбери, К. Де-Фрай, Й. Дикки, Ф. Джестайс. Войны и сражения Средневековья. М.: ЭКСМО, 2007, с. 66 (ориг. изд.: M. Bennett, J. Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, Ph. Jestice. *Fighting Techniques of the Medieval World. AD 500 — AD 1500.* London: Spellmount, 2005, p. 60).

<sup>31</sup> Там же, с. 67 (Ibid., p. 61).

ших в обществе. Спрос на новую технику был как раз следствием этих перемен.

Причины упадка рыцарства — социально-экономические и, как следствие, политические. Дорогие доспехи оставались роскошью, недоступной для массовой военной организации. А рост численности армии делал тяжелую конницу все менее значимым фактором на поле боя. Количество побеждает качество. Чем больше государство способно мобилизовать крупные воинские контингенты, тем меньше значение рыцарских отрядов.

Преимущество пехоты было не в ее вооружении, а в дешевизне и массовости. И это было преимущество не военно-тактическое, а в первую очередь — экономическое. Другое дело, что изменившаяся экономика и социология войны радикальным образом изменила и тактику сражений.

Технический переворот — не причина, а следствие перемен социально-политических. А эти перемены продиктованы экономическими процессами. Не новые военные технологии изменили войну, а новации в сельском хозяйстве и ремесле изменили общество, включая и его военную структуру.

Феодалные ополчения уступали место регулярной армии, для которой решающую роль играла растущая зависимость войска от правительства, от финансового состояния страны и от эффективности центрального государственного аппарата. Отсюда потребность в стандартизации вооружения и стремление власти получить максимальный эффект на каждую потраченную монету — оптимизация расходов.

В армии происходит снижение индивидуальных требований к профессионализму бойца, зато появляются новые требования: дисциплина, способность к согласованным действиям, четкому выполнению общего маневра и т.д.

Средневековая битва на определенном этапе неизбежно распадалась на серию поединков и групповых схваток, тогда как с появлением регулярной армии все большее значение имела способность держать строй и маневрировать. Скорость боевого перестроения отряда значила больше, чем масса брони на отдельном всаднике, который не мог решить исхода дела, даже если был отважен и практически неуязвим.

Мушкет и аркебуза — оружие неудобное, заряжается медленно, имеет низкую точность и в индивидуальном бою практически бесполезно. Одиночный выстрел из мушкета на поле боя редко попадал в цель<sup>12</sup>. Но

<sup>12</sup> Уже в XVI веке изготавливались относительно точные охотничьи ружья, к тому же, порой, многозарядные (по револьверному принципу). Уже тогда появились и аналогичные многозарядные пистолеты. Однако это оружие было дорогим, а потому не использовалось в армиях. Дешевле и эффективнее было выставить пепую линию, вооруженную примитивными мушкетами.

солдаты, вооруженные мушкетами, становятся грозной силой, объединенные в роты, стреляющие залпами. Иными словами, это оружие, которое может эффективно применяться только в хорошо организованной и сравнительно массовой армии. Эпоха индивидуальных бойцов кончается, начинается время столкновения боевых порядков.

Сплоченность войска имела значение и в феодальной кавалерии. Но в кавалерии сплоченность отряда и четкость его действий достигается за счет личной подготовки всадников и их лошадей. В пехоте тот же эффект достигается посредством простых коллективных упражнений, не требуя длительной индивидуальной подготовки.

Повышение роли пехоты происходило даже за счет потери маневренности вооруженных сил, снижения скорости их движения. Итогом этой эволюции становится малоподвижная линейная тактика XVIII века. Но пехота отвечает требованиям новой армии, прежде всего потому, что стоит дешевле. Она выигрывает «по соотношению цены и качества».

Феодальное ополчение собиралось по призыву сеньора его вассалами, причем отряды различались структурой и численностью. Даже если их удавалось объединить на поле боя в единое целое, сконцентрировав массу рыцарской конницы для решающего удара, в плане повседневного управления они оставались разобщены. Напротив, регулярная армия организуется и набирается непосредственно государством. Армия Генриха V представляла собой промежуточное явление. С одной стороны, ее костяк составляли регулярные части (с техническими службами, инженерными подразделениями и военными медиками), а с другой — присутствовало и феодальное ополчение, которое должно было теперь подчиниться общевоинской дисциплине.

Окончательно преимущество аркебузы над средневековым оружием было доказано битвами при Бикокке (La Bicocca) в 1522 году и при Павии (Pavia) в 1525 году. Однако при Павии не произошло в тактическом смысле ничего нового по сравнению с Пуатье, Кресси, Азенкуром и «Битвой Шпор» при Куртрэ. Просто с помощью аркебуз был достигнут тот же эффект, что ранее с помощью большого английского лука (longbow). Хорошо организованная и дисциплинированная пехота оказалась способна выдержать удар тяжелой кавалерии и обратить ее в бегство. Французская армия в очередной раз поплатилась за излишнюю самоуверенность. Лучшее в мире рыцарство оказалось отнюдь не равносильно лучшей в мире армии. Испанские полководцы сумели использовать новую военную технологию лучше своих французских противников, выработывая новую тактику, которая соединила принципы пехотного боя, разработанные англичанами в XIV–XV веках, с возможностями огнестрельного оружия.

Замена лука мушкетом имеет социальное значение и по отношению к низам общества. На первый взгляд кажется, что по мере того как пехо-

тинец становится на поле боя важнее всадника, военное дело перестает быть делом профессиональной потомственной элиты и демократизируется. Однако одновременно происходит отчуждение армии от населения, регулярные части — наемные или сформированные по иному принципу — вытесняют ополчение, а массы утрачивают навыки обращения с оружием. Лук (пусть не самого высокого качества) мог быть изготовлен в «домашних условиях» или сельскими оружейниками. Он постоянно применялся в качестве охотничьего оружия. Пользоваться им мог любой мужчина, другое дело, что способность к точной стрельбе достигалась постоянными тренировками, которые в Англии, например, были обязанностью всего мужского населения, не исключая и духовенство (закон обязывавший все мужское население ежегодно тренироваться в стрельбе из лука не был формально отменен даже в начале XXI века). Иными словами, лук стал идеальным оружием народной войны или же оптимальным вооружением для мобилизационной, народной армии. Холодное оружие тоже могло быть изготовлено в деревне, хоть и значительно уступало по качеству продукции городских оружейников. Совсем иное дело мушкет. Производить его могут только в специальных мастерских. Чтобы научиться заряжать его и стрелять из него, требуется специальная подготовка, но и она не имеет смысла отдельно от строевой и тактической подготовки. В качестве охотничьего оружия мушкет бесполезен: стоит дорого, стреляет медленно и неточно. Стрелы тоже можно изготовить самостоятельно, но отнюдь не порох.

Нарезное и скорострельное огнестрельное охотничье оружие, появляющееся уже в XVI веке, было доступно лишь богатым сеньорам. Вплоть до XVIII века в качестве массового охотничьего оружия продолжает использоваться лук или самострел. Иными словами, бытовые навыки населения и военная практика (тесно связанные между собой в Средние века) радикальным образом расходятся.

Армия, вооруженная огнестрельным оружием, дает государству возможность вести войну не только независимо от феодальных сеньоров, но и без участия народа. Для того чтобы собрать феодальное войско нужна была лояльность вассалов. Теперь ситуация меняется радикально. В первую очередь правительству нужна не поддержка подданных, а деньги.

Между тем деньги это сфера буржуазии. Начиная с первой половины XVI века большая часть монархов начинает испытывать почти перманентный финансовый кризис. Зависимость монархии от буржуазии возрастает пропорционально остроте денежного вопроса. Деньги поступают в казну из добровольных пожертвований купцов, заинтересованных в проводимой политике, их берут займы, вымогают, получают через систему откупов и монополий. В конечном счете все эти способы ставят монархов в зависимость от буржуа. Но даже там, где государственные



финансы находятся в относительном порядке, управление ими оказывается в руках представителей «третьего сословия», способных заниматься подобными делами профессионально.

Новая организация войск предопределила неизбежный рост численности армий. Исследователи считают, что между 1530 и 1710 годами численность европейских армий увеличилась примерно в 10 раз<sup>33</sup>. Это можно очень хорошо проследить на примере Франции. В 1494 году, когда Карл VIII предпринял вторжение в Италию, положив начало многолетнему периоду франко-испанских войн, с ним была мощная армия из 20 тысяч человек. Когда между сражающимися странами был заключен в 1559 году Като-Камбрезийский мир (Cateau-Cambrésis), обе стороны имели армии, достигавшие 50–60 тысяч человек, не считая морских сил. В Тридцатилетнюю войну Франция вступила имея 125 тысяч солдат, а Людовик XIV имел под ружьем уже до 400 тысяч человек. Для сравнения, армия Петра Великого в этот же период имела 200 тысяч бойцов, австрийские силы составляли около 100 тысяч и примерно столько же могла выставить на поле боя маленькая Голландия<sup>34</sup>. Однако военные усилия, достигшие пика во время войны за Испанское наследство, оказались для Франции разорительными, что способствовало поражению «короля-Солнце» ничуть не меньше, чем полководческий гений герцога Мальборо и принца Евгения Савойского.

Разумеется, как отмечает английский историк Ричард Бонни (Richard Bonney), официальные данные о численности войск, набранных европейскими монархами для войн и кампаний XVI–XVII веков, нельзя принимать на веру: на бумаге армии выглядели куда более мощными, чем были в действительности. Отчеты скрывали число дезертиров, в полках числились «мертвые души», жалование которых бессовестно присваивали командиры<sup>35</sup>.

Главным отличием новой военной организации от прежней была, однако, не численность войск, а способность держать большие массы людей «под ружьем» сравнительно долгое время. Феодалные вожди на протяжении Средневековья нередко собирали под свои знамена впечатляющие по численности армии, но эти силы объединялись для одной кампании, а нередко даже для одного сражения. Именно нехватка средств, делавшая невозможным постоянное пребывание значительных сил во Франции, в значительной мере предопределила поражение Англии в Столетней войне. На протяжении XVI–XVII веков все основные

<sup>33</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 144.

<sup>34</sup> См.: *T. Blanning. The Pursuit of Glory. The Five Revolutions that Made Modern Europe: 1648–1815*. London: Penguin Books, 2008, p. 289–290.

<sup>35</sup> См.: *R. Bonney. The European Dynastic States: 1494–1660*. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 352–357.

европейские государства предпринимают усилия для того, чтобы создать постоянные армии, способные не только вести длительные войны, но и находиться в распоряжении правительства в любой момент.

Еще большую нагрузку для государственного бюджета представлял военный флот. В Средние века даже будущие морские державы, такие как Англия или Дания, не в состоянии были сохранять сильный флот в мирное время. Серьезные военно-морские силы постоянно имелись лишь у торговых республик северной Италии и Ганзы, которые просто не могли бы без них существовать. При Генрихе V для того, чтобы обеспечить свои финансовые нужды, Королевский флот занимался торговыми операциями, перевозил вина из Гаскони. В последующий период он пришел в упадок и был возрожден лишь при Тюдорах, но к началу правления Стюартов опять началась его деградация. Эпоха Великих географических открытий и морской торговой экспансии требовала создания флота. Между тем флот стоил дорого и должен был поддерживаться в хорошем состоянии в мирное время — в отличие от армий, которые можно сокращать или распускать. Обратной стороной военной реформы становится рост государственного долга. Как отмечает Бонни, «к 1550-м годам большинство европейских монархов, которые были вовлечены в серьезные конфликты, не имели в текущем бюджете достаточно средств, чтобы оплачивать свои военные расходы»<sup>36</sup>. Без буржуазии и ее средств война делалась невозможной. Но и без войн невозможно было решить задачи, стоящие перед буржуазией, — освоение новых ресурсов и создание рынков происходило путем завоевания новых стран.

«Еще задолго до того, — писал Ф. Энгельс, — как стены рыцарских замков были пробиты ядрами новых орудий, их фундамент был подорван деньгами. Фактически порох был, так сказать, простым судебным исполнителем на службе у денег»<sup>37</sup>. Суть «военной революции» конца XV — начала XVI века состояла в том, что изменилась не столько технология, сколько экономика войны, социальная природа государства и армии. Рыцарство уничтожил не порох, а золото. Новые военные силы были готовы для решения новых задач. И эти задачи были вскоре поставлены эпохой первоначального накопления капитала.

## ОТКРЫТИЕ НОВОГО МИРА

Человек, родившийся в 1442 году, при некотором везении вполне мог прожить до 1527 года или даже немного дольше. Мир, который видел он в конце жизни, отличался от мира его детства, наверное даже больше, чем это происходило с людьми, жившими на рубеже XIX и XX веков, или

<sup>36</sup> Ibid., p. 357.

<sup>37</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 408.

живущими в наше время. За какие-нибудь семь десятилетий изменилось представление о размере планеты и устройстве солнечной системы. Книжки, вместо того чтобы переписывать, начали печатать с помощью станка Иоганна Гутенберга (Johannes Gutenberg) — невысказанными прежде тиражами, по несколько сот экземпляров! Рухнула стоявшая тысячу лет Византийская империя. Турецкие армии хлынули в Венгрию, которая враз потеряла и роль ведущего государства Центральной Европы, и политическую независимость. Папа Римский утратил признание в качестве единственного главы Западного Христианства. Ереси превратились в религиозные доктрины, поддерживаемые светскими властями (пока еще по большей части неофициально, но почти в открытую). Библию можно было читать не только по-латыни, но и на родном языке. Крестьяне восставали против своих господ. Кастилия и Арагон соединились в единую испанскую державу, которая не только завершила Реконкисту, покорив Гренаду, последнее арабское владение на полуострове, но и создала невиданную империю на другом конце земли. Маленькое португальское королевство стало другой мировой империей.

Эпоха Великих географических открытий была не только временем, когда европейцы обнаруживали новые торговые пути, исследовали неизвестные острова и континенты. Она была и периодом радикальных политических и экономических перемен, которые, в свою очередь, отражались на культуре и массовом сознании.

Океанские плавания способствовали техническому прогрессу, заставляя отстать во многих отношениях Запад усваивать знания и опыт азиатских цивилизаций или совершенствовать собственные методы. Как отмечает английский историк Ян Кэрю (Jan Carew): «За две тысячи лет до Колумба египетские, ливийско-нубийские, финикийские, карфагенские и позднее китайские моряки, а также другие мореплаватели древности использовали куда более совершенные приборы, чем его астрология»<sup>38</sup>. Эти знания, как отмечает Иван Ван Сертима (Ivan Van Sertima) в исследовании, посвященном доколумбовым плаваниям в Америку, «были полностью утеряны в Европе в ходе Темных веков»<sup>39</sup>. Средиземноморская навигация XI–XIV веков не нуждалась в сложных измерительных приборах и других морских технологиях, необходимых для океанских плаваний. И лишь в XVI веке, столкнувшись с необходимостью обеспечить постоянный доступ к землям, лежащим за океанами, европейские мореплаватели начали быстро учиться, перенимая навыки и технические знания в Азии.

Экспансия Запада была отнюдь не результатом индивидуальной предприимчивости или естественным следствием рыночной конкурен-

<sup>38</sup> Race and Class, v. XXIX, Spring 1988, No. 4, p. 6.

<sup>39</sup> I. Van Sertima. They Came Before Columbus. N.Y.: Random House, 1976, p. 55.

ции, а результатом целенаправленных усилий государства — сначала королей Португалии и Испании, затем правительств Голландии, Англии, Франции и Дании. Осознанные усилия правительства, меры, последовательно проводимые Генрихом Мореплавателем, привели к прорыву португальцев в Южную Атлантику и позднее Индийский океан. Европейцы, приходя в Азию и Америку, формировали новые рынки, создавая новую предпринимательскую культуру, но движущей силой развернувшегося глобального процесса была отнюдь не частная инициатива. Вернее, частная инициатива становилась решающим фактором перемен благодаря тому, что на нее систематически и непрерывно работала постоянно растущая мощь государства.

Традиционно принято считать, что толчком к активным географическим исследованиям и поиску новых морских путей послужил захват турками Константинополя в 1453 году. Однако были и другие не менее важные факторы, стимулировавшие усилия в том же направлении. Португальский принц Генрих Мореплаватель начал организовывать экспедиции в Атлантику задолго до падения Византии. Польский историк Мариан Маловист (Marian Malowist) напоминает, что к 1453 году, когда пала Византия, «португальская фактория на побережье Западной Африки, на острове Аргуин, существовала уже пять лет, а генуэзцы еще задолго до этих событий обдумывали возможности экономической экспансии не только на Пиренейский полуостров, но и на атлантические острова»<sup>40</sup>. Разумеется, в качестве политического, культурно-психологического и военного фактора падение Византии имело огромное значение, но оно не было единственным толчком, способствовавшим началу Великих географических открытий.

Португальские исследования западного побережья Африки были первоначально нацелены не на поиск морского пути в Индию, который многим казался невозможным (согласно географии Птолемея, такого пути быть не могло, связи между Атлантическим и Индийским океанами не было), а попытками получить доступ к африканскому золоту. Торговля золотом, которое обменивалось на соль и другие товары с XI века была основой процветания африканских империй — Мали и Ганы<sup>41</sup>. В XV веке на смену им пришла Сонгайская держава в долине реки

<sup>40</sup> История, социология, культура народов Африки, с. 120.

<sup>41</sup> Хотя добыча золота была налажена и в арабских странах (оно имелось в Марокко и Египте), в Западном Судане получать его было легче, причем в очень больших количествах. «Золото в этих районах выходит на поверхность в виде кварцевых жил или как аллювиальное золото в залежах голубой глины или кремния. В сухое время его добывают только на рудниках, расположенных у воды; в сезон дождей можно использовать кварцевые рудники, более производительные» (История, социология, культура народов Африки, с. 52).

Нигер. Золото и невольники поступали в страны Магриба по караванным путям, контролировавшимися арабскими купцами. Сложившиеся тут транзитные центры превратились в богатые торговые города с собственной купеческой олигархией, напоминавшей венецианскую и генуэзскую. Советский исследователь Л.Е. Куббель отмечает, что ключевые перевалочные пункты транссахарской торговли «располагались по возможности ближе к Нигеру, к водному пути, которым можно было легче и быстрее, да и к тому же с большей безопасностью от кочевников южной окраины Сахары, добраться в основные области Западной Африки»<sup>42</sup>. После того как ушла в прошлое военно-политическая мощь Ганы, центр торговых операций сместился в район Томбукту. С XIII века сложился своеобразный «треугольник торговых путей в Западном Судане, на вершинах которого располагались Гао, Томбукту и Дженне. Три этих города замыкали с севера главные (западный и восточный) караванные пути через Сахару, а с юга — дорогу от важнейших областей добычи золота в долину Нигера, а оттуда в Северную Африку»<sup>43</sup>.

На рынках этих городов не только обменивалась соль на золото и невольников. Здесь можно было приобрести любые арабские товары, европейские ткани, включая лучшее венецианское сукно, а также рукописные книги, которые, как отмечал Лев Африканский, «дают больше дохода, нежели остальные товары»<sup>44</sup>.

Основная масса золота, поступавшего в обмен на соль, направлялась в арабские страны Ближнего Востока, но изрядная часть доходила и до Европы. По мнению исследователей, «желтый металл, покупаемый генуэзцами в Испании, Португалии, Марокко и на острове Сицилия, происходил едва ли не исключительно из Западного Судана. Из стран полуострова и особенно из его портов золото поступало в Западную Францию и Англию и далее на северо-восток»<sup>45</sup>. Его было достаточно для того, чтобы в этих странах, не обладавших собственными запасами, могли чеканить собственную золотую монету, причем в случае Англии — хорошего качества. К тому же курс золота в Европе снижался. Если во Франции соотношение серебра к золоту в конце XIII века составляло 1:14, то в XIV веке оно колебалось между 1:6,6 и 1:12. В тот же период в Тунисе курс серебра к золоту колебался между 1:9,3 и 1:11,6<sup>46</sup>. В самом же Запад-

<sup>42</sup> Л.Е. Куббель. Сонгайская держава. Опыт исследования социально-политического строя. М.: Наука, 1974, с. 86.

<sup>43</sup> Там же, с. 87.

<sup>44</sup> Цит. по: Там же, с. 90.

<sup>45</sup> История, социология, культура народов Африки, с. 145.

<sup>46</sup> См.: Там же, с. 139, 140, 142. В самом Западном Судане дефицитным было как раз серебро, и соотношение ценности двух металлов в XV веке колебалось на уровне 1:3 и даже 1:1. См.: Там же, с. 138.

ном Судане изобилие золота задолго до европейской «революции цен» в Европе привело к высокой инфляции, любые товары здесь в пересчете на западную монету стоили гораздо дороже, чем в Каире или Венеции. Арабский путешественник отмечает, что в Дженне «сложились крупные состояния, которые может счесть только Аллах»<sup>47</sup>. А социальный статус торговой элиты был столь велик, что богатые купцы женились на дочерях местных королей. Собственно вся государственная политика средневековой Западной Африки была подчинена интересам торговли. Часто повторявшиеся войны поставляли на рынок невольников, спрос на которых неизменно предъявляли покупатели из арабских стран, а контроль над караванными путями был не только целью, но в значительной мере и смыслом существования местных держав. Транзитная торговля не только увеличивала богатство олигархии, но и оказывалась тормозом для развития местного ремесленного производства — все необходимые товары прибывали вместе с караванами. После открытия Америки, однако, спрос на африканское золото начинает падать, а его ценность уменьшаться — поток драгоценных металлов из Нового Света меняет экономическую ситуацию. Сонгайская держава приходит в упадок, а в конце XVI века разрушается под ударами марокканцев. Для султанов Марокко установление контроля над африканской торговлей было последней отчаянной попыткой стать великой державой, способной соперничать с растущей мощью испанцев и португальцев. В 1580-х годах они захватили соляные копи Тегазы (Teghaza), а затем двинулись на Томбукту. Однако завоевание этого транзитного центра оказалось пирровой победой: золота там не было, а караванные пути стали смещаться в других направлениях.

Плавали к берегам золотоносной Африки в XV веке не только португальцы. В 1421 году Китайская империя организовала грандиозные исследовательские экспедиции, участники которых пересекли Индийский океан с востока на запад, а также изучили многие другие земли. Между 1405-м и 1433-м годом путешествия, организованные под руководством Чен Хо (Cheng Ho), существенно превосходили то, на что была способна Европа, не только в те времена, но и в XVI веке. В экспедициях участвовали 62 корабля и 28 тысяч человек<sup>48</sup>. По сравнению с китайскими экспедициями начала XV века, усилия португальских мореплавателей выглядели сперва довольно жалкими. Технологически Европа отставала от Азии. В конце XX века, когда западные исследователи осознали в полной мере масштабы этих предприятий, многие склонны были радикально переоценить историю морских открытий и по-новому взглянуть

<sup>47</sup> Цит. по: Л.Е. Куббель. Цит. соч., с. 89.

<sup>48</sup> См.: The Political Economy of Merchant Empires, p. 104.

на роль Китая в мировых экономических процессах XV–XVI века. Восхищенные (а порой и приукрашенные) описания гигантских китайских судов и их дальних путешествий заполнили страницы книг<sup>49</sup>. Однако не менее поразительным, чем масштабы этих экспедиций, является и отсутствие практического результата. Эти предприятия, как отмечает М.Н. Пирсон (M.N. Pearson), «имели совершенно иной характер» (totally different in character) по сравнению с тем, что делали португальцы, «не говоря уже о позднейших предприятиях голландцев и англичан»<sup>50</sup>. Однако правительство Поднебесной империи довольно скоро прекратило морские экспедиции. Отвечая историкам, недоумевающим, почему Китай поступил подобным образом, Арриги замечает, что открытие нового морского пути между Западом и Востоком для Китая было менее выгодно, нежели для Португалии. Однако в таком случае непонятно, зачем вообще подобные экспедиции предпринимались?

К тому же логика «относительной» выгоды здесь не работает. Лидеры Поднебесной империи имели собственные цели и задачи, не задумываясь о том, насколько они совпадают или нет с европейскими. Иными словами, если бы они руководствовались соображениями выгоды, то продолжали бы успешные экспедиции независимо от того, что возможные плоды успеха для них были бы несколько меньшими, чем для португальских варваров. Но в том-то и дело, что Китай и Западная Европа уже в XV веке представляли собой два совершенно разных общества, живших по разной логике. Китай свернул свои исследования, поскольку его цель отнюдь не состояла в развитии торговли.

Мосионжник объясняет прекращение исследований тем, что подобные проекты были далеко не самым важным делом государства, а «казна была пуста»<sup>51</sup>, а известный российский востоковед Л.С. Васильев напоминает, что путешествия «не принесли никакой экономической выгоды», их целью был «прежде всего престиж, демонстрация величия и всеисилия власти»<sup>52</sup>.

Внешняя торговля была императорской монополией, чиновники торговать не хотели и не умели, а потому у правительства не было стимулов идти на огромные затраты, которые не приносили немедленной выгоды. Однако португальцы, пришедшие в Восточную Африку вскоре после китайцев, тоже придерживались принципа государственной тор-

<sup>49</sup> См.: A. Gunder Frank. *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press, 1998; G. Menzies. 1421: *The Year China Discovered the World*. London: Bantam Press, 2002 (рус. изд.: Г. Мензис. 1421 год, когда Китай открыл мир. М.: ЭКСМО — Яуза, 2006).

<sup>50</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 105.

<sup>51</sup> Л.А. Мосионжник. Цит. соч., с. 233.

<sup>52</sup> Цит. по: А.А. Дельнов. Цит. соч., с. 451.

говли, что не помешало им занять доминирующее положение на берегах Индийского океана и даже построить торговую систему, которая сохранилась после того, как их вытеснили оттуда голландцы. Следовательно, дело все-таки не в государственной монополии как таковой, а в характере государства, его целях, приоритетах, структуре и, не в последнюю очередь, классовой основе.

По отношению к Китайской империи, некоторые исследователи даже говорят о «командной экономике». Западные исследователи пишут про «антикоммерческие принципы конфуцианского государства» (*anticommercial nature of the Confucian state*)<sup>53</sup>. Однако это отнюдь не означает, будто Поднебесная империя была принципиально враждебна торговле. Контроль был постоянным и эффективным, однако принимались и поощрительные меры, тем более что доходы казны от экспорта были весьма значительны. Путешествия китайцев за границу не поддерживались, а порой были и вовсе запрещены. Но корейские и арабские купцы, занимавшиеся вывозом товаров, получали помощь и защиту. Китайская бюрократия могла быть трудным партнером для иностранных купцов, но, по крайней мере, она гарантировала торговым отношениям безопасность и предсказуемость, а это в те времена было исключительно важно. Заморские путешествия китайцев были прекращены именно потому, что поглощая огромные ресурсы, они почти ничего не давали Поднебесной: проще и дешевле было вести торговлю не своими силами, а через иностранцев. Именно после этих экспедиций был введен запрет на выезд китайцев за пределы Поднебесной, корабли демонтированы, а вскоре затем запрещено было и строительство крупных морских судов.

Между тем к концу XV века португальские путешествия вдоль берегов Африки дали блестящий результат: обогнув мыс Доброй Надежды, каравеллы вышли в Индийский океан, доказав, что география Птолемея лгала — морской путь в Индию с Запада существовал. Вскоре Васко да Гама (*Vasco da Gama*) совершил свое знаменитое путешествие. Испанское королевство, образованное за счет слияния Арагона и Кастилии, включилось в гонку открытий, финансируя экспедиции Христофора Колумба, обещавшего найти путь в Индию и Китай через Атлантику — с Запада. Вместо этого он открыл Америку.

Эти параллельные открытия обеспечили своеобразное (хоть и не совсем бесконфликтное) разделение сфер влияния между двумя государствами Иберийского полуострова. Испании досталась Америка и контроль над Атлантическим океаном, тогда как Индийский океан стал на некоторое время вотчиной Португалии. Святой Престол санкционировал этот раздел мира, превратив его в религиозно-юридический факт.

<sup>53</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 102.



В 1493–1494 годах Папа Александр VI произвел раздел мира между Испанией и Португалией, провозгласив, что отныне Португалия — «ладычица судоходства, завоевания и торговли с Эфиопией, Аравией, Персией и Индией»<sup>54</sup>. Иными словами, в качестве сферы влияния Лиссабона была признана вся зона Индийского океана.

Правда, Африкой и побережьем Индийского океана завоевания Португалии не ограничились — одна из португальских экспедиций была отнесена ветрами от африканского берега на Запад, где открыла берега будущей Бразилии. С этого момента португальская держава, не прекращая своей экспансии в направлении Индии и Африки, одновременно начинает колонизацию Нового Света.

### ПЕРВАЯ МОРСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОРТУГАЛИЯ

Португальские экспедиции в Атлантику, начатые Генрихом Мореплавателем в XV веке, не прекращались на протяжении столетия, давая впечатляющие результаты. «Их путешествия были неизменно хорошо подготовлены, — пишет английский историк. — Сменявшие друг друга короли относились к этим вопросам с одинаковой серьезностью. Скромные ресурсы, доверенные талантливым командирам, использовались с толком для достижения четко сформулированных целей, хотя бывали и трудности, и случаи, когда в отдалении от родины руководители экспедиций превышали свои полномочия. К счастью, в странах, куда португальцы прибывали, они не сталкивались со значительным сопротивлением, как раз наоборот, местные жители с ними охотно сотрудничали, а правители азиатских сухопутных империй пока не видели в них серьезной угрозы»<sup>55</sup>.

Безусловно, военные конфликты, развернувшиеся в Восточном Средиземноморье в середине XV века, стимулировали исследования. Однако поиск альтернативного морского пути на Восток имел и другие мотивы. Предпринятые португальцами действия были направлены против монополии Венеции даже в большей степени, нежели против турок. Как позднее голландское торговое посредничество становилось все более обременительным для остальной Европы, так и торговая монополия венецианцев в XV веке вызывала недовольство у многих. Захват турками Константинополя осложнил развитие венецианской торговли, сделав ее более опасной и дорогой, но Александрия оставалась главным торговым портом, открытым для итальянских купцов.

Будучи правоверными католиками, правители Португалии, разумеется, ставили на первое место религиозные мотивы своих действий и

<sup>54</sup> Э. Шмидт. Индия, Цейлон, Индокитай. СПб.: Полигон, 2003, с. 217.

<sup>55</sup> G. V. Scammell. The First Imperial Age: European Overseas Expansion c. 1400–1715. London: Unwin Hyman, 1989, p. 12.

были в этом достаточно искренни. Однако коммерческая выгода никогда не ускользала от их внимания. Когда корабли Васко да Гама пристали в 1498 году к берегам Индии, на вопрос двух арабских купцов, зачем они сюда прибыли, последовал безошибочный ответ: «Мы пришли искать христиан и пряности»<sup>56</sup>. Возвращаясь на родину, португальский мореплаватель вез с собой письмо правителя Калькутты, в котором говорилось: «Васко да Гама, дворянин вашего двора, посетил, к моей великой радости, мое государство; оно богато корицей, гвоздикой, имбирем, перцем и драгоценными камнями. То, что я желал бы получить из вашей страны — это золото, серебро, кораллы и красное сукно»<sup>57</sup>.

Римские Папы в XV веке благословили португальских королей не только на борьбу с неверными, но и на грабеж. В 1452 году была выпущена первая подобная булла — «*Dum diversas*», за ней в 1455 последовала «*Romanus Pontifex*» и «*Inter caetera*» в 1456 году. Как отмечает английский историк, эти документы «установили нормы поведения для европейцев в тропических странах (точнее благословили нарушение любых цивилизованных норм)»<sup>58</sup>. По отношению к мусульманам и язычникам папские буллы не предусматривали никакого снисхождения, призывая «захватывать их имущество и земли, обращать их в рабство»<sup>59</sup>.

Король Португалии Мануэль I рассматривал экспансию Португалии на Восток как продолжение Крестовых походов. Нет причин сомневаться в искренности его религиозных убеждений, ведь именно он в 1496 году постановил сжечь в стране все иудейские молитвенники, а евреям — обратиться в католичество либо покинуть королевство. Но глубокая религиозность не мешала правителям Лиссабона заботиться о коммерческой выгоде. Уже в Западной Африке португальцы обнаружили специи, которые можно было экспортировать в Европу. В Индии открылись грандиозные торговые возможности. Однако появление португальских кораблей в Индийском океане привело не только к росту товарооборота между Европой и Азией, но и к немедленному вооруженному конфликту с арабскими и мусульманскими купцами, которые ранее контролировали поставки специй на Запад через Ливан и Египет. Первым последствием географических открытий, совершенных Васко да Гама, стала ожесточенная торговая война. Обе стороны вели себя крайне агрессивно, причем первые вооруженные нападения совершили именно мусульмане. Однако португальцы обладали важнейшим

<sup>56</sup> G. J. Ames. *The Globe Encompassed. The Age of European Discovery: 1500–1700*. Upper Saddle River, N.J.: Pearson. 2008, p. 5.

<sup>57</sup> Цит. по: Э. Шмидт. Цит. соч., с. 217.

<sup>58</sup> C. R. Boxer. *The Portuguese Sea-borne Empire, 1415–1815*. London: Hutchinson, 1969, p. 23.

<sup>59</sup> *Ibid.*, p. 21.

преимуществом — их экспедиции были организованы и подготовлены государством, они были в равной степени способны сражаться и торговать, причем первое у них получалось даже лучше. В 1502–1505 годах одна экспедиция за другой обеспечивали европейцам создание военно-торговых плацдармов в Азии. Португальские пушки стали главным аргументом в споре христианских коммерческих факторий с мусульманскими торговыми империями. Товарооборот стремительно рос. Между 1497-м и 1500-ми годами португальская корона послала в Индийский океан 17 кораблей. В период с 1501 по 1510 год — уже 150 судов<sup>60</sup>. Каждая из этих флотилий представляла собой одновременно военное и торговое предприятие, причем нарастающий коммерческий успех позволял наращивать военные усилия и наоборот. Одновременно приходила в упадок левантская торговля арабов и венецианцев. Экспорт специй через Александрию, который колебался от 480 до 630 тонн в конце XV века, упал в начале следующего века до 135 тонн. То же происходило и в Бейруте. Зато в Лиссабоне ежегодно выгружали до 42 тысяч тонн<sup>61</sup>.

Лишь спустя несколько лет арабы оказались способны организовать сопротивление на государственном уровне. Из Египта была отправлена экспедиция во главе с Эмиром Хасейном Машриф аль-Курди (Emir Hasain Mushrif al-Kurdi). Поскольку на Востоке всех западноевропейцев со времен Крестовых походов называли «франками», арабский адмирал получил предписание «вступить в бой с франками, которые появились в Океане и пытаются перерезать торговые пути мусульман»<sup>62</sup>.

Как видим, не религиозные разногласия, а торговое соперничество было главной движущей силой конфликта. Различие в вероисповедании не мешало египетским купцам и венецианцам заключать выгодные сделки между собой. Приход португальцев изменил все: они не встраивались в старую систему отношений, а разрушали ее, формируя новые рынки и торговые пути.

Первое столкновение египетского флота с португальскими судами произошло в марте 1508 года и закончилось победой египтян. Когда весть о исходе боя достигла Каира, там были организованы трехдневные празднества. Однако это была пиррова победа, достигнутая исключительно благодаря ошибкам самих португальцев. В феврале 1509 года под Диу (Diu) португальская эскадра атаковала превосходящий по численности арабский флот и разгромила его.

Достигнув Индийского океана, португальцы обнаружили там развитую систему товарообмена, «множество торговых путей, как местных,

<sup>60</sup> См.: *G.J. Ames. Op. cit.*, p. 31.

<sup>61</sup> См.: *Ibid.*, p. 31–32.

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. 31.

так и международных» (a multiplicity of trades, both local and long distance)<sup>63</sup>. Африканские мавры добирались до Малайи, китайцы плавали в Африку. В Индии европейские товары, привезенные арабами и армянами, обменивались на пряности и прочую продукцию Юго-Восточной Азии. Подобная система могла функционировать, лишь опираясь на транзитные порты, выступавшие космополитичными центрами культурного, информационного и товарного обмена. Эти-то узловые пункты португальские завоеватели и стремились в первую очередь контролировать. Они заняли ключевые позиции на побережье Восточной Африки, основав там укрепленные фактории, служившие скорее военно-стратегическим, чем коммерческим целям. «В результате господства португальцев, — отмечает польский историк, — было подорвано развитие и существование древних арабских городов, которые, утратив свою прежнюю силу в торговле, превратились в обедневшие поселения на древнем торговом пути. Португальцы, уничтожив арабскую торговлю, никогда по существу не располагали достаточным количеством людей для осуществления своих колониальных планов. Двух миллионов жителей, которые насчитывала метрополия, не хватило бы для того, чтобы одновременно установить и сохранить господство и в Бразилии, и на Индийском океане»<sup>64</sup>. Однако такие выводы выглядят неоспоримо убедительными лишь задним числом. Несмотря на скудость ресурсов, в первую очередь людских, Португалия смогла удержать господствующее положение в зоне Индийского океана на протяжении полутора столетий.

Еще до того как стал известен исход морской кампании, из Португалии в Индию был направлен наместник, который должен был управлять новыми владениями. Дон Альфонсо де Альбукерке (Alfonso de Albuquerque) первым из европейцев получил должность вице-короля Индии. «Стратегия Альбукерке состояла в том, что господство в торговле обеспечивается обладанием ключевыми позициями на основных морских путях, — отмечает историк Дж. Эймс (G.J. Ames). — Речь шла о стратегически расположенных городах на выходе из Персидского залива и Красного моря, по которым товары традиционно шли в Левант и Европу, о портах, контролировавших торговлю с Индонезией и Малайей, а также о базе в Индии. Во всех ключевых пунктах были построены сильные крепости»<sup>65</sup>. Основанная португальцами Индийская империя (Estado da India) простиралась от берегов Восточной Африки до Индонезии, включая портовые города на всем побережье Индийского океа-

<sup>63</sup> G. V. Scammell. *The World Encompassed. The First European Maritime Empires*. London — N.Y.: Methuen, 1981, p. 234.

<sup>64</sup> История, социология, культура народов Африки, с. 253.

<sup>65</sup> G. J. Ames. *Op. cit.*, p. 33.

на — Момбасу, Маскат, Гоа, Бомбей, Малакку и Тимор. Далеко не все в Лиссабоне одобряли подобные расходы, но они окупались сторицей. Цейлон был превращен в важнейший опорный пункт на пути из западной части океана в восточную. Административным центром империи стал Гоа, захваченный в 1510 году. Не пытаясь проникнуть вглубь побережья и не претендуя на то, чтобы контролировать Индийский субконтинент как таковой, португальская торговая империя господствовала над Индийским океаном. Этот контроль позволял новым хозяевам моря не только торговать самим, но и собирать пошлины с чужой торговли, включая и туземных купцов. Ключевым элементом всей системы был «cartaz» — пропуск, без которого торговать в здешних краях сделалось практически невозможно. Средства, получаемые от выдачи пропусков, не только пополняли казну в Лиссабоне, но и позволяли стабильно финансировать администрацию Португальской Индии, снимая с короны заботу о ее расходах.

Подобный порядок невозможно было создать и поддерживать с помощью одних только завоеваний. Как отмечает Эймс, он был бы невозможен без «серьезных инвестиций со стороны короны»<sup>66</sup>. Надо было строить крепости и церкви, создавать и реконструировать портовые сооружения, склады, казармы и административные здания. Португальцы первыми поняли какое превосходство дает им наличие сильного, вооруженного мощной артиллерией флота. Наземные войска пополнялись ими в значительной мере за счет туземных формирований, что стало нормой для всех последующих европейских колониальных армий в Индии.

Португальская империя на Востоке продержалась до середины XVII века, когда она была разрушена и частично захвачена голландцами, которые, в свою очередь, обречены были в скором времени уступить господствующие позиции англичанам. Однако созданная ею модель колониального порядка была принята всеми европейскими державами, пытавшимися закрепиться в Южной Азии, и просуществовала с некоторыми изменениями вплоть до начала XIX века.

Португальцы также первыми из европейцев сообразили, что заморские владения можно использовать для того, чтобы избавляться от нежелательных элементов в собственной стране. За 100 лет до того, как русские цари нашли подобное применение Сибири, и за 200 лет до того, как аналогичным образом была освоена Австралия, португальская корона начала делать то же самое в Азии. Как отмечают историки, эта «принудительная колонизация» (coerced colonization) позволила увеличить население территорий, которые были «отдаленными, стратегически важными и непривлекательными» (с точки зрения самого порту-

<sup>66</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 33.

гальского населения)»<sup>67</sup>. Таким образом решались сразу две проблемы. Метрополия избавлялась от преступников, бродяг и сирот, на содержание которых не хватало денег, а колониальная администрация получала лояльных граждан, которые — в условиях жесткой необходимости — вынуждены были превращаться в защитников империи или погибнуть. Численность португальских колонистов, «способных носить оружие», в Азии выросла с 2500 в 1513 году до примерно 16 тысяч к концу столетия<sup>68</sup>. Еще больше переселенцев направлялось в Бразилию. В португальские поселения, где постоянно не хватало людей, стягивались искатели приключений, наемники и специалисты со всей Европы. В 1525 году власти Португальской Индии, требуя прислать им пушкарей, специально указывали — «не меньше половины из них должны быть немцами» (*half of them Germans*)<sup>69</sup>.

Даже в Бразилии португальская власть на первых порах интересовалась только побережьем, лишь понемногу продвигаясь вглубь континента. «Самое поразительное в португальской морской империи, — отмечает английский исследователь, — это то, что захваченные в XVI веке новые территории оказались разбросаны на огромном удалении друг от друга»<sup>70</sup>. От Мозамбика до Макао, от Гоа до Цейлона португальское *Estado da India* охватывало порты, острова и небольшие полоски побережья, между которыми простирались морские просторы. Принципом этой империи был контроль не над людьми и территорией, а над торговыми путями, не над производством, а над обменом.

Главная проблема для португальской большой стратегии состояла в том, что им не удалось захватить Аден, закрывавший выход из Красного моря в Индийский океан. В силу этого их контроль над торговлей перцем и другими специями никогда не был полным, а венецианцы и египтяне продолжали экспортировать тот же товар через восточное Средиземноморье. Однако несмотря на эти частные неудачи, соотношение сил в регионе изменилось радикально и необратимо.

Португальские чиновники жестко регулировали работу принадлежавших им портов, ввели королевскую монополию на отправку судов в Индию. Вывоз драгоценных металлов из Португалии и ввоз в Европу перца и пряностей находились под жестким правительственным контролем. Некоторые историки видят в португальской империи XVI века первый образец государственного капитализма или, по выражению Ма-

<sup>67</sup> T.J. Coates. *Convicts and Orphans: Forced and State-Sponsored Colonizers in the Portuguese Empire, 1550–1755*. Stanford: Stanford University Press, 2001, p. xv.

<sup>68</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 318.

<sup>69</sup> C.R. Boxer, ed. *Portuguese Conquest and commerce in Southern Asia, 1500–1750*. London: Variorum Reprints, 1985, p. 157.

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 51.

нуеля Нуньеса Диаса (Manuel Nunes Dias), «португальский монархический капитализм» (Portuguese monarchic capitalism)<sup>71</sup>.

Португальская корона непосредственно занималась торговлей, организовывала военные и коммерческие экспедиции, строила и комплектовала командами суда<sup>72</sup>. В 1506 году торговля пряностями давала 27% доходов казны, а в 1518 — уже 39%. Это существенно превышало поступления от европейских владений короны. Однако неверно будет думать, будто буржуазия не имела своей доли торговых прибылей. Продажа специй конечному потребителю осуществлялась через многочисленных частных торговцев, действовавших не только в Португалии, но и по всей Европе. Даже евреи, только что изгнанные из страны, привлекались для перепродажи королевского товара. Нередко правительство отдавало предприятия на откуп частным компаниям, но неизменно возвращало их под свой контроль по прошествии оговоренного периода. Слабость португальской буржуазии привела к тому, что большая часть возможностей, открывавшихся за счет азиатской торговли, была использована не местными, а иностранными предпринимателями.

Значительная часть португальских поставок реализовывалась в Антверпене.

Итальянские банковские дома, которые финансировали португальские экспедиции, выигрывали, экономика итальянских городов проигрывала: заработанные деньги не возвращались в Италию, а инвестировались в новые коммерческие проекты на паях с португальской короной. Seriously пострадала Венеция. С одной стороны, поток специй, который раньше контролировали ее купцы, теперь шел через Лиссабон. А с другой стороны, в экономике Португалии преобладал капитал из Генуи. Замирение с Османской Турцией в первой половине XVI века позволило венецианцам вернуть себе частично утраченные торговые позиции на Востоке и выдержать португальскую конкуренцию. Однако пик успехов Венецианской империи остался далеко позади.

Во второй половине XVI века, по мере того как правительство Лиссабона постепенно отказывается от проведения активной экономической политики в Азии, начинает приходить в упадок и португальская буржуазия, а выгоды восточной торговли все больше достаются космополитическим компаниям, мало связанным с этой страной. В конце 1560-х годов правительство под влиянием Испании, где господствовал иной, более рыночный подход к торговле, начало проводить либерализацию системы, одновременно предоставляя монопольные контракты крупным купеческим фирмам из Милана и Аугсбурга. С 1581 года, когда

<sup>71</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 301.

<sup>72</sup> См.: Ibid., p. 310.

два иберийских королевства оказываются объединены личной унией, экономическая политика Португалии почти не отличается от испанской. Но уже к концу XVI века, когда выяснилось, что ожидаемых выгод подобная практика не принесла, государство стало возвращаться к непосредственному контролю над коммерческими операциями.

Португальская империя заложила основы общего подхода, характерного для всех западных держав в Азии на протяжении последующих 250 лет: нормой стало совмещение военно-административной и коммерческой деятельности. Совмещение это наблюдалось на всех уровнях управления, порождая повсеместную коррупцию: «Поскольку корона не могла хорошо платить, ее представители потихоньку получали разрешение вести собственную торговлю, — отмечает английский историк. — (...) Колониальные губернаторы и высшие чиновники нередко становились партнерами купеческих домов или ростовщиков»<sup>73</sup>. Впоследствии то же самое происходило с должностными лицами голландской и британской Ост-Индских компаний.

Параллельно с развитием азиатской торговли португальская корона расширяла свое присутствие в Америке. Бразилия, ставшая крупнейшей португальской колонией, одновременно сделалась важнейшим поставщиком сахара на европейские рынки. Как отмечает Эймс, вплоть до 1530-х годов американские владения меньше интересовали Лиссабон, нежели азиатские и африканские торговые фактории: «Некоторые экспедиции направлялись для того, чтобы укрепить побережье и гарантировать права Португалии, но ни крепостей, ни городов не строили. В отличие от испанцев, которые нашли залежи золота и серебра в Мексике и Перу, португальцы драгоценных металлов тогда в Бразилии не обнаружили. Не нашли они там и богатой цивилизации, которую можно было бы грабить. Вместо того чтобы эксплуатировать труд индейцев, они начали вырубать и вывозить красную цезальпинию (бразильское дерево), материал, который потом использовался в красильнях по всей Европе»<sup>74</sup>.

Первоначально Африка и Америка интересовали португальцев, в основном, в плане обеспечения промежуточных морских стоянок на пути в Индийский океан. Лишь появление у берегов Америки первых французских экспедиций в 1530-е годы заставило португальскую корону укрепить свои позиции на этом континенте. Укрепившись на западном берегу Атлантики, португальская администрация организовала производство сахарного тростника, которое сразу же стало приносить огромные прибыли. В 1549 году в Бразилию прибыл королевский генерал-

<sup>73</sup> C.R. Boxer, ed. Portuguese Conquest and commerce in Southern Asia, p. 323.

<sup>74</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 41.



губернатор Томе да Соуза (Thome da Sousa), главная задача которого состояла в том, чтобы постараться сделать колонию экономически такой же прибыльной, как и Estado da India. Сопrotивлявшееся колонизаторам индейское население было истреблено или изгнано в глубь материка. Попытки Франции закрепиться на этом берегу при поддержке индейских племен продолжались до 1567 года, но были подавлены, а французская колония — Антарктическая Франция (France Antarctique) — превратилась в португальское Рио-де-Жанейро.

После истребления индейцев возникла проблема рабочей силы, которая была решена за счет поставки чернокожих невольников. Плантации сахарного тростника и табака стали экономически привлекательны именно благодаря массовому использованию рабского труда. Расширение производства предполагало столь же масштабное развитие работорговли, причем португальские владения, разбросанные на противоположных берегах Атлантики, на самом деле являлись такой же взаимосвязанной системой, как и в Индии. В 1585 году из 57 тысяч колониальных поселенцев, живших в Бразилии, четверть были рабами<sup>75</sup>.

Колонии на африканском побережье снабжали водой и продовольствием корабли, идущие в Индийский океан, ремонтировали их и пополняли команды. Но их главная задача состояла теперь в получении рабов из глубины «черного континента». Из Африки невольников переправляли в Америку, где использовали на сахарных и табачных плантациях.

В Западной Африке бурно развивалась новая экономика, главной отраслью которой стала торговля людьми. Первоначально португальцы действовали через туземных королей, активно включившихся в этот бизнес. Из партнеров по торговле они постепенно превращались в союзников, а затем — в вассалов. Огнестрельное оружие поставлялось португальцами в Африке лишь тем правителям, которые не только были их военными союзниками, но и принимали католицизм и демонстрировали готовность обратиться в новую веру своих подданных. Ставка была сделана на королевство Конго, правители которого приняли христианство, пригласили на свою территорию португальских солдат, купцов и строителей, создававших для них новую военную и коммерческую инфраструктуру. Однако несмотря на фактическую зависимость от Португалии, короли Конго Диого I (Diogo I) и его сын Дон Алваре (Don Álvaro) вассалами Лиссабона себя не признали, а португальцы со своей стороны не ограничивались торговлей через порты Конго: «Уже в 1550-е годы началось соперничество между Конго и Ндонго за то, кто станет главным поставщиком рабов для португальцев, и хотя у Португалии была формальная договоренность с Конго, ее представители все более втягива-

<sup>75</sup> См.: G.J. Ames. Op. cit., p. 43.

лись в дела с Ндонго»<sup>76</sup>. Политическая нестабильность в Ндонго создала серию кризисов, завершившихся португальской интервенцией и созданием колонии в Анголе в 1575 году. Луанда быстро расцвела как коммерческий порт за счет работорговли. Как писал один из местных чиновников, поставка рабов в Бразилию теперь гарантирована «до конца света»<sup>77</sup>. В свою очередь и португальская корона извлекала из этой торговли немалые выгоды: подконтрольное ей побережье Африки было разделено на отдельные зоны, в каждой из которой сбор налогов, пошлин и других финансовых поступлений отдавался на откуп предпринимателям, получившим специальные лицензии.

### МИР-ИМПЕРИЯ КАРЛА V

Основатель державы испанских Габсбургов, по совместительству глава Священной Римской Империи, Карл V с первых лет своего царствования, несомненно, был самым могущественным монархом Европы. Объединив под одним скипетром владения в Германии, Италии и Нидерландах, Испанское королевство и стремительно расширяющиеся завоевания в Новом Свете, опираясь на неиссякаемый, как казалось, поток золота и серебра с противоположного берега Атлантики, имея под своими знаменами, вероятно, лучшую армию того времени, Карл успешно отражал попытки своего французского соперника Франциска I претендовать на ведущую роль в Европе. Союз с Венецией давал надежду на успешную борьбу против усиливавшихся на востоке турок, а дояльные отношения с соседней Португалией гарантировали, что никто не покусится на господствующее положение его империи в Атлантике.

По существу в конфликтах XVI и первой половины XVII века решалась судьба формирующейся вокруг европейского центра новой мироэкономики. Открытие Америки позволило не только получить новые рынки и товары, ранее неизвестные, не только обеспечить мощный поток драгоценных металлов, которые дали возможность резко расширить торговые связи и укрепить позиции европейцев в Азии, оно заложило основы нового международного разделения труда, в котором складывалась определенная иерархия.

Иммануил Валлерстайн констатирует, что борьба Карла V с Францией в конечном счете представляла собой попытку «абсорбировать всю европейскую мироэкономику в систему своей империи»<sup>78</sup>. И в самом деле на первых порах казалось, что держава Габсбургов становилась центром

<sup>76</sup> H. Thomas. The Slave Trade. The history of the Atlantic slave trade, 1440–1870. London Phoenix, 2006, p. 131.

<sup>77</sup> Ibid., p. 133.

<sup>78</sup> I. Wallerstein. The Modern World-System I, p. 170.

невиданной раньше мировой империи, объединяющей обе стороны Атлантики. Однако события развивались совершенно иначе. Сопrotивление усилиям императора неуклонно нарастало. Оставляя испанскую корону своему сыну Филиппу II, Карл наказывал продолжать его политику, однако несмотря на все усилия, противников у Габсбургов становилось все больше. Решение Карла V разделить свою державу между двумя ветвями семейства Габсбургов означало, по сути, признание им провала попыток построить мир-империю, «переход от универсальной империи к защите интересов “австрийской семьи” (austriacismo), иными словами, к тесному альянсу между двумя частями династии, направленному на то, чтобы гарантировать гегемонию католицизма и династии в Европе»<sup>79</sup>.

«Миродержавная» политика Карла V и его попытки строительства «всесветной монархии» наталкивалась на сопротивление не только со стороны других европейских государств (прежде всего — Франции), но и в самой Испании, где в 1520–1522 годах бушевали нешуточные мятежи. На протяжении 200 лет, в течение которых Испания оставалась мировой державой, правящим в ней Габсбургам приходилось сражаться одновременно на множестве фронтов: против арабов и турок на Средиземном море, против Франции в Италии, против протестантских князей в Германии. Затем против восставших Нидерландов и поднимающейся Англии на севере. В Европе у них практически не было союзников (если не считать католических князей Германии да взаимопомощь испанской и австрийской ветвей династии, разделившихся после отречения от престола Карла V). Тем не менее ресурсы, которыми располагали Габсбурги к началу XVII века, были столь значительны, что позволяли вести борьбу в течение длительного времени.

К концу XV века именно Испания обладала финансовой и военно-политической мощью, необходимой для создания империи. Колониальная эпопея XVI века в Америке была явным продолжением Реконкисты. Символично, что Христофор Колумб добился поддержки «католических королей» для своего предприятия в Атлантике под стенами Гренады в те самые дни, когда испанский двор отменял капитуляцию последнего оплота мавров. Наступательное движение продолжалось также и в направлении Африки. Земельный голод дворянства должен был удовлетвориться под контролем абсолютистского государства, направлявшего и организовывавшего внешнюю экспансию, и при активном сотрудничестве буржуазии, которая этот процесс финансировала и эксплуатировала.

Политику Карла V в Новом Свете американский историк Гленн Эймс характеризует как стремление «получить из новой империи максималь-

<sup>79</sup> Historia de España y America. Dirigida por J. Vicens-Vives. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1961, t. III, p. 212.

ную прибыль при минимальных усилиях»<sup>80</sup>. Главная проблема состояла в том, чтобы сохранить контроль над конкистадорами и не позволить им создать собственные феодальные королевства на завоеванных землях. Задача центрального правительства облегчалась тем, что новые владения нуждались в людях, без которых невозможно было удерживать там власть и наладить управление. А этих людей можно было получить только из Европы и только при поддержке короны.

Несмотря на мобилизацию человеческих ресурсов в подвластных Испании европейских странах, людей для колонизации Нового Света все равно не хватало. Отсюда потребность в интеграции коренного населения, которую позднее совершенно не испытывали протестантские колонисты Новой Англии. Низкая производительность труда в державе Габсбургов гарантировала (правда, тоже далеко не везде) физическое выживание туземцев. Индейцев в испанской Америке массово обращали в христианство, после чего поселенцы смешивались с ними, формируя массу метисов.

Как замечает американский историк Генри Кеймен (Henry Kamen) «империя была создана, возможно, не только Испанией, но совместными усилиями западноевропейских и азиатских наций, которые полностью и на законном основании принимали участие в том предприятии, которое обычно считается, в том числе и историками, чисто “испанским”»<sup>81</sup>. По отношению к другим европейским народам, прежде всего к итальянцам, испанцы выступали скорее потребителями культурных и технических новаций, нежели создателями чего-то нового. Однако «эта пассивная иберийская культура оказалась способной на власть над всем миром» (it was this passive Iberian culture that had the ability to produce world power)<sup>82</sup>. Возможно, впрочем, именно культурная пассивность Испании оказывалась на определенном этапе ее преимуществом, позволяя впитывать и осваивать чужой опыт и знания, привлекать новых людей. Это относится не только к западной цивилизации. Как отмечает Кеймен, «испанская империя была создана не в меньшей степени американцами, африканцами и азиатами, чем европейцами»<sup>83</sup>. И в конечном счете не Испания создала империю, а «империя создала Испанию»<sup>84</sup>. То же самое, впрочем, может быть сказано и применительно к Британской империи.

Среди историков принято считать, что португальская империя была в первую очередь морской, а испанская — территориальной. Между тем

<sup>80</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 77.

<sup>81</sup> Г. Кеймен. Испания: дорога к империи. М.: АСТ — Хранитель, 2007, с. 10 (англ. изд.: H. Kamen. Spain's Road to Empire. London: Allen Lane, 2002, p. xxv).

<sup>82</sup> Там же, с. 11 (Ibid., p. xxvi).

<sup>83</sup> Там же (Ibid.).

<sup>84</sup> Там же, с. 10 (Ibid., p. xxv).

именно созданная под властью португальской короны Бразилия оказалась в конце концов самой большой страной Латинской Америки. Очевидно, что различие между португальской и испанской колониальной политикой вызвано не только разными исходными принципами, но и различием общественных условий Америки и Азии. В Америке туземные империи рухнули в начале XVI века как карточные домики, оставив после себя политический вакуум, который не только позволил испанцам овладеть территорией, но и создавал острую необходимость делать это. Напротив, в Азии местные государства оставались вполне жизнеспособными, но их морская мощь была минимальной.

Для коренных жителей Южной Америки испанская колонизация означала порабощение, но не истребление. Перуанский философ Хосе Карлос Мариатеги (José Carlos Mariátegui), сравнивая католический и протестантский подходы, обратил внимание на то, что католическая политика обращения язычников в истинную веру (сочетавшаяся с эксплуатацией их труда в полуфеодальном хозяйстве испанских конкистадоров) разительно контрастировала с кальвинистским взглядом на туземцев, как на существ, самим Богом изначально обреченных на адские муки, — в противном случае Господь позаботился бы о том, чтобы ознакомить их с Евангелием<sup>85</sup>. Физическое уничтожение этих низших созданий воспринималось как исполнение божественного проклятия. А с другой стороны, буржуазным фермерам, осваивающим Северную Америку, не было необходимости использовать труд покоренного народа. Трудлюбивые и добросовестные, они работали сами, кормили свои семьи и строили свое хозяйство. Им нужна была лишь свободная земля, предварительно очищенная от туземного населения.

Империя расширялась не только в направлении Америки. Испания вела с Турцией острую борьбу за господство над Средиземным морем, включая побережье Африки. В Тихом океане позиции Испании окрепли в 1560-е годы после завоевания Филиппин. Как отмечает Эймс, «экономически Филиппины выступали в испанской имперской системе в качестве перевалочного пункта между Новым Светом и Китаем. Галеоны регулярно плавали из Манилы в Акапулько, так же как «серебряный флот» между Америкой и Европой. Китайские джонки привозили в Манилу шелк, фарфор и другие товары из Кантона. Сюда же прибывали специи из Малакки и прочие азиатские товары. Все это загружалось в галеоны, направлявшиеся в Акапулько, а затем продавалось в американских колониях, либо отправлялось дальше в Испанию»<sup>86</sup>. Все эти богатства Азии

<sup>85</sup> См.: Х.К. *Mariátegui*. Семь очерков истолкования перуанской действительности. М.: Изд-во иностр. лит., 1963 (исп. изд.: *J.C. Mariátegui*. 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta, 1928).

<sup>86</sup> *G.J. Ames*. Op. cit., p. 81.

оплачивались серебром, которое добывалось в рудниках Америки. Торговля была настолько дефицитной, что севильские купцы потребовали от Филиппа II сократить количество кораблей, идущих в Азию до двух из каждого филиппинского порта. Просьба была выполнена, но чтобы обойти эти ограничения на Филиппинах начали строить грандиозные галеоны водоизмещением 2000 тонн. К концу XVII века до четверти всего серебра, добываемого в Америке, направлялось в Китай.

Главная проблема, связанная с историей испанской империи, созданной Габсбургами, состоит, однако, не в том, почему эта держава столь стремительно достигла мощи, невиданной прежде в мировой истории, а в том, почему этот успех оказался столь недолговечным. Задним числом упадок Испании объясняется царившим там феодальным порядком, не выдержавшим конкуренции с более передовыми буржуазными обществами Голландии и Англии, а затем — Франции и Швеции. Однако буржуазные отношения в странах, бросивших вызов Габсбургам, стремительно развивались как раз в результате открытия и завоевания Америки, иными словами, прямо или косвенно — вследствие успехов, достигнутых все той же испанской державой. Почему же они не привели к бурному экономическому подъему на самом иберийском полуострове?

Между тем политика испанских Габсбургов отнюдь не была враждебна частному предпринимательству. Как раз наоборот, из всех держав, вовлеченных в мировую экспансию XVI–XVII веков, именно Испания в наибольшей мере отдавала заморскую торговлю в руки частного капитала, меньше всего регулировала и регламентировала своих предпринимателей<sup>87</sup>. Генри Кеймен даже замечает, что испанская держава имела некоторые черты «бизнес-империи»<sup>88</sup>.

В отличие от более жесткой политики португальских королей, правители Испании склонны были передавать государственные полномочия частным лицам, занимавшимся от имени правительства не только коммерческими предприятиями, но порой и военными экспедициями. Ничего уникального в этом для тогдашней Европы не было — к таким же методам прибегало, например, Московское государство при завоевании Сибири, но именно Габсбурги проводили эту линию наиболее последовательно. Даже их военный флот в значительной мере состоял

<sup>87</sup> Сравнение свободы предпринимательства, типичной для Испании и политики «государственного капитализма» португальских королей см. в книгах: *The Political Economy of Merchant Empires*. Ed. by J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1991; *The Rise of Merchant Empires: Long Distance Trade in the Early Modern World 1350–1750*. J. D. Tracy, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

<sup>88</sup> См.: *Г. Кеймен*. Цит. соч. (англ. изд.: *H. Kamen. Spain's Road to Empire. The Making of a World Power, 1492–1763*. London: Allen Lane, 2002, p. xxiv).

из временно нанятых частных судов. Уже при Карле V развитие империи было тесно связано с деятельностью банкирского дома Фуггеров (Fuggers), которых Валлерстайн называет «самыми потрясающими из всех купцов-капиталистов Нового времени» (the most spectacular of all modern merchant-capitalists)<sup>89</sup>.

Успех Фуггеров, достигнутый в значительной мере за счет сотрудничества с Габсбургами, был воистину впечатляющим. Начав подниматься в Аугсбурге к концу XIV века, их торговый дом достиг наибольшего расцвета во времена Карла V. «В лице этих Фуггеров, — пишет немецкий историк, — старинное германское городское сословие достигло верха своего социального значения, подобно тому, как цветущее время Ганзы было для него верхом его политического могущества»<sup>90</sup>. Описание богатства компании оставил спутник одного из захолустных немецких правителей, который посетил в начале XVI века дом Фуггеров в Аугсбурге. Хозяин «ввел его Герцогскую Милость в башенку и здесь показал ему собрание драгоценных камней, редких монет и кусков золота величиной с голову. Эти сокровища, по показанию самого г. Фуггера, стоят более миллиона золотом. Потом он открыл ящик, доверху набитый дукатами и кронами, которых, по его собственным словам, там было на 200 000 гульденов. Потом он ввел его Герцогскую Милость в башенку, которая до половины наложена талерами. Говорят, что г. Фуггер так богат, что мог бы купить целое царство. Их Герцогская Милость запаслась богатым подарком, но сами в тот раз ничего не получили, кроме хорошего угощения»<sup>91</sup>.

Фуггеры совершенно сознательно сделали ставку на династию Габсбургов, они фактически купили имперскую корону для Карла V, финансируя его избирательную кампанию среди германских князей. «В XVI веке Фуггеры, ссужавшие Габсбургов значительными суммами, прямо оказывали влияние на ход международной политики эпохи, — пишет Н.И. Кареев. — Без денежной помощи Фуггеров Максимилиан I совсем не мог бы вмешаться в Итальянские войны, а его внук Карл V мог бы быть и не выбранным в императоры, как мог бы быть не выбранным «римским королем» (заранее предназначенным преемником императора) его брат Фердинанд I. Войны обоих этих Габсбургов с Францией, с турками и с немецкими протестантами равным образом велись на деньги, бравшиеся в долг у Фуггеров, и некоторые перипетии мировой политики Карла V объясняются тем, насколько щедр или скуп по отношению к нему в тот или другой момент этот знаменитый банкирский дом»<sup>92</sup>. Филипп II за-

<sup>89</sup> I. Wallerstein. The Modern World-System I, p. 174.

<sup>90</sup> И. Шерр. Цит. соч., т. 1, с. 397.

<sup>91</sup> Там же, с. 400.

<sup>92</sup> Н. Кареев. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. М.: Гос. публ. ист. библ. России, 2009, с. 211.

висел от этих кредитов не меньше своего отца. И чем менее эффективно велись дела государства, чем хуже обстояло дело с бюджетом, тем большим было влияние немецких банкиров.

Позиции Фуггеров укреплялись и расширялись по мере того, как росла империя. Однако в конечном счете именно жесткая связка с Габсбургами привела этот банкирский дом к краху.

В королевской казне оседало от четверти до трети серебра, доставленного из Америки, остальное доставалось всевозможным торговым и финансовым компаниям, обслуживавшим мировую державу. Эти компании богатели и процветали, чего нельзя сказать об экономике Испании, где развитие капитализма шло медленнее всего, а сама империя Габсбургов при всех своих грандиозных ресурсах и огромных военно-политических преимуществах проигрывала соревнование своим куда менее могущественным конкурентам.

Парадоксальным образом, Габсбурги, несмотря на свои глобальные амбиции, так и не сумели создать централизованной бюрократической империи. Маркс ехидно замечает: «Испания, подобно Турции, оставалась скоплением дурно управляемых республик с номинальным сувереном во главе. Деспотизм принимал различный характер в различных провинциях, где общее законодательство произвольно контролировалось вице-королем и губернаторами; но при всем своем деспотизме правительство не мешало провинциям сохранять свои различные законы и обычаи, различные монетные системы, военные знамена разнообразных цветов и свою особую систему налогового обложения»<sup>93</sup>. Если мощь централизованной бюрократии считать фактором, препятствующим развитию капитализма и частной инициативы, то Испания при Габсбургах, безусловно, должна была бы расцвести. Увы, происходило нечто совершенно обратное...

Опыт габсбургской державы служит наглядным опровержением позднейших либеральных теорий, объявляющих, что свобода частного предпринимательства сама по себе обеспечивает развитие. Сравнивая империю Габсбургов с ее более успешными конкурентами, обнаруживаешь, что ключевое различие между ними состояло не в отсутствии со стороны ее соперников государственного вмешательства в экономику (в этом плане как раз Габсбурги действовали в полном соответствии с позднейшими рекомендациями либеральных мыслителей), а в том, что Англия и Голландия в отличие от Испании демонстрируют примеры энергичного государственного вмешательства в интересах буржуазии. Иными словами, главная проблема испанского государства была не в том, что оно недостаточно полагалось на рынок, а в том, что оно, полагаясь на рынок, было недостаточно буржуазным. Между тем итальянский торговый и финансо-

<sup>93</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 10, с. 432.



вый капитал, тесно сотрудничавший с Габсбургами, становился все более транснациональным, утрачивая связь со средиземноморскими торговыми республиками, но не укореняясь на новых землях. Заинтересованность в прибылях не превращалась в стремление к развитию, а торговля не стимулировала рост и модернизацию производства.

Отсутствие интереса к внутреннему рынку проявилось и в жесткой религиозной политике, начатой еще «католическими королями» Фердинандом и Изабеллой. Изгнание евреев и мавров, преследование крещеных арабов (морисков) сопровождалось захватом их имущества. Крупные овцеводческие хозяйства, работавшие на экспорт, перешли к новым, христианским хозяевам. Таким образом, как отмечает советский историк, «за лозунгом борьбы с неверными скрывались вполне реальные интересы»<sup>94</sup>.

Испания потребляла лишь незначительную часть товаров, которые доставлялись в Европу из ее владений. В 1691 году за пределы королевства ушло 90% товаров, доставленных из Америки<sup>95</sup>. Размах внешней торговли никак не содействовал развитию внутреннего рынка. Подобное положение дел сложилось уже во времена «католических королей». В то время как правительство покровительствовало овцеводам, занимавшимся экспортом шерсти, остальные отрасли производства скорее страдали, чем выигрывали от этого. «Земледелие и сельское хозяйство в целом были в полном пренебрежении, а над испанской промышленностью тяготели стеснительная опека и строжайшая регламентация, — пишет советский историк. — Преследование евреев и мавров в особенности наносило тяжелые удары по промышленному и торговому развитию Испании. И в то самое время, когда перед ней открывались заманчивые перспективы по ту сторону Атлантического океана и начиналась экономическая революция, назревали уже зловещие признаки неизбежного упадка»<sup>96</sup>.

Завоевание Америки лишь закрепило и усилило тенденции, характерные для испанского общества начала XVI века. Хотя ее экономика росла, она все больше отставала от Нидерландов и Англии. Как бы ни расширялись внешние связи, «баланс испанской внешней торговли, ее экспорта и импорта был неблагоприятным для Испании. Несмотря на несомненный подъем, текстильная промышленность... не только не завоевала внешнего рынка, но не в состоянии была даже удовлетворить запросы национального рынка, она не в состоянии была конкурировать ни с фландрской ни с тем более английской промышленностью. Испанский экспорт в Антверпен — средоточие европейской торговли XVI в. — слагался из разно-

<sup>94</sup> А.Е. Кудрявцев. Испания в Средние века. М.: URSS, 2007, с. 196.

<sup>95</sup> См.: The Political Economy of Merchant Empires, p. 81.

<sup>96</sup> А.Е. Кудрявцев. Цит. соч., с. 166–267.

образных предметов, привозимых из Америки, из объектов же испанского хозяйства преобладала продукция сельского хозяйства — фрукты, технические культуры, вина, в особенности шерсть, а в импорте явно преобладали предметы европейской обрабатывающей промышленности»<sup>97</sup>.

Равнодушная к производству, испанская монархия открывала широкие возможности для торгового и финансового капитала, в значительной мере — иностранного. «Испания под властью Габсбургов, — констатирует Генри Кеймен, — наиболее полный и чистый пример диктата иностранного, международного капитала»<sup>98</sup>. Банкирские и купеческие дома Италии находили в новой мировой державе оптимальные условия для накопления капитала и расширения своих операций. Господство испанцев в Италии держалось не только на силе оружия и принуждении, но и на общности интересов завоевателей и местной олигархии. Границы городов-государств были тесны для местного капитала. Испанская и Португальская империи открывали для него новое поприще. Налоги, собираемые испанскими королями в подвластных им итальянских провинциях, по большей части там и оставались, постоянные военные заказы обогащали поставщиков, множество экспертов и технических специалистов (начиная с того же Христофора Колумба и Америго Веспуччи) делали карьеру при кастильском дворе.

К тому же колонизация Америки требовала все больше живой силы. Иберийский полуостров испытывал дефицит людей. Выходцы из итальянских государств — не только подвластных Испании, но и формально независимых — находили для себя новые возможности в Новом Свете.

Однако симбиоз итальянской буржуазной элиты с испанским абсолютизмом не способствовал развитию ни той, ни другой страны. Стимулируя рост мировой империи, он не ускорял в достаточной мере модернизацию и расширение производства в отдельных подвластных ей странах, а узкие местные рынки оказывались принесенными в жертву глобальному накоплению.

Перманентный финансовый кризис, с которым столкнулись испанские Габсбурги, привел к тому, что на фоне снижающейся покупательной способности драгоценных металлов был принят указ 25 мая 1552 года, который существенно уменьшил содержание серебра в выпускавшихся ими монетах. Как отмечают испанские историки, «снижение составило 21,43 процента, что соответственно понизило и вес и номинальную ценность денег»<sup>99</sup>. Буржуазия, заседавшая в кортесах, сопротивлялась порче монеты, но безуспешно.

<sup>97</sup> Там же, с. 194–195.

<sup>98</sup> *Г. Кеймен*. Цит. соч., с. 91 (англ. изд.: *H. Kamen*. Op. cit.).

<sup>99</sup> *Historia de España y América*. Dirigida por J. Vicens-Vives. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1961, t. III, p. 45.

В Кастилье налоговые поступления казны увеличились между 1474-м и 1504-м годом с менее чем 900 тысяч реалов до 26 миллионов реалов в год<sup>100</sup>, но этого оказывалось недостаточно, чтобы покрыть еще более стремительный рост государственных расходов. Испытывая постоянный дефицит средств, правительство вынуждено прибегать к займам, а зарубежные банковские дома, в свою очередь, охотно кредитуют монархию, контролируя нескончаемый поток серебра из Америки. Задолженность короны растет как снежный ком. К 1543 году 65% доходов испанской казны уходит на оплату долгов, а в 1557 году правительство вынуждено было признать себя банкротом<sup>101</sup>.

Разумеется, значительная часть расходов бюджета была связана с военными операциями, которые мировая монархия Габсбургов вела почти непрерывно. Однако войны, будучи на тот момент достаточно успешными, не только стоили денег, но и укрепляли экономические позиции державы. Стремительный рост трат был вызван необходимостью общей реорганизации и расширения государства, создания нового бюрократического аппарата, поддержанием связи с многочисленными территориями, организацией поставки серебра и прочих товаров через Атлантику и с Тихого океана, короче, потребностями новой политической и экономической системы, которая формировалась на глазах.

Империя все больше зависела от налоговых поступлений из Италии, а затем и из Нидерландов. Этот налоговый пресс Габсбургов, ничуть не меньше, чем религиозные разногласия с монархом, стал фактором, провоцирующим там национально-освободительное движение (напротив, венские бюргеры, ничуть не менее увлекавшиеся на первых порах идеями Реформации, остались лояльными подданными австрийских Габсбургов и даже сменили веру, находя это для себя выгодным). Практичные фламандские и голландские бюргеры соизмеряли свою лояльность к короне с доходами, получаемыми при ее посредстве и обнаруживали, что она обходится слишком дорого: «Хотя Испания обеспечивала Нидерландам доступ к потоку южноамериканского золота и серебра, голландцы были убеждены, что их налоги шли на оплату войн, не имевших никакого отношения к интересам Нидерландов, и вызванных исключительно великодержавными амбициями Габсбургов»<sup>102</sup>.

По мере того как финансовое положение Испании ухудшалось, увеличивалось налоговое давление на Нидерланды. Что в свою очередь вызывало сопротивление органов сословного представительства. Гене-

<sup>100</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 125.

<sup>101</sup> См.: Там же, с. 126.

<sup>102</sup> P.J.A.N. Rietbergen. A Short History of the Netherlands. Amersfoort: Bekking Publishers, 2004, p. 68.

ральные Штаты, где доминировала городская буржуазия, категорически отказывались утверждать новые поборы. «В конце концов, — иронично замечает по этому поводу голландский историк, — представители городов были прежде всего бизнесменами»<sup>103</sup>.

Разногласия между короной и представителями нидерландских сословий, наложившиеся на религиозный конфликт, спровоцировали в 1568 году открытое восстание, которое привело к Восьмидесятилетней войне между Габсбургами и отделившимися от их империи Соединенными провинциями.

После захвата голландцами «серебряного флота» в 1628 году испанское правительство, и без того хронически испытывавшее финансовые трудности, столкнулось с настоящим кризисом. Оно в отчаянии искало средства для покрытия бюджетного дефицита. Новые налоги, которые вводились монархией, привели в конечном счете к мятежам в Каталонии и Португалии, причем португальцы использовали требование Мадрида послать войска на подавление каталонского восстания как повод для того, чтобы разорвать унию с Испанией. Могуществу Габсбургов в Европе и Новом Свете был нанесен мощный удар.

Англия и Голландия, где буржуазные отношения проникли в сельское хозяйство уже в XVI веке, были более приспособлены для колониальной экспансии. Им было легче высвободить рабочие руки, больше того, английская корона не знала куда девать эти массы людей, согнанных с земли в результате «огораживания», превратившего сельскохозяйственные угодья в более рентабельные пастбища.

### ПРОТЕСТАНТИЗМ, КАТОЛИЦИЗМ И ДУХ КАПИТАЛИЗМА

Тезис Макса Вебера о связи между религиозными идеями Реформации и формированием капиталистического порядка стал общим местом исторической литературы. Протестантизм легализовал стремление к прибыли, но одновременно подчинил ее определенным нормам, ограничениям и правилам. Сама по себе страсть к наживе существовала в обществе задолго до Реформации, однако, по мнению Вебера, она не только не стимулировала развитие капиталистических общественных отношений, но, напротив, препятствовала их становлению: «Повсеместное господство *абсолютной* беззастенчивости и своекорыстия в деле добывания денег было характерной чертой именно тех стран, которые по своему буржуазному развитию являются “отсталыми” по западноевропейским масштабам»<sup>104</sup>. В докапиталистическом традиционном обществе предпринимательская инициатива, с одной стороны, сталкивается

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990, с. 78.

с многочисленными моральными проблемами, но, с другой стороны, вырываясь за рамки религиозных и нравственных ограничений, оказывается не скованной никакими нормами, правилами или приличиями. «Мы говорим о “докапиталистической” эпохе, — продолжает Вебер, — потому что хозяйственная деятельность не была еще ориентирована в первую очередь ни на рациональное использование капитала посредством внедрения его в *производство*, ни на рациональную капиталистическую организацию труда. Упомянутое отношение к приобретательству и было одним из сильнейших внутренних препятствий, на которое повсеместно наталкивалось приспособление людей к предпосылкам упорядоченного буржуазно-капиталистического хозяйства»<sup>105</sup>. Разрушая традиционную идеологию и общество, протестантская буржуазия одновременно снимает с себя оковы религиозных запретов, но, с другой стороны, подчиняет свое стремление к прибыли требованиям рациональной логики, ограничивает свое потребление и устанавливает для себя нормы честного бизнеса, благодаря чему добывание богатства сменяется накоплением капитала.

Несмотря на то что акценты Вебер расставляет иначе, нежели Маркс, он сходится с ним в главном — капитализм возможен лишь на основе соответствующей организации труда в процессе производства. Однако именно здесь возникает главная историческая проблема: Реформация отнюдь не породила на первых порах бурного промышленного развития. Потребовалось полтора столетия для того, чтобы интеллектуальная и нравственная энергия протестантизма обернулась повсеместным торжеством новых производственных отношений.

Протестантское стремление к приличиям, добросовестному выполнению договоров и обязательств хорошо известны. Но история голландского и английского колониализма, как и многочисленные примеры из истории Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что попадая в иную культурную и политическую среду, протестантские купцы и военные с легкостью нарушали любые моральные нормы, типичные не только для внутреннего существования протестантских общин, но и вообще для цивилизованного общества. Практическое накопление капитала в XVI-м и начале XVII века отнюдь не было подчинено логике рационального инвестирования, не было оно и связано с производством. Рациональное начало, столь высоко оцениваемое Вебером, проявлялось скорее в правильной и деловой организации грабежа, в эффективном использовании вооруженной силы. Лишь впоследствии протестантская рациональность, аскетизм и дисциплина обернулись стимулами промышленного развития. Для того чтобы эти потенциальные возможности реализовались на практике, многое в мире должно было измениться.

<sup>105</sup> Там же, с. 80.

Показательно, что Макс Вебер, будучи немцем, свои выводы сделал на основе изучения англо-американских протестантских общин XVI–XVII веков, а не германских государств того же периода. Торжество Реформации в восточной части Германии отнюдь не привело к бурному развитию капитализма, наоборот, к востоку от Эльбы наблюдается в XVII веке «второе издание крепостного права».

В соответствии со схемой, принятой марксистской историографией, Реформация одержала успех в Северной Европе благодаря более передовой экономике и, в особенности, более развитым буржуазным отношениям. Напротив, с точки зрения Макса Вебера и его последователей, передовая экономика и успешное развитие капитализма в этих странах оказались возможны благодаря победе Реформации.

Протестантизм действительно оказался мощнейшим идеологическим инструментом для ускорения буржуазного развития, но в первую очередь там, где уже назревала буржуазная революция. «Реформация — лютеранская и кальвинистская — это буржуазная революция», — констатирует Энгельс. Крестьянская война в данной революции выступала «в качестве критического эпизода»<sup>106</sup>. Это высшая точка революции, когда трудящиеся массы не только появляются на авансцене истории и доминируют политически, но и сама революция начинает выходить за рамки своих «исторически необходимых» буржуазных задач. Революция далеко не везде происходила в драматической форме гражданской войны и восстания, в скандинавских странах ее заменяли реформы сверху, но во всех этих случаях Реформация «срабатывала» не сама по себе, а лишь в процессе соответствующего преобразования общества и государства. Преобразование, которое назрело и стимулировалось экономическими переменами.

«Реформация сверху», проведенная королями в Англии и Скандинавских странах, а также некоторыми германскими князьями имела мало общего с поощрением буржуазной предприимчивости или внедрением рыночных ценностей. Ее основная цель состояла в укреплении финансовой базы государства. И английские Тюдоры и шведские короли династии Ваза остро нуждались в деньгах. Однако даже поступление в казну значительных средств за счет захвата церковного имущества не решило проблему, напротив, — правительство, израсходовав эти средства, вставало перед вопросом о том, как получить дополнительные деньги, чтобы поддерживать свою деятельность на новом, достигнутом благодаря Реформации, уровне. Неудачная война Генриха VIII с Францией в 1543–1551 годах привела к новому финансовому кризису. Король вынужден был занимать деньги у банкирского дома Фуггеров и фла-

<sup>106</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 417.

мандских купцов, переплавлять на монеты конфискованную церковную утварь, а также прибегнуть к порче монеты. Однако попытки расплачиваться порченными монетами с иностранцами имели плачевные последствия. «В ряде случаев английские монеты даже перестали приниматься. Правительство Генриха VIII не могло ни навязывать эти монеты своим кредиторам, ни оплачивать ими расходы за границей»<sup>107</sup>.

Для того чтобы улучшить положение дел, правительство вынуждено было активно распродавать монастырские земли, что способствовало бурному росту «нового дворянства», которое не было связано старыми феодальными обязательствами и активно перестраивало свои поместья на буржуазный лад. Таким образом, развитие капиталистических отношений стимулировалось в Англии в большей степени финансовым кризисом государства, нежели идеологией или социально-культурной практикой протестантизма.

И наоборот, поддержка Реформации вовсе не следовала автоматически из развития буржуазии. Владельцы крупных капиталов не торопились связать себя с идеями Лютера и Кальвина. Фуггеры предпочитали католическую династию Габсбургов протестантским правителям и купцам, хотя за хорошие проценты готовы были ссудить деньгами и тех, и других. В XVI веке многие богатые французские города отвергли гугенотов так же, как итальянское купечество осталось глухо к протестантской пропаганде. Там, где преобладал финансовый капитал, не было заметно особого стремления к революционным переменам. Финансистам выгоднее было работать с монархами, чем рисковать своими деньгами в ходе социальных и политических преобразований.

В австрийских землях Габсбургов, по оценкам историков, «приверженцами новой веры были около 70% населения»<sup>108</sup>. В землях чешской короны перед Белогорской битвой протестантами были 90% жителей. Реформация бурно распространялась по территории Венгрии (дворяне склонялись к кальвинизму, а бюргеры к лютеранству), охватывая и славянское население, для которого перевод Библии на родной язык стал важным этапом в развитии национального самосознания. Таким образом, соотношение сил между протестантизмом и католицизмом на уровне массового сознания во владениях австрийских Габсбургов было примерно таким же, как и в Северной Европе, где победила Реформация. Однако массовое распространение протестантизма среди населения отнюдь не сделало Венгрию центром бурного развития капитализма, а Австрию — великой торговой державой.

<sup>107</sup> М.В. Муха. Монетные реформы Англии в эпоху Тюдоров. СПб.: Изд-во гос. Эрмитажа, 2002, с. 80–81.

<sup>108</sup> К. Воцелка. История Австрии. М.: Весь мир, 2007, с. 136.

Если терпимость власти к протестантизму считать ключом к буржуазному развитию, то Османская Турция и Российская империя Романовых должны были бы иметь гораздо большие шансы на успех, чем католическая Австрия. Ведь обе эти страны поощряли на своей территории деятельность протестантских общин (турецкое правительство делало это в пику католикам Габсбургам).

В Польше XV века идеи гуситов получили широкую поддержку, в первую очередь, среди мелкого дворянства, и когда 100 лет спустя Мартин Лютер выступил в соседней Германии со своей проповедью, по словам историка начала XX века, «дух гуситского движения в Польше был еще жив»<sup>109</sup>. Это заставляло позднее многих авторов изумляться превращениям исторических судеб народов — Германия отвергла идеи Яна Гуса, но 100 лет спустя пошла за Лютером, тогда как в Польше, где пропаганда Реформации нашла широкую поддержку уже в XV веке, католицизм не только восторжествовал, но и стал в конечном счете важнейшей частью национальной идентичности<sup>110</sup>.

Макс Вебер был безусловно прав, указывая на связь протестантской идеологии и капитализма, но решающую роль в торжестве нового экономического порядка сыграла не сама Реформация, а поддержка ее государством. Капитализм побеждал не там, где появлялись протестанты, а там, где государство превращало протестантизм в свою официальную идеологию, служащую делу экономических и политических преобразований. Самые радикальные перемены наступали тогда, когда новый политический порядок соединялся с новым господствующим мировоззрением. Идеологи Реформации были зачастую склонны к мистике и суевериям, но организованная ими религиозная практика заложила основы будущего европейского Просвещения. Важнейшим достижением протестантизма было массовое распространение грамотности. Принципиальным аспектом Реформации был перевод Библии на национальные языки. Если главная книга христиан была доступна лишь священникам и знатокам латыни, то отныне она должна была находиться в каждой семье. Это способствовало распространению привычки к чтению, сыграло важную роль в становлении новой европейской культуры, а также помогло преодолеть дробление языков на многочисленные диалекты. Перевод и самостоятельное изучение верующими Библии ускорили процесс формирования национальных языков и, как следствие этого, консолидировали национальные государства. Английский географ Ричард Пит (Richard Peet) отмечает: «Чтение Библии требовало грамотности, а обсуждение священных текстов предполагало самостоятельное мышление, к тому же

<sup>109</sup> Th. Wotschke. Op. cit., S. 71.

<sup>110</sup> С.м.: Ibid.



логическое и, насколько позволяла религия, рациональное. Два региона мира с самым высоким уровнем грамотности — Нижняя Шотландия и Массачусетс — имели и самый большой процент кальвинистов среди населения. В свою очередь, кальвинистская традиция предполагала, что избранность Богом демонстрируется не только через экономический успех, но и через филантропию. Проявлением этого стала поддержка образовательных и интеллектуальных институтов. Новая Англия в этом плане типична: нет ни одного города без библиотеки, обычно названной по имени местного капиталиста, пожертвовавшего на нее деньги, поразительная концентрация университетов, занимающих в мире лидирующие позиции (только в округе Бостона их семь). В старой доброй Англии, как и в Новой Англии мы видим, как стремление к прибыли и интеллектуальным достижениям соединяется. Прибыли финансировали образование, образование способствовало инновациям, а инновации приносили прибыль»<sup>111</sup>.

Некоторые малые народы Европы, не имевшие своего государства, смогли сохранить культурную идентичность не в последнюю очередь благодаря протестантской политике распространения грамотности на родном языке. Русские «западники», неприязненно относящиеся к православию, склонны считать, будто эстонцы, финны и латыши должны быть благодарны крестоносцам, насадившим в Балтийских землях католическую веру. «Если посмотреть на ставшие аренной миссионерской деятельности католиков Финляндию, Латвию и Эстонию, то вряд ли кто осмелится утверждать, что культура и самобытность этих народов, их историческая судьба пострадали из-за того, что на их землях проповедовали слово Божие не православные, а католики»<sup>112</sup>. Сами эстонские и латвийские историки описывают деятельность немецких вооруженных «проповедников» не столь восторженно. Между тем секрет национального выживания эстонцев и финнов не имеет ничего общего ни с католицизмом, ни с православием. Сохранились те народы, которым повезло дожить до XVI века и оказаться под властью шведской короны в решающий период XVI–XVII веков — во время Реформации. Они, в соответствии со шведским государственным толкованием церковной реформы, получили перевод Библии и богослужение на родном языке и в силу этого сохранили национально-культурную самобытность.

Однако, как мы видим, потребности церковной реформы шли рука об руку с потребностями меняющегося государства. Бюрократия и армия нуждались в едином культурном стандарте, чтобы действовать эффективно. Единство языка необходимо для того, чтобы документ, присланный из

<sup>111</sup> R. Peet. *Geography of Power*. London — New York: Zed Books, 2007, p. 59.

<sup>112</sup> А. Нестеренко. Цит. соч., с. 128.

столицы, был без проблем понят в любой провинции. А в армии без четкого понимания и выполнения команд всей солдатской массой была бы невозможна новая строевая дисциплина. Стандартизация языка позволяла теперь военному начальству перемешивать контингенты, соединяя в одном строю мужчин из разных концов страны (ранее боевые единицы формировались из земляков). Впрочем, политические и организационные преимущества подобного подхода окончательно стали ясны много позже. Зато стандартизация языка, проводившаяся правительствами, ускоряла формирование единого внутреннего рынка, находясь в тесной связи с другими усилиями по интеграции общества — переходу к единой системе мер и весов, налогов, единой денежной системе.

Эти новации, проводившиеся в жизнь протестантскими режимами, имели, однако, общеевропейское значение. Из католических стран наиболее последовательно и активно сходную политику осуществляла Франция, отчасти благодаря тому, что после религиозных войн у власти в стране оказался бывший протестант Генрих IV.

Экономическое положение королевства в начале XVII века начало стремительно улучшаться. Благодаря энергичным усилиям правительства Генриха IV и его министра финансов Сюлли (Sully) Франция, находившаяся в разрухе после религиозных войн, начала быстро восстанавливаться. «В течение двенадцати лет, — пишет французский историк Фредерик Ансильон (Fredéric Ancillon), — все отрасли национальной экономики восстановились, крупнейшие города Франции ожили, быстро достигнув процветания»<sup>113</sup>. Сюлли уделял особое внимание сельскому хозяйству, отменяя и сокращая некоторые налоги, поощряя экспорт зерна. «Всегда либеральный, когда в этом была необходимость, он не жалел средств на общественные нужды. Париж украсился новыми основательными и красивыми зданиями, был построен Новый мост (Pont-Neuf), улица Дофина, реконструирована набережная Сены — все эти сооружения были возведены по приказу Сюлли, который наряду с другими должностями занимал пост сюринтенданта по строительству (surintendant des batiments)»<sup>114</sup>.

Нантский эдикт, принятый Генрихом IV 13 апреля 1598 года, не только гарантировал прекращение вооруженного конфликта между протестантами и католиками, но и позволял государству интегрировать в свою структуру представителей протестантской партии вместе с их идеями, опытом, подходами к административной и политической работе. Французский компромисс между католицизмом и Реформацией дополнялся политической реформой самой католической церкви, которая стала «на-

<sup>113</sup> F. Ancillon. *Tableau des révolutions du système politique de Europe, depuis la fin de quinziesme siècle*. Paris: Anselin et Pochard, 1823, t. 2, p. 298.

<sup>114</sup> *Ibid.*, p. 428–429.

циональной». Успех этих мер оказался столь велик, а распространение новых идей столь быстрым и успешным, что королевская власть вскоре перестала нуждаться в гугенотах. Уже при Ришелье (Richelieu) их претензии на получение особых прав начали восприниматься как препятствие для достижения национального единства. Укрепляя государственную централизацию, кардинал Ришелье стремился ослабить влияние гугенотов, являвшихся «врагами государства». По его словам, даже Генрих IV, вышедший из рядов гугенотов, став королем, принял католицизм «неискренне, лишь для того, чтобы заполучить корону», однако, сев на трон в Париже, «сознательно возненавидел веру гугенотов и их партию, но уже исходя из государственных интересов»<sup>115</sup>.

Итогом политики централизации, проводимой Генрихом IV и его преемниками, оказалась отмена в 1685 году Нантского эдикта, после чего французские гугеноты, отказавшиеся сменить веру, расселились по всей Европе от Англии до России, становясь, несмотря на разрыв с родным государством, проводниками французского культурного влияния и традиций. После отмены Нантского эдикта многочисленные гугеноты переселились в Пруссию, принеся с собой технологии и знания, сыгравшие важную роль в развитии немецкой науки и промышленности, и способствуя формированию государственного аппарата. Французские эмигранты массово переселялись также в голландские владения, включая Африку, где в Капской колонии именно благодаря их присутствию стало возможным формирование своеобразной нации белых африканцев. Впрочем, многие гугеноты, делая выбор между карьерой и верой, отдавали предпочтение карьере. Достаточно вспомнить маршала Тюренна (Turenne).

Французская модель административной централизации и бюрократического порядка, утратив связь с религиозным мировоззрением, распространилась по всей Европе, в свою очередь вызывая подражание как в протестантских, так и католических странах, а со времен Петра Великого и в православной России. Интерес к французской бюрократии проявляли даже в Османской Турции, не добившись, впрочем, больших успехов на практике.

Ключевым идеологическим вопросом для формирования буржуазного порядка было не преодоление католицизма как такового, а выработка новой системы координат, позволяющей использовать религиозную традицию для новых общественных задач, в первую очередь, для накопления капитала. Протестантизм был наиболее подходящим решением, ибо поставил религиозную веру на службу новому рационализму, обеспечил моральные основания для буржуазного экономического порядка. Однако, как отмечает Самир Амин, это отнюдь не значит, будто католицизм оказался несовместим с духом капитализма. В ходе потрясений

<sup>115</sup> А. Ж. Дю Плесси Ришелье. Мемуары. М.: АСТ, 2006, с. 53.

XVI–XVII веков католицизм приспособился к изменившейся экономической реальности. Компромисс между религиозным и рациональным подходом к жизни, в католическом мире «выразился иначе, но был не менее эффективным. В обоих случаях он дал начало новому, свободному от догмы, религиозному духу»<sup>116</sup>.

Канадский исследователь Джон Луглен (John Loughlin) отмечает, что Реформация способствовала возникновению национального государства тем, что «разрушила единство католической церкви и заложила основы национальных церквей»<sup>117</sup>. Парадоксальным образом это относится не только к странам, где победил протестантизм, но и к государствам, где восторжествовала Контрреформация. Связь между Церковью и государством, зависимость религиозного режима от политического усилилась повсюду, а правительство получило в свои руки мощное идеологическое оружие, которое в католических странах порой использовалось аппаратом власти даже активнее, нежели в протестантских.

В 1555 году Аугсбургский религиозный мир провозгласил принцип «*cuius regio, eius religio*», или, по-русски: «чья земля, того и вера». Этот принцип не только подводил своего рода предварительный итог периоду Реформации, закрепляя ее победу там, где сторонники новой веры сумели захватить государственную власть, но и закладывал основы будущего национального (суверенного) государства. Духовный авторитет Рима оказывался ниже государственного суверенитета, переставая быть поводом для вмешательства в то, что отныне признавалось в качестве «внутренних дел» иностранных государств. Само понятие «внутренние дела» обрело определенность, четко увязываясь с понятием о суверенитете и представлением о единой обязательной именно для этого государства идеологии, которая могла быть более или менее толерантной, но не становилась от этого менее обязательной. Вместе с правом определять религиозную принадлежность подданных германские князья получали гарантии от вмешательства Императора. Та система, которую позднее историки окрестили «Вестфальской», на самом деле должна была бы называться «Аугсбургской» и к моменту подписания Вестфальского мира существовала в качестве общепризнанной нормы в течение почти века. Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну, не создал какую-то новую систему, а лишь закрепил провал попытки пересмотра уже действовавших международных норм, которую предприняли Габсбурги в ходе Контрреформации. Другое дело, что эта попытка была далеко не случайной и шансы на успех ей давали общие перемены, наблюдавшиеся на тот момент в мировой экономике.

<sup>116</sup> С. Амин. Цит. соч., с. 85 (англ. изд.: S. Amin. Op. cit., p. 55).

<sup>117</sup> Les Nationalismes majoritaires contemporaines: identite, memoire, pouvoir. Ed. by A.-G. Gagnon, A. Lecours, G. Nootens. Montreal: Quebec Amerique, 2007, p. 195.

Чарльз Тилли отмечает, что и в католических, и в протестантских странах происходил однотипный процесс формирования национальной церкви, связанный со становлением новой государственной бюрократии<sup>118</sup>. Торжество Контрреформации означало не отказ от капитализма, а другую модель его развития. Этот вариант формирования буржуазного общества оказался во многом менее эффективным, но, как показала дальнейшая история, отнюдь не тупиковым.

Во второй половине XVI века католическая церковь, оправившись от шока, вызванного первыми успехами Реформации, перешла в контрнаступление. Духовная и структурная перестройка Церкви должна была придать ей новый динамизм. Идеология католицизма становилась наступательной, агрессивной, в ней возрождался пафос духовного служения. Обе ветви династии Габсбургов — испанская и австрийская — мобилизовали свои ресурсы для поддержки Контрреформации, связав борьбу за сохранение веры с пропагандой уважения традиционных ценностей и институтов, одним из которых являлась имперская власть, монархия, сочетающая политическую мощь и духовный авторитет. На уровне культуры эта идеология выразилась в пышном стиле барокко, который быстро получил распространение по всему континенту.

Насаждение католицизма и искоренение «ереси» стало важнейшей идеологической задачей Габсбургов, непосредственно связанной с их борьбой за консолидацию подвластных династии территорий. И все же, как отмечают историки, на протяжении XVI века им «не удавалось осуществить принцип Аугсбургского мира 1555 года»<sup>119</sup>. Земля принадлежала Габсбургам, но души их подданных упорно сопротивлялись насаждению католической веры. Венские императоры оставались католическими правителями, обреченными терпеть преобладание или, во всяком случае, широкое распространение протестантизма среди своих подданных. Правители Вены не могли на первых порах прибегнуть к жестким репрессиям. Постоянная угроза турецкого вторжения, особенно в Венгрии, заставляла их быть веротерпимыми, полагаясь на поддержку всех христиан против «магометанского наступления». Если несмотря на это Габсбурги сумели не только удержать своих подданных в лоне католицизма, но и вернуть римской церкви господствующие позиции, то связано это далеко не только с государственными репрессиями, которые, например, в Голландии оказались совершенно неэффективными. Бюргеры города Вены, на первых порах дружно поддержавшие Реформацию, к середине XVII века столь же дружно вернулись в лоно римской церкви, когда стало ясно, что католическая монархия Габсбургов обеспечива-

<sup>118</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 101–102.

<sup>119</sup> К. Воцелка. Цит. соч., с. 141.

ет их заказами, рынками и защищает их интересы ничуть не хуже, чем протестантские короли по отношению к своим бюргерам. Точно так же восстановление позиций католицизма в Чехии после разгрома протестантской армии в битве у Белой Горы не может быть объяснено только военными событиями. В ходе нидерландской революции протестанты нередко терпели крупные военные поражения, но это отнюдь не означало краха всего их дела. Как известно, именно защита чешских протестантов против католической Австрии была важнейшей идеологической причиной Тридцатилетней войны. Однако когда спустя четверть века после Белогорской битвы победоносные шведские войска вступили в Прагу, местное население встречало их далеко не как освободителей — Карлов мост был заблокирован городским ополчением, и шведы, несмотря на отсутствие имперских войск, были остановлены. Значительную часть пражского ополчения вообще составляли евреи, для которых не слишком важны были распри протестантов с католиками, но и не было религиозных причин сочувствовать Контрреформации.

Торжество католицизма в других владениях австрийских Габсбургов было отнюдь не предпосылкой, а, наоборот, следствием битвы у Белой Горы. Как отмечает австрийский историк, «чешский пример стал образцом для действий и в прочих габсбургских землях»<sup>120</sup>. Хотя первые шаги в этом направлении были предприняты еще в конце XVI века (приглашение в Вену иезуитов, преследование протестантских пасторов и т.д.), решающего успеха удалось достичь лишь в ходе Тридцатилетней войны. Таким образом, идеологическая консолидация власти шла рука об руку с военно-политической.

Успех Контрреформации в Южной и Юго-Восточной Европе был обеспечен экономической политикой государства, которая соответствовала интересам городской буржуазии ничуть не меньше, чем курс, проводившийся правителями Севера. Другое дело, что деловые интересы и условия деятельности предпринимательского класса здесь были иными, чем в Англии или Голландии. По мере того как кризис XVII века выявлял проблемы и противоречия, связанные с господствовавшим прежде режимом свободной торговли, возрастала и потребность буржуазии в сильном государстве. В такой ситуации лояльность по отношению к действующей власти оказывалась сильнее религиозных предпочтений, а желания раскачивать государственную лодку во имя торжества истинной веры у подданных явно поубавилось.

После отмены Нантского эдикта значительное число французских протестантов-гугенотов переселилось в Англию и Голландию. Среди них были не только ремесленники и торговцы, но и моряки, активно служив-

<sup>120</sup> Там же, с. 142.

шие новой родине. Однако и французская армия, а также и флот пополнялись за счет эмигрантов-католиков, бежавших из Англии и Ирландии. Некоторое количество этих эмигрантов осело на испанской, русской и даже турецкой службе, вызывая в Лондоне постоянные параноидальные опасения, что «якобиты», сторонники низвергнутого Якова II, на новом месте продолжают плести заговоры, настраивая своих новых хозяев против родной страны. Именно эти католические эмигранты из стран Северной Европы зачастую оказывались в числе наиболее энергичных, деловых и эффективных сотрудников военного и политического аппарата Испании и Франции.

Католицизм был нужен для консолидации мировой империи, в строительстве которой не последнюю роль играла итальянская торговая буржуазия. Империя испанских Габсбургов предложила находившимся в сфере их влияния итальянским городам условия деятельности и правила игры, которые в долгосрочной перспективе привели их к упадку, но в краткосрочной перспективе способствовали формированию крупных состояний и процветанию многих банков и фирм. Бюргеры города Вены отказались от своей веры ради участия в делах империи, тогда как бюргеры Амстердама порвали с империей во имя протестантской религии. Вряд ли это различие объясняется тем, что вера у вторых была крепче, чем у первых. Скорее, выбор определялся реальными возможностями, открывавшимися перед буржуазией в тот или иной момент истории. Торговая независимость голландским купцам не только давала больше, нежели участие в имперской системе Габсбургов, но и открывала перспективу создания собственной торговой империи. В Южной Германии подобной перспективы не было, но это отнюдь не означает, будто буржуазного развития там не происходило. Лояльность по отношению к Габсбургам давала формирующемуся буржуазному классу шанс на экспансию в южном направлении и на эксплуатацию аграрной периферии в Венгрии и на Балканах. Разница в том, что перед голландскими купцами открывался весь мир со своими богатствами и разнообразием возможностей, а перед их австрийскими братьями по классу — лишь сельское пространство провинциальной Юго-Восточной Европы. «Новая периферия» Голландии была за морями, тогда как Австрия нашла ее у себя под боком, в низовьях Дуная.

## АБСОЛЮТИЗМ

Государство, выросшее из кризисов и войн позднего Средневековья, разительно отличалось от политических систем феодальной эпохи. Возникнув в качестве ответа на кризис XIV века, оно пережило новый крупный кризис в XVII столетии, после которого политические институты

большинства европейских стран сохраняли относительную стабильность вплоть до Великой французской революции.

Эта система, получившая задним числом во Франции прозвище Старого режима (*Ancien Régime*), вошла в историю под обобщающим именем абсолютизма. Централизованное монархическое государство, возникшее в Европе конца XVI века, разительно отличалось от феодальных королевств прошлого с их запутанной системой вассальных обязательств, неформальных связей и неустойчивых династических компромиссов. Государство перестало восприниматься как просто большая феодальная вотчина, принадлежащая определенной семье по праву наследования, обретая черты современной нации, местные различия, специфические права, обязательства и вольности, закрепленные за отдельными провинциями и даже семьями, сменились единым законодательством, выполнение которого контролировалось централизованной бюрократией, его безопасность защищена была такой же единой и централизованной армией, полицейской службой, к которой понемногу добавились и органы политического сыска. Временные посольства, периодически отправляемые за рубеж для подписания договоров и для сбора информации, сменились систематически организованной дипломатической службой и разведкой.

«Сеньориальные привилегии земельных собственников и городов, — писал Маркс, — превратились в столь же многочисленные атрибуты государственной власти, феодальные сановники — в получающих жалованье чиновников, а пестрая, как набор образчиков, карта перекрещивающихся средневековых суверенных прав — в точно установленный план государственной власти, где господствует такое же разделение труда и такая же централизация, как на фабрике»<sup>121</sup>. Заметим, что Маркс, описывая формирование бюрократической машины, интуитивно подчеркивает родство ее организации с логикой фабрики, тема впоследствии развитая и в произведениях Макса Вебера. Бюрократия не только росла и укреплялась, приобретая рациональную организацию, но и становилась важным условием для будущего развития промышленности, условием, которое зачастую не могла стихийно создать сама буржуазия в рамках своей, хаотической рыночной деятельности.

Процесс этот происходил не равномерно и далеко не в каждой стране достигал успеха. Если в Испании несколько государств и регионов стремительно соединились в единую мощную державу, то в Италии и Германии в описываемую эпоху произошел обратный процесс — вместо единой монархии, сформировались региональные государства, причем

<sup>121</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, с. 206 (К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта — VII).



некоторые из них способны были играть немалую роль в европейской политике. Формирование национального государства оказалось отсрочено до середины XIX века.

Попытку создания общегерманского государства предприняли в начале XVI века имперские рыцари в Германии, возглавленные Францем фон Зиккенгеном (Franz von Sickingen) и Ульрихом фон Гуттенем (Ulrich von Hutten). Однако призыв к объединению Германии сочетался с борьбой за признание сословных прав в ситуации явного отсутствия центральной власти. Империя была уже не государством, а региональные княжества — еще не государством. В других странах Европы к тому времени Рыцарство как сословие уже исчезало. В Германии тех лет сохраняющееся значение рыцарства было связано именно со слабостью государственных институтов. «Война рыцарей», развернувшаяся в 1522–1523 годах закончилась полным поражением.

В Италии еще в Средние века возникло «катастрофическое равновесие», вызванное борьбой Римских Пап и Германских императоров и позволившее ведущим городам сохранить и консолидировать свою независимость. Но именно сила этих городов-государств стала препятствием для формирования не только единого политического пространства, но и единого рынка. Для торговой буржуазии Генуи или Венеции рынки далеких заморских стран были важнее, чем экономика близлежащих местностей. Банкиры Ломбардии и Тосканы работали с монархами всей Европы, миланские оружейники снабжали доспехами знать Вены и Парижа. Короче говоря, внешний мир для элит итальянских городов значил больше, чем сама Италия. Отстаивая свою независимость, города-государства выступали силой, активно препятствовавшей объединению страны (что мы наблюдаем не только в Италии, но и в Германии).

Сосредоточенность итальянских элит на внешнеэкономической деятельности обернулась политическим вакуумом в самой Италии. После затяжной борьбы с Францией, этот вакуум был заполнен испанской монархией Габсбургов. Постоянно нуждаясь в деньгах, Габсбурги использовали покоренную страну как источник средств, что вело ее к хозяйственному упадку. Страну, но не ее финансовые элиты, превосходно чувствовавшие себя в составе мировой империи Карла V и его наследников. Верхи были удовлетворены сложившимся положением дел, а низы были бессильны что-либо изменить, поскольку социальные движения в Италии потерпели поражение в XIV–XV веках, так и не сумев изменить общий баланс сил и спровоцировать — как это было в Англии и Франции — пассивные революции.

Однако формирование абсолютной монархии в Европе вовсе не ограничилось крупнейшими государствами, постепенно превращавшимися

в нации. Ту же модель управления и организации начали принимать и региональные княжества, укрепившие свою независимость после провала попыток объединения Германии и Италии. Саксония, Пруссия, Бавария, Пьемонт — все они так или иначе создавали собственные варианты абсолютистской монархии, несмотря на ограниченность средств, территории и населения.

По всей Европе, от Португалии до России, происходили перемены, меняющие природу и форму существования государства. Бюрократическая система опиралась на все более унифицированную систему образования, местные диалекты сменялись господством единого литературного языка, над упорядочением которого порой сознательно работали. Единый язык был тесно связан с потребностями бюрократии и армии — декрет, написанный в Париже или Мадриде, должен был одинаково пониматься в любом конце государства. Точно так же рекруты из любой части королевства должны были мгновенно понимать и неукоснительно выполнять команды офицеров. Воинские формирования, составленные из земляков, сменялись регулярными частями, где происходило перемещение молодых людей из разных частей страны, а порой и с разных концов Европы, — солдатская масса превращалась в обезличенный материал для четко работающей военной машины. Монополия государства на насилие и вооруженную силу была окончательно воплощена в жизнь к концу XVII века.

Превращение военного дела в монополию центрального правительства опирается на стремительный рост государственных доходов. Огромные расходы на вооружение становятся возможны благодаря потоку драгоценных металлов из Америки и связанной с ним бурной хозяйственной экспансией в Европе. Наиболее показательна в этом отношении Испания. Доходы Кастильского королевства к моменту смерти королевы Изабеллы в 1504 году составляли 2 миллиона дукатов, а в 1598 году Кастилия получила в свой бюджет 13 миллионов.<sup>122</sup> Разумеется, на доходах государства сказались революция цен и приток средств из Америки. Покупательная способность денег снизилась. Тем не менее правительствам удавалось концентрировать в своих руках возрастающие финансовые ресурсы.

Но даже подобных поступающих в изобилии ресурсов не хватает, чтобы финансировать еще более стремительно растущие военные расходы. И все же, несмотря на недостаточность государственных доходов, они увеличились настолько, что позволили правительствам занимать деньги в значительно больших масштабах, чем прежде. Чарльз Тилли подчеркивает, что через военные займы осуществлялась связь капита-

<sup>122</sup> См.: R. Bonney. *Op. cit.*, p. 352.

ла и государства<sup>123</sup>. Даже там, где государство оказывалось ненадежным и неплатежеспособным должником (а это происходило периодически), сама по себе его постоянная потребность в кредите способствовала экспансии банковского сектора, а потребность в средствах, выколачиваемых из сельского населения для оплаты долгов, ускорила развитие денежной экономики.

С увеличением численности армии резко меняется ее структура и тактика. «Растущая эффективность пехоты, — отмечает Ричард Бонни (Bonney), — привела к преобладанию оборонительной стратегии»<sup>124</sup>.

Изменился социальный состав войск и принцип их комплектования. Монархические правительства заменили местные феодальные ополчения наемными армиями, которые были лояльны и готовы при необходимости воевать далеко от дома, если только им добросовестно выплачивалось жалованье. Проблема, однако, состояла в том, где получить военных профессионалов, которые могли бы заменить прежнее рыцарство. «Крестьяне и безработные, — пишет английский историк, — охотно становились солдатами, поскольку единственной альтернативой нередко была голодная смерть, но из них трудно было сформировать боеспособные элитные подразделения»<sup>125</sup>. В поисках профессионалов для элитных войск многие правительства вынуждены были обращаться к иностранцам — именно из них формировались ударные подразделения во Франции, Польше, России. Небольшие немецкие государства, Шотландия и Швейцария стали поставщиками кадров для армий более крупных держав. Отсюда прибывали как военные специалисты, так и рядовые наемники. Формировался своеобразный общеевропейский рынок. Офицеры, а часто и солдаты в течение своей военной карьеры неоднократно меняли не только место службы, но и страну, под знаменами которой они воевали. Пленных наемников считали ценным призом, их немедленно принимали на новую службу.

Швейцарцы играли особую роль на этом рынке. С XV века за ними закрепилась слава бесстрашных и дисциплинированных воинов. Нанимаясь на службу к иностранным монархам, они не только предлагали свои услуги в качестве опытных бойцов. Они являлись носителями определенных тактических принципов. Их военная организация была

<sup>123</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 134. Эта связь между частным кредитом и государственным является центральным элементом в концепции превращения капитала в капитализм, изложенной американским социологом. Хотя подобный подход явно оставляет без ответа вопрос о перемещении капитала из торговли в производство, невозможно не признать, что государственные расходы (в первую очередь — военные) стали важным фактором, стимулировавшим рост финансовой буржуазии.

<sup>124</sup> R. Bonney. Op. cit., p. 348.

<sup>125</sup> Ibid., p. 351.

основана отнюдь не на огнестрельном оружии. Основной швейцарской тактики было использование пик и алебард пехотинцами, действующими сомкнутым строем и четко выполняющими приказы о перестроении. Именно это средневековое по технологии вооружение изменило ситуацию на полях сражений XVI века в Италии еще до того, как при Павии были продемонстрированы преимущества нового оружия — аркебузы. Однако очень скоро швейцарцы научились эффективно использовать огнестрельное оружие и артиллерию.

Как заметил Маркс, эти свои навыки жители Альп со свойственным им практицизмом быстро превратили в товар, который можно было выгодно продать на внешнем рынке. «Единственную *социальную* идею, за которую швейцарцы действительно боролись первыми, можно выразить словами: “Point d'argent, point de Suisses” (“Нет крейцеров, не будет и швейцарцев”)<sup>126</sup>.

Бывали случаи, когда швейцарские полки оказывались на службе во враждующих армиях и им приходилось сражаться друг против друга, однако никто из работодателей никогда не жаловался на недобросовестное выполнение контрактов.

До известной степени со швейцарцами на рынке военного наемничества могли конкурировать шотландцы. Многочисленные представители мелкого обедневшего дворянства, выросшие в стране, переживающей непрерывные внутренние конфликты и пограничные столкновения с соседней Англией, они легко находили себе место в иностранных армиях. Между швейцарцами и шотландцами даже существовало своеобразное разделение рынков. Первые нанимались на службу в Испании, Франции и итальянских государствах, а позднее — в Австрии<sup>127</sup>, вторые более активно искали счастья в Восточной и Северной Европе. Шотландские наемники составляли значительную часть шведской армии на позднем этапе Тридцатилетней войны, а в голландской армии одна шотландская бригада имелась даже в начале XIX века<sup>128</sup>.

Однако элитные подразделения, состоящие из иностранцев, стоили дорого. Решением было формирование собственных полков, воспроизводящих выучку и тактику иностранных наемников. По швейцарскому образцу в XVI веке была реорганизована пехота в Испании, а затем и в других странах. Таким же образом поступали и в Московии XVII века, где под командой немцев и шотландцев были организованы полки «иностранного строя».

<sup>126</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, с. 641.

<sup>127</sup> Активное участие швейцарских наемников в военных мероприятиях австрийских Габсбургов в конце XVIII и первой половине XIX века оказалось очередной «иронией истории», ведь и сама независимая Швейцария, и ее военная слава начинаются именно с антиабсбургского восстания Вильгельма Телля.

<sup>128</sup> См.: The Edinburgh Review, 1856, vol. CIV, No. 211, p. 27.

Военные теоретики XVI века оживленно обсуждали вопрос о роли и месте иностранных наемников в армии. Некоторые из них, например Клод де Сессель (Claude de Seyssel), откровенно писали, что «некоторое количество наемников необходимо для того, чтобы не было на службе слишком большого количества местных жителей, способных к восстанию»<sup>129</sup>. Другие, напротив, приводили венецианскую и тосканскую милицию в качестве доказательства того, что при хорошем правлении пехота сохраняет дисциплину и лояльность по отношению к власти. В любом случае, монархические администрации большинства европейских государств достаточно трезво оценивали уровень своей популярности и не склонны были к подобным рискованным экспериментам.

В известном смысле наемные армии XVI–XVII веков были шагом назад по сравнению с военными формированиями конца XV века: с одной стороны, государства шли по пути создания регулярных армий, которые приходили на смену феодальным ополчениям, но с другой стороны, королевская власть предпочитала собирать дорогие контингенты наемников, а не ставить под ружье крестьян — наглядное доказательство того, что социальные противоречия ощущались властью достаточно остро. По мере того как усиливалась связь вооруженных сил с государством, увеличивалось их отчуждение от общества, точнее — от большинства населения. Там, где правительство готово было при формировании армии опереться на собственное сельское население, появлялась возможность создания некоего подобия национальной армии, что немедленно сказывалось и на поле боя: именно поэтому испанские войска в XVI веке были непобедимы на Западе, а, позднее, в XVII веке шведы стали грозой всей Северо-Восточной Европы. По образцу шведской военной системы были позднее построены русская и прусская армии, ставшие на континенте наиболее дееспособными военными силами XVIII века.

В Германии военное наемничество, расцветшее в ходе Тридцатилетней войны, не только не прекратилось с ее окончанием, но, напротив, превратилось (по образцу Швейцарии) в своеобразную отрасль экономики, разновидность коммерческих услуг, предоставляемых мелкими княжествами более могущественным государствам Европы. Наиболее ярким примером такой деятельности стал небольшой Гессен, где целых 7% населения были к середине XVIII века под ружьем<sup>130</sup>. Основным покупателем гессенских солдат была Британия, которая, в частности, использовала их для войны против восставших колонистов во время Американской революции.

Поддержание воинской дисциплины оставалось важнейшей проблемой, которую с большим или меньшим успехом вынуждены были решать

<sup>129</sup> R. Bonney. *Op. cit.*, p. 351.

<sup>130</sup> См.: Ч. Тилли. *Цит. соч.*, с. 129.

все военачальники. В Средние века грабежи считались естественной частью боевых действий. Они были формой экономической войны, играя ту же роль, что бомбардировки городов и промышленных объектов в XX веке. Нередко они специально организовывались и инспирировались высшим командованием, поручавшим своим отрядам «опустошить» вражескую территорию. Цель их состояла в подрыве хозяйственной базы неприятеля. Потому в разоренную землю ходили снова и снова, чтобы не дать ей оправиться. Сжигали посевы, нередко уводили ремесленников. Периодические походы к данникам должны были терроризировать зависимое население. Бюджета, чтобы содержать дружину у феодалов не было, грабеж неприятеля был вознаграждением за службу. Так что, опустошая чужие владения, феодальная дружина сочетала приятное с полезным.

Дорогая наемная армия раннего Нового времени грабила больше и более систематически, чем армии средневековые, поскольку она нуждалась в значительных средствах для своего существования. Если государство не имело денег, чтобы платить, оно могло поддерживать спокойствие в войске, поощряя мародерство на чужой территории. Однако это неминуемо сказывалось на моральном состоянии войск, боеспособность которых падала. К тому же, получив разрешение грабить на неприятельской территории, солдаты поступали точно так же и на дружественных землях. Наемные армии, сменившие феодальные ополчения на континенте к концу XVI века, представляли для мирного населения даже большую опасность, чем дружины прошлого. Если феодальное войско сознательно опустошало вражескую территорию, то ландскнехты, не имевшие отечества, не делали особой разницы между «своими» и чужими поселениями. Постой «дружественной» армии нередко превращался в такое же бедствие, как и вражеское нашествие.

Альбрехт Валленштейн (Albrecht Wallenstein, Valdštejn), победоносный командир имперских армий в начале Тридцатилетней войны, не только поощрял систематический грабеж мирного населения на занятых территориях, но и налаживал своего рода охранный рэкет, позволяя городам и территориям за деньги откупаться от мародеров. Чарльз Тилли констатирует, что для имперского командующего война стала «прибыльным бизнесом»<sup>131</sup>. В 1625 году, когда император испытывал недостаток средств для продолжения войны, Валленштейн, обладавший 30-миллионным состоянием, предложил ему создать 50-тысячную армию за свой счет, разумеется, при условии, что он сам станет ее главнокомандующим. Имперская администрация обещала расплатиться позднее и разрешила Валленштейну брать на содержание войск контрибуции с неприятельских земель (которыми ранее распорядилась корона). С этой армией им-

<sup>131</sup> Там же, с. 127.

перский главнокомандующий разбил партизанские отряды Петра Эрнста фон Мансфельда (Peter Ernst von Mansfeld), разгромил Мекленбург, Померанию, Шлезвиг, Голштинию и при помощи другого имперского генерала графа Иоганна Тилли (Graf Tilly) нанес поражение датчанам, принудив их заключить мирный договор в 1629 году в Любеке. Походы Валленштейна, сопровождавшиеся разорением оккупированных территорий, нанесли катастрофический урон экономике Германии, но обогатили его самого настолько, что император стал опасаться могущественного генерала. Это предопределило последующее падение легендарного главнокомандующего. Воспользовавшись поражениями, понесенными армией Валленштейна в борьбе со шведами, имперская администрация обвинила его в измене и отстранила от руководства армией, вскоре после чего опальный генерал был убит в замке Эгер в Чехии.

Подобный подход к ведению военных действий, по мнению Чарльза Тилли, вполне нормален для полководцев того времени, которые «занимались не только битвами, но и снабжением»<sup>132</sup>. Однако организованное мародерство наемных армий свидетельствовало как раз о неспособности командования решить проблему снабжения сколько-нибудь удовлетворительным образом. На этом фоне резко выделялась лишь хорошо оплачиваемая и дисциплинированная голландская армия, которая, однако, не воевала в Европе за пределами своей территории (именно поэтому буржуа Амстердама и других торговых городов, не жалели денег на денежное довольствие для солдат). Для других театров военных действий ситуация изменилась лишь тогда, когда с северных берегов Балтики прибыли дисциплинированные и стойкие полки шведского короля Густава Адольфа. Эти солдаты поразили современников не только своей отвагой и хладнокровием, но и совершенно непривычным поведением: они не насиловали и не грабили.

Параллельно с новой военной организацией формировался и новый государственный аппарат. Бюрократия превратилась в самостоятельный социальный слой. Как отмечает Эдуард Перруа, во Франции уже к концу правления Карла VII чиновники представляли серьезную общественную силу. Укрепив французское государство за счет четко работающего правительственного аппарата, созданного в «Ланкастерской Франции», Валуа теперь не просто смогли управлять более эффективно, чем раньше, но и получили новую социальную опору: «Этих чиновников было достаточно, чтобы из них сформировался довольно индивидуализированный общественный класс, занимавший промежуточное положение между горожанами (буржуа — Б.К.), из которых они в большинстве выходят, и дворянством, куда они стремятся. Их сплоченность на всех уровнях

<sup>132</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 128.

укрепляли семейные союзы; в центре страны возникали настоящие парламентские династии, члены которых были связаны браками с «господами финансов» (*messieurs des finances*); аналогичные союзы появились и на местах, и в нижних эшелонах»<sup>133</sup>. Преуспевшие буржуазные чиновники приобретали дворянское звание, но все равно оставались обособлены по отношению к старой аристократии и представителям военного сословия. Государство, охраняя привилегии старого дворянства, стремилось осложнить этот процесс, но все равно приобретение титулов выходцами из буржуазии приняло массовый характер. В одной Нормандии между 1550 и 1650 годами было возведено в дворянское звание более тысячи семей<sup>134</sup>. Так, рядом с «дворянством шпаги» (*noblesse d'epée*) появилось «дворянство мантии» (*noblesse de robe*), вполне буржуазное по своему происхождению, связям и образу жизни, но отнюдь не стремящееся к низвержению феодального порядка, не говоря уже об изменении государственного строя. Дворянство мантии постепенно превращалось в важнейшую опору правительства, оно не только держало в своих руках многие ключевые должности и учреждения, но и использовало их в своих интересах. Эта буржуазия изменяет общество, не борясь против феодализма, а приспособлявая его к собственным интересам и задачам. Динамический компромисс, управляемый монархией сверху, поддерживался разветвленной сетью социальных связей снизу.

Разумеется непреодолимой границы между дворянством шпаги и дворянством мантии не было, буржуа не только приобретали дворянское звание — их обедневшие потомки и младшие сыновья нередко искали счастья на военной службе<sup>135</sup>. И если противостояние дворянства и буржуазии на протяжении XVIII века постоянно усиливалось, то отнюдь не потому, что две группы были разделены непреодолимыми сословными перегородками. Дело в том, что на место сословных различий постепенно приходили классовые, а положение человека в обществе уже определялось не его происхождением или формальным статусом, а социальным положением. Буржуазия уже не устраивала вертикальная мобильность, открывавшаяся для ее представителей через покупку дворянских званий, она стремилась повысить свой статус именно в качестве буржуазии.

<sup>133</sup> Э. Перруа. Цит. соч., с. 382–383.

<sup>134</sup> См.: R. Bonney. *Op. cit.*, p. 344.

<sup>135</sup> В качестве курьеза можно привести тот факт, что из прототипов главных героев романа Александра Дюма «Три мушкетера» один лишь Арамис — в реальной истории — был представителем старого дворянского рода. Д'Артаньян, Атос и Портос были дворянами лишь во втором или третьем поколении, а предки капитана королевских мушкетеров де Тревиля и вовсе работали каменщиками (См.: С. Нечаев. *Три д'Артаньяна*. М.: Астрель, 2009; Ж.-К. Птифис. *Истинный д'Артаньян*. М.: Молодая гвардия, 2004).



Такая ситуация, однако, сложилась лишь к концу существования Старого режима. На протяжении XVII и первой половины XVIII века отношения собственников капитала и монархии выглядели почти идиллическими. Иностранцы наблюдали, что французская буржуазия «предпочитала покупать правительственные должности, нежели вкладывать деньги в коммерческие или промышленные предприятия» (preferred to buy offices rather than to invest in commercial and industrial activities)<sup>136</sup>.

Проводя политическую унификацию, абсолютная монархия решала важнейшую экономическую задачу для капитала, формируя и расширяя единый внутренний рынок. Перемещение товаров, организация поставок, необходимых для производства, связь производителей с потребителями, решение судебных споров — все это упрощалось чрезвычайно. Конечно, абсолютизм почти нигде не смог выполнить задачу бюрократической унификации полностью. Ему приходилось считаться с традициями феодальных вольностей, пережитками старых отношений, традиционными границами и статутами провинций, семейными привилегиями представителей аристократии и прочими обстоятельствами, доставшимися в наследство от Средневековья, с ограничениями, полностью избавиться от которых государство не могло, не поставив под вопрос собственную легитимность, династические права, восходившие к прошлому. Именно поэтому работа по бюрократическому упорядочению государства была завершена лишь Великой французской революцией и Наполеоном Бонапартом, да и то не во всех частях Европы.

Оценивая роль абсолютизма в истории Запада, Маркс и Энгельс подчеркивали огромное значение, которое эта политическая система имела для формирования капиталистической экономики и общества. По мнению автора «Капитала», бюрократическое государство, не отменяя феодализм как таковой, было уже не вполне феодальным, а представляло собой скорее компромисс между старыми и новыми господствующими классами.

Равновесие между земельным дворянством и буржуазией Энгельс называл «основным условием старой абсолютной монархии», причем подчеркивал, что благодаря этому равновесию реальная власть оказывается в руках бюрократии, «стоящей вне и, так сказать, над обществом», что «придает государству видимость самостоятельности по отношению к обществу»<sup>137</sup>. Именно такое автономное по отношению к буржуазии государство может оказаться (и не раз оказывалось) крайне эффективным инструментом капиталистической модернизации, поскольку могло

<sup>136</sup> R. Vonneg. Op. cit., p. 344.

<sup>137</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, с. 254 (Ф. Энгельс. К жилищному вопросу — II).

навязать решения, соответствующие общим стратегическим интересам капитала, отдельным представителям буржуазии, которые могли от них пострадать в краткосрочной перспективе.

Маркс неоднократно указывал, что мощный бюрократический механизм абсолютистской монархии готовил торжество буржуазии и ускорял упадок феодализма<sup>138</sup>. Сходной точки зрения придерживался и Михаил Покровский, доказывавший, что вовсе не дворянство и аристократия, а интересы торгового капитала определяли характер решений, принимавшихся императорским двором в Санкт-Петербурге. Однако начиная с 1930-х годов в советской исторической литературе восторжествовала иная точка зрения, которая затем была без особой дискуссии принята западными марксистами. Перри Андерсон в книге «Происхождение абсолютистского государства» («Lineages of the Absolutist State») ссылается на «консенсус, существующий среди целого поколения марксистских историков, от Англии до России», которые отвергли точку зрения автора «Капитала», сочтя абсолютизм формой феодального господства<sup>139</sup>. Главной задачей абсолютистского государства было «увеличить эффективность аристократической власти в подчинении свободного крестьянства новым формам эксплуатации и зависимости»<sup>140</sup>. Сама по себе эта эксплуатация никакого отношения к формирующемуся капитализму и к процессу накопления капитала, по-видимому, не имела. А к формированию и укреплению капиталистических отношений государство было совершенно непричастно: «абсолютистское государство никогда не было арбитром между аристократией и буржуазией, и тем менее она была инструментом, который нарождающаяся буржуазия могла бы использовать против аристократии, напротив это была система, защищающая находящиеся под угрозой интересы знати»<sup>141</sup>. В общем, абсолютизм был «реорганизованным и укрепленным аппаратом феодального господства» (*a redeployed and recharged apparatus of feudal domination*)<sup>142</sup>.

<sup>138</sup> См.: Там же, т. 8, с. 206.

<sup>139</sup> P. Anderson. Lineages of the Absolutist State. London — N.Y.: Verso, 1974, p. 18.

<sup>140</sup> Ibid., p. 20.

<sup>141</sup> Ibid., p. 18.

<sup>142</sup> Ibid. В противоположность Андерсону, Ричард Лахман подчеркивает связь между системой абсолютизма и капиталистическим развитием. Не случайно в эту эпоху мы видим повсюду в Европе бурный рост буржуазных отношений и успешное накопление капиталов. По мнению Лахмана, в эпоху абсолютизма происходила трансформация элит, которые становились «капиталистами поневоле». В итоге не только Англия и Нидерланды, где восторжествовали революции, но и Франция еще до падения «старого режима» были капиталистическими странами «по любому определению этого термина» (Р. Лахман. Цит. соч., с. 27). Удивительно, однако, что отсюда американский исследователь делает совершенно неожиданный вывод, будто именно конфликт элит был главным и

Существенная заслуга Перри Андерсона перед исторической наукой в Англии состоит в том, что именно он в 1960-е годы первым ввел целый ряд марксистских идей в обиход академического «мейстрима», сделав их частью университетских дискуссий. Правда, он же с середины 1990-х годов предпринимал не менее систематические усилия по преодолению марксистского влияния на интеллектуальную жизнь Запада. Между тем, несмотря на закрепившуюся за ним репутацию «нового левого», Андерсон пропагандировал исторический материализм в окостенелой и догматической форме, которую тот приобрел после уничтожения «школы Покровского» и общей идеологической «зачистки», проведенной в Советском Союзе в 1932–1937 годах. Методологической основой такого марксизма был механистический позитивизм, работающий, однако, с марксистскими категориями.

Подобно официальным советским историкам второй половины 1930-х годов, Андерсон исходит из презумпции политической несовместимости феодализма и капитализма, полагая, что интересы аристократии и буржуазии неизменно противоположны. Таким образом, для государства остается лишь принципиальный выбор «или — или», власть, проводящая буржуазные реформы, по определению становится антифеодальной, и наоборот, государство, оберегающее интересы традиционных элит, оказывается заведомо враждебным интересам капитала. При таком подходе совершенно необъяснимыми становятся не только экономические и политические реформы в России, но и большая часть мероприятий «просвещенного абсолютизма» в Пруссии и Австрии. В лучшем случае подобные реформы оцениваются авторами как

---

чуть ли не единственным источником преобразований, причиной капиталистического развития. То, что переход от старого общества к новому сопровождался не только борьбой классов, но и конфликтом элит, совершенно очевидно, подобные конфликты многократно и подробно описаны, как в марксистской, так и в немарксистской литературе. Однако эти конфликты были не причиной, а именно следствием куда более масштабных и глубинных социально-экономических, производственных, технологических и культурных сдвигов, происходивших в обществе. Изменения, имевшие место в экономике, вынуждали элиты, ранее вполне благополучно сосуществовавшие друг с другом, вступать в конфликты между собой. Ослабление позиций старого правящего класса неизбежно сопровождается ростом противоречий в его рядах, разделением на соперничающие элиты, предлагающие разные стратегии выхода из кризиса. Революция всегда начинается с «кризиса верхов»: если бы его не было, низы общества никогда не смогли бы опрокинуть отлаженную и консолидированную систему господства. Но «кризис верхов» сам по себе не причина революции, а следствие системного кризиса. И если наблюдателям, видящим лишь то, что происходит на политической поверхности, может казаться, будто конфликт между элитами порождает кризисы и дестабилизацию общества, то на деле, наоборот, постепенно назревающий системный кризис провоцирует столкновения и конфликты между элитами.

вынужденные уступки внешним обстоятельствам или давлению оппозиции. При этом упускается из виду, что во многих случаях реформы эти как раз навязывались обществу сверху, а правительству то и дело приходилось преодолевать массовое народное сопротивление реформам, нередко прибегая (по крайней мере, в России) к жесточайшему насилию. А промышленная и торговая политика абсолютистского государства удостоивается лишь поверхностного упоминания в связи с военными и дипломатическими усилиями правящих династий.

Поистине, требовались значительные интеллектуальные усилия, чтобы не заметить очевидной, на каждом шагу бросающейся в глаза связи между политикой государства и интересами капитала, тем более что на эту связь уже недвусмысленно и аргументированно указал Маркс.

Разумеется, государство, опираясь на компромисс между старыми и новыми господствующими классами, обладало определенной автономией — и именно поэтому было эффективно в проведении реформ. Однако ни буржуазия, ни старая земельная аристократия сами не оставались в процессе преобразований неизменными.

Если Англию и Голландию XVI–XVII веков можно считать примерами «демократического» восхождения буржуазии, то во Франции процесс принял совершенно иные формы, особенно после того как здесь укрепилась абсолютная монархия, справившись с испытаниями Фронды, задавив как аристократическое сопротивление, так и попытки демократических преобразований. Однако это отнюдь не означает, будто политическое влияние буржуа не укреплялось в Париже параллельно с тем, как увеличивался их политический вес в Лондоне. Просто здесь иные формы принимала сама политика.

На континенте абсолютистское государство представляло собой не только компромисс между феодальной аристократией, буржуазией и массами мелкопоместного дворянства, перед которым интеграция в военно-политический аппарат власти представляла гораздо большие возможности, нежели эксплуатация нищающего крестьянства в небольших по территории, а потому и коммерчески не слишком перспективных имениях. Оно оказалось идеальным инструментом для одновременного решения двух взаимосвязанных, но разнонаправленных задач — формирования наций и создания военно-торговых империй.

И то и другое соответствовало логике капитализма, было требованием времени.

## ГОСУДАРСТВО И НАКОПЛЕНИЕ

Оценивая перемены, происходившие на протяжении XVI–XVII веков, Иммануил Валлерстайн делает вывод: «К 1650 году основные структуры

исторического капитализма сформировались и консолидировались».<sup>143</sup> С этим категорически не соглашается Нил Дэвидсон, напоминая, что буржуазные классы и соответствующие общественные отношения в тогдашней Европе были крайне слабы, даже Голландская Республика зарабатывала деньги, «обслуживая существующие феодальные режимы» (*servicing the existing feudal regimes*)<sup>144</sup>. Однако с таким же (на самом деле — с гораздо большим) основанием можно сказать, что, наоборот, феодальные режимы всей Европы оказались вынуждены обслуживать накопление капитала в Голландии.

Логика рассуждений Дэвидсона приводит к выводу, что буржуазия была слаба повсюду, кроме Англии, да и в Англии она была гораздо слабее, чем принято считать. Парадоксальным образом этот тезис — в целом вполне справедливый — как раз и подтверждает правоту Валлерстайна. Капитализм формируется первоначально как мировая система, и лишь затем на ее основе происходит консолидация национальных «моделей» буржуазного общества.

Слабость буржуазии в каждой отдельной стране непосредственно связана с развитием миросистемы прежде всего как целого. Лишь государство, занимающее положение гегемона в формирующейся системе, может позволить себе роскошь полноценного и всестороннего буржуазного развития. Миросистема формировалась за счет перераспределения ресурсов и интеграции экономических процессов, происходивших в разных регионах мира. В результате все еще феодальные по своей структуре общества все больше втягиваются в глобальный процесс капиталистического накопления. По отношению к странам капиталистической «периферии» эта логика была хорошо изучена и продемонстрирована исследователями XX века. Чем больше ресурсов вовлекается в капиталистическое развитие, тем больше они используются для глобального перераспределения, и тем меньше их остается доступными для местного капитализма, местной буржуазии. Однако в XVI–XVII веках система еще находилась в процессе становления, а распределение ролей между «центром» и «периферией» сформировалось далеко не окончательно. В значительной мере перераспределение ресурсов происходило и между самими странами «центра» — в пользу государства, оказавшегося в положении гегемона. Именно поэтому борьба за гегемонию в еще не сложившейся до конца системе сразу же приобретает яростный характер, сталкивая между собой сначала Англию и Голландию, а потом Англию и Францию<sup>145</sup>.

<sup>143</sup> J. Wallerstein. *Historical Capitalism*. London: Verso, 1984, p. 42.

<sup>144</sup> N. Davidson. *Op. cit.*, p. 74.

<sup>145</sup> С другой стороны, именно успех буржуазного развития Англии объясняет не только слабость капитализма в соседней Шотландии, но и стремительное развитие шотландского капитализма сразу же после того, как произошло по-

Между тем в XVII веке порядок, на котором строилась мировая экономическая система в течение предшествующей эпохи, сам по себе переживал кризис.

В период между 1493-м и 1800-ми годами с американского континента получали 85% всего использовавшегося в мире серебра и 70% золота<sup>146</sup>. В Европе продолжали работать богемские серебряные рудники, но по объемам производства они далеко уступали американским шахтам. Некоторое количество серебра привозили из Японии, а золото также продолжало поступать из Африки.

Поток драгоценных металлов, который пошел в Европу после открытия Америки, стал не только стимулом для ускоренного экономического развития, но и позволил оплачивать стремительно растущий импорт из Азии. Как и любое резкое увеличение денежной массы, появление на рынках Запада золота и серебра в невиданных ранее количествах стимулировало сначала инфляцию, а затем дестабилизацию социальной системы.

Цены росли по всей Европе, но неравномерно. Естественно, в Испании они росли быстрее, чем в других странах. В качестве примера можно привести цены на пшеницу. Как отмечают исследователи, «в то время как в Англии цена на нее поднялась за XVI век на 155%, а в Испании она выросла на 556%»<sup>147</sup>. Соответственно происходило и перераспределение реальных доходов. Покупательная способность испанских рабочих в условиях революции цен упала примерно на треть, тогда как в некоторых других странах наблюдался рост жизненного уровня.

Ввоз серебра и золота из Америки в Европу через испанские владения достигает пика в 1591–1595 годах, после чего начинает неуклонно снижаться. Сокращающийся поток серебра оказывается одним из факторов, характеризующих «кризис XVII века». Возможности развития за счет грабежа новых колоний исчерпываются.

Однако «революция цен», несмотря на все издержки, связанные с обесцениванием денег, оказалась мощнейшим фактором накопления капитала. Происходило стремительное перераспределение финансовых ресурсов как между странами и регионами, так и между социальными слоями. В то время как классы, связанные с землей, и феодалы, и крестьянство, не могли резко увеличить свои доходы, страдая от каждого

---

литическое объединение в общее британское государство. Шотландия, демонстрировавшая в XVII веке явные черты периферийного развития, превращается после политических преобразований 1707 и 1745 года не только в часть центра, но включается в систему британской имперской гегемонии, которая в эти же годы отстраивается в глобальном масштабе.

<sup>146</sup> См.: *The Rise of Merchant Empires*, p. 224.

<sup>147</sup> А. Е. Кудрявцев. Цит. соч., с. 202.

нового витка инфляции, торговый капитал и все, кто был так или иначе связан с эксплуатацией колоний, выигрывали.

«Колонии, — писал Маркс в “Капитале”, — обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал. Голландия, которая первой полностью развила колониальную систему, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества»<sup>148</sup>.

Торговый капитал и его заморские предприятия сыграли решающую роль в превращении буржуазного уклада в капитализм. Уже к началу XVI века речь идет не просто об обмене излишками между различными регионами и даже не только об обмене товарами. Торговля начинает формировать международное разделение труда, а вместе с ним и новую политическую карту мира.

Адам Смит не случайно в первых главах своей книги уделяет столь большое внимание данному вопросу. Его «Исследование о природе и причинах богатства народов» начинается с главы «О разделении труда», где шотландский экономист не только доказывает необходимость разделения общества на классы, но и показывает задолго до Маркса и Ленина связь этих классов с распределением производственных функций. Если на первых порах речь идет о распределении операций между рабочими на предприятии, то затем Смит обращает внимание на разделение труда между хозяйственными отраслями и регионами, напоминая, что «возможность обмена ведет к разделению труда», которое, в свою очередь, приобретает тем большие масштабы, чем больше размеры рынка<sup>149</sup>. Таким образом, торговля, расширяя рынки и объединяя их, способствует развитию буржуазной экономики.

Описывая взаимосвязь капиталистического и некапиталистического хозяйства, Роза Люксембург писала: «В первой половине XIX столетия прибавочная стоимость в Англии выходила из процесса производства большей частью в виде хлопчатобумажных тканей. Но вещественные элементы ее капитализации — хлопок из рабовладельческих штатов Северной Америки или хлеб (средства существования для английских рабочих) из житниц крепостной России — хотя и представляли собой прибавочный продукт, но отнюдь не прибавочную стоимость. Насколько капиталистическое накопление зависит от этих некапиталистически произведенных средств производства, показывает хлопковый кризис в Англии, который стал результатом прекращения работ на плантациях

<sup>148</sup> К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 763.

<sup>149</sup> См.: А. Смит. Цит. соч., с. 79.

вследствие гражданской войны, или кризис в европейской полотняной промышленности, который был следствием прекращения подвоза льна из крепостной России благодаря Восточной войне. Стоит лишь, впрочем, вспомнить о той роли, которую играл подвоз крестьянского, следовательно, некапиталистически произведенного, хлеба для прокормления масс промышленных рабочих Европы (т.е. как элемент переменного капитала), чтобы понять, насколько сильно капиталистическое накопление связано в действительности, благодаря своим вещественным элементам, с некапиталистическими кругами»<sup>150</sup>.

Формируя международное разделение труда, торговый капитал организуется и реорганизуется мир в соответствии с требованиями буржуазной экономики, создает производство, единственной целью которого делается получение прибавочной стоимости.

Торговля на дальние расстояния становилась важнейшим механизмом накопления капитала. Сами по себе подобные предприятия, сложные и рискованные, были немислимы без мобилизации значительных финансовых ресурсов (непропорциональных сравнительно небольшому числу людей, которые были в этих начинаниях задействованы), что имело смысл лишь постольку, поскольку получаемая прибыль оказывалась еще более существенной.

Торговый капитал не мог не оказывать огромного преобразующего влияния на производство. Укрепляясь и развиваясь, он осуществлял постоянное перераспределение ресурсов. Причем не только, и далеко не всегда — от будущих стран «периферии» к странам «центра» (как показывает опыт, на ранних этапах Новой истории страны Южной Азии и даже Восточной Европы имели положительный баланс в торговле с Западом), но прежде всего, между традиционным производством и нарождающимся капиталистическим сектором. Подобное перераспределение происходит как в глобальном масштабе, так и внутри западных стран, меняя там соотношение сил между различными хозяйственными укладами и социальными группами. Втягивая традиционных производителей в рыночные отношения, торговый капитал заставляет их перестраиваться, вести свои дела по-новому.

Однако далеко не всегда развитие торгового капитала позитивно влияло на производство. Положение дел в Испании и Португалии наглядно доказывает, что это не так. Любое расширение производства, модернизация оборудования, внедрение новых технологий (что в XV–XVII веках было неотделимо от привлечения новых, дорогостоящих специалистов, порой с другого конца света) — все это требует инвестиций. А формирующийся рынок капитала отнюдь не благоприятствовал производству:

<sup>150</sup> Р. Люксембург. Накопление капитала. Изд. 5-е. М. — Л.: Соцэкгиз, 1934, с. 250.



вкладывая деньги в торговлю и банковские операции, можно было заработать гораздо больше и гораздо быстрее. Поток товаров из Азии создавал дополнительную конкуренцию для европейских мастерских, хотя многие виды азиатских изделий европейцы в принципе произвести не могли из-за отсутствия сырья, технологии или опыта.

Блистательное развитие торгового капитализма в XVI веке несло в себе уже все элементы будущего кризиса. Это быстрее всего сказалось на Испании, где расцвет империи совпадает с нарастающими тенденциями хозяйственного застоя. В Италии закат городов-государств становится необратимым из-за оттока капиталов и стагнации производства. Однако и в других частях Европы нарастают проблемы.

Принципиально важно, что капитализм — не просто производство, основанное на эксплуатации наемного труда, но также и в первую очередь — производство, подчиненное логике накопления капитала. Между тем накопление капитала в мануфактурной промышленности XVI–XVII веков было медленным и слабым, не говоря уже о предшествующем периоде. Это подтолкнуло американского историка Роберта Бреннера к выводу об аграрном происхождении капитализма (о чем, впрочем, писал и Маркс в первом томе «Капитала»<sup>151</sup>). Причем, анализируя английское общество накануне революции, Бреннер отмечает, что в новую буржуазную организацию экономики было вовлечено не только «новое дворянство», возникшее благодаря захвату и раздаче монастырских земель в ходе Реформации Генриха VIII, но и старая земельная аристократия. Этот тезис очень убедительно доказан историком и вряд ли может быть подвергнут сомнению. Другое дело, что «новое дворянство» и старая аристократия в рынок вовлечены были по-разному, и способ их существования в меняющемся обществе был различным — иначе они просто слились бы в одну социальную группу (что, кстати, и произошло после «Славной революции» 1688 года).

К началу XVII века не только английское общество было уже в значительной степени буржуазным, но и государство не было уже вполне феодальным. Таким образом, Английская революция оказалась не только и не столько победой буржуазного порядка над феодальным или освобождением буржуазии от «феодального» государства, сколько — в историческом смысле — победой промышленного капитализма над торговым. Разумеется, смысл происходящей трансформации оставался не вполне доступен участникам событий, тем более что торговый капитал не представлял собой монолитного социального блока. Но так или иначе, система торгового капитализма, сформировавшаяся на протяжении XV–XVI веков, терпит крах в ходе кризиса XVII века — в результате

<sup>151</sup> См.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 752–754.

потрясений Тридцатилетней войны, Английской революции и Англо-голландских войн. Итогом этих потрясений становится то, что на смену старой модели, где доминировала буржуазная эксплуатация традиционного хозяйства, приходит новая модель, основанная на капиталистическом производстве и непосредственной эксплуатации капиталом наемного труда. Одновременно закрепляется и разделение между «центром», где торжествуют новые производственные отношения, и «периферией», которая остается вотчиной торгового капитала. На этом, собственно, и основывается новый политический компромисс в рамках развивающегося класса буржуазии, превращающейся в класс капиталистических предпринимателей.

Трансформация буржуазного класса оказалась не результатом плавной социальной эволюции и поступательного экономического развития, а итогом острого политического кризиса, сопровождавшегося гражданской войной, террором и диктатурой. Причем политический кризис переживала не только Англия, где он принял завершённую форму революции, но также Франция, где бушевали беспорядки Фронды, и Голландия, где республика переживала череду восстаний, переворотов и катаклизмов. В Неаполе и Каталонии старая власть была свергнута народными выступлениями, подавить которые удалось лишь с большим трудом. К этому же ряду событий явно относятся и Великая Смута, Раскол и другие потрясения «бунтарного века» в Московии. А в Германии Тридцатилетняя война была чем-то гораздо большим, нежели военным столкновением протестантских и католических княжеств.

Перри Андерсон характеризует эти политические кризисы и восстания (включая даже Англию) как «восстание знати против консолидации абсолютизма» (*a nobiliary revolt against the consolidation of Absolutism*)<sup>152</sup>. Однако тут же добавляет, что это движение «получило поддержку среди недовольной городской буржуазии и плебейских толп, принявших участие в общем возмущении. Лишь в Англии, где капиталистические элементы были сильны как в городе, так и в деревне, Великое восстание (*the Great Rebellion*) достигло успеха»<sup>153</sup>.

Оценка событий сводится, таким образом, к известной английской формуле о том, что мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Одно из двух: либо мы имеем дело со схожими (хотя, конечно, отнюдь не одинаковыми) явлениями, которые, по признанию самого же Андерсона, имели похожие корни и социальную природу, но тогда и французскую Фронду надо оценивать как несостоявшуюся буржуазную революцию, либо, напротив, перед нами явления противополо-

<sup>152</sup> P. Anderson. *Op. cit.*, p. 54.

<sup>153</sup> *Ibid.*

ложной направленности (аристократическая реакция в одном случае и буржуазная революция — в другом), но тогда непонятно, почему историк сам же объединяет их в одну категорию. Показательно, однако, что у Андерсона из перечня восстаний и политических кризисов XVII века выпали перевороты и народные выступления в Голландии<sup>154</sup>. Подобная оговорка не случайна — ведь в Голландии уже явно не было ни феодализма, ни абсолютизма, а кризис развивался точно так же.

Между тем европейская смута XVII века, несмотря на присутствие в ней аристократического элемента, неотделима от истории развития капитализма. Политический кризис был порожден экономическими причинами, будучи отражением на уровне борьбы за власть тех трудностей, с которыми столкнулось буржуазное развитие Европы на всем огромном пространстве от Англии до России. Государство в том виде, в каком оно сформировалось в эпоху торговой экспансии XVI столетия, перестало отвечать потребностям развития общества. И не потому, что власть тормозила буржуазное развитие, а потому, что продолжение развития требовало активных усилий государственной власти, усилий, на которые государство в сложившейся на тот момент форме было неспособно.

Успехи торгового капитализма быстро привели к исчерпанию, казалось бы, безграничных ресурсов, которые стали доступны благодаря Великим географическим открытиям. Нарастающий кризис мог быть преодолен только за счет активного вмешательства государства, ориентированного на развитие производства. Военные заказы способствуют развитию промышленности, королевские мануфактуры оказываются в числе первых образцов крупных, хорошо организованных производств. Правительства тратят деньги на приобретение новых технологий и обучение кадров, они противостоят нарастающей деградации рынка, которая становится все более заметной, по мере того как начинает иссыхать поток серебра из Америки. Однако на первых порах делается это бессознательно и стихийно. Только к концу XVII столетия подобные меры приобретают во Франции усилиями Жана-Батиста Кольбера (Jean-Baptiste Colbert) характер систематической политики, которая задним числом получила название меркантилизма.

Безизменения государственного устройства и радикального пересмотра правительственной политики невозможен был бы переход к новым формам накопления капитала. Именно благодаря усилиям и организую-

<sup>154</sup> Следует добавить, что западные историки всегда исключают из перечня восстаний XVII века Смуту и последующие бунты в России (к числу которых относится и московское движение 1648 года, и «медный бунт», и восстание Степана Разина). Сами российские историки, как правило, не видят между этими событиями и аналогичными событиями на Западе ни связи, ни даже параллелей, хотя совпадение дат и требований просто бросается в глаза.

щей работе государства рынок превращается в систему частного предпринимательства, а частное предпринимательство — в господствующий способ производства. Превращение буржуазного хозяйственного уклада в экономическую систему происходит за счет длительных, методичных и масштабных усилий государства (другое дело, что на первых порах правящие круги порой четко не осознают социально-исторического смысла происходящего, руководствуясь стремлением к хозяйственному развитию и пополнению бюджета). Государство на ранних этапах этого процесса отнюдь не является в полной мере буржуазным. Однако из всех классов европейского общества именно буржуазии в наибольшей степени удается использовать в своих интересах государственную власть, а в периоды кризисов и революций оборачивать себе на пользу их результаты. Другое дело, что дается это не без сопротивления других общественных сил, буржуазия добивается своих целей в ходе постоянной борьбы, а также неизбежных компромиссов с другими классами и сословиями, в том числе и стоящими ниже нее в социальной иерархии.

Европейское государство не только не было просто продуктом экономического и социального развития, оно само было важнейшим фактором преобразований, оно своей политикой формировало капитализм и само видоизменялось вместе с ним<sup>155</sup>.

## ПИРАТЫ И МОНОПОЛИИ

Маркс неоднократно подчеркивал грабительский характер первоначального накопления капитала. «Разграбление церковных имуществ, помещичье отчуждение государственных земель, расхищение общинной собственности, осуществленное по-узурпаторски и с беспощадным терроризмом, превращение феодальной собственности и собственности

<sup>155</sup> Не заставляет ли подобное понимание роли государства в становлении капитализма пересмотреть классические марксистские представления о «базисе» и «надстройке»? И да, и нет. Экономические и политические отношения вовсе не были разделены непроходимым рвом. Иными словами, государственная власть оказывалась (пользуясь марксистской терминологией) не только пассивной надстройкой, но и в значительной мере частью базиса. Однако подобное положение дел относится именно к периоду становления капитализма, причем в первую очередь — по отношению к странам периферии. С того момента, как капиталистические отношения в достаточной мере сложились, государство — в соответствии с новыми требованиями окрепшей буржуазии — уступает рынку одну сферу за другой, уходит из «базиса», ограничивая себя ролью «политической надстройки» над зданием капиталистических отношений. Такое положение дел сохраняется до тех пор, пока капитализм не сталкивается с новым системным кризисом, заставляющим — вынужденно — вернуть государство в «базис» либо ради регулирования, либо для того чтобы компенсировать слабость рынка авторитарным принуждением.

кланов в современную частную собственность — таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления. Таким путем удалось завоевать поле для капиталистического земледелия, отдать землю во власть капитала и создать для городской промышленности необходимый приток поставленного вне закона пролетариата»<sup>156</sup>.

Подобные нашествия капитала на общество повторяются снова и снова на протяжении истории, вплоть до конца XX века, когда разбойничьи нравы, типичные для ранних этапов европейского и американского капитализма, воспроизводились в повседневной практике предпринимательства на территории посткоммунистических стран Восточной Европы.

Однако осуществить их без поддержки и соучастия правительства принципиально невозможно. Решающим фактором первоначального накопления является, таким образом, не индивидуальная инициатива (будь то в форме «конструктивной» предпринимательской активности или, наоборот, в форме разбоя и насилия), а государство. И даже там, где мы сталкиваемся с прямым грабежом и беззаконием, эта деятельность приводит к желаемому эффекту лишь тогда, когда получает поддержку и — в конечном счете — санкцию государства<sup>157</sup>. Без этой поддержки, без легализации итогов грабежа, *добыча* никогда не стала бы *капиталом*.

Сложившийся капиталистический порядок предполагает уважение к правам собственности, но формирование буржуазных отношений повсеместно и необходимо сопровождается нарушением именно этих прав. Собственность крестьян экспроприируется землевладельцами, переходящими от феодального к буржуазному способу эксплуатации, в странах победившей Реформации королевская власть отнимает имущество монастырей, в католической Южной Европе государство на каждом шагу присваивает себе собственность евреев и протестантов, революционные режимы захватывают имения побежденной аристократии. В завоеванной Америке и в странах Азии захват имущества туземцев становится обычной практикой, а в Африке происходит массовое обращение в рабство самих людей. Формирование капитализма требует

<sup>156</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 743–744.

<sup>157</sup> Разумеется, бывали и исключения. Роза Люксембург отмечает, что в начале XX века «международный капитал даже без политической формы колониального господства сумел на территории свободной республики Перу поставить туземцев в такие отношения к себе, которые граничат с рабством, чтобы в хищническом хозяйничании огромного размаха захватывать в отсталых странах средства производства. В 1900 году названное общество английских и экзотических капиталистов выбросило на лондонский рынок приблизительно 4000 тонн путумайского каучука. За то же самое время погибло 30 тысяч туземцев, а из оставшихся 10 тысяч большинство было искалечено» (Р. Люксембург. Цит. соч., с. 252). Однако, как минимум, здесь мы видим прямое попустительство властей Латиноамериканской республики по отношению к английскому капиталу.

массового насильственного перераспределения собственности — такова логика первоначального накопления. Уважение к правам собственности становится священным принципом лишь тогда, когда перераспределение закончено, а капитал полностью подавил, подчинил себе и перевернул все остальные хозяйственные уклады. В странах «периферии», где многоукладная экономика сохраняется на всем протяжении буржуазной истории, насилие и нарушение прав граждан — имущественных и личных — остается повседневной чертой общественной жизни, не вопреки капитализму, а благодаря ему.

Капиталистическая торговля не только нуждалась в военной защите, но и была в процессе накопления капитала неотделима от наступательных операций, в ходе которых захватывались территории и ресурсы, необходимые для развития коммерческих предприятий, уничтожались политические режимы, препятствующие торжеству европейских интересов, подавлялась конкуренция, принудительно изменялись социальные отношения. Такие военные операции неизменно сопровождались массовым нарушением имущественных прав, иными словами, грабежом и разбоем.

Соединение торговли с войной и грабежом лучше всего давалось морским пиратам в XVI–XVII веках, но не надо забывать, что именно из пиратских флотилий позднее возникали и торговые предприятия, и военно-морские силы Англии и Голландии. Проблема пиратства состояла в том, что масштабы их деятельности быстро перестали соответствовать нуждам накопления капитала. Уже в середине XVII века свободное предпринимательство пиратов оказалось неконкурентоспособным по сравнению с организованной торговлей, защищаемой и поддерживаемой государством. Авантюристы, которые не понимали новых правил или не могли с ними смириться, терпели неудачу, а позднее и подвергались уничтожению. Как отмечают историки, подавление пиратства (*suppression of piracy*), осуществленное британским флотом в середине XVIII века, стало возможно благодаря «изменению отношений между купцом и государством» (*change of relationship between merchant and state*)<sup>158</sup>.

Пиратство, организованное буржуазией в XVI–XVII веках при поддержке государства в качестве разновидности предпринимательства, к началу XVIII века сменилось «диким» морским разбоем, с которым теперь активно боролся Королевский флот (*Royal Navy*), основанный бывшими пиратами.

Известный морской разбойник Генри Морган (*Henry Morgan*) по возвращении в Англию был предан суду. Станным образом, однако, правосудию не сумело доказать вину Моргана — хотя всему миру были извест-

<sup>158</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 218.

ны его грабительские рейды против Панама и других испанских портов, после чего оправданный судом преступник получил рыцарское звание и был отправлен обратно на Ямайку в должности вице-губернатора и главнокомандующего ее военно-морскими силами. Как человек способный и сообразительный, Морган очень хорошо понял суть произошедших перемен. Превратившись из морского разбойника в должностное лицо, бывший пират уделял основное внимание именно борьбе за безопасность мореплавания. Историки отмечают, что прекрасно зная суть дела, действовал он «со всей беспощадностью, применяя жестокие меры на этот раз по отношению к пиратам во имя соблюдения закона и приказа его королевского величества. Результаты не заставили себя долго ждать. Все больше бывших пиратов стали заниматься честным судоходством, и торговля на Карибском море начала процветать. Постепенно Ямайка порвала все свои связи с пиратами, а Порт-Ройал превратился в крупный центр морской торговли»<sup>159</sup>.

Демобилизация флота после войны за Испанское наследство пополнила ряды морских разбойников новыми кадрами, превратив атлантическое мореплавание в весьма рискованное предприятие. Но уже к 1726 году пиратство в Карибском море было фактически подавлено. Это было не только результатом успешного патрулирования опасных зон британским военным флотом, но и следствием серьезных мер, принятых на суше. Властями английских колоний была развернута полномасштабная кампания по борьбе с пиратством. В ход шли пропаганда, законодательные меры, репрессии. «Кампания по зачистке морей (the campaign to cleanse the seas) поддерживалась священниками, королевскими чиновниками, публицистами, которые произносили проповеди и речи, писали прокламации и памфлеты, публиковали статьи в газетах, старательно создавая негативный образ пирата. В прежние времена успех пиратов зависел от поддержки на берегу, усилившейся легендами об их подвигах, которые распространялись среди моряков и торговцев награбленным добром. Теперь ситуация изменилась — в 1722 и 1723 годах все видели виселицы с казненными разбойниками и слышали пропаганду, объяснявшую необходимость жестоких мер. Численность пиратов начала падать, и к 1726 году от всего братства сохранились лишь жалкие остатки»<sup>160</sup>.

Однако насильственное перераспределение ресурсов от масс народа к формирующейся буржуазной элите — не более, чем частный случай общей истории, в которой важнейшее значение имело перемещение

<sup>159</sup> Я. Маховский. История морского пиратства. М.: Наука, 1972, с. 122.

<sup>160</sup> M. Radiker. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Merchant Seamen, Pirates and the Anglo-American Maritime World, 1700–1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 285.

товаров между континентами, формирование нового международного разделения труда и передвижение средств, накопленных в сфере торговли, непосредственно в сферу производства. Все эти процессы были теснейшим образом связаны с государственной политикой, с военной экспансией европейских держав и их борьбой друг с другом.

В подавляющем большинстве случаев включение стран будущей периферии в новую мировую экономику происходило не за счет стихийного развития рыночных связей, а за счет принуждения. Местные рынки приходили в упадок, а порой и сознательно уничтожались, сложившиеся торговые связи разрушались, товарные потоки перенаправлялись, а производство радикально перестраивалось. Целые регионы, которые раньше поставляли на внешний рынок лишь излишки своей продукции, теперь производили свой товар непосредственно на экспорт. Сельскохозяйственные культуры, характерные для одних территорий, перемещались на другие. Традиционные отношения уступали место новым.

Несмотря на то что европейские купцы обладали значительными финансовыми ресурсами, полученными за счет разграбления и колонизации Америки, этого было недостаточно, чтобы произвести столь радикальную экономическую реорганизацию в азиатских странах. Совершить ее одними только рыночными методами, не прибегая к насилию, оказалось невозможно.

Ян Питерсзон Кун (Jan Pieterszoon Coen), генерал-губернатор голландских владений в Азии, объясняя правлению Ост-Индской компании логику своих действий, произнес уже цитировавшуюся выше формулу: «в Индии торговля развивается и поддерживается под прикрытием нашего оружия; и поскольку оружие мы оплачиваем доходами от торговли, очевидно, что мы не можем торговать без войны точно так же, как не можем воевать без торговли»<sup>161</sup>. Хозяйственная реорганизация, которую проводил западный капитал в Азии, а заодно и в самой Европе, была бы невозможна без политических преобразований и вооруженного насилия.

Разумеется, в этом процессе участвовали не только европейцы. Азиатские торговые элиты активно сопротивлялись европейскому влиянию, конкурировали, сбивали цены, без колебаний прибегали к провокациям и насилию. Однако, во-первых, азиатские купцы пытались защищать *status quo*, тогда как европейцы добивались перемен, а во-вторых, европейцы применяли насилие гораздо более систематически, более грамотно и, главное, более эффективно. Они создали систему, при которой, как отмечали позднейшие историки, «применение насилия было подчинено рациональному стремлению к прибыли»<sup>162</sup>. Они ставили четкие цели, ко-

<sup>161</sup> Цит. по: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 1.

<sup>162</sup> N. Steensgaard in: *Dutch Capitalism and World Capitalism*. London, 1982, p. 255.  
Цит. по: *The Political economy of Merchant Empires*, p. 1.



торых добивались одновременным использованием военных и коммерческих средств. Это сочетание рыночных методов с насилием и создало капиталистическую мировую экономику. И оно не было бы возможно без координирующей роли государства, которое не только субсидировало, поддерживало и организовывало торговлю, регулировало и налаживало работу рынка, инвестировало деньги в новые, дорогостоящие производства, выступало заказчиком и советчиком для капитала, но и без колебаний применяло в его интересах насилие, формировало армии и флоты, отправляло военных и чиновников в далекие страны, для того чтобы обеспечить торговые интересы складывающейся буржуазии и защитить формируемые ею рынки.

Инструментом государственного регулирования экономики в абсолютистской Европе было создание монопольных компаний, получавших от короны исключительные права на освоение новых рынков и создание новых отраслей. Подобные организации, отмечает Маркс, были «мощными рычагами концентрации капитала»<sup>163</sup>. Они продолжали традиции купеческих гильдий позднего Средневековья, но уже в новых условиях.

Описывая экономику Франции при Старом режиме, английский историк констатирует, что в крупных размерах накопление капитала происходило именно за счет предприятий, формировавшихся по заданию и при поддержке правительства: «Подобные монополии и огромные состояния, которые удавалось нажить благодаря связанной с ними спекуляции были бы невозможны без абсолютистского государства»<sup>164</sup>.

По инициативе и под контролем правительства создавались специальные частно-государственные корпорации, самыми знаменитыми из которых стали голландская и английская Ост-Индские компании. Однако история торговых монополий начинается значительно раньше — с Московской компании (Moscovy Company), основанной в Лондоне в 1554 году при личной поддержке Елизаветы Английской и ее ближайшего союзника Ивана Грозного. За ними следуют новые компании: Турецкая (Turkey Company) — в 1578 году, Восточная (Eastland Company) — созданная для торговли на Балтике в 1579 году, Левантская (Levant Company) — основанная в 1581 году. Лишь позднее в Англии возникают Ост-Индская и Африканская компании. Колонизация Америки тоже потребовала создания государственно-частных монополий — Компания Бермуды (The Bermuda Company), Компания острова Провиданс (The Providence Island Company), Компания Массачусетского залива (The Massachusetts Bay Company). И лишь позднее, при Кромвеле, колонии, которые первоначально создавались на основе монопольных хартий, теперь были открыты для всех желающих их осваивать.

<sup>163</sup> К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 763.

<sup>164</sup> С. Mooers. Op. cit., p. 58.

Старейшая английская колония Виргиния возникла как частно-государственное смешанное предприятие, основанное в 1587 году. По словам немецкого историка начала XX века, Виргинская компания с точки зрения права «представляла самое удивительное учреждение, когда-либо существовавшее. Верховные права над колонией принадлежали обществу, которое считало в числе своих членов множество богатых лондонских купцов и влиятельных личностей... Виргиния не была, следовательно, королевской колонией. Тем не менее управление обществом было такого рода, что открывало самый широкий простор для вмешательства правительства»<sup>165</sup>.

Виргинию контролировали одновременно официальные английские власти, лондонские акционеры-инвесторы и самоуправление белых поселенцев. Казалось бы, такая сложная и запутанная система управления должна была вести к катастрофической неэффективности и постоянным конфликтам, но на практике, хотя конфликты и возникали, они всегда разрешались сравнительно легко. Эта способность быстро и относительно безболезненно решать возникающие проблемы может быть объяснена единственным способом — в основе деятельности всех участвовавших в процессе сторон лежала очевидная для них всех общность интересов. Подобное положение дел заставляло историков считать: «Английская империя в первую очередь возникла как продукт частного предпринимательства»<sup>166</sup>. Однако с таким же успехом можно сделать и обратный вывод — колониальное предпринимательство было теснейшим образом связано со строительством империи.

В 1624 году Виргиния была превращена в королевскую колонию, а Оливер Кромвель подчинил ее торговлю Навигационным актам. По мере укрепления буржуазного режима в Англии влияние государства на колониальные дела постоянно усиливалось, на протяжении длительного периода времени это не вызвало особого недовольства у колонистов.

На практике колонии не выжили бы без поддержки и защиты государства. Однако финансовые трудности европейских правительств способствовали развитию капитализма в Северной Америке или Южной Африке ничуть не меньше, нежели протестантские ценности поселенцев.

Опыт англичан был усвоен голландцами, которые благодаря энергичному сочетанию частной инициативы и агрессивной государственной политики достигли впечатляющих успехов. В 1621 году была создана голландская Вест-Индская компания (WIC). На первых порах компания занималась преимущественно пиратством и контрабандой. «Первоначально это было скорее правительственное предприятие, чем

<sup>165</sup> К. Геблер. Америка после открытия Колумба. СПб.: Полигон, 2003, с. 169.

<sup>166</sup> G.L. Beer. The Old Colonial System, 1660–1754. Gloucester, Mass.: P. Smith, 1958. Part 1, vol. 1, p. 54.

бизнес-инициатива, и связана ее деятельность была с войной, которую Голландия возобновила против Испанской империи по окончании двенадцатилетнего перемирия. Под угрозой банкротства в 1674 году WIC реорганизовалась в компанию, специализирующуюся на работоторговле, хотя контрабанда в Южной Америке и сахарные плантации в Суринаме тоже приносили немалую прибыль. Именно WIC наладила в Атлантике трехстороннюю торговлю, связавшую европейское производство, поставки рабов из Африки и плантационное хозяйство в Америке в единую, взаимосвязанную и прибыльную торгово-производственную систему»<sup>167</sup>.

В качестве опорной базы WIC в Америке был основан Новый Амстердам, который позднее был захвачен англичанами и по мирному договору 1667 года в Бреде стал частью британской заокеанской империи под именем Нью-Йорк. Следуя по пятам голландцев, английские и французские купцы наладили собственные торговые схемы в этом же треугольнике. В свою очередь уже Голландская Ост-Индская компания, основанная еще раньше — в 1602 году, стала образцом для подражания в Англии и в странах континентальной Европы.

Голландия не принадлежала к числу стран с «сильным правительством», но как указывают современные исследователи, здешние власти «могли быть исключительно эффективны, когда это требовалось»<sup>168</sup>. Американский историк Эймс отмечает, что попытки развивать мировую торговлю на основе свободного предпринимательства привели к «яростной конкуренции между различными голландскими компаниями»<sup>169</sup>. Эта конкуренция ослабляла их позиции по отношению к англичанам, которые действовали консолидировано. Правительство вынуждено было вмешаться и организовать объединение соперничающих предприятий в единую монопольную компанию. В 1598 году произошло слияние многочисленных конкурирующих торговых фирм в Объединенную Ост-Индскую компанию (*Vereenigde Ost-Indische Compagnie, VOC*). В 1600 году великий пенсионарий (главный министр) провинции Голландия Йохан ван Олденбарневелт (*Johan van Oldenbarneveldt*) добился создания специальной комиссии для изучения проблемы. Переговоры проводились на самом высоком уровне, в них принимал непосредственное участие сам Мориз Нассауский, принц Оранский (*Maurits van Oranje-Nassau*), занимавший высший в республике пост шатагальгера (статхаудера). Окончательно слияние состоялось лишь в 1602 году.

<sup>167</sup> Chaos and Governance in the World System. Ed. by G. Arrighi & B.J. Silver. Minneapolis — London: University of Minnesota Press, 1999, p. 100.

<sup>168</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 85.

<sup>169</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 101.

Когда в Амстердаме было объявлено о предстоящем создании Ост-Индской компании, «город был охвачен энтузиазмом» (*real enthusiasm had seized the city*), сообщает голландский историк<sup>170</sup>. Основание компании «было событием, затронувшим все население Амстердама. Всего лишь 84 из более чем тысячи акционеров были настоящими крупными инвесторами (вложившими 10 тысяч гульденов или больше). Напротив, в списке людей, подписавшихся на акции компании, мы находим 466 мелких инвесторов, вложивших менее тысячи гульденов. Они составляли две пятых от общего числа акционеров»<sup>171</sup>. Основную массу этих «мелких инвесторов» составляли ремесленники, мелкие лавочники и даже наемные работники, вкладывавшие обычно по 60 гульденов, что являлось «значительной частью их сбережений»<sup>172</sup>.

Компания получила право не только торговать, но и вести войну, строить крепости, основывать колонии, чеканить монету и заключать договоры от имени Нидерландской республики. Первоначально решения руководства компании (*Heren XVII*) утверждались Генеральными Штатами, но к концу XVII века компания и государство стали уже настолько неразделимы, что в этом не было необходимости. Как замечает один из историков, по сути «VOC была тождественна государству» (*VOC was identical with the state*)<sup>173</sup>. С одной стороны, VOC представляла собой «одну из первых акционерных компаний»<sup>174</sup>. Ее акции, как и акции английской Ост-Индской компании котировались на биржах. А их курсы четко отражали не только их коммерческие, но и политические успехи и неудачи<sup>175</sup>. С другой стороны, обе компании учреждаются решением правительственных органов на основании официальной хартии, утвержденной парламентами. Государственные функции приватизировались и отдавались в руки частных подрядчиков, но в то же время официальная власть непосредственно включалась в управление и координирование предпринимательской деятельности.

Голландия, являвшаяся первым последовательно капиталистическим государством Европы, разумеется отличалась в этом плане от других держав: влияние частного капитала на правительство здесь было совершенно открытым и публичным. Отсюда, однако, не следует, будто голландская модель колонизации была радикально иной, чем у других держав.

<sup>170</sup> R. Roegholt. *Short History of Amsterdam*. Amersfoort: Bekking & Blitz Publishers, 2004, p. 40.

<sup>171</sup> *Ibid.*, p. 39.

<sup>172</sup> *Ibid.*, p. 40.

<sup>173</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 86.

<sup>174</sup> *Ibid.*, p. 103.

<sup>175</sup> См.: *The Rise of Merchant Empires*, p. 209.

В 1648 году, воспользовавшись окончанием Тридцатилетней войны, VOC наняла большое количество солдат, потерявших работу в Европе, и развернула наступление на португальские владения в Азии. Было завершено завоевание Цейлона, захвачены Малабар и Коромандель (Coromandel) в Индии.

Эймс отмечает, что голландская система казалась «скорее воспроизведением португальской Индийской империи (*Estado da India*), нежели ее капиталистическим отрицанием» (*became a mirror image of the *Estado da India* more than a capitalist rejection of it*)<sup>176</sup>. По его мнению, невозможно представлять победу голландской Ост-Индской компании (VOC) над португальцами как торжество капитализма над феодализмом. Наступающий капитализм отнюдь не представлял собой исключительно частное предпринимательство точно так же, как абсолютистское государство в Португалии уже не было образцом чистого феодализма. Именно способность голландской буржуазии эффективно поставить себе на службу институты и традиции, сформированные португальским абсолютизмом, предопределила ее политические и экономические успехи в Азии. Сильное государство не исключало развития частного предпринимательства, а напротив, оказывалось важнейшим его условием.

С самого начала VOC представляла собой некоторое противоречие, пишут голландские историки: «частная фирма, действующая как государство, стремящаяся установить монополию в условиях жесткой конкуренции»<sup>177</sup>, эта компания «вела себя как Князь в Азии, но голова, увенчанная княжеской короной покоилась на теле купца»<sup>178</sup>.

Впрочем, несмотря на квазигосударственное существование компании, именно коммерция составляла основу ее деятельности. В бюджете VOC «некоммерческие доходы (налоги, таможенные сборы и дань) никогда не превышали 10% общих поступлений из Азии» (*noncommercial revenues (taxes, tolls, tribute) never exceeded 10 percent of all Asian revenues*)<sup>179</sup>. В то же время ее коммерческий успех был тесно связан с политической и военной силой. В результате возникали неизбежные и регулярные конфликты между акционерами в Амстердаме, требовавшими экономить деньги, не тратить лишние средств на содержание войск и администрацию, и строителями империи, которые руководили Высшим советом в Батавии (*High Council at Batavia*). Если купцам в Голландии нужна была прибыль, то администраторы в Батавии понимали, что без воен-

<sup>176</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 175.

<sup>177</sup> J. De Vries, A. Van Der Woude. *The First Modern Economy: Success, Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 431.

<sup>178</sup> Ibid., p. 442.

<sup>179</sup> Ibid., p. 431.

ных и административных расходов поддерживать успешную торговлю не удастся.

Несмотря на то что голландцы сами брали пример с англичан, именно деятельность VOC стала образцом для множества аналогичных предприятий, основанных на протяжении XVII столетия. В 1627 году Ришелье создал компанию по освоению Канады — Новой Франции. В 1664 году Кольбер основал по голландскому образцу сразу две компании — (Compagnie des Indes orientales, Compagnie des Indes occidentales) соответственно для работы в Ост-Индии и Вест-Индии. Затем последовало учреждение ряда более мелких компаний, а в 1723 году для реорганизации и координации их деятельности был создан Совет по делам Индий (Conseil des Indes). Схожие компании учреждались в Шотландии, Дании, Швеции, Пруссии и России (в последних двух странах, впрочем, без особого успеха). В Швеции за XVII столетие по инициативе центральной власти был организован целый ряд торговых компаний: в 1640 году — Вест-Индская компания (West India Company), а в 1646 году — Левантйская компания (Levant Company). Сахарная компания (Sugar Company) была основана в 1647 году, Гвинейская компания (Guinea Company), известная также как шведская Африканская компания, была учреждена в 1649 году, за ней последовала Табачная компания (Tobacco Company) — в 1651 году.

Впоследствии подобные компании, не сумев заложить основы для сильных колониальных империй, исчезли и в качестве коммерческих предприятий. Тем не менее в определенные моменты скандинавы становились серьезными конкурентами голландцам и англичанам, как, например, датская Вторая Ост-Индская компания, основанная в 1672 году.

Финансовые тяготы, которые пришлось испытать правительствам во время кризиса XVII века, оказались чрезвычайными, а главное неожиданными, — после того, как в течение почти столетия поток американского серебра позволял так или иначе сводить концы с концами даже для государств, не слишком заботившихся о поддержании бюджетной дисциплины.

Постоянные войны, которые вели между собой европейские державы, оказались разорительными не только из-за сопровождавших их разрушений и расходов на содержание армий. До XVIII века мобилизация крупных воинских соединений была затруднена не столько недостатком людей и вооружения, сколько неэффективностью транспорта и организации. Прежде чем армии удавалось собраться в полном составе, приходилось кормить, оплачивать и удерживать под контролем ранее прибывшие в точку сбора соединения. Генриху V, несмотря на поддержку парламента и лондонских купцов, пришлось закладывать дворцовое серебро для подготовки экспедиции 1415 года во Францию. На организа-

цию Непобедимой Армады Филипп II выделил первоначально 3,8 миллиона дукатов. В итоге сильно урезанный план стоил ему более десяти миллионов — непомерная сумма даже для мировой монархии Габсбургов. По злорадному замечанию английского историка, ресурсы, накапливавшиеся предшественниками Филиппа в течение многих лет, «были растрочены за кратчайшее время, чтобы покрыть расходы армады»<sup>180</sup>.

К середине XVII века все европейские державы находились на грани банкротства. «Все эти правительства прибегали к продаже королевского имущества, девальвации денег, торговле должностями, “новаторским” инициативам в сфере налогообложения и, конечно, к заимствованиям, — констатируют историки. — Доходов от королевских имений и таможи не хватало еще и потому, что аристократия демонстрировала неизменную способность получать доступ к казенным средствам и растрачивать их. Дефицит бюджета был постоянным. А неэффективное использование правительственных средств затрудняло сбор налогов»<sup>181</sup>.

В подобной ситуации буржуазные предприятия за морем выглядели привлекательным дополнением к традиционным источникам дохода. Государство повсеместно поддерживало подобные начинания, предоставляло им официальный статус и одновременно стремилось к тому, чтобы они имели как можно более предпринимательский характер.

Государства поддерживали монопольные компании, охраняли их и оказывали им постоянную поддержку — техническую, финансовую, информационную. Французский военный флот (*Marine de guerre*) участвовал не только в обеспечении безопасности новых атлантических колоний, но и в их организации и даже финансировании — вместе с купцами из Дьеппа и Гавра<sup>182</sup>.

Можно констатировать, что государство (само еще далеко не буржуазное) охотно передоверяло свои функции и полномочия частному бизнесу, но, в свою очередь, частные предприниматели успешнее всего добивались своих целей, когда действовали от имени и по поручению государства, имея возможность в моменты крайней необходимости привлекать на свою сторону вооруженную силу правительства и его финансовые ресурсы. Близость к власти становилась важнейшим условием реализации амбициозных коммерческих планов, которые были зачастую неотделимы от политической стратегии. Оценивая роль государства в формировании крупных состояний XVI–XVII веков, Роберт

<sup>180</sup> A. Herman. *To Rule the Waves. How the British Navy Shaped the Modern World*. London: Hodder & Stoughton, 2004, p. 110.

<sup>181</sup> L.H. Roper, B. Van Ruybeke. *Constructing Early Modern Empires. Proprietary Ventures in the Atlantic World, 1500–1750*. Lieden — Boston: Brill, 2007, p. 5.

<sup>182</sup> См.: R. Blackburn. *The Making of New World Slavery. From Baroque to the Modern, 1492–1800*. London — N.Y.: Verso, 1997, p. 281.

Бреннер говорит про «политическое накопление капитала» (political accumulation)<sup>183</sup>.

Правительство оберегало монопольные права компаний не только внутри собственных стран, но и на международном уровне. Когда Дания в 1616 году учредила собственную Ост-Индскую компанию и пыталась привлечь к предприятию иностранный капитал, Англия и Голландия не только запретили своим подданным подписываться на датские акции, но и грозили Копенгагену войной. Тем не менее датская компания просуществовала до 1729 года. Наряду с основанной в 1731 году шведской Ост-Индской компанией, она оказалась одним из основных импортеров чая в Европу, опережая в этом деле даже англичан (причем значительная часть ее товара контрабандой сбывалась в той же Британии). Датчанам удалось основать собственные торговые фактории в Индии, используя для этих целей порт Транкебар (Trankebar, или Tharangambadi), где был сооружен форт Дансбург (Dansborg). Также под контролем компании находилась база в Южной Африке, недалеко от контролировавшегося голландцами Кейптауна. В 1730 году, изменив имя и хартию, она была учреждена заново как Азиатская компания (Asiatisk Kompagni), получив в 1772 году на 40 лет монопольное право вести под датским флагом торговлю к востоку от мыса Доброй Надежды. В 1772 году, когда срок действия монополии истек, Датская Индия была объявлена колонией короны (crown colony). Эта колония просуществовала до 1845 года, когда была продана Британии, а ее территории оказались присоединены к английским владениям в Индии и Южной Африке<sup>184</sup>. Шведская Ост-Индская компания прекратила свое существование еще раньше, в 1813 году. Последние заморские колонии Дании были переданы Британской империи в 1869 году.

Все эти компании, хоть и создавались как частные акционерные предприятия, действовали в прямой связи с правительствами своих стран. Их непосредственной задачей было накачивать средства в государственный бюджет. Деньги поступали как от торговой деятельности (в частности, от таможенных сборов), так и от взносов, которые купцы должны были делать в казну ради сохранения дарованных им монополий и политической поддержки.

<sup>183</sup> См.: The Brenner Debate. Ed. by T.H. Aston & C.H.E. Philpin. The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

<sup>184</sup> Не имея достаточно сильного флота, Дания не могла гарантировать безопасность своих азиатских владений. С 1801 по 1814 год Датская Индия была оккупирована англичанами. И хотя после окончания наполеоновских войн датские владения были возвращены их прежним хозяевам, было очевидно, что их существование зависит от милости Лондона.



Цель компаний состояла в том, чтобы, ограничив конкуренцию между купцами из одной страны, повысить их коллективную конкурентоспособность по отношению к купцам из других стран. Однако с самого начала роль компаний не сводилась к регулированию торговли и устранению «внутринациональной» конкуренции. Будучи учрежденными при поддержке государства, они изначально обладали политическими возможностями, которых не было у частных предпринимателей, и несли определенную политическую ответственность перед правительством. Даже Московская компания, не имевшая военно-политической организации, активно занималась дипломатической деятельностью в России, кредитовала внешнюю экспансию Романовых, помогала царю набирать войска и закупать вооружение. Сходным образом руководители контор Левантийской и Турецкой компаний (*Levant Company and Turkey Company*) в Стамбуле имели статус не только торговых представителей, но и королевских послов. Тем не менее полномочия торговых компаний, включая и Ост-Индскую, на первых порах в Англии не были столь обширными, как у голландской *VOC*, которая могла самостоятельно объявлять войну и заключать мир. При всей своей заинтересованности в торговле, режим Тюдоров и первых Стюартов не готов был механически отождествлять интересы купцов с интересами государства. И даже буржуазная революция XVII века в этом отношении не изменила ситуацию.

Задним числом деятельность монопольных компаний подвергалась уничтожающей критике со стороны либеральных экономистов и историков, которые начиная с конца XVIII века представляли эти организации в качестве препятствия для развития конкуренции, преграды на пути инноваций и частного предпринимательства. Одним из наиболее яростных критиков монопольных торговых компаний был Адам Смит. По его мнению, «монополия колониальной торговли, подобно всем другим низменным и завистливым мероприятиям меркантилистической системы, подавляет промышленность всех других стран, главным образом колоний, ни в малейшей степени не увеличивая, а, напротив, уменьшая промышленность страны, в пользу которой она устанавливается»<sup>185</sup>. Шотландский экономист был убежден, что «подобного рода монопольные компании во всех отношениях являются вредными, всегда более или менее невыгодными для стран, в которых они учреждаются, и губительными для тех, которые имеют несчастье оказаться под их управлением»<sup>186</sup>. В качестве добросовестного экономиста шотландский исследователь, конечно, вынужден был признать: зачастую риск и издержки, связанные с колониальной торговлей, столь высоки, что без помощи подобных

<sup>185</sup> А. Смит. Цит. соч., с. 581.

<sup>186</sup> Там же, с. 607.

компаний организовать ее — на основе свободной конкуренции капиталов — оказывается просто невозможно. Но отсюда он сделал лишь тот вывод, что в подобном случае торговать с восточными народами и вовсе не надо: «Хотя, таким образом, при отсутствии монопольной компании какая-нибудь отдельная страна может оказаться не в состоянии вести непосредственную торговлю с Ост-Индией, отсюда отнюдь не следует, что подобного рода компания должна быть учреждена в ней; отсюда следует только то, что при данных обстоятельствах такая страна не должна торговать непосредственно с Ост-Индией»<sup>187</sup>. Иными словами, страны, не имеющие достаточно высокого уровня развития капитализма, должны смириться с торговой монополией Британии и Нидерландов, но монополия эта должна принадлежать не конкретным компаниям, а британской или голландской буржуазии в целом.

Легко заметить, что когда Смит писал свои инвективы в адрес Ост-Индской компании, положение европейцев в странах Востока было уже прочным, политические и военные проблемы решены, а рынки открыты. В этом смысле очень показательна позиция, занятая по вопросу о деятельности Ост-Индской компании другим английским либеральным мыслителем — Эдмундом Бёрком (Edmund Burke). В 1780-е годы Бёрк прославился гневными речами против Уоррена Гастингса (Warren Hastings), возглавлявшего администрацию Ост-Индской компании в Бенгалии. Он разоблачал злоупотребления и произвол британских чиновников, их корыстолюбие и беззакония. Однако биографы Бёрка не могут не признать некоторой «непоследовательности» (inconsistency) в его выступлениях — вплоть до 1773 года «мы постоянно видим Бёрка защищающим интересы Ост-Индской компании»<sup>188</sup>. Когда правительство пыталось поставить вопрос об ограничении дивидендов, выплачиваемых акционерам компании, никто иной как Бёрк яростно протестовал, заявляя, что «подобного невозможно отыскать в законах ни одной цивилизованной страны на земле — вы угрожаете самому важному принципу, на котором покоится свобода государства»<sup>189</sup>.

Эволюция взглядов Бёрка отражает общее развитие ситуации в Индии. Если в 60-е годы XVIII века борьба за контроль над субконтинентом еще продолжалась, а позиции британцев в Бенгалии еще не казались совершенно прочными, то к концу века положение дел изменилось, английские купцы свободно могли вести свои дела в Индии под прикрытием сильной армии и, что не менее важно, собственных судов, обе-

<sup>187</sup> Там же, с. 600.

<sup>188</sup> C.C. O'Brien. *The Great Melody. A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke*. Chicago — London: University of Chicago Press, 1992, p. 257.

<sup>189</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 260.

спечивавших признание европейских норм права своими «туземными» партнерами и конкурентами. Соблюдение законности становилось важнейшим условием для развития успеха. Соответственно менялось и отношение к Компании. Наставало время, когда плодами ее побед должны были пользоваться уже не только ее акционеры, но и весь предпринимательский класс.

В XVI–XVII веках и даже в начале XVIII столетия картина выглядела совершенно иначе. Если бы европейцы в Азии действовали в соответствии с задним числом опубликованными рекомендациями Адама Смита, то торговать с Востоком оказались бы не в состоянии не отдельные страны, а Запад в целом.

В качестве доказательства своего тезиса о вреде монополий шотландский экономист ссылался на опыт Португалии, «которая более 100 лет подряд» держала торговлю с Индией «в своих руках без всякой монопольной компании»<sup>190</sup>. Ирония этого аргумента состоит в том, что колониальный монополизм португальцев в XVI веке шел куда дальше, чем англичан или голландцев в XVII столетии. Если англичане и голландцы создавали военно-торговые корпорации, то португальская корона просто держала все ключевые порты под непосредственным политическим контролем. Именно прямое вмешательство государства обеспечивало «свободу торговли» для индивидуальных португальских предпринимателей, которые не только опирались на защиту королевских вооруженных сил, но и на созданную правительством инфраструктуру.

Оговорка Смита о невозможности торговли в отдельном конкретном случае выдает общую проблему, с которой сталкивалась либеральная экономическая мысль на протяжении двух последующих столетий: разоблачая неэффективное управление теми или иными объектами в условиях государственного контроля и монополизма, они вынуждены умалчивать о том, что в каких-либо иных условиях данные объекты просто вообще не были бы созданы. Поскольку либеральная мысль начиная с середины XVIII столетия склонна была изображать экономические законы в качестве естественных, неизменных и никак не связанных с социальной организацией, способом производства или специфическими условиями существования отдельных обществ, то историческая эволюция рынка сознательно упускалась ими из виду точно так же, как и реальные обстоятельства, при которых возникли те или иные описываемые ими структуры. И уж, тем более, вне поля их интереса оставались политические действия, с помощью которых рыночные отношения становились господствующими на практике.

Между тем капитализм — это не конкуренция товаров, а конкуренция капиталов. Тот, кто может сконцентрировать на своей стороне

<sup>190</sup> А. Смит. Цит. соч., с. 600.

большие ресурсы, выигрывает в конкурентной борьбе независимо от того, насколько эффективны его действия с чисто экономической и организационной точек зрения. Именно поэтому поддержка государства является важнейшим требованием любой частной корпорации, сталкивающейся с иностранной конкуренцией и работающей на мировом рынке. Другое дело, что эту поддержку может оказывать как «родное» государство, так и «туземное», на территории которого разворачивается рыночное соревнование.

Издание правительственных указов, гарантирующих права корпораций, было обычной практикой и в странах будущей периферии, примером чего являются *фирманы* Великих Моголов, на которые опиралась все та же английская Ост-Индская компания. Однако здесь государственное вмешательство играло несколько иную роль: встраивая иностранные корпорации в систему местной власти и управления, эти указы не только закрепляли их место в восточном обществе, но и давали им в руки правовые, а отчасти даже административные инструменты, с помощью которых иностранный капитал начинал эти общества преобразовывать.

Далеко не случайно, что монопольные компании, возникшие в рамках феодальной системы, продолжали существовать и в буржуазной Голландии, и в парламентской Англии после революции. Рынок, который описывает Адам Смит, опираясь на практику конца XVIII века, во все не существовал в реальности во времена, когда создавались монопольные компании. Именно эти корпорации сыграли важнейшую роль в организации рынка, выполняя функции, с которыми не могли бы справиться десятки и сотни независимых предпринимателей. Они обеспечивали концентрацию капитала, снижали коммерческий риск, а главное устанавливали общие правила торговли, налаживали отношения между поставщиками и потребителями, принимая на себя издержки. Со всем этим самостоятельные предприниматели просто не справились бы. Вооруженные силы компаний повсеместно осуществляли *принуждение к рынку*, заставляя туземное население производить и выставлять на продажу именно те товары, которые были нужны европейскому потребителю. Они устанавливали и поддерживали отношения с властью не только в странах, откуда они происходили, но и на новых рынках, которые они осваивали. Здесь получение политической поддержки и монопольных прав было особенно важно, поскольку в противном случае торговля могла оказаться вовсе невозможной или рискованной настолько, что не оправдывала бы затрат.

Но как только ситуация менялась, рынок был сформирован и условия хозяйственной деятельности становились более благоприятными, а главное более предсказуемыми, правительство начинало испытывать

давление со стороны предпринимателей, не имевших государственных привилегий. В свою очередь корпоративная элита сопротивлялась изо всех сил, однако ее позиции слабели на глазах, ибо теперь корпорация защищала уже не общие интересы капитала, а лишь свои собственные.

Уже в XVI веке эти проблемы возникли в связи с деятельностью английской Московской компании. Пока торговля с Москвией осуществлялась по опасному и труднопроходимому северному пути, никто не оспаривал монопольный статус корпорации, но после того, как армии Ивана Грозного захватили и открыли для англо-русской торговли ливонский порт Нарву, куда плавать было легко и относительно безопасно, сразу же появилось множество купцов, требовавших отменить привилегии компании<sup>191</sup>.

В Вест-Индии английская корона столкнулась с теми же проблемами в первой половине XVII века, когда «новые купцы» (new merchants) вступили в конфликт со Стюартами, покровительствовавшими монопольным компаниям. Недовольство этих «новых купцов», как в Лондоне, так и в колониях, стало одним из факторов, подпитывавших антимоноархическую революцию<sup>192</sup>. Однако в Ост-Индии, где позиции британского капитала были намного слабее, ситуация менее контролируема, а иностранная конкуренция жестче, монопольная корпорация не только сохраняла свой статус в течение длительного времени после революции, но не подвергалась серьезной критике по крайней мере до второй половины XVIII века. Если волна революционных перемен положила конец монополизму на атлантических рынках, то на политике Англии по отношению к азиатскому рынку она не отразилась почти никак. И лишь после того, как армиям Ост-Индской компании, возглавляемым Робертом Клайвом удалось установить фактический контроль над Бенгалией, навязав английскую торговую гегемонию всему субконтиненту, ситуация резко изменилась. В Англии и Шотландии либеральные публицисты от Адама Смита до Эдмунда Бёрка выступили с резкой критикой монополизма.

## РАБОТОРГОВЛЯ

Хозяйственное освоение Нового Света было не только итогом энергичных усилий и предприимчивости европейских поселенцев, но и результатом труда миллионов африканских рабов, без которых производство в американских колониях просто не смогло бы выйти на уровень, требуемый мировым рынком. «Рабство и работорговля, — пишет английский историк Робин Блэкборн, — имели критическое значение для

<sup>191</sup> Подробнее о Московской компании и нарвской торговле см.: *Б. Кагарлицкий. Периферийная империя*. М.: Алгоритм — ЭКСМО, 2009, с. 161–162.

<sup>192</sup> См.: *R. Brenner. Merchants and Revolution*. London: Verso, 2003.

успеха атлантической колонизации. Работоторговля в Африке была напрямую связана с торговлей золотом, поддержанием прибрежных европейских факторий, производством сахара»<sup>193</sup>. Хлопок, кофе, табак и другие культуры наряду с сахаром распространились по Европе благодаря труду черных невольников.

Бразильский исследователь Антонио Карлос Маццео (Antonio Carlos Mazzeo) отмечает, что плантационное хозяйство, основанное на рабском труде, было бы невозможно без существования капиталистического рынка в Европе и соответствующего международного разделения труда. Рабовладельческая экономика Нового Света «отнюдь не представляет собой какой-то особый способ производства, существующий отдельно от капитализма, напротив, перед нами специфический тип капитализма»<sup>194</sup>. Это позволило Андре Гундар Франку (André Gunder Frank) говорить применительно к плантационному хозяйству о «капиталистическом рабстве» (*capitalist slavery*)<sup>195</sup>. Американское рабство, таким образом, сходно со «вторым изданием крепостничества» в Восточной Европе, где несвободное состояние крестьянства стало наилучшим средством, чтобы «удовлетворить западный спрос»<sup>196</sup>.

То, что развитие нового рабства по времени совпадает с эпохой «вторичного закрепощения» крестьян в России и в Восточной Европе (также в Германии — к Востоку от Эльбы), далеко не случайность. Дешевые продукты рабского и крепостного труда были необходимы для субсидирования свободного труда на Западе и это, в свою очередь, стало важнейшим условием прихода капитала в производство. Без этой русско-африканской, восточноевропейской и южноамериканской «субсидии» капиталистическое производство Запада вряд ли могло бы состояться в той форме, в какой мы его знаем.

Развитие свободного труда в странах, становившихся «центром» мирового капиталистического хозяйства, дополнялось и фактически субсидировалось параллельным использованием несвободного труда на периферии.

Разумеется, рабство полностью не исчезло на протяжении Средневековья, но оно играло второстепенную роль в странах Азии и Северной Африки, почти полностью исчезнув в Европе. И все же именно формирование новой мировой экономики и развитие торгового капитализма способствовали возрождению рабства в качестве признанного социаль-

<sup>193</sup> R. Blackburn. *The Making of New World Slavery*, p. 117.

<sup>194</sup> A. C. Mazzeo. *Burguesia e capitalismo no Brasil*. S. Paulo: Editora Arica S.A., 1988, p. 11.

<sup>195</sup> A. Gunder Frank. *On capitalist underdevelopment*, Bombay OUP 1976, p. 27.

<sup>196</sup> A. C. Mazzeo. *Op. cit.*, p. 10.

ного института по обе стороны Атлантики. К XVIII веку рабство и работорговля достигают в процессе становления нового, свободного мира и формирующегося либерального капитализма значительно больших масштабов, чем в средиземноморском мире Античности.

«Как капиталистическое производство не может ограничиться природными сокровищами и производительными силами умеренного пояса, нуждаясь для своего развития в возможности распоряжаться всеми странами вне зависимости от климата, так же мало оно может обойтись рабочей силой одной лишь белой расы. Для использования тех земных поясов, где представители белой расы становятся неработоспособными, капитал нуждается в других расах; он вообще нуждается в неограниченной возможности распоряжаться всеми рабочими силами земного шара, чтобы при их помощи привести в движение все производительные силы земли, поскольку это возможно в рамках производства прибавочной стоимости, — писала Роза Люксембург. — Английская хлопчатобумажная промышленность как первая действительно капиталистическая отрасль производства не могла бы существовать не только без хлопка южных штатов Североамериканского союза, но и без тех миллионов африканских негров, которые были перевезены в Америку в качестве рабочей силы для плантаций и которые после войны за освобождение, как свободный пролетариат, пополняли ряды класса капиталистических наемных рабочих»<sup>197</sup>.

Продажа невольников была важной отраслью африканской средневековой торговли. Советский историк Л.Е. Куббель, анализируя арабские источники, отмечает: «Золото Судана оттеснило на задний план в представлениях арабских писателей даже работорговлю. Но и в этих условиях из рассказов таких из них, как ал-Бакри или ал-Идриси можно со всей очевидностью усмотреть и хорошо налаженный, регулярный характер походов за невольниками, и то, что организаторами и участниками этих походов были не североафриканские купцы, а жители торговых городов Судана»<sup>198</sup>. В обществах Ганы, Мали и позднее в Сонгайской державе, как отмечает Куббель, ни на золото, ни на невольников не было спроса, но они стали «важнейшими статьями экспорта под влиянием североафриканского спроса»<sup>199</sup>.

Португальцы, продвигаясь в Африку, шли по стопам арабов. Проникнуть вглубь континента в XVI и XVII веках им не удалось, несмотря на страстное желание получить доступ к имевшемуся там золоту. Однако они смогли наладить отношения с местными царьками и вождями при-

<sup>197</sup> Р. Люксембург. Цит. соч., с. 255.

<sup>198</sup> Л.Е. Куббель. Цит. соч., с. 343.

<sup>199</sup> Там же, с. 344.

брежных племен, а также с их коммерческими агентами. Эта племенная элита получала немалые выгоды от своего посреднического положения. Европейские товары обменивались на золото и рабов, поступавших из глубины континента.

Европейцы быстро догадались использовать свои глобальные возможности для торговли на местных рынках. Так, ракушки-каури, которые заменяли деньги в Западной Африке, теперь перевозились тоннами с побережья Индийского океана на европейских судах и обменивались здесь на рабов. Мексиканское серебро шло в Китай для оплаты шелков, а армянские купцы, тесно сотрудничавшие с англичанами, связали испанские Филиппины с Индией. Уже в XVI веке испанские реалы стали самой распространенной денежной единицей на побережье Индии.

Американское серебро и золото превратили европейцев в серьезную коммерческую силу в Азии. Рост западного морского влияния способствовал упадку традиционных караванных путей на Востоке.

Рабы начали использоваться испанцами для замены вымиравших индейцев на островах Карибского моря. Однако именно португальцы наладили эффективную систему поставок, установив стабильные партнерские отношения с африканскими правителями и племенными вождями, поставлявшими им «живой товар». Оживленная торговля людьми развернулась в Сенегале, распространившись затем на Гвинею, Сьерра-Леоне и всю Западную Африку. Португальский путешественник Дуарте Пачеко Перейра (Duarte Pacheco Pereira) писал домой, что дела в этих местах идут великолепно: «когда торговля здесь хорошо налажена, она дает 3,5 тысячи рабов, а то и больше, значительное количество слоновой кости, золото, прекрасную одежду из хлопка и множество других товаров»<sup>200</sup>. Из товаров, привозимых европейцами, наибольшим успехом пользовались лошади и украшения.

За период от открытия Америки до начала XVIII века в Новый Свет было перевезено около 1,5 миллиона чернокожих рабов и еще около 6 миллионов — в течение следующего столетия<sup>201</sup>. Усовершенствования, произошедшие в кораблестроении, появление корабельной вентиляции позволяли резко увеличить количество живого товара, доставляемого на американские плантации. Если в XVII веке по дороге умирал каждый пятый, то к началу следующего века смертность при транспортировке удалось понизить до 10%, а к концу столетия до 5%. Другим фактором, способствовавшим расширению работорговли был переход от господ-

<sup>200</sup> Цит. по: B. Davidson. *The African Slave Trade*. Boston — Toronto: Atlantic Monthly Press, 1980, p. 59.

<sup>201</sup> См.: *The Rise of Merchant Empires*, p. 288. Это составляло по подсчетам позднейших историков 63% от общего числа людей, переселившихся из Старого Света в Новый.



ства монопольных компаний к режиму свободного предпринимательства, воцарившемуся в Атлантике к середине XVIII века<sup>202</sup>.

Разумеется, работорговля отнюдь не была изобретением европейцев. Но именно открытие Америки создало новый спрос и новые рынки для живого товара, а появление европейских предпринимателей позволило поставить этот бизнес на широкую ногу. К началу XVIII века торговля рабами стала для Африки более значимой частью экономики, чем вывоз золота и слоновой кости. Азиатский текстиль привозился в наиболее развитые зоны африканского побережья, где обменивался на живой товар. Европейские авторы того времени отмечали, что африканские потребители «стали хорошо разбираться в европейских и азиатских изделиях» (became very knowledgeable about general European and Asian products).<sup>203</sup> Наряду с текстилем на африканских рынках спросом пользовались мебель и оружие. Португальцы привозили из Бразилии ром и табак.

Африканские продавцы рабов постепенно осваивались с рыночной экономикой, научаясь извлекать максимум выгоды из растущего спроса — цены на живой товар неуклонно росли: «африканцы сами определяли масштабы поставок, решали, каких именно рабов выгоднее предложить на продажу. И они устанавливали цены»<sup>204</sup>. Так что именно в работорговле следует искать исторические корни африканского капитализма.

Между 1576-м и 1591-м годом португальцы перевезли в Бразилию по разным оценкам от 40 до 50 тысяч рабов, главным образом из Конго и Анголы<sup>205</sup>. При этом, однако, к 1600 году чернокожее население Бразилии не превышало 15 тысяч человек, большая часть которых была занята на сахарных плантациях. «Такой разрыв между числом ввозимых рабов и их численностью на плантациях связан с жесточайшими условиями содержания, которые вели к массовой смертности, — пишет английский историк Хью Томас (Hugh Thomas), — планировалось, что раб должен прожить 10 лет после прибытия в Новый Свет, после чего он терял свою трудовую ценность и должен был заменяться новым невольником, привозимым из Анголы или Конго»<sup>206</sup>. С экономической точки зрения оказывалось выгоднее завозить взрослых рабов и эксплуатировать их, доводя до ранней смерти, чем выращивать на плантациях чернокожих детей, которых надо было годами кормить, прежде чем они станут пригодны к работе. Производство сахара было сложным и трудоемким делом, а потому приток рабочей силы требовался постоянно. Значительная часть

<sup>202</sup> См.: *The Rise of Merchant Empires*, p. 288.

<sup>203</sup> *Ibid.*, p. 291.

<sup>204</sup> *Ibid.*, p. 294.

<sup>205</sup> См.: *H. Thomas. Op. cit.*, p. 134.

<sup>206</sup> *Ibid.*, p. 134.

сахарных плантаций и перерабатывающих предприятий принадлежала крещеным евреям, которые сами были под постоянным наблюдением инквизиции — их подозревали в тайной приверженности иудаизму. Вложить свои капиталы в метрополии эти предприниматели не могли и вынуждены были ограничиваться работой в Бразилии.

В самой Африке развитие работоторговли способствовало появлению новой европеизированной элиты, состоявшей из туземной аристократии и купцов, а также мулатов, занимавшихся посредническими операциями. Освоение европейцами морского пути вдоль берега Западной Африки изменило экономическую ситуацию внутри континента. Государства, державшиеся за счет контроля над караванными путями из глубины континента к Средиземному морю, приходили в упадок и разрушались.

В свою очередь в Америке рабство не было первоначально уделом одних лишь черных африканцев. В начале XVI века в испанские колонии отправляли отбывающих наказание преступников. В годы правления Оливера Кромвеля английское правительство отправляло в Вест-Индию ирландцев, захваченных при подавлении восстания. Американский историк Бэйзил Дэвидсон (Basil Davidson) отмечает, что у белых рабов не было никаких привилегий по сравнению с черными: «К европейским рабам и полу-рабам относились примерно так же, как и к чернокожим»<sup>207</sup>.

Королевский эдикт 1519 года регулировал для португальских владений условия содержания невольников и требовал их обязательного обращения в христианство, причем непременно — еще до посадки на корабль. Последнее, по всей видимости, было связано с высокой смертностью в процессе транспортировки. Было бы желательно, чтобы рабы умирали христианами. Разработанные португальцами нормы впоследствии легли в основу аналогичных актов, издававшихся в других странах. В частности, забота о душах чернокожих невольников на протяжении столетий оставалась важнейшим этическим вопросом для европейских правителей. В 1648 году акт, изданный французским королем Людовиком XIII, также предусматривал обязательное крещение рабов.

Вслед за португальцами работоторговлей занялись испанцы, французы, голландцы и англичане. Первоначально в испанских владениях торговля людьми была налажена плохо и развивалась не слишком успешно, принося больше убытков, чем прибыли. Спрос превышал предложение и рост цен способствовал активизации этого бизнеса во второй половине XVI века. Однако дело осложнилось тем, что королевская власть, отчаянно нуждавшаяся в деньгах, в 1574 году обложила рабовладельцев в Америке налогом, заставляя платить за каждого принадлежавшего им невольника. Администрация Перу отчаянно требовала от правительства

<sup>207</sup> B. Davidson. Op. cit., p. 64.

в Мадриде принять меры для обеспечения колоний рабами, но должно-го эффекта не было. Лишь в 1580-х годах, после того как Португалия попала под власть Филиппа II, работорговля в заморских владениях Испании была налажена с помощью опытных португальских купцов, которых финансировали генуэзские банкиры. Корона предоставляла монопольные контракты избранным поставщикам, которые брали на себя обязательство перевести определенное количество живого товара в оговоренный срок. Однако высокая рождаемость в Испании и Италии, откуда продолжалась массовая миграция в колонии, а также наличие многочисленного индейского населения, создавали на рынке труда в испанских колониях ситуацию, разительно отличавшуюся от той, что имела место в Бразилии. Потому испанская работорговля никогда не достигала масштабов португальской. В свою очередь некоторые католические священники уже в конце XVI века выступали с осуждением рабства и требовали освобождения рабов-христиан, что существенно осложняло дело с идеологической точки зрения<sup>208</sup>.

К началу XVII века французы закрепились на побережье Сенегала и Гамбии, англичане начали активно торговать с Гвинеей. Португальцы, нуждавшиеся в поставках рабов в Бразилию, после некоторых колебаний стали терпимо относиться к присутствию других европейцев в Африке при условии, что коммерческое влияние не превращалось в политический контроль над территорией. Гораздо драматичнее развивались отношения с голландцами, которые, добиваясь независимости от Габсбургов, находились в войне с Испанией и Португалией. Однако голландцам удалось наладить поставки рабов контрабандно, в обход официальных властей. Важную роль в этом сыграли португальские евреи, переселившиеся в Голландию, чтобы избежать религиозных преследований. Они знали язык и рынок, сохраняли торговые связи в Бразилии и привыкли обходить запреты властей. Перемирие, заключенное между монархией испанских Габсбургов и нидерландскими Соединенными провинциями в начале XVII века, позволило голландцам еще более расширить торговлю с Бразилией. Когда в 1621 году после 12 лет мира вновь развернулись боевые действия, вытеснить голландцев с занимаемых позиций было уже невозможно.

В 1620 году голландский корабль доставил в Виргинию первую партию чернокожих рабов. «Спрос на них был настолько значителен, что вскоре не только голландские корабли доставляли этот груз в изобилии, но и англичане, а также сами виргинские купцы занялись торговлей черным товаром»<sup>209</sup>. Английское правительство пыталось также отправ-

<sup>208</sup> См.: *H. Thomas. Op. cit., p. 147.*

<sup>209</sup> *К. Геблер. Америка после открытия Колумба. С-Пб.: Полигон, 2003, с. 171.*

лять в Виргинию осужденных преступников для работы на плантациях, но эта практика вызвала недовольство поселенцев, поскольку каторжники, отбыв наказание, освобождались и начинали жить среди добропорядочных граждан. Напротив, чернокожие рабы оставались в неволе пожизненно, а потому с ними никаких проблем не было.

По мере того как Португалия и Испания уступали ведущие позиции в мировой политике Голландии, а потом Англии и Франции, менялось и соотношение сил в торговле. Королевская Африканская компания (Royal African Company) получила в 1660 году от английской монархии монопольные права на торговлю на этом рынке, главным образом состоявшую в приобретении и продаже невольников. В конце XVII века, когда Испания и Португалия утратили свою прежнюю мощь, а голландцы, побежденные в морских войнах и умиротворенные политическими и коммерческими компромиссами «Славной революции», превратились из конкурентов в союзников, правительство под давлением независимых купцов решилось на отмену монополии. В 1698 году она была отменена частично, а 14 лет спустя — полностью. Купцы из Бристоля и Ливерпуля устремились в этот выгодный бизнес, поставляя рабов на плантации Вест-Индии. «К 1740 годам, — констатирует американский историк Маркус Рэдикер, — они сделали Великобританию мировым лидером в транспортировке живого товара»<sup>210</sup>.

В XVIII веке британский, французский и североамериканский капиталы играли возрастающую роль в этом бизнесе. «Развитие британских и французских владений в Карибском море шло таким образом, что потребность в африканских невольниках превышала потребность в заселении островов европейскими колонистами. Число белых, добровольно приезжающих сюда в 1650–1700 годах было куда ниже, чем число привозимых чернокожих рабов, — сообщает Робин Блекборн. — Но в XVIII веке разрыв еще больше увеличился: из Африки завезли около 6 миллионов рабов, а европейцев прибыло в пять или шесть раз меньше»<sup>211</sup>. Не менее миллиона человек погибли при перевозке. Однако после прибытия в Америку далеко не всем удавалось прожить долго. По оценкам историков, «для того, чтобы доставить 9 миллионов рабов за период 1700–1850 годов пришлось поймать около 21 миллиона человек в Африке. Разрыв между этими цифрами говорит сам за себя — примерно 5 миллионов умерло в течение первого года после поимки и еще около семи миллионов были заняты в самой Африке, обеспечивая работу военно-коммерческого аппарата, занятого поставкой невольников»<sup>212</sup>.

<sup>210</sup> M. Radiker. Op. cit., p. 45.

<sup>211</sup> R. Blackburn. *The Overthrow of Colonial Slavery, 1776–1848*. London — N.Y.: Verso, 1988, p. 12.

<sup>212</sup> R. Blackburn. *The Making of New World Slavery*, p. 388.

Существование европейских колоний в Африке было непосредственно связано с развитием плантационной экономики Вест-Индии. В середине XVIII века лондонский «Gentleman's Magazine» с пафосом доказывал, что африканские торговые базы имеют принципиальное значение для будущего империи: «если из-за безразличия и равнодушия, из-за непонимания их ценности или просто из-за нежелания тратиться на оборону мы потеряем эти поселения, мы потеряем и наши колониальные сахарные плантации; ибо сахарные плантации не могут существовать без негров, а негров можно получать только из Африки»<sup>213</sup>.

Рабство и работорговля были важнейшим элементом в механизме накопления капитала, причем не только там, где речь шла о непосредственной эксплуатации труда рабов. Как и любой бизнес, работорговля требовала инвестиций, организации и кредита. Свободные от рабства колонии Новой Англии наживались на этих операциях ничуть не меньше, чем южные колонии, где применялся труд невольников.

«Протестантские купцы Бостона, Салема, Ньюберипорта и Провиданса точно так же, как и их коллеги из Бристоля и Ливерпуля, накопили богатство, работая в треугольнике между Европой, Западной Африкой и Карибами, получая все выгоды от работорговли и использования рабского труда на плантациях», — констатирует Ричард Пит (Richard Peet)<sup>214</sup>.

Разумеется, нравственные проблемы, связанные с работорговлей были очевидны уже для самих участников подобных предприятий, которые во многих отношениях были людьми для своего времени вполне передовыми. Среди акционеров голландской Вест-Индской компании (WIC) возникла дискуссия о допустимости подобного бизнеса. Многие участники предприятия, как протестанты, так и евреи, выражали сомнения относительно моральной допустимости торговли людьми. Гуманистически настроенные акционеры по нравственным соображениям отдавали предпочтение пиратству перед работорговлей. Однако жажда прибыли возобладала над соображениями религиозной этики<sup>215</sup>.

Рабство было не просто важным элементом колониальной экономики, но и частью формирующейся системы свободного рынка. О поставке рабов рассуждали так же, как и о любом другом товаре, оценивая эффективность вложения средств и перспективы развития бизнеса. Так, британский «Gentleman's Magazine» напоминает в середине XVIII века о необходимости увеличить «ежегодные поставки негров, которые должны со 160 подняться до 2500 в течение одного сезона»<sup>216</sup>.

<sup>213</sup> Gentleman's Magazine, April 1757, vol. XXVII, p. 147.

<sup>214</sup> R. Peet. Op. cit., p. 59.

<sup>215</sup> См.: R. Blackburn. The Making of New World Slavery, p. 190. См. также: P.J.A.N. Rietbergen. A Short History of the Netherlands, p. 92.

<sup>216</sup> Gentleman's Magazine, August 1761, vol. XXXI, p. 343.

Система, основанная на рабстве, создавала необходимость сильного государства. Не только для удержания в повиновении массы порабощенных людей, но и для транспортировки и охраны живого товара. Поэтому даже ослабевшие Испанская и Португальская империи оставались важнейшим элементом в системе Атлантической экономики. Мощные имперские институты были необходимы для сохранения подобного порядка вещей. В этом плане процессы, происходившие в России, Виргинии и Бразилии, не просто параллельны и схожи, но до известной степени однотипны. Разница состояла, однако, в том, что в Америке империя была «внешней», основанной иностранными государствами, тогда как Россия сама являлась великой державой и империей.

## IV. Кризис XVII века

Экономика свободной торговли, развитие которой получило в Европе мощный стимул в связи с Великими географическими открытиями, исчерпала себя к середине XVII века. Финансовые ресурсы, казавшиеся неограниченными в связи с неиссякаемым потоком американского золота и серебра, стали гораздо менее доступными. Драгоценные металлы, поступавшие из-за океана, обесценились, масштабы экономики выросли, а заокеанские рудники давали все меньше выработки или требовали дополнительных инвестиций. По мере того как сокращался доступ государства и предпринимателей к финансовым средствам, обнаруживалась и узость европейского рынка. Большинство населения, отнюдь не разбогатевшее за время бурной экономической экспансии, не предъявляло достаточного спроса на товары, предлагавшиеся на рынке. Страны Восточной Европы, которые начали отставать от стремительно развивающегося Запада, готовы были продавать сырье, но не могли предоставить достаточного рынка сбыта ни для его готовой продукции, ни для товаров, поступавших из заморских земель. По мере того как обнаруживалась ограниченность рынка — обострялась конкуренция. Политические конфликты, никогда не прекращавшиеся, вспыхнули с новой силой, накладываясь на внутренние гражданские конфликты и междоусобицы, которые переживали почти все государства.

На первых порах борьба развернулась между традиционными политико-идеологическими блоками — католическим, объединившимся вокруг династии Габсбургов, и протестантским, к которому по соображениям государственного интереса примкнули католическая Франция и православная Россия. Столкновение этих блоков приняло форму общеевропейской войны, беспрецедентной по своим масштабам, численности армий и причиненным ими разрушениям. 30 лет непрерывных боевых действий, наиболее активно разворачивавшихся на территории Германии, привели эту страну к хозяйственной катастрофе, от которой она не могла оправиться до середины следующего столетия. Между тем окончание Тридцатилетней войны не только не означало перехода Европы к мирному существованию, но лишь знаменовало начало новой серии конфликтов, в которых недавние победители столкнулись между собой. Бранденбург воевал со Швецией, Англия и Франция — с Голландией, а затем, победив Голландию, англичане и французы — между собой. Голландская торговая гегемония сменилась британской. Австрий-

ские и испанские Габсбурги продолжали борьбу против французских Бурбонов, но династические и религиозные конфликты играли в этом противостоянии все меньшую роль, уступая принципам государственного интереса, сформулированным во Франции кардиналом Ришелье, испанским первым министром графом Оливаресом (Olivarez) и шведским канцлером Оксеншерной (Oxenstierna). Национальное государство постепенно формировалось на месте династических монархий, и параллельно возникали империи нового типа, активно защищающие интересы собственной буржуазии по всей Европе и на просторах мирового океана. Вера в свободу торговли сменилась ориентацией на государственный протекционизм в рамках меркантилистской системы.

Революционные потрясения изменили политический режим в Англии и угрожали не менее радикальными переменами в Испании и Франции. Смута и бунты сотрясли Московию, а Польша из-за непрерывных внутренних конфликтов утратила способность выступать на европейской арене в качестве полноценного государства, превратившись из субъекта мировой политики в ее объект. Османская Турция — в начале XVII века одна из самых мощных держав — к концу столетия превратилась в отсталую и слабую империю, с трудом удерживающую натиск агрессивных соседей.

Политическая карта и соотношение сил между европейскими государствами радикально изменились в ходе кризиса XVII века. Но не менее серьезные изменения претерпели и их экономическая политика, социальная система и та роль, которую играло правительство в развитии общества.

## ГОЛЛАНДСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ

К середине XVII века торговая гегемония Голландии была бесспорным фактом, с которым вынуждены были считаться все державы, независимо от того, как относились они к Республике Соединенных провинций и ее правителям. Несмотря на то что Англия под властью династии Тюдоров стала первой страной, бросившей вызов испано-португальскому господству на морях, именно маленькая Голландская республика оказалась государством, способным радикально изменить ситуацию в свою пользу и выступить в роли универсального торгового посредника не только для всей Европы, но и для значительной части Азии.

После смерти королевы Елизаветы и воцарения в Лондоне династии Стюартов английская монархия все более погружалась в пучину внутренней смуты, противостояние партий и группировок, борьба королей с парламентом и не находящие разрешения социальные конфликты сдерживали внешнюю экспансию. Стюарты поощряли развитие заморской



торговли и военного флота, создание колоний, но видели в подобных мероприятиях скорее средство для получения дополнительных ресурсов (по возможности — в обход парламента), способ компенсировать внутреннюю слабость своего режима, узость социальной базы и неэффективность своей европейской внешней политики. Напротив, Голландия, уже пережившая революцию, была способна сконцентрировать ресурсы на главных направлениях, отвечавших интересам победившей буржуазии. История голландской Ост-Индской компании в этом плане показательна. Возникнув позже своего английского прототипа и используя его опыт как образец, голландская компания стремительно вышла в лидеры, заставляя всех остальных европейских купцов подражать себе и мечтать о повторении своих успехов.

Голландская революция была вызвана не только и не столько религиозными разногласиями, сколько желанием Габсбургов использовать финансовые ресурсы Нидерландов для осуществления своей глобальной имперской политики, от которой сама нидерландская буржуазия не получала достаточной выгоды. Использовать те же средства самостоятельно — для формирования собственной морской державы было и разумнее и дешевле.

Голландская торговля XVII века опиралась на опыт, связи и знание рынков, накопленные нидерландскими купцами, работавшими на протяжении нескольких столетий вместе с ганзейскими предпринимателями и итальянцами. Стратегическое положение Нидерландов, через которые осуществлялись сотрудничество и обмен между торговым капиталом балтийской и средиземноморско-атлантической торговых зон, давало их купцам огромные преимущества и возможности уже в XIV–XV веках. Эти возможности резко выросли после открытия Америки и увеличения торговой роли Атлантики. В XVI веке голландцы вслед за англичанами освоили северный торговый путь в Россию, где по их инициативе был основан Архангельск. «Груженные зерном голландские корабли в те времена шли прямо из Архангельска в Ливорно, Геную, Анкону, Горо и Венецию, а оттуда обратно в Амстердам», — пишет голландский историк Ян Виллем Велувенкамп (Jan Willem Veluwenkamp)<sup>1</sup>. Азиатские пряности и персидские шелка, проходя мимо мыса Доброй Надежды, где Соединенные провинции основали свою колонию, доставлялись их судами во все концы Европы. «Все ветви европейской и мировой торговли были тесно связаны друг с другом. Товар, закупленный в одних частях мира, голландцы продавали после дополнительной обработки в своей стране или без таковой в других регионах. По всему миру они закупали товары, на которые был спрос в какой-либо другой части мира, располагая,

<sup>1</sup> Я.В. Велувенкамп. Архангельск. Нидерландские предприниматели в России 1550–1785. М.: РОССПЕН, 2006, с. 52.

таким образом, практически неисчерпаемым ассортиментом товаров. Став международными торговыми посредниками, они в самое короткое время завоевали невиданно сильные конкурентные позиции, заложив тем самым основу голландского торгового превосходства в международной торговле, которое оставалось незабываемым на протяжении всего XVII века и пошатнулось лишь в XVIII веке»<sup>2</sup>.

На первых порах решающую роль играли знания и связи, накапливавшиеся в течение длительного времени, фактически — несколько столетий. Однако по мере развития мирового рынка голландские предприниматели быстро осваивали новую информацию, налаживали новые связи и формировали новые торговые пути. Опыт торгового посредничества, накопленный в Европе, оказался очень важен для голландцев в Азии, где западные товары практически не имели спроса. Популярное представление о европейской военно-торговой экспансии в Азии XVI века как начале господства «Запада» над «Востоком» не соответствует действительности. Перераспределение ресурсов в мировой экономике первоначально шло однозначно в пользу стран Азии. Европейский спрос вызвал там бурный подъем производства. Утечка серебра из Европы приняла такие масштабы, что заставила одного из португальских авторов заметить: «Из-за этого многие говорят, будто не Португалия открыла Индию, а наоборот»<sup>3</sup>.

Как отмечает Гленн Эймс, неспособность европейцев продать свои товары в Азии привела к тому, что они стали расширять посредническую торговлю между азиатскими портами. То был единственный способ «избежать потери огромного количества серебра»<sup>4</sup>. Особенно это было существенно для англичан и голландцев, не имевших собственных месторождений серебра и золота в колониях (португальцы нашли драгоценные металлы в Бразилии к концу XVII века). Такое положение дел сохранялось вплоть до середины XIX века, когда лондонский «Экономист» без особого энтузиазма констатировал, что торговля с Индией и Китаем «столь тесно связаны одна с другой», что развивать одно направление невозможно, не занимаясь и другим<sup>5</sup>.

Уже в XVII веке голландцы нашли выход, наладив торговлю между азиатскими портами. Индийский текстиль мог быть легко обменен в Индонезии на специи, китайские товары доставлены в Западную Азию. К концу XVII века одна только голландская VOC закупала 30% обработанной селитры, производимой в Бенгалии. Европейским спросом было

<sup>2</sup> Там же, с. 46.

<sup>3</sup> C. R. Boxer, ed. Portuguese Conquest and commerce in Southern Asia, p. ix.

<sup>4</sup> G. J. Ames. Op. cit., p. 145.

The Economist, 11.10.1856, vol. XIV, No. 685, p. 1117.

обеспечено 10% занятости в местном текстильном производстве. Производство специй и перца в Азии удвоилось уже в XVI веке<sup>6</sup>. Стремясь сократить свои издержки, европейские компании все более активно втягивались в посредническую торговлю внутри Азии, тем самым способствуя развитию местного производства.

Транспортные средства в конце XVI века оставались почти столь же неэффективны, как и в Средние века, но рост производительности труда привел к резкому росту количества продукции, которую можно было вывезти на внешние рынки. Пропорционально тому, как увеличивалось производство, менее чувствительными для купцов становились неизбежные потери, связанные с транспортировкой товара. При этом рост производства опережал усовершенствование транспортных средств — корабли, которые бороздили моря в XVII веке, были лишь незначительно лучше тех, что обеспечивали торговую экспансию Запада за сто лет до этого. «Более дешевые товары, а не удешевление транспортировки освободили мир от “тирании расстояния”»<sup>7</sup>.

Хотя голландцы были прежде всего торговцами, это были торговцы великолепно вооруженные и готовые без колебания применить силу. Восстание против власти Габсбургов и последовавшая за тем почти постоянная пограничная война с Испанией позволила Соединенным провинциям сформировать эффективную военную организацию не только на море, но и на суше.

«В течение первых двадцати лет открытой борьбы испанцы превосходили нидерландцев в военном отношении, — констатирует Дельбрюк. — Если Вильгельм Оранский и его братья набирали наемное войско, оно оказывалось разнuzданным и его били в открытом поле, либо его приходилось снова распускать, так как не могли собрать денег на выплату жалованья. Нидерландцы держались лишь тем, что укрепленные города запирали ворота перед испанцами, и если последние после тяжелой осады и овладевали многими из них и подвергали их ужасным карам, все же всеми овладеть им не удалось...»<sup>8</sup> Большого успеха восставшие достигали в морских операциях, или действуя партизанскими методами. Но задача формирования полевой армии, способной противостоять военной машине Габсбургов, была поставлена и в конечном счете решена с основательностью и настойчивостью, неизменно свойственной голландской буржуазии.

В первые годы XVII века Мориц Оранский, принц Нассау (Maurits van Nassau), возглавив голландские вооруженные силы, провел глубокую ре-

<sup>6</sup> См.: The Political Economy of Merchant Empires, p. 105.

<sup>7</sup> Ibid., p. 230.

<sup>8</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 4, с. 107–108.

форму, позволившую эффективно использовать сравнительно ограниченные людские ресурсы, которыми располагала республика.

Историки отмечают, что реформы, предпринятые Морицем Оранским в армии Соединенных провинций, можно считать «переломным моментом в истории армий и военной организации»<sup>9</sup>. Поскольку под его командой сражались английские полки, «голландская школа» была хорошо изучена и понята в Англии, повлияв во время революции на формирование «армии нового образца» Оливера Кромвеля. Влияние «голландской школы» испытала на себе и шведская армия короля Густава Адольфа, а позднее — прусская армия.

Подойдя к делу с вполне буржуазной практичностью, принц Мориц начал с организации материально-технического обеспечения армии. Поскольку грабежи и бесчинства наемников Вильгельма Оранского нанесли очевидный ущерб делу республики, задача состояла в том, чтобы создать армию дисциплинированную, хорошо оплачиваемую, но при том не слишком дорогую. Кормить солдат за счет военной добычи было практически невозможно, тем более что военные действия на первых порах были преимущественно оборонительными и велись на собственной территории. Увеличено было количество офицеров, появились унтер-офицеры, причем «этому командному составу каждый месяц приходилось платить почти столько же, сколько всем солдатам целой роты»<sup>10</sup>. Однако благодаря наведенному в военной организации порядку, суммарные расходы снизились. Как замечает Джонатан Израэль (Jonathan Israel) в своей, ставшей классической, истории Голландской республики, «после 1585 года обществу пришлось приспособиться к ситуации, ранее в Европе невиданной, когда требовалось долгие годы содержать большие массы солдат, расквартированных среди гражданского населения, поддерживать сильные гарнизоны в густонаселенных городах»<sup>11</sup>. Однако дело было организовано таким образом, что размещение гарнизонов стало для местного населения делом скорее выгодным, нежели обременительным. Жалованье войскам выплачивалось регулярно и щедро, зато солдаты обязаны были за все платить местным жителям, среди которых были расквартированы. Насильников и мародеров безжалостно вешали. Во время одной из осад принц Мориц приказал повесить солдата за то, что он украл шляпу<sup>12</sup>.

В основе тактических идей Морица Оранского лежало пристальное изучение теоретических и исторических книг древних авторов, по сло-

<sup>9</sup> J. Israel. *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall*. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 267.

<sup>10</sup> Г. Дельбрюк. Цит. соч., т. 4, с. 112.

<sup>11</sup> J. Israel. *Op. cit.*, p. 267.

<sup>12</sup> Г. Дельбрюк. Цит. соч., т. 4, с. 114.

вам своих биографов, принц «изучал все, что практиковалось у древних греков и римлян в области военного искусства, и не боялся ни труда, ни усилий, ни расходов»<sup>13</sup>.

Большое внимание уделялось строевой подготовке. В 1607 году Якоб де Гейн (Jacob de Gheyn) выпустил знаменитый учебник, который был переведен на все европейские языки. Многочисленные немецкие князья на его основе подготовили учебники для собственных армий. А Фридрих-Вильгельм, курфюрст Пруссии, специально изучал военное дело при дворе нидерландских штатгальтеров. Офицерам теперь тоже требовалась профессиональная подготовка. В 1616 году в Зигене (Siegen) была основана первая военная академия.

Голландские мушкетеры научились быстро и эффективно перестраиваться. Поскольку требовалось время, чтобы перезарядить оружие, отстрелявшиеся шеренги отходили назад, проходя через строй следующей шеренги и не вызывая при этом беспорядка и сумятицы. Оружие начало стандартизироваться, что было не только важно для организации огня, но и выгодно для владельцев мануфактур, поставлявших армии мушкеты и боеприпасы большими партиями.

Благодаря постоянной муштре, как отмечает Дельбрюк, у голландцев появилась возможность не только строить пехоту большими квадратными колоннами, но и «формировать мелкие колонны и передвигать их самыми различными способами»<sup>14</sup>. Войска стали более мобильными, командующий теперь мог безотлагательно и эффективно реагировать на меняющуюся обстановку. Стрелки умели быстро отступить под прикрытие пикинеров и алебардчиков (штыка в Европе еще не было), которые мгновенно заполняли образующуюся брешь в строю. Постепенно складывался новый линейный боевой порядок, позволявший максимально использовать возможности огнестрельного оружия.

Тем не менее Мориц, подобно прочим военным и политическим лидерам Соединенных провинций, отличался осторожностью и прагматизмом, избегая рискованных предприятий и не стремясь к захвату стратегической инициативы. «Несмотря на интенсивную реформу голландской военной машины, — пишут историки, — управитель и командующий голландскими войсками предпочитал захватывать укрепленные города и городки, удерживаемые испанскими гарнизонами, вместо того, чтобы искать возможности дать врагу битву в открытом поле»<sup>15</sup>. Одна-

<sup>13</sup> Цит. по: там же, т. 4, с. 109.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> К. Йоргенсен, М. Павкович, Р. Райс, Ф. Шнайд, К. Скотт. Войны и сражения Нового времени, 1500–1763. М.: Эксмо, 2006, с. 139 (англ. изд.: Ch. Jorgensen, M. Pavkovic, R. Rice, F. Schneid, Ch. Scott. Fighting Techniques of the Early Modern World, AD 1500 — AD 1763).

ко в 1600 году, когда оказалось невозможно избежать решающей битвы, возле городка Ньюпорт (Nieuwpoort) во Фландрии ему удалось нанести решающее поражение испанской армии. Секрет победы состоял в том, что Мориц вводил в бой свои английские и голландские полки поэтапно, а испанцы атаковали большими колоннами: в решающий момент, когда сражение казалось испанцам почти уже выигранным, в него вступили свежие силы голландцев, против которых резервов у противника уже не было.

По мере того как военные силы Соединенных провинций росли, увеличивалась и готовность к их применению. Параллельно с оборонительной войной в Европе Голландия развернула наступательные войны в Америке и Азии.

В борьбе за контроль над рынком пряностей амстердамские олигархи столкнулись с не менее жесткой купеческой олигархией островов Банда (Banda Islands). Купцы-мусульмане, доминировавшие в водах Индийского океана, воспринимались европейцами не только как конкуренты, но и как враги веры. Агрессивность и коварство местных правителей, ненадежность и мошенничество купцов постоянно подчеркивались в европейских рассказах об Азии, не в последнюю очередь для оправдания собственных поступков (с волками жить по волчьему выть). Эти рассказы отнюдь не были плодом фантазии авторов, а если и считать их своеобразной формой пропаганды, то эта пропаганда была эффективна именно потому, что опиралась на реальные факты. Но и европейцы не отставали от своих азиатских учителей. Бандийская война (Bandese War) началась в 1609 году после того, как местные олигархи убили голландских представителей. Борьба приняла затяжной характер, и в 1615 году на острова была отправлена экспедиция, получившая приказ истреблять бандийских мусульман «а затем заселить страну язычниками» (and repopulate the country with pagans)<sup>16</sup>. Губернатором голландских владений в Ост-Индии был назначен Ян Питерсзон Кун (Jan Pieterszoon Coen), столь добросовестно и точно выполнивший эти указания, что в 1617 году сами амстердамские олигархи (Heren) испытали некое подобие угрызений совести: «мы предпочли бы добиться цели с помощью несколько более умеренных мер» (we would have wished for matters to be taken care of with more moderate measures)<sup>17</sup>. В 1619 году на гребне успеха голландцы захватили Джакарту, надолго превратив ее под именем Батавии в свой военно-торговый центр и опорную базу в регионе.

С самого начала своего существования VOC повела активное наступление на позиции европейских конкурентов, прежде всего англичан,

<sup>16</sup> Цит. по: The Political Economy of Merchant Empires, p. 4

<sup>17</sup> Ibid.

используя вооруженные силы для завоевания коммерческих преимуществ. Английские купцы подвергались нападениям, их фактории захватывались и уничтожались, их защитников вырезали. Затем началось наступление на позиции Португалии. VOC вообще была создана в значительной степени не как торговое предприятие, а как организация для завоевания португальских владений в Азии. В 1638 году голландские войска высадились на Цейлоне. Местные португальские гарнизоны защищались отчаянно. Как признавали сами голландцы: «Большинство португальцев в Азии смотрят на эти места как на свою родину и не собираются возвращаться в Португалию»<sup>18</sup>. Однако силы буржуазной республики оказались куда более значительными, чем ресурсы слабеющей лиссабонской монархии.

Отделение Португалии от Испании не привело к прекращению военных действий против нее со стороны Голландии. Напротив, Соединенные провинции резко усилили нажим на ослабевшее королевство. Голландцы договорились с уставшими от португальского протектората королями Конго, а в 1641 году захватили Луанду. Под их контроль перешла значительная часть Бразилии. Теперь можно было резко увеличить масштабы работорговли, соединив контроль над рынками с военным и торговым господством на море. Бизнес процветал. Если в 1642 году голландцы переправили и продали в своих владениях 2000 рабов, то в 1644 году — уже 5565<sup>19</sup>.

К середине XVII века голландцам удалось захватить значительную часть португальской империи в Азии, Африке и Америке. Ими были заняты Ангола, Цейлон, Малабар и Малакка. Голландские войска высадились в Бразилии. Слабеющая португальская держава подвергалась атакам со всех сторон. Совместная экспедиция персов и англичан в 1622 году захватила Ормуз (Ormuz). Маскат был завоеван султаном Омана. В Марокко арабы теснили португальские позиции. Однако к 1670-м годам, когда Голландия сама оказалась под ударом со стороны Англии и Франции, португальские короли смогли вернуть часть своих владений. Понимая, что невозможно отвоевать все, правительство в Лиссабоне сосредоточилось на борьбе за Атлантику. В Бразилии голландское господство, гораздо более эффективное, а потому и более жесткое, чем власть португальской короны, вызвало сопротивление, причем не только среди белых колонистов, но и среди индейского и чернокожего населения. Вспыхнувшее восстание закончилось изгнанием пришельцев, а затем объединенные португальско-бразильские силы изгнали голландцев и из Анголы.

<sup>18</sup> G.J. Ames. Op. cit., p. 113.

<sup>19</sup> См.: R. Blackburn. The Making of New World Slavery, p. 195.

Захватив в середине XVII века значительную часть португальских владений, голландские власти активно принялись развивать там производство товаров, на которые имелся спрос. В конечном счете за Голландией осталась большая часть бывшей португальской Индийской империи. Новые хозяева территорий действовали гораздо эффективнее, уделяя куда больше внимания их развитию. Коммерция была по-прежнему главным приоритетом, но вместо того, чтобы контролировать торговлю в интересах казны, представители VOC стремились поощрять ее в интересах буржуазии.

Разница между португальской и голландской колониальными империями состояла в том, что у португальцев государство превращалось в коммерческое предприятие, тогда как с приходом голландцев, коммерческие компании стали брать на себя функции государства. Можно сказать, что голландцы, унаследовав политические структуры португальской Ост-Индии, наполнили их новым классовым содержанием. Компания, будучи сама до известной степени частным предприятием, стремилась к монопольному контролю не меньше, чем португальское правительство, но плоды этого монополизма пожинали ее акционеры, которые по совместительству были еще и правящей олигархией в Соединенных провинциях. Изменилось не столько соотношение государственного и частного предпринимательства, сколько значение и структура самого государства.

Насаждая новые и расширяя существующие производства в своих колониях, голландские правители внимательно следили за тем, чтобы из-за роста предложения не снизились цены на поставляемые ими товары. До начала индустриальной революции максимизация прибылей происходила не за счет расширения производства, а за счет монополизации рынка. Как отмечают историки, «голландцев в основном заботило не то, как увеличить производство пряностей в Малакке, а, наоборот, то, как ограничить доступ к ним и монополизировать поставки»<sup>20</sup>.

То же самое наблюдалось и в других колониях. Заняв господствующие позиции на Яве, голландские колонизаторы принуждали крестьян к массовому распространению именно тех культур, на которые был спрос в Европе, а затем в виде натурального налога безвозмездно изымали у них часть урожая. По отношению к крестьянской массе действия голландских колонизаторов представляют собой идеальный пример *принуждения к рынку*, когда переориентация производства с обслуживания местных нужд на экспорт осуществляется под мощным административным давлением. Такая политика с небольшими изменениями продолжала проводиться в Индонезии даже в XIX веке, когда власть перешла от

<sup>20</sup> A. Calder. *Revolutionary Empire. The Rise of the English-Speaking Empires from the Fifteenth Century to the 1780s*. London: Pimlico, 1998, p. 171.



национализированной в 1800 году Ост-Индской компании к голландскому правительству. В 1829 году нидерландскими властями была принята «система принудительных культур». Согласно этой системе, «в принудительном порядке яванские крестьяне обязаны были выращивать сельскохозяйственные культуры, необходимые Нидерландам для экспорта. Затем эта продукция должна была обрабатываться на принадлежавших нидерландцам примитивных предприятиях, сдаваться на правительственные склады и реализовываться нидерландской казной»<sup>21</sup>. Как отмечает российский историк, переняв функции, ранее принадлежавшие Компании, голландское государство «становилось одновременно и плантатором, и купцом»<sup>22</sup>. Однако торговые прибыли, обеспеченные государственным принуждением, приватизировались через систему частных коммерческих предприятий, осуществлявших торговлю конечной продукцией на европейских рынках.

К началу XVII века голландская буржуазия господствовала на мировом рынке, однако эта гегемония была коммерческой, а не политической. Причем голландское торговое господство не только не стимулировало подъем экономики в других европейских странах, но и воспринималась там как своего рода коммерческий паразитизм. Высокие цены, искусственно удерживавшиеся голландскими купцами, сдерживали развитие рынков на Западе. Показательно, что коммерческий взлет Голландии совпадает с началом застоя в мировой экономике, а ее упадок — с новым периодом мировой экономической экспансии.

Описывая расцвет голландской республики, Арриги и некоторые другие авторы «миросистемной школы» исходят из предпосылки, что экономическая гегемония автоматически порождает политическую и культурную. Однако это далеко не так. Экономическую силу надо еще уметь конвертировать в политические преимущества. Как показал опыт Древней Эллады, это далеко не всегда получалось. То же самое относится и к голландскому торговому капитализму, который оказался не только не в состоянии успешно решить эту задачу, но и осознанно поставить ее.

Разумеется, Голландия обладала серьезной военной мощью, особенно на морях, равно как и политическим влиянием. Однако она отнюдь не в состоянии была диктовать свои условия другим державам, да и не пыталась это делать. Франция, Австрия и даже деградирующая Испанская империя были несравненно сильнее в военно-политическом плане. Собственную территорию Соединенным провинциям постоянно приходилось защищать от вторжений — сначала со стороны Испании, а затем со стороны Франции. Свои финансовые возможности в международной политике нидерландская буржуазия также использовала весьма скромно.

<sup>21</sup> Г.А. Шатохина-Мордвинцева. История Нидерландов. М.: Дрофа, 2007, с. 299.

<sup>22</sup> Там же.

На первый взгляд объяснение подобного положения дел лежит на поверхности. У Нидерландов не хватало ресурсов для масштабной внешней политики. По территории и численности населения Республика существенно уступала основным европейским державам, не богата она была и минеральными ресурсами, а гавани ее были мелководными, что затрудняло строительство и базирование крупных боевых кораблей. Однако даже Британская империя в период своего расцвета не полагалась на свои силы исключительно, а выстраивала систему коалиций, с помощью которых она в течение 250 лет поддерживала выгодное для себя равновесие в Европе. На протяжении этого времени Британия ни разу не воевала на континенте в одиночку, и ни разу не проиграла здесь вооруженного конфликта (единственной неудачей была война за независимость США, в ходе которой почти не было боевых действий в Европе). Значительная часть средств государственного бюджета шла на поддержку союзников — русских, пруссаков, ганноверцев, которые за счет британских денег могли содержать собственные армии. Как замечает английский военный историк Марк Урбан (Mark Urban), в августе 1704 года, когда герцог Мальборо одержал сенсационную победу над французами под Бленхаймом (Blenheim), сделав реальностью английское военное присутствие на континенте, из 66 его пехотных батальонов только 14 были британскими. «Мальборо, как позднее Веллингтон и Монтгомери, стоял во главе мощной и победоносной армии, значительную часть которой составляли иностранцы. Эта стратегия, позволявшая Британии выставлять на поле боя многочисленные войска, но не тратиться на их содержание и обучение в дни мира, впервые была использована Мальборо»<sup>23</sup>. Справедливости ради надо, впрочем, заметить, что британские генералы, не всегда доверявшие своим союзникам, на самые опасные и ответственные направления все же ставили собственных солдат, а не иностранцев.

Данная система коалиций постоянно эволюционировала в соответствии с принципом — у Британии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. В видоизмененной форме она не только просуществовала до середины XX века, но и была унаследована Соединенными Штатами, когда они заменили старую империю в роли гегемона.

Джованни Арриги представляет политику Соединенных провинций XVII века как полный аналог позднейшей британской политики, рисуя впечатляющую картину голландской дипломатической гегемонии. Он утверждает, будто именно правящие круги Амстердама и Гааги сформировали в Европе антигабсбургскую коалицию, обучили ее армии и выработали ее стратегию. По его словам, Нидерланды еще до начала Трид-

<sup>23</sup> M. Urban. *Generals. Ten British Commanders Who Shaped the World* London: Faber & Faber, 2005, p. 53.

цатилетней войны «установили духовное и нравственное руководство над династическими государствами северо-запада Европы», их дипломатия выработала «предложения по общей реорганизации европейской системы правления», которые «находили все больше сторонников среди европейских правителей, пока наконец Испания не оказалась в полной изоляции»<sup>24</sup>. Для большей убедительности этот тезис повторяется исследователем неоднократно, возможно, потому, что в подтверждение его не приводится ни одного конкретного примера, если не считать столь же общих слов Броделя про то, что «нити дипломатии связывались и распутывались в Гааге»<sup>25</sup>. Однако цитируя французского историка, Арриги тактично упускает из вида контекст данного высказывания: Бродель отнюдь не утверждает, будто именно Голландии принадлежала решающая роль в событиях Тридцатилетней войны, он лишь осторожно намекает, что благодаря закулисной деятельности дипломатов, эта роль была гораздо важнее, чем принято думать, тогда как «мы, историки, видим на первом плане лишь Габсбургов или Бурбонов»<sup>26</sup>.

Французский автор XIX века Фредерик Ансильон также замечает, что Голландия вела активную дипломатическую деятельность во время Тридцатилетней войны, «ее политические комбинации охватывали всю Европу»<sup>27</sup>. Однако при ближайшем рассмотрении эти комбинации оказываются мелкими тактическими интригами, главная цель которых — при помощи взяток — использовать второстепенных германских князей для обеспечения безопасности Голландии. К тому же эти интриги, будучи крайне близорукими и непоследовательными, терпят неудачу буквально на каждом шагу. В начале Тридцатилетней войны голландцы потратили значительные средства, поддерживая Пфальцграфа Фридриха V, который принял чешскую корону после изгнания из восставшей Праги представителей Габсбургов. Пфальц был стратегически важен для Голландии, поскольку угрожал «Испанской дороге» — системе коммуникаций, связывавшей Южные Нидерланды с испанскими владениями в Италии. Перебрасывать в Южные Нидерланды по морю войска и деньги было невозможно, ибо там господствовал флот Соединенных провинций. В итоге, однако, не только не удалось перерезать «Испанскую дорогу», но и сам Фридрих, не сумев удержать за собой чешскую корону, был изгнан из своих наследственных владений, а Пфальц лишен статуса курфюршества, который перешел к Баварии. Крах Фридриха произвел

<sup>24</sup> G. Arrighi. *The Long Twentieth Century*, p. 43 (рус. изд.: Дж. Арриги. Долгий двадцатый век, с. 86).

<sup>25</sup> Ф. Бродель. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм*, т. 3. М: Весь мир, 2007, с. 199.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> F. Ancillon. *Tableau des révolutions du système politique de Europe*, t. 3, p. 201.

деморализующее воздействие на протестантский лагерь в Германии еще и потому, что в решающий момент ни голландцы, ни англичане захотели поддержать Пфальцграфа своими войсками. В Лондоне это вызвало политический скандал, поскольку Фридрих был женат на Елизавете Стюарт, дочери короля. Английский историк Брендан Симмс (Brendan Simms) считает, что именно внешнеполитические провалы Стюартов стали основной причиной революции, а позднее они же привели ко вторичному изгнанию Стюартов в 1688 году<sup>28</sup>. Аргументируя свою позицию, Симмс ссылается на многочисленные выступления и памфлеты критиков монархии, посвященные неудачам, некомпетентности и непоследовательности королей. Однако не следует забывать, что внешнеполитические поражения любого правительства являются наиболее удобной мишенью для оппозиции. Из этого вовсе не следует, что нанося власти удар в самое уязвимое место, критики власти здесь же видели и главную проблему, основную причину своего недовольства. Ключевые противоречия между Стюартами и парламентом лежали все же в сфере внутренней политики. Тем не менее очевидно, что в английском обществе XVII века шла серьезная дискуссия по вопросам внешней политики, затрагивавшая как ее стратегические, так и моральные аспекты. Ничего подобного мы не находим в Гааге, где после провала одной тактической комбинации просто начинали другую.

Соединенные провинции, хотя и заключали военные союзы, никогда не пытались систематически строить собственную систему коалиций. Во время войн они полагались в значительной мере на английскую и французскую дипломатию, стараясь ничего не давать им взамен, пока обе эти страны не оказались в числе ее противников. Не желали они и поддержать военные усилия союзников собственными контингентами, что, зачастую, оборачивалось поражениями. Политическая гегемония предполагает определенную ответственность, включая готовность лидирующей державы не только отстаивать свои непосредственные интересы, но и защищать своих союзников, если надо силой оружия, решая общие задачи коалиции. Напротив, правящие круги Соединенных провинций демонстрировали упорное нежелание идти на какие-либо жертвы и риск ради интересов воевавших против Габсбургов немецких протестантских князей, шведов или датчан, предполагая, будто все вопросы можно решить с помощью денег.

Причину подобной близорукости надо искать в самой природе голландской буржуазии, которая, занимаясь торговым посредничеством, имела единственный стратегический интерес — держать все рынки открытыми. Ей периодически приходилось бороться с иностранной кон-

<sup>28</sup> См.: B. Simms. *Op. cit.*, p. 27–28.

курение на морях и соперничать с другими державами в колониях, но и это соперничество не предполагало долгосрочного стратегического конфликта. Как только военные действия затихали, необходимо было налаживать отношения с бывшим противником, дабы получить доступ к его рынку. Даже с Испанией и Португалией голландцы старались торговать при первой же возможности. При таком подходе трудно было выработать стратегические приоритеты, необходимые для долгосрочной политики.

Коммерция в Нидерландах заменяла стратегию, идеологию, честь и даже патриотизм. Доходило до того, что Провинции отказывались финансировать военные усилия Республики, если не видели в них для себя прямой коммерческой выгоды, а в самый разгар войны за независимость голландские банкиры подрабатывали перевозкой серебра в оккупированный испанцами Антверпен. Бизнес оказался весьма выгодным: серебро было позарез нужно оккупантам, чтобы финансировать военные операции против Голландии. А в условиях, когда «Испанской дороге» угрожали союзные с голландцами французские армии, неприятель готов был подобные услуги щедро оплачивать.

Сухопутные силы Республики, прекрасно организованные и вооруженные, принадлежали к числу сильнейших армий своего времени, однако практически никогда не использовались для стратегических военных операций в Европе. Джону Черчиллю, герцогу Мальборо (John Churchill, Duke of Marlborough), во время войны за Испанское наследство пришлось прибегнуть к обману, чтобы добиться от правительства Соединенных провинций разрешения для возглавляемой им англо-голландской армии совершить марш в Южную Германию. Он просто скрыл цель похода, сделав вид, будто собирается незначительно сдвинуть свои позиции к югу. Но даже на таких условиях голландцы не соглашались. Английскому генералу не оставалось ничего, кроме прямого шантажа: «В бесконечном споре с этими склочными, скаредными, ограниченными людьми Мальборо терял терпение и не мог уже удерживаться в рамках дипломатического такта. Он просто объявил им, что если они не согласятся с его предложением — выдвинуть на Мозель *полноценную* союзную армию, — он уведет английские войска с театра военных действий, оставив голландцев наедине с неприятелем. Он тряс перед ними документом королевы Анны, дававшим ему такие полномочия»<sup>29</sup>. Наконец, он добавил, что армия, собранная на деньги английского парламента, готова выполнять свои союзнические обязательства, но не служить частным интересам голландских правителей. Последние, поколебавшись, вынуждены были согласиться с требованием англичанина, и,

<sup>29</sup> M. Urban. Op. cit., p. 45.

в конце крнцов, союзная армия двинулась на юг, где Мальборо одержал историческую победу под Бленхаймом (Blenheim)<sup>30</sup>.

Со свойственной ему проницательностью английский генерал очень точно понял суть дела. Голландская олигархия воспринимала армию не как средство для решения стратегических и национальных задач, а как своего рода вооруженную охрану, отлично обученную и снаряженную, но предназначенную исключительно для защиты имущества и коммерческих интересов местного купечества. Отправить войска за тысячи километров в Индонезию или Бразилию ради своих деловых интересов или даже ради грабежа было для них куда более естественным, чем оказать помощь собственным союзникам по европейским коалициям, сдвинув войска на несколько сот миль к югу.

Если Арриги представляет единичные и случайные (часто противоречащие друг другу) дипломатические решения в виде искусной и комплексной внешнеполитической стратегии, то военная реформа принца Морица Нассауского представляется ему не просто как серия мер, повысивших эффективность армии (главным образом — во время осадных работ), но как часть большого стратегического плана. «Всеми силами поддерживая освоение этих новых методов своими союзниками, Соединенные провинции создали равные условия для европейских государств, что стало предпосылкой для будущей Вестфальской системы»<sup>31</sup>. Однако для самого Арриги остается не совсем понятным, почему, добившись полного успеха во всех своих начинаниях, Нидерланды «никогда не правили системой, которую они создали. Как только была создана Вестфальская система, Соединенные провинции стали терять свой недавно обретенный статус мировой державы»<sup>32</sup>.

Действительно, почему голландская олигархия, продемонстрировавшая столь выдающиеся стратегические способности в ходе Тридцатилетней войны, внезапно оказалась столь недалеконвидной? Это остается для Арриги абсолютной загадкой, которую он даже не пытается разрешить. Между тем понять причины упадка, постигшего Нидерланды в конце XVII столетия, очень просто, если только признать, что голландской политической гегемонии никогда и не существовало. Точно так же, как и Вестфальская система была задним числом придумана историками и политологами, стратегический план, приписываемый голландской олигархии, на самом деле был порожден ретроспективной фантазией теорети-

<sup>30</sup> Эта битва также иногда фигурирует в исторической литературе как второе Гохштедтское сражение (Second Battle of Höchstädt) 13 августа 1704 года.

<sup>31</sup> G. Arrighi. *The Long Twentieth Century*, p. 46 (рус. изд.: Дж. Арриги. Долгий двадцатый век, с. 90).

<sup>32</sup> Ibid., p. 47 (рус. изд.: Там же).

ков миросистемной школы, убежденных, будто коммерческая гегемония по определению не может существовать отдельно от политической.

Разумеется, голландские технологии, как военные, так и мирные, распространялись по всей Европе, но меньше всего это было вызвано целенаправленной работой государственной власти Республики. Приглашение голландских специалистов в XVII веке стало такой же «производственной необходимостью» для любого правителя в Центральной и Восточной Европе, как за полтора столетия до того приглашение итальянцев. Использование нидерландских технологий и экспертов за пределами страны началось в массовом порядке задолго до провозглашения независимости Республики, причем важную роль в этом сыграли как раз Габсбурги, которые уже в конце XV века использовали знания своих нидерландских подданных для развития других частей империи. После завоевания обширных владений в Америке испанские короли направили туда нидерландских специалистов, занимавшихся дренажными работами, строивших шахты, налаживавших типографии.

Даже восстание Соединенных провинций не изменило ситуации — испанские Габсбурги продолжали прибегать к технологиям и специалистам из Нидерландов на протяжении всего XVII века, только, естественно, опирались на оставшуюся у них под контролем южную часть страны. Строители из Нидерландов считались непревзойденными мастерами в создании фортификационных сооружений. Инженер из Нидерландов Адриен Боот (Adrien Boot) спроектировал и построил в 1615–1616 годах форт Сан Диего в Акапулько, предназначенный для отражения возможных голландских рейдов. Напротив, протестантские правители Скандинавии, король Франции и православный московский царь обращались за техническими знаниями в независимую северную часть Нидерландов. Особенно активно голландские специалисты работали во Франции, где их знания использовались как в военных, так и в мирных целях. Значительную роль в распространении нидерландских знаний, технологий и предпринимательской культуры играли эмигранты-кальвинисты из Южных Нидерландов, которые, покидая свою оккупированную испанцами родину, предпочитали направляться не в Голландию, а в другие страны — начиная от Дании и Швеции и кончая далекой Россией.

Там, где предоставлялась возможность, протестантские предприниматели из Нидерландов тоже работали на Габсбургов. Примером может быть Ганс де Витте (Hans de Witte), кальвинист из Антверпена, который руководил шахтами и металлургическими заводами имперского главнокомандующего Валленштейна в Богемии. Иными словами, он не просто занимался хозяйственной деятельностью во владениях императора, а «помогал организовать военную машину имперского главнокомандующего на ранних этапах Тридцатилетней войны. После убийства Валлен-

штейна он утопился в пруду собственного сада»<sup>33</sup>. Большинство сотрудников де Витте также были протестантами из Нидерландов. Позднее, во время войны с Португалией, голландские купцы как ни в чем ни бывало «продолжали продавать португальцам военные припасы»<sup>34</sup>.

Патриотизм и концепция национального интереса были неведомы олигархии Соединенных провинций<sup>35</sup>. Подобные идеи развивали политики и идеологи соседней абсолютистской Франции, начиная с кардинала Ришелье. Если Клаузевиц писал, что война есть продолжение политики другими средствами, то для голландской буржуазии XVII века война была прежде всего продолжением торговли.

Реальная история Тридцатилетней войны поражает как раз тем, насколько малую роль сыграла в ней Голландия, занятая главным образом укреплением своих торговых и колониальных позиций. Военные и дипломатические усилия Республики сводились к обороне собственных границ и торговых путей. В рамках антигабсбургской коалиции не только ее вооруженные силы не сыграли большой роли (что можно объяснить ограниченностью ресурсов), но даже финансовые и дипломатические усилия Гааги оказались на удивление малозначительными (если только не считать того момента, когда голландцы, развалив антигабсбургскую коалицию, спровоцировали агрессию Швеции против ущемившей их коммерческие интересы Дании). Возможно, Бродель и прав, говоря о значительной закулисной роли, которую играла Гаага как центр интриг, направленных против династии Габсбургов, но тайная дипломатия не может заменить активной внешней политики.

Голландская торговая гегемония в первой половине XVII века была неоспорима, но покоилась на слабом фундаменте. Развитие собственного производства отставало от роста торговли, военные силы, необходимые для контроля над морскими сообщениями, были ограничены, а олигархическая элита весьма скупно выделяла средства на все то, что не сулило немедленной прибыли. Успешное развитие английской бур-

<sup>33</sup> J. Israel. *Op. cit.*, p. 272.

<sup>34</sup> R. Blackburn. *The Making of New World Slavery*, p. 201.

<sup>35</sup> Показательна судьба многочисленных голландских специалистов и предпринимателей, работавших во многих частях мира — от России до Швеции и от Южной Америки до Чехии. Они поразительно быстро утрачивали связь с родиной, меняли подданство и религию, никогда уже не пытались вернуться домой. Они становились лояльными подданными своих новых правителей, действуя по принципу — моя родина там, где мой бизнес. Аналогичным образом складывалась судьба шотландских и немецких наемников, пополнявших бюрократический аппарат в России и даже в Турции. Напротив, англичане в гораздо большей степени сохраняли связь со своей страной, английские предприниматели предпочитали управлять своими капиталами из Лондона, а не переселяться вслед за своим бизнесом на новую родину.



жуазии объективно превращало ее из союзника в соперника Голландии, причем торговая и промышленная конкуренция начала ощущаться еще до того, как разразились политические конфликты.

Голландцы пытались подорвать английскую торговлю в Африке, подарками и уговорами побуждая местных правителей закрыть доступ в свои владения для кораблей английской Африканской компании (Royal African Company). Монополия на живой товар, поступавший с берегов Гвинеи, должна была находиться в руках деловых людей из Амстердама и других нидерландских торговых центров<sup>36</sup>. Не менее жестко и агрессивно действовали они и в Азии. В 1623 году голландцы попросту истребили английских конкурентов в Амбойне (Amboina) на Бантаме. «Амбойнская бойня» (Amboina Massacre) не спровоцировала немедленных акций возмездия, поскольку Англия еще не чувствовала себя готовой к борьбе против Соединенных провинций. К тому же английское королевство все более погружалось во внутренний кризис, а начавшаяся в Европе Тридцатилетняя война складывалась неудачно для протестантов из антигабсбургского лагеря. Борьба требовала консолидации сил, в борьбе против Испании голландцы все еще считались союзниками. В Лондоне смирились с поражением, но ничего не забыли. Вооруженное противостояние с Нидерландами отныне воспринималось как нечто неизбежное и вопрос был лишь в том, когда, при каких обстоятельствах будет нанесен удар.

Голландская буржуазия имела больше капитала, чем английская. Она проявляла куда большую напористость и агрессивность, изгоняя своих португальских предшественников из Азии, вытесняя англичан и прочих европейцев с выгодных рынков, навязывая свои условия торговли местным купцам и правителям. Однако уже в начале XVIII века она начинает повсеместно уступать позиции британцам, которые оказались способны выработать и реализовать долгосрочную политическую стратегию на Востоке, тесно связанную с действиями, реализуемыми на Западе. Правители маленьких индийских государств сами приглашали англичан и позволяли им строить укрепленные центры, надеясь таким образом подорвать монополию голландцев.

Слабым местом голландской политики в Азии было то же, что являлось главным препятствием для установления гегемонии Нидерландов в Европе. Проблема была не в недостатке ресурсов, а в крайне узком и недальновидном их применении, а также в нежелании идти на компромиссы, жертвуя частью прибылей. Слабость Голландии, как ранее и Венеции состояла в том, что ее политика была чересчур буржуазна, чрезмерно подчинена краткосрочным и среднесрочным коммерческим интересам.

<sup>36</sup> Жалобы английских купцов на голландские интриги в Африке см. в книге B. Davidson. *The African Slave Trade*, p. 72.

Иными словами, голландская олигархия не выработала как раз тех черт политического и коммерческого поведения, которые необходимы для успешного осуществления гегемонии. Напротив, в Англии, где торжество буржуазии не было столь полным, а правящий класс представлял собой куда более сложную и порой неоднородную коалицию, могла выработаться гораздо более комплексная и разносторонняя внешняя политика, в том числе и учитывающая интересы многочисленных туземных посредников и партнеров<sup>37</sup>. Уже в XVII веке англичане на Востоке не просто вступают в борьбу с португальцами, а позднее с голландцами, но и опираются в этой борьбе на местных союзников. В 1622 году персидские силы участвовали в успешной английской экспедиции по захвату португальского порта Ормуз, а в 1623 году голландцы во время «Амбойнской Бойни» истребляли не только англичан, но и действовавших заодно с ними японцев.

Окончание Тридцатилетней войны, совпавшее с установлением республиканского строя в Англии, стало переломным моментом в отношениях между двумя морскими державами. Парламентский режим в Лондоне, окрепший в ходе гражданской войны против короля и его сторонников, теперь располагал мощной армией и лояльным, хорошо подготовленным флотом. Социальная энергия, высвобожденная революционным взрывом, удваивала силы англичан так же, как полтора столетия спустя это произойдет с французами, а в начале XX века — с русскими. Став во главе молодой английской республики, Оливер Кромвель был настроен решительно. Для Соединенных провинций начинаются тяжелые времена.

Приняв в 1651 году Навигационный акт, Лондон бросил вызов голландской торговой монополии<sup>38</sup>. Первый Навигационный акт был принят еще в 1381 году, однако к середине XVII века он был уже давно забыт. Решение, принятое Вестминстерским парламентом в 1651 году, оказалось своеобразной революцией в морской торговле, резко изменившей правила игры и соотношение сил между конкурирующими нациями. Отныне запрещался вывоз английских товаров из страны, иначе как на английских же кораблях. Импорт из любой части Азии, Африки или

<sup>37</sup> Сравнение английской и голландской политики в Азии см.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 87.

<sup>38</sup> На момент принятия Навигационного акта 1651 года Оливер Кромвель не был еще официальным главой государства, но был горячим сторонником данного курса. С установлением диктатуры Кромвеля эта политика была продолжена. Как отмечают викторианские историки, «торговая политика Стюартов, пуританского парламента и военного диктатора была в принципе почти тождественной» (*Общественная жизнь Англии*. Изд. И.Д. Трайля, М.: Типография В. Рихтера, 1898, т. 4, с. 233).

Америки должен был поступать на английских кораблях, а из Европы — на английских судах или на судах страны, из которой вывозится товар. Те же правила действовали и по отношению к английским колониям. Аналогичным образом регулировалась и торговля в северном море, а голландские рыбаки лишались права продавать свой улов в Англии. Чтобы воспрепятствовать использованию голландцами английского флага, было решено, что экипажи английских судов отныне должны состоять исключительно из англичан.

Положения Навигационного акта 1651 года были сохранены и развиты в Навигационных актах 1660, 1663, 1672 и 1696 годов. По выражению британского историка, эти акты преследовали «двойную цель: увеличить стратегическую мощь и повысить благосостояние страны через колониальную и морскую монополию»<sup>39</sup>. Не случайно уже в конце XVIII века лондонский «Политический журнал» называл Навигационный акт «гарантией британского процветания» (the guardian of the prosperity of Britain)<sup>40</sup>, а знаменитый либеральный оратор Эдмунд Бёрк в речи, посвященной примирению Англии с американскими колониями, заявлял, что именно Навигационный акт «привязывает к нам торговлю колоний», представляя собой «единственное основание, которое обеспечило и будет обеспечивать в будущем единство империи»<sup>41</sup>.

С точки зрения либеральных доктрин более позднего времени, Навигационный акт, жестко ограничивающий свободу торговли, был вредным документом, тормозящим увеличение товарообмена между странами. Но на практике он привел не только к росту британского судоходства, но и стимулировал его развитие в других странах, от Дании до России. Английский протекционизм был закономерным ответом на голландский торговый монополизм и агрессивно-недальновидную политику Соединенных провинций.

Навигационный акт 1651 года явно выбивал основание из под голландской посреднической торговли. Сразу же после того, как он был принят парламентом, разразилась Первая англо-голландская война, продолжавшаяся с 1652 по 1654 год. Англо-голландский конфликт между бывшими союзниками был классическим образцом торговой войны. У двух стран не было друг к другу никаких территориальных претензий. «Это была... — пишет американский историк Пол Кеннеди, — борьба за морское господство, и за то, кто получит от этого господства коммерче-

<sup>39</sup> Цит. по: The Political Economy of Merchant Empires, p. 93.

<sup>40</sup> The Political Magazine and Parliamentary, Naval, Military and Lottery Journal, vol. 5, August 1783, p. 83.

<sup>41</sup> E. Burke. Selected Writings and Speeches. Ed. by P.J. Stanlis. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1968, p. 184.

скую выгоду; это было противостояние флотов и экономик»<sup>42</sup>. Задним числом этот конфликт можно оценить как борьбу за гегемонию в складывающейся буржуазной миросистеме. Однако сами участники событий были (в отличие от позднейших аналитиков и историков) весьма далеки от подобных выводов. Их волновали куда более конкретные и локальные вопросы.

Война выявила слабость Соединенных провинций. Несмотря на то что входе крупных морских сражений голландский флот действовал достаточно успешно, проводимая англичанами блокада побережья оказывалась эффективным средством для подрыва торговли, на которой основывалось процветание Голландии. Стратегический перевес оставался за англичанами. Их флот успешно блокировал голландское побережье. Захват вражеских торговых судов стал для них прибыльным бизнесом. «Англичане захватили не менее полутора тысяч судов, что было примерно вдвое больше, чем их собственный торговый флот»<sup>43</sup>. Со своей стороны, голландцы нанесли немалый урон английской торговле в Азии и на Средиземноморье. Пользуясь поддержкой своих датских союзников, они смогли полностью закрыть для английских судов проход в Балтийское море через пролив Зунд. Некоторые историки утверждают, что «торговля и мореплавание Англии были парализованы даже в большей степени, нежели голландские»<sup>44</sup>. Однако в английской экономике внешняя торговля играла гораздо меньшую роль, а средиземноморские и балтийские пути все же являлись для нее второстепенными. Атлантические связи Англии продолжали развиваться. Импорт из России поступал через северный путь, по Белому морю.

Поскольку голландские гавани были сравнительно мелкими, корабли, построенные на их верфях имели меньшее водоизмещение, чем английские. В военном плане это оборачивалось способностью англичан поставить на свои суда больше пушек, обеспечить их большим запасом ядер и пороха.

Первая англо-голландская война завершилась для Республики острым экономическим кризисом и миром, по которому пришлось признать не только Навигационный акт 1651 года, но и возместить ущерб, нанесенный английской Ост-Индской компании начиная с 1611 года. «Амбойнская бойня» была отомщена.

Для Голландии за неудачной войной последовали новые неприятности. Английские Навигационные акты стали образцом для других стран.

<sup>42</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of British Naval Mastery*. London: Penguin, 2004, p. 50.

<sup>43</sup> A. Calder. *Op. cit.*, p. 164.

<sup>44</sup> J. Israel. *Op. cit.*, p. 721.

В 1662 году Франция ввела налог на иностранные корабли, вывозившие французские товары. Транзитная перевозка грузов между французскими портами стала для голландцев невыгодной, а французское судоходство получило развитие. В Швеции был в 1724 году принят «Товарный акт» (Commodity Act), составленный по английскому образцу.

В конечном счете морская мощь Голландии была опрокинута лишь благодаря альянсу Англии и Франции. В 1672 году англичане и французы воевали против Голландии совместно, причем морской вызов со стороны Англии дополнялся сухопутным наступлением со стороны Франции. В ходе этих войн Соединенные провинции не только успешно сдерживали натиск превосходящих сил своих противников, но благодаря гениальному руководству адмирала де Рюйтера (de Ruyter), даже наносили им серьезные поражения. Однако страна оказалась не в состоянии одновременно воевать с англичанами на море и с французами на суше. И все же решающую роль в переходе гегемонии от Голландии к Англии сыграл не исход англо-голландских войн на море. Соотношение сил изменилось не столько в ходе военных действий, сколько в ходе экономического развития. Военные усилия истощили бюджет республики, подорвав ее могущество. В 1678 году государственный долг достиг 38 миллионов гульденов<sup>45</sup>.

Английский историк Брендан Симмс считает совместную с Францией войну против Голландии стратегической ошибкой Лондона<sup>46</sup>. Однако подобные выводы могут быть сделаны лишь *post factum*, когда события переосмысливаются задним числом с позиций другой эпохи (в данном случае — с позиций политического опыта XVIII века, который весь прошел под знаком англо-французского противостояния). Историк не учитывает, что соперничество с Францией стало ключевым стратегическим вопросом для Англии лишь после того, как была сломлена торговая монополия Голландии. Именно победа над Голландией и привела Британию, которая начала сама превращаться в торгового гегемона Европы, к столкновению с Францией.

В периоды мира Голландия продолжала терять свои экономические позиции. Навигационные акты дали закономерные результаты. «Баланс торговли Соединенных провинций с Англией резко изменился с позитивного на негативный в течение второй половины XVII века», — отмечают голландские историки<sup>47</sup>. Но дело не только в торговле. Рост английской промышленности изменил соотношение сил между двумя лидерами капиталистической экономики. Рука об руку с ростом произ-

<sup>45</sup> См.: *T. Blanning*. *Op. cit.*, p. 102.

<sup>46</sup> См.: *B. Simms*. *Op. cit.*

<sup>47</sup> *J. De Vries, A. Van Der Woude*. *Op. cit.*, p. 485.

водства шла коммерческая экспансия. Если в 1650-е годы английский торговый флот составлял не более четверти от голландского, то уже к 1690-м годам они сравнялись по тоннажу и количеству судов. К концу XVIII века соотношение сил составляло уже 2:1 в пользу Британии. Финансовое положение Республики также неуклонно ухудшалось под влиянием постоянных войн и внутренних неурядиц. К 1713 году, несмотря на то что к тому времени Голландия уже находилась в союзе с Англией, которая взяла на себя изрядную долю расходов и хлопот в борьбе с Францией, национальный долг достиг 128 миллионов<sup>48</sup>.

Преодоление общеевропейского экономического кризиса, явно наметившееся к концу XVII столетия, закономерно совпало с упадком Голландии. Система свободной торговли, которую успешно эксплуатировали купцы из Соединенных провинций, уступала место протекционистской политике, получившей в те времена название меркантилизма. Защита правительствами своих внутренних рынков вызвала быстрый рост местного производства. Голландская буржуазия проигрывала на всех фронтах одновременно. В качестве производственного центра Голландия теперь сталкивалась с растущей конкуренцией новых мануфактур, создававшихся не только во Франции и Англии, но и в германских государствах, в Скандинавии и даже в России.

В качестве мирового торгового посредника голландские купцы теряли свое значение, поскольку все больше товаров производилось для внутреннего рынка, на основе местного сырья. Значение внутренней торговли возрастало, и хотя мировая торговля тоже росла, наиболее сильные позиции в ней получали страны с более широким внутренним рынком и развитым производством. В этом плане Англия — страна со значительно большей численностью населения — обладала огромным преимуществом, но не менее существенным преимуществом в условиях меркантилизма становилась и сила государства, выступавшего и в роли защитника внутреннего рынка, и в роли покровителя местной буржуазии, в роли инвестора и заказчика. Менее либеральное и куда более централизованное английское государство, отчасти сохранявшее черты феодальной монархии, но поставившее эти структуры на службу интересам капитала, оказывалось в такой ситуации гораздо более эффективным инструментом буржуазного развития, чем децентрализованная Нидерландская республика. Республика Соединенных провинций была вынуждена смириться. С 1702 по 1788 год тоннаж британского коммерческого флота вырос на 326%<sup>49</sup>.

Война 1672–1674 годов, которую голландцам пришлось вести против Англии и Франции одновременно, поставила Республику на грань ката-

<sup>48</sup> См.: T. Blanning. *Op. cit.*, p. 102.

<sup>49</sup> См.: The Political Economy of Merchant Empires, p. 94.

строфы. Военные неудачи привели к социально-политическому кризису, итогом которого стало падение великого пенсионария Яна де Витта (Johan de Witt) и возвращение к власти дома Оранских, отстраненного от политических рычагов купеческой олигархией. Двадцатидвухлетний принц Вильгельм был провозглашен статхаудером (штатгальтером) Голландии и главнокомандующим военными силами Республики под именем Вильгельма III. В августе 1672 года уже вышедший в отставку Ян де Витт вместе с братом Корнелием были растерзаны взбунтовавшейся толпой в Гааге. Первым государственным актом нового правителя из дома Оранских было примирение с Англией. В феврале 1674 года между Лондоном и Гаагой был заключен сепаратный мир.

После того как англичане потеснили голландцев в ходе серии военных кампаний, настало время консолидации капиталов. В 1688 году, свергнув Якова II Стюарта, английский парламент подвел итог многолетней борьбы за власть между буржуазными и аристократическими фракциями и одновременно положил начало новой политике в отношении Голландии. Новым королем Англии и Шотландии стал все тот же Вильгельм III Оранский, права которого на престол весьма условно были обоснованы ссылкой на его брак с Марией, дочерью низвергнутого Якова II.

Этот переворот, получивший название «Славной революции», позволил оформить англо-голландский компромисс — на условиях Лондона. «Славная революция» обеспечила одну из самых успешных сделок в истории мирового бизнеса, она «по сути представляла собой англо-голландское корпоративное слияние» (had a character of an Anglo-Dutch business merger)<sup>50</sup>. Британская буржуазия не только получила доступ к средствам нидерландских банков, но и смогла воспользоваться их опытом и знаниями — в скором времени схожие финансовые институты укрепляются в Англии. К началу XVIII века значительная доля акций британской Ост-Индской компании принадлежала голландским акционерам. Число иностранных инвесторов постоянно увеличивалось за счет немецкого купечества и располагавших свободными средствами представителей других стран. Ее торговые обороты стремительно росли и к 1720 году англичане уже существенно опережали голландцев по объему азиатской торговли, но если экономика Соединенных провинций стагнировала, то голландский торговый капитал, напротив, чувствовал себя достаточно комфортно, участвуя в прибылях англичан. Кредитование британского капитала становится, по выражению Маркса, «одним из главных предприятий голландцев»<sup>51</sup>. Подобное перераспределение ресурсов между приходящей в упадок и поднимающейся державой Маркс

<sup>50</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. 24.

<sup>51</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 766.

считает общим принципом капиталистического мирового хозяйства, указывая на то, что Венеция кредитовала развитие Голландии, затем Голландия вкладывала свои средства в Англию<sup>52</sup>.

После поражения в войнах XVII века голландский капитал, и в первую очередь VOC, зависели в деле защиты своих интересов от английского оружия. Вплоть до Англо-голландской войны, разразившейся в 1780 году, англичане добросовестно и последовательно предоставляли такую защиту своим побежденным противникам, превратившимся в младших партнеров. Однако нет худа без добра — это позволило голландцам сэкономить на военных расходах и сохранить свои коммерческие позиции. Противостояние двух морских держав сменилось союзом, направленным против Франции. Англия, Шотландия и Ирландия получили голландского короля, а английская Ост-Индская компания — голландских акционеров. И хотя победа однозначно досталась британцам, условия этого компромисса отнюдь не были тяжелыми для Нидерландов. «Славная революция» стала классическим примером тактики английского правящего класса, применявшейся позднее в Канаде, Индии, Южной Африке: победа закреплялась щедрыми уступками в пользу побежденных. Способность к компромиссу оказалась для строителей империи гораздо более ценным навыком, чем напор и агрессивность.

#### ФРАНКО-ШВЕДСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Добиваясь торговых выгод, голландская буржуазия с легкостью уступала другим державам ведущую роль в европейской политике. Между тем борьба католической коалиции, возглавляемой испанскими и австрийскими Габсбургами, с протестантскими государствами оставалась главным сюжетом международной жизни на протяжении большей части столетия. И чем более острым был системный кризис европейской экономики, тем жестче было противостояние держав. И несмотря на то, что именно идеи католической Контрреформации были знаменем Габсбургов в начале Тридцатилетней войны, идеология все больше уступала место государственному интересу — к концу конфликта на стороне Габсбургов уже оказались некоторые протестантские князья, а их главным противником выступила католическая Франция.

Именно Франция вместе со Швецией оказалась решающей силой антигабсбургской коалиции, несмотря на то что на первых порах обе эти страны удерживались в стороне от конфликта. Французская политика, направлявшаяся кардиналом Ришелье на протяжении полутора десятилетий, стала классическим образцом настойчивости, последовательности и эффективности. Планомерно продвигаясь к своей цели, не

<sup>52</sup> См.: Там же, с. 765.



торошась, обходя и преодолевая препятствия, Ришелье заложил основы новой дипломатии, подчиненной не сиюминутным выгодам, а долгосрочному стратегическому плану.

Основная проблема Ришелье состояла в том, что, с одной стороны, столкновение с Испанией было, по его мнению, необходимо и неизбежно, но, с другой стороны, Франция к открытой войне была не готова. Проблема была не столько в военном превосходстве Испании, сколько во внутренней неустойчивости Франции. Ослабленная религиозными войнами и борьбой аристократических кланов, страна отнюдь не была консолидирована.

Во Франции за время религиозных войн бюрократическая машина, основы которой были заложены в годы правления династии Валуа, не развалилась полностью. Она лишь разделилась на части, каждая из которых функционировала автономно. «Французская ограниченная централизация позволяла чиновникам принимать решения самостоятельно. Губернаторы провинций и должностные лица с удовольствием пользовались этим. Парламенты самостоятельно вели административные дела»<sup>53</sup>. Таким образом, задача, которая встала перед Генрихом IV по окончании смуты, а позднее была решена кардиналом Ришелье, состояла не в том, чтобы построить государственную бюрократическую машину с нуля, а в том, чтобы собрать распавшийся на части аппарат управления, заново наладить его и запустить. Разумеется речь не шла просто о восстановлении прежней, сохранившейся со времен Валуа бюрократии. Система модернизировалась и развивалась. В распоряжении кардинала Ришелье были уже существующие структуры и институты, на основе которых он мог строить свой новый политический порядок. Однако для того чтобы заставить этот громоздкий и не очень хорошо отлаженный механизм четко работать, от кардинала и его ближайшего окружения требовались огромные и постоянные усилия.

Модернизация Франции, начатая основателем династии Бурбонов королем Генрихом IV и продолженная при Ришелье, сделалась позднее образцом для большинства континентальных стран Европы. Ключом к изменению общества стало создание эффективного государственного аппарата. Вопреки позднейшим либеральным мифам, развитие бюрократии отнюдь не сдерживало частную инициативу, но, напротив, создавало для нее благоприятные условия — чем более рациональными и предсказуемыми были действия правительства, тем лучше был деловой климат. Задним числом Макс Вебер продемонстрировал, что развитие капитализма не ослабляет бюрократию, а наоборот, ведет к ее росту, распространению бюрократического типа управления. С одной стороны, кардинал Ришелье

<sup>53</sup> V.G. Kiernan. *State and Society in Europe, 1550–1650*. Oxford: Basil Blackwell, 1980, p. 93.

задолго до немецкого социолога осознал это на практике, создавая аппарат власти, способный рациональными действиями стимулировать экономический подъем страны. С другой стороны, новая бюрократия становится исходной моделью корпоративного управления.

Аристократы, недовольные усилением центральной администрации, постоянно затевали мятежи и заговоры. Правительству приходилось постоянно применять силу, срывать замки, налаживать сеть осведомителей, оповещавшую его о внутренних угрозах. В подобных обстоятельствах кардинал не мог позволить себе большой войны или публично-го разрыва с Римом. Но объективная логика борьбы против Испании и Австрии противопоставляла Францию политике Контрреформации, проводимой Папой Римским совместно с Габсбургами. Парадоксальным образом именно католический кардинал Ришелье заложил в общеевропейском масштабе основы государственной политики, «независимой от религиозного направления государства»<sup>54</sup>.

Несмотря на то что тема официальной государственной религии оставалась в центре идеологической борьбы между европейскими державами вплоть до начала XVIII века, французское прагматическое понимание государственного интереса, *raison d'état*, сделалось общепринятым как для католиков, так и для протестантов. К концу века эти идеи настолько укоренились, что им без колебаний следовали все, включая Папу Римского. Поучительным примером может быть международное восприятие английской «Славной революции» 1688 года. Католические симпатии Якова II были одним из важных поводов для возмущения в протестантской Англии. Зять короля голландский Вильгельм Оранский, напротив, был идеологически привлекателен в качестве убежденного протестанта. К тому же конфликт в Англии разворачивался на фоне только что принятого во Франции решения об отмене Нантского эдикта. Однако в составе экспедиционного корпуса, снаряженного Вильгельмом для свержения собственного тестя, было несколько испанских батальонов. Папа Иннокентий II специальной буллой разрешил католическим солдатам служить под знаменами протестантского политика — против короля-католика. Межгосударственное соперничество Испании и Франции имело для Святого Престола гораздо большее значение, нежели религиозные распри, которые по существу оставались английским внутривластным делом.

<sup>54</sup> *H. Schilling. Hoefe und Allianzen. Deutschland 1648–1763. Berlin: Siedler Verlag, 1989, S. 52.* Разумеется, уже Иржи из Подебрад показал пример того, как дипломатия и государственный интерес могут освободиться от религиозной идеологии. Однако пример Чехии XV века все же был в масштабах континента чем-то исключительным, а к тому же был связан с политическим проектом, потерпевшим в конечном счете поражение. Ко временам Ришелье про короля Иржи в Европе (за пределами Богемии) основательно забыли.

Вплоть до середины XVII века Франция в качестве мощной континентальной державы, оставалась центром притяжения для всех протестантских правителей. Закладывая основы нового политического порядка, Ришелье стремился компенсировать внутреннюю слабость все еще не вполне консолидированного государства за счет эффективной внешней политики. Начиная с 1610-х годов французская дипломатия проявляет поразительную настойчивость, формируя антигабсбургскую коалицию таким образом, чтобы Париж, сохраняя политическое влияние, мог по возможности избегать прямого участия в военных действиях. Французами в годы правления Ришелье было заключено 74 международных договора, причем без внимания кардинала не оставалась даже Россия. В 1620-е годы основные усилия Парижа были направлены на то, чтобы развязать руки Швеции, армии которой предстояло сыграть решающую роль в войне. Проблема состояла в том, что для борьбы в Германии шведам надо было сконцентрировать значительные силы, чем могли воспользоваться соседние государства, с которыми Швеция находилась в конфликте. Чтобы обезопасить тылы шведов, французская дипломатия предпринимает прямо-таки титанические усилия. В Москву направляется посольство, призванное договориться о вступлении русских в антигабсбургскую коалицию. Параллельно, как всегда в ту эпоху, царя пытались уговорить предоставить привилегии французским купцам. Действия России должны были сковать силы католической Польши, которая в противном случае могла бы нанести удар по владениям Швеции. Хотя в Москве к Польше и Швеции после событий Ливонской войны и Смутного времени относились с равной подозрительностью, выбор был — не без влияния французов — сделан в пользу шведов. В 1632 году Московия объявила войну Польше. Этот конфликт, вошедший в историю под именем Смоленской войны, не дал решающего успеха ни одной из сторон. Армия боярина Михаила Шеина безуспешно осаждала Смоленск, его вспомогательные отряды овладели несколькими мелкими крепостями. В сентябре 1633 года польский король Владислав IV, подойдя к Смоленску с войском в два раза меньшей численности, чем у Шеина, умудрился окружить русских и принудить их к капитуляции. После того, как в марте 1634 года Шеин сдался, наемники перешли на службу к полякам, а сам боярин с 8 тысячами русских вернулся на родину, где был обвинен в измене и казнен. После этого между сторонами был заключен очередной «вечный мир», оставивший границы без изменений. Единственное достижение Московии состояло в том, что польский король официально отказался от претензий на русский престол. Между тем главная цель французской дипломатии оказалась достигнута вполне — Швеция была избавлена от необходимости воевать на два фронта.

Однако и Польшу кардинал Ришелье не оставляет без внимания. В то время как русских подговаривают напасть на поляков, дабы подержать шведов, Польшу и Швецию уговаривают заключить перемирие. Несмотря на свои военные успехи, шведы под влиянием французских дипломатов вынуждены пойти на серьезные территориальные уступки. В 1629 году при посредничестве Франции подписано Альтмаркское соглашение, примиряющее шведского короля Густава Адольфа с его польским родственником Сигизмундом Вазой. Одновременно подписывается ряд соглашений с германскими протестантскими князьями, получающими помощь Парижа в войне против Габсбургов.

Если на юге и востоке угрозу для Швеции представляли Речь Посполитая и Московия, то на западной границе оставались неразрешенные споры с Данией — здесь тоже вмешиваются французские дипломаты, добиваясь примирения между соперничающими скандинавскими державами<sup>55</sup>.

Французская политика была крайне прагматична, но одновременно популярна на континенте. Как замечает Фредерик Ансильон, кардинал Ришелье исходя исключительно из государственного интереса выступал поборником прав и свобод немецких соседей: «Политическая и религиозная свобода в Германской империи были лучшим средством, чтобы предотвратить ее превращение в новую великую державу под властью Австрийского дома, который эти принципы отвергал. В этом весь секрет французской политики: князья империи должны были противостоять Австрии, их сила — ее силе, и это одобряли все друзья гуманности, ибо существование подобных самостоятельных государств становилось гарантией общеевропейского спокойствия»<sup>56</sup>.

Для того чтобы добиться таким способом общеевропейского спокойствия нужна была мощная военная сила. Первая фаза Тридцатилетней войны показала, что протестантские князья Германии сами себя защитить не могут даже с помощью французских и голландских денег. В январе 1631 года в Барвальде подписан договор со Швецией, а Густав Адольф получает от французов финансовые субсидии для ведения войны — 400 тысяч рейхсталеров в год<sup>57</sup>. Подводя итоги своей деятельности в знаменитом «Политическом завещании», Кардинал Ришелье произнес

<sup>55</sup> Позднее, в 1643 году Дания и Швеция в очередной раз столкнулись в короткой войне, к чему шведов также подталкивало правительство Нидерландов, недовольное высокими Зундскими пошлинами, которые приходилось платить за торговлю на Балтике. Но французская дипломатия и здесь выступила в качестве фактора примирения и консолидации в антигабсбургском лагере.

<sup>56</sup> F. Ancillon. *Tableau des révolutions du système politique de Europe*, t. 3, p. 244–245.

<sup>57</sup> См.: K. Repgen. *Dreissigjahriger Krieg und Westfaelischer Friede*. Paderborn — Muenchen — Wien — Zuerich: Schoenigh, 1998, S. 301.

знаменитые слова: «Золото и серебро правят миром»<sup>58</sup>. С его легкой руки деньги стали одним из важнейших закулисных факторов международной политики.

Полученные от Ришелье средства позволили героическому шведскому королю развернуть широкомасштабное наступление против католических имперских войск. Но Швеция отнюдь не собиралась «вести войну за французские интересы вместо Франции (einen Stellvertreterkrieg), у нее были собственные военные и политические цели, собственные методы»<sup>59</sup>. В случае успеха не Ришелье, а шведский король Густав Адольф должен был контролировать ситуацию в Германии.

Если Франция благодаря кардиналу Ришелье сыграла решающую роль в дипломатическом оформлении антигабсбургской коалиции, то Швеция оказалась на протяжении 20 лет ее основной военной силой. Впечатляющие успехи, достигнутые этим, сравнительно небольшим, государством в преддверии и в ходе Тридцатилетней войны, требуют особого рассмотрения. В некотором роде именно Швеция выступила в качестве модели военно-государственного устройства, став образцом для подражания по всему континенту.

Из-за того, что после Полтавской битвы международное значение шведской державы резко понизилось, историки и социологи склонны недооценивать роль, которую эта страна играла в Европе в начале Нового времени. Однако если Голландию конца XVI и XVII столетия исследователи порой называют «первой современной экономикой»<sup>60</sup>, то Швецию с таким же основанием можно было бы назвать «первым современным государством». В своей «Истории военного искусства» Ганс Дельбрюк констатирует, что шведы «образовали военное государство невиданной дотоле силы»<sup>61</sup>. Численность населения Швеции была существенно меньшей, чем в соседних странах, но политический порядок был совершенно иным, «и народ, и сословия, и король сомкнулись в одно неразрывное целое»<sup>62</sup>.

Это достижение тем более поразительно, что еще в середине XVI века мало кто мог бы представить себе Швецию в качестве одной из ведущих европейских держав. Существенно большую роль в жизни континента играла соседняя Дания, господствовавшая на Севере Европы в течение большей части Средневековья. В отличие от Дании и западных стран,

<sup>58</sup> Цит. по: R. Bonney. Op. cit., p. 418.

<sup>59</sup> K. Repgen. Op. cit., S. 301.

<sup>60</sup> См.: J. De Vries, A. Van Der Woude. Op. cit.

<sup>61</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 4, с. 119.

<sup>62</sup> Там же.

имевших длительную историю государственного строительства, восхождение Швеции происходило стремительно и драматично.

К началу XVII века Швеция была, по выражению американского историка, «вооруженной нацией с политической культурой, ориентированной на войну»<sup>63</sup>. Однако такое положение дел было далеко не характерно для государства, созданного Густавом Ваза, основные заботы которого были связаны не с военными, а с политическими и хозяйственными реформами. Преобразование государства по меньшей мере на полвека предшествовало созданию новой армии.

Шведская бюрократия была создана в кратчайший срок и практически на пустом месте. Государственная централизация была минимальной. К XIV веку эта монархия «представляла собой конфедерацию провинций, каждая из которых имела собственную ассамблею, судей, законы и военную организацию»<sup>64</sup>. В течение XIII века, происходит подчинение власти шведских королей Финляндии — новоприобретенные земли тоже пользуются изрядной автономией. Первоначально шведские колонии располагались по берегам Балтики и обслуживали торговлю с Новгородом. Постепенно королевская власть распространяется вглубь страны. Граница Швеции и Новгорода окончательно зафиксирована была мирным договором 1293 года и с тех пор долгое время оставалась без изменений.

Когда в XVI веке к власти пришел король Густав Ваза, основавший новую династию, страна, доставшаяся ему, включала собственно Швецию и Финляндию, имевших около миллиона населения в совокупности. Королевство представляло собой, по признанию скандинавских историков, «малоизвестную и малонаселенную аграрную страну на краю Европы»<sup>65</sup>.

В отличие от более сильной Дании, здесь не было ни регулярной армии, ни постоянного военного флота. Войны с Данией возникали постоянно и на первых порах складывались для шведов неудачно. До Густава Вазы в Швеции не существовало четкого порядка престолонаследия, и смена короля почти всегда сопровождалась смутой. Торговля находилась в руках купцов Немецкой Ганзы, и королевскому двору мало что перепало.

У государства даже не было нормальной столицы. Король и двор кочевали по стране, переезжая из замка в замок, а в Стокгольме, являвшимся номинально главным городом Швеции, население в лучшие годы

<sup>63</sup> *W.J. Stover. Military Politics in Finland. Development of Governmental Control Over the Armed Forces. Washington, DC.: University Press of America, 1981, p. 32.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, p. 30.

<sup>65</sup> *H. Lindqvist. A History of Sweden. Stockholm: Nordstedts, 2006, p. 91.*

не превышало 10 тысяч человек. Из них около трети прямо или косвенно работали на короля. На фоне явной бедности королевства особенно заметно было богатство католической церкви.

Реформация в Швеции имела один ясный и очевидный смысл — укрепить королевские финансы и создать условия для развития государства. В отличие от Германии, народного движения за Реформацию в Швеции не было. «Основная масса населения в Швеции и Финляндии ничего не имела против Папы и церкви», да и сам король Густав Ваза, по признанию историков, «не слишком интересовался вопросами веры»<sup>66</sup>. Зато его очень интересовал вопрос о пополнении бюджета.

Последней каплей, переполнившей чашу терпение короля, был кризис, вызванный необходимостью платить Дании за Алвсборг (Alvsborg). Этот город был единственным шведским портом на Северном море. После очередной войны с соседним королевством город был потерян, и теперь датчане требовали от Густава Вазы заплатить огромный выкуп, чтобы вернуть его. Денег в казне не было. Других способов получить средства кроме экспроприации церковного имущества просто не оставалось. Обратившись к Риксдагу (Riksdag), король получил поддержку дворянства и бюргеров, также надеявшихся получить свою долю церковной собственности. Созванные в 1527 году представители сословий большинством голосов принимают решение о Реформе Церкви.

Собственно религиозные вопросы в ходе шведской Реформации почти не затрагивались. На первом плане стояли вопросы экономические и организационно-политические. Отныне священники превратились в госслужащих, епископы назначались королем, а бюджет церкви соединился с бюджетом правительства. Тем не менее, превратив Церковь в государственное учреждение, Густав Ваза сам того, возможно, не понимая, дал в руки власти мощный идеологический институт, которым сумели успешно воспользоваться его наследники.

Реформация не привела к созданию «нового дворянства» в той форме, как это случилось в Англии, но укрепила позиции старого, поскольку дворянским семьям были возвращены имения, ранее переданные ими церкви. В казну стали регулярно поступать церковные налоги.

Вообще стремление повысить финансовую дисциплину и укрепить государственный бюджет проходит красной нитью через все реформы Густава Вазы и его последователей. Централизация налоговой системы стала его важнейшей целью. В прежние времена основной налог (Grundsteuer) выплачивался крестьянскими общинами в натуральной форме, тогда как правительство нуждалось в серебре. Однако деревня противилась подобным переменам. Даже в начале XVII века, несмотря

<sup>66</sup> Ibid., p. 93, 94.

на все нововведения «и новые, и старые налоги продолжали платить натурой, тогда как короне нужны были деньги»<sup>67</sup>.

Большого успеха правительство достигло, поощряя создание новых поселений, колонизацию неосвоенных земель на Севере и Востоке, чтобы тем самым создать новые общины и новые объекты для налогообложения. При этом, однако, права сельских общин на осваиваемую ими территорию подверглись пересмотру. Незаселенные земли были по существу национализированы. В 1542 году Густав Ваза провозгласил их «собственностью Бога, Короля и Короны»<sup>68</sup>.

Новые поселения были необходимы и для того, чтобы централизовать и упорядочить товарообмен. «Одной из самых срочных задач шведской короны было поставить под контроль правительства торговые потоки, которые раньше не контролировались вообще или в очень небольшой степени»<sup>69</sup>. Для этого вводились новые налоги и организовывались новые торговые центры, например Гельсингфорс (Helsingfors), основанный Густавом Вазой. Позднее таким же образом был основан и Гетеборг. Если Гельсингфорс должен был стать центром восточной торговли, то Гетеборг строился для развития торговли в северо-западном направлении. «Из Нидерландов пригласили специалистов, чтобы построить город и управлять его торговлей. Гетеборг стал единственным городом, населенным исключительно иммигрантами. Официальным языком здесь был голландский, законы были голландские и Церковь тоже была голландская»<sup>70</sup>. Впоследствии город был разрушен датчанами, но вскоре восстановлен на новом месте Густавом Адольфом, сохранившим в новом Гетеборге те же порядки.

Впрочем, шведская корона не только привлекала к себе иностранных иммигрантов и строила новые города на своей территории. Поощрение предпринимательства шведским правительством предполагало, как и в других европейских странах, поддержку колонизации. В 1638 году, в разгар Тридцатилетней войны, шведами была создана колония в Америке на реке Делавар, однако в 1655 году поселение перешло в руки голландцев. Не намного дольше просуществовала колония в Западной Африке (на территории нынешней Ганы), основанная в 1649 году. Она была потеряна в 1663 году. Несмотря на утрату Стокгольмом политического контроля над колониями, их население сохраняло приверженность шведскому и финскому языкам еще на протяжении нескольких десятилетий.

<sup>67</sup> E. Jutikkala (mit K. Pirinen). Geschichte Finnlands. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1976, S. 133.

<sup>68</sup> Ibid., S. 83.

<sup>69</sup> Regional Integration in Early Modern Scandinavia. Ed. by F.-E. Eliassen, J. Mikelsen, B. Poulsen. Odense: Odense University Press, 2001, p. 95.

<sup>70</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 123.



Социально-экономическая политика государства направлена была на максимальное упорядочение и рационализацию общественной системы, что облегчило бы задачи управления. Пытаясь увязать налогообложение с сословным порядком, правительство упорно стремилось провести четкую разграничительную линию между крестьянами и бюргерами, добиваясь, чтобы первые перестали торговать, а вторые заниматься сельским хозяйством. Но жизнь постоянно оказывалась в противоречии со схемами бюрократии. Крестьянское население сопротивлялось, причем зачастую чиновники из местных «покрывали» своих соседей.

Эта борьба продолжалась около ста лет и закончилась торжеством центральной власти: «К середине XVII века правительство наконец научилось собирать налоги с внутреннего рынка, что не удавалось ему делать ни 150, ни даже 50 лет назад. Конечно, подданные обманывали власть, уклонялись от уплаты налогов, жульничали, бюргеры продолжали потихоньку пахать, а крестьяне тайком торговать. Так продолжалось еще целых два столетия. Но все же корона к середине XVII века контролировала внутренний рынок в большей мере, чем раньше, а ее доходы заметно выросли»<sup>71</sup>.

Реституция церковных земель, возвращенных дворянству, не только укрепила поддержку короля со стороны господствующего сословия, но и обогатила его лично: поместья, ранее пожертвованные Церкви семьей Ваза, перешли к нему. К концу жизни король был одним из богатейших людей страны, контролировавшим более 5 тысяч ферм и владевшим серьезными торговыми предприятиями. Король был не только удачливым коммерсантом, но и крупным банкиром.

Это был харизматический лидер, выдающийся оратор, автор блестящих и убедительных писем, энергичный администратор — имел еще одно бесспорное достоинство: ему постоянно везло. «Ему нравилось все контролировать и во все вмешиваться, он обожал принимать решения. Он постоянно ворчал, что вокруг нет ни одного компетентного сотрудника, и никто из его помощников не справляется со своим делом, но на самом деле это доставляло ему удовольствие — он мог влезать в любой вопрос, всем давать советы и указания»<sup>72</sup>. Удивительным образом подобная мелочная опека не повредила государственному аппарату. Именно Густав Ваза заложил основы знаменитой шведской бюрократии, которая в полном объеме сформировалась к 20-м годам XVII века. Административный аппарат создавался специалистами, приглашенными из Германии, которые наладили работу королевской канцелярии. Они же занялись и приведением в порядок финансов. Пришлось пригласить

<sup>71</sup> Regional Integration in Early Modern Scandinavia, p. 104.

<sup>72</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 94.

иностранцев также для организации армии и флота. Строились новые замки, в них размещались гарнизоны, призванные закрепить контроль центральной власти над регионами. В условиях внутреннего мира и стабильности начало быстро расти население, состоявшее преимущественно из свободных крестьян.

Как замечает американский историк, проводимая королями из династии Ваза политика «социально-экономической реконструкции» (of socioeconomic Reconstruction) преобразила страну и «трансформировала общество»<sup>73</sup>. Из отсталой аграрной страны на окраине континента Швеция стремительно превращалась в мощную передовую державу, обладающую не только военным, но и значительным экономическим потенциалом.

Чтобы преодолеть нехватку управленческих кадров власть занялась проблемами образования. К середине XVI века университет в Уппсале (Uppsala) влачил жалкое существование. Однако уже сто лет спустя Швеция становится одним из европейских лидеров в этой области. Новые университеты создаются во всех концах выросшего за эти годы государства. Для Ливонии в 1632 году основан университет в Дерпте (Тарту), для Финляндии — в Турку (Обо) в 1640 году, для внутренних районов Швеции созданы университеты в Грейфсвальде (Greifswald) в 1636 году и Лунде (Lund) в 1668 году. Школы открывались в каждом городе, было основано 20 гимназий для подготовки молодых людей к университетскому образованию. Для обучения офицеров была организована Военная академия (Krigskolleg).

При дворе в Стокгольме говорили по-немецки. В начале XVII века король Густав II Адольф вынужден был учить шведский как второй язык. Тем не менее Реформация и работа бюрократии делали свое дело. Национальные языки получили мощный стимул для развития. Перевод Библии на шведский и финский языки дал толчок развитию литературы и образования обоих народов. Книги стали выходить не только на шведском, финском и на немецком, но даже на эстонском и латышском языках. Был даже принят первый в Европе закон об охране памятников культуры и учреждено некое подобие национального музея.

Шведско-Финское королевство конца XVI века можно считать в некотором роде первым примером полиэтнического национального государства. Королевская администрация состояла во всех провинциях преимущественно из местных уроженцев и со времен Густава Вазы действовала по общим правилам. Финны могли участвовать в шведском парламенте, занимать официальные должности. Однако говорить о полном равноправии шведов и финнов в державе, созданной династией Ваза, все же не

<sup>73</sup> F.D. Scott. Sweden. The Nation's History. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977, p. 188.

приходится. В основном должности в Финляндии доставались местным шведам, а финны, заседавшие в королевском парламенте, принадлежали преимущественно к низшим сословиям, и соответственно их политическое влияние было невелико.

Династия Ваза, получившая власть благодаря избранию на царство, старалась поддерживать лояльные отношения с представителями сословий, в числе которых оказывались не только дворяне, духовенство и бюргеры, но также офицеры, чиновники, крестьяне и даже шахтеры. В этом плане шведский Риксдаг, будучи по форме вполне еще средневековым сословным представительством, был гораздо демократичнее аналогичных собраний в большинстве других стран Европы.

Традиционные связи с Голландией и Немецкой Ганзой в условиях мира способствовали быстрому росту торговли, а успешные войны позволили не только расширить территорию королевства, но и поставить под его контроль новые рынки. Шведская военно-бюрократическая машина и голландский торговый капитал работали в тесном сотрудничестве, достигая впечатляющих результатов.

В период позднего Средневековья по мере того, как ганзейские города утрачивали свое политическое влияние, их купцы все больше нуждались в покровительстве датского и шведского короля. Происходивший параллельно рост влияния обеих держав обернулся острым соперничеством между ними за локальную гегемонию на Балтике. Возвышение Голландии в качестве ведущей торговой державы лишь усугубило это соперничество.

В начале XVII века исследователи наблюдают «переход от старой ганзейской системы, в которой Швеция занимала зависимое положение, к участию в мировой экономике, где лидировала Голландия», что можно четко проследить «по материалам стокгольмской таможни»<sup>74</sup>. Традиционная балтийская торговля с немецкими купеческими городами отнюдь не сокращается, напротив, она заметно растет. Но еще быстрее растет новый товарооборот, непосредственно связанный с новой мировой экономикой. Увеличились объемы внешней торговли, особенно экспорт меди и железа.

При этом внутреннее развитие Швеции находится в явном контрасте с принципами свободной торговли, которые исповедовались первыми поколениями лидеров Голландской республики. Можно сказать, что восхождение Швеции в качестве великой европейской державы и ее региональная гегемония соответствуют новому этапу в развитии мироэкономики, когда возможности свободной торговли были исчерпаны, а Европа переживала затяжной кризис, — стокгольмские короли вели-

<sup>74</sup> Regional Integration in Early Modern Scandinavia, p. 102.

колепно почувствовали и сумели использовать возможности, которые открывал этот кризис перед ними, создавая трудности для других, более мощных и развитых государств. Однако жесткое государственное регулирование, проводившееся шведскими королями, отнюдь не представляло собой вызов голландской гегемонии или альтернативу ей. Напротив, эти две тенденции органически дополняли друг друга. Точно так же, как торговое господство Ганзы на Балтике нуждалось в военной мощи немецких рыцарских орденов, а позднее — датских и шведских королей, и голландская коммерческая гегемония — не будучи гегемонией политической — была невозможна без поддержки сильных военных держав, проводивших собственную экономическую политику. На Западе эту роль в начале XVII столетия выполняла (хоть и без особого энтузиазма) Франция, вовлеченная в конфликт с Испанией, на Востоке — Швеция. Лишь после завершения Тридцатилетней войны, по мере того как уходили в прошлое заботы и страхи, подтолкнувшие лидеров этих стран к объединению в Антигабсбургскую коалицию, исчезали и политические условия для голландской коммерческой гегемонии.

Между тем, Дания и Швеция, интегрированные в общую с Голландией коммерческую систему и формально принадлежавшие к общему протестантскому лагерю, вступили в острую борьбу за контроль над Балтийским морем. Эту борьбу подогревали голландские интриги. Купцам из Соединенных провинций категорически не нравились Зундские пошлины, которые король Дании брал с них за вход в Балтику.

В 1558 году вспыхнула Ливонская война. Стремясь захватить для России выход к Балтийскому морю, Иван Грозный напал на Ливонский орден, сославшись на многолетнюю неуплату Дерптским епископом дани, про которую обе стороны давно уже забыли. Армия царя вступила в Ливонию и захватила Нарву. Война привела к распаду и без того переживавшего острый кризис Ливонского ордена, после чего в события вмешались Швеция и Польша. В отличие от обессиленного внутренними смутами Ливонского ордена, эти противники оказались не по зубам русскому царю. В 1582 году война закончилась тем, что земли ордена были разделены между Швецией и Польшей, тогда как Московии не досталось ничего. Захватив Эстляндию, шведы получили плацдарм на южном берегу Балтики. Впоследствии, расширяя его, они установили свою власть над большей частью бывшей Ливонии, кроме ее южной части — герцогства Курляндского. Бывшие форпосты Ганзы на востоке Балтики — Рига и Ревель (Таллин) превратились в важные центры формирующейся шведской империи. Но отстаивая интересы шведского капитала, Стокгольм не слишком способствовал их развитию и процветанию, стремясь переместить торговые потоки из немецких городов в пользу Стокгольма, Гельсингфорса и Выборга.

Несмотря на политическую централизацию, противоречия типичные для мироэкономики в целом, воспроизводились и внутри шведской империи. Положение балтийских провинций не улучшилось после окончания Ливонской войны. Если сама Швеция стремилась стать частью западного «центра», то Балтийские провинции превращались в «периферию» системы. «Сокращение численности населения было прямо связано с упадком коммерции; в равной степени и экономическая политика Московии, и решения, принимавшиеся Швецией, отводили балтийским городам второстепенную роль в торговле между Востоком и Западом, что резко контрастировало с их процветанием в Средние века. Теперь балтийские провинции были интересны шведской империи как поставщик и экспортер зерна»<sup>75</sup>.

Это способствовало закреплению крестьян и снижало социальную мобильность низов, что на практике означало исключение эстонских и латвийских земледельцев из немецкого и шведского «общества». Создание университета в Дерпте (Тарту) — кузницы кадров для новой шведской администрации — не изменило ситуацию для коренного населения. «Большинство студентов были шведами, немцами и финнами; нет вообще никаких сведений о том, что в XVII веке среди студентов был хотя бы один эстонец»<sup>76</sup>.

После Ливонской войны Россия была обессилена и не могла считаться серьезным противником, зато неизбежным сделался военный конфликт с Польшей, с которой теперь Швеция имела общую границу. Внешнеполитическая ситуация осложнялась религиозными распрями. Спротивление сторонников католичества в Швеции получало поддержку из Польши, где у власти оказалась другая ветвь все той же династии Ваза. Король Польши Сигизмунд Ваза, недолго находившийся и на шведском троне, был католиком. Как и в Англии в годы правления Марии Кровавой, попытки реставрации католицизма сверху привели к обратному результату. Если Реформация, проведенная правительством, не вызвала народного энтузиазма, то попытка восстановления старой Церкви при поддержке иностранцев спровоцировала мощный взрыв национальных чувств и способствовала идеологическому укреплению и консолидации протестантизма, сторонники которого «закалялись в борьбе». Карл IX, сменивший Сигизмунда на троне в ходе острого политического конфликта, не только использовал протестантизм в качестве своего идеологического оружия, но и захватил власть, опираясь на поддержку низших сословий, представленных в Риксдаге. Почувствовав угрозу, аристократия сплотилась вокруг Сигизмунда. Династическое

<sup>75</sup> T.U. Raun. *Estonia and the Estonians*. Stanford, Ca.: Hoover Institution Press, 1987, p. 32.

<sup>76</sup> Ibid., p. 33.

столкновение переросло в социально-религиозный конфликт. В битве при Странгебро (Strangebro) войска Карла одержали победу, Сигизмунд вынужден был согласиться на созыв Риксдага, который официально лишил его короны. Перед тем как покинуть страну и вернуться в Польшу бывший король провел вечер вместе с будущим за ужином в замке Линкопинг (Linköping). «Их застольная беседа была вежливой, но не слишком интересной», констатировали присутствующие<sup>77</sup>.

В 1607 году Карл IX был официально коронован в Уппсале, а Сигизмунд, покинув страну, начал военные действия против своего удачливого соперника. Карл оказался втянут в войну с Польшей, а затем и с Данией. Военное счастье вновь отвернулось от шведов, которые терпели одно поражение за другим.

Густав Адольф унаследовал от отца государство, находившееся в войне со всеми тремя своими соседями — Данией, Польшей и Россией. Правда, на польской границе продолжалось перемирие, но было ясно, что это не надолго. К тому же, несмотря на все усилия предшествующих королей, государственные финансы опять находились в плачевном состоянии. После очередного военного конфликта Альвсборг снова оказался в руках датчан, и опять надо было платить контрибуцию, хотя дипломаты из Англии и Голландии изо всех сил старались смягчить позицию Копенгагена.

Однако на сей раз Швеция имела во главе правительства талантливого и решительного короля, рядом с которым оказался не менее целеустремленный и эффективный канцлер, Аксель Оксеншерна (Axel Oxenstierna), по праву занимающий место в ряду выдающихся политиков той эпохи рядом с Ришелье и Кромвелем. Между королем и его канцлером сложилось счастливое разделение труда. Первый занимался военными вопросами, второй — бюрократией и дипломатией. И оба достигли блестящих успехов на своем поприще. Они великолепно понимали и дополняли друг друга. Густав Адольф являлся не только выдающимся полководцем, но и крепким администратором, к тому же способным убеждать людей и склонять их на свою сторону, используя личное обаяние. Канцлер Оксеншерна после смерти короля заявил: «В мире нет никого, кто мог бы сравниться с этим Королем, и уже несколько столетий, как никого подобного на свете не было, и трудно сказать, появятся ли столь выдающиеся люди когда-нибудь в будущем»<sup>78</sup>.

По признанию историков, Оксеншерна превратил Швецию в бюрократическое государство. «И слово “бюрократическое” надо понимать в положительном смысле» (And «bureaucratic» in this context has a positive

<sup>77</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 127.

<sup>78</sup> Цит. по: E. Jutikkala (mit K. Pirinen). Op. cit., S. 129.

ging to it)<sup>79</sup>. Совет королевства (Reichsrat) начал превращаться в некое подобие «современного кабинета министров»<sup>80</sup>. Аппарат придворных советников и помощников преобразовывался в более или менее регулярную правительственную бюрократию, а его сотрудники в государственных служащих. Чиновники получали регулярное жалование, на что уходила изрядная часть постоянно недостаточных средств казны.

В стремительно развивавшемся государственном аппарате высшие должности остались за аристократами, но определенные каналы для социальной мобильности получили и низшие сословия, имевшие возможность продвигаться по службе. Если прежде в правительственных документах указывалось, что на ключевые должности могут быть назначены только «урожденные шведские дворяне», то при Густаве Адольфе была принята новая формула: «шведы, преимущественно дворяне»<sup>81</sup>. Иными словами, в порядке исключения, высшие государственные посты можно было доверить выходцам из «неблагородных» сословий. Именно эти низшие сословия стали основной опорой монархии в борьбе против аристократической оппозиции. Однако правительство стремилось не к революции, а к компромиссу, стараясь, не теряя поддержки низов, заморить и успокоить аристократию.

Извлеки уроки из социально-политических конфликтов, которые в очередной раз потрясли королевство на рубеже XVI и XVII века, Оксеншерна сумел обеспечить примирение и сотрудничество сословий, завоевав доверие аристократов. Иными словами, он проводил «бонапартистскую» политику лавирования между социальными силами, стремясь консолидировать общество вокруг удобной для всех власти. Но чтобы в таких условиях поддерживать стабильность нужны средства. Дополнительные ресурсы могли быть получены за счет внешней экспансии или мобилизованы внутри страны во имя борьбы с внешним врагом.

«Монархия и аристократия готовы были прекратить свою затяжную борьбу на основе единственной общей программы, которая устраивала всех — за счет войны и экспансии, — констатирует английский историк. — В некотором смысле это была и национальная программа, по крайней мере ее так воспринимали»<sup>82</sup>.

Первые успехи армии Густава Адольфа одержали в конфликте с Польшей. В 1610 году шведские войска находились в Москве, пытаясь защитить ее от поляков, но под давлением неприятеля вынуждены были

<sup>79</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 165.

<sup>80</sup> E. Jutikkala (mit K. Pirinen). Op. cit., S. 130.

<sup>81</sup> G. Barudio. Gustav Adlof — der Grosse. Eine politische Biographie. Frankfurt a.M.: S. Fischer, 1982, S. 112.

<sup>82</sup> V.G. Kiernan. State and Society in Europe, 1550–1650. Oxford: Basil Blackwell, 1980, p. 159.

оставить город. Хотя шведы пришли в Россию как союзники, их вмешательство в политическую борьбу Смутного времени завершилось открытой Русско-шведской войной.

Заключенный при посредничестве Англии Столбовский мир с Россией в 1617 году закрепил за Швецией земли на восточном побережье Балтики. Кампания в Ливонии привела в 1621 году к захвату у поляков Риги — крупнейшего порта в этом регионе. Доходы от балтийской торговли пополнили казну Густава Адольфа. Рига с ее 30-тысячным немецким населением стала крупнейшим городом королевства. Позднее, уже после гибели Густава Адольфа, датчане были вытеснены с южной оконечности Скандинавского полуострова (Skane), и Шведское королевство получило стабильный доступ к Северному морю. Все эти завоевания стали возможны благодаря радикальной военной реформе, предпринятой Густавом Адольфом.

В войнах XVI и начала XVII веков шведская корона все еще использовала, наряду со своими войсками, наемные контингенты. Их набирали в Германии, Шотландии и Англии. Во время Ливонской войны доходило до конфликта между контингентами. «Драка началась между шотландцами и немцами, когда кто-то отказался платить за съеденную свеклу. Кончилось тем, что убили несколько сотен шотландцев, среди которых были офицеры. Другие шотландцы дезертировали и перешли на службу к русским»<sup>83</sup>. В армии Якова Делагарди (Jacob de la Gardie), отправленной в Россию — формально для оказания помощи Москве против поляков — имелось 1200 шотландских и английских солдат. Не получив своевременного жалования, эти войска взбунтовались и перешли на сторону неприятеля. В войнах с датчанами шведы регулярно терпели неудачи, наемные войска были ненадежны. Густав Адольф не мог больше терпеть подобное положение дел. Ему нужны были надежные и боеспособные войска.

Не имея достаточных средств, чтобы содержать дорогостоящую наемную армию, Швеция решила проблему, введя всеобщую воинскую повинность. Это дало основание историкам считать родину Густава Адольфа страной, создавшей первую регулярную армию в мировой истории<sup>84</sup>. Дельбрюк заявляет, что шведы «были первым народом, который организовал у себя национальную армию»<sup>85</sup>. Подобное утверждение, конечно, не совсем справедливо, ибо игнорирует английскую военную реформу XIV–XV веков, а также опыт Голландии, широко использовавшийся

<sup>83</sup> G.G. Simpson, ed. *Scotland and Scandinavia, 800–1800*. Edinburgh: John Donald Publishers, Ltd., 1990, p. 90.

<sup>84</sup> См.: С.А. Нефедов. *Война и общество*, 2008.

<sup>85</sup> Г. Дельбрюк. *История военного искусства в рамках политической истории*, т. 4, с. 120.



теми же шведами, однако в целом по отношению к Европе XVII века шведское военное строительство было безусловно новаторским и революционным.

Военная организация, созданная Густавом Адольфом, опиралась на классовую структуру шведской деревни, где преобладало свободное и экономически независимое крестьянство, с которым приходилось считаться как дворянскому сословию, так и правительству<sup>86</sup>. Именно это крестьянство не в меньшей степени, чем городская буржуазия становилось опорой королевской власти, стремившейся укрепить свои позиции перед лицом аристократии.

Шведское ведение военных действий, по словам американского исследователя, «напоминало тотальную войну современной эпохи»<sup>87</sup>. Королевство Густава Адольфа было разделено на 6 округов, каждый из которых должен был выставлять 18 пехотных и 6 кавалерийских полков. Рекрутская повинность была распределена по общинам, так что на определенное количество «дворов» приходилось и соответствующее количество рекрутов. Однако воинский призыв дополнялся добровольной вербовкой. Это позволяло создать многочисленную и хорошо мотивированную армию, резко отличавшуюся от феодальных ополчений и наемных войск соседних государств. Значительная часть подразделений формировалась в Финляндии, жители которой в тот момент были лояльными и патриотичными подданными Швеции. В соответствии со шведской системой, на войну призывался один человек из десяти боеспособных мужчин, а остальные числились в резерве. Однако в Финляндии обычно призывали больше. К тому же на русской границе действовали крестьянские ополчения. В итоге Финляндия была непропорционально численности населения представлена в вооруженных силах королевства, она формировала девять пехотных и три кавалерийских полка. Командиры этих войск прекрасно сознавали их значение для государства. Шведские офицеры вообще играли немалую роль в политике, причем, как отмечают историки, «особенно те, что происходили из Финляндии» (*especially those from Finland*)<sup>88</sup>.

Финские войска играли активную роль уже в сражениях Ливонской войны и в конфликтах начала XVII века. Еще во времена пограничных конфликтов с новгородцами шведские короли оценили способность финнов-охотников к ведению партизанской войны. Эти войска оказались равно способны применять тактику геррильи и сражаться в поле, четко сохраняя строй и демонстрируя неколебимую дисциплину. «Роль Финляндии в войнах, происходивших в восточной Балтике, столь высо-

<sup>86</sup> Ч. Тулли. Цит. соч., с. 57.

<sup>87</sup> W.J. Stover. Op. cit., p. 33.

<sup>88</sup> Ibid., p. 27.

ко оценивалась шведским правительством, что командующий финскими вооруженными силами был назначен первым генерал-губернатором Эстонии»<sup>89</sup>. В сельских общинах Финляндии до сих пор можно найти памятники героям Тридцатилетней войны. Финские солдаты получили прозвище *hakkarelis* от своего боевого клича «*Hakkaa päälle!*» — что может быть переведено как «Круши, громи!»

Боевой дух шведско-финской армии был высок. «Патриотический и религиозный энтузиазм, резко отличал этих бойцов от солдат других европейских армий и начальство поддерживало его постоянной пропагандой в боевых частях», констатирует американский историк<sup>90</sup>. То же подчеркивает и Дельбрюк, замечая, что «Густав Адольф строил мораль своих войск не только на начальственной власти командиров, но и на развитии в своих войсках религиозного чувства»<sup>91</sup>. В шведской армии был введен институт военных капелланов, выступавших по существу в роли политкомиссаров. Их главной задачей была не столько забота о душах солдат, сколько поддержание боевого духа и идеологическая пропаганда, разъяснение политики короля, целей и смысла войны.

В официальной шведской да отчасти и немецкой истории Густав II Адольф предстает идеалистом, вмешавшимся в Тридцатилетнюю войну для того, чтобы оказать «бескорыстную помощь протестантам в Германии»<sup>92</sup>. На самом деле король был в достаточной степени компетентным политиком, чтобы понимать действительный смысл происходящего. Как замечает немецкий историк, Густав Адольф при всем своем ревностном протестантизме был «насквозь практическим человеком» (*durch und durch ein Mann der Praxis*)<sup>93</sup>. Экономические интересы волновали его ничуть не меньше, чем вопросы религиозной солидарности. Он несомненно был искренним приверженцем протестантизма, но одновременно не упускал случая использовать религиозные чувства своих подданных для того, чтобы получить поддержку германского похода. Как отмечают финские историки, король и его канцлер Аксель Оксеншерна вели «целенаправленную и хорошо организованную пропаганду». Год за годом шведам и финнам рассказывали ужасные истории про то, как «немецкие протестанты страдают от ужасных гонений, как войска императора приближаются к границам Швеции, грозя принести те же бедствия ее народу»<sup>94</sup>.

<sup>89</sup> Ibid., p. 31.

<sup>90</sup> Ibid., p. 32.

<sup>91</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 4, с. 123.

<sup>92</sup> E. Jutikkala (mit K. Pirinen). Op. cit., S. 138.

<sup>93</sup> K. Reppen. Op. cit., S. 301.

<sup>94</sup> Ibid., S. 139.

Идеологическая обработка солдат дополнялась жесткими дисциплинарными мерами и суровыми наказаниями. Смертная казнь в шведской армии полагалась за 43 различных проступка. Это было самое жесткое военное законодательство в тогдашней Европе. Запрещено было любое насилие «против священников, стариков, женщин, девиц и детей, кроме тех случаев, когда те сами нападали на солдат»<sup>95</sup>. Для повышения дисциплины военнослужащих впервые в Европе стали сечь шпицрутенами.

«Наша пехота служит не за деньги, — говорил Густав Адольф. — И они не завлечены на службу обманом, не зная о тяготах и опасностях войны, в тавернах, где людей вербуют, выставляя им выпивку. Нет, мы отобрали лучших, среди множества наших сельских жителей, готовых служить стране. Они привыкли к труду и испытаниям, им не страшны ни жара, ни холод, ни голод, ни отсутствие сна и они готовы сражаться и работать, не щадя себя»<sup>96</sup>.

Семидесятитысячная армия короля Густава Адольфа в начале XVII века была, как замечает Дельбрюк, по отношению к населению страны более массовой, чем армия, выставленная Пруссией против Наполеона в 1813 году<sup>97</sup>. Хотя данные о численности населения Шведского королевства, приводимые немецким историком, несколько занижены, это не меняет принципиальной картины<sup>98</sup>. Способность шведских королей мобилизовать людские и материальные ресурсы для достижения своих военно-политических целей превосходила все, что было известно в тогдашней Европе.

Несмотря на это призыв обеспечивал не более половины потребности короля: иностранных наемников все равно приходилось использовать. На шведской службе оставались шотландские и ирландские полки. В начале XVII века английские власти в Дублине сознательно отправляли непокорный элемент подальше от греха в Швецию, продавая мятежников в качестве пушечного мяса союзной монархии. Общее число шотландских (на самом деле — британских) полков достигло восьми к 1624 году. В следующем году еще один полк был сформирован для гар-

<sup>95</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 174.

<sup>96</sup> W.J. Stover. Op. cit., p. 32.

<sup>97</sup> См.: Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 4. с. 120.

<sup>98</sup> Согласно Дельбрюку, население Швеции с Эстляндией и Финляндией было около 1 миллиона человек, что примерно соответствовало населению тогдашних Саксонии и Бранденбурга вместе взятых. Эти данные несколько занижены. К моменту вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну число шведских подданных, с учетом вновь завоеванных территорий, было все еще меньше 1,5 миллиона, но все же существенно больше чем полагает Дельбрюк. По оценкам шведских историков, у Густава Адольфа было около 1,3 миллиона подданных.

низонной службы в Риге, как замечал Густав Адольф, «при обязательном условии, что шотландцев обеспечат теплой одеждой, чтобы выдержать холод»<sup>99</sup>. Изрядная часть солдат набиралась в горной Шотландии. Однако положение иностранных военных специалистов и их роль в армии изменились. Большинство шотландских офицеров, выживших в войнах Густава Адольфа, пополнили ряды шведского дворянства.

Не удивительно, что шведские войска, высадившись в Германии, вызвали ужас у немецких наемников, которые шли служить ради заработка. К тому же эта армия, приходя на неприятельскую территорию, не грабила!

Александр Нестеренко в качестве примера гуманности Запада — в противовес грабежам русских — приводит эпизод с захватом Новгорода шведами в разгар «Смуты». Описывая образцовое поведение победителей в занятом городе и великодушные условия капитуляции, он с пафосом заключает: «Предложи шведы сегодня на таких условиях признать Новгороду или любому другому городу России власть шведского короля, — это предложение с радостью было бы принято»<sup>100</sup>. Однако поведение шведской армии в XVII веке было удивительным исключением, которое потрясло не только новгородцев, но и немцев.

Дельбрюк называет Густава Адольфа «последователем военного искусства Морица Оранского», добавляя, впрочем, что тот «не только воспринял и развил новую тактику, но и положил ее в основу стратегии широкого масштаба»<sup>101</sup>. Уроки Морица Оранского действительно сыграли немалую роль в формировании шведского боевого порядка. Современники отмечали, что у Густава Адольфа войско было «дисциплинировано и обучено по нидерландскому образцу», в то время как в Германии «солдаты часто бродят как стадо быков или свиней»<sup>102</sup>. Однако напрасно Арриги представляет распространение военного опыта как своего рода «передачу технологий», сознательно организованную правящим классом Нидерландов. Показательно, что немецкие протестантские князья, непосредственные соседи и ближайшие союзники буржуазных Нидерландов, перенять и даже просто усвоить голландские уроки были не в состоянии. Совсем иное дело — Швеция, чья армия была уже в начале XVII века организована по новому образцу.

Именно поэтому шведы оказались способны не только воспринять идеи голландских военных реформаторов, но и далеко превзойти своих

<sup>99</sup> G. G. Simpson, ed. *Scotland and Scandinavia*, p. 92.

<sup>100</sup> А. Нестеренко. Цит. соч., с. 68.

<sup>101</sup> Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, т. 4, с. 119.

<sup>102</sup> Там же, т. 4, с. 120.

учителей. А французские деньги помогли им выполнить первое условие голландской военной реформы: обеспечить военных своевременным и регулярным финансированием.

Мощь шведской армии опиралась не только на организационные достижения Густава Адольфа, поддержанные его наследниками, но и на промышленное развитие, которому королевская власть придавала огромное значение. Благодаря улучшению качества литья шведская металлургия начала превращаться в основу настоящего военно-промышленного комплекса.

Частное предпринимательство и государственная политика были и здесь, как во многих других европейских странах, тесно связаны между собой. Шведские военные усилия финансировались амстердамским банкиром Луи де Геером (Louis de Geer), который создал транснациональную компанию, «империю, которая по своему значению и масштабам могла бы сравниться с позднейшими компаниями Круппа и Ротшильда вместе взятыми»<sup>103</sup>. За кредиты и поставки королевское правительство расплачивалось, предоставляя производственные концессии (часто на вновь завоеванных территориях). Данные концессии, в свою очередь, закладывали основу новой шведской промышленности. На свои предприятия де Геер и его коллеги, братья де Беше (de Besche brothers), привезли большое количество специалистов, как из Голландии, так и из Южных Нидерландов (главным образом из Льежа), которые поставили производство в соответствии с новейшими технологиями. Особое значение для шведской промышленности имели новые методы выплавки металла. По словам американского историка Франклина Скотта (Franklin Scott), де Геер был не только богатым инвестором, но и «гением организации, человеком, который перевел производство оружия из ремесленной формы в индустриальную, а затем наладил и экспорт»<sup>104</sup>. В 1627 году, после того как большая часть его предприятий сосредоточилась в Швеции, он сам, вслед за своими капиталами, перебрался в эту страну.

Агрессивная внешняя политика шведских королей в целом способствовала экономическому развитию. «Военные действия стимулировали экономику по целому ряду направлений. Правительство, как и во многих других странах, контролировало значительную часть горнодобывающей промышленности, а затем начинало брать на себя и другие функции. Стремясь увеличить свою мощь, Швеция подала другим странам пример того, как можно мобилизовать естественные ресурсы страны в военных целях. Запасы меди, открытые в 1570-х годах, наряду с железом разрабатывались теперь на экспорт, но этот экспорт использовался

<sup>103</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 166.

<sup>104</sup> F.D. Scott. Op. cit., p. 189.

для целей внешней политики»<sup>105</sup>. Поскольку медь и железо использовались для производства оружия, их в полной мере можно назвать стратегическим сырьем. После окончания Тридцатилетней войны производство вооружения явно превышало потребности шведской армии. Разросшийся за годы непрерывных конфликтов военно-промышленный комплекс к середине XVII века стал работать на экспорт. Например, в 1655–1662 годах произвели 11 000 пушек, из которых экспортировали 9000<sup>106</sup>.

Впервые в истории правительство не только снабжало свою армию оружием, но и занималось модернизацией и стандартизацией вооружения, проводя для этого специальные изыскания. Целенаправленная работа специалистов, проводившаяся по прямому указанию королевской власти, привела в 1629 году к появлению нового оружия — легкой «полковой пушки» (*regementsstycke*). Это четырехфунтовое орудие перевозилось одной или двумя лошадьми, несколько солдат могли катить ее прямо по полю боя рядом с наступающими шеренгами пехоты, а стреляло оно картечью вместо ядер. Появление полковой артиллерии резко меняет тактику, повышая огневую мощь пехоты. Российский историк С.А. Нефедов замечает, что полковая пушка, стала «оружием победы» шведской армии в Тридцатилетней войне<sup>107</sup>.

Благодаря усилиям шведского военно-промышленного комплекса произошла стандартизация и облегчение веса вооружения. Калибр мушкета был уменьшен. Новый облегченный мушкет был снабжен колесцовым замком (придуманном еще Леонардо да Винчи). Теперь мушкетеры могли обходиться без сошек при стрельбе. Были введены бумажные патроны и патронташи. Пехота стала более маневренной и стреляла быстрее, чем ее противники. Отлично обученные и дисциплинированные войска оказались способны совершать стремительные марши, появляясь там, где неприятель не ждал. В этом плане Густава Адольфа можно считать, с одной стороны, продолжателем традиции Генриха V английского, а с другой стороны, предшественником Фридриха Великого, генералов Французской революции и Наполеона Бонапарта. Неповоротливые колонны по 2000–3000 человек были заменены полками по 1200–1300 бойцов, неизменно состоявшими из 4 рот. Каждому полку были приданы две пушки. Кавалерийские полки были разделены на эскадроны по 125 всадников.

На протяжении всего XVI века полководцы экспериментировали, меняя соотношение пикинеров и мушкетеров. В армии Густава Адольфа пикинеры составляли всего одну треть пехоты, а остальные были во-

<sup>105</sup> V.G. Kiernan. Op. cit., p. 159.

<sup>106</sup> См.: F.D. Scott. Op. cit., p. 190.

<sup>107</sup> С.А. Нефедов. Война и общество, с. 26.

оружены мушкетами. Это соотношение, распространившееся позднее по другим европейским армиям, продержалось до начала XVIII века, когда пика окончательно была вытеснена штыком. Поскольку мушкет теперь играл большую роль, чем пика, изменилась и тактика. Глубокие колонны были заменены линейным построением, позволявшим более эффективно вести огонь. Снабжение войск было налажено с помощью организации складов и тыловых баз.

Тщательно подготовленная, хорошо обученная, обеспеченная всем необходимым, дисциплинированная и превосходно вооруженная шведская армия, вступив в Тридцатилетнюю войну резко меняла соотношение сил. К тому моменту, когда войска Густава Адольфа высаживались в Германии, победа Габсбургов казалась неминуемой. Протестантские князья были разгромлены, попытка датского короля выступить на защиту единоверцев окончилась позорным провалом, и в Вене уже обсуждали планы послевоенного переустройства германского политического пространства, все еще носившего средневековое название Священной Римской империи. Именно эти планы и ускорили шведское вторжение. Формальным поводом для похода шведов в Германию был Эдикт о Реституции (*Das Restitutionsedikt*) от 6 марта 1629 года, которым император фактически пересматривал условия Аугсбургского мира. Возврат церковной собственности должен был сопровождаться активными мерами по контролю императорской администрации на территории, формально принадлежавшей протестантским князьям.

Франция тем временем была занята локальной войной за Мантуанское наследство — герцогской короны здесь добивался французский ставленник Карл Неверский, поддержанный венецианцами. Габсбурги, естественно, выступали против его кандидатуры. Военные действия складывались не лучшим образом для Франции и ее сторонников, тем более, что Ришелье смог направить для участия в конфликте лишь ограниченный контингент. В то самое время как в Германии французская дипломатия защищала интересы протестантских князей и свободу веры, ее вооруженные силы были заняты на внутреннем фронте экспедициями против гугенотов в Ла-Рошели и Лангедоке. Тем не менее, как часто бывало у Ришелье, с помощью дипломатии удалось добиться того, чего не удалось достичь силой оружия. Мантуя перешла к герцогу Карлу. В обмен Габсбурги получили от французов обязательство, что те не станут выступать против них с оружием в немецком конфликте, но мирный договор остался не ратифицирован, так что позднее, когда армии Ришелье и Людовика XIII все же двинулись в Германию, никто не мог формально уличить Париж в неисполнении своих обязательств.

Высадка Густава Адольфа резко изменила политическую ситуацию, расстановку и соотношение сил. «Шведская интервенция застала Гер-

манию совершенно неподготовленной, — пишет немецкий историк. — Протестантский лагерь был обессилен и дезориентирован, а в католическом лагере не было единства ни относительно целей, ни относительно способов ведения войны»<sup>108</sup>. После первых побед над имперскими войсками Густав Адольф фактически был хозяином положения. Но и силы Габсбургов были далеко не сломлены.

Решающее сражение с имперскими войсками Валленштейна при Лютцене (Lutzen) закончилось победой шведов, но Густав Адольф погиб, объезжая передовые позиции — короля подвела близорукость, стремясь разобраться в ситуации, он слишком близко подъехал к неприятельским боевым порядкам. Смерть лидера не остановила работу налаженной им военной машины, которая оказалась в значительной мере самодостаточной. Но по мере того как война затягивалась, ресурсы Швеции истощались. Армию, гордившуюся своей дисциплиной и боевым духом, приходилось пополнять за счет немецких наемников, в Финляндии просто не хватало мужчин для замены выбывающих из строя бойцов.

В 1634 году успехи сменились для шведов чередой неудач. После катастрофического поражения при Нердлингене (Noerdlingen) канцлер Оксеншерн бросился за помощью в Париж. Он был принят кардиналом Ришелье в апреле 1635 года. Канцлер показался кардиналу «несколько готическим и очень финским»<sup>109</sup>, но в целом они легко нашли общий язык. По словам скандинавских историков, «союз с Францией вновь вернул Швеции былую славу и позволил ей в течение длительного времени содержать большую боеспособную армию, профессионализм которой постоянно возрастал»<sup>110</sup>. Шведы не остаются в долгу. Войдя в Эльзас и вытеснив оттуда имперские войска, они передают ключевые крепости французам, готовя переход этой территории под власть Парижа. В 1635 году были подписаны новые договоры со Швецией и Голландией. В 1640 году не без влияния французов разразился антигабсбургский мятеж в Каталонии. Как только Португалия получила независимость от Мадрида, она заключила с Францией договор о союзе. Эта политика альянсов уже после смерти Ришелье была закреплена Гагским договором со Швецией и Копенгагенским договором о союзе с Данией. Не удивительно, что историки сходятся на мнении — что именно благодаря Ришелье «была предотвращена угроза испанско-австрийской гегемонии в Европе»<sup>111</sup>.

Унаследовавшая власть в Швеции королева Кристина, оказалась деятельной и добросовестной продолжательницей его политики, хотя

<sup>108</sup> K. Repgen. Op. cit., S. 297.

<sup>109</sup> H. Lindqvist. Op. cit., p. 205.

<sup>110</sup> История Дании. Под ред. С. Буска и Х. Поульсена. М.: Весь мир, 2007, с. 187.

<sup>111</sup> F. Гордилина. Предисловие. В кн.: А.Ж. Дю Плесси Ришелье. Мемуары, с. 29.



значительную роль в управлении на первых порах по-прежнему играл канцлер Оксеншерна. Скандинавские историки называют дочь Густава Адольфа «одной из самых замечательных женщин в истории»<sup>112</sup>. Автор не слишком оригинальных, но хорошо написанных книг, главной из которых оказалась ее автобиография, поклонница Декарта, шведская королева была по своим склонностям скорее интеллектуалом, нежели политиком, что не помешало ей оказаться вполне эффективным руководителем государства. Густав Адольф «не скрывал своего разочарования, когда у него родилась дочь, но воспитывал Кристину как мальчика»<sup>113</sup>.

Швеция продолжала борьбу энергично и настойчиво, демонстрируя всей Европе образец северной стойкости. По словам французского историка, после смерти Густава Адольфа начинания героического короля «превратились в общенациональное дело»<sup>114</sup>. Но отныне Стокгольм полностью зависел от Парижа, а Франция могла в полном объеме добиться своих целей, но лишь ценой прямого участия в военных операциях. Дипломатия в ходе конфликта эффективна лишь тогда, когда есть готовность и решимость применить силу. Несмотря на всю свою осторожность Ришелье прекрасно понимал это.

Никакие дипломатические усилия не могли заменить успехов на поле боя. А здесь события складывались далеко не так, как хотелось парижским стратегам. Блестящих побед, одержанных шведскими войсками на первых порах после их прибытия в Германию, оказалось недостаточно, чтобы переломить ход борьбы, противостояние затягивалось. Протестантские князья Саксонии и Бранденбурга примирились с императором, а в марте 1634 года испанские войска захватили Трир, находившийся под покровительством Франции. Этой провокации Париж уже не мог оставить без ответа. Война была объявлена.

На первых порах, однако, военное счастье отвернулось от Франции. В августе 1636 года испанские войска стояли уже недалеко от Парижа, взяв прикрывавшую столицу крепость Корби (Corbie). Современники писали, что «с парижских стен видны были огни бивуаков испанской армии»<sup>115</sup>. Из-за непомерного налогового бремени в разных частях страны начались бунты. Новые фискальные эдикты «Парижский парламент регистрировал лишь под сильным давлением правительства. Бордоский парламент отказал в их регистрации, и в Бордо вспыхнуло восстание против налога на вино, парламент в Тулузе издал постановление о

<sup>112</sup> E. Jutikkala (mit K. Pirinen). Op. cit., S. 149.

<sup>113</sup> F.D. Scott. Op. cit., p. 202.

<sup>114</sup> F. Ancillon. Tableau des révolutions du système politique de Europe, t. 3, p. 177.

<sup>115</sup> А.Д. Любинская. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. Л.: Наука, 1982, с. 82.

запрещении взимать новые налоги»<sup>116</sup>. Придворные заговорщики планировали убийство Ришелье. Но у Габсбургов уже не было сил для развития успеха, заговор был, как и все прочие, разоблачен, а французские войска вернули Корби. Ришелье удалось собрать новую мощную армию. Три года спустя французы, после длительной осады, овладели стратегически важной крепостью Брейзах (Breisach) на Верхнем Рейне. Заняв эту позицию, войска кардинала перекрыли «испанскую дорогу», по которой снабжались испанские войска в южных Нидерландах, отрезали эту территорию от Австрии и Баварии. Когда Ришелье умер в 1642 году, французские армии уже чувствовали себя хозяевами на западе Германии, заняв Эльзас и Лотарингию. В 1644 году французы заняли Рейнскую область. Войска маршала Тюренна и принца Конде (Condé) вместе со шведскими солдатами генерала Врангеля приближались к Вене. Вестфальский мир 1648 года и Пиренейский мир с Испанией 1659-го оказались торжеством Франции, превратившейся в сверхдержаву новой Европы.

Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну, сделал Париж вершителем судьбы Европы. В публицистической литературе конца XX века нередко можно встретить мнение, будто Вестфальский мир положил конец средневековой политике, заменив феодальные группировки новой системой суверенных территориальных государств. В итоге «не-территориальные политические игроки — города-государства, лиги городов, феодальные правители и другие корпоративные игроки исчезли из международной политики»<sup>117</sup>. Историкам хорошо известно, что подобная интерпретация Вестфальского мира, есть не более чем миф. Вестфальский мир отнюдь не был всеобщей конвенцией о государственном суверенитете, какой его пытались представить публицисты конца XX столетия. Мир 1648 года был «весьма далек от того, чтобы сформулировать современные правила международных отношений». Напротив, он представлял собой кульминацию политического процесса, основой которого была «династическая и абсолютистская политика»<sup>118</sup>. Принцип неограниченного территориального суверенитета и формально равного статуса всех государств был закреплен лишь после наполеоновских войн Венским конгрессом 1814–1815 годов, когда Священная Римская империя перестала существовать.

Для развития международного права Вестфальский мир дал очень мало нового, поскольку воспроизводил принципы, сформулирован-

<sup>116</sup> Там же, с. 81.

<sup>117</sup> B. Teschke. *The Myth of 1648. Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations*. London: Verso, 2003, p. 3.

<sup>118</sup> Ibid.

ные Аугсбургским миром. Он дополнял его условия тем, что фиксировал нерушимость обязательств правителей по отношению к церковным институтам, а также неизменность границы между протестантскими и католическими землями в Германии. Князь, решившийся сменить веру, отныне автоматически лишался короны.

Тем не менее Вестфальский мир действительно был переломным этапом в истории Европы. Он радикально изменил соотношение сил между ведущими европейскими государствами, положив конец доминирующему положению Габсбургов на континенте. И если Австрия к началу XVIII столетия сумела исправиться, то Испания обречена была превратиться во второстепенную державу.

По словам Ансильона, главная цель французской и шведской дипломатии состояла в том, «чтобы Австрийский дом не мог отныне считать князей империи своими подданными, а территорию империи — своими провинциями»<sup>119</sup>. Раздробленность немецких земель была закреплена международным правом. Главным политическим итогом войны стало то, что в качестве государственного целого Германия полностью перестала существовать, возродившись лишь во второй половине XIX века. Социально-экономические и демографические последствия были не менее катастрофическими. «Даже Вторая мировая война не имела для Германии таких разрушительных последствий, как Тридцатилетняя. Потери населения составили за период 1618–1648 годов в целом по стране около 40%, а в городах примерно 33%»<sup>120</sup>. Основной ущерб нанесли не сражения, а грабежи и насилия наемных войск, голод и эпидемии.

Если Германия — как протестантская, так и католическая — оказалась главной жертвой войны, то и страны-победители понесли немалый урон. Самые большие потери пришлось на долю Швеции. Около полумиллиона шведских и финских солдат погибли в боях или умерли от болезней за время Тридцатилетней войны<sup>121</sup>. Потери мужского населения были настолько велики, что во многих областях страны, особенно в Финляндии, женщины брали на себя мужские обязанности. Это касалось не только крестьянок, которым приходилось пахать и рубить дрова, но и аристократок, бравших на себя управление имениями. Возможно, в событиях того времени следует искать истоки культурной традиции, приведшей к стремительному распространению феминизма в Скандинавии середины XX века. «Слава Швеции обернулась горем для Финляндии» (Sweden's glory had become Finland's doom), — писал американский историк<sup>122</sup>. По мере

<sup>119</sup> F. Ancillon. *Tableau des révolutions du système politique de Europe*, t. 3, p. 234.

<sup>120</sup> K. Reppen. *Op. cit.*, S. 313.

<sup>121</sup> См.: H. Lindqvist. *Op. cit.*, p. 139.

<sup>122</sup> W.J. Stover. *Op. cit.*, p. 35.

того как увеличивались тяготы, связанные с поддержанием военных усилий стокгольмской монархии, усиливалось и недовольство. Налоги и рекрутские наборы нестерпимым грузом ложились на финскую деревню. Однако выступления протеста носили не национальный, а, прежде всего, социальный характер. Сельское население, сопротивлялось политике центральной власти, региональные элиты высказывали недовольство столичным управлением.

Тем не менее число шведских подданных приумножилось — за счет территорий, захваченных в Германии и присоединенных к северной державе по Вестфальскому миру. Если к началу правления Густава Адольфа население его королевства составляло 1,3 миллиона человек, то к концу Тридцатилетней войны под властью шведской короны находилось около трех миллионов подданных. Впрочем, росту населения способствовало не только это. Политический успех Швеции сделал страну привлекательной для купцов и ремесленников, промышленных и военных специалистов, переселявшихся сюда с разных концов Европы, открывавших здесь свои конторы, нанимавшихся на службу. Королева Кристина, наследовавшая Густаву Адольфу, не ограничивалась приглашением технических специалистов, она, по словам французского историка, «поощряла науки и приглашала в свою страну людей искусства», хотя в последнем случае она так и не смогла найти гениев, которые прославили бы ее правление в Швеции — «блестящая эпоха литературы была еще впереди»<sup>123</sup>. Население Стокгольма выросло в шесть раз, в том числе за счет иммиграции. Многие купцы с континента открывали в Швеции свои конторы или даже сами перебирались сюда. В том числе относилось это и к выходцам из экономически процветающей, но политически приходившей в упадок голландской республики. Динамично развивающаяся шведская монархия открывала для нидерландских предпринимателей горизонты новых возможностей, заставляя их переносить сюда свои капиталы и самих переселяться в это северное королевство. Вестфальский мир был пирровой победой для Швеции. Силы страны были подорваны, но в коалиции с Францией она оставалась влиятельной политической силой.

Именно Франция стала главным победителем в Тридцатилетней войне. Она, говоря словами ее историков, завладев Эльзасом и Лотарингией, вышла к «своим естественным границам»<sup>124</sup>. Ее армии свободно перемещались по Западной Европе, диктуя свою волю побежденным. Слава ее генералов — Тюренна и Конде — не знала себе равных. Даже английский диктатор Оливер Кромвель, считавшийся при жизни великим полководцем, отправлял своих «железнобоких» служить под начало Тюренна.

<sup>123</sup> F. Ancillon. *Tableau des révolutions du système politique de Europe*, t. 4, p. 33.

<sup>124</sup> *Ibid.*, t. 3, p. 237.

Испания, несмотря на огромные масштабы своей заокеанской империи, утратила значение в Европе. Австрии нужно было время, чтобы восстановить себя после поражения в 1648 году. Англия оставалась неостровным государством, поглощенным внутренними конфликтами. Ни один двор не мог сравниться по блеску с двором Людовика XIV, «короля-Солнца». Преодолев испытания Фронды и стабилизировав внутреннее положение, французская монархия выглядела самой мощной политической силой континента, а французская буржуазия, окрепшая благодаря политике Жана-Батиста Кольбера, выглядела столь же внушительной силой экономически.

Франция находилась на вершине славы и могущества. В ту блестящую эпоху, пишет Фредерик Ансильон, никто не решался открыто бросить вызов Парижу. «Все другие державы Европы были либо тайными и бессильными врагами, либо друзьями Франции; в делах мира и войны, в изяществе искусств и в духовных поисках — во всем монархия Людовика XIV лидировала на континенте, а другие государства взирали на нее с восхищением, признавали ее роль и подражали ей»<sup>125</sup>.

И все же претензии Франции на гегемонию в Европе, оформившиеся еще при Ришелье и открыто продемонстрированные Людовиком XIV, наталкивались на сопротивление возрастающего числа противников, способных все более эффективно противостоять военной и политической мощи Парижа. Традиционный альянс со Швецией, сохранившийся до начала XVIII столетия, уже не компенсировал возникновение новых, все более широких коалиций, за которыми стояли после 1688 года совместные интересы правящих классов Голландии и Англии. Восстанавливающаяся Австрия и новое королевство Пруссия, сложившееся за счет слияния курфюршества Бранденбург с Прусским герцогством, выдвигали собственные претензии на влияние в Европе.

В первой половине XVII века успех франко-шведского союза был обеспечен сочетанием французской политики, основанной на новаторской централизации и эффективном бюрократизме, и шведского рационального милитаризма, на основе которого была сформирована первая национальная армия Нового времени. Однако уже к концу столетия и тот, и другой опыт начали активно перенимать другие правительства. С одной стороны, военные методы, принесшие успех шведам в XVII веке, уже не были ни для кого секретом (их военная организация превосходно имитировалась другими армиями), а с другой стороны, политическая организация французской монархии стала образцом, по которому преобразовывали себя государственные машины почти всех европейских стран.

<sup>125</sup> F. Ancillon. Tableau des révolutions du système politique de Europe, t. 4, p. 137.

В 1675 году курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм нанес пятнадцатитысячной шведской армии поражение при Фербеллине (Fehrbellin). Эта битва стала, как отмечает российский историк, «самым тяжелым поражением “северных львов”, известным до Полтавской битвы. На кровавых фербеллинских полях шведы были разбиты наголову армией курфюрста численностью всего 8000 человек и вынуждены уйти из Бранденбурга на территорию своих померанских владений»<sup>126</sup>. В ходе последовавших затем блестящих кампаний пруссакам удалось фактически вытеснить шведов из Германии. Попытка шведов вторгнуться в принадлежавшую Фридриху Вильгельму Пруссию завершилась очередным фиаско и бегством к стенам Риги. Однако последующий мирный договор лишил курфюрста его завоеваний, ибо в дело вмешалась Франция, не допустившая разгрома своего союзника. По мирному договору 1679 года Швеция вернула себе почти все утраченные земли.

Тем не менее Фербеллин не стал переломной точкой, но знаменовал возникновение нового расклада на континенте. Стокгольм все более зависел от Парижа в деле сохранения своей империи, а гегемония Франции, совсем недавно закреплённая Вестфальским и подтверждённая Пиренейским миром 1659 года, сталкивалась с растущим сопротивлением.

## МЕРКАНТИЛИЗМ И ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Если возникновение регулируемого капитализма XX века было в значительной мере связано со Второй мировой войной, то в XVII веке меркантилизм точно таким же образом вырастал из военной экономики своего времени. Разница лишь в том, что идеи Дж.М. Кейнса, выступившего в XX веке пророком правительственного регулирования, были сформулированы в основном до того, как подобная практика стала нормой для большинства западных стран, тогда как Жан Батист Кольбер, с именем которого связано систематическое обоснование меркантилистской политики, обобщал практический опыт, стихийно накапливавшийся на протяжении по меньшей мере поколения.

Тридцатилетняя война и гражданская война в Англии, множество более мелких международных и внутренних конфликтов создавали новые условия, с которыми должны были считаться правительства, стремящиеся добиться успеха.

Русский историк начала XX века Н. Кареев определяет меркантилизм как «торговое направление», политику, «проникнутую торговым духом,

<sup>126</sup> Ю.Ю. Ненахов. Войны и кампании Фридриха Великого. Минск: Харвест, 2002, с. 19.

ставящую на видное место интересы торговли, оказывающую особую поддержку торговой деятельности и занимающемуся ею общественному классу. В меркантилизме само государство стремится сделаться торговым, видя в торговле главный источник своего обогащения и полагая, что богатство государства или, точнее говоря, государственной казны заключается в приливе денег, звонкой монеты, золота и серебра»<sup>127</sup>.

Между тем сам термин «меркантилизм», появившийся лишь задним числом в трудах Адама Смита и других теоретиков либерализма, использовался ими как раз для того, чтобы характеризовать всевозможные ограничения, накладывавшиеся государством на торговлю, стеснение ее свободы и рыночных отношений вообще.

Отсюда, однако, вовсе не вытекает, будто Кареев не прав, характеризуя «торговое направление» западного абсолютистского государства. Дело лишь в том, что с некоторых пор поощрение и развитие торговли отнюдь не связывалось со свободным рынком. Как раз наоборот. Опыт свободной торговли XVI и начала XVII века обернулся затяжным общеевропейским кризисом и перераспределением ресурсов со всего континента в пользу узкого круга голландской купеческой олигархии. Новая торговая политика государства отличалась от старой тем, что делала ставку, во-первых, на регулирование рынков, ограничение торговых операций, которые могли вести к оттоку ресурсов из страны, а во-вторых, непосредственно связывала поддержку торговли с развитием промышленности и накоплением капитала в собственной стране. Поскольку меркантилизм положил конец стихийному процессу глобального перераспределения и накопления капитала, заменив его новым типом накопления, сконцентрированного в рамках конкретных стран, постольку он оказался и важнейшим фактором развития национальных рынков и национального государства. Упорядочивая бюрократию, принимая единые правила в сфере образования и утверждая вокруг двора и правительства единые культурные стандарты, увеличивая роль столицы по отношению к провинции и заставляя все подвластные земли ориентироваться на ее нравы, правила и стиль, меркантилизм и абсолютизм, неразрывно связанные между собой, формировали не только новый тип национального государства, но и сами нации.

Рыночная экономика — не только обмен товаров в соответствии с законом стоимости, но в первую очередь, — производство ради обмена (в отличие от функции рынка в традиционной экономике, когда обмениваются излишки продукции, производимой для собственного пользования). При отсутствии непосредственной связи между потребителями и производителями вакуум заполняется торговыми посредниками,

<sup>127</sup> Н. Кареев. Западноевропейская абсолютная монархия, с. 256.

которые, в свою очередь, (со времен Античности) *разными способами* подчиняют себе и производителя, и потребителя. Именно посредническая торговля, мастерами которой были голландцы, становится в раннее Новое время самым быстрым и эффективным способом накопления капитала. Однако такой метод эксплуатации общества ведет к деградации производства и сдерживает рост потребления, что в конечном счете подрывает производственную базу самого торгового капитала. Переход от торгового капитала к производственному становится ключевым вопросом развития, но сам капитал собственными силами осуществить этот переход не может, поскольку это означает и отказ ориентации на использование «дешевых» ресурсов, и снижение нормы прибыли.

Кризис XVII века, как и аналогичные провалы рынка в более поздние эпохи, остро поставил вопрос о роли государства в экономике. Ответом европейских правительств был протекционизм, поддержка промышленности и создание торговых монополий под покровительством королевской власти. «Система протекционизма, — признает Маркс, — была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых работников, капитализировать национальные средства производства, насильственно ускорять переход от старого способа производства к современному»<sup>128</sup>. Однако речь идет о чем-то большем, нежели просто ускорении процесса, который и так имел место. Одновременно с изменением хозяйственной политики государства происходит перелом в самом характере буржуазного развития. Благодаря вмешательству правительств происходит переориентация крупного капитала с торговли на производство, организация промышленных предприятий становится выгодным делом.

Точно так же как идеология свободной торговли, распространенная в XVI веке, демонстрирует явные черты сходства с теориями, сформулированными Адамом Смитом двумя столетиями позже, так и меркантилизм Кольбера и его последователей в значительной мере предварял идеи, разработанные в XX веке Дж.М. Кейнсом. Однако в отличие от более поздних времен раннему капитализму еще не свойственно жесткое разделение теории и практики, академического исследования и общественной деятельности. Люди, принимавшие решения, сами же обосновывали свою политическую позицию, опираясь на результаты практического опыта в гораздо большей степени, нежели на теоретические аргументы, которые, впрочем, они в случае необходимости сами же находили по ходу дела.

Хотя меркантилистская теория зародилась задолго до Кольбера, именно кризис XVII века придал актуальность идее защиты внутрен-

<sup>128</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 767.



него рынка. Разумеется, речь шла о достаточно простом видении роли государства, которая сводилась к двум задачам. Правительство должно было заботиться о том, чтобы вывоз драгоценных металлов из страны ни в коем случае не превышал их приток, иными словами, сальдо торгового баланса должно быть положительным. Отсюда следует необходимость поощрять собственную промышленность таким образом, чтобы замещать импорт и расширять экспорт. Там, где частный капитал не может или не хочет вкладывать деньги в производство, особенно — в крупное, государство само становится инвестором, обеспечивая не только инвестиции, но и сбыт продукции, внедрение новых технологий, подготовку кадров и стратегическое планирование.

Классовая природа меркантилистской идеологии была более чем ясна. «Меркантилисты, — писал Кареев, — в сущности, проповедовали солидарность интересов фиска и капиталистических предпринимателей в областях торговли и промышленности. Теоретиков этой системы совсем не занимали интересы других классов общества, то есть ни потребителей, ни промышленных рабочих, ни сельских хозяев. Все должно было приноситься в жертву коммерции и индустрии»<sup>129</sup>. По сути, абсолютная монархия способствовала «возвышению торгово-промышленных классов, и притом верхних, капиталистических, предпринимательских слоев, среди групп, занятых промышленностью и торговлей»<sup>130</sup>. Для традиционных элит, сохранявших прежний статус, но постепенно терявших реальный социально-экономический вес, важнейшим источником благосостояния становилась государственная служба — военная и бюрократическая, позволявшая им использовать свой статус как своего рода конкурентное преимущество в рамках формирующегося капитализма.

Участие традиционных элит в формировании новой системы отнюдь не сводилось, однако, к паразитическому присвоению и перераспределению результатов хозяйственного развития. Взяв на себя заботу о военно-политическом обслуживании растущей торговли и промышленности, чиновники и военные играли огромную роль в успехе или неудаче инициатив, от которых зависело накопление капитала.

Значительный стимул к развитию промышленности дали военные заказы, которые размещаются как на частных предприятиях, так и на казенных заводах, обслуживающих армию и флот. Состояние почти постоянной войны или вооруженного противостояния, характерное для XVII и начала XVIII века, создает идеальную политическую обстановку для такой хозяйственной деятельности. Если раньше связь между капиталом и государством осуществлялась главным образом посредством

<sup>129</sup> Н. Кареев. Западноевропейская абсолютная монархия, с. 259.

<sup>130</sup> Там же, с. 260.

кредита, то теперь наступает время прямого поощрения производства, причем происходит это далеко не только в форме военных заказов.

Подчеркивая роль военных расходов государства в становлении капиталистической экономики, Чарльз Тилли разумеется прав, поскольку, действуя таким образом, королевская власть не только финансировала развитие производства, но и способствовала накоплению капитала. Однако было бы неверно предполагать, будто военные потребности государств были единственным поводом для объединения усилий власти и капитала. Напротив, именно их постоянное сотрудничество во всех сферах, включая, не в последнюю очередь, формирование новой, буржуазной по своему происхождению и культуре бюрократии. Сотрудничество между централизованной монархией и буржуазией происходит на множестве уровней, начиная от формирования почтовой службы, заканчивая регулированием товарных рынков, поддержанием безопасности на дорогах и устройством роскошных увеселений двора. Сближение капитала и монархии формировало новую структуру интересов, а уже, в свою очередь, эти интересы, сталкиваясь, порождали международные конфликты, войны, противостояние государств и коалиций.

Меркантилистская политика предусматривала создание монопольных торговых компаний при активной поддержке правительства, индустриализацию, проводившуюся через субсидии промышленности и государственные инвестиции, даже создание королевских мануфактур. Высокие пошлины на импортные товары должны были обогатить казну и защитить местных производителей от конкуренции, способствуя развитию их предприятий. Замещение импорта стало важнейшим приоритетом экономической политики.

В переходе европейских держав от свободного рынка к меркантилизму тон задавала Франция, стремительно превращавшаяся в политического и экономического лидера континента. Протекционистская политика по отношению к промышленности начала проводиться здесь уже во времена Ришелье. Правительство не только размещало военные заказы и строило мануфактуры для производства оружия, но и способствовало развитию в тех отраслях, которые не имели к армии и флоту никакого отношения. «Усилия, направленные на защиту промышленности или, точнее, на ее развитие, в первую очередь способствовали росту текстильного производства», — констатирует Валлерстайн<sup>131</sup>.

Как отмечает М. Покровский, теория и практика меркантилизма «не стояла все время на одном месте, и в то время как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особенно коло-

<sup>131</sup> I. Wallerstein. *Modern World-System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750*. San Diego: Academic Press, Inc., 1980, p. 90.

ниальным, в XVII веке стали осознавать всю выгодность сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикаты перерабатывалось местное сырье, которого не было у других»<sup>132</sup>.

В середине XVII века, когда идеи меркантилизма (пусть еще не получившие этого названия) были сформулированы и последовательно воплощены в жизнь Жаном Батистом Кольбером, Франция совершает резкий экономический рывок, приобретая на рынках Европы вес, соответствующий ее политическому влиянию. «Первоначальный капитал, — констатирует Маркс, — притекает здесь в промышленность прямо из государственной казны»<sup>133</sup>.

К аналогичным методам прибегали в XVII веке и в Англии, независимо от того, кто находился в тот или иной момент у власти — Стюарты, парламент или Оливер Кромвель. Экономический курс, сложившийся при протекторате Кромвеля с небольшими колебаниями продолжал осуществляться последующими режимами. Для британской политики XVII и начала XVIII века типично сочетание свободы торговли с жестким государственным вмешательством на «стратегических» направлениях. Англичане первыми догадались подчинить логике меркантилизма финансовую деятельность. В 1664 году был учрежден Банк Англии (The Bank of England). Отныне правительство могло влиять на состояние финансов не только чеканя монету и собирая налоги, но и устанавливая банковский процент. В свою очередь, французская модель была взята на вооружение правящими кругами Пруссии, Саксонии, Австрии и даже России.

Военно-политический подъем Бранденбурга и Пруссии в конце XVII и на протяжении XVIII века тесно связан с меркантилистским курсом в области экономики. После Тридцатилетней войны, по словам французского историка, Бранденбург представлял собой сплошные руины. «Страна была разорена и обезлюдена; путешественник, проезжающий по ее дорогам мог видеть только дымящиеся развалины и нищих»<sup>134</sup>. Однако энергичные усилия правительства быстро привели к восстановлению экономики. Государственная поддержка оказывалась всем ведущим отраслям — горнодобывающей, деревообрабатывающей, производству льняных тканей. Она принимала форму контроля над импортом или централизованного распределения вырубок древесины. Существовали государственные монополии на отдельные виды производства: шелка, стекла, позднее — фарфора и, разумеется, вооружения. Некоторые предприятия и отрасли отдавались правительством в концессии частным

<sup>132</sup> М. Покровский. Русская история, т. 2, с. 93.

<sup>133</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 767.

<sup>134</sup> F. Ancillon. Tableau des révolutions du système politique de Europe, t. 4, p. 46.

предпринимателям. Производство и продажа табачных изделий жестко регулировалось с середины XVIII века<sup>135</sup>.

Эта политика, начатая еще Фридрихом Вильгельмом в XVII веке, была продолжена и усиливалась и его сыном Фридрихом Великим. Фридрих был известен как «усердный приверженец кольберовского меркантилизма»<sup>136</sup>. Основные усилия Прусской монархии в годы его правления были направлены на развитие текстильной промышленности и осушение болот. В 1747 году была установлена система валютного регулирования: никто не мог вывести из страны более 300 талеров. В 1753 году в преддверии Семилетней войны был создан Государственный банк. В 1765 году был учрежден Берлинский банк, а в 1772 году — Институт морской торговли. Строительство новых мануфактур было предметом постоянной заботы монарха не меньше, чем поддержание боеспособности знаменитой прусской армии. Собственно, боеспособность пруссаков поддерживалась не только постоянными маневрами и серьезной заботой о подготовке офицерского корпуса, но и способностью правительства поддерживать финансы в хорошем состоянии, создавая в мирное время резервные фонды на случай войны.

Когда ближе к концу века в моду стали входить либеральные идеи, Фридрих II жестко возразил своему французскому советнику, призывавшему покончить с протекционизмом, что в условиях Пруссии это преждевременно<sup>137</sup>.

В Саксонии Августом Сильным было впервые в Европе налажено производство фарфора. Мануфактура в Майсене была организована по решению короля в 1710 году, после того как секрет изготовления фарфора был открыт алхимиком Иоганном Фридрихом Беттгером (Johann Friedrich Böttger). Маркс в «Капитале», описывая мануфактурный расцвет Саксонии, вспоминает замечание Мирабо. На вопрос о причинах этого расцвета наблюдательный француз ответил, что причина лежит на поверхности: «Достаточно обратить внимание на 180 миллионов государственного долга»<sup>138</sup>.

В России первым проявлением меркантилизма стал Новоторговый устав 1667 года, где подчеркивалось, что все процветающие государства

<sup>135</sup> См.: Д. Фрейзер. Фридрих Великий. М.: АСТ, 2003, с. 216 (англ. изд.: *D. Fraser. Frederick the Great, King of Prussia*. London: Penguin, 2000). Эта очень подробная и добросовестная, но порой сбивчивая и аналитически беспомощная биография прусского короля вышла на русском языке в неудачном переводе А.Ю. Шманевского. Например, слово Dutch (голландский, голландец) на протяжении текста постоянно переводится как «датский». Типичная «школьная» ошибка!

<sup>136</sup> И. Шерр. Цит. соч., т. 2, с. 143.

<sup>137</sup> См.: там же.

<sup>138</sup> Цит. по: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 767.

развивают «свободные и прибыльные торги», но правительства «остерегают торги с великим бережением»<sup>139</sup>. Комментируя соответствующий пассаж, Покровский пишет: «Фразы о “свободе” и “вольности” нас не должны смущать — речь тут идет не о “свободе торговли” в том смысле, какой придал этому термину XVIII век, а об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко фискального характера, стеснявших обмен ради непосредственной грошовой выгоды царского, а раньше княжеского казначейства»<sup>140</sup>. Тем самым государство не только вмешивалось в рыночный процесс, организуя его, но одновременно «освобождало» рынок от феодальных пережитков, насаждая именно буржуазные принципы. Усилия первых Романовых были продолжены Петром Великим, при котором государство и само учреждало фабрики и стимулировало промышленное развитие, поддерживая частный капитал.

Экономическая политика Швеции может считаться классическим примером меркантилизма. Густав Адольф неоднократно повторял, что «процветание нации зависит от торговли и навигации»<sup>141</sup>. Однако достигался экономический подъем не за счет развития свободной торговли, а с помощью систематических усилий правительства. Этот подход сохранялся и после смерти короля в политике его наследников. Государство использовало любую возможность для пополнения казны. В середине XVII века власти стали даже вводить налоги на роскошь. Ввели налог на охотничьих собак, а потом и на парики.

«Весь XVII век может быть характеризован как время централизованного планирования, когда правительство направляет развитие экономики. Инициатива перемен шла из Стокгольма, зачастую — под влиянием иностранного примера, при поддержке иностранного персонала и капитала», — пишет американский историк<sup>142</sup>.

Даже на фоне других европейских стран, проводивших схожую политику, пример Швеции выглядит по-своему исключительным. Дело не только в том, что здешние короли восприняли идеи меркантилизма одними из первых и реализовывали их с исключительным напором, энтузиазмом и эффективностью, которые вообще были свойственны большинству представителей династии Ваза. По существу их экономическая политика была меркантилистской еще до того, как эта идеология сложилась и распространилась по континенту. Швеция была не просто еще одним европейским государством, избравшим меркантилистский курс, она была государством, которое в значительной степени само было создано меркантилистской политикой.

<sup>139</sup> Цит. по: М. Покровский. Русская история, т. 2, с. 93.

<sup>140</sup> Там же, с. 93-94.

<sup>141</sup> F.D. Scott. Op. cit., p. 192.

<sup>142</sup> Ibid., p. 188.

Меркантилизм, как и кейнсианство в XX веке, обеспечил приток государственных средств для модернизации инфраструктуры. Франция при Кольбере в очередной раз показала пример всей остальной Европе, когда инициировала широкомасштабную программу ремонта, реконструкции и строительства дорог. Эти усилия уже не прекращались в последующие эпохи, несмотря на смену правительств и изменение приоритетов политики.

Надо сказать, что положение дел с сухопутными дорогами было в Европе почти повсеместно плачевным, что и предопределяло огромное значение водных артерий — не только морских путей, но также рек и каналов. Франция, находившаяся в стороне от великих европейских рек — Рейна и Дуная, уступавшая в развитии морской торговли Англии и Голландии, нуждалась в эффективной дорожной сети, чтобы развиваться. С 1661 года Кольбер систематически занимается этим вопросом, в 1669 году по всей стране назначены специальные комиссары, отвечающие за состояние мостов и дорог. Все сухопутные пути разделены на три категории — королевские дороги (*chemins royaux*), второстепенные дороги (*chemins vicinaux*) и местные дороги (*chemins de travers*). Для каждой категории введены свои стандарты ширины, нормы обслуживания. После смерти Кольбера в 1683 году усилия правительства в этом направлении постепенно сошли на нет, тем более, что заботы правительства были сосредоточены на внешнеполитических задачах. Показательно, что значение дорог как военного фактора в полной мере еще не осознавалось. Однако начатая работа возобновилась в середине XVIII века, когда во Франции была создана специальная академия дорожных инженеров. В 1668 году на строительство и ремонт дорог решено было выделять 0,8% государственного бюджета, хотя на практике тратилось несколько меньше. В период между 1683 и 1700 годом правительство тратило на эти цели в среднем 771 100 ливров в год, в период 1715–1736 ежегодные расходы составляли уже 3 миллиона ливров, а накануне революции, в 1786 году затрачено на эти цели было уже 9 445 000 ливров<sup>143</sup>. Эти усилия дали впечатляющий результат. Если в 1660 году путь от Парижа до Бордо занимал 15 дней, то в 1789 году требовалось всего пять с половиной дней. Не было ни одного городка во Французском королевстве, куда нельзя было бы из Парижа добраться за две недели. Скорость движения по королевским дорогам достигала 20 километров в час, а выехав рано утром из Кале можно было к ночи быть в столице.

Эти впечатляющие достижения, впрочем, не сильно улучшили состояние дел с гужевым транспортом — в отличие от пассажирского сообщения перевозка грузов во Франции оставалась крайне медленной, поскольку направлялись они в обход «королевских дорог».

<sup>143</sup> См.: *T. Blanning. Op. cit., p. 7.*

Подражая Франции, испанский монарх Карл III в 1767 году велел строить по всей стране «королевские дороги». В Германии на протяжении XVIII века почти каждое государство вводило у себя правила, аналогичные французским, начиная от Бадена в 1733 году, заканчивая Саксонией в 1781 году и Баварией в 1790 году. В Британии были приняты Дорожные акты (General Highway Acts) в 1766 и 1773 годах. На поездку из Эдинбурга в Лондон, которая в 1700 году занимала 11–12 дней, в 1800-м требовалось менее трех суток. В конце XVIII века, еще до изобретения паровоза, в Англии появились государственные железные дороги на конной тяге. Линия, проложенная между Кройдоном (Croydon) и Вандсвортом (Wandsworth), была предназначена для перевозки грузов, а другая, от Сwonси (Swansea) до Мамблс (Mumbles) — для пассажирского сообщения. Именно существование этих дорог подтолкнуло инженеров к мысли о применении паровой машины на транспорте — первые экспериментальные паровозы появились в конце 1790-х годов, а в 1804 году прошло успешное испытание локомотива, способного тащить 10 тонн железной руды и 70 пассажиров со скоростью аж 8 километров в час.

Побочным эффектом развития дорожной сети оказалось распространение разбоя. «Чем больше на дорогах появлялось путешественников, — иронично замечает английский историк Тим Блэннинг (Tim Blanning), — тем больше появлялось и разбойников, которые хотели на них поживиться»<sup>144</sup>. Не удивительно, что развитие транспорта шло рука об руку с усилиями по поддержанию порядка и безопасности. Выяснилось, что от правительств требуется не только строить дороги, но и охранять их.

Странным образом в списке правительств, озабоченных улучшением внутренних коммуникаций, отсутствует Пруссия, что в очередной раз свидетельствует об отсутствии на тот момент понимания военного значения дорожной сети. В Европе ходили слухи, будто Фридрих Великий считал плохие дороги выгодными для экономики: «Чтобы иностранные купцы ехали дольше по плохим дорогам и, таким образом, оставляли в стране больше денег»<sup>145</sup>. Правда это или нет, но прусские дороги были в XVIII веке предметом сетований и издевательств большинства путешественников, включая русских.

С переходом от свободного рынка к политике поощрения промышленности многие регионы Европы переживают, по выражению Чарльза Тилли, «протоиндустриализацию»<sup>146</sup>. Это относилось не только к таким центрам текстильного производства, как Лион, близким к французской границе городам Северной Италии, быстро растущим городам Англии и

<sup>144</sup> Ibid., p. 12.

<sup>145</sup> И. Шерр. Цит. соч., т. 2, с. 144.

<sup>146</sup> Ч. Тилли. Цит. соч., с. 86.

нижней Шотландии, но и ко многим городам Московского царства (например, Туле). Правда в России по инициативе голландских предпринимателей правительство догадывается использовать крепостной труд в промышленности, тем самым в очередной раз демонстрируя принципиальное различие между тем, как развивается капитализм в «центре» и на «периферии». В Западной Европе, напротив, рост обрабатывающего производства на основе крупных мануфактур, использующих наемный труд, наблюдается повсеместно. Городская социальная структура начинает приобретать отчетливо капиталистические черты, разделяя основную массу населения на наемных рабочих и собственников средств производства.

Меркантилизм не препятствовал развитию торговли, но направлял ее потоки внутрь формировавшихся империй. Если в 1669 году на колонии приходилось 14,4% английского импорта, то в 1773 году их доля выросла до 36,5%<sup>147</sup>. Ограничивая вывоз и ввоз товаров, политика государства одновременно способствовала консолидации внутренних рынков и обмену между ними. Итогом был впечатляющий экономический рост как в «старой стране», так и в колониях. Бурное развитие трансатлантической экономики можно проследить по масштабам торговли. Если в конце 1720-х годов экспорт британских товаров в Северную Америку составлял в среднем 524 тысячи фунтов в год, то в 40-е годы речь шла уже о миллионе фунтов. Соответственно экспорт в Вест-Индию вырос с 473 тысяч до 732 тысяч фунтов в год. Но даже на этом фоне выделяется резкий рост поставок товаров в Индию — с 112 тысяч до 522 фунтов<sup>148</sup>.

После того как меркантилизм восстановил европейские экономики, создав долгосрочные предпосылки роста, начинается и новый подъем финансового капитала, который, наряду с кредитованием государства и частных предприятий, пускается во всевозможные спекуляции — благо накопленный в прежнее время объем товарной и денежной массы это позволяет. В начале XVIII века бурный рост финансовых спекуляций привел к стремительному повышению биржевых курсов, за которым последовал столь же неизбежный крах.

Окончание войны за Испанское наследство сопровождалось бурным ростом стоимости акций на биржах. Этот рост создал благоприятную обстановку для финансовых спекуляций, которые закончились надуванием биржевых «пузырей» как в Англии, так и во Франции. В обеих странах это закончилось крахом и скандалами. В Англии эта финансовая катастрофа вошла в историю под именем «Пузырь Компании Южных морей» («South Sea Bubble»), а во Франции ее связывают с «аферой Джона Ло» (John Law).

<sup>147</sup> См.: *M. Radiker. Op. cit, p. 303.*

<sup>148</sup> См.: *I. James. The Rise and Fall of the British Empire. London: Abacus, 2005. p. 66.*



В Голландии цена акции VOC выросла с 500 до 1200 гульденов, WIC — с 40 до 400 гульденов. Помещение биржи в Амстердаме «было слишком мало, чтобы вместить всех спекулянтов»<sup>149</sup>. Со столь же головокружительной быстротой росла стоимость акций британской Ост-Индской компании. Низшей точкой для котировок был 1698 год, когда из-за попытки учредить конкурирующую компанию цена акций упала со 100 до 39 фунтов. Но затем начался устойчивый рост. Акции снова котировались по 100 фунтов, а к 1717 году уже по 200 фунтов. В следующие три года биржевых игроков охватила настоящая эйфория. «Цена акции Ост-Индской компании в этот период увеличилась с 200 фунтов в конце 1719 года до 420 фунтов в июне 1720 года, но уже следующим летом рынок обвалился, и цена акции упала до 150 фунтов»<sup>150</sup>.

Оба скандала имели политический аспект. Компания Южных морей (South Sea Company) создавалась при поддержке партии Тори, которые пытались сделать ее противовесом Ост-Индской компании, где доминировали Виги. Правда, стремительный рост ее акций автоматически привел и к повышению котировок акций Ост-Индской компании, да и других торговых предприятий, но на какой-то момент Тори и связанные с ними придворные круги могли считать, что добились своего — их состояния быстро росли, а компания привлекала в качестве акционеров знатных и влиятельных людей со всей Европы. Во Франции шотландский экономист Джон Ло и основанные им компании сумели добиться успеха благодаря тому, что получали поддержку регента Филиппа Орлеанского (Philippe d'Orléans). Созданный Джоном Ло в 1716 году Генеральный частный банк (Banque Générale Privée) получил от властей право эмиссии бумажных денег и вскоре, не перестав являться, по сути, частной акционерной компанией, обрел статус Королевского банка (Banque Royale). Однако деятельность Ло не ограничилась эмиссией бумажных денег, им была приобретена и реорганизована Компания Миссисипи, которая превратилась в акционерную Компанию Запада (Compagnie d'Occident). Затем произошло ее слияние с Компанией Восточных Индий (Compagnie des Indes Orientales), Китайской компанией (Compagnie de Chine) и несколькими другими торговыми предприятиями в Объединенную Индийскую компанию (Compagnie Perpetuelle des Indes). Ее акции стремительно дорожали. Формирование биржевой пирамиды подпитывалось эмиссией бумажных денег. Первоначальный успех этой деятельности заставляет одного из позднейших биографов Джона Ло говорить, что его герой «вел себя вполне как человек XX века»<sup>151</sup>.

<sup>149</sup> R. Roegholt. Op. cit., p. 79.

<sup>150</sup> N. Robins. Op. cit., p. 25.

<sup>151</sup> A.E. Murphy. John Law. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 1.

Летом 1720 года наступил крах. В Англии лопнула Компания Южных морей. Ее оставшееся имущество и финансовые обязательства были распределены между Банком Англии и Ост-Индской компанией, акции которой тоже изрядно упали в цене. Во Франции обесценивание бумажных денег сопровождалось падением биржевых курсов и дискредитацией правительства. Акции превратились в обычные бумажки.

Как бы абсурдны ни были финансовые авантюры начала XVIII века, они опирались на реальную основу — экономический рост, повсеместно возобновившийся в эту эпоху. Однако новая волна экономической экспансии сопровождалась для европейской миросистемы радикальными переменами. Изменилось соотношение сил между державами, изменились условия, на основании которых достигали своих преимуществ лидеры. Торговый капитализм в странах европейского центра постепенно уступал место промышленному.

Голландия оставалась — по вполне понятным причинам — единственной страной, последовательно отстаивавшей принципы свободной торговли на протяжении XVII столетия, что и стало одним из факторов, предопределивших потерю ею господствующего положения на рынках континента. Голландская промышленность, особенно текстильная, лишенная активной государственной поддержки во второй половине XVII века постепенно приходила в упадок. Однако укрепление государства было общей тенденцией XVII века, которая не обошла стороной даже Голландию. Конфликты между региональными элитами и сторонниками более сильной центральной власти завершились в пользу последних. Противостояние статхаудера (штатгальтера) Нидерландов Морица Нассауского, стремившегося к укреплению центральной власти, с великим пенсионарием провинции Голландия Йоханом ван Олденбаренвелтом, отстаивавшим автономию регионов, закончилась торжеством Морица. Олденбаренвелт был арестован, обвинен в государственной измене и казнен 13 мая 1619 года. Впоследствии борьба Оранского дома и его противников из числа купеческой олигархии неоднократно вспыхивала вновь, приводя к перераспределению власти в Республике, а в 1651 году после смерти принца Вильгельма II, должность статхаудера была объявлена «незанятой». Представителям Оранского дома, ранее по наследству получавшим этот пост, было запрещено занимать его. Однако торжество купеческой олигархии не привело к отказу от политики централизации государства, проводившейся домом Оранских. Были лишь смещены акценты. Вместо сухопутной армии, на которую опирались оранжисты, укреплялся военный флот, внешняя экспансия более агрессивно проводилась в колониях, тогда как планы присоединения к республике Южных Нидерландов, оставшихся под властью Габсбургов, были отложены.

Как отмечает российский историк, положение торговой олигархии и ее интересы на протяжении XVII века сильно изменились. «Баснословно разбогатевшая в первой половине XVII века торговая буржуазия стала переводить свои капиталы из торгово-предпринимательской и финансовой сфер в землевладение, приобретала ренты и займы, занимала доходные должности в государственном аппарате, штатах, городских муниципалитетах и консисториях. Образовалась своего рода политическая олигархия, постепенно превращавшаяся в замкнутое общество, куда деловая буржуазия по своему желанию проникнуть не могла»<sup>152</sup>. В провинции Голландия, самой богатой в Нидерландской республике, стремление к автономии сменилось последовательным курсом на использование центрального правительственного аппарата в своих интересах, на укрепление своего господствующего положения в Республике.

Несмотря на то что Соединенные провинции несомненно придерживались гораздо более рыночного подхода, чем Англия, не говоря уже о Франции, нет оснований представлять их в виде слабого и не вмешивающегося в экономические процессы государства. Эффективность голландской налоговой системы была беспрецедентна в тогдашней Европе, позволяя правительству мобилизовать для своих целей огромные суммы. Великий пенсионарий Голландии Ян де Витт (Johan de Witt) неоднократно жаловался на скупость своих соотечественников, которые не готовы были выложить из кармана денег даже «для собственной обороны»<sup>153</sup>. Однако находившаяся в его руках налоговая система показала свою высокую эффективность. Историки констатируют, что, «хотя население Голландской республики было вдвое меньше населения Англии, поступления в бюджет были больше — благодаря тому, что голландский налогоплательщик готов был отдавать государству в три раза больше денег, чем английский или французский»<sup>154</sup>. Отчасти это объясняется более высоким уровнем доходов, но также и политической дисциплиной, основанной на гораздо более прочной связи между гражданами и государством. Голландская буржуазия (включая мелких предпринимателей) готова была делиться с государством, сознавая свое с ним единство.

Меркантилистская политика защиты национального рынка была естественным результатом того, что на практике свобода торговли оборачивалась голландской монополией. Как замечает Тим Блэннинг, ведущие европейские державы вынуждены были прибегнуть к силе оружия, чтобы подорвать позиции голландской торговли. Это отно-

<sup>152</sup> Г.А. Шатохина-Мордвинцева. Цит. соч., с. 183.

<sup>153</sup> Цит. по.: А.Т. Мэхэн. Влияние морской силы на историю. 1660–1783, Т. 1. М. — СПб.: АСТ — Terra Fantastica, 2002, с. 63.

<sup>154</sup> T. Blanning. Op. cit., p. 102.

сится не только к Англо-голландским войнам, но и к войнам, которые вела Франция<sup>155</sup>.

В начале XVII века, контролируя перемещение товаров между странами, голландские купцы получали своего рода монопольную ренту, присваивая себе значительную часть прибыли и перераспределяя ресурсы всех государств в свою пользу. Потому вполне закономерно, что переход от свободной торговли к меркантилизму означал и начало конца голландской коммерческой гегемонии. Как заметил Кольбер, голландская торговля породила «одновременно их процветание и нашу бедность, без всякого сомнения укрепляя их могущество и ослабляя наше королевство»<sup>156</sup>. Подобное положение дел толкало правительства одно за другим к принятию протекционистских мер. Английские Навигационные акты, спровоцировавшие войны с Голландией, были лишь одним из проявлений общей тенденции. Большинство государств, следуя примеру Лондона, старалось ограничить голландскую торговлю, добиваясь, чтобы товары вывозились от них на их собственных судах.

Английские Навигационные акты представляли собой уникальный случай применения меркантилизма к морской торговле и продержались до середины XIX века, когда были, наконец, отменены в связи с возрождением идей свободного рынка на новом этапе развития капитализма. Однако эти законы остались бы пустым звуком, если бы за ними не стояла готовность государства навязывать их исполнение силой.

Сменяющие друг друга политические режимы в Англии были едины в своем стремлении покончить с торговой монополией голландцев, и они находили полную поддержку со стороны Франции. Совместные усилия двух крупнейших европейских держав — военные, дипломатические и экономические — не могли не дать результата. Соединенные провинции так же быстро утратили в конце XVII века лидирующие позиции, как в начале века приобрели их.

Упадок Голландии, однако, вел не только к превращению Англии в нового торгового гегемона, но и к укреплению Франции, как страны, претендовавшей на политическую гегемонию в масштабах Европы. Англо-французский конфликт становился неизбежным следствием победы двух поднимающихся военно-промышленных держав над торговой Голландией.

## ОТ ДИНАСТИИ К НАЦИИ

Политическим итогом меркантилизма становится появление национального государства со всеми вытекающими отсюда последствиями

<sup>155</sup> См.: Ibid.

<sup>156</sup> Цит. по: Ibid., p. 101.

вплоть до поэзии Пушкина и музыки Вагнера. Соответственно страны, лидировавшие в политическом и экономическом развитии — Англия, Франция и Голландия, стали своего рода образцом для остальной Европы, в то время как Австрия Габсбургов или Пруссия Гогенцоллернов выглядят на таком фоне скорее исключением, а Российская империя Романовых и вовсе парадоксом (историки до сих пор спорят, не стала ли имперская экспансия препятствием для развития национального государства в России). Между тем общие тенденции, свойственные передовым западным странам, четко проявлялись и в династических империях, несмотря на разноплеменность и разноязыкость их населения.

Первыми «национальными» государствами в современном смысле стали именно империи, прежде всего торговые империи, развивавшиеся за счет заморской экспансии XVI–XVIII веков. Англия и Франция были в XVIII и XIX веках ничуть не менее имперскими державами, чем Австрия или Россия.

Традиционная историография склонна разделять формирование национального государства в ключевых европейских странах (Испании и Португалии, Англии и Франции) и их колониальную экспансию. Обретение империи воспринимается как нечто значимое, но принципиально внешнее по отношению к нации, становление которой авторы пытаются отодвинуть по возможности на более ранние сроки, отыскивая корни и решающие этапы ее возникновения в событиях Средневековья (та же Столетняя война, Реконкиста, Реформация и т.д.). В действительности до начала Нового времени мы имеем дело в лучшем случае лишь с зарождающимися, потенциальными нациями, многие из которых так и не реализовали свой потенциал. «Европейское национальное государство, — пишет политолог Алла Глинчикова, — просто не могло по-настоящему оформиться и получить свою экономическую и политическую завершенность до и вне процесса колонизации. И европейские национальные государства с их представительной демократией, и европейский тип рыночных отношений с необходимым уровнем социальной равномерности есть продукт колонизации, причем колонизации совершенно особого типа, когда метрополия и колонии были разделены географически и политически. Именно это и создавало иллюзию и возможность абстракции национального государства-метрополии в качестве самостоятельной и изначальной “клеточки” эпохи модерна»<sup>157</sup>. Схожую мысль высказывает американский историк Генри Кеймен применительно к Испании. По его словам, до начала колониального периода Испании «как таковой не существовало, она не сформировалась ни политически, ни экономически, ее народы не обладали ресурсами для экспансии. Со-

<sup>157</sup> А. Глинчикова. Раскол или срыв «русской Реформации». М.: Культурная революция, 2008, с. 43–44.

трудничество же народов на полуострове в процессе строительства империи сплотило их и усилило, хотя и весьма несовершенным образом, их полуостровное единство»<sup>158</sup>.

В этом смысле Россия представляет собой прямую противоположность Западу, ее, по мнению Глинчиковой, «следует сопоставлять не с Англией или Францией, а с Англией плюс ее колонии, с Францией плюс ее колонии». Это особый тип колониального развития, «при котором колонии и метрополии не только не были разделены географически, но оказались сращены на всех уровнях, включая политический»<sup>159</sup>.

В европейской абсолютной монархии, где не было граждан, а были подданные, страна и народ отождествлялись с короной, которая, со своей стороны, фактически брала на себя ответственность за превращение разнородных территорий и масс в единое просвещенное государство, соответствующее представлениям того века о прогрессе и гуманности. Формирование наций, начатое в рамках абсолютизма, было продолжено уже буржуазными режимами. Представительные органы, созданные в ходе революций, имели еще больше оснований для того, чтобы говорить от имени нации «в целом», чем королевская власть. И если под национальным государством понимать не только общность языка, религии и культуры, но в первую очередь наличие определенной системы политических и общественных институтов, то следует признать, что державы Центральной Европы двигались в том же направлении, что и лидеры Запада.

Раскол Германии на протестантскую и католическую часть усугубил раздробленность страны. И все же здесь государственная централизация происходила так же, как и в Швеции или во Франции. Для своего времени Саксония, Пруссия, Бавария, Австрия были вполне современными государствами с развитой бюрократической и военной организацией, собственной системой образования и политической традицией.

Проблема состояла не в ограниченности территории или соперничестве нескольких государств на общем культурном пространстве. Там, где сохранилось, пусть и в видоизмененной форме, государство династическое, решение новых задач оказывалось затруднено двусмысленностью самого политического статуса государства, о чем красноречиво свидетельствует история Австро-Венгрии.

В основе правления Габсбургов, как в Испании, так и в Австрии, лежало, по выражению испанского историка, «династическое единство (el sistema de unidad dinastica), сочетавшееся с широкой региональной автономией»<sup>160</sup>. Несмотря на систематические и сознательные усилия

<sup>158</sup> Г. Кеймен. Цит. соч., с. 10 (англ. изд.: *H. Kamen. Op. cit.*, p. xxv).

<sup>159</sup> А. Глинчикова. Цит. соч., с. 44.

<sup>160</sup> *Historia de España y América*. Dirigida por J. Vicens-Vives. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1961, t. III, p. 198.

Габсбургов, стремившихся превратить свою лоскутную империю в некое подобие современной нации, несмотря на централизаторские реформы Иосифа II и децентрализаторские компромиссы Франца-Иосифа, национально-государственная интеграция Центральной Европы не состоялась, к несчастью для этого региона, пережившего на протяжении XX века череду кровавых трагедий.

В XVI веке Габсбургам удалось наследственно закрепить за собой императорскую корону, сведя избирательные права курфюрстов к чистой формальности, но зато резко ослабели связи курфюрстов с империей — их владения начали превращаться в самостоятельные государства. Австрийский герцог, будучи в действительности правителем огромной империи, номинально таковым не был. Зато он считался императором Германии, над которой в действительности у него не было никакой власти.

После того как успешные войны с Османской Турцией позволили Габсбургам не только овладеть всей территорией Венгрии, но и выйти на Балканы, геополитические интересы Вены начали смещаться в этом направлении, зачастую оказываясь в противоречии с ее германской политикой.

В 1526 году в битве при Мохаче (Mohácsi csata) турецкая армия разгромила венгров, после чего венгерский король признал себя вассалом турецкого султана. В 1541 году турки заняли Буду и Пешт, а вошедшие в состав Османской империи венгерские территории были превращены в Будинский пашалык (paşalık). Часть земель Венгрии оказалась под властью австрийских Габсбургов и позднее превратилась в плацдарм для контрнаступления против турок. По договору 1547 года к Габсбургам отошли земли со смешанным венгерско-славянским населением. После поражения, нанесенного туркам под Веной в 1683 году польским королем Яном Собеским (Jan Sobieski), началась австро-венгерская реконкиста. В 1687 году австрийские армии вытеснили османов из Венгрии и Трансильвании. В 1697 году Евгений Савойский одержал блистательную победу над турками при Зенте (Zenta). Освобождение венгерских земель продолжалось вплоть до 1718 года, когда австрийские войска заняли самые южные районы страны. В том же 1687 году на сейме в Пожони (Pozsony), нынешней Братиславе, представители сословий признали наследственные права на венгерскую корону за мужским потомством Габсбургов. Для венгерских протестантов, однако, освобождение обернулось притеснениями и резней. Результатом такой политики стало восстание Ференца Ракоци (Ferenc Rákóczi) в 1703–1711 годах. В конечном счете протестантам была дана амнистия и дарована религиозная свобода. Правительственные должности в Венгрии должны были замещаться венграми.

В ходе войны за Испанское наследство к Австрии отошла территория Бельгии — тогдашних Испанских Нидерландов, а войны с турка-

ми отодвинули южную границу империи к Дунаю. Под властью Вены оказались обширные владения по всей Европе, от Южных Нидерландов до Северной Сербии, от Брюсселя до Белграда. Но это были разнородные территории, не интегрированные в единое целое. Власть династии оставалась «по сути дела единственным фактором, объединявшим подвластные Габсбургам народы»<sup>161</sup>. Подобное положение дел было хорошо понятно и самому венскому двору, который предпринимал отчаянные попытки консолидировать находившееся под его политическим контролем пространство. Эта задача становится центральной для сменявших друг друга императоров и их правительств на протяжении всего XVIII столетия, другое дело, что решалась она по-разному, в зависимости от того, кто находился у власти в Вене.

Только в середине XVIII века, когда династия австрийских Габсбургов прервалась по мужской линии, их «лоскутная империя» начала превращаться в полноценное государство, пусть и не имеющее «национальной» идентичности, но все же вполне устойчивое.

Первым шагом на пути имперской консолидации стала Прагматическая санкция 1713 года. Этим документом не имевший сыновей император Карл VI провозглашал неделимость своих династических владений и разрешал переход власти в Австрии по женской линии. «Всеобщее признание Прагматической санкции, — констатирует белорусский историк Я. Шимов, — стало главной целью австрийской политики при Карле VI»<sup>162</sup>.

В 1725 году Прагматическую санкцию признала Испания — в обмен на отказ Австрийского дома от претензий на ее престол, который был занят Бурбонами по итогам войны за Испанское наследство. В 1726 году документ признала Россия, а в 1728 году — Пруссия. В 1731–1732 годах к ним присоединились Лондон и Гаага, а вскоре затем Прагматическую хартию поддержал рейхстаг Империи. И лишь в 1738 году было получено признание Франции. Казалось, цель была достигнута. Однако два влиятельных германских государства — Бавария и Саксония так и не согласились с Прагматической санкцией. Поскольку у Баварского дома имелись права на австрийский престол, его отказ принять новый порядок престолонаследия в Вене имел далеко идущие последствия. Несмотря на все усилия австрийской дипломатии, после смерти Карла VI разразился международный кризис, переросший в 1740–1748 годах в войну за Австрийское наследство.

Эту войну Австрия выиграла несмотря на территориальные потери. Решающую роль в исходе дела сыграла Венгрия. Права австрийской принцессы Марии Терезии на престол мадьярских королей являлись бо-

<sup>161</sup> Я. Шимов. Австро-Венгерская империя. М.: ЭКСМО — Алгоритм, 2003, с. 123.

<sup>162</sup> Там же, с. 125.



Габсбургов, стремившихся превратить свою лоскутную империю в некое подобие современной нации, несмотря на централизаторские реформы Иосифа II и децентрализаторские компромиссы Франца-Иосифа, национально-государственная интеграция Центральной Европы не состоялась, к несчастью для этого региона, пережившего на протяжении XX века череду кровавых трагедий.

В XVI веке Габсбургам удалось наследственно закрепить за собой императорскую корону, сведя избирательные права курфюрстов к чистой формальности, но зато резко ослабели связи курфюрстов с империей — их владения начали превращаться в самостоятельные государства. Австрийский герцог, будучи в действительности правителем огромной империи, номинально таковым не был. Зато он считался императором Германии, над которой в действительности у него не было никакой власти.

После того как успешные войны с Османской Турцией позволили Габсбургам не только овладеть всей территорией Венгрии, но и выйти на Балканы, геополитические интересы Вены начали смещаться в этом направлении, зачастую оказываясь в противоречии с ее германской политикой.

В 1526 году в битве при Мохаче (Mohácsi csata) турецкая армия разгромила венгров, после чего венгерский король признал себя вассалом турецкого султана. В 1541 году турки заняли Буду и Пешт, а вошедшие в состав Османской империи венгерские территории были превращены в Будинский пашалык (paşalık). Часть земель Венгрии оказалась под властью австрийских Габсбургов и позднее превратилась в плацдарм для контрнаступления против турок. По договору 1547 года к Габсбургам отошли земли со смешанным венгерско-славянским населением. После поражения, нанесенного туркам под Веной в 1683 году польским королем Яном Собеским (Jan Sobieski), началась австро-венгерская реконкиста. В 1687 году австрийские армии вытеснили османов из Венгрии и Трансильвании. В 1697 году Евгений Савойский одержал блистательную победу над турками при Зенте (Zenta). Освобождение венгерских земель продолжалось вплоть до 1718 года, когда австрийские войска заняли самые южные районы страны. В том же 1687 году на сейме в Позони (Pozsony), нынешней Братиславе, представители сословий признали наследственные права на венгерскую корону за мужским потомством Габсбургов. Для венгерских протестантов, однако, освобождение обернулось притеснениями и резней. Результатом такой политики стало восстание Ференца Ракоци (Ferenc Rákóczi) в 1703–1711 годах. В конечном счете протестантам была дана амнистия и дарована религиозная свобода. Правительственные должности в Венгрии должны были замещаться венграми.

В ходе войны за Испанское наследство к Австрии отошла территория Бельгии — тогдашних Испанских Нидерландов, а войны с турка-

ми отодвинули южную границу империи к Дунаю. Под властью Вены оказались обширные владения по всей Европе, от Южных Нидерландов до Северной Сербии, от Брюсселя до Белграда. Но это были разнородные территории, не интегрированные в единое целое. Власть династии оставалась «по сути дела единственным фактором, объединявшим подвластные Габсбургам народы»<sup>161</sup>. Подобное положение дел было хорошо понятно и самому венскому двору, который предпринимал отчаянные попытки консолидировать находившееся под его политическим контролем пространство. Эта задача становится центральной для сменявших друг друга императоров и их правительств на протяжении всего XVIII столетия, другое дело, что решалась она по-разному, в зависимости от того, кто находился у власти в Вене.

Только в середине XVIII века, когда династия австрийских Габсбургов прервалась по мужской линии, их «лоскутная империя» начала превращаться в полноценное государство, пусть и не имеющее «национальной» идентичности, но все же вполне устойчивое.

Первым шагом на пути имперской консолидации стала Прагматическая санкция 1713 года. Этим документом не имевший сыновей император Карл VI провозглашал неделимость своих династических владений и разрешал переход власти в Австрии по женской линии. «Всеобщее признание Прагматической санкции, — констатирует белорусский историк Я. Шимов, — стало главной целью австрийской политики при Карле VI»<sup>162</sup>.

В 1725 году Прагматическую санкцию признала Испания — в обмен на отказ Австрийского дома от претензий на ее престол, который был занят Бурбонами по итогам войны за Испанское наследство. В 1726 году документ признала Россия, а в 1728 году — Пруссия. В 1731–1732 годах к ним присоединились Лондон и Гаага, а вскоре затем Прагматическую хартию поддержал рейхстаг Империи. И лишь в 1738 году было получено признание Франции. Казалось, цель была достигнута. Однако два влиятельных германских государства — Бавария и Саксония так и не согласились с Прагматической санкцией. Поскольку у Баварского дома имелись права на австрийский престол, его отказ принять новый порядок престолонаследия в Вене имел далеко идущие последствия. Несмотря на все усилия австрийской дипломатии, после смерти Карла VI разразился международный кризис, переросший в 1740–1748 годах в войну за Австрийское наследство.

Эту войну Австрия выиграла несмотря на территориальные потери. Решающую роль в исходе дела сыграла Венгрия. Права австрийской принцессы Марии Терезии на престол мадьярских королей являлись бо-

<sup>161</sup> Я. Шимов. Австро-Венгерская империя. М.: ЭКСМО — Алгоритм, 2003, с. 123.

<sup>162</sup> Там же, с. 125.

лее чем спорными, ибо корона Святого Стефана закреплена была только за мужским потомством династии. Но признав Марию Терезию своей королевой, венгерские сословия фактически подтвердили исторический выбор в пользу общей Австро-Венгерской империи, сделанный за 200 лет до того.

Несмотря на то что победить и сохранить свою державу Мария Терезия смогла исключительно благодаря лояльности венгров, ее правительство проводило политику административной централизации и распространения немецкого языка. В годы правления Марии Терезии началась унификация законов и правил на всей территории, подвластной Габсбургам. Особое внимание уделялось преобразованию бюрократии. Реформы сделали австрийский государственный аппарат «мощным и эффективным, превратив его в настоящую опору монархии, каковой он оставался до самого конца правления Габсбургов»<sup>163</sup>. Однако реформаторская практика Марии Терезии сочеталась с идеологическим консерватизмом, что решительно отличало такой подход от политики ее сына Иосифа II, вдохновлявшегося идеями Просвещения.

Реформа габсбургской бюрократии, проведенная Иосифом II, дала историкам основания говорить, что при нем австрийское административное устройство «могло смело поспорить даже с прусским, считавшимся тогда образцовым», а один из современников жаловался, что император «хочет буквально превратить свое государство в машину, душу которой составляет его единоличная воля»<sup>164</sup>. Естественно, просветительский пафос Иосифа II отнюдь не предусматривал установления в империи Габсбургов деспотии или самодержавия. Скорее речь шла о введении повсюду единой системы гуманных и ясных правил, точное следование которым исключало бы как неповиновение властям, так и произвол правительства. Иными словами, вольтеровский идеал просвещенного абсолютизма осуществлялся Иосифом с максимальной полнотой, искренностью и последовательностью. И если результат существенно разошелся с идеалом, то винить в этом надо не австрийского правителя, а саму вдохновлявшую его теорию.

К началу XVIII века не только Англия, но и все основные державы Европы уже не являются в чистом виде феодальными монархиями, представляя собой результат классового компромисса между традиционными элитами и растущей буржуазией, причем буржуазия в возрастающей степени оказывается способна диктовать повестку дня, особенно в международной политике, логика которой тесно связана с общими условия-

<sup>163</sup> Там же, с. 169.

<sup>164</sup> Цит. по: *Н. Кареев*. Западноевропейская абсолютная монархия, с. 173.

ми развития миросистемы<sup>165</sup>. Идеология «просвещенного абсолютизма» вполне адекватно отражает потребности и ожидания, которые поднимающийся класс связывает с государственной властью.

Многие историки позднее считали идеи просвещенного абсолютизма плодом наивности, утопического мышления или политической умеренности отстаивавших их французских философов XVIII века, а соответствующие высказывания прусского короля Фридриха II или русской императрицы Екатерины II — обычной демагогией. Оба монарха действительно были не чужды демагогии, но отсюда отнюдь не следует, будто они совершенно не принимали всерьез собственные высказывания. Задним числом, разумеется, крепостнические порядки, царившие в России и в Восточной Пруссии, воспринимаются как находящиеся в явном противоречии с просветительскими идеалами. Но если английское и французское Просвещение уживалось с рабством негров в Америке, то почему не с крепостным правом в России? Просвещение отнюдь не тождественно гуманности.

Французские мыслители Вольтер, Дидро, Даламбер и другие авторы их знаменитой «Энциклопедии» были не такими уж наивными и простодушными людьми. За утопией просвещенного абсолютизма, как и за многими другими политическими утопиями, вырисовывается вполне реалистическое описание норм и принципов государственного строительства, которые устраивают большую часть буржуазии на момент написания этих текстов. И даже если мы можем объяснять просветительские высказывания Фридриха II и Екатерины II как циничную пропаганду, то этого никак нельзя сказать про Иосифа II, в искренности которого никто не сомневался.

Просвещенный абсолютизм представлял собой не только идеологию, но и реальную политическую практику, которая в условиях Европы XVIII века воспринималась как вполне убедительная альтернатива

<sup>165</sup> Алексис де Токвиль был одним из первых, кто задним числом разглядел эволюцию Старого режима в направлении нового буржуазного порядка (см.: *A. de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L'Ancien Régime et la Révolution.* Paris, Bouquins. Éditions Robert Laffont, 1986 (рус. изд.: А. де Токвиль. Старый порядок и революция; пер. с фр. М. Федоровой. М.: Моск. философский фонд, 1997). Придя к выводу, что условия для перемен созрели по всей Европе, де Токвиль, однако, сделал из своих наблюдений вывод, что перемены, связываемые историками с Великой французской революцией, могли бы наступить и другим способом, в рамках того же Старого режима. Однако именно осознанная всеми — включая сами традиционные элиты — потребность и необходимость перемен отнюдь не равнозначна возможности их эффективной реализации в рамках существовавшей политической системы. Напротив, в сложившейся ситуации абсолютистский режим своими усилиями и успехами на этом пути объективно готовил революцию.

«демократической» власти олигархии, господствовавшей в Голландии и Англии. Проблема состояла не в том, что монархам и чиновникам недоставало просвещения, а в том, что они были неэффективны, не могли оправдать надежд буржуазии, справиться с задачами капиталистического развития, которые изо всех сил пытались решить. И если во Франции, наиболее развитой из стран континента, это противоречие обозначилось с наибольшей остротой, то в России, Австрии или Пруссии развивавшийся там торговый капитал даже к концу XVIII века вполне удовлетворялся режимом просвещенного абсолютизма, не претендуя ни на что большее.

Успехи и неудачи Иосифа II лучше, чем любые общие теории, демонстрируют практические возможности политики просвещенного абсолютизма и границы этих возможностей. Иосиф II пытался консолидировать империю политически, экономически и культурно. В 1781 году Иосиф II издал указ о свободе печати, а вскоре после этого — о веротерпимости. На место традиционного для Габсбургов жесткого курса на защиту католицизма пришел принцип религиозного равноправия, распространившегося не только на протестантов и православных, но даже на евреев. Последние, правда, обретая гражданское равноправие, подвергались стремительной германизации — отчасти стихийной, а отчасти и сознательно осуществлявшейся правительством. В Чехии и других славянских землях империи евреи начинали становиться в культурном плане частью немецкого меньшинства. Что, в свою очередь, вполне соответствовало централизаторским устремлениям Вены.

Стремясь поддержать национальную немецкую культуру, Иосиф II начал наступление на итальянскую оперу в Вене. Создание новой немецкой оперы было поручено В.А. Моцарту, который по поручению императора написал «Похищение из сераля». Таким образом великому композитору и правителю-реформатору общими усилиями удалось «обратить вкус публики от итальянской опер к отечественным»<sup>166</sup>. В 1776 году венский Бургтеатр (Burgtheater) был передан немецкой драматической труппе, а придворной итальянской труппе разрешалось давать только 2 спектакля в неделю. В декабре 1777 года начала работать немецкая оперная труппа, а итальянская была в 1779 окончательно распущена. В этом плане Иосиф II резко отличался от Фридриха Великого, который «терпеть не мог немецких букв»<sup>167</sup>. Многотомное собрание сочинений Фридриха написано исключительно по-французски, а немногие деловые письма, которые он вынужден был диктовать по-немецки, полны ошибок и с трудом поддаются пониманию. Даже в конце его жизни, когда немецкая

<sup>166</sup> Моцарт. Истории и анекдоты, рассказанные его современниками. М.: Классика-XXI, 2007, с. 37.

<sup>167</sup> И.В. фон Архенгольц. История Семилетней войны. М.: АСТ, 2001, с. 366.

литература вступала в свою классическую пору, Фридрих продолжал убежденно доказывать окружающим, что на варварском немецком языке ничего достойного написано быть не может.

Австрийские монастыри подверглись при Иосифе II гонениям. Этот просвещенный правитель считал монахов «самыми вредными и бесполезными подданными страны»<sup>168</sup>. За время его царствования число монастырей сократилось с 2000 до 700. Это, однако, отнюдь не означало разрыва Габсбургов с католической церковью и культурной традицией. Задача Иосифа состояла не в уничтожении австрийского католицизма, а в его модернизации.

Одновременно правительство предпринимало усилия для того, чтобы убрать многочисленные таможенные барьеры, разделявшие различные части его империи. В 1775 году внутренние таможи были ликвидированы в Австрии и Богемии, однако в Венгрии этого сделать не удалось. Тим Блэннинг замечает, что сопротивление венгерского дворянства имело вполне основательные причины. По отношению к Австрии и Богемии положение Венгрии и Трансильвании было «колониальным», поскольку обе территории оставались источниками дешевого продовольствия и сырья, а также рынками сбыта для их товаров. В такой ситуации понятно беспокойство местного дворянства по поводу сохранения того, «что они считали своей долей прямых налогов, полагавшихся им по справедливости»<sup>169</sup>.

Австрийская держава была отнюдь не единственным династическим государством, чье существование и развитие неотделимо от истории правящего дома. Точно так же, как Австро-Венгерское государство было разросшимся семейным уделом Габсбургов, Пруссия была фамильным владением дома Гогенцоллернов, а Бавария — вотчиной Виттельсбахов. Более того, владения Гогенцоллернов, разбросанные по разным частям Германии и часто не связанные между собой территориально, могли вплоть до середины XIX века называться «лоскутным королевством» даже с большим основанием, чем Австрия называлась «лоскутной империей». А уж позднее, когда Прусское королевство стало расширяться за счет разделов Польши, его можно было считать многонациональной страной с не меньшим основанием, чем Австро-Венгрию.

В свою очередь смена династии в рамках монархического государства была не просто побочным эффектом борьбы за власть и социальных катаклизмов, но и необходимым этапом структурных преобразований. В этом плане свержение Стюартов и последующая замена их Ганноверским домом в Британии сыграли гораздо большую роль, чем полагают

<sup>168</sup> И. Шлепп. Цит. соч., т. 2, с. 145.

<sup>169</sup> T. Blanning. Op. cit., p. 31.

многие историки. По крайней мере для Шотландии, все еще не преодолевшей к концу XVII века феодального порядка, крушение династии Стюартов имело важные символические и политические последствия. Личная уния с Англией заменялась государственным союзом, основанным на юридическом договоре, который, кстати, и оказался единственным зафиксированным на бумаге элементом Британской конституции. Королевская власть окончательно превратилась в гражданский институт, лишенный всякого мистического содержания.

Личная уния между Великобританией и Ганновером сохранялась до 1837 года, когда на английский трон вступила Виктория. Корона Ганновера наследовалась по салическому закону, иными словами, только по мужской линии, поэтому после смерти Георга IV и Вильгельма IV, возглавлявших оба государства, на ганноверский трон был возведен Эрнст Август герцог Камберлендский (Ernest Augustus Duke of Cumberland), пятый сын короля Великобритании и Ганновера Георга III.

Консолидация бюрократического государства и политическая централизация происходили во владениях австрийских Габсбургов точно так же, как и во Франции, Англии или Швеции, а позднее — в Пруссии, несмотря на то, что венским правителям не удалось консолидировать своих разноплеменных подданных в единую нацию. С другой стороны, австрийцы постепенно начинали осознавать себя отдельным народом по отношению к остальной Германии, что тоже можно расценивать как форму «национальной консолидации», которая, впрочем, постоянно подвергалась сомнению — вплоть до успешного Аншлюса Австрии, произведенного Гитлером накануне Второй мировой войны.

В то время как австрийские Габсбурги безуспешно добивались консолидации своих обширных владений, на севере Германии под властью дома Гогенцоллернов складывалось новое государство, которому суждено было превратиться в их соперника, победителя, а позднее и покровителя. Восхождение Пруссии началось в XVI веке с ее объединения с курфюршеством Бранденбург. В 1525 году Тевтонский орден превратился в герцогство Восточная Пруссия, а герцогский титул закрепил за собой перешедший в лютеранство бывший магистр Альбрехт Гогенцоллерн (Albrecht Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach), дав историкам повод для иронических замечаний о том, что его намерения принять протестантизм шло «столько же от проповеди Лютера, сколько от собственного честолюбия»<sup>170</sup>. Как заметил один из позднейших авторов: «Случилось невероятное — духовно-рыцарский орден воинствующих монахов, в течение трехсот с лишним лет бывших верными слугами Рима и оплотом католичества на северо-востоке Европы, прекратил свое существо-

<sup>170</sup> Э. Лависс. Цит. соч., с. 191.

вание, а его последний великий магистр стал заклятым врагом Папы, прибрав к рукам земли и имущество церкви.(...) Бывшие суровые тевтонские рыцари-монахи же превратились в крупных феодалов, родоначальников прусского юнкерства»<sup>171</sup>.

Польша в лице короля Сигизмунда I не только признала новое государство в качестве своего вассала, но и гарантировала позднее, что бранденбургские Гогенцоллерны унаследуют владение, когда пресечется мужская ветвь прусских герцогов. Что и произошло в 1618 году. Так возникло новое Пруско-Бранденбургское государство, которое два столетия спустя станет одним из участников раздела Польши.

Герцогство, возникшее на землях бывшего Тевтонского ордена в ходе Реформации, находилось в личной унии с Бранденбургом, пока в 1656 году не слилось с ним в единое королевство. В июне 1656 года бранденбургско-пруссские войска вместе со шведами нанесли численно превосходившим их полякам сокрушительное поражение в трехдневной битве под Варшавой. Пруссаки рассеяли шляхетское ополчение, которое при бегстве через Вислу потеряло все свои пушки на рухнувшем мосту. Спустя год в Велявско-Быдгощском договоре Польша признала полную независимость Восточной Пруссии. Вскоре после этого Пруссия Фридриха Вильгельма вступила в новую войну, на сей раз против своего бывшего союзника — Швеции, нанеся ей сенсационное поражение при Фербеллине. Однако вмешательство Людовика XIV и французской армии положило конец успехам Пруссии. Истощенная войнами небольшая страна вынуждена была смириться, ограничившись весьма скромными территориальными приобретениями, но заявив о себе как о новом факторе европейской политики.

Легкость, с которой Фридрих Вильгельм менял союзников, переходя в восточноевропейских конфликтах с одной стороны на другую, вызвала осуждение историков, оценивавших его как циничного и беспринципного правителя. Впрочем, далеко не все авторы сходятся в этой оценке. Французский историк XIX века Фредерик Ансильон считает его одним из наиболее выдающихся монархов той эпохи, а его прагматизм — вынужденным. «Его силы были слишком малы, чтобы управлять событиями, но он всегда находил способ извлечь из них выгоду, он менял средства, но никогда не отклонялся от своей цели, гибкий, но упорный, он доказал на практике, что настойчивость и энергия могут преодолеть самые значительные препятствия, неутомимый, не поддающийся слабостям, гордый, но не тщеславный, жесткий, но не жестокий, религиозный, но не склонный к предрассудкам и фанатизму, он наряду со всеми этими замечательными достоинствами, обладал еще и привлекательной внеш-

<sup>171</sup> Ю.Ю. Ненахов. Цит. соч., с. 11.



ностью, его вид был благородным и солидным, свидетельствуя о величии духа»<sup>172</sup>.

В 1701 году в Кенигсберге сын легендарного победителя при Ферреллине Фридриха Вильгельма — Фридрих III был коронован королем Пруссии, приняв титул Фридриха I. С тех пор название Пруссия было присвоено всему Бранденбургско-Прусскому государству.

Абсолютизм опирался на прочную поддержку юнкеров — местных помещиков, строивших свое процветание на хорошо организованной и коммерчески ориентированной эксплуатации крепостного крестьянства. Известный поэт Адельберт фон Шамиссо (Adelbert von Chamisso) сформулировал отношения правительства и землевладельцев знаменитой формулой: «Und der König absolut, wenn er unseren Willen tut» — «А власть короля абсолютна, пока он во всем нам послушен»<sup>173</sup>.

Впрочем, далеко не все историки разделяют уверенность современников во всемогуществе прусских юнкеров. Например английский исследователь Колин Моерс (Colin Mooers) считает, что «юнкеры нуждались в абсолютистском государстве больше, чем оно нуждалось в них»<sup>174</sup>. Слабость сословного представительства в Пруссии объясняется, с его точки зрения, не только тем, что буржуазия не имела достаточного влияния в обществе, но и зависимостью юнкеров от государства. С другой стороны, очевидно, что именно королевская власть оказывалась той организационной формой, в рамках которой помещичье хозяйство вписывалось в капиталистический рынок — тот самый «прусская путь развития капитализма», о котором неоднократно говорил Ленин<sup>175</sup>.

В отличие от Франции, буржуазия не имела здесь прямого доступа к королевским финансам Пруссии, благодаря чему отсутствовала скольконибудь масштабная коррупция. Берлинские чиновники демонстрировали «бюрократическую эффективность, которой могли только позавидовать другие абсолютистские государства того времени»<sup>176</sup>.

Прусская бюрократия уже в начале XVIII века славилась по всей Европе. «Эта административная машина, во многих отношениях неуклюжая, иногда с плохо прилаженными одна к другой частями, должна была, однако, точно и аккуратно исполнять желания того, в чьих руках был главный ее рычаг», — писал Николай Кареев<sup>177</sup>. Недостатки органи-

<sup>172</sup> F. Ancillon. Tableau des révolutions du système politique de Europe, t. 4, p. 47.

<sup>173</sup> Цит. по: Ф.А. Ротштейн. Из истории прусско-германской империи. М. — Л. Изд-во АН СССР, 1948, с. 20.

<sup>174</sup> С. Mooers. Op. cit., p. 112.

<sup>175</sup> См.: В.И. Ленин. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905–1907 годов (Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 16).

<sup>176</sup> С. Mooers. Op. cit., p. 116.

<sup>177</sup> Н. Кареев. Западноевропейская абсолютная монархия, с. 157.

зации должны были компенсироваться дисциплиной и добросовестностью сотрудников. Стройность и логичность организации вообще редко когда были присущи государственному управлению континентальной Европы XVIII века. Абсолютистские режимы строили свои институты таким образом, что появление новых задач и функций всякий раз вызывало к жизни не столько реорганизацию или отмену старых учреждений, сколько появление наряду с ними новых. В итоге система постоянно усложнялась, становясь порой весьма хаотичной. Эти черты можно наблюдать и во Франции, и в Австрии, и даже в России, несмотря на то что культурно-политическая реорганизация, проведенная Петром Великим в начале XVIII столетия, придала политической системе Петербургской империи определенную стройность и рациональность — подражая европейским образцам, русский царь мог позволить себе проводить их в жизнь более последовательно и ломать старое решительнее, чем его западные учителя. Прусская модель управления в этом смысле была не лучше французской. И если ее эффективность была выше, то не потому, что бюрократия была более правильно устроена, а потому, что она была более вышколенной, дисциплинированной и послушной.

Именно наличие четко работающего чиновничьего аппарата позволило прусским королям создать мощную армию, сила которой была явно непропорциональна размерам и богатству государства. Взяв за образец Швецию, берлинские монархи достигли еще более впечатляющих результатов за счет последовательной милитаризации всех сторон государственной жизни. В 1770 году итальянский поэт Витторио Альфиери (Vittorio Alfieri), посетив Берлин, жаловался, что город показался ему «омерзительной огромной казармой», а вся Пруссия — «одной огромной гауптвахтой»<sup>178</sup>. А один из будущих лидеров французской революции, граф Мирабо (comte de Mirabeau), после поездки в Берлин иронично замечал: «Война — это национальная промышленность Пруссии»<sup>179</sup>. В этой шутке есть некоторая доля комплимента. Дело не только в том, что вся жизнь Прусского королевства оказалась подчинена задачам армии, но и в том, что именно у пруссаков война подверглась систематической рациональной организации, стала «промышленностью».

Если массовую армию, комплектуемую из жителей страны, лояльных и готовых проливать кровь за свое правительство, следует считать одним из важнейших национальных институтов, то Пруссия, не будучи нацией в том понимании, которое дали этому слову идеологи XIX века, безусловно, опережала большинство своих соседей в деле формирования национального государства.

<sup>178</sup> Цит. по: Ф.А. Ротштейн. Цит. соч., с. 19–20.

<sup>179</sup> Цит. по: Там же, с. 20.

## ОРИЕНТАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

В то время как Запад переживал революционные катаклизмы, в которых рождался новый буржуазный порядок, на Востоке Европы неуклонно и, как казалось, неудержимо росла сила, находившаяся в явном конфликте с формирующейся европейской миросистемой, — Блистательная Порта, Османская империя. Разумеется, турецкая держава отнюдь не была изолирована от христианской Европы, с которой она взаимодействовала далеко не только на полях битв. Но восхождение османов в XV–XVI веках сопровождалось непрерывными войнами и победами над христианскими армиями. После Никопольской катастрофы правители Запада не предпринимали серьезных попыток сдержать турецкое наступление, которое приостановилось лишь из-за удара, нанесенного туркам с Востока — войском Тамерлана. Но держава Тамерлана быстро распалась, а Османская — оправилась от поражения и возобновила свою экспансию. Падение Константинополя в 1453 году оказалось переломным моментом не только в политическом и экономическом плане — подстегнув португальцев и испанцев на поиски западного морского пути в Индию.

Турецкая победа была не столько победой мусульман над христианами (хотя многим идеологам на Западе она представлялась именно таковой), сколько мощнейшим ударом венецианской военно-торговой гегемонии в Восточном Средиземноморье, тем более что вскоре за Константинополем настала очередь Бейрута и Александрии, основных центров венецианской посреднической коммерции.

На Западе захват древней византийской столицы мусульманами означал, с одной стороны, окончательное торжество Рима в качестве мирового центра христианской веры (православие, сохранившее свои политические позиции в одной лишь Московии, начинало выступать в качестве специфической «русской веры», не претендуя на роль глобальной духовно-религиозной альтернативы католицизму). С другой стороны, однако, падение Византии являлось концом Средневекового мира, его системы ценностей, геополитики и геоэкономики, демонстрируя современникам относительность и исчерпанность вековых традиций, — тем самым успех турок способствовал очередной волне перемен на Западе, в том числе и падению идеологической монополии Римских Пап.

С точки зрения средневекового правосознания, императоров могло быть только двое — Западный и Восточный, что соответствовало двум частям Древней Римской империи. Разумеется, различные авторы давали термину «империя» разное толкование уже в те времена, но именно данная точка зрения являлась господствующей в мире, где законность власти опиралась на право наследования и традицию. Именно потому в Германии сохранялось официальное название «Священной Римской империи», спустя много лет после того, как был потерян реальный политический контроль над Римом и итальянскими владениями.

Две империи соответствовали и двум центрам христианской церкви — Риму и Константинополю. После падения Византии вопрос о наследовании Восточного титула оказался открытым, но Великий князь Московский поступил вполне логично, взяв себе титул Царя (то есть Цезаря, аналогично немецкому императору — Кайзеру), переняв византийского двуглавого орла своим гербом и провозгласив Москву «Третьим Римом». Дело не только в родственных связях московских Рюриковичей с греческими Палеологами. В качестве правителя крупнейшей, а потом и единственной православной державы, он имел на это все основания точно так же, как позднее Петр Великий мог просто заменить русскую форму своего титула на западноевропейскую, назвав себя Императором (правда, новый титул был признан за ним не сразу, но несмотря на дипломатические проволочки, большинство западных держав сравнительно легко согласилось с новым статусом Российской монархии).

Интеграция России в формирующуюся капиталистическую мировую систему началось задолго до Петра Великого — со времен Ливонской войны Московия не только стремилась развивать торговлю с Западом, но и подчинила этой цели всю свою внешнюю политику. Реформы Петра лишь закрепили ориентацию, которую мы видим уже в политике Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. Крепостная система в России складывалась одновременно и в тесной связи с развитием рыночной экономики, и международных коммерческих связей. Продукция русских крепостных так же, как и хлопок, производимый чернокожими рабами в Виргинии, или сахар с карибских и бразильских рабовладельческих плантаций, стимулировала и субсидировала развитие свободного труда в Западной Европе, одновременно финансируя европейское потребление российского правящего класса.

По существу, Россия подвергалась колонизации, но не со стороны иностранной державы, а со стороны собственной элиты, которая благодаря этому смогла создать на Востоке Европы впечатляющую империю, способную оказывать политическое и культурное влияние на другие страны континента<sup>180</sup>.

Рывок России на Запад и попытки модернизации начались, однако, задолго до Петра Великого, еще при Иване Грозном, во времена Ливонской войны. Между тем стремясь модернизировать Московию, Грозный царь, как отмечает С.А. Нефедов, многое заимствовал из «практики Османской империи»<sup>181</sup>. На первый взгляд может показаться, что подобные заимствования находятся в противоречии с не менее хорошо известной

<sup>180</sup> Подробнее об истории интеграции Российской империи в капиталистическую мировую систему см.: Б. Кагарлицкий. Периферийная империя. Циклы русской истории. М.: Алгоритм, 2008.

<sup>181</sup> См.: С.А. Нефедов. История России. Факторный анализ, т. 1, с. 169.

ориентацией царя на Запад: привлечение английских специалистов, его тесное сотрудничество с основанной в Лондоне «Московской компанией». Однако в действительности интерес к турецким образцам применительно к реальности XVI века отнюдь не контрастирует с ориентацией на Лондон. Османская Турция не была в то время отсталой и деградирующей страной, какой она сделалась два столетия спустя. Напротив, она являлась динамичной и хорошо организованной бюрократической империей, учиться у которой было не менее полезно, чем у английских купцов или шотландских военных.

Оттоманская Турция со своей стороны также претендовала на наследие Византии. В первое время после взятия Константинополя на монетах, предназначавшихся для обращения в Европе, турецкий султан даже именовал себя «экуменическим императором». Мехмед II Завоеватель, сделав своей столицей Стамбул, бывший Константинополь, не только сознательно поставил себя на место византийского императора, но и претендовал на роль «наследника классической Римской империи»<sup>182</sup>. Оттоманский султан назывался теперь главой римлян и главой мусульман. «Он был в одном лице и *Kaisar-i-Rum* — Римский император, наследник Августа и Константина, и падишах, что по-персидски значило наместник Бога»<sup>183</sup>. Терпимое отношение султана к христианству даже вызвало на Западе надежды о возможном его обращении в «истинную веру», что, конечно, было полной иллюзией. Со своей стороны, Греческая церковь еще в XV веке выдвинула лозунг «Лучше турки, чем латиняне»<sup>184</sup>. Теперь ей пришлось в буквальном смысле выполнить собственную программу — Константинопольский патриарх, сохраняя независимость от Рима, оказался подданным турецкого султана.

Доброжелательное внимание султана распространялось не только на православных греков. Все, кто готовы были сотрудничать с империей, получали поддержку. Были подтверждены коммерческие привилегии генуэзцев, которых соперничество с Венецией делало фактическими партнерами турок. Стамбул был восстановлен и населен греками, евреями и армянами, которых специально для этой цели пришлось привозить из других частей империи, взамен выселенных константинопольских греков. Экономика города начала бурно развиваться. Хозяйственный подъем продолжался на протяжении XVI века. «Стамбул динамично рос при преемниках Мехмеда, и через сто лет после завоевания он превратился в крупнейший город Ближнего Востока и Европы, с населением превы-

<sup>182</sup> J. Lord Kinross. *The Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire*. N.Y.: Morrow Quill Paperbacks, 1977, p. 111.

<sup>183</sup> *Ibid.*, p. 112.

<sup>184</sup> *Ibid.*, p. 114.

сившим 400 000 человек»<sup>185</sup>. Причем возвышение Стамбула не помешало успешно развиваться и старым торговым центрам Оттоманской империи — Бурсе (Bursa) и Адрианополю (Эдирне — Edirne).

Поскольку султаны на протяжении XVI–XVII веков находились в конфликте с Испанией и Австрией, они широко открывали двери для всех, кого преследовали в этих странах. Кальвинисты, преследовавшиеся Габсбургами и католическими князьями Германии, бежали в оккупированную турками Венгрию и Боснию. Очередная волна эмиграции имела место в начале Тридцатилетней войны, когда казалось, что дело протестантизма в Центральной Европе проиграно. «Переселение в Турцию испанских евреев, изгнанных с их родины в 1492 году, хорошо известно, но это был далеко не единичный случай, — сообщает британский историк Бернард Льюис (Bernard Lewis). — Другие группы беженцев, христианские диссиденты, преследуемые господствующей церковью в своих странах так же, как и евреи, спасались в оттоманских землях. Когда турки вынуждены были покинуть свои европейские владения, христианские народы, которые жили под их властью, все сохранили свои языки, культуру, религии, а порой и свои общественные институты, и были вполне готовы к самостоятельному политическому существованию. Напротив, там, где мусульманские народы в Европе оказывались под властью христианских правителей, им не удавалось сохранить себя — это относится и к маврам в Испании, и к тем туркам, что остались на Балканах после краха Оттоманской империи»<sup>186</sup>.

Терпимость султанов имела границы, но до тех пор пока иноверцы не претендовали на политическую власть, султаны готовы были предоставить их самим себе. К тому же исламское право предполагало, что именно иноверцы платили основную часть налогов в казну. В итоге правительство в Стамбуле было отнюдь не заинтересовано в том, чтобы массово обращать своих подданных в ислам. Делая это, они подорвали бы собственную финансовую базу.

«Правление империи — и светское, и религиозное — было подчинено идеям Ислама, — пишет другой английский историк. — Но это была все же космополитическая империя такая же, как и Византия, объединяющая народы разных рас и религий, живущих между собой в условиях порядка и гармонии»<sup>187</sup>.

Такова была идеология стамбульских султанов, и если гармонию обеспечить им удавалось далеко не всегда, то порядок в империи успешно

<sup>185</sup> An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Ed. by H. Inalcik and D. Quataert. Cambridge: Cambridge University Press, vol. 1, p. 18.

<sup>186</sup> B. Lewis. The Middle East. A Brief History of the Last 2000 Years. N.Y.: Touchstone, 1997, p. 127.

<sup>187</sup> J. Lord Kinross. The Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire. N.Y.: Morrow Quill Paperbacks, 1977, p. 112.

поддерживался вплоть до начала XIX века, когда начался ее постепенный распад, усиливавшийся давлением соседней России и интригами западных держав.

Однако быть одновременно покровителем православных христиан и халифом правоверных мусульман оказывалось чрезвычайно трудно, а внешнеполитические задачи начала XVI века требовали подчеркивать именно мусульманскую идентичность империи. На фоне сложной борьбы с державами Запада, самые серьезные успехи Оттоманское государство достигло на Юго-Восточном направлении, в кратчайший срок установив свой суверенитет над арабскими территориями Азии и Африки. Для своих новых подданных стамбульский султан был в первую очередь новым халифом, и это вполне устраивало стамбульскую бюрократию.

Наибольшего успеха на Западе турки достигли к середине XVI века. По Адрианопольскому миру 1547 года за Габсбургами осталась часть северо-западной Венгрии, но сама Австрия вынуждена была платить дань султану. Выплаты этой унижительной дани прекратились лишь после войны 1592–1606 годов. Морская сила османов была сломлена объединенными силами Габсбургов и венецианцев в битве при Лепанто в 1571 году. Однако поражения, которые начали терпеть турки во второй половине XVI столетия, свидетельствовали не столько об упадке империи, сколько о том, что, достигнув своих естественных границ (в значительной мере совпадавших с восточными границами Древней Римской империи времен ее расцвета), Османская держава не имела сил для дальнейшей экспансии. Победы Габсбургов не вели к серьезным территориальным завоеваниям, эти кампании были преимущественно оборонительными и лишь сдерживали давление турок на Запад.

Преимущество оттоманской армии состояло в наличии хорошо организованной и технически передовой артиллерии, а также корпуса янычар, по определению британского историка, «пехоты, уникальной для того времени, когда на Западе все еще господствовала кавалерия, которую турки неизменно побеждали»<sup>188</sup>.

Пополнявшийся вырванными из семьи и обращенными в ислам христианскими детьми, этот янычарский корпус действительно представлял собой уникальное военное формирование, сплоченное религиозным фанатизмом, с детства воспитанной дисциплиной и внутренней солидарностью.

Военная сила османов держалась на солидной экономической основе, причем финансовое положение Турецкой империи было значительно лучше, чем у большинства западных держав той эпохи. В отличие от России, где земледельцы находились в крепостной зависимости от по-

<sup>188</sup> J. Lord Kinross. *Op. cit.*, p. 153.

мещиков, турецкое крестьянство было одновременно зависимо от государства и свободно. Господствовавшая в Турции аграрная система во многом напоминала ранний европейский феодализм, с той разницей, что поместья так и не превратились в полноценную частную собственность их владельцев. Система раздачи государственных земель (тимаров) отличившимся участникам военных походов и правительственным служащим была заимствована османами у византийцев, а возможно и у сельджуков. «Право полной собственности на землю, называвшееся *ракбе*, принадлежало государству, право пользования и получения доходов с земли принадлежало владельцу тимара — тимариоту. Право владения тимаром передавалось по наследству от отца к сыну, однако тимариот не мог его подарить, передать постороннему лицу, отдать в залог или оставить в наследство кому-либо, кроме сыновей»<sup>189</sup>. С тимаров взимались налоги по шариатскому, а порой и по обычному праву.

Поскольку земля не только номинально, но и фактически принадлежала центральной власти, регулярно перераспределявшей крестьянские наделы, налицо была экономическая и правовая зависимость. Однако личный статус земледельцев не имел ничего общего с положением крепостных. «Имперская бюрократия вынуждена была постоянно заботиться о том, чтобы не дать помещикам расширить свою власть над крестьянами, одновременно борясь с попытками провинциальных чиновников превратить себя в местное дворянство. В этой системе крестьянин был одновременно зависимым и свободным: “зависимым” в том смысле, что его мобильность и использование земли жестко регулировались правительством, заботившимся о том, чтобы получить от него заранее запланированный доход, и “свободен” в том смысле, что никто не вмешивался в вопросы производства и не было принудительного труда»<sup>190</sup>.

Подобное положение дел было в целом выгодно для земледельческого населения в покоренных турками странах. Как отмечает Бернард Льюис в истории Ближнего Востока, после турецкого завоевания крестьянство «обнаружило, что его положение в значительной мере улучшилось. Оттоманская империя обеспечивала безопасность, порядок и отсутствие разрушительных конфликтов»<sup>191</sup>. Социальная структура сельских районов претерпела существенные изменения: старая феодальная аристократия была в ходе завоевательных войн уничтожена, разорена или изгнана. Часть ее земель была распределена между турецкими солдатами, не получавшими, однако, наследственных прав на свои новые владения.

<sup>189</sup> История Османского государства общества и цивилизации. Под ред. Э. Ихсаноглу. М.: Восточная литература, 2006, т. I, с. 187.

<sup>190</sup> An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Ed. by H. Inalcik and D. Quataert, vol. 1, p. 145.

<sup>191</sup> B. Lewis. Op. cit., p. 127.



В итоге здесь не сложился мощный класс помещиков, как в России или Венгрии. Однако благополучное состояние крестьянского земледелия как раз и оказалось важнейшим препятствием для развития рыночных и, позднее, капиталистических отношений в деревне. Принуждение к рынку, характерное для европейских и колониальных стран, здесь до XIX века практически отсутствовало, что, в свою очередь, затрудняло накопление капитала и оборачивалось крайней слабостью местной буржуазии.

В известном смысле Оттоманская империя пала жертвой собственного военно-политического успеха. Основой процветания империи была стабильность, которую султаны неизменно стремились поддерживать, несмотря на любые дворцовые перевороты и конфликты при султанском дворе. В отличие от России Романовых, которая активно стремилась вписаться в формирующуюся европейскую миросистему — экономически и политически, усилия Оттоманской Турции были в значительной мере направлены на сохранение традиционного порядка вещей, однако чем более это удавалось, тем слабее становилась держава. В XVI–XVII веках военная и экономическая мощь Турции позволяла ей вести наступательную политику по всем международным направлениям, но парадоксальным образом ее успехи в Средиземноморье и в Восточной Европе лишь ускоряли общее смещение экономических центров Европы на север-запад, создавая в перспективе новые проблемы для османов.

Противоречивость положения Оттоманской империи состояла в том, что она не могла (в отличие от Японии) ни изолировать себя от влияния и давления формирующейся на Западе миросистемы, ни занять в ней такое положение, которое устраивало бы если не население государства, то хотя бы значительную часть ее элит. Будучи достаточно сильной, чтобы избежать раздела и колонизации, Турция, однако, была слишком слаба, чтобы навязывать Европе свои условия.

Оттоманская империя сталкивалась во многом с теми же дилеммами, что и империя Романовых, но она не только решала их иначе — на протяжении длительного периода времени их вообще не решала. Подобное положение дел предопределило двухсотлетнюю историю упадка Турции, происходившего на фоне противоречивого и драматического, но все же очевидного подъема России.

Еще в середине XVII века турецкая мощь вызывала у соседей страх и уважение, армии султанов угрожали Польше и Австрии, ослабленных Тридцатилетней войной. Но к концу столетия соотношение сил изменилось радикально и необратимо. Переломом оказалась осада турками Вены в 1683 году. Дела Габсбургов были плохи и только вмешательство польского короля Яна Собеского спасло ситуацию. В битве при Вене 12 сентября 1683 года собранная им коалиционная армия Священной

лиги разгромила османов. Турецкие источники признают: «Поражение и проигрыш — да уберезет нас от них Аллах — были преогромными, неудача такая, какой от образования (османского) государства еще не случалось»<sup>192</sup>. Победители взяли колоссальную добычу, значительная часть казны была разграблена самими разбегающимся турецкими солдатами, а польский король с восхищением описывал своей жене захваченный им османский лагерь, где шатры начальников были «такие обширные, как Варшава либо Львов, городской стеной обнесенные»<sup>193</sup>. В лагере турок под Веной король нашел не только золото, оружие и драгоценные камни, но и животных: «визирь взял было здесь в каком-то императорском дворце живого страуса, удивительно красивого, так и его, чтобы нам в руки не достался, велел зарезать. Что за деликатесы имел при своих шатрах, описать невозможно. Имел бани, сад, фонтаны, кроликов, котов, даже попутай был, но он улетел, так и не смогли поймать»<sup>194</sup>.

Эта блистательная победа почти ничего не дала Польше, которая вступает в период затяжного упадка, завершившегося ее крушением. Зато для австрийских Габсбургов битва при Вене стала началом триумфального движения на юго-восток, позволившего им восстановить силы после поражения в Тридцатилетней войне и вернуть себе положение ведущей европейской державы. Успехи Австрии были достигнуты за счет упадка Турции.

Отсталость Османской империи в технической сфере нарастала непрерывно начиная с первой половины XVII столетия. Военные поражения, нанесенные туркам польскими войсками Яна Собеского, а затем и австрийской армией Евгения Савойского, свидетельствовали о том, что былая слава янычар безвозвратно ушла в прошлое. Некоторые историки даже утверждают, будто в XVIII веке «военная техника турецкой армии отставала от европейской по меньшей мере на полтора века»<sup>195</sup>. Это, разумеется, преувеличение, однако отсталость империи проявлялась в самых разных сферах удручающим образом. Уже в 1720 году султан Ахмед III вынужден был отправить во Францию специальное посольство с целью изучения новейших европейских изобретений. Турецкая делегация провела в Париже длительное время, посещая оперу, академию наук, обсерваторию, ботанический сад и фабрики, изучая организацию французской армии и ее вооружение. Результаты их изысканий были изложены в книге Мехмеда Челеби эфенди (Mehmed Çelebi Efendi) «Сефаретнаме» (Sefâretnâme) — «Книга посольства». В Стамбуле книга про-

<sup>192</sup> Цит. по: Л. Подхорецкий. Вена. 1683. М.: АСТ, 2002, с. 148.

<sup>193</sup> Цит.: Там же, с. 151.

<sup>194</sup> Цит.: Там же, с. 151-152.

<sup>195</sup> Ю.А. Петросян. Османская империя. М.: ОКСМО - Алгоритм. 2003, с. 207.

извела эффект разорвавшейся бомбы: «Это сочинение стало настолько популярным среди придворных и высшей бюрократии, что ходило по рукам в списках»<sup>196</sup>.

Однако несмотря на острую потребность в модернизации, осознанную значительной частью элиты, реальные изменения происходили крайне медленно, и мешала этому не косность господствовавшей в империи культуры и не исламская традиция, а в первую очередь боязнь разрушить лежавшую в основе государства систему социальных и политических отношений.

Между тем интеграция Турции в мировую экономику оказывала разлагающее воздействие на сложившуюся систему. Проникновение западноевропейского экспорта в Османскую империю постоянно усиливалось так же, как и зависимость общества и экономики от этого экспорта. С Запада прибывали не только оружие и технологии, но и многие предметы повседневного обихода. «В XVIII веке серьезное снижение транспортных и производственных издержек в Европе привело к стремительному расширению торговли с османскими землями»<sup>197</sup>. Этот процесс получил дальнейшее развитие в XIX веке. Нарастающая зависимость от Запада находила свое проявление и в торговой политике, насквозь проникнутой принципами экономического либерализма. Права иностранных предпринимателей регулировались специальными «капитуляциями», предоставлявшими привилегированный статус представителям западных наций, с которыми заключались соответствующие соглашения. Первое такое соглашение было заключено с Францией в 1569 году, затем с Англией в 1580 году и с Голландией в 1612 году. «В долгосрочной перспективе коммерческие права, предоставленные османами западным странам, стимулировали развитие экономики этих стран»<sup>198</sup>. Увы, этого нельзя было сказать о самой Турции. С другой стороны, экономический либерализм, которого придерживалась Блистательная Порта, ничуть не способствовал развитию либерализма политического, что вызывало нарастающее разочарование столичной просвещенной интеллигенции, мечтавшей не только о европейских товарах, но и о европейских институтах.

Изменения, происходившие на Западе, отразились на экономической жизни империи самым негативным образом. На место венецианцев, являвшихся традиционными противниками султана, но и привычными партнерами оказавшихся под его властью арабских и греческих купцов, пришли голландцы, англичане и французы. Условия изменились.

<sup>196</sup> Ю.А. Петросян. *Цит. соч.*, с. 217.

<sup>197</sup> An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Ed. by H. Inalcik and D. Quataert, vol. 1, p. 6.

<sup>198</sup> Ibid., p. 21.

«Османская экономическая и денежная система рухнули в XVII веке в значительной мере из-за того, что венецианское торговое господство в Восточном Средиземноморье сменилось агрессивным наступлением стран, придерживавшихся принципов меркантилизма», — признают английские историки<sup>199</sup>.

Поскольку турецкий внутренний рынок оставался сравнительно узким, а на мировой рынок Оттоманская империя не могла поставлять какую-либо уникальную продукцию, которую Европа уже не получала бы из других регионов, внешняя торговля развивалась не слишком успешно. «Рост международной торговли Оттоманской империи был весьма существенным, но все равно отставал от общемировых темпов», — отмечает американский исследователь Доналд Куатерт (Donald Quataert). Если в мировом масштабе внешняя торговля за XIX век выросла в 64 раза, то по отношению к турецким владениям этот показатель едва достигает 16 раз. Хотя Турция играла очень большую роль в европейской торговле начала XVII столетия, на протяжении двух последующих веков «значение Оттоманской империи для мировой экономики неуклонно снижалось»<sup>200</sup>.

Постоянные войны на разных фронтах истощили казну, необходимость содержания военного флота обернулась разорительной нагрузкой для государства, которое не вело активной внешней торговли — большая часть турецкого экспорта вывозилась на иностранных судах.

Армия, раньше славившаяся своей дисциплиной и боеспособностью, постепенно разлагалась. Грозный корпус янычар втягивался во внутриполитические интриги, раздиравшие столичную элиту, превращаясь из инструмента внешней экспансии в орудие дворцовых переворотов. А сами янычары в свободное от служебных обязанностей время занимались ремеслом и торговлей — сословие профессиональных воинов, наводивших ужас на всю Европу, превратилось в класс мелких лавочников.

<sup>199</sup> Ibid., p. 22.

<sup>200</sup> D. Quataert. *The Ottoman Empire, 1700–1922*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 124.

## V. Возникновение гегемонии

В начале XVII века Англия была важной, но переживающей непростые времена страной, которую вряд ли можно было считать гегемоном формирующейся капиталистической миросистемы. У системы вообще не было гегемона, как и не был вполне сложившимся и законченным целым сам капитализм, несмотря на то что все основные элементы нового общественного порядка уже были налицо не только в пережившей революцию Голландии, но и во многих других странах.

Сто лет спустя капиталистическая система выглядит уже вполне оформившейся, а сохраняющиеся в западном обществе элементы феодализма вынуждены в возрастающей степени подстраиваться под логику этого нового порядка и обслуживать его. Британия буквально на глазах превращается в империю, не только доминирующую на мировом рынке, но и претендующую на ключевую роль в мировой политике. Сами представления о гегемоне миросистемы, его роли и возможностях складываются уже задним числом именно на основе британского опыта. Маркс неоднократно замечал, что равенство торговых возможностей немислимо между двумя государствами принципиально неравной политической силы. А процесс централизации и концентрации капитала не может не иметь политических последствий. В свою очередь, политически господствующие государства оказываются в привилегированном положении по отношению к тем, кто находится от них в зависимости. Возникновение в миросистеме гегемонии закономерно и естественно порождается общей иерархией неравенства и логикой накопления капитала, диктующей потребность в централизации, в том числе и на политическом уровне. Однако это не происходит сразу и само собой, а лидирующая роль Британии оспаривается — политически и экономически — Францией. Системная гегемония возникает и формируется именно в процессе этой борьбы и несет на себе отпечаток своего происхождения. Противоборство двух ведущих европейских держав становится глобальным. Оно разворачивается в Америке, Азии и Африке. В него так или иначе вовлекаются страны, еще недавно не имевшие отношения к европейским конфликтам. Соперничество двух держав даже опережает их колониальную и коммерческую экспансию.

## ПОЧЕМУ БРИТАНИЯ?

Для большинства историков не является секретом, что «происхождение современных международных отношений неразрывно связано со становлением капитализма в Англии раннего Нового времени»<sup>1</sup>. Между тем к началу эпохи Великих географических открытий Англия, хотя и принадлежала к числу ведущих западных стран, не была ни самой богатой, ни самой обширной по территории и населению, ни самой мощной державой в военном или даже морском деле. По всем этим показателям она уступала Франции, Испании, в определенные периоды даже Голландии. После поражения в Столетней войне и серии междоусобных конфликтов, вошедших в историю под именем Войны Алой и Белой Розы, ослабевшее и потерявшее прежний престиж английское государство уже не могло претендовать на лидирующую роль в Европе, где шла борьба между двумя поднимающимися сверхдержавами — Францией и Испанией. Военная слабость Англии была очевидна современникам. Даже успехи Королевского флота и победа над испанской «Непобедимой армией», одержанная сэром Френсисом Дрейком (Francis Drake) и его соратниками в 1588 году, еще не сделали ее владычицей морей. К тому же новообретенная морская мощь не компенсировала слабости сухопутных сил и постоянной нехватки денег.

Историки констатируют, что «английское оружие не одержало ни одной значимой победы за пределами Британских островов со времени между экспедицией в Булонь (1547 год) и завоеванием Ямайки (1655 год)»<sup>2</sup>. Самая серьезная военная катастрофа произошла в середине XVI века, когда Англия втянулась в войну с Францией по научению Испании, с которой все еще сохранялись союзнические и династические связи (Мария Кровавая была женой Филиппа II). Результатом этого бессмысленного для англичан конфликта стало падение Кале в 1558 году.

Рост международного влияния Англии, начавшийся в эпоху царствования Елизаветы, сменился новым упадком в начале XVII века, когда династия Стюартов, пришедшая на смену Тюдорам, втянулась в затяжные конфликты с парламентом. Англия не играла почти никакой роли в Тридцатилетней войне и никак не могла повлиять на ее исход, определявший соотношение сил между державами континентальной Европы. А место ведущей морской державы — торговой и военной — было с поразительной быстротой занято Соединенными провинциями, которые еще во времена Елизаветы с трудом отстаивали свое право на независимое государственное существование.

<sup>1</sup> B. Teschke. Op. cit., p. 11.

<sup>2</sup> L.H. Roper, B. Van Ruyambeke. Constructing Early Modern Empires. Proprietary Ventures in the Atlantic World, 1500–1750. Lieden — Boston: Brill, 2007, p. 5.

И все же к концу столетия Англия не только выходит на европейскую сцену в качестве ведущей политической, военной и коммерческой силы, но и побеждает всех своих соперников, обладающих куда большими силами и ресурсами. Английская коммерция обгоняет голландскую, британские генералы одерживают верх над прославленными французскими армиями, производство, еще недавно сравнительно отсталое, становится передовым, даже в сфере литературы, искусства, науки и философии, где традиционно лидировали французы и итальянцы, англичане занимают одно из ведущих мест.

Эти победы были бы невозможны, если в основе их не лежало бы преимущество английских социальных и политических институтов, порожденное тем самым кризисом XVII века, который на первых порах так ослабил страну, выведя ее фактически за рамки европейской политики. Что же все-таки произошло такого, что резко и явно выделило Британию на общем европейском фоне?

Политическая система, основанная на парламентском представительстве, оказалась идеальным механизмом для политического развития поднимающейся буржуазии. Причем эта система не только позволяла новому правящему классу наилучшим образом формулировать и реализовывать стоящие перед ним цели и задачи, но одновременно помогла консолидировать вокруг этих целей гораздо более широкие слои общества. Дело не только в том, что в Англии сформировалась буржуазная власть, но и в том, что эта власть была авторитетна и стабильна.

В середине XIX века британский историк Томас Маколей (Thomas Macaulay), анализируя развитие парламентских институтов, задавался вопросом: почему представительные органы, которые существовали в большинстве монархических стран Европы, к концу XVII столетия укрепляются в Англии, но в эту же эпоху они уничтожаются или ослабевают во всех остальных странах: «Один за другим, влиятельные общественные собрания в континентальных монархиях, ничуть не уступавшие нашему парламенту в Вестминстере, теряли свое значение и впадали в ничтожество»<sup>3</sup>.

Действительно, борьба между монархической властью и представительными органами развернулась в XVII веке по всей Европе, от Англии до России. На протяжении почти столетия, по словам западных историков, короли и министры «противоборствовали с кортесами, парламентами, коммунами, фрондами и “пуританами”, причем как правило результаты этих конфликтов были схожими»<sup>4</sup>. Центральная власть вынуждена была преодолевать не только сопротивление буржуазии, требовавшей прямого участия в принятии решений, но и бороться с региональными

<sup>3</sup> Th. Macaulay. History of England from the Accession of James the Second. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1849, vol. 1, p. 42.

<sup>4</sup> L.H. Roper, B. Van Ruymbeke. Op. cit., p. 3.

ми вольностями, автономиями и учреждениями, унаследованными от Средневековья. Организации, исторически созданные для того, чтобы представлять местные феодальные интересы, нередко оказывались теперь в руках провинциальной буржуазии.

Уничтожение или сведение к политическому бессилию органов сословного представительства наблюдается в Европе повсеместно во второй половине XVII века. Во Франции последнее до Великой революции собрание Генеральных Штатов состоялось в 1614 году, в Кастилии кортесы собрались в последний раз до Наполеоновских войн в 1664 году. В 1669 году состоялся последний ландтаг в Баварии. В России Тишайший царь Алексей Михайлович в те же годы исподволь, но весьма эффективно, сводит на нет значение Земских соборов.

В Бранденбурге Фридриху Вильгельму удалось в 1688 году ограничить сословное представительство, укрепив централизованную администрацию за счет фактического подкупа представителей сословий. В отличие от других стран, где испытывавший финансовые трудности двор вынужден был выпрашивать разрешение на новые налоги у сословий, в Бранденбурге все сложилось наоборот: курфюрст заплатил долги сословий дважды — в 1683 и 1686 годах. Население было разорено, а двор скромен в своих запросах и бережлив.

В Австрии, где под властью Габсбургов сословное представительство полностью лишилось политического значения, оно превратилось в весьма полезный административный инструмент, эффективно сдерживающий бюрократическую коррупцию. Выбранные ландтагами представители ведали местными финансами, судами, набором рекрутов и многими другими вопросами, требовавшими строгого контроля. Однако такая система являлась медлительной и неповоротливой — во время войны за Австрийское наследство, когда держава Габсбургов оказалась на краю гибели, Мария Терезия заменила выборных уполномоченных коронными чиновниками. При Иосифе II венгерский сейм вообще ни разу не созвался, а местные сеймики окончательно утратили свое значение.

Тем не менее говорить о полном исчезновении представительной власти в странах с абсолютистскими режимами не приходится. В Швеции функционировал сословный Риксдаг, в котором наряду с дворянами, духовенством и буржуазией (горожанами), представлено было и крестьянство. Во Франции, несмотря на то что Генеральные Штаты не собирались в течение длительного времени, действовали региональные собрания. Британский историк Ричард Бонни (Richard Bonney) отмечает, что во Франции, как и в других странах континентальной Европы, провинциальные сословные собрания в XVI–XVII веках «обладали значительными налоговыми полномочиями»<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> R. Bonney. Op. cit., p. 327.



Королевская администрация во Франции вела систематическую борьбу за то, чтобы консолидировать в своих руках всю полноту власти. В разных частях страны ситуация складывалась различно. Тем не менее «большинство провинций, которые обладали какими-то сословными представительными органами, сохраняли их до самого конца Старого режима»<sup>6</sup>.

Уникальность английской монархии, таким образом, состояла не в том, что она сохранила представительные институты, а в том, что эти институты на протяжении XVII века взяли верх над монархией, создав политический строй, который по понятиям континентальной Европы был, как признает Маколей, «аномальным»<sup>7</sup>.

Подобная «аномалия» объясняется, с точки зрения историка, двумя факторами. С одной стороны, в отличие от континентальных монархов, у английских королей не было необходимости постоянно вести сухопутные войны и они не нуждались в создании мощного военно-политического аппарата, который в конечном счете стал основой абсолютизма. С другой стороны, «наш парламент, полностью сознавая природу и масштабы опасности, своевременно выработал последовательную тактику, которая в ходе противостояния, продолжавшегося на протяжении жизни трех поколений, доказала свою успешность»<sup>8</sup>.

Безусловно, успехи парламента были предопределены его политической эффективностью. Но эта эффективность, в свою очередь, опиралась на развитие британской буржуазии, которая сумела консолидироваться в виде класса, вполне осознанно поставившего перед собой цель контроля над государством. Если во Франции, после поражения революционных движений времен Столетней войны, буржуазия жила с XV по XVIII век в коррупционном симбиозе с государством, используя в своих интересах слабости феодального режима, то английская буржуазия, напротив, ставила перед собой цель изменить государство, подчинив его полностью своим задачам и принципам. Разумеется, дело тут не только в специфических политических традициях, восходящих к Великой хартии вольностей, но и в том, что социальная база буржуазного развития в Англии была шире за счет активного проникновения капиталистических отношений в деревню. Новые социальные условия давали возможность политическим лидерам буржуазии вырабатывать на этой основе стратегию, которая была одновременно достаточно радикальной и реалистической. А успех этой стратегии (осуществлявшейся через парламентские институты еще задолго до революции) способствовал дальнейшему изменению социаль-

<sup>6</sup> R. Bonney. Op. cit., p. 328.

<sup>7</sup> См.: Th. Macaulay. Op. cit., vol. 1, p. 25.

<sup>8</sup> Ibid., p. 43.

ных отношений и постепенному возникновению нового соотношения сил между классами, социальными группами и партиями.

## ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ

Главным достижением западного общества с точки зрения либеральных идеологов более позднего времени была защищенность собственности и уважение к ней. В этом отношении уже в середине XVIII века Британия представлялась многим мыслителям и публицистам образцом либеральных институтов, без которых невозможен ни социальный, ни культурный прогресс. Однако институт частной собственности складывался постепенно на протяжении позднего Средневековья и Англия далеко не сразу стала лидером в этом процессе. В феодальном обществе, даже там, где частная собственность существовала, она отнюдь не являлась универсальным и всеобщим экономическим принципом. Имущественные отношения регулировались на основе многочисленных правил, постановлений и обычаев, описывавших права владения, пользования, наследования, которые зачастую были не связаны друг с другом, а порой и противоречили друг другу. Как замечает Энгельс, «бюргерская собственность Средних веков была еще сильно переплетена с феодальными ограничениями, состояла, например, главным образом из привилегий». И лишь позднее она смогла превратиться в «чистую частную собственность»<sup>9</sup>. Крестьянский надел или феодальное имение часто могли наследоваться, но не отчуждаться их владельцами, и точно так же земли, принадлежавшие общине, не были в строгом смысле ее собственностью, ибо само существование общины предполагало ее связь с этой территорией, а потому вопрос об отчуждении земли, сдаче ее в аренду или коммерческом использовании просто не мог быть поставлен, даже если соответствующие формы хозяйственных отношений уже имели место в обществе. Права далеко не всегда фиксировались документально, будучи закреплены обычаем.

Начиная с XIII века обращение Античности, провозглашенное новой культурой Ренессанса, не в последнюю очередь было связано с возвратом к принципам римского права, которое должно было прийти на смену многочисленным «правдам», «законам» и обычаям феодальной эпохи. «Как короли, так и бюргеры, — писал Энгельс, — нашли могущественную поддержку в нарождавшемся сословии юристов. Когда было вновь открыто римское право, установилось разделение труда между попами — юридическими консультантами феодальной эпохи — и учеными юристами, не имевшими духовного звания. Эти новые юристы, разумеется, по самому существу своему принадлежали к бюргерскому

<sup>9</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 412.

сословию; да к тому же и то право, которое они изучали сами, которому учили других и которое применяли, по характеру своему было, в сущности, антифеодальным и в известном отношении буржуазным»<sup>10</sup>.

Римское законодательство с его четкими и непротиворечивыми формулировками, кодифицированное и регулирующее различные стороны жизни на основе общих принципов, было идеалом буржуазии. Другое дело, что реальное понимание частной собственности и частных прав в Античности отличалось от сложившейся впоследствии буржуазной собственности так же, как древняя экономика — от современной. Римское право было воспринято эпохой Возрождения как юридическая утопия, точно так же, как и Античность в целом превратилась из реальной исторической эпохи в нравственно-эстетический идеал, необходимый для решения идеологических задач нового времени.

Между тем для практического становления института частной собственности одного только юридического идеала было недостаточно, требовалась систематическая «дрессировка общества»<sup>11</sup>, которая могла быть осуществлена только государством с помощью принуждения, а порой и насилия. Маркс в «Капитале» отмечает, что аграрные отношения в Англии, основанные на соединении крестьянского индивидуального хозяйства с общинным землепользованием, радикально отличалась от системы, построенной по капиталистическим принципам. Такие отношения при одновременном расцвете городской жизни, характерном для XV столетия, создали условия для повышения народного благосостояния, «но эти отношения исключали возможность капиталистического богатства»<sup>12</sup>. Для того чтобы на место вольному крестьянскому труду пришел наемный труд буржуазной фабрики, был необходим настоящий переворот, в ходе которого «значительные массы людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса»<sup>13</sup>.

В Англии этот переворот происходит в середине XVI века в связи с «огороживанием», когда владельцы крупных имений присваивали себе и захватывали общинные земли, а также в ходе Реформации, когда были экспроприированы и разделены между представителями «нового дворянства» земли монастырей (жившие там крестьяне были изгнаны или поставлены в положение батраков). В горной Шотландии тот же процесс

<sup>10</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 412.

<sup>11</sup> Термин В. Куренного.

<sup>12</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 729.

<sup>13</sup> Там же, с. 728.

развернулся значительно позже, в XVIII столетии, когда главы кланов переписали на себя земли, ранее принадлежавшие клану в целом.

Маркс акцентирует внимание прежде всего на том, что буржуазная частная собственность возникает за счет экспроприации мелких производителей — чтобы произошло накопление капитала в руках немногих на одном полюсе системы, надо отнять собственность у массы людей на другом ее полюсе. Даже если у этой аграрной революции есть «экономические пружины», все равно необходимы оказываются «насильственные рычаги»<sup>14</sup>.

Однако массовая экспроприация трудящихся, о которой пишет автор «Капитала», «освобождение» людей от находившихся в их руках средств производства, требовала не только государственного насилия в дотоле невиданных масштабах, но и целенаправленной работы над юридическим и институциональным оформлением новой системы. Формирование частной буржуазной собственности опирается на замену старого закона новым, обычая писаным правом, неформальных взаимных обязательств коммерческими контрактами. Установление частной собственности основывается на отрицании прежних имущественных прав, которые вроде бы и не являются правами вовсе, коль скоро не закреплены через новую юридическую практику, которая для низов общества оказывается принципиально недоступна. В этой ситуации государство выступает в двоякой роли, применяя насилие для ликвидации старых имущественных отношений и одновременно устанавливая новые отношения собственности. Оно обеспечивает уважение к новой собственности, ценой игнорирования и нарушения старых прав.

Между тем распространение буржуазных отношений далеко не всегда происходило за счет пролетаризации крестьянства. Как показал опыт стран, оказавшихся на периферии капиталистического мира, экспроприация непосредственных производителей зачастую принимала иные формы, сохраняя связь крестьянина с землей, но лишая его контроля над производимой им продукцией, которая, изымаясь помещиками и властями, поступала на рынок, где включалась в процесс накопления капитала. Однако и в «западном», и в «восточном» варианте принципиальная роль играло государственное принуждение.

Спротивление традиционного большинства введению буржуазных порядков продолжалось с большей или меньшей интенсивностью на протяжении нескольких столетий. Даже применительно к Западу было бы ошибкой считать, будто западноевропейская деревня была насквозь буржуазной в XVII или середине XVIII века. В Шотландии огораживание удалось эффективно провести только после окончательного объеди-

<sup>14</sup> Там же, с. 734.

нения с Англией и разгрома «якобитских восстаний» (когда горные кланы пытались вернуть на престол наследников низвергнутого в 1688 году Якова II). Во Франции традиционные общинные права оставались фактором, сдерживавшим развитие капитализма в сельском хозяйстве вплоть до падения Старого режима в 1789 году. Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville) подчеркивает, что еще до революции крестьянин «стал собственником земли»<sup>15</sup>. Он отмечает, что во время французской революции захват и раздел церковных имений не привел к резкому увеличению числа собственников — те, кто приобрел новые земли, по большей части, уже владели недвижимым имуществом. Революция не разделила землю, но освободила ее, поскольку ранее «собственники были страшно стеснены в пользовании своими землями и терпели множество повинностей (*beaucoup de servitudes*), от которых не имели возможности освободиться»<sup>16</sup>. Иными словами, во Франции, как и в Англии, потребовалась политическая революция для того, чтобы сельская буржуазия получила возможность вести хозяйство последовательно капиталистическими методами, на основе неограниченного права частной собственности.

В других странах Европы преобразование земельной собственности происходило еще позднее, в значительной мере уже под влиянием французского опыта. Таким образом, можно сказать, что в плане аграрного капитализма Англия вплоть до конца XVIII столетия являлась скорее исключением, но и здесь вплоть до середины века парламенту приходилось принимать акты, ликвидирующие остатки традиционных отношений и обязательств в деревне. То, что в Британии власти вели с этими «пережитками Средневековья» решительную и успешную борьбу, объяснить не трудно, поскольку, как замечает историк Тим Блэннинг, с одной стороны, «парламент представлял интересы землевладельцев», а с другой стороны, его акты «осуществлялись на местах теми же землевладельцами, выступавшими в роли мировых судей»<sup>17</sup>.

На протяжении XVI и начала XVII века королевская власть в Англии, ссылаясь на прерогативы короны, сохраняла возможность вмешиваться в отношения собственности, регулируя взаимные обязательства помещиков и арендаторов. Потребовалась революция, чтобы освободить новое дворянство от этого вмешательства и последовательно утвердить принцип частной собственности на землю. Однако революция, став-

<sup>15</sup> A. de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L'Ancien Régime et la Révolution. Paris, Bouquins. Éditions Robert Laffont, 1986, p. 968 (рус. изд.: А. де Токвиль. Старый порядок и революция. Пер. с фр. М. Федоровой. М.: Моск. философский фонд, 1997).

<sup>16</sup> Ibid., p. 969.

<sup>17</sup> T. Blanning. Op. cit., p. 151.

шая возможной только благодаря участию городских и сельских масс, создавала для собственников новую угрозу, на сей раз — снизу, в политическом смысле — слева. Когда республика в Англии сменилась протекторатом Оливера Кромвеля, интересы новых земельных собственников оказались в центре внимания власти. Английский историк Лоуренс Джеймс отмечает, что в те годы «армия фактически заменила гражданское правительство»<sup>18</sup>. Однако армия управляла страной отнюдь не в собственных интересах, являясь прежде всего жестким и эффективным инструментом новой собственнической элиты, укрепившей свои позиции в ходе революции. Для народных масс, поддержавших парламентскую власть в борьбе против монархии, это была плохая новость. Избирательный ценз, установленный в годы диктатуры Кромвеля, сделал парламент еще менее демократичным, чем во времена монархии, а политика новой власти по отношению к сельским массам оказалась еще более жесткой. «Протекторат, — писал советский историк М. Барг, — еще более откровенно, чем Долгий парламент, взял под свою защиту огораживателей общинных земель — этих злейших врагов деревенской бедноты»<sup>19</sup>.

Военная диктатура была эффективна, подавляя брожение масс, недозволенных социальными итогами революции, но ей недоставало легитимности. Потому реставрация Стюартов, свершившаяся на условиях победившей буржуазии, оказалась не менее необходима для закрепления нового экономического и правового порядка, чем прежде — революция. «В целом, “консервативная” реставрация сыграла важнейшую роль в укреплении капитализма», — подводит итог Колин Моерс<sup>20</sup>.

Томас Гоббс (Thomas Hobbes) и Джон Локк (John Locke) суммировали итоги революции на философском уровне, с той лишь разницей, что первый подчеркнул роль государственного насилия, тогда как второй акцентировал необходимость правовых норм и либеральных институтов. Несмотря на кажущееся противоречие, эти два мыслителя великолепно дополняют друг друга, демонстрируя читателю не только две стороны сложившегося политического порядка, но и два этапа его формирования. Государственное насилие, описанное Гоббсом в «Левифане», не могло не находиться на первом плане в эпоху революционных переворотов, когда институты либерального порядка еще только создавались — с помощью того же насилия. И напротив Локк, живший в более позднее время, заставший торжество «Славной революции» и нового социально-политического порядка, мог позволить себе куда бо-

<sup>18</sup> L. James. *Warrior Race*, p. 194.

<sup>19</sup> М. Барг. *Кромвель и его время*. М.: Учпедгиз, 1950, с. 255.

<sup>20</sup> C. Moers. *Op. cit.*, p. 160.

лее гуманный взгляд на вещи, акцентируя необходимость свободы, благодаря которой в обществе будет достигнуто состояние мира и доброжелательности. Однако не надо заблуждаться относительно классового характера идей Локка. Понятие гражданина для него неразделимо с понятием собственности. И хотя собственность является, с точки зрения Локка, таким же естественным правом, как и право на жизнь, она, парадоксальным образом, не только не распределяется равномерно между людьми (как сама жизнь, например), но и вообще недоступна для значительной части — большинства людей, которые, таким образом, не могут являться полноценными представителями гражданского общества.

По сути доброжелательная философия Джона Локка, легшая в основу последующих идей либерализма, является гораздо более жестокой и бесчеловечной, чем трезвые констатации Томаса Гоббса, который лишь сформулировал принципиальную неизбежность для государства принуждения и насилия. Но именно Локк сумел выразить ключевые идеи нового политического порядка, удивительным образом совмещавшего неравенство граждан с уважением к личности и постоянную готовность власти к насилию и принуждению — с уважением к правам человека.

«Власть на основе закона (rule of law), с одной стороны, отнюдь не означала отказа от классового интереса, который в первую очередь был выражен в последовательной защите капиталистической собственности, а с другой стороны, позволяла замаскировать эксплуатацию так, как не могло ни одно из докапиталистических обществ», — пишет английский историк Колин Моерс<sup>21</sup>. По его мнению, «историческая новизна английского государства состояла в том, что оно могло одновременно активно вмешиваться в экономические и правовые отношения и преобразовывать их в интересах капитала, но в то же время сохранять видимость нейтральности и незаинтересованной объективности»<sup>22</sup>.

В свою очередь собственники, доверяя правительству, представлявшему именно их интересы, готовы были с гораздо большей легкостью расставаться со своими деньгами, превращаясь в добросовестных налогоплательщиков, а парламент, со своей стороны, контролируя министров, предоставлял им широчайшие полномочия, которых часто не было у должностных лиц монархических режимов. Установление нового буржуазного режима в Англии привело к тому, что полномочия, которые парламент упорно не желал предоставлять правительству Стюартов, были с легкостью предоставлены парламентом новой власти. «Отныне, — иронизирует Брендан Симмс, — сильное государство и большое правительство стали такой же естественной чертой английской жизни

<sup>21</sup> Ibid., p. 169.

<sup>22</sup> Ibid., p. 170.

как ростбиф и теплое пиво» (Strong government — and a large state — were thus to become as English as roast beef and warm beer)<sup>23</sup>.

Английская буржуазия после революционных потрясений XVII века добилась своей цели — получить дешевое правительство. «Небольшая численность бюрократии, однако, контрастировала с ее потрясающими успехами», замечает Колин Моерс<sup>24</sup>. Британия тратила на содержание чиновников и военных куда меньше средств, чем соседняя Франция, но раз от раза выигрывала войны. Тем не менее масштабы проблем, с которыми приходилось иметь дело правительству, постоянно росли, а вместе с ними увеличивались и расходы казны. Однако в отличие от династических государств континента, постоянно находившихся на грани разорения, британские власти не только справлялись с собственными тратами, но и способны были предоставлять субсидии своим союзникам на континенте. К тому же правительство легко могло занимать деньги у буржуазии. Из 49 миллионов фунтов, потраченных во время войны с Францией в 1688–1697 годах, 16 миллионов было получено через внутренние займы<sup>25</sup>. Национальный долг Англии неуклонно рос на протяжении XVIII века. К концу войны Аугсбургской лиги он составил 16,7 миллиона фунтов, к концу войны за Австрийское наследство — 76,1 миллиона, а в 1783 году, когда завершилась американская война за независимость — 242,9 миллиона. К концу Наполеоновских войн он достиг 744,9 миллиона фунтов<sup>26</sup>. Тем не менее правительство справлялось со своими финансовыми обязательствами, британский фунт был стабилен, а производство росло. Траты казны находились под строгим контролем парламента, который, в свою очередь, превратился, говоря языком Маркса, в нечто вроде исполнительного комитета правящего класса.

Парламент XVIII и XIX веков, избранный на основе имущественного ценза, представлял собой идеальное представительство буржуазии. Это была буржуазная демократия в самом точном смысле слова, иными словами, — демократия, для участия в которой и избирателям, и политикам надо было являться буржуа, точнее собственниками, причастными к образу жизни и ценностям господствующего социального класса. Но

<sup>23</sup> V. Simms. Op. cit., p. 38. Брендан Симмс наивно полагает, будто столь резкое изменение подхода было связано исключительно с борьбой против внешней угрозы, исшедшей от Франции. Однако и французская угроза, и сам переворот 1688 года были вызваны революционным процессом, происходившим в самой Англии. Власть перешла к буржуазии, которая теперь не видела причин ограничивать полномочия для своего собственного, защищающего ее интересы государства.

<sup>24</sup> C. Mooers. Op. cit., p. 170.

<sup>25</sup> См.: Ibid., p. 39.

<sup>26</sup> См.: L. James. Warrior Race, p. 272.



и низам общества данная система на первых порах давала определенные преимущества, такие как неприкосновенность личности и шанс повысить собственный статус, приобщившись к имущим классам. А главное, экономическое развитие, сопровождавшее политические успехи британского капитализма, вело к постепенному повышению жизненного уровня масс. Заработная плата английских рабочих была не только самой высокой в Европе, но и вполне достаточной для того, чтобы создать у трудящихся масс ощущение процветания — так продолжалось вплоть до индустриальной революции XIX века, которая была вызвана именно стремлением капиталистов повысить норму прибыли, усилив эксплуатацию наемного труда с помощью новых машин. Не удивительно, что сопровождавшее индустриальную революцию падение заработной платы привело не только к росту числа социальных конфликтов, но и к подъему политического движения чартистов, потребовавших избирательных прав для рабочих. Это, однако, произошло много позже, а в XVIII веке британский рабочий чувствовал себя свободным человеком и без избирательных прав и гордился институтами своей страны не меньше, чем представители имущих классов<sup>27</sup>.

В XVI–XVII веках Англия переживала демографический взрыв. Население по всей Европе росло, но здесь оно росло существенно быстрее, чем в соседних странах. По оценкам историков, население Франции увеличилось между 1500-м и 1650-м годами с 16,4 до 20 миллионов человек, Австрии и Богемии — с 3,5 до 4,1 миллиона, а Испании — с 6,8 до 7,1 миллиона. В последнем случае население выросло до 8,1 миллиона к 1600 году, но затем начало сокращаться за счет массовой эмиграции в американские колонии. Между тем в Англии за тот же период число жителей увеличи-

<sup>27</sup> Гордость за свое положение «свободных людей», безусловно культивировалась среди народных масс официальной пропагандой, но нет сомнения, что массы разделяли ее. Не случайно британские моряки охотно пели патристическую песню, написанную великим актером Дэвидом Гарриком (David Garrick) и превращенную ими самими в неофициальный гимн флота:

Мы гордые люди, нам море дает  
Простые уроки свободы.  
Мы будем достойно отстаивать честь  
Не знавшего рабства народа!

To honour we call you  
As free men not slaves  
For who are so free  
As the sons of the waves

Цит. по: *F. McLynn. 1759: The Year Britain Became Master of the World. London: Pimlico, 2005, p. 392.*

лось с 2,6 до 5,6 миллиона, иными словами, более чем удвоилось<sup>28</sup>. Отчасти этот прирост объясняется более высокой продолжительностью жизни на острове по сравнению с континентом. Если в Англии она составляла около 35 лет, то на континенте не более 30. Разумеется, все эти оценки являются весьма приблизительными и нередко оспариваются, но не подлежит сомнению, что общая тенденция была именно такова.

Общественный прогресс был далеко не безболезненным, но череда революционных потрясений, переворотов и контр-переворотов превратила английское государство в уникальный политический механизм, обеспечивающий защиту буржуазных интересов при поддержке значительной части масс. «Другие общества обладают писаными конституциями, где все куда более упорядочено, — гордо констатирует Маколей. — Но ни одно другое общество не сумело так соединить революцию с соблюдением привычных рецептов, прогресс со стабильностью и энергию молодости с величием древних традиций»<sup>29</sup>.

## НАЦИЯ И ФЛОТ

Оценивая перспективы Англии, один из авторов XVII века заявил: «Море это единственная империя, которая естественным образом может нам принадлежать» (*The sea is the only empire which can naturally belong to us*)<sup>30</sup>. Надо сказать, что выход Британии на передний план мировой истории в качестве морской державы совпадает с периодом серьезного прогресса в мореплавании. В процессе экономического развития не только улучшались навигационные качества кораблей, увеличивался их тоннаж, но и менялись, оптимизировались маршруты. К началу XVIII века английские суда, пересекавшие Атлантику, проходили этот путь на неделю быстрее, нежели в середине XVII столетия — не столько потому, что стали быстроходнее, а потому, что был успешно отработан маршрут. Усовершенствовались паруса, команды сокращались численно, становясь более профессиональными.

Американский адмирал Альфред Т. Мэхэн (Alfred Thayer Mahan) главной причиной неизменных успехов британского флота видел то, что, несмотря на смену правительств в Англии, ее лидеры постоянно занимались вопросами военного флота и «деятельность властей в этом направлении была последовательной и систематичной»<sup>31</sup>. На самом деле

<sup>28</sup> См.: R. Bonney. Op. cit., p. 365.

<sup>29</sup> Th. Macaulay. Op. cit., vol. 1, p. 25.

<sup>30</sup> Цит. по: N. Ferguson. Op. cit, p. 11.

<sup>31</sup> A. Th. Mahan. *The Influence of Sea Power upon History. 1660–1805*. London: Bison Books, 1980, p. 51. В русском издании написано: деятельность была «целесообразной», однако это явно не соответствует английскому выражению «consistent» (А. Т. Мэхэн. Влияние морской силы на историю. 1660–1783. Т. 1. М. — СПб.: АСТ — Terra Fantastica, 2002, с. 73).

история выглядит несколько сложнее. Вопреки мнению Мэхэна, английское правительство далеко не всегда уделяло флоту достаточное внимание. Для того чтобы британские элиты в полной мере осознали стратегическое значение флота и обеспечили ему эффективное управление, потребовалось немалое время.

Появление в начале XVI века галеонов, новых морских судов водоизмещением до 1500 тонн, дало толчок гонке вооружений, когда вслед за Испанией другие европейские государства — Франция, Дания, Англия и Шотландия — развернули масштабные программы создания океанского флота. Любопытно, кстати, что в этом плане даже такая второразрядная держава, как Шотландия, стремясь противостоять давлению соседней Англии, была способна предпринять усилия, сопоставимые с теми, что делали ведущие европейские страны. Между тем английские судостроители быстро обнаружили недостатки плавучих крепостей, создававшихся по испанскому образцу. Тяжелым высокобортным кораблям испанцев были противопоставлены более легкие и маневренные суда, являвшиеся по сути плавучими артиллерийскими батареями. Это дало английскому флоту явное превосходство в водах Ла-Манша, а позднее и в Атлантике. Однако стоимость судостроительной программы оказалась для того времени невероятно высокой. С 1574 по 1605 год только на создание флота (корабли, набор, обучение и содержание команд, привлечение для вспомогательной службы купеческих судов и т.д.) было потрачено 1,7 миллиона фунтов<sup>32</sup>.

В начале XVII века армия Стюартов была в еще более жалком состоянии, чем морские силы, а потому укрепление флота в условиях Тридцатилетней войны воспринималось как наиболее простое решение. Карл I Стюарт, сталкиваясь с постоянной нехваткой средств на строительство кораблей, ввел в 1634 году специальный «корабельный сбор» (Ship-money). В результате удалось создать внушительную силу в составе 19 королевских боевых кораблей и 26 вооруженных купеческих судов. Правда, эта его инициатива, как и другие финансовые начинания, не вызвала особого энтузиазма у подданных — надвигалась революция. Деньги на строительство кораблей охотно давала лишь буржуазия портовых городов, которая нуждалась в защите своей торговли. Однако, как отмечает историк Пол Кеннеди, это еще не был тот флот, который будет властвовать на морях, а «плохо обученные команды, плававшие на плохо построенных судах» (poor personnel and badly-designed vessels)<sup>33</sup>.

Несмотря на заботу Стюартов о строительстве новых кораблей, в гражданской войне флот поддержал парламент. Это более чем понятно — моряки военных судов были тесно связаны с моряками торгового

<sup>32</sup> См. L. James. *Warrior Race*, p. 157.

<sup>33</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of British Naval Mastery*, p. 44.

флота, которые, в свою очередь, жили общей жизнью и общими интересами с купечеством, большая часть которого одобряла революцию. Со своей стороны парламент в условиях противостояния с европейскими монархиями, поддерживавшими Стюартов, быстро осознал значение флота для защиты острова. Отныне флот «начинает рассматриваться как “национальная” сила, как сила, о которой должна заботиться вся страна, общее дело нации — и сопротивление, которое раньше оказывали “корабельному сбору” уходит в прошлое»<sup>34</sup>.

В годы Реставрации, хотя Стюарты и проявляли интерес к делам флота (особенно в связи с колониальной экспансией), он перестал получать необходимое финансирование и пришел в упадок. Даже во время войны с Голландией ситуация была плачевной. «Палата общин с легкостью выделила на войну беспрецедентные средства, суммы, превышавшие все, чем располагал Кромвель для поддержания своих армий и флотов, при упоминании которых трепетал весь мир, — писал со свойственным ему пафосом Маколей. — Но бессовестные, некомпетентные и капризные руководители, правившие страной после него, оказались неспособны разумно использовать эти средства. Придворные интриганы, в подметки не годившиеся такому выдающемуся политику, каким был голландский лидер де Витт, не говоря уже от таком великом адмирале, как де Рюйтер, быстро сколачивали себе состояния, тогда как матросы голодали и бунтовали, доки оставались без охраны, суда выходили в море с течью и плохо подготовленными к плаванию»<sup>35</sup>. Голландская эскадра умудрилась свободно войти в устье Темзы и поджечь стоящие там боевые корабли. Военные операции флота были неэффективными и нерешительными. И если в конечном счете условия мира оказались выгодными для Лондона, то лишь потому что объективное соотношение сил было слишком явно в пользу англичан — голландские политики были в достаточной степени реалистами, чтобы не сознать этого. К тому же бюджет Соединенных провинций находился на грани истощения. Победы обходились ему почти так же дорого, как поражения, а потому в Гааге старались прекратить войну поскорее, даже ценой односторонних уступок.

После окончания Англо-голландских войн, когда необходимость в активных боевых действиях на море отпала, состояние английского флота стало еще хуже. Эскадры перестали выходить в море, матросов не хватало. «Корабли гнили, стоя в реках, на бортах уже выросли, как известно из официального отчета, грибы-поганки размером с руку, обшивные доски рассыпались и разваливались под дождем и снегом»<sup>36</sup>. К середине

<sup>34</sup> Ibid., p. 45.

<sup>35</sup> Th. Macaulay. Op. cit., vol. I, p. 188.

<sup>36</sup> Э. Созаев, С. Махов. Борьба за господство на море. Аугсбургская лига. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008, с. 26.

1680-х годов положение дел несколько улучшилось, но даже «Славная революция» и последовавшая за ней война с Францией далеко не сразу придали флоту то значение, которое он обрел в последующие эпохи британской политики.

Задним числом принято считать, что «Славная революция», способствовавшая укреплению парламентских институтов и государственного аппарата, привела к резкому увеличению мощи армии и флота. Однако это произошло далеко не сразу, а главное — усилия правительства далеко не всегда были эффективны. Скорее даже наоборот.

Кадровые решения, принимавшиеся Вильгельмом Оранским, оставляли желать лучшего. Король подбирал людей на основе личной преданности. В результате добросовестный и компетентный командующий Артур Герберт граф Торрингтон (Arthur Herbert, Earl of Torrington) был заменен на бездарного карьериста Эдварда Расселла (Edward Russell), который к тому же был замешан в коррупционных скандалах. После смещения Расселла флот возглавил в 1693 году триумвират в составе адмиралов Шовеля (Shovell), Делаваля (Delaval) и Каллигрю (Killigrew). В 1693 году из-за безудержного пьянства, которому предавалось командование на базе в Торбее (Torbay), основные силы флота не оказали должной защиты богатейшему Смирнскому конвою (Smugna convoy), который был перехвачен французами. В сложившейся обстановке даже такой выдающийся флотоводец, как Джордж Рук (George Rooke) оказался бессилён что-либо сделать. Французская эскадра адмирала Турвилля (de Tourville) смогла захватить и потопить более 100 английских, голландских и ганзейских торговых кораблей. Победителям досталась добыча на 3 миллиона фунтов, сумма по тем временам фантастическая.

Однако готовность парламента выделять средства на строительство новых боевых кораблей и наличие многочисленного кадрового резерва сыграли свою роль. Если во Франции после страшного поражения при Ла-Хог (La Hogue) король Людовик XIV волновался в основном не о кораблях, а о судьбе адмирала Турвилля, то в Англии правительство могло с легкостью менять адмиралов. С пополнением рядового состава проблем было больше. Хотя в стране и не было недостатка в опытных моряках, военная служба была для матросов куда менее выгодной, чем плавание на торговых кораблях. Властям часто приходилось принуждать моряков к военной службе силой. Лишь к середине XVIII века положение дел стало меняться за счет повышения жалованья для служащих Королевского флота, которым теперь платили намного лучше, чем армейским солдатам и офицерам<sup>37</sup>.

<sup>37</sup> Политика английского правительства, направленная на привлечение людей во флот за счет жалованья, существенно превышающего армейское, была предметом острых дискуссий в прессе, но ничто не иллюстрирует ситуацию лучше, чем песенка, которую распевали девушки в портовых городах:

В 1702 году Вильгельм Оранский внезапно умер от воспаления легких, начавшегося после того, как он сломал плечо при падении с лошади. После его смерти положение дел на флоте стало выправляться. Королева Анна в дела Адмиралтейства сильно не вмешивалась, судостроительная программа позволяла вводить в строй все новые боевые корабли, а командование перешло в руки проверенных профессионалов подобных Джорджу Руку. Это немедленно сказалось на ходе боевых действий. Если даже под командованием трусливого и бездарного Рассела англо-голландский флот смог побеждать французов — главным образом за счет численного перевеса и выучки команд, — то теперь, получив решительного и компетентного руководителя, он начал одерживать одну победу за другой.

На фоне неудач регулярного флота Людовик XIV и его морское министерство все более делали ставку на каперов и корсаров, которые должны были подорвать англо-голландскую торговлю. Расчет правительства был не лишен коммерческой составляющей: «каперы довольно часто снаряжаются частными лицами (та есть государство не тратится на постройку кораблей, наем и содержание команды и т.п.), за выдачу корсарского патента берутся живые деньги, призы, приведенные в порты, продаются, а довольно большая часть от проданного поступает в казну короля и морское министерство»<sup>38</sup>. После того как адмиралу Турвиллю удалось одержать верх над англо-голландским флотом у Бичи-Хед (Beachy Head), морской министр Луи Поншартрен (Louis Pontchartrain) писал ему: «Захват вражеского конвоя стоимостью 30 миллионов ливров имеет гораздо большее значение, чем новая победа, подобная прошлогодней»<sup>39</sup>. Однако несмотря на отдельные успехи вроде захвата Смирнского конвоя, французские корсары и флот не смогли нанести решающего удара

---

У матросов есть монеты,  
У солдат лишь барабан.  
Буду я любить матроса,  
А солдатам я не дам.

Sailors, they get all the money,  
Soldiers, they got none but brass,  
I do love a jolly sailor,  
Soldiers they may kiss my arse.

Эта песенка приводится в истории Королевского флота, написанной Артуром Германом (A. Herman. *Op. cit.* p. 295).

<sup>38</sup> Э. Созаев, С. Махов. *Цит. соч.*, с. 59.

<sup>39</sup> *Цит. по:* Там же, с. 60.

по британской торговле. За время войны Аугсбургской лиги в Англию и Голландию пришло более 30 тысяч судов, тогда как французам удалось перехватить около одной тысячи. В самые трудные для союзников годы — 1691 и 1693 — они потеряли соответственно 15 и 20% торговых судов, что, конечно, означало серьезный удар по экономике. Но очень скоро налаженная система конвоев, блокирование каперских баз и эффективное патрулирование опасных зон кораблями Королевского флота изменили ситуацию. С другой стороны, в ходе ответных ударов англичане захватили 1296 французских судов, многие из которых принадлежали корсарам<sup>40</sup>. Значительная часть потерянных судов была отбита назад. Эта система защиты морских конвоев и блокад успешно показала себя и в ходе войны за Испанское наследство, когда господство на море окончательно закрепилось за англичанами.

#### «ИРЛАНДСКОЕ СЧАСТЬЕ» И «ШОТЛАНДСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Эра экспансии началась для Англии не только завоеванием колоний и морскими победами над голландцами, но и борьбой за объединение Британских островов в рамках единого государства. На протяжении нескольких столетий Ирландия была сферой влияния Англии, хотя Лондон периодически утрачивал власть над ней, а контроль англичан, то усиливавшийся, то ослабевавший, редко распространялся на остров в целом. Напротив, Шотландия оставалась независимым королевством, успешно отстаивавшим свою самостоятельность, имевшим собственную армию и флот и даже предпринимавшим — правда, без успеха — собственные колониальные инициативы.

Точно так же, как разной была судьба этих двух королевств до их объединения с Англией, непохожей она оказалась и после объединения. Имея, после восхождения на лондонский престол Стюартов, формально общего монарха, три королевства сохраняли самостоятельные институты, различия в политической системе и общественной жизни. Каждая смена власти в Англии оборачивалась гражданскими войнами и конфликтами в Шотландии и Ирландии, за которыми следовали английские интервенции. Несмотря на то, что в XVII–XVIII веках восстания в Ирландии происходили с завидной регулярностью, было бы неверно представлять эти события как межнациональный конфликт или борьбу за независимость. Ирландские католики выступали против Лондона не для того, чтобы отделиться от него, а для того, чтобы вернуть к власти в Англии сочувствовавшую католицизму династию Стюартов. Иными словами, то что задним числом могло восприниматься как англо-ирландское

<sup>40</sup> См.: Там же, с. 89–90.

противостояние, для современников в первую очередь являлось гражданской войной, то и дело охватывавшей все Британские острова.

К началу XVIII века и Шотландия, и Ирландия в социально-экономическом плане явно превратились во внутреннюю периферию английского капитализма, но политические различия оставались более чем значимыми. Потому консолидация английского капиталистического режима закономерно требовала и политической консолидации Британских островов. В отношении Шотландии эти усилия завершились успехом к середине XVIII века, в то время как Ирландия формально была включена в Соединенное Королевство лишь в 1801 году.

Социально-культурные и экономические результаты объединения в Шотландии и Ирландии разительно контрастировали. В Шотландии, несмотря на экономический кризис в отсталых горных районах, буржуазия и аристократия с энтузиазмом включились в общий проект Британской империи, тогда как Ирландия, несмотря на политическое единство с Англией, оставалась поставщиком ресурсов для более богатого и развитого соседа.

На фоне успешного социально-экономического развития Шотландии и более или менее удачной интеграции Уэльса в состав Соединенного Королевства возникает вопрос о том, почему этот процесс обошел стороной Ирландию. Из трех окраин Британской монархии, именно Ирландия приобрела к середине XIX века твердую репутацию «белой колонии», а к началу XX столетия стала ареной мощного национально-освободительного движения. Между тем было бы совершенно неверно описывать всю историю английского господства в Ирландии в категориях национального или религиозного угнетения. Как отмечает ирландский историк Эон Нисон (Eoin Neeson), в Средние века нормандцы, уже завоевавшие в 1066 году Англию, были «приглашены» на соседний остров «прийти на помощь союзникам — так же как позднее Соединенные Штаты и Советский Союз были приглашены спасти близкие им режимы во Вьетнаме и Афганистане — хотя, конечно, политические нравы того времени отличались от того, что мы находим в XX веке»<sup>41</sup>.

На протяжении нескольких столетий, находясь формально под властью английских королей, Ирландия, с одной стороны, не была вполне завоевана, а с другой стороны, не имела и собственного государства. Здесь периодически вспыхивали восстания и мятежи, но ни по своему характеру, ни по масштабам они не отличались от того, что регулярно происходило и в самой Англии. Сопrotивление власти Плантагенетов было в Ирландии несравненно слабее, чем в соседней Шотландии, которая, несмотря на разобщенность кланов и областей, все же отстояла свою независимость, и даже в Уэльсе, где Гарри Ланкастерский столкнулся с

<sup>41</sup> E. Neeson. *Birth of a Republic*. Dublin: Prestige Books, 1998, p. 22.



многолетней партизанской войной. Что касается дискриминации коренного населения, то она не принимала таких суровых форм, как в том же Уэльсе.

Одной из проблем политической организации в Ирландии было отсутствие «собственной» элиты, которая имела бы цели, аналогичные английской, и могла бы договориться с Лондоном об условиях компромисса. Повторное завоевание Ирландии Тюдорами в XVI веке и последующие экспедиции, организованные сторонниками парламентского правления в Лондоне, были направлены против старой англоязычной феодальной элиты (*old English*), по крайней мере, в той же мере, что и против сопротивлявшегося британскому владычеству коренного населения. «В 1600 году и позднее ирландская политическая система отличалась крайней фрагментированностью. Разные народы, по-разному определявшие себя как “ирландцев”, то отвергали законность официальной власти, то жили собственной жизнью, игнорируя ее»<sup>42</sup>.

Как отмечает ирландский историк, первоначально Тюдоры в Ирландии не преследовали каких-либо четких экономических целей: «Это завоевание было осуществлено исключительно из стратегических соображений»<sup>43</sup>.

Ирландия была для любого военного противника Англии великолепным плацдармом для последующего вторжения на остров. Миф, согласно которому иностранных армий не было на территории Англии со времен Нормандского завоевания в 1066 году, сложился гораздо позднее, благодаря провалу планов высадки французского десанта, который готовился несколько раз на протяжении XVIII века. Тем не менее более скромный по численности французский экспедиционный корпус высаживался и в Шотландии, и в Ирландии неоднократно. Ирландия и Шотландия также использовались и в качестве баз роялистскими силами, разгромленными в Англии. Планы вторжения в Англию через Ирландию не раз обсуждались в XVIII веке во Франции, а в XX веке — в Германии.

Но, как замечает ирландский историк, государство, в котором буржуазия играла растущую роль, не могло ограничиться только военно-стратегическими задачами: «после того, как завоевание было закончено, стратегические соображения уступили место коммерческим»<sup>44</sup>. Ирландия поставляла Англии сельскохозяйственную продукцию и людей. Ирландские бойцы сражались уже в армии Генриха VIII, наводя ужас на французов во время экспедиции в Булонь.

В начале XVII века в Северной Ирландии бастионом сопротивления английскому господству был Ольстер, где королева Елизавета и насле-

<sup>42</sup> R.F. Foster. *Modern Ireland: 1600–1972*. London: Penguin Books, 1989, p. 3.

<sup>43</sup> E. Neeson. *Op. cit.*, p. 23.

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 24.

довавшие ей Стюарты конфисковали владения старой кельтской знати, раздав их протестантским колонистам, основная масса которых прибыла из Шотландии. Так Ольстер — еще до начала освоения британцами Северной Америки — превратился в первую колонию, «общебританскую» по составу населения и политическому статусу. Это было начало Империи.

Правительство Кромвеля, как и положено бонапартистскому режиму, склонно было к внешней экспансии, однако территориальные амбиции лорда протектора выглядят на первый взгляд довольно скромными. Революция и замена монархии парламентским правительством не изменила политику Англии в Новом Свете. «В годы республики (Commonwealth) интересы колониальной коммерции отставались даже более энергично, чем прежде», — констатирует Робин Блекборн (Robin Blackburn)<sup>45</sup>. Однако основные усилия Лондона были направлены в первую очередь на то, чтобы установить эффективный контроль над всей территорией Британских островов, окончательно подчинив Ирландию и поставив своих людей у власти в Шотландии. Как и более поздние постреволюционные режимы, протекторат Кромвеля находился во враждебном внешнем окружении, а потому его наступательные планы были, в известной мере, продолжением оборонительных.

При Карле II, задолго до того, как три королевства официально соединились в единое государство, началось формирование единого офицерского корпуса — король перемещал военных не только с одной должности на другую, но и между армиями. Молодые шотландские дворяне, которые раньше искали славы и денег, нанимаясь служить иностранным государям (особенно активно — в Россию и Польшу), теперь имели возможность сделать карьеру в Англии. При этом сам офицерский корпус, сохраняя старые традиции и звания, становился все менее аристократическим и все более буржуазным по своему составу. Тем самым армия выполняла важную функцию социально-культурной интеграции нового правящего класса. Шотландские военные, попавшие в эту систему, участвовали в процессе формирования новой элиты еще до того, как сама Шотландия формально слилась с Англией в одном государстве<sup>46</sup>.

Но хотя политика Лондона в отношении Ирландии и Шотландии основывалась на схожих принципах, к концу XVIII столетия и Уэльс, и Шотландия оказались, хоть и относительно бедными, но вполне интегрированными в британское общество территориями, чего нельзя сказать об Ирландии. Религиозная проблема, легко преодоленная в Шотландии, здесь превратилась в серьезный идеологический конфликт. А экономика

<sup>45</sup> R. Blackburn. *The Making of New World Slavery*, p. 246.

<sup>46</sup> См.: N. Davidson. *Op. cit.*, p. 46–47.

Ирландии, в которой доминировали крупные землевладельцы, демонстрирует явные черты периферийного развития.

Именно в характере ирландского аграрного общества, скорее всего, и надо искать причину нерешенного национального вопроса. Протестантская землевладельческая элита острова заинтересована была в сохранении своего положения и, демонстрируя неизменную лояльность Лондону, одновременно требовала от центра поддержки своих, феодальных, в сущности, привилегий. Если буржуазная элита Нижней Шотландии (Lowland) оказалась способна, опираясь на поддержку Лондона, преодолеть сопротивление феодальных кланов Горной Страны (Highland), то в Ирландии буржуазия, сосредоточенная в окрестностях Дублина и на Севере, была значительно слабее, а главное, как и в странах периферии, оказалась органически связана с помещичьим земледелием, чего мы не обнаруживаем в Шотландии, где старая аристократия обуржуазилась по английскому образцу. Именно в сохранении полуфеодальных отношений, а не в этнических или религиозных различиях между англичанами и ирландцами следует искать причину все более глубоких противоречий, разделивших две части Британских островов.

Другое принципиальное отличие Шотландии от Ирландии состояло в том, что в первом случае существовало собственное государство, как и собственная буржуазия, развивавшиеся в тесной взаимосвязи с английскими партнерами, но все же самостоятельно. Это государство показало себя крайне неэффективным в плане создания национальной общности, так же как и буржуазия — в процессе накопления. По сути структуры шотландского капитализма, тесно переплетенные с феодальными, напоминали скорее полупериферийное общество, вызывая у историков сравнение с Восточной Европой<sup>47</sup>. Однако само по себе существование шотландского государства, как и осознание местными элитами его неспособности, сыграли значительную роль в преобразовании общества. Шотландский «национальный проект» был завершен буржуазией и модернистски настроенной частью аристократии при помощи Англии и в рамках британской нации (и империи). Ничего подобного ирландская буржуазия или ирландская аристократия предложить не смогли. Английская власть была слишком слаба, чтобы реально контролировать остров, но слишком сильна, чтобы предотвратить формирование там другого государства. Многочисленные представители британской интеллектуальной и политической элиты XVIII и XIX веков родились и выросли в Дублине — Эдмунд Бёрк, Джонатан Свифт (Jonathan Swift), Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон (Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington) и многие другие. Но их карьера и успех связаны исключительно с Англией, независимо от того, как они относились к «ирландскому вопросу».

<sup>47</sup> См.: N. Davidson. Op. cit., p. 31–34, 55–56.

Напротив, шотландская элита, активно поддерживавшая имперский проект, не склонна была рвать связи с родной страной. Глазго превратился в один из важнейших торговых и позднее индустриальных центров Британской империи, а Эдинбург оставался важным политическим и интеллектуальным центром, — эти города не только не утратили своего значения после объединения с Англией, но, напротив, продолжали успешно развиваться. В XIX веке Глазго прочно закрепил за собой позицию «второго города Британской империи». Даже в архитектурном плане с буржуазными кварталами, «сравнимыми по изяществу с Парижем и Венной» (*elegance comparable to those of Paris or Vienna*)<sup>48</sup>. Идеологическим выражением этого успеха были не только труды теоретиков «Шотландского просвещения», самими известными представителями которого стали экономист Адам Смит и философ Дэвид Юм (David Hume), но и последующее творчество шотландских романтиков — литераторов и историков. И те и другие закладывали общие основы господствующей в империи либеральной идеологии и самой британской идентичности. Парадоксальным следствием этого оказалось размывание собственной «английской» культурной и политической идентичности, которая была поглощена «британской», тогда как «шотландские» культурные и этнографические особенности тщательно культивировались как одна из важнейших опор единой британской нации. Исторические мифы формирующейся империи включили в список своих положительных героев не только королей, политиков и писателей, прославивших Англию, но и шотландских феодальных вождей, одержавших победы над англичанами. А военно-административные кадры, вышедшие из Шотландии, заняли непропорционально большое место в аппарате империи — вплоть до ее ликвидации в XX веке.

Шотландский вопрос решался в значительной мере за счет ирландского, о чем, в частности, свидетельствует история Ольстера, который подвергся скорее шотландской, чем английской колонизации. Социальный конфликт, наложившийся на религиозное противостояние крестьянского католического большинства с протестантской элитой и колонистами в сочетании с периферийным характером экономического развития, создавал почву для национального противостояния. Чем более отсталыми были аграрные отношения, чем более консервативным оставалось ирландское общество, тем более в нем зрели условия для сопротивления.

Если Шотландия разделила с Англией ее успех, то Ирландии досталось лишь бремя империи. То самое «ирландское счастье», о котором жители острова вспоминают со смесью горести и гордости.

<sup>48</sup> См.: *Glasgow*, vol. II: 1830 to 1912. Ed. by W.H. Fraser and I. Mavor. Manchester: Manchester University Press, 1996, p. 3.

## ФРАНЦУЗСКИЙ ВЫЗОВ

На протяжении XVII века Англия и Франция, как правило, выступали союзниками — сначала против Габсбургов, а потом и против Голландии. В 1657–1658 годах солдаты Оливера Кромвелля, знаменитые «железнобокие», под командованием французского маршала Тюренна сражались с испанцами во Фландрии. Победа позволила лорду-протектору Англии присоединить к своим владениям Дюнкерк, который должен был стать для англичан воротами на континент. Данное приобретение отнюдь не пугало французов, точно так же как позднее, во времена Реставрации, когда нуждающийся в деньгах английский монарх Карл II продал этот порт своему французскому союзнику, в Лондоне не воспринимали подобное решение как серьезный удар по стратегическим позициям. Разумеется, многие были недовольны, сетуя на то, как король разбазаривает плоды побед, достигнутых в годы протектората, но мало кто мог тогда подумать, что Дюнкерк станет базой для французских корсарских рейдов против английской торговли. В 1672 году Франция и Англия в очередной раз выступают союзниками против Голландии.

«Славная революция» резко меняет расклад, превращая Англию и Голландию из противников в союзников. Последовавшая затем череда англо-французских конфликтов и войн не только определила основные черты европейской политики на протяжении следующего столетия, но и оказала огромное влияние на экономическое и социальное развитие.

Оценивая британскую политику XVIII века, английский историк Брендан Симмс подчеркивает, что она «была движима не экономическими, а стратегическими соображениями»<sup>49</sup>. Полемизируя с историками, которые представляют английскую внешнюю и политику просто как продолжение коммерческих интересов, Симмс постоянно ссылается на военно-политические цели, ради которых то и дело приходилось жертвовать текущей коммерческой выгодой. В готовности преследовать подобные цели он видит принципиальное отличие политики либералов-вигов, Вильгельма Оранского и позднее ганноверского режима от ориентации на узко понимаемые выгоды колониальной экспансии, за которую ратовали Стюарты и позднее консерваторы-тори. Действительно, именно наличие такой политической и военной стратегии отличало британскую олигархию XVIII века от голландской, расцветшей на столет раньше. Однако нельзя забывать, каким целям и интересам в конечном счете была подчинена стратегия.

Идеологические соображения вроде «защиты протестантизма» несомненно играли некоторую роль, но никогда не были определяющими (не мешая бороться с протестантской Голландией или Швецией и на опре-

<sup>49</sup> B. Simms. *Op. cit.*, p. 142.

деленных этапах сотрудничать с католической Францией, Португалией или Австрией). Интересы британского капитала в целом (а не только его торговые выгоды) постоянно оставались в центре внимания государственных деятелей, определяя как стратегические ориентиры их политики, так и границы их свободы в выборе партнеров и союзников.

Лоуренс Джеймс замечает, что в вопросах колониальной политики, несмотря на острую межпартийную борьбу Тори против Вигов, наблюдалось «очевидное единство интересов среди политически активных классов»<sup>50</sup>. Для богатых людей не было особой проблемы в том, чтобы получить место в парламенте, зачастую за счет подкупа избирателей. Купцы и плантаторы, имевшие значительную собственность в колониях, директора Ост-Индской компании, а также офицеры армии и флота составляли значительную часть депутатского корпуса, Лоуренс Джеймс насчитал не менее трех сотен таких депутатов в Вестминстере за период с 1754 по 1780 год<sup>51</sup>.

Британские элиты прекрасно понимали, что основная угроза для их интересов и на европейском континенте, и в колониях исходит из Франции. И они не жалели ни сил ни средств для того, чтобы обеспечить себе долгосрочное стратегическое преимущество над этим противником.

Противостояние английского и французского торгового капитала, разразившееся в конце XVII века, существенно отличалось от предшествовавшего ему англо-голландского конфликта. Англия и Голландия были державами во многом похожими друг на друга, и их правящие круги исповедовали во многом схожие стратегические принципы. Разница была лишь в том, что Англия обладала большими ресурсами, имела более выгодное географическое положение, а главное, ее элита оказалась более способна мыслить на перспективу, в том числе и жертвуя сиюминутной коммерческой выгодой. Это и предопределило исход борьбы.

Напротив, в лице Франции английской буржуазной монархии противостояла держава совершенно иного типа, выработавшая собственную стратегию гегемонии. Эта стратегия была основана на использовании политических и военных возможностей французского абсолютизма, выгодного географического положения страны и отчасти даже ее культурного влияния, — превращая свой версальский двор в образец для подражания всех европейских королей, Людовик XIV добивался не только восхищения соседей, но и признания ими Франции в качестве ведущей страны континента. По этой же самой причине лондонское высшее общество оставалось менее восприимчиво к французским культурным влияниям и французской моде, чем немецкое, польское или русское.

<sup>50</sup> L. James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 53.

<sup>51</sup> См.: *Ibid.*, p. 53.

Если английская торговая гегемония опиралась на морское господство, контроль над океанскими путями и поставками в Европу заморских товаров, то Франция Людовика XIV противопоставила этому попытку политического контроля над европейским континентом. Военно-политическая стратегия «короля-солнце» ограничено увязывалась с протекционистскими идеями Кольбера. Англии нужно было держать континентальные рынки открытыми. Колониальная торговля недорого стоила без доступа к европейским рынкам, поэтому континентальная стратегия Лондона на протяжении двух с лишним столетий сводилась к простой формуле равновесия. Не допустить, чтобы политическое господство над континентом оказалось в руках какой-либо одной державы — за политическим контролем в условиях меркантилизма неминуемо следовал контроль над рынком. Напротив, французская стратегия гегемонии диктовала необходимость агрессивной территориальной экспансии, подчинения соседей и военно-политического доминирования, что давало возможность Британии выступать в роли защитника «европейской свободы». Таким образом, весь XVIII век прошел в плане международной политики под знаком противостояния французской стратегии континентальной гегемонии и английской концепции морской гегемонии, опирающейся на геополитическое «равновесие» сухопутных держав.

Первой пробой сил между соперниками стала война Аугсбургской лиги, разразившаяся в 1688–1697 годах, а высшей точкой полуторавекового стратегического противостояния оказалась континентальная система Наполеона, пытавшегося закрыть европейские рынки для английских товаров<sup>52</sup>.

В этой борьбе Лондон не только стремился ослабить Францию, но и добивался сохранения на континенте устойчивого политического равновесия, которое не позволило бы ни одной стране контролировать ситуацию. Поэтому, как отмечают историки, несмотря на то что англичанам воевать приходилось в основном с французами, проводимая Лондоном внешняя политика отнюдь не сводилось к соперничеству с Парижем. «Британская политика создания сдержек и противовесов, — пишет Бенно Тешке (Benno Teschke), — формировалась в эпоху, когда в Европе существовала своего рода “смешанная” система государств, еще не ставших капиталистическими, но вовлеченных в геополитический процесс накопления капитала»<sup>53</sup>. Будучи единственным (за исключением слабеющей Голландии) капиталистическим государством, Англия имела неоспоримые преимущества, используя в своих целях династические, конфессиональные и территориальные конфликты континентальных

<sup>52</sup> Показательно, что в XX веке тот же сценарий отчасти повторился в ходе англо-германского конфликта.

<sup>53</sup> B. Teschke. Op. cit., p. 11.

держав, противопоставляя их друг другу, а иногда и сталкивая между собой. В конечном счете этот процесс «трансформировал династические монархии континента, дав толчок долгосрочному и неравномерному социально-политическому и геополитическому процессу»<sup>54</sup>.

Тем не менее было бы неверно представлять себе британскую элиту как единственную подлинно сознательную силу, действовавшую в европейской политике, а английскую буржуазию в качестве единственной движущей силы глобального капиталистического развития.

В династических государствах континента не только активно формировались буржуазные отношения, но и складывались собственные влиятельные группы интересов, способные не только направлять развитие по капиталистическому пути, но и бросать вызов английской гегемонии и британскому сценарию развития глобального капитализма. Именно в этом состоял смысл противостояния между Францией и Англией («второй Столетней войны») на протяжении всего XVIII века.

Если в Англии и Голландии итогом борьбы было торжество буржуазных институтов власти, то в других странах победу одержала абсолютная монархия. Однако победившая монархическая власть обречена была решать те же вопросы, что и буржуазные парламентские режимы. А буржуазные парламенты в полном соответствии с философией Томаса Гоббса должны были действовать жестко и эффективно, выступая в качестве коллективного монарха. Различия между британской моделью ограниченной (но еще не конституционной) монархии и континентальным абсолютизмом, разумеется, велики, но речь не идет о двух принципиально несовместимых системах. И в том и в другом случае основой власти является не народный суверенитет, не демократия, а компромисс элит. Только в Британии мы видим общественный договор, формализованный и четко зафиксированный на основе уже буржуазного права, а на континенте — неформальный, подверженный произвольному пересмотру сговор, опирающийся на феодальные нормы и традиции.

Французское государство играло еще большую роль в развитии капитализма, нежели британское. Задним числом либеральные идеологи именно в излишнем вмешательстве правительства видели причину неудачи, которую потерпела Франция в борьбе с Англией. Однако французский опыт может считаться неудачным лишь на фоне британского и лишь в той мере, в какой критерием успеха является не больше не меньше, как мировая политическая и экономическая гегемония. Напротив, на фоне других европейских держав (особенно на фоне Испанской империи с ее грандиозными ресурсами) развитие Франции в XVII–XVIII веках вполне может рассматриваться как история успеха. Сама по себе способность вести на протяжении полутора столетий (не-

<sup>54</sup> Ibid., p. 11–12.



смотря на череду неудач) борьбу за глобальную гегемонию, свидетельствует о мощи и эффективности как французского государства, так и французской буржуазии.

Французская модель коррупционного партнерства между государством и капиталом стала стихийным образцом для других европейских монархий, включая и Российскую империю. И если во Франции она была уничтожена революцией вместе со Старым режимом, то в других странах оказалась куда прочнее, будучи закреплена сложившимися на этой основе обычаями и культурой. Другое дело, что к середине XIX века французское политическое влияние, которое испытывали не только правящие круги и верхушка буржуазии, но и все образованные слои общества, способствовало распространению на континенте демократических идей в гораздо более радикальной форме, чем они формулировались в Англии. Аристократическое подражание элит французскому двору создавало почву для восприятия французских просветительских идей в средних слоях, способствуя возникновению интеллигенции Германии и России.

Однако не случайно и то, что идеи буржуазного демократического радикализма, овладевая умами интеллектуалов, были менее свойственны самой буржуазии Центральной и Восточной Европы, которая по своему развитию и социальной организации во многом напоминала коммерческие элиты французского Старого режима. Неформальное соглашение с государством позволяло осуществлять накопление капитала, сводя к минимуму риск и перекладывая издержки на низшие слои общества, наименее вовлеченные в буржуазную экономику.

Как пишет английский историк Джордж Тейлор (George Taylor), «самые впечатляющие капиталистические предприятия в эпоху Старого режима стали возможны благодаря королевским финансам и политическим комбинациям, а не частной инициативе в сфере промышленности или морской торговли»<sup>55</sup>. Правительство играло решающую роль в организации торговых компаний и налаживании мануфактурного производства. Однако, как отмечают современные исследователи, будет совершенно неверно полагать, будто «частные торговцы страдали под этим бременем»<sup>56</sup>. Буржуа наживались на казенных подрядах, созданные правительством предприятия они использовали в своих интересах. Убытки короны то и дело оборачивались частной прибылью. Другое дело, что подобная практика коррупционных и неформальных связей между буржуазией и монархией (начало которой можно наблюдать уже во времена

<sup>55</sup> English Historical Review, July 1964, vol. 79, p. 491; G. Taylor. Types of Capitalism in Eighteenth Century France.

<sup>56</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 95.

Столетней войны) не способствовала превращению предпринимателей в политический класс, развитию представительных институтов и модернизации правовой системы.

Во Франции при Старом режиме коррупция была неискоренима, поскольку оказалась своеобразной формой компромисса между традиционными элитами и буржуазией, формой приватизации государственных средств. Именно поэтому «третье сословие», вернее его верхушка, имевшая доступ к финансовой и хозяйственной деятельности государства, не только не боролась с подобной практикой, но до определенного момента сама была в ней непосредственно заинтересована. Эта коррупция была частично институционализована (например — сбор налогов и других поступлений в бюджет через откупщиков).

«На бумаге экономические ресурсы Франции превышали английские, но из-за плохого управления они не могли быть использованы должным образом», — констатирует английский историк Лоуренс Джеймс. Причина такого положения очевидна: «Сбор доходов в казну был приватизирован, благодаря чему администраторы могли присваивать себе огромные суммы денег, снижать налоговое бремя для богатых и перекладывать его на тех, кому и так приходилось тяжелее всего — на беднейшие слои населения»<sup>57</sup>.

Разумеется далеко не всегда во Франции казенные средства развивались. Кольберу на недолгое время удалось установить режим жесткой экономии и эффективного расходования средств. Его сын Жан-Батист маркиз Сеньелэ (Jean-Baptist, marquis de Seignelay), будучи морским министром, сумел построить сильный флот, потратив сравнительно небольшие средства. За 19 лет правления семьи Кольберов на флот потратили 216 миллионов ливров. Во Франции в начале XVIII века военные расходы поглощали три четверти государственного бюджета<sup>58</sup>. Особые усилия были затрачены на создание морского флота. Еще во времена Кольбера правительство развернуло широкомасштабную программу военно-морского строительства, включавшую не только спуск на воду мощных линейных кораблей, но и создание баз для флота. По мнению Мэхэна, в этом плане рациональное французское планирование за несколько лет достигло того, на что англичанам и голландцам потребовалось несколько поколений: «В течение недолгого управления Кольбера видна вся теория морской силы, проведенная в практику излюбленным Францией путем систематической централизации»<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> L. James. *Warrior Race*, p. 273.

<sup>58</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 95.

<sup>59</sup> А. Т. Мэхэн. Влияние морской силы на историю, с. 86 (англ. изд.: *A. Th. Mahan. The Influence of Sea Power upon History. 1660–1805*. London: Bison Books, 1980, p. 58).

Однако французское правительство, несмотря на всю централизацию власти, свойственную абсолютизму, оказалось в создании флота куда менее последовательно, чем английское. Причину надо искать в классовых интересах буржуазии, которые оказались более последовательно и систематически представлены в вестминстерском парламенте, нежели в версальском дворе Бурбонов. Слишком многое зависело от отдельной личности. После смерти Сеньелэ в 1690 году ситуация мгновенно изменилась. Расходы стали стремительно расти. Если в последний год деятельности маркиза содержание эскадр и портовых сооружений обходилось в 17 миллионов ливров, то в 1691 году уже в 24 миллиона, а в 1692 на те же цели потратили 29 миллионов. Стоимость одной порции питания для матросов выросла с 5 до 12 су, хотя кормить моряков лучше не стали. Если сравнить эпоху Кольберов и последующие 19 лет, то видно, что расходы выросли более чем в два раза (495 миллиона ливров), а флот терпел одно поражение за другим<sup>60</sup>. В 1701 году смерть графа Турвиля лишила Францию единственного адмирала, способного одерживать победы над англичанами и голландцами.

#### ОШИБКА «КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ»

Война Аутсбургской лиги была первым столкновением английских и французских интересов, развернувшимся не только в Европе, но и по всей Атлантике. Она закончилась тактическим успехом британцев — цели, которые поставил перед собой Людовик XIV, достигнуты не были, но обе стороны прекрасно понимали, что мир между ними был не более, чем кратковременной передышкой. Новым поводом для войны оказался династический кризис в Испании.

Когда Карл II, последний из испанских Габсбургов, умер в ноябре 1700 года, Людовик XIV не только провозгласил Филиппа Анжуйского королем Испании, но несколько месяцев спустя объявил его и своим наследником. Французский монарх отныне пытался сам управлять Испанией и ее заокеанскими владениями, заявив, что между Францией и Испанией «нет больше Пиренеев» (*il n'y a plus de Pyrénées*)<sup>61</sup>. Армии Людовика оккупировали Испанские Нидерланды, поставив под свой контроль их портовые и торговые города. Первым следствием испано-французской унии оказалось закрытие испанских владений для английской и голландской коммерции. Конфликт вокруг испанского наследства, который еще за год или два до того, выглядел запутанным династическим спором, превратился в очередной раунд торгового соперничества.

<sup>60</sup> См.: Э. Созаев, С. Махов. Цит. соч., с. 57.

<sup>61</sup> F. Ancillon. Tableau des révolutions du système politique de Europe, t. 4, p. 460.

Людовик XIV, возможно, не сознавая этого, пытался возродить глобальный проект «мира-империи», не удавшийся Карлу V и Габсбургам. Теперь Франция, усилиями которой этот проект был похоронен, сама стремилась занять то же место. Однако времена изменились и шансов на успех у «короля-Солнце» было немного, несмотря на его военную мощь и политическое влияние. Вооруженные силы Франции были по-прежнему самыми значительными в Европе, а ее флот, как показала война Аугсбургской Лиги, был вполне способен бороться за морское господство с Англией и Голландией, даже объединившими свои силы. Но исход войн решают не только большие батальоны. Политическая и социальная организация парламентской Англии была тем преимуществом, значение которого пока еще в полной мере не оценили другие державы Европы.

Английская монархия, действовавшая в тесном согласии с буржуазией, оказалась крайне эффективной в мобилизации ресурсов для войны. Успешно действовала и ее дипломатия, быстро сформировавшая против Людовика широкую коалицию. Неудача французских попыток вернуть на лондонский трон низвергнутого Якова II продемонстрировала всей Европе, что с Парижем можно бороться. Это убеждение крепло вместе с английскими финансовыми субсидиями, поступавшими в казну союзных с Лондоном государств, а порой и просто в карманы заинтересованных лиц.

В 1706 году французы осадили Турин, который был в то время столицей герцогства Савойского. Австрийские войска, пришедшие на помощь союзнику, нанесли поражение французам. Северная Италия оказалась под контролем австрийцев. В 1708 году французы были разбиты ими при Ауденарде (Oudenaarde). Английские десанты захватили остров Менорку и Гибралтар, первым губернатором которого стал знаменитый адмирал Рук (Rook). С помощью британского флота эрцгерцог Карл высадился в Испании. Его поддержали традиционно недовольные властью Мадрида восточные провинции — Каталония и Арагон. Для Каталонии эта война была продолжением борьбы за самоуправление и традиционные вольности, которую в XVII веке провинция вела против правивших в Мадриде Габсбургов при поддержке Франции, а теперь совместно с англичанами и австрийскими Габсбургами — против французских Бурбонов, захвативших власть в столице. Династический вопрос был не более чем поводом для отстаивания специфических региональных интересов. В свою очередь, это предопределило неудачу эрцгерцога Карла. Захватив Мадрид при помощи англичан и каталонцев, он не нашел там поддержки и вынужден был покинуть столицу. Английский экспедиционный корпус капитулировал, эрцгерцог покинул страну, а каталонцы в очередной раз были преданы союзниками и предоставлены самим себе.

В то время как на Западе Европы развернулась война за Испанское наследство, Россия, Дания и Саксония начали боевые действия против Швеции. Этот конфликт, вошедший в историю как Северная война, оказался настоящим подарком для английской политики, поскольку сковал силы шведов, не дав им возможности поддержать Францию — своего традиционного союзника. На Западе друг другу противостояли две коалиции — Франция и Бавария боролись против Англии, Голландии и Австрии, в то время как в самой Испании, престол которой оспаривался, развернулась гражданская война между сторонниками французских Бурбонов и австрийских Габсбургов. Напротив, на Востоке шведы сражались в одиночку против союза России, Дании и Саксонии, составленного при поддержке англо-голландской дипломатии. Однако соотношение сил оказалось далеко не благоприятным для союзников, терпевших неудачи всякий раз, когда на поле боя появлялись основные шведские силы, возглавляемые Карлом XII, быстро снискавшим славу непобедимого полководца. В 1707 году шведский король, разгромив саксонцев, колебался — двинуться на Восток, нанеся удар России, войска которой, пользуясь его отсутствием, захватывали один за другим города в Прибалтике, либо выступить на помощь своим французским союзникам, положение которых становилось все более критическим. Английское правительство отреагировало на эту опасность дипломатической миссией, возглавлять которую поручено было ни кому-либо, а герцогу Мальборо — командующему британскими силами на континенте, уже прославившему себя победой при Бленхайме. Лестью, уговорами и, возможно, угрозами английский генерал сумел убедить шведского короля отказаться от похода на Запад, после чего армии Карла XII двинулись против Петра Великого в Россию. Итогом этой кампании был разгром шведов под Полтавой.

В стратегическом смысле Полтавская битва решила проблемы Англии ничуть не меньше, чем способствовала возвышению петровской России, ибо раз и навсегда убрала «шведский фактор», занимавший на протяжении 90 лет важнейшее место во французской военной стратегии. Однако благодаря этим успехам империя Петра Великого явно выходила за пределы, отведенные ей в английской концепции «баланса сил». Русские войска вскоре оказались уже в Мекленбурге и в Дании, что не могло не вызвать опасений у курфюрста Ганновера Георга I, в скором времени оказавшегося по совместительству королем Великобритании. Хотя проблемы Ганновера не были первостепенными для лондонского кабинета, их не могли не учитывать, тем более, что опасения курфюрста в целом совпадали со стремлением Англии к поддержанию равновесия. Эскадра адмирала Норриса (Norris), первоначально направленная на Балтику для защиты судоходства от шведских корсаров, получила теперь инструк-

цию оказать давление на тех самых русских, которым первоначально должна была помогать. Однако большого впечатления на русских Норрис произвести не мог, даже если бы проявлял больше решимости. Флот Петра состоял преимущественно из галер, сражавшихся со шведами в шхерах северной Балтики, куда тяжелые линейные корабли Норриса войти не могли. Вплоть до смерти Петра отношения между созданной им Петербургской империей и Британией оставались крайне двусмысленными и напряженными, что, впрочем, не препятствовало бурному росту торговых связей и технического сотрудничества.

Тем временем на Западе события развивались своим чередом. Во Фландрии 11 сентября 1709 года произошло сражение при Мальплаке (Malplaquet), оказавшееся самым кровопролитным за все время войны. Французская армия пыталась деблокировать крепость Монс. Герцог Мальборо и Евгений Савойский заставили французов отступить, но потери победителей были больше, чем потери побежденных. В октябре 1709 года союзники захватили Монс (Mons) и обсуждали вторжение во Францию, однако в Лондоне и Гааге правящие круги понемногу теряли интерес к войне.

Как отмечает Ансильон, герцог Мальборо и австрийский главнокомандующий Евгений Савойский «вели войну как суверенные правители, не отчитываясь ни перед кем, кроме друг друга»<sup>62</sup>. Такое положение дел не слишком нравилось Вестминстерскому парламенту. Зависть к удачливому полководцу усугублялась борьбой партий — Мальборо принадлежал к либеральной партии вигов, с которой вели борьбу консервативные тори. Внешняя политика вигов всегда была более агрессивной и более направленной на укрепление роли Англии в Европе, тогда как тори уделяли больше внимания колониальной экспансии, полагая, что если заморским делам англичан никто из европейских держав не мешает, то и англичане должны оставить своих соседей в покое, предоставив континентальные монархии их собственной судьбе.

Теперь французы были настолько ослаблены, что угрозу для континентального «равновесия» уже представляли не амбиции Людовика XIV, а возможное усиление Австрии. Первоначально австрийский эрцгерцог Карл претендовал только на испанский престол, но в 1711 году после смерти Иосифа I он оказался правителем Австрии и императором Священной Римской империи. Если бы Карлу Австрийскому удалось соединить под одной короной владения Австрии и Испании, могла возникнуть новая мировая держава. К тому же обладание бывшими Испанскими Нидерландами, современной Бельгией, делало Австрию атлантической державой и потенциальным торговым соперником. Уже в

<sup>62</sup> Ibid., p. 466.

1720-е годы в Лондоне нервничали из-за успехов Остендской компании (Ostende Company), которая успешно вела дела в Вест-Индии. Англия и Голландия стали сворачивать свое участие в военных действиях. Мальборо был отозван с континента. После того как Англия в 1711 году вышла из войны, счастье изменило австрийцам, которые в 1712 году потерпели поражение при Денене (Denain).

Несмотря на тактические успехи, достигнутые в заключительных кампаниях войны, Франция была разорена и обессилена. Война завершилась двумя мирными договорами — Утрехтским (Utrecht Treaty) 1713 года и Раштадтским (Rastatt Treaty) 1714 года. В Утрехте Англия и Пруссия признали права Филиппа Бурбона на испанский престол, а по Раштадтскому миру его права подтвердила и Австрия. Вопрос об объединении или унии Франции и Испании больше не стоял. Франция, в свою очередь, отказалась от поддержки британских и ирландских якобитов, сохранявших верность свергнутым Стюартам, признала право Ганноверских курфюрстов наследовать английский трон после смерти бездетной королевы Анны. Испания сохранила свою заморскую империю, но ее европейские владения подверглись разделу. Савойское королевство получило Сицилию. Территория современной Бельгии стала Австрийскими Нидерландами, Вена захватила также часть испанских владений в Италии. Англия приобрела Гибралтар и Менорку, которые превратились для британцев в ключевые военные и торговые станции на Средиземном море. Еще одним достижением британской буржуазии стало право асьенто — монополия на ввоз негров-рабов в испанские владения в Америке, а также ряд французских островов в Вест-Индии и Северной Америке.

Испанские Бурбоны на протяжении XVIII века ориентировались на Францию, но доставшаяся им империя продолжала самостоятельное существование, постепенно деградируя. Самоуправление Каталонии было ликвидировано. Попытки его восстановить предпринимались впоследствии неоднократно — во время каждой испанской смуты и революции вплоть до короткого, но яркого периода «красной Барселоны» в годы гражданской войны 1936–1939 годов. Однако окончательно самоуправление было возрождено лишь в конце XX века, после смерти генералиссимуса Франко. По иронии истории оно было восстановлено одновременно с очередной реставрацией династии Бурбонов, чье восшествие на престол знаменовало конец каталонской свободы.

## ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНФЛИКТ

Поражение Франции в войне за Испанское наследство утвердило гегемонию Британии в мировой капиталистической системе, но гегемония эта не была ни прочной, ни общепризнанной. Английское процветание

вызывало зависть правящих кругов Франции, которые, в свою очередь, должны были иметь дело не только с восхищенным подражанием, но и с ревностью соседних монархий. После провала экспансионистских планов Людовика XIV потребовалось около двух десятилетий, чтобы французская экономика оправилась, но уже к середине XVIII столетия на фоне общемирового роста торговли и производства мы видим заметный подъем и в этой стране. Вместе с восстановлением хозяйства возрождались и амбиции Парижа.

Поводом для нового европейского конфликта стала нерешенная проблема с наследованием владений австрийского Габсбургского дома, где пресекалась мужская линия. Прагматическая санкция, обеспечивавшая передачу власти над империей Марии Терезии, была признана большинством государств Европы, включая Францию, но ее не приняла Бавария, что, в свою очередь, создавало условия для возникновения конфликта, в который втягивались другие немецкие государства.

И все же войну развязала не Бавария, а Пруссия. Фридрих II, просвещенный прусский монарх, интеллеktуал и поклонник Вольтера, при жизни названный Великим, попросту напал на Австрию и оккупировал в 1740 году Силезию. Действия Фридриха вызвали возмущение даже среди его приверженцев. Спустя сто с лишним лет немецкий «железный канцлер» Бисмарк признавал, что прусский король попросту «украл Силезию»<sup>63</sup>. Кризис, разразившийся в Германии, вызвал цепную реакцию по всей Европе. Англо-французские противоречия наложились на вековое франко-австрийское соперничество и новый внутригерманский конфликт между Берлином и Веной. Англичане поддержали Австрию, французы — Пруссию и Баварию. И хотя Пруссия официально не воевала с Британией, Англия и Франция быстро оказались в состоянии войны.

На сей раз французские армии почти всюду одерживали победы. Их армии захватывали в Австрийских Нидерландах один город за другим, преодолевая сопротивление англо-австрийских войск. Военные действия, развернувшиеся в Индии, тоже складывались для англичан неблагоприятно. Однако британская дипломатия оказалась сильнее французского оружия. Потратив изрядные суммы денег, Лондон сумел урегулировать прусско-австрийский конфликт. Вена, скрепя сердце, примирилась с потерей части Силезии, а Фридрих Великий, достигнув своих целей, предпочитал не искушать судьбу, конфликтуя с могущественной Британией. В 1742 году между двумя германскими державами был подписан мир, позволивший австрийцам сосредоточить все силы на борьбе с Францией. Правда, в 1744 году война между Пруссией и Австрией воз-

<sup>63</sup> Ф.А. Ротштейн. Цит. соч., с. 22.



обновилась — вновь по инициативе Фридриха, который, видя неудачи англо-австрийской коалиции, решил воспользоваться ситуацией, чтобы прибрать к рукам оставшуюся часть Силезии. Эта провинция была густо населена и богата минеральными ресурсами, ее присоединение резко увеличивало экономические и финансовые возможности Пруссии, причем еще до конца войны Фридрих сумел эффективно использовать возможности завоеванных земель для пополнения войск и казны. Протестантское население, не особенно жаловавшее католическую власть Габсбургов, склонно было поддержать прусского короля. Английская дипломатия вновь проявляла активность, добываясь от Вены отказа от Силезии в обмен на признание Марии Терезии законной наследницей Габсбургов, а ее мужа — Франца I Лотарингского — германским императором. После ряда поражений Марии Терезии пришлось согласиться с потерей силезских владений, хотя в душе с этим поражением она никогда не примирилась — возвращение Силезии оставалось своего рода идеей-фикс австрийской внешней политики вплоть до смерти этой могущественной женщины.

Несмотря на дипломатические успехи, в Лондоне понимали, что войны выигрывают все же силой оружия. Ответом на успехи французов в Индии и Нидерландах был захват англичанами в 1745 году в Америке крепости Луисбург (Louisburg). Стратегическое значение этого пункта было столь велико, что, в ходе последующих мирных переговоров в обмен на его возвращение, французы вынуждены были отказаться от занятого ими Мадраса (Madras) и вывести свои победоносные войска из Австрийских Нидерландов. Контролируя Луисбург и господствуя на море, Англия была в состоянии полностью заблокировать Канаду и другие французские владения в Северной Америке. Взятие Луисбурга было, однако, важно не только тем, что обеспечило Британии сильные козыри в ходе мирных переговоров. После многочисленных неудачных попыток британцы наконец научились проводить крупномасштабные десантные операции. Взаимодействие армии и флота, отработанное во время штурма Луисбурга, стало моделью для будущих побед Семилетней войны — десантов в Квебеке и Гаване.

Мир в Экс-ла-Шапель (Aix-la-Chapelle) в 1748 году в основном восстановил предвоенное положение, заставив обе борющиеся стороны вернуть захваченное. Для Англии главный итог войны состоял в том, что она показала ключевое значение флота для исхода борьбы на глобальном уровне. Собственно, именно этот опыт лег в основу позднейших теорий адмирала Мэхэна о значении морской силы в истории. Британские успехи на море уравновесили и свели на нет все сухопутные победы французов. В Индии флот также показал свою силу. Если на суше французам удалось потеснить англичан, то в водах Индийского океана

королевские корабли и английские корсары добились решающих побед. Убытки французской компании в Индии оценивались в 750 тысяч фунтов, а ее акции упали до одной десятой от той цены, за которую их продавали в 1741 году<sup>64</sup>. Другим достижением Англии было окончательное подавление якобитских движений в Шотландии и создание Соединенного Королевства. Объединение парламентов и вооруженных сил Англии и Шотландии обеспечило государственную централизацию Великобритании и позволило сконцентрировать ресурсы двух королевств на общих целях.

Во время войны за Испанское наследство, несмотря на то, что ставкой были глобальные интересы сторон, боевые действия велись преимущественно в Европе, а противостояние в Атлантике было преимущественно морским. Война за Австрийское наследство развивалась иначе, демонстрируя нарастающую глобализацию конфликта. Боевые действия в Азии и Америке велись не только на море, но и на суше, причем обе стороны стремились расширить зону своего контроля за счет вовлечения в борьбу местных правителей в Индии и индейских племен в Америке. Пол Кеннеди (Paul Kennedy) считает, что распространению европейского влияния за океанами способствовало соперничество (*rivalries*) между западными державами «и без того острое, оно теперь распространилось на трансатлантическое пространство»<sup>65</sup>.

Наибольшую выгоду войны за Австрийское наследство получила Пруссия, закрепившая за собой захваченную и удержанную в ходе двух военных кампаний Силезию. Для молодого прусского монарха Фридриха II это было очень ценное приобретение, ибо оно увеличивало не только территорию его королевства, но и его экономический потенциал — силезские рудники и промышленность играли важную роль в дальнейшем развитии Пруссии. Под властью Фридриха Великого это второстепенное немецкое государство становится ключевым игроком европейской политики. На протяжении своего царствования Фридрих непрерывно увеличивал территорию и благосостояние подвластного ему королевства, но особое внимание — в соответствии с традициями Гогенцоллернов — уделялось вооруженным силам.

Для Фридриха Великого техническое оснащение армии было важнейшим делом, требовавшим постоянной заботы. Прусские ружья были снабжены железными шомполами вместо часто ломавшихся деревянных, которые использовались в других армиях, конная артиллерия имела более легкие пушки, а потому быстрее передвигалась. При населении в 4,2 миллиона человек Пруссия могла во время Семилетней войны вы-

<sup>64</sup> См.: L. James. Raj. The Making and Unmaking of British India. London: Abacus, 2003, p. 22.

<sup>65</sup> P. Kennedy. The Rise and Fall of Great Powers, p. 29.

ставить армию в 154 тысячи солдат, лишь немногим уступавшую по численности русской и французской<sup>66</sup>. К тому же эта армия отмобилизовывалась в три раза быстрее, чем армии соседних государств, что зачастую давало ей не только тактическое, но и стратегическое преимущество. Когда во время войны за Австрийское наследство российское правительство решило прийти на помощь Марии Терезии, потребовалось три года, чтобы принять решение, подготовить экспедиционный корпус и направить его в Германию. Русские войска появились на театре военных действий лишь к самому концу конфликта — в 1748 году. К тому времени в Лондоне уже не видели никакого смысла в этой экспедиции, а потому прекратили финансирование. Не получив обещанной субсидии, русские войска повернули назад.

Пруссия к началу XVIII века имела образцовую армию, отличавшуюся не только безупречной дисциплиной и выучкой, но и эффективной, продуманной системой управления. Прусский король Фридрих Вильгельм «заставлял свои полки стрелять побатальнно, поротно и повзводно с такой быстротой и точностью, как будто играл на фортепиано»<sup>67</sup>. Во время сражений на противника наводили ужас «живые стены» прусской пехоты. В 1740 году во главе этого королевства оказывается молодой Фридрих II, которому досталась не только сильная армия, но и здоровые финансы, не растраченные на придворные развлечения. Как заметил один из биографов Фридриха, его просветительские увлечения «странным образом переплетались с самым радикальным милитаризмом»<sup>68</sup>. Уже в начале своей военной карьеры молодой король приобрел славу выдающегося полководца, но большая часть его побед были бы невозможны, если бы не великолепный командный состав. Прусские офицеры и генералы были способны не только четко выполнять приказы, но и проявлять инициативу там, где это было необходимо. Неоднократно случалось, что Фридрих терял управление войсками, а при Мольвице даже покинул поле боя, но это никак не отразилось на ходе битвы: каждый командир на месте понимал общий замысел и самостоятельно находил наилучшее решение.

Вооружение и снабжение прусской армии тоже было образцовым. Артиллерийский парк королевства при Фридрихе Великом вырос за период 1761–1778 годов со 145 пушек и 30 гаубиц до 595 пушек и 216 гаубиц<sup>69</sup>.

По замечанию Чарльза Тилли, прусская армия воспроизводила сельскую социальную структуру: дворяне — офицеры, свободные крестьяне — сер-

<sup>66</sup> См.: Ф.А. Ротштейн. Цит. соч., с. 21.

<sup>67</sup> И. Шерр. Цит. соч., т. 2, с. 139.

<sup>68</sup> Ю.Ю. Ненахов. Цит. соч., с. 35.

<sup>69</sup> См.: И. Шерр. Цит. соч., т. 2, с. 139.

жанты, а закрепощенные крестьяне — солдаты<sup>70</sup>. В этом отношении Пруссия не так уж сильно отличалась от России, а войска Фридриха Великого — от противостоявших ей русских армий Елизаветы Петровны.

Надо отдать должное прусскому королю, который не испытывал особых иллюзий относительно чувств своих подданных и прекрасно отдавал себе отчет в классовых противоречиях, лежавших в основе созданной им военно-государственной системы. В разговоре с одним из своих генералов, восхвалявших преданность и надежность прусских солдат, Фридрих цинично заметил: «Меня более всего удивляет то, что мы безопасны среди этих людей; каждый из них — и ваш и мой непримиримый враг, их сдерживает одна только дисциплина и дух порядка»<sup>71</sup>.

Не удивительно, что в армии практиковались жесточайшие наказания, поддерживавшие этот «дух порядка» не только моральным, но и вполне телесным воздействием. Не удивительно и то, что русская армия, несмотря на неприязнь патриотически настроенных отечественных дворян к «пруссачеству», взяла за основу именно этот подход к порядку и дисциплине.

## СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Война за Австрийское наследство не ослабила Францию экономически. Напротив, бурное развитие французской торговой буржуазии, поддержанное монархией Бурбонов, продолжалось настолько успешно, что вызывало панику на другой стороне пролива. В середине 1750-х годов один из британских авторов писал: «Я больше боюсь сегодня французского кредита и французской торговли, чем французских флотов и армий»<sup>72</sup>.

Обе стороны рассматривали мир в Экс-ла-Шапель скорее как перемирие, другое дело, что ни та ни другая держава не видели необходимости форсировать события. Однако в Индии столкновения между французскими и английскими силами практически не прекращались, а в Америке назревал новый кризис. Не прошло и десяти лет после завершения войны за Австрийское наследство, как Европу потряс новый, куда более масштабный конфликт, вошедший в историю под названием Семилетняя война.

Эта война могла бы именоваться мировой даже с большим основанием, чем конфликт 1914–1918 годов. Театрами военных действий стали Европа, Америка, Африка, Индия. Английские и французские силы сражались друг против друга на Карибах и в Сенегале. В конфликт оказались

<sup>70</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 51.

<sup>71</sup> И. Шерр. Цит. соч., т. 2, с. 140.

<sup>72</sup> Цит. по: В. Симмс. Op. cit., p. 359.

втянутыми почти все европейские державы — от Англии и Франции на Западе до России и Австрии на Востоке. Эта война оказалась не только решающим раундом в столетнем противостоянии британской и французской монархий, но и поворотным пунктом в истории Центральной Европы. Россия, ставшая при Петре Великом важнейшей региональной державой, приобретает в эти годы значение в качестве силы, влияющей на общий ход европейской политики, впервые — правда, вынужденно и без особого успеха, — пытаясь обособиться от Англии. Пруссия закрепила за собой статус великой державы, тогда как Австрия уже не могла считать себя ведущей силой в Германии.

Вдобавок ко всему, этот конфликт сопровождался «дипломатической революцией», когда распались старые испытанные союзы и вместо них образовались новые. Петербург впервые поссорился с Лондоном, а Вена договорилась с Парижем. Англичане, видевшие в Австрии противовес Франции, теперь поддерживали Пруссию в противовес Австрии.

Семилетняя война оказалась еще одним этапом глобализации военно-политического противостояния между Англией и Францией не только из-за размаха военных действий. По своему происхождению этот конфликт резко отличается от династических кризисов, спровоцировавших две предыдущие европейские войны, ибо начался он вообще за пределами Европы и вызван был непосредственно и открыто столкновением интересов в сфере колониальной политики.

Растущее сельскохозяйственное население английских колоний, их развивающаяся экономика и энергичная торговля диктовали колониальным элитам вывод о необходимости расширения жизненного пространства. Однако на пути внешней экспансии стояла Франция, занявшая не только Канаду, но и земли по течению реки Миссисипи вплоть до Нового Орлеана, вокруг которого возникла процветающая колония — Луизиана. Фактически французские владения блокировали для английских колоний возможность продвижения вглубь континента, ограничивая их узким пространством вдоль атлантического побережья.

Колонизация Канады началась по инициативе Генриха IV, когда Франция, оправляясь от религиозных войн, стремилась восстановить свою роль в качестве ведущей европейской монархии. Средства на создание колонии удалось получить от частных инвесторов.

Французским владениям постоянно не хватало колонистов, приходилось посылать в Америку сирот и преступников. Важнейшей задачей французской компании в Канаде оказалась торговля мехом. Подобная деятельность не требовала массовой колонизации. По признанию историков, компания интересовалась главным образом прибылями от этого бизнеса и «не слишком утруждала себя заботами о строительстве нового

общества»<sup>73</sup>. К тому же компания опасалась, что развитие сельского хозяйства распугает животных и подорвет воспроизводство охотничьих угодий.

В Париже освоение американских территорий видели в качестве средства укрепления существующего социального порядка. Французская администрация пыталась создать в Канаде условия для благосостояния новой аристократии, получавшей крупные земельные владения. Крестьяне-переселенцы оказывались в подчиненном положении. Французская феодальная система воспроизводилась на новом континенте. Таким образом, в Квебеке колонизация и феодализм были «с самого начала связаны между собой»<sup>74</sup>. Французское крестьянство оставалось на земле, да и землевладельцы в «старой стране» боялись потерять работников. По тем же причинам в России сдерживалось заселение Сибири.

В американских колониях Великобритании население росло быстрее, поскольку в Англии аграрная ситуация была совершенно иной, чем во Франции. После того как крестьянство было согнано с земли, образовалась огромная масса «избыточного» населения, которое не только пополняло ряды пролетариата, но и поставляло «человеческий материал» для колонизации. Не было недостатка и в солдатах или матросах. Население Англии между 1720-м и 1750-ми годами несколько сократилось в значительной мере из-за массовой эмиграции в Америку, а к 1770 году достигло 7,5 миллиона. Между тем население колоний к тому времени составляло 2,3 миллиона человек, увеличившись почти вдвое по сравнению с серединой XVIII века<sup>75</sup>.

Неудивительно, что итогом оказалось неблагоприятное для французов демографическое соотношение между Канадой и английскими колониями, которые росли гораздо быстрее. С другой стороны, в отличие от фермеров Новой Англии, французские власти колониальной Канады менее преуспели в истреблении местных индейцев, несмотря на постоянные военные конфликты с ними. Демографическое давление белых поселенцев на коренное население было меньшим, а религиозная идеология католицизма (в отличие от кальвинизма) требовала не истребления, а обращения туземцев. Наладив после ряда конфликтов отношения с местными племенами, французы сумели превратить их в своих союзников против англичан и колонистов. Правда, этот союз имел и оборотную сторону. Поскольку племена враждовали между собой, сотрудничество с одним из них почти неизбежно вызывало конфликт с другим.

<sup>73</sup> A. Lower. *Colony to Nation. A History of Canada*. Don Mills, Ont.: Longmans Canada Ltd., 1964, p. 36.

<sup>74</sup> E. McInnis. *Canada: a Political and Social History*. N.Y. — Toronto — London: Holt, Rinehart & Winston, 1963, p. 63.

<sup>75</sup> См.: B. Simms. *Op. cit.*, p. 535.

В Лондоне довольно быстро осознали, что в сложившейся обстановке успехи Франции не в последнюю очередь зависят от поддержки индейцев. Британские представители в Америке, подражая французам, начали активно привлекать индейцев на свою сторону, противопоставив профранцузской коалиции племен собственную, пробританскую. Английская пресса откровенно признавала, что европейцы в Америке вели войну «разделяя индейцев и противопоставляя их друг другу, втягивая их в конфликты, не имеющие никакого отношения к собственным интересам туземцев»<sup>76</sup>.

Тем не менее политика, проводившаяся англичанами в отношении индейцев, наталкивалась на недовольство колонистов. В Лондоне понимали, что индейцев можно привлечь на свою сторону лишь ценой серьезных и реальных уступок, прежде всего гарантируя им права на землю. Для колонистов земли «дикарей» были не более чем ничейной территорией, которую надо захватить и поделить между собой для распространения плантаций и фермерских хозяйств. Противоречия между Англией и колониями по индейскому вопросу впоследствии стали одной из причин конфликта между ними, однако до тех пор пока существовала угроза со стороны Канады, поселенцы готовы были терпеть сотрудничество английских властей с туземцами.

Экспансия 12 колоний неизбежно наталкивалась на сопротивление Франции, которая усиленно расширяла свои позиции по течению Миссисипи. Тем временем на юге Джорджия, новая 13-я колония, возникшая как буферная зона между английскими и испанскими владениями, нуждалась в защите от давления со стороны испанской Флориды. Ареной наиболее острого противостояния оказалась Долина Огайо. Колонии постоянно требовали от исторической родины (*mother country*) прислать новые войска и дополнительных усилий для того, чтобы защитить их от французов, которых колониальная публицистика описывала как «настоящих чудовищ» (*monsters by nature*)<sup>77</sup>. Правда, поселенцы английских колоний сами проявляли изрядную агрессивность, провоцируя конфликты с менее многочисленными французами и их индейскими союзниками. Как отмечали историки, колониальная буржуазия прекрасно отдавала себе отчет в том, чем это кончится, но была уверена, что поддержка могущественной Британии решит все ее проблемы. «Каждое новое англо-американское поселение в Долине Огайо спровоцирует конфликт и, возможно, войну. Но американские спекулянты и поселенцы, готовившиеся занять территорию, видели в этой земле огромные возможности, воспользоваться которыми не удастся, если не будет помо-

<sup>76</sup> Gentleman's Magazine, October 1760, vol. XXX, p. 462.

<sup>77</sup> B. Simms. Op. cit., p. 346.

щи могущественной Британской империи»<sup>78</sup>. Поселенцы и буржуазия колоний не только ждали поддержки Лондона, они вполне сознательно провоцировали конфликт, понимая, что только открытое противоборство с Францией заставит империю бросить все силы на поддержку их инициатив.

«В середине XVIII века англоамериканцы превратились в самых яростных британских империалистов, — замечает американский историк Роберт Кейган. — И это не было неожиданностью. Большая часть колонистов и так были лояльными и гордыми подданными Британской империи, независимо от того, какие недоразумения и взаимные претензии периодически возникали между ними и Лондоном. К середине века колониальные элиты не только не хотели отделиться от Старого Света, но, напротив, всячески имитировали британские традиции, манеры, одежду, превосходя в этом самих англичан»<sup>79</sup>. Брендан Симмс также подчеркивает имперский экспансионизм колонистов. Сторонниками Британской империи колонисты стали в тот момент, когда без ее поддержки осуществить экспансионистский проект было невозможно, и та же логика вызвала конфликт с исторической родиной, когда обнаружилось, что Лондон не готов безоговорочно экспансию финансировать и поддерживать. «Империалистические идеи, которые позднейшие поколения американцев воспринимали как нечто новое, находящееся в противоречии с исходными взглядами отцов-основателей, на самом деле были частью американского проекта с самого начала, задолго до независимости»<sup>80</sup>.

Будущие отцы-основатели в этом отношении ничем не отличались от остальных представителей колониальной элиты. Резиденция Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон (Mount Vernon) получила свое название в честь английского адмирала Вернона, одержавшего победу над испанцами при Порто-Белло (Porto Bello), а сам особняк был обставлен «со старательным подражанием английской аристократической пышности — в той мере, в какой позволяли средства хозяина» (with such specimens of English luxury and taste as he could afford)<sup>81</sup>. Бенджамин Франклин писал панегирики Британской империи, а Джон Адамс, по выражению Симмса, «начинал как яростный британский патриот»<sup>82</sup>.

Именно действия американских колонистов, напавших в 1754 году на французов в Долине Огайо, втянули Англию в Семилетнюю войну. Ор-

<sup>78</sup> R. Kagan. *Dangerous Nation. America and the World, 1600–1898*. London: Atlantic Books, 2006, p. 18.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> B. Simms. *Op. cit.*, p. 540.

<sup>81</sup> R. Kagan. *Op. cit.*, p. 18.

<sup>82</sup> B. Simms. *Op. cit.*, p. 572.



ганизованная колонистами из Виргинии Компания Огайо пыталась занять территорию, формально находившуюся под контролем Франции. Хуже того, отряд виргинской милиции под командой Джорджа Вашингтона внезапно атаковал и истребил французских солдат, сопровождавших парламентаря, направленного к колонистам с предложением решить вопросы миром.

Конфликт между двумя державами назревал давно, но события, развернувшиеся в Америке, спровоцировали конфликт в ситуации, когда Лондон еще не был к нему готов. Британские дипломаты вынуждены были спешить, и именно этим отчасти объясняются их грубые ошибки, поставившие в первые годы войны Англию и присоединившуюся к ней Пруссию на грань поражения.

Представители всех американских колоний собрались в Олбани (Albany) весной 1755 года и потребовали немедленно прислать регулярные английские войска. Парламент в Лондоне всячески пытался локализовать конфликт и избежать полномасштабной войны, к которой в Англии были не готовы. Однако в колонии настаивали, а поражения колониальной милиции доказывали, что полагаться на нее в борьбе с французами и индейцами не приходится.

Военная неэффективность колониальных милиций была связана не только с недостатком дисциплины, выучки и боевого опыта, но и с тем, что у них кроме борьбы с французами и индейцами было, как отмечает Роберт Кэйган, другое, очень важное дело: «нельзя было оставлять рабов без охраны, во время войны это оказывалось слишком опасно для плантаторов. В колониальную эпоху милиция южных штатов была скорее организацией для контроля над рабами, чем военной силой. Во время войны с французами и индейцами Виргиния больше сил уделяла тому, чтобы сторожить рабов, чем защите границ, предоставив поселенцев их собственной судьбе»<sup>83</sup>. Колонисты, безответственно ввязавшиеся в драку с французами в 1754 году, упорно не желали выделять деньги на оборону, отказывали в помощи друг другу и требовали поддержки из Англии. Постоянные неудачи колониальной милиции, вызвали растущее недовольство в Лондоне. Командующий британскими силами в Америке граф Лоудоун (Earl of Loudoun) жаловался: «здесь все сходится на одном — надо во что бы то ни стало все свои расходы перекладывать на добрую старую Англию»<sup>84</sup>. А знаменитый британский дипломат Горацио Уолпол (Horatio Walpole) с горечью писал в 1754 году, что несмотря на многочисленность населения колоний, «эти люди, похоже, не могут защитить себя даже за наши деньги»<sup>85</sup>.

<sup>83</sup> R. Kagan. Op. cit., p. 185.

<sup>84</sup> Цит. по: B. Simms. Op. cit., p. 395.

<sup>85</sup> Ibid., p. 390.

Историки единодушны в оценке деятельности британских дипломатов, которая в преддверии Семилетней войны представляется как серия чудовищных ошибок и просчетов. Симмс замечает, что англичане совершенно не понимали положения дел на континенте, «не видели никакого противоречия между своими переговорами в Петербурге и Берлине и не понимали, как к этим шагам отнесутся в Австрии»<sup>86</sup>. Между тем на протяжении первой половины XVIII века британская дипломатия на континенте показала свою дееспособность и компетентность, сам же Симмс в своей книге уделяет большое внимание постоянным усилиям Лондона по поддержанию европейского равновесия, а также той роли, которую играли в Британии представители Ганновера. На протяжении ряда лет это немецкое княжество, связанное личной унией с Англией и Шотландией, было британским плацдармом на континенте, представляя Лондону кадры и знания, позволявшие лучше ориентироваться в тонкостях германской политики. Ганновер был и важной базой для разведывательных операций — проходившая через его территорию почта регулярно перехватывалась и направлялась в Лондон. Другое дело, что это княжество теперь требовалось защищать, а его интересы во внутригерманских делах приходилось учитывать при формировании собственного курса, приоритеты которого, естественно, не совпадали с провинциальными заботами курфюрстов Ганновера. Это уже было головной болью для английских стратегов в 1720-е и 1740-е годы. Именно необходимость защиты Ганновера вызвала сближение с Пруссией. Беда была в том, что британская дипломатия вынуждена была действовать в крайней спешке, на фоне фактически уже начавшейся в Америке войны. Колонисты, начав военные действия в одностороннем порядке, поставили Лондон перед фактом. Это и предопределило серию просчетов, когда решая тактические вопросы при нескольких европейских дворах одновременно, дипломаты просто не успевали оценить стратегические последствия своих действий.

Меньше всего неудачи дипломатов следует объяснять неинформированностью. Правительство беспокоила судьба Ганновера, для защиты которого не было сил. Пытаясь решить проблему, английские дипломаты спешно вели переговоры в Петербурге и Берлине одновременно. В России они почти уже достигли соглашения об отправке в Ганновер (фактически, покупке) русских войск, одновременно договариваясь с Пруссией. Между Британией и Пруссией была срочно подписана Вестминстерская конвенция, которая, однако, вызвала возмущение и в Вене, и в Петербурге. Мария Терезия, для которой возвращение Силезии стало важнейшей внешнеполитической целью, в ответ на сближе-

<sup>86</sup> Ibid., p. 408.

ние Фридриха с Англией решилась на союз с французскими Бурбонами. Франко-австрийские переговоры прошли на удивление гладко. В мае 1756 года конференц-министр граф Кауниц (Kaunitz), всегда ратовавший за сближение с Парижем, подписал союзный договор. Заодно договорились о будущем браке новорожденной Марии Антуанетты с наследником французского престола Людовиком. Что касается России, то британское золото оказалось в Петербурге далеко не всеильно. Французские и австрийские представители тоже щедро субсидировали своих российских партнеров — как гласно, так и негласно. Даже канцлер Бестужев, известный своей осторожностью и склонностью к компромиссам, чьи проанглийские симпатии ни для кого не были секретом, крайне негативно относился к усилению Пруссии. Уже после войны за Австрийское наследство в Петербурге утвердилось мнение, что внешнюю экспансию Фридриха надо остановить. По мнению Бестужева, король прусский «вышел из пределов своей меры» и «своим соседям тягостен и опасен сделался»<sup>87</sup>.

Так произошла «дипломатическая революция» (известная также как «переворачивание альянсов»), резко изменившая расклад сил и поставившая под вопрос результаты многолетних усилий Лондона по выстраиванию европейского «равновесия». Англия и Пруссия оказались вынуждены воевать фактически в одиночку, причем почти не могли оказывать прямой военной помощи друг другу. Единственным утешением Лондона было то, что пообещав австрийцам воевать против Пруссии, российское правительство выговорило условием включения в австро-французский союз свое неучастие в войне против Англии. Торгово-экономические связи двух стран и отношения двух правящих классов были слишком тесными, чтобы они могли позволить себе полный и открытый разрыв, даже находясь в двух воюющих между собой коалициях.

Это была, по выражению кембриджских историков, «по сути двойная война, две стороны которой не были особенно связаны между собой, велись эти две войны (как прекрасно понимали сами участники событий) параллельно, с различными целями»<sup>88</sup>. Англия, находившаяся в союзе с Пруссией, не только не сражалась против России и Швеции, входивших в противоположную коалицию, но и сохраняла коммерческие, а отчасти даже политические связи с ними.

Начало войны грозило обернуться для Англии катастрофой. Менорка была захвачена французами, которые теперь готовили вторжение на Британские острова, а прусские армии, привыкшие бить австрийцев,

<sup>87</sup> Цит. по: Ф.А. Ротштейн. Цит. соч., с. 31.

<sup>88</sup> The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783–1919. Ed. by Sir A.W. Ward et al., N.Y.: Octagon Books, 1970, vol. 1, p. 105.

столкнулись с новым, куда более опасным противником в лице русских.

Для Британии, пишет Лоуренс Джеймс, это был «период медленной и методичной мобилизации для будущих побед»<sup>89</sup>. Медлительная, но основательная административная машина Ганноверской Англии пришла в движение, обеспечивая армию и флот всем необходимым. Строились корабли, комплектовались армейские полки, налаживалось снабжение и финансирование флота. Для борьбы на американском театре военных действий готовились специальные подразделения рейнджеров, обученных тактике партизанской войны. Красные мундиры стрелков заменялись на практичную темно-зеленую форму, позволяющую укрываться в лесу. Одновременно формировались отряды морского десанта, предназначенные для атаки Луисбурга и Квебека.

Французский флот, намеревавшийся вырваться из Бреста, 20 ноября 1759 года столкнулся с эскадрой адмирала Хока (Hawke) и попытался укрыться в заливе Киберон (Quiberon). Англичане, не имея лоцманов, рискнули атаковать французов во время шторма в незнакомых водах и были вознаграждены сенсационным успехом. Французы потеряли флагман и пять линейных кораблей, а главное, до конца войны не решались вступать в серьезные морские бои с англичанами. Победа Хока была, по оценке историков, для Королевского флота «крупнейшим успехом вплоть до Трафальгара» (its most decisive victory until Trafalgar)<sup>90</sup>. Опасность французского вторжения на Британские острова была вполне реальна в 1756–1757 годах. Разгром французского флота изменил ситуацию. «Gentleman's Magazine» удовлетворенно сообщал в 1761 году, что французы, которые еще несколько лет назад претендовали на морское господство, «с тех пор остались без кораблей, без моряков и без торговли» (have “been since without ships, without seamen, and without trade”)<sup>91</sup>.

В том же году англо-ганноверская армия под предводительством Фердинанда Брауншвейгского (Ferdinand of Brunswick) одержала победу над французами под Минденом (Minden). Теперь англичане и их немецкие союзники были хозяевами положения на Рейне.

Экспедиция против Канады, предпринятая генералом Джеймсом Вольфом (James Wolfe), завершилась блестящим успехом. Один за другим в руки британцев переходили все торгово-экономические и военные центры Новой Франции. Сначала пал Луисбург. Открыв себе путь вглубь Канады, солдаты Вольфа высадились в Квебеке, застав французов врасплох своим дерзким десантом. Взятие Квебека английские имперские

<sup>89</sup> L. James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 69.

<sup>90</sup> A. Herman. *Op. cit.*, p. 290.

<sup>91</sup> *Gentleman's Magazine*, December 1761, vol. XXXI, p. 596.

идеологи считали «одним из поворотных пунктов мировой истории» (one of the turning points in the world's history)<sup>92</sup>.

Генерал Вольф пал при взятии Квебека. Уже после его гибели настала очередь Монреаля. Новая Франция перестала существовать. После того как был занят Монреаль, лондонский «Gentleman's Magazine» торжественно сообщал, что война в Северной Америке закончена и отныне здесь воцарится спокойствие. Присоединение Канады к Англии необходимо ради сохранения мира между народами и благополучия всей Европы. «Поскольку отныне устранены причины для войны между двумя странами, порождавшие конфликты на том берегу Океана, и теперь два народа могут избегать войн и не вовлекать в свои ссоры другие государства»<sup>93</sup>.

Присоединение Канады к британским владениям необходимо также и «во благо индейцев, которым наши конфликты принесли множество бед»<sup>94</sup>. После того, как все североамериканские земли будут объединены под властью Лондона, «индейцев никто уже не будет вовлекать в борьбу друг с другом за чуждые им интересы»<sup>95</sup>.

Все эти победы были одержаны британскими войсками при минимальной помощи колониальной милиции. Отряды колонистов, по мнению британских военных, проявили себя с самой худшей стороны, а потому для серьезных операций были непригодны. После штурма Луисбурга генерал Вольф жаловался, что при первом же звуке канонады «они падают лицом в грязь и дезертируют целыми батальонами»<sup>96</sup>. Справедливости ради следует отметить, что Джордж Вашингтон, со своей стороны, после неудачного похода генерала Эдварда Брэддока (Edward Braddock) на Форт-Дюкен (Fort Duquesne) весьма пренебрежительно высказывался о действиях английских регулярных войск, противопоставляя им отвагу американцев<sup>97</sup>.

Пока англичане захватывали Канаду, пруссаки с трудом отбивались от натиска русских и австрийских армий. Не помогла Фридриху и оккупация Саксонии, которую он занял без объявления войны, и теперь использовал в своих целях ее материальные и людские ресурсы. Саксонские солдаты из армии прусского короля дезертировали полками и батальонами. Численное превосходство и упорство русских войск обернулось

<sup>92</sup> G.R. Parkin. Round the Empire. London, Paris and Melbourne: Cassell & Co. Ltd., 1892, p. 31.

<sup>93</sup> Gentleman's Magazine, May 1760, vol. XXX, p. 207.

<sup>94</sup> Gentleman's Magazine, October 1760, vol. XXX, p. 462.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> L. James. The Rise and Fall of the British Empire, p. 93.

<sup>97</sup> См.: Н.Н. Яковлев. Джордж Вашингтон. М.: ЭКСМО — Алгоритм, 2003.

для Фридриха в августе 1759 года катастрофой в битве при Кунерсдорфе (Kunersdorf). Атаковав превосходящие силы русских и австрийцев, пруссаки почти добились победы, но не смогли сломить сопротивление обороняющихся и в конце концов сами были обращены в бегство. Хотя победители потеряли больше людей, чем побежденные, для Фридриха это поражение грозило стать окончательным, ибо его армия была рассеяна, а времени и сил на создание новой у него не было.

Войска победителей могли спокойно идти на Берлин, но вместо этого генералы двух союзных империй тратили время на споры между собой. Единства между русскими и австрийцами не было, и русский командующий генерал Салтыков в конце концов увел свои полки прочь, обвиняя австрийцев в нарушении союзнических обязательств. Со своей стороны австрийцы обвиняли его в том же. Фридрих назвал свое неожиданное спасение «чудом Бранденбургского дома».

Берлин все же был взят русскими в следующем году, но это уже не имело решающего стратегического значения. Пруссия восстановила свою боевую мощь, а ресурсы Петербурга и Вены были почти исчерпаны. На протяжении следующих двух лет русским генералам уже не удастся одержать над пруссаками решающих побед в полевых сражениях. Как признает российский историк, благодаря великолепной организации и тактическому искусству прусского короля, «в 1756–1762 годах весьма небольшая армия Фридриха, обладавшая крайне ограниченными ресурсами, воевала и побеждала воинства противников, многократно превосходившие ее по численности»<sup>98</sup>.

После смерти царицы Елизаветы в 1761 году российский трон перешел к Петру III, поспешившему заключить мир с Пруссией — «второе чудо Бранденбургского дома». Российские историки, сетующие на внезапные и необоснованные уступки Петра III, лишившие Петербург плодов победы над Пруссией, забывают, что для Семилетней войны Восточная Европа, где разворачивались русско-пруссские сражения, была лишь второстепенным театром военных действий. Исход борьбы решался в другом месте, и решался отнюдь не в пользу Франции и ее союзников. В такой ситуации стремление российского императора заключить сепаратный мир и примкнуть к торжествующей стороне было отнюдь не предательством национальных интересов и не плодом иррационального увлечения прусскими порядками, а проявлением элементарного здравомыслия.

Глобальное противостояние Англии и Франции определило ход и развитие событий на всех театрах военных действий, включая русско-пруссский конфликт, из которого Петербург вынужден был, несмотря на военные победы, выйти ничего не добившись. Сепаратный мир между Берлином и Петербургом был вызван отнюдь не только смертью Елиза-

<sup>98</sup> Ю. Ю. Ненахов. Цит. соч., с. 37.

веты и симпатиями Петра III к Фридриху Великому, но и фактическим банкротством Российской империи. Денег в казне не было. Показательно, что после очередного переворота, когда власть в Петербурге перешла от Петра к его жене Екатерине, начатая им международная политика радикально не изменилась. В то время как Пруссия регулярно получала британские субсидии, Франция оказывать аналогичную помощь России была не в состоянии, а Австрия сама находилась на грани банкротства. Победоносную русскую армию нечем было кормить и не на что было содержать. Так что английские деньги пришлось Петербургу более чем кстати.

Со своей стороны Фридрих, который и раньше с опасением относился к Российской империи, пришел к выводу о том, что в будущем конфликта с ней надо избегать любой ценой. В годы правления Екатерины две монархии начали активно сотрудничать (это сближение обернулось катастрофой для их общего соседа — Польши, которую они успешно стали делить между собой, привлекая к разделу также австрийцев). Память о Кунерсдорфе диктовала схожую политику и наследникам Фридриха Великого — Берлин и Петербург больше не воевали между собой вплоть до 1914 года.

Положение Франции не улучшилось после того, как на ее стороне выступила Испания. В Мадриде с опасением смотрели на рост влияния Англии, в которой видели традиционного противника. К тому же испанских Бурбонов, пришедших на смену Габсбургам после Утрехтского мира, связывали узы родства с французской правящей династией. Однако вступив в войну слишком поздно, в 1762 году, Испания уже не могла изменить соотношение сил, зато ее колониальные владения подверглись серии хорошо спланированных и успешных ударов. В августе 1762 года англичане взяли Гавану, крепость и порт которой считались неприступными, в октябре они заняли Манилу. Основные потери британских сил были вызваны не сопротивлением испанских гарнизонов, а тропическими болезнями — от малярии и других инфекций пострадало не менее трети участников десанта в Гаване. Двухлетняя оккупация Манилы англичанами оказалась событием, «оставившим глубокий след в истории города и колонии»<sup>99</sup>. Порт был открыт для международной торговли, а деловая активность резко выросла. Схожие процессы происходили и на Кубе.

Когда Семилетняя война закончилась, Франция потерпела поражение на всех фронтах, а Англия находилась на вершине могущества. Итогом войны было, как констатируют историки, «превращение Северной Атлантики в английское внутреннее море»<sup>100</sup>. Франция, утратив пози-

<sup>99</sup> В.В. Сумский. Фиеста Филипина. М.: Восточная литература, 2003, кн. 1, с. 189.

<sup>100</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 252.

ции в Канаде, не имела на западном берегу океана опоры, которая позволяла бы ей соперничать с Британией в торговом и военно-морском влиянии. Еще до того, как был официально подписан мир, стало ясно, кто одержал верх в борьбе за глобальную гегемонию. Английский историк Фрэнк Маклинн (Frank McLynn) не жалеет слов для описания этого триумфа: «1759 год сделал Британию единственной глобальной сверхдержавой XVIII века; с этого времени можно всерьез говорить о Британской империи, и тогда же были созданы условия для всемирного распространения английского языка»<sup>101</sup>.

Завоевание Канады не только расширило владения Великобритании на тысячи миль, но и устранило всякую значимую конкуренцию ее позиций в Северной Америке. Впрочем, аппетит приходит во время еды, и в скором времени многие в Лондоне считали, что приобретения одной Канады будет недостаточно. В Америке все еще оставались французские владения, а следовательно, и поводы для конфликта между великими державами. Лондонский «Gentleman's Magazine» наставлял читателя: не может быть безопасности для американских колоний, «покуда французы владеют Луизианой»<sup>102</sup>. В дополнение к Квебеку и Монреалу надо занять еще и Новый Орлеан, а также долину Миссисипи. Англичане плавали в эти края еще задолго до французов. «Английская корона имеет основания по праву открытия занять эту страну»<sup>103</sup>. К тому же «французы там, сейчас и всегда будут врагами Англии», они натравливают индейцев на британских поселенцев, всячески вредят им и неспособны к мирному сосуществованию с английскими колониями<sup>104</sup>. Тем более, что выгоды от подобного приобретения очевидны. «Земля там такая богатая, а слой, пригодный для пахоты такой глубокий, особенно на юге, что можно воткнуть в него солдатскую пику до самого конца, так и не натолкнувшись на камень или скалу»<sup>105</sup>.

Показательно, что идея захвата Луизианы продолжала владеть умами американских патриотов и после отделения от Великобритании. В начале XIX века независимые Соединенные Штаты даже планировали совместную с британцами экспедицию против Нового Орлеана, «чтобы отстоять общие интересы объединившихся американской и британской наций»<sup>106</sup>. Не удивительно, что Наполеон в 1803 году почел за благо продать отдаленную провинцию США, после чего настроения в Вашингто-

<sup>101</sup> F. McLynn. Op. cit., p. 388.

<sup>102</sup> Gentleman's Magazine, November 1761, vol. XXXI, p. 499.

<sup>103</sup> Gentleman's Magazine, January 1761, vol. XXXI, p. 15.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> W.F. Johnson. A Century of Expansion. N.Y. — London: MacMillan. 1903, p. 89.



не резко изменились. В 1812 году вместо общего с англичанами похода против французской Луизианы было предпринято завоевательное вторжение в британскую Канаду, которое, впрочем, чуть не кончилось катастрофой.

В годы Семилетней войны еще трудно было предположить, что события зайдут так далеко. Американские колонии все еще нуждались в помощи Англии, а британские войска и флот одерживали одну победу за другой. Однако уже в 1760-м году было понятно, что Британии вряд ли удастся удержать все захваченные территории. При заключении мира с Францией надо было чем-то пожертвовать, но чем именно? Что возвращать: Канаду или Гваделупу? Лондонскую прессу охватила острая дискуссия.

Главные резоны сторонников удержания Канады были стратегические. Занять Квебек и Монреаль значило защитить Бостон и Нью-Йорк: «Гарантия того, что французы нас из этой страны не вытеснят»<sup>107</sup>.

Некоторые, напротив, считали, что удержать надо Гваделупу. Не только из-за ее товарной ценности (производство сахара), но и из-за того, что присоединение Канады, ликвидировав опасность французского вторжения, приведет в конце концов к независимости американских колоний. Им возражал находившийся в тот момент в Англии Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin). В своем памфлете один из будущих отцов-основателей Соединенных Штатов напоминал, что Америка представляет собой богатейший рынок для британских товаров. Нужна земля для колонизации — растет население. Все это, по его мнению, сулило великолепные перспективы Британии. Что же касается разговоров о независимости, то об этом и речи быть не могло, ибо американцы «любят свою историческую родину больше, чем своих соседей» (*loved the mother country more than they did one another*), а Север и Юг так разительно отличались друг от друга, что «союз между колониями совершенно невозможен»<sup>108</sup>.

Точка зрения Франклина восторжествовала. Согласно Парижскому миру 1763 года, Франция отказалась от любых притязаний на Канаду, Новую Шотландию и острова в заливе Святого Лаврентия. К Британии также отошли Долина Огайо и вся территория на восточном берегу Миссисипи, за исключением Нового Орлеана. Луизиана, таким образом, осталась за Францией, которая, однако, временно уступила ее Испании<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> *Gentleman's Magazine*, May 1760, vol. XXX, p. 207.

<sup>108</sup> G.L. Beer. *British Colonial Policy, 1754–1765*. N.Y.: MacMillan, 1907, p. 147.

<sup>109</sup> По условиям договоренности между Францией и Испанией, последняя вступала в войну против Англии в обмен на передачу ей Менорки, находившейся в тот момент в руках французов. По Парижскому миру Менорка была возвращена Англии, а Франция вынуждена была отдать испанцам Луизиану в качестве компенсации.

Мартинику и Гваделупу вернули французам, а четыре острова из группы Малых Антильских, считавшиеся нейтральными, разделили между двумя державами: Сент-Люсия перешла к Франции, а Сент-Винсент, Тобаго и Доминика — к Англии. В Африке к Британской империи отошел Сенегал, а из испанских владений — лишь маленький остров Гренада, все остальные завоеванные города и острова были возвращены Мадриду.

В Индии враждующие стороны вернулись к исходным границам. Но, как показала дальнейшая история, именно здесь Британская империя одержала самую важную в стратегическом отношении победу.

## VI. Открытие «Запада»

К началу XVIII века европейское экономическое и политическое присутствие в Индии было значительным, но оно отнюдь не делало западные страны хозяевами субконтинента. Большая часть его территории находилась под контролем постепенно слабеющей империи Великих Моголов. По мере того как империя теряла влияние, усиливались позиции и местных правителей, и европейских колониальных компаний — однако не до такой степени, чтобы обеспечить для одной из них господствующее положение. Европейские торговые фактории в прибрежных городах стали к тому времени частью политической и экономической реальности Индии — на протяжении двух столетий они обеспечивали экспортный спрос на здешние товары, способствуя росту производства. И если деятельность английской и голландской Ост-Индских компаний способствовала обогащению соответствующих стран и накоплению капиталов в Европе, то в описываемую эпоху казалось, что ничуть не меньше эта торговля способствует подъему ремесла и увеличению богатства в самой Индии.

Между тем в самой Европе восхищение богатствами, знаниями и изысканностью «загадочного Востока» постепенно сменялось иным настроением. Все более чувствуя свою силу, западные элиты начинали настаивать на своем праве переустроить жизнь азиатских народов в соответствии со своими представлениями и нуждами.

### ПРОСВЕЩЕНИЕ И «ДЕСПОТИЗМ»

Одной из главных идеологических новаций эпохи Просвещения является открытие «Запада» как особой цивилизации, противостоящей остальному миру. Древние греки и римляне делили людей на цивилизованных и варваров, причем признаком цивилизованности было существование гражданских институтов полиса. Живущие на Западе народы — кельты, а позднее германцы — были для них воплощением самого грубого варварства, с которыми у них было куда меньше общего, чем с просвещенными египтянами, сирийцами или жителями эллинизированной Бактрии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Например, Л.А. Мосионжик уже в древние времена видит в цивилизациях Запада (от кельтов до этрусков) некие «общие черты», которые «сложились в общую систему». Хотя он не отрицает, что «некоторые из этих черт разрозненно существовали в других странах», но именно на Западе их развитие «при-

Как ехидно замечает Чарльз Тилли, в Средние века «Европы не было», а жители западной части континента не имели никаких особых причин, чтобы считать себя единой цивилизацией с общей историей и общей судьбой. Они так и не считали<sup>2</sup>. Средневековое европейское общество определяло себя как христианское, и в этом смысле противостояло мусульманскому и языческому миру (к последнему, вплоть до XIII века относились жители Северо-Восточной Европы — эстонцы, финны, пруссы, литовцы и балтийские племена — предшественники современных латышей). А деление на Запад и Восток впервые начинает приобретать идеологический смысл в связи с расколом христианства на римский католицизм и византийское православие. Однако этот раскол, к которому в позднейшие времена апеллировали русские защитники национального своеобразия, не имел ничего общего с новым понятием о Западе, возникающим в эпоху Просвещения. Отныне именно ценности Просвещения становятся принципиальными для самохарактеристики «европейской» или «западной» цивилизации: рационализм, секуляризация государства, индивидуализм и права личности, существование представительных институтов и т.д. Таким образом, западная цивилизация с ее «секуляризмом», равноправием женщин, принципом единых общих для всех норм и т.д. опирается не столько на христианство (и уж тем менее — на иудаизм), не на европейскую историю Средних веков с ее специфическими привилегиями и «вольностями», имеющими вполне очевидные аналоги и в мусульманском мире (например, в Османской империи), а на новую радикальную буржуазную идеологию, в которой принципиальное значение имели как раз антихристианская (отчасти — антирелигиозная) тенденция и отказ от прежней социально-культурной иерархии. Поборники традиционных ценностей на Западе ненавидели философов Просвещения ничуть не меньше, чем позднее защитники традиций в азиатских и африканских странах. Иными словами, новое самосознание Запада требовало не преемственности, а, напротив, разрыва со многими существенными нормами и традициями, типичными для европейских обществ предшествующего периода. Собственно, мера разрыва с этими традициями и становилась критерием, по которому позднее определялся уровень «модернизации» и даже (в случае с восточноевропейскими, азиатскими или африканскими странами) «вестернизации» общества.

---

вело к появлению гражданского общества» (Л.А. Мосионжик. Цит. соч., с. 314). Беда в том, что рассуждает молдавский антрополог про социальные отношения древности, а гражданское общество начинает свою историю в эпоху позднего Средневековья. Не логичнее было бы поискать истоки его происхождения в несколько более близкую эпоху?

<sup>2</sup> См.: Ч. Тилли. Цит. соч., с. 72.

В XVIII веке Европа освобождается от христианства не только как от идеологии, но и как образа жизни. Особенность христианского религиозного сознания в том, что оно — по итогам революций — примиряется с этим. В ходе реформ царя Алексея Михайловича Тишайшего и его сына Петра Великого тот же процесс происходит в православной России, только, как отмечает Алла Глинчикова, секуляризация приходит не снизу, а сверху<sup>3</sup>. Этот процесс завершается «просвещенным абсолютизмом» Екатерины Великой. Правда, культурно-контрольные функции Церкви здесь замещаются не столько «гражданским обществом», как на Западе, сколько государственной бюрократией. Однако общее направление развития прослеживается и на Западе, и на Востоке христианской Европы. Отныне религия становится вопросом частного убеждения и индивидуальной веры, переставая быть делом общественным.

Тот факт, что подобные принципы были во многом новаторскими и агрессивно оспаривались в самих европейских и «западных» странах, нисколько не отменяет их идеологического значения. Напротив, отождествление ценностей Просвещения с «естественной нормой» западного общества, проведенное либеральными идеологами задним числом, укрепляло позиции их сторонников. Другое дело, что либеральная концепция «естественной нормы» была изначально противоречивой. С одной стороны, провозглашая свои политические, социальные и культурные нормы в качестве «естественных», либеральная традиция предполагала их общечеловеческое значение. С другой стороны, именно Запад представлялся в качестве носителя этих универсальных норм, имеющего на них своего рода исключительное право.

Будучи историческим продуктом развития капиталистического общества, идея «западной» цивилизации представляла себя в качестве внеисторической реальности, изначальной системы норм и принципов, определяющих превосходство Запада над основным миром, объясняющим и оправдывающим это превосходство. Такая двойственность самооценки «западной цивилизации» стала отражением противоречия капиталистической миросистемы, которая будучи экономически и политически нераздельным целым, не может в то же время существовать без внутреннего иерархического деления на «центр» и «периферию».

Не удивительно, что впоследствии идеология Просвещения и европоцентристское видение истории подверглись жесткой критике. Однако сами критики по большей части разделяли внеисторический и нормативный подход отвергаемой ими идеологии. Вместо того чтобы показать, что идея «Запада» является исторически ограниченной и преходящей, подобно прежним представлениям о «христианском мире», они склон-

<sup>3</sup> См.: А. Глинчикова. Раскол или срыв «русской Реформации». М.: Культурная революция, 2008.

ны были отвергать «западную культуру» как таковую, абстрагируясь от конкретных социальных условий, в которых она формировалась. Точно так же как идеологи либерализма настаивали на некоем изначальном, восходящем ко временам Античности, превосходстве «западной цивилизации», так и их критики, отвергая идею превосходства, не задумывались о том, что на протяжении большей части истории человечества деление на Запад и Восток либо вообще не имело смысла, либо имело совершенно не тот смысл, который в него вкладывался в XVIII–XX веках. Перефразируя Р. Киплинга, можно сказать, что Запад и Восток не только никогда не стояли на месте, но и неоднократно менялись местами, соединялись и разделялись заново открывая друг друга. А в конкретно-исторических условиях XVIII–XIX веков нормы «западной цивилизации» действительно давали своим последователям реальное преимущество перед культурно-социальными нормами, все еще господствовавшими на Востоке.

Проблема «Востока» состоит, конечно, не в том, что в XVI веке там не случилось Ренессанса и Реформации (культурно-психологическим аналогом последней, как раз является исламский фундаментализм конца XX века, поразительным образом воспроизводящий фатализм, безжалостность и радикализм, свойственные раннему кальвинизму), а в том, что Просвещение, запоздало заимствованное на Западе, так и не стало господствующей массовой идеологией. Но связано это не со спецификой ислама или других «ориентальных» религий, а с особенностями общества, развивавшегося в условиях периферийного капитализма (зависимой интеграции).

Идеологический триумф Запада был закреплен в массовом сознании на протяжении двух с половиной столетий. Отныне Запад, поддерживая миф об инертном, авторитарном и косном Востоке, сумел присвоить себе концепции «прогресса», «развития» и, разумеется, «капитализма». Напротив, в Азии и Северной Африке националистическая интерпретация истории колебалась между готовностью осудить собственную традицию, как заведомо реакционную и тормозящую развитие, и стремлением отвергнуть современные институты, современный тип развития как «инородные», «западные». В свою очередь социальные и классовые противоречия игнорировались, недооценивались или просто отрицались (применительно к «не-западным» обществам), что, впрочем, вполне соответствовало корыстному интересу местных элит, стремившихся сохранять идеологический контроль над обществом.

Начиная с середины XVIII века в Англии и Франции распространяется представление о странах Востока как о мире, где господствует жесточайший деспотизм, отсутствуют всякое уважение к правам человека и даже зачатки гражданских свобод. Энциклопедия Дидро и Даламбера безапелляционно пишет про примеры «тиранического, не ограниченно-

го законом единоличного правления, каковым является государственное устройство Турции, Монголии, Японии, Персии и практически всей Азии» (gouvernement tyrannique, arbitraire et absolu d'un seul homme: tel est le gouvernement de Turquie, du Mongol, du Japon, de Persie, et presque se toute l'Asie)<sup>4</sup>. Этот тип правления развращает «души и сердца восточных правителей»<sup>5</sup>, что и является важнейшей причиной бедствий, переживаемых их странами. Косвенно к деспотическим режимам приравнивалась и Россия, где, согласно энциклопедии, «правительство напоминает турецкое»<sup>6</sup>.

Ничуть не меньшую популярность идея «восточного деспотизма» получила в Англии. Обозреватель «Gentleman's Magazine», свою очередь, ссылаясь на французские источники, описал в 1762 году ужасающую картину унижения и подавления, которое народы Азии принимают как должное. С июля по октябрь в каждом номере журнала публиковались фрагменты анонимного трактата, который должен был продемонстрировать читателю фундаментальное различие между европейским и азиатским типом государства. «В этих странах на протяжении многих веков не было иного закона, кроме воли правителя, воспринимавшегося своими подданными в качестве живого Бога; рядом с ним все остальные люди обращались в ничто и они простирались перед ним в подобострастном молчании. В этих несчастных странах люди с радостью лобызают свои цепи, они обожают своих тиранов, не задумываясь о гарантиях для своей собственности или жизни; и никому неизвестно знание о человеческой природе или практика человеческого разума; они не знают иной добродетели, кроме страха, и, что еще более поразительно, они почитают свое бесправие за геройство; им безразлична собственная жизнь и смерть, и с тупостью религиозных фанатиков они восхищаются любым капризом своего правителя, даже если жертвами подобных капризов становятся они сами»<sup>7</sup>.

Поскольку просветительская теория «естественного человека» предполагала, что изначально люди рождаются и чувствуют себя свободными, ужасы восточного деспотизма невозможно было объяснить примитивностью и диким состоянием азиатских народов, тем более что наглядные факты свидетельствовали об обратном. «Мы полагаем, основываясь на опыте истории, что Европа всегда была отважной и гордой защитницей свободы; а Азия с древности жила в лености и рабстве; и не

<sup>4</sup> Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers. Paris, 1754, t. 4, p. 886.

<sup>5</sup> Ibid., p. 887.

<sup>6</sup> Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers. Neufchastel: Samuel Faulche & Co, 1765, t. 14, p. 443.

<sup>7</sup> Gentleman's Magazine, vol. XXXII, July 1762, p. 299.

удивительно, что столь разительное отличие характеров, неизменное и повторяющееся на протяжении веков, многими объясняется несхожестью климата, ибо что же кроме климата может быть столь постоянным, единым и неизменным»<sup>8</sup>. Эта точка зрения, однако оспаривалась другими европейскими авторами, напомиравшими, что климат Южной Европы не сильно отличается от климата, например, Турции. Последнее заставляло обозревателя «Gentleman's Magazine» искать главные причины различий в исторически сложившейся восточной культуре и религии, восходящей к Древнему Египту.

Далеко не все современники соглашались с тезисом об азиатском деспотизме. Французский путешественник и ориенталист Анкетиль Дюперрон (Anquetil Duperron) в книге «Восточное законодательство» («Legislation orientale»), опубликованной в 1778 году, писал, что распространенные в Европе представления о восточном деспотизме, об абсолютной и неограниченной власти азиатских правителей над своими подданными не соответствуют действительности. «Обвинения, которые мы предъявляем восточным правителям, необоснованны, либо они основаны на примерах злоупотреблений, которые признаются таковыми как самими правителями, так и их подданными»<sup>9</sup>.

Особенное внимание Дюперрон уделял защите прав собственности на Востоке, доказывая, что свобода торговли и предпринимательства отнюдь не подвергается там стеснениям, которые радикально меняли бы ситуацию по сравнению с Европой. Действительно, европейское представление о всеобщем господстве на Востоке государственной собственности опиралось прежде всего на различное понимание имущественных прав в азиатском мире и на Западе (вернее — в Европе Нового времени). Если же говорить о государственной собственности как таковой, то в строгом смысле «мусульманское право не знало такой категории»<sup>10</sup>. Земля принадлежала Аллаху и предоставлялась в пользование общине, представителем которой выступало государство. После завоевания новых территорий, «оставляя прежним владельцам завоеванную землю в пользование, государство получает с них поземельный налог, харадж, и этим реализует свое право собственника»<sup>11</sup>. Подобные схемы земельных отношений имели место и в средневековой Европе и Римской империи, откуда они, собственно, и были позаимствованы арабами с той лишь разницей, что изменилось их идеологическо-правовое обоснование.

<sup>8</sup> Ibid., p. 300.

<sup>9</sup> А.-Н. Anquetil Duperron. *Legislation orientale*. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1778, p. vi.

<sup>10</sup> О.Г. Большаков. *История Халифата*, т. 2. М.: Восточная литература, 2002, с. 133.

<sup>11</sup> Там же.



Однако как бы ни был Дюперрон прав фактически, его взгляды отвергались и даже игнорировались большинством авторов, предпочитавших конкретно-историческому анализу упрощенные идеологические схемы<sup>12</sup>. Даже Карл Маркс писал про азиатские деспотии теми же словами, что и его либеральные оппоненты, подчеркивая, что в этих обществах «безопасность жизни и сохранность имущества не обеспечены, и нет никакого стимула к прогрессу»<sup>13</sup>.

Между тем уже Дюперрон откровенно замечал, что изображая восточные страны (Персию, Турцию и Индию) в виде «варварских», западные авторы стремились оправдать проводимую там европейцами политику, представляя восточные народы, способными только «служить нам для наживы» (*nous presenter les objets de gain*)<sup>14</sup>. Показательно, что в лондонском «Gentleman's Magazine» дискуссия о происхождении «восточного деспотизма» публикуется практически параллельно с сообщениями об успехах английского оружия в Индии. А позднее европейские представления об «азиатском деспотизме» легли в основу того государственного устройства, которое сами европейцы — в «усовершенствованной» и «цивилизованной» форме установили в Азии, ссылаясь на то, что именно подобные порядки наиболее соответствуют традициям и нравам местных жителей.

Если завоевание Америки морально оправдывалось дикостью и отсталостью местных племен, а Австралия и вовсе могла быть объявлена «terra nullius» («ничьей землей»), поскольку аборигены не имели ни государства, ни, в соответствии с европейскими представлениями, общества, то применительно к Индии, обладавшей древней цивилизацией и процветающей экономикой, требовались аргументы иного рода. И тезис о деспотизме предоставлял такие аргументы.

С точки зрения европейцев, индийские правители жили в «атмосфере подострастия и коварства, и вообще их жизнь была похожа на сказку» (*atmosphere of subtlety, treachery and fairy tale*), напоминая «Тысячу и одну ночь»<sup>15</sup>. Этому британские джентльмены противопоставляли свои

<sup>12</sup> Конструирование образа «Востока» в западной, прежде всего британской, литературе очень хорошо описано в классической книге Эдварда Саида «Ориентализм». Как отмечает Саид, «ориентализм» являет собой систематизированную и последовательную систему представлений о «Востоке», построенных по принципу подчеркивания и выявления его контраста с «Западом». См.: E. Said. *Orientalism*. N.Y.: Vintage, 1979 (рус. изд.: Э. Саид. *Ориентализм. Западные концепции Востока*. М.: Русский мир, 2006).

<sup>13</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 14, с. 292.

<sup>14</sup> А.-Н. Anquetil Duperron. Op. cit., p. v.

<sup>15</sup> C.F. Lavell, Ch. E. Payne. *Imperial England*. New York: The MacMillan Co., 1920, p. 99.

«лучшие традиции честности»<sup>16</sup>. Однако благородство истинного англичанина имеет пределы. Клайв в 1772 году объяснял членам Палаты общин: «В Индостане правительство всегда было деспотическим. А жители там, особенно же в Бенгалии, в низших слоях общества склонны к сервильности, скупы, преклоняются перед силой и трепещут перед ней. В высших слоях общества они расточительны, избалованы, изнежены, тираничны, вероломны, продажны и жестоки»<sup>17</sup>.

С точки зрения Клайва, подобное положение дел полностью освобождало его самого от необходимости следовать моральному кодексу британского джентльмена в социально-культурной среде, где эти нормы не только никто не соблюдает, но никто и не может оценить.

Конечно, подобный подход далеко не все разделяли в самой Британии. Эдмунд Бёрк (Edmund Burke) резонно заявлял: «Обман, несправедливость, угнетение, казнокрадство, имеющие место в Индии, являются точно такими же преступлениями, как если бы схожие деяния совершались в Англии» (*Fraud, injustice, oppression, peculation, engendered in India, are crimes of the same blood, family and cast, with those that are born and bred in England*)<sup>18</sup>. Однако показательно, что свои гневные речи о преступлениях английской администрации в Бенгалии либеральный политик произносил уже после того, как Клайв завершил свою миссию. Напротив, деятельность Клайва пользовалась со стороны Бёрка полной поддержкой и одобрением. Когда Клайв весьма откровенно отчитывался о своих действиях и мотивах, это не вызывало у Бёрка ни малейшего протеста, так же как и сама идея колониального завоевания. Даже позднее, разоблачая деятельность Ост-Индской компании, Бёрк ссылаясь на местную специфику: «Признаюсь, все эти условия не благоприятствуют нашим попыткам управлять Индией. Но мы уже там, и Всевышний поставил нас во главе данной страны: нам остается лишь смириться с этим и сделать все возможное для ее блага»<sup>19</sup>.

Между тем Клайв и другие герои колониальной эпопеи — англичане и индийцы — не только действовали в соответствии с правилами среды, но и сами активно формировали среду. Анализируя социальное развитие Индии, британский историк Д.А. Вашбрук (D.A. Washbrook) пришел к неожиданному выводу: черты азиатского общества, которые западные авторы характеризовали как извечные цивилизационные особенности, препятствовавшие динамичному развитию, на самом деле сформиро-

<sup>16</sup> Ibid., p. 101.

<sup>17</sup> L. James. Raj. The Making and Unmaking of British India. London: Abacus, 2003, p. 49.

<sup>18</sup> Цит. по: C.C. O'Brien. Op. cit., p. 343.

<sup>19</sup> Ibid., p. 325.

вались достаточно поздно, став непосредственным результатом периферийной интеграции колониального и полуколониального Востока в глобальную капиталистическую экономику. «Британское правление в Южной Азии реструктурировало общество и экономику в соответствии со своими задачами, в результате чего все местные тенденции, которые вели к модернизации и индустриализации, оказались фактически заблокированы. Социальные и экономические порядки, которые последующими поколениями воспринимались как порожденные древней и косной традицией, препятствующей всякому развитию, на самом деле были кристаллизованы и оформлены именно с приходом европейцев»<sup>20</sup>.

С точки зрения Адама Смита, господство Запада было предопределено экономическим и техническим соотношением сил. В свою очередь, марксизм справедливо указывает на связь между развитием производительных сил и изменением общества. Более передовые производительные силы Запада создавали условия для прогресса в социальной жизни. Спустя сто лет Маркс, как и Смит, был убежден в том, что предпосылкой колониализма явилось техническое превосходство Европы. Однако если тезис о техническом превосходстве справедлив по отношению к Америке, совершенно иной была ситуация в Азии. Технологически, организационно, финансово азиатские государства были в XVI и даже в XVII веке несомненно сильнее европейских. К концу Средних веков они достигли значительно большего развития производительных сил, чем Европа. Более того, на Востоке мы находим многие элементы буржуазной экономики, развитые, порой, ничуть не меньше, нежели на Западе. Как отмечает Д.А. Вэшбрук, Южная Азия «сосредоточила вокруг себя значительно большую часть мировой торговли, чем любая другая часть планеты, а в период между XVI и XVIII веком на нее приходится больше четверти всего мирового обрабатывающего производства (world's total manufacturing capacity). Ее экономическая сила была столь велика, что даже в Мексике местная текстильная промышленность пришла в упадок из-за азиатского импорта»<sup>21</sup>.

Вплоть до середины XVIII века Индия и Китай не только оставались более богатыми и развитыми экономическими зонами, чем Западная Европа, но и в торговых отношениях с Западом явно выигрывали. В XVIII веке европейцы могли считать Поднебесную империю «весьма странным местом» (*a very strange place indeed*), но никому не пришло бы в голову оценивать ее как «отсталую экономику и цивилизацию»<sup>22</sup>. Ин-

<sup>20</sup> D. A. Washbrook. Progress and Problems: South Asian Economic and Social History c. 1720–1860. In: *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 79.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 60.

<sup>22</sup> E. J. Hobsbawm. *The Age of Empire, 1875–1914*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987, p. 15. Как отмечает немецкий исследователь Вальфганг Франке (Wolfgang

дия имела положительный торговый баланс со всеми странами Запада, серебро из Европы и Америки перетекало сюда в обмен на товары, явно превосходившие европейские по качеству.

«Вообще-то, — рассуждает Вашбрук, — если посмотреть на результаты торговли тканями между Европой и Южной Азией в XVII веке, будет трудно определить, кто был тогда «центром», а кто «периферией». Азиатский экспорт грозил разорить текстильное производство в Европе, так что правительствам приходилось принимать протекционистские меры, чтобы остановить его; европейский спрос, поддержанный мексиканским серебром, способствовал экономическому росту и экспансии производства во многих частях Южной Азии, особенно в Бенгалии»<sup>23</sup>.

Индийский текстиль заполнил европейские рынки, индийские специи были ценнейшим продуктом. По позднейшим оценкам, на индийский субконтинент приходилось к 1750 году четверть всего мирового ремесленного и промышленного (manufacturing) производства, тогда как на Британию не более 1,9%. Одна только Дакка экспортировала текстиля в Англию на 2,85 миллиона рупий — грандиозную по тем временам сумму.<sup>24</sup> Именно Индия могла в то время считаться «мастерской мира» и, в любом случае, заслужила у современников название «богатейшей страны всей земли»<sup>25</sup>. Благоприятно влияло становление мирового рынка и на экономическое развитие Китая.

Даже в середине XIX века, когда Индия уже находилась под властью британцев, а Китай вынужден был смириться с политическими условиями, которые диктовал ему Лондон, азиатские страны по-прежнему вывозили в Европу больше товаров, нежели получали оттуда. В 1856 году

---

Franke), Китай представлялся европейцам начала XVIII столетия как «большая могущественная империя, пребывающая в благополучии, спокойствии и мире. Во главе стоит честный просвещенный властитель, который правит при соблюдении предписаний разума и установленных норм государственной этики. Народ управляется на основе законов, высоких и чистых обычаев. Все войны и споры устранены, мир и гармония превыше всего. В противоположность этому раздробленная и находящаяся в постоянных войнах Европа с ее бедностью и нуждой после Тридцатилетней войны представляла собой ужасную картину» (Franke W. China und Abendland. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962, S. 55. Цит. по: Илларионова Т. Немцы на государственной службе России. К истории вопроса на примере освоения Дальнего Востока. М.: Институт энергии знаний, 2009, с. 55). Этот образ Поднебесной империи способствовал появлению соответствующей моды, характерной для большей части XVIII столетия (всевозможные китайские залы, павильоны, беседки и т.д.), а также повлиял на формирование европейской концепции просвещенного абсолютизма.

<sup>23</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 60.

<sup>24</sup> См.: N. Robins. Op. cit., p. 67, 148.

<sup>25</sup> Ibid, p. 67.

лондонский «The Economist» жаловался: «Вывоз серебра на Восток продолжится так долго и в таких больших масштабах, что необходимо предположить какую-то постоянную причину, которая дает этим странам преимущество перед Западом»<sup>26</sup>.

Капиталы индийских предпринимателей, были весьма значительны и уж во всяком случае не уступали европейским. «С XIV в. Индия, — отмечает Фернан Бродель, — располагала довольно оживленной денежной экономикой, которая постоянно будет двигаться по пути определенного рода капитализма; он, однако, не охватит все общество целиком»<sup>27</sup>. Но ведь и в Западной Европе капитализм сможет «охватить все общество» не раньше начала XIX столетия, а то и позже. На уровне технического развития разрыв между Западом и будущим «третьим миром» возник лишь в середине XIX века в результате промышленной революции. В 1830 году соотношение производства на душу населения между двумя группами стран составляло примерно один к двум, а к 1913 году — уже один к семи<sup>28</sup>.

Почему же к концу XVIII столетия соотношение сил радикально изменилось, почему в складывающемся глобальном разделении труда роль «центра» миросистемы досталась Западной Европе, а не Индии и Китаю?

Господствующее положение Запада в мире не может быть и приписано индустриальной революции. «Европейская, и в особенности британская, гегемония над Востоком установилась еще до того, как индустриальная революция преобразила мировую торговлю, — отмечает Вашбрук. — В Южной Азии конкуренция Ланкашира не чувствовалась до 1820-х годов, а к тому времени Ост-Индская компания давно уже была здесь господствующей экономической силой. Как раз наоборот, способность британской индустриальной революции изменить характер мировой торговли до известной степени может быть объяснена доминирующим положением, которое Британия завоевала значительно раньше. Это господствующее положение Англии позволило ей устранить любые препятствия, которые сдерживали ее экспорт и соответственно рост ее промышленности»<sup>29</sup>.

Андре Гундер Франк уверен, что причиной всему — серебро Америки. Благодаря ему европейцы «украли» первое место у Востока. Однако поток серебра, пошедшего в Старый Свет из Америки должен был бы

<sup>26</sup> The Economist, 11.10.1856, vol. XIV, No. 685, p. 1117.

<sup>27</sup> Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII, т. 2, с. 94.

<sup>28</sup> См.: E.J. Hobsbawm. Op. cit., p. 15.

<sup>29</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 61.

сам по себе лишь усилить процесс накопления капитала в странах Азии и увеличить ее преимущество перед Европой. Произошло же как раз обратное. И не только потому, что позитивный торговый баланс сам по себе еще не является доказательством экономического преобладания. В период после окончания Крымской войны Россия вывозила в Англию товаров в три раза больше, чем получала оттуда. И наоборот, в конце XX века Соединенные Штаты имели отрицательный баланс почти со всеми основными своими торговыми партнерами. В Индии и Китае просто отсутствовал тот механизм накопления капитала, который сформировался в Европе. Потому серебро, поступавшее в обмен на пряности, шелк и позднее чай, не превращалось в капитал, закладывая основу нового капиталистического производства, а тратилось на потребление или на финансирование текущих операций.

Этот механизм накопления обеспечивался в Европе не только деятельностью самой буржуазии, но и ее взаимодействием с государством. Западное государство в конечном счете позволило превратить преимущества буржуазного способа производства в источник новой глобальной мощи, с помощью которой можно было изменить соотношение сил между странами и регионами, сформировать новое разделение труда и в итоге подчинить ресурсы большей части человечества задачам развития капитализма.

Не отсталость стала причиной экономической и политической зависимости, а напротив, периферийная интеграция стран Азии, Африки и Латинской Америки привела к растущему отставанию от Запада. К концу XVII века капиталистическая миросистема складывается преимущественно в Европе и Северной Америке, а к концу XVIII века она уже обеспечивает массивное перераспределение ресурсов «периферии» в пользу буржуазных обществ формирующегося «центра».

Ни Индия, ни Китай не строили вокруг себя миросистему — ни сознательно, ни даже бессознательно. А Испания, Голландия Англия — строили, и не только стихийно, бессознательно, но в значительной степени и сознательно. Благодаря сознательным и длительным усилиям по организации нового порядка Британская империя превратилась в могучую мировую державу. Иными словами, наличие имперской гегемонии было необходимым условием для формирования капитализма как глобальной системы, а не наоборот. Другое дело, что эта гегемония регулярно оспаривалась, но оспаривалась не со стороны «периферии», не со стороны государств, сопротивлявшихся интеграции в глобальную буржуазную миросистему, а изнутри самой этой системы, изнутри «центра».

Вызов гегемонии со стороны «периферии» и полупериферии стал возможен только много позднее, когда революционными движениями XX века был поставлен под вопрос сам капитализм.

## АЗИЯ: КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Оценивая дебаты историков о причинах азиатской «отсталости», английский исследователь Д. Вашбрук ехидно заметил: «Социальная и экономическая история Южной Азии писалась для того, чтобы объяснить, почему этот регион не развивался как Европа или, быть может, вообще не развивался, а не для того чтобы изучить процессы, которые там на самом деле происходили»<sup>30</sup>. При более пристальном взгляде обнаруживается, что буржуазное развитие имело место не только в Европе, но и в Азии, хотя порой и в несколько иных формах. Купечество было хорошо организовано и вполне способно отстаивать свои интересы перед лицом местных правителей, а население мобильно в достаточной мере, чтобы сформировать эффективный рынок труда, обеспечивающий динамичное развитие производства.

В плане хозяйственной культуры Турция, Персия или Индия никогда не были однородны или жестко оторваны от Запада. Когда английские купцы обосновались в Калькутте, они нашли там заметные армянские и еврейские общины, активно занимающиеся предпринимательской деятельностью. Представители этих общин сразу стали естественными партнерами европейцев, которые, в свою очередь, были отлично осведомлены об их образе жизни, культуре и хозяйственном значении<sup>31</sup>.

Индия переживала в XVII веке «те же социальные процессы, которые имели место в Западной Европе. То же самое можно сказать про Оттоманскую, Иранскую и Китайскую империи — исследования показывают, что во всех них происходили однотипные сдвиги»<sup>32</sup>.

Принципиальное отличие Востока от Запада состояло в том, что Восток был богаче и не испытывал дефицита ресурсов. Парадоксальным образом именно успешное развитие и эффективность существующей экономики, по мнению позднейших историков, обрекали империю Великих Моголов на социальный застой: «у Моголов было слишком много денег, потому у них не было необходимости ограничивать права торговцев, а затем предоставлять им за деньги монополии и привилегии, как это делали в Европе»<sup>33</sup>. В империи Великих Моголов годовой доход правителя в 1600 году был в 20 раз больше дохода английского короля<sup>34</sup>. Точно так же не было здесь и острого кризиса социально-экономической системы, подобного тому, какой переживал европейский феодализм начиная с конца XIV века. Китайское правительство тоже «функционировало до-

<sup>30</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 62.

<sup>31</sup> См.: Gentleman's Magazine, vol. XXVII, July 1757, p. 307.

<sup>32</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 72.

<sup>33</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 57.

<sup>34</sup> См.: Ibid., p. 52.

статочно хорошо, так что не возникало и потребности что-либо менять в существующих структурах»<sup>35</sup>. Иными словами, ничто не заставляло власть и общество идти по пути радикальных преобразований.

Предпринимательская культура, сложившаяся на Востоке, явно не уступала западноевропейской. Кредитные связи восточных купцов, по словам Броделя, «были столь эффективны, что комиссионеры английской Ост-Индской компании (которые имели право заниматься торговлей «из Индии в Индию» как за свой личный счет, так и от имени компании) непрерывно прибегали к кредиту серрафов, так же как голландцы, а до них португальцы делали займы у японцев в Киото, а испытывавшие затруднения христианские купцы — у мусульманских и еврейских ростовщиков Алеппо или Каира»<sup>36</sup>. Европейские компании в Азии работали, опираясь на местные банковские и торговые сети, без которых они просто не смогли бы в такой короткий срок развернуть столь масштабную деятельность. Обратной стороной этой ситуации был рост коммерческого долга британской Ост-Индской компании, который несмотря на все политические успехи англичан, вырос почти в 6 раз с 1786 по 1832 год<sup>37</sup>.

Хотя спорадическое и порой довольно жесткое вмешательство местных правителей, безусловно, имело место, торговля в Южной Азии была относительно свободна. Государство в большей степени было вовлечено в организацию сельского хозяйства там, где требовалось поддерживать сложные ирригационные системы или помогать голодающим в случае неурожая. Как отмечают современные исследователи, в хозяйственной жизни Индии — если не считать вопросов ирригации — империя Великих Моголов «играла минимальную роль»<sup>38</sup>. Торговля и ремесло «в целом развивались в условиях свободы», поскольку доход государства формировался за счет налогов, выплачивавшихся крестьянами<sup>39</sup>. Крестьяне отдавали государству (или представлявшим его местным правителям) от трети до половины урожая. В то же время таможенные платежи не превышали 5% стоимости товара, что по европейским понятиям было просто поразительно<sup>40</sup>. Торговые корпорации и гильдии, которые в Европе были тесно связаны с государством, здесь были основаны исключительно на добровольном согласии участников. Государство настолько

<sup>35</sup> Ibid., p. 68.

<sup>36</sup> Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII, т. 2, с. 94–95.

<sup>37</sup> См.: Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 74.

<sup>38</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 52.

<sup>39</sup> Ibid., p. 55.

<sup>40</sup> См.: Ibid., p. 97.



не вмешивалось в жизнь купцов, что даже соблюдение заключенных договоров было в основном частным делом, основываясь прежде всего на заботе предпринимателей о своей репутации, а не на правительственном принуждении. Короче говоря, если считать, что низкие налоги, свобода торговли и невмешательство правительства в дела бизнеса являются главными условиями для успешного развития, Индия Великих Моголов должна была бы стать передовым буржуазным обществом задолго до Англии и Голландии.

Слабость индийской буржуазии (разительно контрастировавшая с ее богатством и достигнутым технологическим уровнем) происходила не от государственного вмешательства, а напротив от его отсутствия. Не вмешиваясь в дела купцов, не облагая их обременительными налогами и бюрократическими ограничениями, правительство Великих Моголов, в то же время и не оказывало им помощи, не поддерживало их, и уж тем более не предпринимало политических инициатив в их интересах. Именно в этом состояло одно из главных отличий восточных обществ от западных.

Приезжая на Восток, голландские и английские торговые представители ожидали добиться от местных властей такой же поддержки, какую получали у себя дома или, например, в России, но наталкивались на полное безразличие.

В независимых государствах на юге Индии ситуация несколько отличалась от империи Великих Моголов. Чем меньше была их территория, тем больше оказывалась заинтересованность правителя в ремеслах и торговле, которые должны были компенсировать недостаток аграрных доходов. Местные султаны строили портовые сооружения, заботились об инфраструктуре торговли так же, как на севере — об ирригации. Однако ни в одном случае мы не видим активной государственной политики, направленной на завоевание новых рынков и поддержку внешней экспансии собственной буржуазии.

Аналогичную политику проводили персидские шахи. Аббас I совместно с англичанами вел военные действия против португальцев, но целью его борьбы была не внешняя экспансия, а контроль над экспортом товаров, направлявшихся в Европу. Постоянная борьба с Османской Турцией делала Персию заинтересованной в западном оружии и морской торговле (экспортируя шелк по морю, Персия избегала необходимости платить за транзит своему традиционному врагу). Производство и продажа шелка была более или менее сосредоточена в руках государства, превратившись в важный источник пополнения казны. К местным частным предпринимателям шахское правительство проявляло не больший интерес, нежели Великие Моголы.

Османская империя практиковала правительственный контроль над экономикой, но он был не столь жестким, как порой рассказывали

европейские путешественники. В мамелюкском Египте «купцы платили высокие налоги, но в остальное государство не вмешивалось»<sup>41</sup>. Турецкие султаны содержали значительный военный флот, часть которого использовалась для защиты торговых путей и портовых городов. Однако главной заботой правительства оставалось сельское хозяйство. Поражение турецкого флота при Лепанто не имело для империи тяжелых последствий, поскольку ее морские интересы были второстепенными.

Исследования ближневосточной экономики свидетельствуют: в исламской культуре, в отличие от западного христианства, социальный статус купцов «был куда более позитивным»<sup>42</sup>. Ростовщичество, конечно, осуждалось Кораном, но ничуть не меньше оно осуждалось и христианским вероучением. Нередко можно встретить мнение, будто в азиатских странах, особенно там, где господствовал ислам, не было ни банков, ни развитой кредитной системы, что и объясняет превосходство европейских предпринимателей. Это не соответствует действительности. Индийские источники конца XVI века свидетельствуют, что торговцы «часто зависели от кредита»<sup>43</sup>. Другое дело, что предоставляли кредит зачастую не мусульмане — большинство восточных обществ было в этническом и религиозном отношении неоднородно. Наряду с мусульманами в них присутствовали православные христиане, армяне, евреи, не говоря уже о индуистах, составлявших большинство населения в империи Великих Моголов. Банкиры, как их называли в Индии, шаррафы или сerraфы<sup>44</sup>, почти всегда принадлежали к индуистской общине. Хотя бы один такой ростовщик или банкир был в каждой деревне. Занимались они также и страхованием.

Превосходство европейских методов ведения дел или управления финансами было весьма относительным, если вообще имело место. Как отмечают современные исследователи, «азиатские методы ведения бизнеса не уступали западным» (*Asian business methods were in no way inferior*)<sup>45</sup>. Западная торговля была бы невозможна без участия туземных посредников — баниев (*bania*)<sup>46</sup>. Фирмы баниев часто объединяли капитал нескольких родственников, но порой представляли собой и партнерства, основанные исключительно на деловых отношениях. Поведение баниев соответствовало требованиям европейской кальвинистской этики. Они

<sup>41</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*. Ed. by J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, p. 66.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 61.

<sup>43</sup> *The Rise of Merchant Empires*, 1993, p. 375.

<sup>44</sup> В европейской литературе встречается написание: *shroffs, sharrafs, serrafts*.

<sup>45</sup> *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 1.

<sup>46</sup> В некоторых источниках это слово передано в другой форме — баньяны (*banyans*).

не демонстрировали своего богатства, четко соблюдали нормы религиозного ритуала<sup>47</sup>.

Там, где столкновение интересов западных и восточных купцов произошло в коммерческом соревновании, европейцам далеко не всегда удавалось взять верх. В Таиланде, например, индийские купцы успешно вытеснили европейских конкурентов с местного рынка.

Преимущество европейских предпринимателей было не в большей эффективности и более передовой коммерческой «технике», а в большей концентрации капитала, это было преимущество крупных монопольных корпораций над независимым бизнесом, пытающимся жить по законам свободной торговли. Но главным фактором, обеспечивавшим превосходство западных компаний над туземным купечеством, была их военно-политическая организация и тесная связь с государством.

С самого начала европейцы в Азии, будучи слабее экономически, обладали политическим преимуществом. Их государственные структуры были нацелены на поддержку торговой экспансии и укрепление позиций «своего» капитала. Они готовы были в любой момент поддержать интересы предпринимательства силой оружия и административным принуждением. В силу этого они владели инициативой. Поэтому не индийские или малайские экспортеры осваивали рынки Европы, а европейские предприниматели вместе с военными и администраторами создавали мировой рынок, устанавливая связь между континентами и внедряя свои правила игры.

Значительная часть торговли в Азии велась через независимые и полунезависимые города-государства, которые порой почти не были связаны с окружающими их сельскохозяйственными территориями. Они предоставляли оптимальные условия для посреднических операций, сделок между купцами, обеспечивали им благоприятные условия и защиту. Торгово-политическая модель, представленная в западной истории Венецией и Генуей, в Азии была представлена такими городами, как Аден (Aden), Каликат (Calicut), Малакка (Melaka), Аче (Aceh), Бантам (Bantam). Налоги и пошлины были низкими и при благоприятных условиях такие центры превращались в своеобразные офшорные зоны<sup>48</sup>. Ис-

<sup>47</sup> В источниках зафиксирован спор между английским купцом и шаррафом из-за страховой сделки. Показательно при этом, что привлеченные к рассмотрению дела купцы-бании поддержали англичанина, тогда как банкиры-шаррафы отказывались согласиться с их решением. Иными словами, корпоративный интерес был важнее религиозной и этнической принадлежности. См.: *The Rise of Merchant Empires*, p. 388. О нравах баниев см. главу Ирфана Хабиба (Irfan Habib) в той же книге.

<sup>48</sup> В качестве примера английский историк М.Н. Пирсон (M.N. Pearson) приводит находившийся под властью наваба Аркота (Nawab of Arcot) порт Сан-Томе на Коромандельском побережье (San Thome on the Coromandel coast), который весьма успешно конкурировал с английским Мадрасом.

ключением были правители Сривиджайа (Srivijaya), которые пытались контролировать торговые операции и управлять ими. Но эта политика провалилась, а само их государство, претендовавшее на доминирование в регионе, рухнуло.

Регулярное и эффективное государственное вмешательство в экономику приходит в большинство стран Азии вместе с европейским капитализмом и буржуазным порядком. Причем вмешательство правительства не только не является препятствием для развития капитализма, но становится важнейшим его условием. Торговый класс требует от властей поддержки и защиты. Европейские купцы, за спиной которых стояла мощь государства, оказывались в совершенно ином положении, чем их азиатские конкуренты, к которым туземная власть относилась с подчеркнутым безразличием.

Чем более буржуазными были собственные нравы и порядки у европейских пришельцев в Азии, тем больше была их склонность к установлению монополий на новой территории. Как отмечают историки, «португальское присутствие в юго-восточной Азии не изменило сколько-нибудь радикальным образом традиционную систему торговли, которая была разрушена только голландцами в XVII веке»<sup>49</sup>. При всей своей теоретической приверженности свободе торговли голландские предприниматели-колонизаторы старались установить монопольный контроль над производством и поставкой наиболее ценных товаров и поддерживали эту монополию силой оружия повсюду, где это было возможно. Именно эти монополии обеспечили принудительную интеграцию экономики Азии в новую систему мирового рынка.

С приходом европейцев правительственное вмешательство стало затрагивать не только сферу торговли, но и производства, причем речь идет не о традиционном сельском хозяйстве (которое на Востоке часто и раньше не могло развиваться без организуемой властями ирригации), а о продукции, предназначенной для рынка и экспорта. Принуждение к рынку, осуществлявшееся голландской администрацией по отношению к туземным общинам, было систематическим, последовательным и безжалостным на протяжении нескольких столетий. Голландские власти переориентировали хозяйство подконтрольных им территорий на обслуживание собственных экспортных потребностей. Они выкорчевывали плантации и высаживали новые, они решали, какие культуры можно или, напротив, нельзя разводить, причем все эти нормы не имели никакого отношения к потребностям местного рынка и спросу местного населения.

Разумеется, Азия в XV–XVII веках не имела гражданских институтов, подобных западным. Но реальная политическая жизнь региона была весьма далека от упрощенного образа «ориентального деспотизма»,

<sup>49</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 3.

сложившегося в позднейшей европейской литературе. Вопреки позднейшим западным представлениям, империя Великих Моголов отнюдь не была «деспотическим государством», где все решала воля правителя. Власть вынуждена была считаться с традициями, привилегиями каст, правами общин, местными собраниями, нередко обладавшими судебными полномочиями. Точно так же, как и в Европе, центральное правительство стремилось консолидировать контроль над обществом, но делало это с гораздо меньшим успехом и настойчивостью. Вопреки мифу, созданному позднее на Западе, преимущество европейцев состояло как раз в наличии хорошо организованных авторитарных структур, жесткого контроля и четкой дисциплины, противостоявших расслабленности и хаосу восточного государства.

В Восточной Азии существовали собственные города-государства, управляемые мусульманской купеческой олигархией. Как и в Италии позднего Средневековья, не землевладельческая аристократия подчиняла себе городскую элиту, а напротив, выходцы из буржуазии становились правителями, подчиняющими себе старую знать: «было обычным делом, когда наиболее богатые купцы основывали новую династию султанов»<sup>50</sup>. По своей политической и экономической организации Малаккский султанат перед приходом португальцев может быть вполне сопоставим с коммерческими государствами Северной Италии.

Отличие Европы от Азии состояло не в более высоком уровне развития торгового капитала, а в том, что на Западе буржуазные отношения в сельском хозяйстве активно развивались начиная с XVI века (во многих странах — с конца XIV столетия). Накопление торгового капитала сопровождалось развитием сельского хозяйства, все более ориентированного на рынок. Разумеется, масштабы проникновения капиталистических отношений в европейскую деревню того времени остаются темой острых дискуссий между историками. По словам Роберта Бреннера (Robert Brenner), к концу XVI века в Англии «сельское общество уже вовсю двигалось к капитализму»<sup>51</sup>. Напротив, Перри Андерсон напоминает, что

<sup>50</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 18.

<sup>51</sup> The First Modern Society. Ed. by A. L. Beier. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 296. Из высокого уровня развития буржуазных отношений в английской деревне Роберт Бреннер делает вывод о том, что не только «новое дворянство», но и старая аристократия к началу XVII века уже успешно встроилась в новые экономические условия. Однако тезис о торжестве аграрного капитализма ставит в тупик самого автора, когда возникает вопрос о причинах английской революции и гражданской войны: историк отделяется ссылкой на «государство, которое еще не было капиталистической монархией» (far from capitalist monarchist state), а затем признается, что объяснение революции «должно быть темой отдельного исследования» (p. 304). Констатируя развитие буржуазных отношений в английской деревне, Бреннер упускает из виду, что

личная свобода крестьян, ставшая нормой на Западе с конца XIV века, «не означает исчезновения феодальных отношений в деревне»<sup>52</sup>. Феодальная эксплуатация крестьянства земельными собственниками возможна и без крепостного права. Однако даже если согласиться с этим замечанием, невозможно отрицать стремительного процесса аграрной трансформации, происходившего на Западе. Принципиальное отличие этого процесса от того, что мы наблюдаем в России и Польше или в Азии состояло в том, что на Западе сельский производитель сам по себе в возрастающей степени становился участником рынка, тогда как крупные землевладельцы заинтересованы были лишь в получении денежной ренты. Соответственно общинные структуры сельской самоорганизации быстро уходили в прошлое и почти полностью исчезли даже в отсталых районах Шотландии или Германии к концу XVIII века. Напротив, в Восточной Европе, как и в Азии, поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок выступает преимущественно (хотя и не исключительно) помещик либо государство, а общинные структуры деревни устойчиво воспроизводятся на основе ее хозяйственной самодостаточности.

Азиатская деревня продолжала жить и работать в соответствии с жесткими правилами традиционной экономики. Там, где торговые государства на Востоке, как и на Западе, жили за счет грабежа или игнорирования деревни, развитие довольно быстро заходило в тупик. Напротив, преобразования, происходившие в европейской деревне, отражались на всем обществе, в котором капитал отнюдь не был изолированным и до известной степени чужеродным элементом по отношению к традиционной жизни сельских общин. Правительства, опиравшиеся на ресурсы аграрного общества, все больше попадали под влияние буржуазных интересов, не теряя связи с глубинными сельскохозяйственными районами собственной страны. Европейское государство, объединявшее эти разрозненные интересы и пытавшееся своей властью интегрировать общество в единое целое, оказывалось в такой ситуации гораздо более действенным инструментом для распространения буржуазного порядка, чем восточные правительства, равнодушно возвышавшиеся над пе-

---

разные социальные группы встраивались в эти отношения по-разному и с разными результатами. В противном случае «новое дворянство» и старая аристократия не только не сошлись бы в смертельной схватке гражданской войны, но и задолго до этого слились бы в один класс с общими интересами. Дело не в отсталости государства, а в социальных противоречиях, с которыми оно не могло справиться. Развитие капиталистических отношений было неоднородно и неравномерно, новые порядки обречены были сосуществовать со старыми, а государство, пытаясь разрешить и урегулировать возникающие на этой почве конфликты, само оказывалось в кризисе.

<sup>52</sup> P. Anderson. *Op. cit.*, p. 17.

стрым и неоднородным обществом, состоящим из живущих порой изолированно друг от друга каст, общин и социальных групп.

Преимущество европейцев состояло в наличии передовой организации насилия — государственных структурах и государственной политике, ориентированной на защиту интересов капитала, а на «тактическом» уровне — в существовании монопольных компаний, которые могли концентрировать ресурсы и развиваться в тесном взаимодействии с государством. Иными словами, сила Запада была прежде всего в способности строить рыночную экономику не-рыночными и даже антирыночными методами.

Другим важным преимуществом европейских компаний было то, что опирались они не на локальные, а на глобальные коммерческие сети, перераспределяя ресурсы между различными регионами мира, организуя разделение труда и гарантируя взаимозависимость потребления, иными словами, их преимущество было в способности развивать капитализм именно как миросистему, а не просто как определенный тип производственных и общественных отношений на локальном уровне.

Военная сила и коммерция были тесно связаны между собой, причем наиболее последовательным воплощением данного единства был флот. Как отмечают историки, западные компании «без колебаний использовали военно-морскую силу всякий раз, когда это сулило и какие-либо преимущества»<sup>53</sup>.

Если и существует некая специфика Запада, обеспечившая ему господствующее положение на протяжении двух с половиной столетий, то искать ее корни надо не в христианских ценностях, и тем более не в протестантской этике или демократических традициях, опирающихся на средневековые городские вольности. Превосходство Запада было обеспечено не его культурой, а соединением логики развития капитала с интересами государства, достигнутым в начале Нового времени. Именно государство является тем инструментом, с помощью которого буржуазный способ производства превращается в капиталистическую систему. Именно способность западной буржуазии стать сознательным и политически организованным классом, поставив государственные институты на службу своему глобальному проекту, гарантировала ее лидирующую роль в начавшемся преобразовании мира.

## НАСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДА: ПУШКИ КАК АРГУМЕНТ?

До прихода европейцев китайская имперская гегемония в Юго-Восточной Азии была неоспорима, а могущество Великих Моголов казалось несокрушимым. Нередко причину успеха Запада объясняют, ссыла-

<sup>53</sup> The Rise of Merchant Empires, p. 10.

ясь на европейские пушки. Успех португальцев, голландцев и англичан был основан на абсолютном превосходстве западного оружия над местным<sup>54</sup>. Но военное превосходство должно в долгосрочной перспективе опираться на превосходство государственной и социальной структуры (иначе завоеватели сами оказываются покоренными, как монголы в Китае, либо они, как варвары на территории бывшей Римской империи, постепенно разрушают завоеванную страну, а заодно собственную социальную организацию).

К середине XVIII века Европа, в отличие от Индии или Китая, была капиталистическим обществом. Речь идет не только о торговом капитале, который получил немалое развитие и на Востоке, но прежде всего о капиталистическом производстве и соответствующей организации экономики. Вопреки представлениям либеральных идеологов, рынок отнюдь не существует в виде некой неизменной внеисторической системы, он видоизменяется и эволюционирует вместе с эволюцией общества. Отличие капиталистического рынка от традиционного состоит в том, что на нем решающую роль играет не конкуренция товаров, а конкуренция капиталов. И в этом плане западный капитал был несравненно более развитым, нежели восточный.

Однако буржуазные производственные отношения Запада, в свою очередь, соединялись с выработанной чередой переворотов и революций политической организацией, системой организованного насилия, направленной на укрепление и развитие именно буржуазной экономической системы. Усиление европейского влияния в Индии, таким образом, отражает не только развитие западной военной техники, но и западного государства, все более эффективно отстаивающего интересы капитала.

До начала XVIII века военное превосходство европейцев, явственно продемонстрированное уже португальскими адмиралами в 1500-х годах, не привело западные державы к политическому господству в Азии. Но их превосходство продолжало нарастать. В 1603 году эту неприятную реальность обнаружили и китайцы, когда испанские конкистадоры вытеснили их с Филиппин. Благодаря огнестрельному оружию, хорошо организованной кавалерии и достижениям в области фортификации Америка была захвачена испанцами и португальцами, а Сибирь — русскими за несколько десятилетий без особого труда. Империи Инков и Ацтеков рухнули как карточные домики. Европейские методы ведения войны потрясли коренных жителей Америки и Африки, поскольку армии «белых людей» стремились не к захвату рабов, а к истреблению противника. Оккупация территории зачастую сопровождалась «зачисткой» в форме истребления всех, кто оказывал сопротивление, или вообще

<sup>54</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 142, 195; Г. Кеймен. Цит. соч., с. 11.



всех, кто там находился<sup>55</sup>. Жесткое ведение боевых действий сочеталось с колонизацией захваченной территории, что было полной неожиданностью для коренных народов как в Америке, так и в Сибири. Военное превосходство быстро дополнялось демографическим.

Когда португальский флот появился на рейде Малакки, местный султан и его окружение просто бежали, будучи уверенными, что европейцы, ограбив город, уплывут. Вместо этого португальцы построили мощный форт на месте взорванной ими мечети. Эта крепость выдержала десять осад, несмотря на применение туземными армиями артиллерии и различных технических новшеств, заимствованных у европейцев. Точно так же безуспешно завершились и атаки против голландской Батавии.

Единственной азиатской страной, быстро и эффективно перенимавшей европейский военный опыт, была Япония. Под влиянием португальцев мушкет был внедрен здесь в массовое производство к середине XVI века, а тактика пехоты, разработанная Одой Нобунагой (Oda Nobunaga), напоминала реформы Морица Нассауского, только разработана была на 50 лет раньше. Политика централизации, проводившаяся в Японии после объединения страны, развивалась по той же логике, что и на Западе. Правительство разоружало население, ликвидировало частные армии, срывало до основания великолепные замки.

Успех в освоении западной военной техники предвосхитил последующие успехи в восприятии западного капитализма. Тем, чем Япония отличалась от Китая, она напоминала Европу. Сходство японского и западного феодализма предопределило последующую легкость в освоении капитализма. Япония имела в XVI веке большие запасы серебра, уступавшие только огромным ресурсам испанской империи в Америке. Производство японского серебра находилось в руках Сегуна. Однако если Испания Габсбургов использовала свое серебро для внешней экспансии, оказавшись в конечном счете частью новой мироэкономики, в которой доминировали другие державы, то Япония после объединения под властью Сегунов, напротив, закрылась от мирового рынка.

Совершенно иначе складывались дела в Китае. Техническое превосходство Поднебесной империи над Западом оставалось реальностью еще в начале XVIII века, но в организационном и военном отношении европейское государство оказывалось — в новых условиях — несравненно эффективнее. Китайцы не только изобрели порох. Артиллерия появилась в Китае значительно раньше, чем в Европе. Но к XVI веку в области огнестрельного оружия Китай уже отставал существенно. Европейская военная организация, порожденная изменением социальной

<sup>55</sup> Подробнее о различиях между европейскими и «варварскими» методами ведения войны см. раздел Джеффри Паркера (Geoffrey Parker) в кн.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 165.

природы государства, вызвала спрос на массовое усовершенствование огнестрельного оружия, чего в Китае не происходило. Иными словами, само по себе появление пушек и других новых видов вооружений на Востоке не привело к революции в военном деле. Напротив, реорганизация западных армий, начавшаяся в середине XV века, спровоцировала стремительное развитие военной технологии.

Благодаря своим размерам Китай, несмотря на слабую военную организацию, оставался «не по зубам» европейцам. В Индии империя Великих Моголов сохраняла свое господствующее положение до середины XVIII столетия. Однако уже в XVI веке превосходство европейской артиллерии было на Востоке общепризнанным. «Иностранцы обнаружили, что лучший способ поддерживать хорошие отношения с переменчивыми местными правителями состоял в том, чтобы продавать им пушки и предоставлять специалистов в артиллерийском деле»<sup>56</sup>. Но даже получая европейскую артиллерию, азиатские правители редко умели использовать ее эффективно, поскольку не обладали соответствующими знаниями в области тактики и организации войск. В свою очередь европейцы оберегали эти знания в гораздо большей степени, нежели само оружие и технологию. Металл, из которого отливали пушки в Индии, был, как правило, невысокого качества (что, впрочем, относится и к турецкой артиллерии XVII–XVIII веков). Индийские правители нанимали военных экспертов из Турции и Европы, но редко добивались серьезного повышения боеспособности своих войск: организация армии неотделима от организации государства и невозможно улучшить одно, не изменив другого.

«Ничто не наносит их военным предприятиям такого ущерба, как совершенно ложные представления об артиллерийском оружии, — писал служивший в Индии английский офицер в 1761 году, — они панически боятся вражеских пушек и бездумно восхищаются своими собственными; они убеждены, что чем больше калибр, тем лучше, они даже не знают как правильно расположить их на позиции и как перемещать орудия»<sup>57</sup>.

На протяжении нескольких столетий в Азии именно пушки стали символом европейской цивилизации, ее главным преимуществом и гордостью. Даже в XIX веке пушки оставались важнейшим инструментом, на котором строилось господство Запада. После восстания сипаев английские генералы на протяжении многих лет не доверяли туземным войскам иметь собственную артиллерию — в индийской армии, неоднократно и героически доказывавшей свою лояльность к империи, артиллерийские расчеты еще долгое время состояли исключительно из британцев.

<sup>56</sup> C. R. Boxer, ed. *Portuguese Conquest and commerce in Southern Asia*, p. 160.

<sup>57</sup> *Gentleman's Magazine*, April 1761, vol. XXXI, p. 180.

Европейская власть пришла в Азию вооруженной до зубов, четко организованной и жестокой. И именно это сделало ее привлекательной для местных буржуазных слоев, нуждавшихся в порядке, дисциплине и предсказуемости, для того чтобы следовать по тому же самому капиталистическому пути, по которому уже шел Запад.

## ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА В ИНДИИ

Хотя именно английская Ост-Индская компания стала образцом для голландской VOC, к середине XVII века британцы явно отставали от своих конкурентов в Азии. Голландцы, пользуясь своей фактической монополией, сосредоточились на поставках в Европу специй, английская компания вынуждена была разнообразить свои интересы, занимаясь всем подряд — текстилем, чаем, кофе. Массовый вывоз на Запад индийских хлопчатобумажных изделий создал в конце XVII века настоящий промышленный бум в основных «центрах» их производства и сильнейшую конкуренцию европейскому текстилю, так что правительства даже вынуждены были принимать протекционистские меры.

Сталкиваясь с голландской монополией, англичане должны были не только искать новые товары и рынки, но и регионы, где производство и сбыт еще не были захвачены их конкурентами. Острова пряностей, особенно привлекавшие европейцев в XVI–XVII веках, оказались под контролем Голландии, а потому Индия с ее развитым ремесленным производством стала центром притяжения для англичан с первых же лет деятельности Ост-Индской компании.

Нередко британское завоевание Индии описывается как последовательный и систематически организованный процесс. На самом деле это было далеко не так. Разумеется, английские купцы, как и голландцы, без колебания прибегали к силе оружия всякий раз, когда считали это необходимым. Однако в течение XVII века главным приоритетом все же оставалась торговля.

Англичане, создавшие в 1619 году свою факторию на Коромандельском берегу, вели себя «до покорности скромно»<sup>58</sup>. Этим, в глазах местных правителей, они выгодно отличались от надменных и агрессивных португальцев. Не слишком активно занимались англичане и миссионерской деятельностью. Первая протестантская миссия в Индии была создана датчанами.

Военно-политическая экспансия английской Ост-Индской компании была в значительной мере вынужденной. Последним сильным императором среди Великих Моголов был Аурангзеб (Aurangzeb). «Именно смерть последнего великого императора Моголов, Аурангзеба в 1707 году при-

<sup>58</sup> Э. Шмидт. Цит. соч., с. 228.

вела к политизации деятельности Компании в Индии», — констатирует английский историк<sup>59</sup>. После смерти императора многие пограничные правители отделились, основав самостоятельные княжества, лишь номинально признававшие верховную власть империи. Наследники Аурангзеба столкнулись в жестокой междоусобной войне, государство оказалось в состоянии финансового банкротства, а местные власти почувствовали себя фактически независимыми. Начиная с 1739 года афганские и персидские отряды безнаказанно вторгались во владения Моголов. Возник вакуум власти.

Российский историк С.А. Нефедов связывает завоевание Индии англичанами с распадом империи Великих Моголов и военными поражениями индийцев, нанесенными им персами. «Ост-Индская компания, воспользовалась этими бедствиями, чтобы постепенно, область за областью, подчинить себе всю Индию»<sup>60</sup>. Между тем завоевание страны на первых порах еще не было целью Компании, а политические и военные поражения Моголов предшествовали началу английской экспансии на десятилетие, в сущности на целую историческую эпоху.

Д.А. Вашбрук отмечает, что упадок и разложение империи Великих Моголов отнюдь не случайно совпали с приходом европейцев, бурным развитием торговли и экспортного производства. Проблема состояла в том, «что торговое и экономическое развитие благоприятствовало периферийным, приморским окраинам империи, а не ее центральным провинциям (heartland). Попытки усилить контроль над этими окраинами провалились и привели к появлению там новых режимов, которые использовали ту же фискальную систему, что и Моголы, но с гораздо большим успехом. В Хайдарабаде, Бенгалии, Махараштре, Аваде и Мисоре новые государства осуществляли или пытались осуществить куда более серьезный контроль над торговлей и производством, чем прежняя власть. Поступая таким образом, они начали менять природу государства и отношения между властью и обществом»<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> F. McLynn. Op. cit., p. 169.

<sup>60</sup> С.А. Нефедов. Война и общество, с. 669. Следует отметить, что книга Нефедова, содержащая большое количество ценного исторического материала, поражает крайне упрощенным изложением событий, приведших к установлению британского владычества в Индии, где объяснение всего происходящего сводится к эволюции систем оружия и демографическим циклам (при этом так и не дается ответа на вопрос о том, как одно связано с другим). Объемный и содержательный труд, посвященный «факторам исторического процесса», умудряется обойтись не только без единого упоминания Маркса и Энгельса или западных историков, опирающихся на марксистскую традицию, но даже и без полемики с ними. В тексте имеются и фактические ошибки. Например, Warren Hastings — Уоррен Хастингс (Хастингс) превращается на с. 668 в «У. Хейнстингса».

<sup>61</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 69.

Постепенный распад империи Великих Моголов сопровождался укреплением местных княжеств, которые способны были осуществить политику централизации более эффективно. Но, с одной стороны, они были недостаточно сильны, чтобы заполнить возникающий политический вакуум, а с другой стороны, новая политика порождала и новые социальные противоречия, конфликты, борьбу интересов. Государственные структуры «все в большей степени “передавались в управление” (или приватизировались?) в пользу купеческих и банковских групп, использовавших их больше для собственного обогащения, чем для повышения доходов правителя»<sup>62</sup>. Коммерческие и бюрократические элиты, совместно овладевшие государственной властью, вели наступление на общинную собственность и ресурсы, параллельно приватизируя (фактически, а порой и формально) и собственность государственную. Так формируется новая элита — «сильные хозяева» (great households), группы известные в истории как vakil, dubashi, mirasidari, иногда же как «новые помещики» (new gentries) или коммерческие заминдары (commercial zamindars). Эти новые элиты вели себя вполне по-капиталистически. Они использовали свое новое богатство для «инвестиций в производство, ориентированное на рынок, усиливали контроль над работниками и совершенствовали производственные методы»<sup>63</sup>. Рост инвестиций наблюдается по всей стране — от северной Индии до Мисора и Махараштры. Строятся водяные мельницы, открываются новые рынки, распространяются новые сельскохозяйственные культуры. «Во всех регионах имеется множество свидетельств, демонстрирующих также и другую сторону капиталистического развития — труд все более подчинен капиталу, производители оказываются под контролем предпринимателей, растет число конфликтов у ремесленников с купцами, заминдаров и коммерческих фермеров (revenue farmers) с крестьянами, деревенских низов с верхами»<sup>64</sup>.

Распад Империи не сразу привел к резкому усилению европейцев, и тем более англичан, которые на первых порах воспринимали происходящий процесс скорее как повод для беспокойства (дестабилизация отнюдь не благоприятствовала их торговой деятельности). Напротив, усилились местные центры власти, многочисленные князья и правители, в руках которых оказался финансовый, военный и политический контроль над территориями, номинально все еще входившими в состав державы Великих Моголов. Именно это, однако, вызвало недовольство местной буржуазии, которой пришлось столкнуться с их произволом, поборами и их мелочными конфликтами, мешавшими развитию бизнеса.

<sup>62</sup> Modern Asian Studies, vol. 22, No. 1 (1988), p. 69.

<sup>63</sup> Ibid., p. 71.

<sup>64</sup> Ibid.

В условиях растущей политической нестабильности английская компания, и ранее не ограничивавшаяся мирной торговлей, начинает усиленно вооружаться. Необходимость защитить себя на фоне политического хаоса дополняется естественным желанием поживиться за его счет, укрепив собственное положение. «Ост-Индская компания создавалась для торговли и исключительно для торговли, — объясняют имперские историки. — Но торговля невозможна, когда нет безопасности и доверия. Когда выяснилось, что в Индии исчезло и то и другое, купцам самим пришлось стать полицейскими. А стать полицейским в Индии значило завоевать ее»<sup>65</sup>.

Впрочем, викторианская «История Индии» признает, что ни междоусобные войны индийских правителей, ни политический хаос, царивший в империи, не оказывали столь негативного влияния на торговлю компании, как соперничество с французами. «Счастливым состоянием дел могло бы продолжаться, если бы не взаимная ненависть и зависть самих европейцев. Эти порочные страсти сделали неизбежными решения, повлекшие за собой завоевательную войну со всеми ее ужасами, хотя еще недавно никому и в голову не могло бы прийти что-либо подобное»<sup>66</sup>.

Идея воспользоваться в своих интересах военно-политическим кризисом в Индии впервые пришла в голову не англичанам, а французам. Маркиз Жозеф Франсуа де Дюпле (Joseph Francois Marquis de Dupleix), назначенный генерал-губернатором французской Компании Индии (Compagnie des Indes) в 1742 году, быстро сообразил, что в условиях политической нестабильности европейцы с помощью небольших контингентов хорошо обученных профессиональных войск могут оказывать непропорционально большое влияние на ход событий. Вмешиваясь в междоусобные конфликты на стороне одного из претендентов, французы склоняли чашу весов в его пользу. Эти интервенции привели к резкому расширению французской сферы влияния, из которой оказывались вытеснены британские предприниматели. Торговая конкуренция сменялась вооруженной борьбой. Именно Дюпле первым додумался взять в свои руки сбор податей, предназначавшихся Великим Моголам, на территории, которую он контролировал. Тем самым важнейшая функция имперской власти переходила к французам. Под руководством Дюпле, отмечает Фрэнк Маклинн (Frank McLynn), Французская Компания превратилась в «подобие империи, получая стабильный доход от налогов, дани, собирая с крестьян десятину, раздавая монополии и привилегии. Кроме того, Компания все устроила так, что ее деятельность оказалась са-

<sup>65</sup> C.F. Lavell, Ch.E. Payne. Imperial England. New York: The MacMillan Co., 1920, p. 101.

<sup>66</sup> W.C. Pearce. History of India. London and Glasgow: William Collins, Sons & Co., 1876, p. 64.

моокупающейся, она могла содержать свои европейские войска за деньги, получаемые в Индии, а потом отправлять на родину прибыль»<sup>67</sup>

Для французского капитала, уступавшего британскому по степени развития, ресурсам и опыту, было вполне естественно перевести соперничество в военно-политическую плоскость, тем более что французская монархия обладала достаточной вооруженной мощью и дипломатическим опытом. Однако французские политики и предприниматели в Индии, бросив вызов своим британским конкурентам, не осознавали, до какой степени быстро и эффективно Ост-Индской компании удастся перенять ту же модель. Британцы ответили на вызов французской Компании решимостью «бороться с неприятелем всеми средствами, какие только окажутся в их распоряжении» (to oppose them to the greatest extent of which we are capable)<sup>68</sup>.

Война за Австрийское наследство, разразившаяся в Европе, дала повод для боевых действий между англичанами и французами в Индии. Французский адмирал Лабурдонне (Labourdonnais), которого англичане признали «выдающимся морским командиром» (a man of considerable naval genius)<sup>69</sup>, осадил и взял принадлежавший Ост-Индской компании Мадрас. Местный набоб, пытавшийся остановить самочинные действия европейцев на формально подконтрольной ему территории, был разгромлен французскими войсками. В 1746 году войска Дюпле захватили британский форт Святого Георгия (St. George). Форт представлял собой мощное укрепление, но не был укомплектован людьми — на 200 пушек приходилось всего 100 артиллеристов. Затем в битве на реке Адьяр (Adyar River) французы, имевшие всего 300 своих и 700 туземных солдат, ружейными залпами рассеяли десятитысячное войско индийцев, выступивших на стороне англичан. Использование туземных войск в европейских армиях не было чем-то новым, но именно французы додумались обучать и вооружать их по западному образцу, а затем ставить под начало европейских офицеров. Политика английской Ост-Индской компании, уделявшей основное внимание развитию торговли и стремившейся экономить средства и увеличивать прибыли за счет сокращения военного бюджета, чуть было не обернулась катастрофой.

По мнению английских историков, именно битва на реке Адьяр оказалась «переломным моментом в истории Индии»<sup>70</sup>. Осознав масштабы угрозы, английская Компания начала строить собственные вооруженные силы по образцу французских.

<sup>67</sup> F. McLynn. Op. cit., p. 169.

<sup>68</sup> Цит. по: The Political Economy of Merchant Empires, p. 182.

<sup>69</sup> W.C. Pearce. Op. cit., p. 64.

<sup>70</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 181.

«Можно сказать, что Дюпле дал толчок неконтролируемому развитию событий, поскольку именно после его отъезда на родину начались неудачи, породившие позднее миф о «потерянной Индии», которую «отняли у нас англичане», — пишет французский историк Марк Ферро. — На самом же деле, как раз политика Дюпле спровоцировала британцев на ответные действия и заставила начать завоевания, первоначально не входившие в их планы»<sup>71</sup>.

Уже к 1750-м годам англичанами в Индии была развернута новая военно-политическая машина. Деятельность Дюпле спровоцировала процесс, остановить который оказалось невозможно даже после того, как ситуация изменилась, несмотря на многочисленные протесты лондонских либеральных парламентариев, требовавших, чтобы Компания вернулась к своим первоначальным задачам. Она просто не могла позволить себе рисковать, оставаясь всего лишь вооруженной торговой организацией, не вмешивающейся в развернувшуюся на субконтиненте борьбу за власть. Раз начавшись, милитаризация Ост-Индской компании не могла остановиться вплоть до окончательного превращения ее из коммерческого предприятия в своеобразное государство.

Судьбу Индии, вернее исход борьбы за господство на субконтиненте, решили война за Австрийское наследство и последовавшая за ней Семилетняя война. В Европе эти два конфликта были разделены шатким перемирием, в ходе которого произошло изменение противостоящих друг другу коалиций. В Индии военные действия практически не прекращались, а противники были одни и те же: Англия против Франции.

Мадрас был возвращен англичанам по мирному договору 1749 года в Экс-ла-Шапель, но в то время как Европа переживала мирную передышку, борьба в Индии продолжалась. Англичане приписывали нарушение мира агрессивности Дюпле: «воображение французского губернатора было поглощено амбициозными имперскими проектами»<sup>72</sup>. Со своей стороны местные индийские правители, обнаружив эффективность европейских войск, сами призывали англичан и французов к вмешательству в бесконечные конфликты, происходившие как внутри княжеств, так и между ними. В итоге противостояние двух европейских держав часто принимало форму борьбы двух претендентов на то или иное княжество — примером может быть война между Мухаммедом Али (Muhammed Ali) и Чанда Сахибом (Chanda Sahib) за титул наваба Карнатика (Nawab of Carnatic). Английский и французский ставленники оспаривали друг у друга престол с помощью европейских военных и спаев, получавших жалованье у западных компаний.

<sup>71</sup> M. Ferro. Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances, XIII-XX siècle. Paris: Seuil, 1994, p. 91.

<sup>72</sup> W.C. Pearce. Op. cit., p. 65.



Финансовые ресурсы англичан были значительно большими, чем у французов — объем их торговли в Индии превосходил французскую в четыре раза, а на счетах Ост-Индской компании находились средства множества не только британских, но и туземных купцов. Эти средства были щедро направлены на решение военных вопросов. В 1758 году на службе компании было два батальона сипаев, в 1759-м — уже пять, а в 1765-м — целых десять, общим числом до 9000 солдат<sup>73</sup>. На фоне туземных армий подобные контингенты могли показаться ничтожными. Общая численность войска Великих Моголов достигала миллиона человек, другое дело, что подобная масса людей не могла быть собрана в одном месте и даже для одной кампании<sup>74</sup>. Между тем хорошо организованные, дисциплинированные и обученные отряды профессиональных солдат, созданные Компанией, уже в XVIII веке одерживали верх над ополчениями, которые во много раз превосходили их по численности.

Компания также достигла успеха в подборе компетентного персонала. Первоначально это был вопрос административный и коммерческий — по мере развития торговли росла необходимость отсекал от работы компаний откровенных авантюристов, которые могли безответственными действиями поставить под угрозу проводимую политику. Но очень скоро обнаружилось, что дельные администраторы порой оказываются и первоклассными солдатами. Именно из числа сотрудников английской Ост-Индской компании вышел завоеватель Бенгалии Роберт Клайв и многие другие известные колониальные деятели.

Клайв и его ближайшие соратники являлись бывшими клерками Компании, которые «учились искусству войны в походах и на поле боя»<sup>75</sup>. Однако именно эти непрофессиональные военные и сформированные ими на скорую руку войска нанесли сокрушительное поражение французским генералам и индийским феодальным армиям.

В качестве политика, военного и администратора Клайв был прямой противоположностью аристократу Дюпле. Он четко соизмерял свои амбиции со своими силами и в результате — поэтапно — достигал столь многого, что его успехи превосходили самое богатое воображение. Он легко шел на риск, но риск его был всегда четко просчитан. По словам историков: «Дюпле мечтал об Индийской империи, а Клайв просто служил Компании»<sup>76</sup>. Но именно Клайв, а не Дюпле, в итоге создал Империю.

Обладая незначительными ресурсами, Клайв переигрывал своих противников тактически. В 1751 году, когда войска Чанда Сахиба осаждали

<sup>73</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 183.

<sup>74</sup> См.: *Ibid.*, p. 183.

<sup>75</sup> *L. James. Raj*, p. 21.

<sup>76</sup> *C.F. Lavell, Ch.E. Payne. Op. cit.*, p. 105.

Тричинополи (Trichinopoly), он с небольшим отрядом захватил Аркот (Arcot) — оставленную без защиты столицу неприятеля. Французы и их союзники подвергли город жестокой осаде, но бойцы Клайва стойко выдержали ее, обороняясь от многократно превосходящих сил противника, пока не подошли отряды союзных с англичанами маратхов. Французы не просто отступили, они были деморализованы. Это был переломный момент противостояния. Инициативой завладел Клайв. Действуя молниеносно небольшими силами, он оказался способен противостоять многочисленным армиям, применяя в случае необходимости партизанскую тактику. Успех подобных операций зависел от лояльности «туземных» солдат, среди которых Клайву удалось завоевать не меньшую популярность, чем среди британцев (что, впрочем, не мешало ему делать расистские замечания в письмах, адресованных в Лондон). В 1752 году у форта Сент-Дэвид (St. David) англичане Клайва одержали решительную победу над французами Дюпле, что знаменовало перелом в ходе борьбы за Индию.

В связи с началом Семилетней войны французское правительство перебросило в Индию значительные подкрепления, надеясь переломить ситуацию в свою пользу. Как отмечает британский историк Фрэнк Маклинн, «гегемония в Индии воспринималась как глобальный приз даже более ценный, чем обладание Северной Америкой»<sup>77</sup>. В 1759 году, несмотря на огромные усилия, французам не удалось повторно завладеть Мадрасом. Восьмитысячная армия графа де Лалли (de Lally), поддержанная мощным артиллерийским парком, не смогла сломить сопротивление четырех тысяч защитников города, значительная часть которых была индусами. «Черный город», населенный «туземцами», был захвачен и разграблен, но «Белый город», где засели англичане и сипаи, оказался, не по зубам атакующим, несмотря на яростную двухмесячную бомбардировку, жертвами которой стала почти треть защитников крепости.

Хотя значение индийской кампании 1759 года было огромно, непосредственно во время войны британская пресса уделяла гораздо больше внимания событиям в Северной Америке и Германии, нежели завоеваниям в Индии. А уж правящие круги России и Пруссии вовсе рассматривали события в Азии как нечто второстепенное, и на ход борьбы почти не влияющее. Для обеих воюющих сторон именно европейский и американский театры военных действий стали решающими. После 1759 года французские генералы, отвлеченные войной в Америке и Европе, уже не могли выделять все новые и новые подкрепления против Клайва. А британский командующий даже с небольшими силами, и почти не получая помощи из Лондона, умудрялся противостоять значительно превосходящему его по численности противнику.

<sup>77</sup> F. McLynn. 1759: Op. cit., p. 165.

Начавшееся английское контрнаступление окончательно похоронило планы Парижа на создание собственной империи в Индии. Каждая новая кампания усиливала перевес Клайва. В 1761 году его солдатам сдалась столица французской Индии Пондишерри (Pondicherry). И хотя эти владения были по Парижскому миру возвращены побежденным, соотношение сил изменилось необратимо. Британия осталась единственной европейской державой, имеющей политическое влияние в Индии.

#### «БЕНГАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

В последствии выражение «Бенгальская революция», использованное в XVIII веке для описания переворота, совершенного в 1757 году Робертом Клайвом и его местными союзниками, воспринималось как некий терминологический курьез, порожденный неточностью политического языка того времени. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что произошедшие события действительно представляли собой своеобразную форму социального переворота, буржуазной революции колониального типа. Анализируя структуры власти, сложившиеся в ходе этих событий, и социальную базу нового режима, английский Вашбрук пришел к выводу, что государство, построенное британской Ост-Индской компанией, имело явные черты «местного» (*indigenous*), индийского происхождения<sup>78</sup>. Тот факт, что британская администрация в Индии была иностранной, сам по себе не являлся серьезной проблемой ни для населения, ни для значительной части элит в Индии. Эта страна пережила уже не одно завоевание, превосходно уживаясь с пришлыми правителями, которые, в свою очередь, попадали под обаяние местной культуры (и англичане не были исключением). Предшествовавшие британцам Великие Моголы сами были завоевателями, иностранной династией, к тому же иноверцами, причем активно распространяемый ислам находился в конфликте с индуизмом ничуть не меньше, нежели протестантизм британских джентльменов.

Ник Робинс (Nick Robins) в истории Ост-Индской компании убедительно показывает, что завоевание Бенгалии британцами не только опиралось в XVIII веке на поддержку местной торговой буржуазии, но и активно финансировалось ею<sup>79</sup>. Класс туземных предпринимателей-баниев успешно развивался под защитой английских властей в Калькутте, накапливая изрядные богатства. Именно бании управляли текущими делами Компании, выступали торговыми посредниками и кредиторами британцев. Именно они сыграли решающую роль в подготовке битвы при Плесси, которая привела к покорению всей Бенгалии.

<sup>78</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 68.

<sup>79</sup> См.: *N. Robins. Op. cit.*, 2006.

Формальным поводом для конфликта, завершившегося битвой при Плесси, был рейд бенгальского наваба<sup>80</sup> Сираджа (Siraj) против Калькутты, в ходе которого пострадала не только контролировавшая город Компания, но и масса местного населения, особенно индуистское и армянское купечество. Восстановив английский контроль над городом, Клайв предпринял усилия, для того чтобы сместить Сираджа и заменить его на лояльного Компании правителя. На эту роль был избран родственник правителя Мир Джафар (Mir Jafar). Заговор поддержали многие при дворе самого наваба и пострадавшие от его действий купцы. Британская пресса с энтузиазмом писала про жителей Бенгалии, которые «были взбудоражены надеждой, что англичане одержат верх над навабом и освободят их от тирании и угнетения»<sup>81</sup>. Местные правители и буржуазия играли самую активную роль в происходящих событиях, и от их действий исход конфликта зависел в очень большой степени. Вполне типично, что завоеватели используют «туземные» войска, набранные из местного населения. Нет ничего исключительного и в том, что часть местной элиты сотрудничает с иностранцами. Но вот случай, когда завоевание щедро и добровольно финансируется самими завоевываемыми, действительно уникален и наводит на серьезные размышления.

Ослабление власти Великих Моголов привело к усилению производства местных правителей, будь то мусульманские навабы или князья, входившие в Маратхскую конфедерацию. Первые давили своих подданных непосильным налоговым бременем, вторые просто грабили. Ни те, ни другие не в состоянии были обеспечить эффективную судебную систему, уважение к правам собственности и гарантировать доступ к рынкам. Во всех этих отношениях власть Ост-Индской компании выглядела наиболее привлекательным вариантом на фоне политической разрухи, сопровождавшей упадок империи.

Ярким примером может быть Набакришна Деб (Nabakrishna Deb), который не только выступал посредником между заговорщиками при дворе наваба Бенгалии и англичанами, но и снабжал продовольствием Калькутту, осажденную войском наваба в 1756 году. После победы при Плесси Набакришна вознаграждал себя за счет участия в разграблении гарема в Маршидабаде (Murshidabad) — победители взяли там около 80 миллионов рупий золотом, серебром и драгоценностями. Получив после Плесси титул махараджи и жалование в 2 тысячи рупий от Ост-Индской компании, Набакришна возвратился в родной город Совабазар (Sovabazar) на роскошно украшенном слоне, разбрасывая серебряные монеты по улицам.

<sup>80</sup> В некоторых источниках титул правителя Бенгалии приводится как «набоб» (nabob). Для единообразия далее он будет всюду именоваться навабом (nawab), независимо от того, какая форма указана в источнике.

<sup>81</sup> The Scots Magazine, June 1757, p. 315.

Даже через много лет после Плесси финансовое положение Набакришны оставалось куда лучшим, чем у завоевателей. В 1780 году, когда губернатор Индии Уоррен Гастингс испытывал финансовые трудности, он не нашел иного выхода, кроме как обратиться к тому же Набакришне за займом в 300 тысяч рупий<sup>82</sup>.

Сражение при Плесси 23 июля 1757 года, решившее исход борьбы в Бенгалии, было даже не настоящей битвой, а скорее краткой артиллерийской дуэлью, в ходе которой легкие английские батареи взяли верх над тяжелыми орудиями бенгальского правителя. Огромный перевес сил (800 английских солдат, 2200 сипаев и 8 орудий противостояли 68 тысячам бенгальцев с 50 пушками) никак не сказался на ходе сражения. В рядах бенгальцев началась паника, а часть войск покинула поле боя, чтобы вскоре присоединиться к силам Ост-Индской компании. Клайв удовлетворенно докладывал директорам Компании, что потери британских войск составили всего 17 человек и «в основном черных» (*those chiefly blacks*)<sup>83</sup>. При Плесси в очередной раз было продемонстрировано превосходство европейской артиллерии, но в конечном счете победу преопределила не сила оружия, а политика: значительная часть бенгальской элиты сделала ставку на англичан.

Победа при Плесси далась англичанам с чрезвычайной легкостью, но ее значение не было бы столь велико, если бы за разгромом войск Сираджа не последовал политический переворот в Бенгалии, организованный и поддержанный значительной частью местной элиты.

По итогам дела все основные участники получили свою долю добычи. Мир Джафар стал правителем, европейской общине в Калькутте была выплачена компенсация в 550 тысяч фунтов за имущество, утраченное во время кратковременной оккупации города отрядами Сираджа, индусы получили 222 тысячи фунтов, армяне — 77 тысяч, армия и флот — 275 тысяч, а правление Компании скромно взяло себе такую же точно сумму — 275 тысяч фунтов<sup>84</sup>. Ничего не досталось только банкиру Омичанду (*Omichand*), выступившему посредником в переговорах между Клайвом и бенгальскими заговорщиками, готовившимися сместить наваба. Омичанд заломил за свои услуги слишком высокую цену, а адмирал Уотсон (*Watson*), номинально командовавший британскими силами, упорно не желал тратить казенные деньги на взятки. Клайв решил проблему с присущим ему изяществом — он просто написал от имени адмирала расписку на требуемую сумму, подделав подпись своего начальника. Естественно, по фальшивому обязательству адмирал платить отказался

<sup>82</sup> См.: *N. Robins. Op. cit.*, p. 58–59.

<sup>83</sup> *L. James. Raj*, p. 35.

<sup>84</sup> См.: *Ibid.*, p. 34.

и Омичанд остался ни с чем. Что касается Клайва, то битву при Плесси он выиграл своими силами и посредничество Омичанда для него уже не представляло никакой ценности. Теперь можно было смеяться над жадным и незадачливым банкиром. Правда, в Лондоне к этой истории отнеслись с несколько меньшим юмором, расценив ее, вполне в британском духе, как недостойную джентльмена, «дискредитировавшего себя, прибегнув к восточному коварству»<sup>85</sup>. Что касается моральных ценностей самого Запада, то с ними, видимо, все было в полном порядке.

Первоначально Компания планировала управлять Бенгалией через марионеточных навабов, но очень скоро выяснилось, что эта схема не работает. Когда обнаружили, что Мир Джафар заигрывал с голландцами, наваба сместили, однако новый правитель, его зять Мир Касим (Mir Kasim, Mir Qasim), оказался еще менее удачным выбором и вскоре вступил в открытую борьбу с англичанами. После очередного поражения бенгальского войска в 1765 году Мир Джафар был восстановлен на троне, где он просидел до своей смерти (два года спустя). Однако периодически повторяющиеся кризисы свидетельствовали о том, что система власти в стране не работает. В мае 1765 в Индию после пятилетнего отсутствия вернулся Клайв — как раз вовремя, получить известие о смерти Мир Джафара, по завещанию которого победитель при Плесси получил впечатляющую сумму в 70 тысяч фунтов<sup>86</sup>.

Положение дел было плачевное, руководство Компании в Калькутте оказалось растеряно и деморализовано, среди сипаев произошел бунт, впрочем быстро подавленный генералом Монро (Munro), а Мир Касим при поддержке Великого Могола вернулся в Бенгалию с большим войском. Однако в битве при Баксаре (Buxar) в 1764 году армия Компании, состоявшая преимущественно из сипаев, одержала очередную победу над значительно превосходившим ее по численности войском Мир Касима. Ключом к успеху были дисциплина и четкое выполнение приказов. Подобно тому, как в Европе прусскую пехоту сравнивали с «живыми стенами», строй сипаев казался современникам «стеной изрыгающей пламя» (wall which vomited fire and flame)<sup>87</sup>.

После битвы при Баксаре большая часть субконтинента оказалась под контролем победителей, но Клайв и совет Компании в Калькутте не готовы были к роли правителей Индии. Заключив мир с Великим Моголом, они принудили его подписать указ (фирман), передававший в руки англичан право сбора налогов в Бенгалии и сопредельных зем-

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> См.: R. Harvey. Clive: The life and Death of a British Emperor. London: Hodder and Stoughton, 1998.

<sup>87</sup> L. James. Raj, p. 41.

лях — дивани (diwani, dewany). В обмен Компания обязалась ежегодно уплачивать 2,6 миллиона рупий в казну императора<sup>88</sup>. В конечном счете Великий Могол превратился в пенсионера компании, живущего за счет выделяемого ею бюджета.

Первоначально Компания получила фискальные права в провинциях Орисса (Orissa), Бихар (Bihar) и в Бенгалии. Налоговые поступления в 1762–1764 годах составляли 2 миллиона фунтов, а в 1766–1769 годах достигли уже 7,5 миллиона<sup>89</sup>. Эти ресурсы были немедленно использованы для укрепления военной мощи: строились новые крепости, наращивались вооруженные силы, велись успешные кампании в провинциях Деккан (Deccan) и Мисор (Mysore). Численность британских войск в Индии к 1782 году достигла 115 тысяч человек, 90% из них составляли сипаи. В руках Компании оказался политический, военный и финансовый контроль над обширной, густонаселенной и богатой территорией, существенно превышающей собственно Бенгалию.

Администрация наваба теперь тоже содержалась за счет Компании. Первым итогом этой системы был управленческий хаос и повсеместная коррупция, в которой равно участвовали и британцы, и их индийские партнеры. Попытки Клайва навести порядок достигли лишь частичного успеха, и только в 1773 году его преемнику Уоррену Гастингсу (Warren Hastings) удалось создать более или менее эффективную администрацию, оказавшуюся, естественно, полностью в руках британцев.

Политические и юридические институты, на которые опиралась английская администрация в Бенгалии, были поддержаны местной буржуазией, они, говоря словами историка, «были привлекательны и соответствовали амбициям поднимающихся новых классов»<sup>90</sup>. Благодаря новой, европейской власти начавшаяся уже раньше неформальная приватизация прав и собственности в пользу новой коммерческой элиты, проходившая в индийском обществе, получала юридическое оформление. Компания предоставляла буржуазии защиту как против посягательств правителей и султанов, так и против неимущих классов, пытавшихся вернуть утраченную общинную собственность.

Индийская буржуазия сыграла ведущую роль в формировании колониального государства, и именно этим объясняется удивительная легкость, с которой Компания, ее администраторы и генералы добивались блистательных успехов, используя сравнительно небольшие силы. За фасадом британского колониального присутствия скрывались мощные коммерче-

<sup>88</sup> См.: P. Griffiths. *Empire into Commonwealth*. London: Ernest Benn Ltd., 1969, p. 95.

<sup>89</sup> См.: *The Political Economy of Merchant Empires*, p. 184.

<sup>90</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 75.

ские интересы вполне местного происхождения. Таким образом, констатирует Вашбрук, «государственную власть на территории значительной части Южной Азии удалось взять при поддержке и благодаря непосредственным усилиям этих групп», а «колониализм оказался логичным итогом развития капитализма, происходившего в самой Азии»<sup>91</sup>.

Каждый успешный завоевательный поход Ост-Индской компании завершался примирением с побежденными и включением их в формирующуюся политическую систему. Как и в Шотландии, где после подавления якобитского восстания 1745 года, сперва элиты, а затем и более широкие слои общества превратились в сторонников открывающей для них новые перспективы империи, так и в Индии бывшие противники один за другим превращались Компанией в сторонников. Маратхи, привлеченные жалованьем и перспективой продвижения по службе, массово вступали в ее войска. «Сложилось новые правила войны. Компания не только разделяла и властвовала, но и вербовала своих бывших противников. Побежденные гуркхи после 1816 года из разбойников превратились в солдат, зарекомендовав себя наилучшим образом. Так же произошло и с сикхами, которые стали записываться в армию после 1850-х годов»<sup>92</sup>. Не только военную, но и гражданскую службу активно пополняли представители коренного населения, без которых завоеватели в Индии и шагу ступить не могли. Благодаря их участию функционировали торговые предприятия Компании, собирались налоги, размещались заказы.

Речь явно идет не просто о сотрудничестве местных элит с иностранным правительством, а о равноправном партнерстве, особенно если учесть, что торговый баланс между Англией и Индией складывался в пользу последней. Ежегодно британские торговцы оставляли в Индии серебро для покрытия торгового дефицита, в Бенгалии складывались огромные состояния, Калькутта процветала, производство и занятость росли.

В подобной ситуации бани вполне логично могли считать, что не имея (в условиях кастового общества) собственных политических и военных ресурсов, они используют английскую администрацию для защиты собственных интересов и достижения собственных целей. Английские авторы уже при жизни Клайва говорили о «бенгальской революции», а спустя столетие Маркс писал, что британское владычество произвело в Индии «величайшую и, надо сказать правду, единственную социальную революцию, пережитую когда-либо Азией»<sup>93</sup>. По существу индийская буржуазия с помощью англичан избавлялась от контроля традиционных и феодальных элит, от стеснявшего ее старого политического и государственного порядка.

<sup>91</sup> Ibid., p. 76.

<sup>92</sup> L. James. Raj, p. 73.

<sup>93</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, с. 135.



Почему же в таком случае отношения радикально изменились к началу XIX века? Почему Индия, а затем и Китай превратились в «периферию» мирового капиталистического порядка, а торговые отношения Азии и Европы резко изменились не в пользу последней? Решающую роль несомненно сыграла промышленная революция в Британии. В то время, как индийская буржуазия с помощью солдат в красных мундирах и джентльменов в напудренных париках устанавливала у себя дома порядок торгового капитализма, в самой Британии складывался капитализм индустриальный.

Но с другой стороны, в развитии индустриализации решающую роль сыграла сама логика глобального накопления, характерная для капиталистической миросистемы. Торгово-финансовые отношения Индии и Англии в XVIII веке не дают основания говорить об Индии — несмотря на военно-политическое присутствие иностранцев — как о «периферии». Но европейский капитализм развивался в качестве «центра» миросистемы, мобилизуя и перераспределяя ресурсы многих регионов планеты, а индийский торговый капитализм оставался сугубо местным явлением, подключаясь к глобальной экономике лишь в той мере, в какой он становился частью британской торговой системы, воплощением которой была Ост-Индская компания.

За военными победами последовали экономические. Провинциальная американская газета, восхищенно писала в 1769 году: «Чтобы понять насколько выросла ост-индская торговля за прошедшие 20 лет, достаточно посчитать число кораблей Компании. Если в начале данного периода их было не более 16, то сейчас имеется примерно 60 или 70 парусников. Территории Компании в Ост-Индии сегодня имеют протяженность в тысячу миль, а в ширину они составляют не менее 600 миль»<sup>94</sup>.

Как часто бывает, успех привел к резкому изменению соотношения сил в лагере победителей. Индийские купцы и банкиры, финансировавшие Клайва, с лихвой вернули свои инвестиции, однако, говоря шахматным языком, «потеряли качество». Получив доступ к налоговой базе Бенгалии, Компания сделалась независимой от индийских банкиров, а устранив конкуренцию других европейских компаний, англичане обрели и возможность диктовать условия своим индийским партнерам.

Индийская буржуазия, сделав ставку на британский колониальный режим в качестве инструмента для осуществления собственных амбиций, недооценила возможности и силу государства, тем более — государства непосредственно включенного в управление мировыми процессами, государства-гегемона. Результатом стало социальное преобразование, но оно оказалось совсем не таким, на которое рассчитыва-

<sup>94</sup> The Pennsylvania Gazette, No. 2128, October 5<sup>th</sup> 1769.

ли те, кто вкладывали деньги в лорда Роберта Клайва и его администрацию. Экономическая и политическая реконструкция бенгальского и позднее индийского общества подчинила его капиталистическое развитие нуждам внешнего, европейского накопления. Ключевая роль в организации экономики перешла, — заключает Вашбрук, — «из рук местных капиталистов в руки британцев благодаря тому, что последние обладали монополией на государственную власть»<sup>95</sup>.

Спустя 20 лет после начала английской экспансии, индийские торговцы и ремесленники, которые первоначально приветствовали установление английского порядка, обнаружили, что новые правители, хоть и отличаются от старых, но не намного лучше их: «Компания диктовала ткачам южной Индии, как организовать производство, вытесняла с рынка местных инвесторов и предпринимателей. Ремесленники Карнатаки (Karnataka), радовавшиеся, что англичане избавили их от грабительских набегов маратхов, оказались отданы на произвол налоговых агентов Компании, которые обирали их почище разбойников»<sup>96</sup>. Англичане вместе со своими ближайшими партнерами из числа индусов и армян жестко навязывали свои коммерческие условия, не стесняясь прибегать к насилию и используя отряды сипаев для запугивания неуступчивых поставщиков. Получение взяток стало обычной практикой, как и вымогательство. Никто иной как Роберт Клайв, выступая в британском парламенте, предостерегал своих слушателей о распространении коррупции в завоеванной им стране и призывал реформировать управление, чтобы навести в нем хотя бы элементарный порядок. Клайв связывал надежды на реформу со своим преемником Уорреном Гастингсом, но последний оказался не в состоянии что-либо изменить. Гастингс был — по стандартам Бенгалии XVIII века — относительно добросовестным администратором, «более интересовавшимся доходами Компании, чем своими собственными», он принадлежал к числу людей, которым «интересна скорее власть, чем деньги»<sup>97</sup>. Его стараниями поступления в бюджет Компании заметно увеличились, но на какие-либо меры, ограничивающие произвол британских чиновников, губернатор не решился.

Даже консервативный английский историк вынужден признать, что сотрудники Компании «ухитрялись сочетать некомпетентность и коррупционность самым удивительным образом»<sup>98</sup>. И если подобной организации, несмотря на очевидную, на первых порах, неэффективность аппарата власти, удавалось добиваться одного успеха за другим,

<sup>95</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 79–80.

<sup>96</sup> *L. James. Raj*, p. 29.

<sup>97</sup> *C.C. O'Brien. Op. cit.*, p. 283.

<sup>98</sup> *P. Griffiths. Op. cit.*, p. 97.

то причиной тому являлись не только исключительные административные таланты Клайва и Гастингса, но и лояльное сотрудничество местной буржуазии, без поддержки которой Компания долго не продержалась бы.

К 80-м годам XVIII века достигающие Британии известия о беззакониях и жестокостях, творимых английской администрацией в Индии, уже невозможно было игнорировать. Даже король Георг III писал про «ужасающие и позорные беззакония, творимые в Индии» (*shocking enormities in India that disgrace human nature*)<sup>99</sup>. Общественность требовала наказания виновных, и козлом отпущения оказался все тот же Уоррен Гастингс, на которого обрушился гнев газетных публицистов и парламентских ораторов. Депутаты проголосовали за его импичмент. Гастингс вынужден был с позором покинуть пост губернатора Бенгалии.

После Уоррена Гастингса английскую администрацию в Индии возглавил лорд Корнуэльс (Lord Cornwallis), которому удалось положить конец наиболее вопиющим эксцессам, которыми сопровождалась деятельность Ост-Индской компании в предшествовавшие годы. От английских чиновников отныне требовали неукоснительного соблюдения законов и приверженности тем же нормам джентльменского поведения, которые считались естественными в Англии.

Новое, формально организованное бюрократическое государство закрыло каналы обогащения для местной буржуазии через неформальную приватизацию. Права собственности были закреплены и освящены — как того и желали новоявленные индийские буржуа, но вместе с формализацией этих прав пришел конец и систематическому присвоению ими казенного имущества. «Теперь, когда нельзя было уже выступать банкирами правительства и собирать для него налоги, многие финансовые воротилы превратились в мелких ростовщиков и спекулянтов. При выбивании денег из должников они не могли теперь использовать насилие, налоги проходили мимо их рук. У них не было теперь средств для инвестиций в производство. Операции, на которых они раньше наживались, теперь непосредственно выполнялись «государством» в интересах британских капиталистов, акционеров Компании, владевшей этим государством. После того, как к акционерам перешла государственная власть, они перенаправили финансовые потоки в своих интересах»<sup>100</sup>.

Сочетание коммерческой и политической монополий оказалось тем стратегическим инструментом, с помощью которого была преобразована экономика Бенгалии, а затем и всей Индии. Показательно, однако, что индийская буржуазия не взбунтовалась. Правила игры, сложившиеся в результате английской победы, были для них куда хуже, чем они

<sup>99</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 357.

<sup>100</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 80.

рассчитывали. Но и такие условия оказывались им выгодны. Даже всевозможные притеснения, которым подвергала компания в конце 1760-х годов туземных и не входящих в состав корпорации британских купцов, не приводили в большинстве случаев ни к чему, кроме как к жалобам в Лондон и судебным искам в английские суды.

Одним из первых последствий установления рыночного режима в Бенгалии стал катастрофический голод 1770 года. Неурожаи и голод случались в Индии и раньше, но с приходом британцев они участились. И дело не только в том, что иностранцы не разбирались в специфике местного сельского хозяйства и в местных ирригационных системах, но и в том, что англичане принесли с собой капитализм. Как отметил Маркс, в Индии начался упадок земледелия, «не способного развиваться в соответствии с британским принципом свободной конкуренции»<sup>101</sup>. Резко изменились и правила игры, и логика принятия решений. Не изменился только климат.

Уоррен Гастингс утверждал два года спустя, что в ходе этого бедствия умерло не меньше 10 миллионов человек — треть населения края. Если оценка Гастингса хотя бы отчасти верна, то речь идет о чудовищном потрясении, перед которым меркнет и Голодомор 1931 года на Украине и политика геноцида, проводившаяся Пол Потом в Камбодже. Другие авторы говорили о трех миллионах погибших, а индийский исследователь Раджат Датта (Rajat Datta) считает, что масштабы катастрофы в британских источниках преувеличены, умерло «всего» 1,2 миллиона бенгальцев. Даже если подсчеты Датты ближе к истине, чем оценки современников, которые, потрясенные увиденной картиной, скорее всего, называли непроверенные и явно завышенные цифры, речь все равно идет об одном из самых массовых бедствий, порожденных политикой экономической либерализации и дерегулирования<sup>102</sup>.

Проблема была, разумеется, не только в пренебрежении общественными работами. Администрация Моголов реагировала на повторяющиеся неурожаи снижением налогов, регулированием цен, созданием государственных запасов продовольствия. С приходом к власти в Бенгалии Ост-Индской компании, всему этому пришел конец. Основные финансовые инструменты перешли от правительства в руки корпоративных менеджеров, которые отвечали перед своими акционерами в Лондоне, а не перед местным населением. Поскольку неурожаи и голод могли по-

<sup>101</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, с. 133. В условиях ирригационного сельского хозяйства, писал Маркс, государственные общественные работы становятся вопросом жизни и смерти народа: «Здесь урожай так же зависит от хорошего или дурного правительства, как в Европе от хорошей или дурной погоды» (Там же).

<sup>102</sup> О голоде 1770 года см.: N. Robins. Op. cit., p. 92–93.

низить цену акций на бирже (а она уже демонстрировала тенденцию к понижению), то компания реагировала на происходящие события тем, что увеличила выплату дивидендов своим акционерам, а для того чтобы обеспечить эти затраты, она не только оставила налоги на неизменном уровне, но даже повысила их. Одновременно связанные с компанией бизнесмены начали скупать продовольствие для того, чтобы перепродать по спекулятивным ценам — поведение вполне рациональное с рыночной точки зрения, если только не считать того, что ценой успеха были сотни тысяч, а может быть и миллионы потерянных человеческих жизней.

В наши просвещенные времена даже самые отчаянные рыночники готовы признать, что во время стихийных бедствий и природных катастроф необходимо вмешиваться государству, а коммерческая выгода — не может быть главной целью продовольственной помощи голодающим. Увы, чтобы вмешиваться в подобные обстоятельства, государство должно в «нормальное» время уже обладать экономическими рычагами, инструментами вмешательства и регулирования. Для того чтобы они работали, их надо использовать не только в чрезвычайных обстоятельствах, но и постоянно. В противном случае с государственными экономическими инструментами происходит то же, что и с любым другим оборудованием, которое не используется и частично демонтируется. В тот момент, когда оно оказывается особенно необходимо, оно выходит из строя.

## РОЖДЕНИЕ «ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

В процессе формирования миросистемы более развитый капитализм, общество с более развитыми буржуазными отношениями, как правило, брало верх над менее развитым, но по большей части успех этот достигался не на товарных рынках, а на полях сражений или в ходе дипломатических переговоров.

Проблема азиатского предпринимательского класса состояла не в отсутствии инициативы, а в том, что в Азии в отличие от Европы к концу XVII века не сложилось даже подобия национального государства. Единственным исключением можно считать Японию, преодолевшую к середине столетия свои внутренние междоусобицы. Это в значительной степени предопределило последующий стремительный взлет Японии и превращение ее в единственную империалистическую державу Азии. Но это произошло значительно позже, а в XVII столетии японские власти предпочли стратегию изоляции, закрыв страну от иностранцев.

Английский коммунист Р. Палм Датт писал в начале Второй мировой войны: «Завоевание Индии западной цивилизацией оказалось одной из основ капиталистического развития в Европе, британского мирового господства и всей структуры современного империализма. На протяже-

нии двух столетий история Европы основывалась — в гораздо большей мере, чем обычно признают — на обладании Индией»<sup>103</sup>. Именно победа над Францией в борьбе за Индию предопределила положение Британии в качестве ведущей мировой державы. Более того, английская внутренняя политика в значительной мере определялась развитием событий на индийском субконтиненте: «Ход политических событий в Англии, формирование ее социальных и политических институтов, над которыми старательно и систематически работали правящие круги, все это в значительной степени опиралось на господство в Азии»<sup>104</sup>.

Совершенно иной эффект мы наблюдаем в Индии. И даже отвергая националистические интерпретации, сводящие колониальную историю к угнетению, грабежу и обидам, легко заметить, что интеграция в мировой рынок, к которой так стремилась местная буржуазия, дала неожиданный результат, изменив во многом направленность социального развития.

Индийская буржуазия смирилась с ролью, отведенной ей в колониальном государстве, поскольку эта система, отеснив местный капитал на второстепенные роли, все же позволяла ему развиваться. «Туземные» компании росли, их хозяева обогащались, права собственности были закреплены и надежно защищены. Делегировав политическую власть, риски и ответственность иностранному государству, индийский капитал получил возможность закрепить за собой определенные экономические ниши, которые его вполне устраивали. «После серии недоразумений на раннем этапе капиталистические классы Южной Азии превратились в самых лояльных сторонников Британского владычества (British Raj) и стояли на этих позициях в течение большей части XIX века»<sup>105</sup>. Во время восстания сипаев, буржуазия решительно выступила на стороне Англии, в то время как взбунтовавшиеся солдаты получили поддержку со стороны приходящих в упадок феодальных кланов.

Процветание буржуазного сегмента индийского общества, однако, находилось в вопиющем контрасте с «традиционализацией» и социально-культурным упадком общества в целом. Можно сказать, что в рамках колониальной модели буржуазия гарантировала себе благополучие за счет того, что пожертвовала не только интересами масс, но и перспективой национального развития. Другое дело, что подобная альтернатива в виде чего-то определенного и оформленного просматривается лишь *post factum* на фоне сравнения Азии и Европы.

В начале XIX века в Индии происходило «окрестьянивание» населения — возвращение на землю городских жителей, вытесненных из

<sup>103</sup> R. Palme Dutt. *India To-Day*. London: Victor Gollancz Ltd., 1940, p. 17.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 84.

производства. Насильственно были посажены на землю полукочевые племена. «В то время как сельское хозяйство росло, остальные отрасли приходили в упадок. Государственное вмешательство разрушило связь между товарным производством и рынком капитала, свободным трудом и землей. Низкие рыночные цены и конфискационное налогообложение свели к минимуму накопление капитала в деревне»<sup>106</sup>. Этому экономическому процессу соответствовала социально-культурная де-модернизация или нарастание традиционализма на низовом уровне. Иными словами, индийское общество было куда более отсталым по отношению к Европе к концу XIX века, чем в начале его. Англо-индийское законодательство, закрепив древние обычаи, превратило их в неизменную и постоянно воспроизводящуюся практику, усилив консерватизм общества. «Окрестьянивание» и «традиционализация» (Peasantization and Traditionalization) были выгодны не только британскому капиталу, но и капиталу вообще, выгодным образом для него организуя производственные и трудовые отношения, ставя обладателей капитала и крупных собственников в более выгодное положение по сравнению с остальными слоями общества. Местный капитал получал в этой системе свою долю, а проблемы, которые у него возникали из-за колониальных порядков были не столь уж велики по сравнению с выгодами, которые они ему давали»<sup>107</sup>.

Налоговая политика Ост-Индской компании порождала неуклонный упадок деревни. «Застой в сельском хозяйстве, инвестиционный паралич и социальное напряжение были прямыми следствиями поземельного налога, которым обложила крестьян Компания, — констатирует Лоуренс Джеймс. — У крестьян забирали слишком большую долю урожая, в результате чего местные общины лишались необходимого капитала для повышения производительности, улучшения обработки земель и ирригации»<sup>108</sup>. Неизбежным следствием такой хозяйственной политики были крестьянские бунты, повторявшиеся в период до 1857 года с периодичностью природного явления. Деятельность Компании, нацеленная на максимальное изъятие прибавочного продукта для коммерческого использования в городах и продажи на западных рынках, блокировала капиталистическое развитие в деревне. Иными словами, в Индии происходило то же, что имело место в большинстве стран периферийного капитализма от России до Южной Америки — стимулируемое мировым рынком ускорение капиталистического развития «сверху» блокировало тенденции буржуазного развития «снизу».

<sup>106</sup> Ibid., p. 81.

<sup>107</sup> Ibid., p. 85–86.

<sup>108</sup> L. James. Raj, p. 193.

После восстания сипаев англо-индийское правительство произвело определенную реформу, несколько облегчившую положение крестьян. Если раньше сбор податей осуществлялся через помещиков-заминдаров, сочетавших, подобно русским крепостникам, экономическое господство с административными полномочиями, то с конца 1850-х годов утвердился новый порядок (Ryotwari system), когда правительственные чиновники собирали налоги непосредственно с крестьянских общин. В процессе перераспределения земель, знатные и влиятельные люди, а также храмы получили в собственность значительные участки. В итоге новый класс помещиков был «создан на селе с помощью государства» (created by State patronage)<sup>109</sup>. Эта система требовала создания большого административного аппарата на местах, что, в свою очередь, сопровождалось развитием индийского образования и появлением новых средних слоев, связанных с колониальным правительством и буржуазией. И в конечном счете не иностранный наместник, не солдат в пробковом шлеме, а именно этот местный чиновник, противостоящий сельской общине, стал главной опорой и практическим воплощением британского владычества — Raj.

Колониальное государство облегчало накопление капитала за счет экспроприации общественных низов, перераспределения имущества и доходов. При этом само государство в соответствии с либеральными правилами не претендовало на управление бизнесом и собственностью. Таким образом, все выгоды от процесса «разрушения — созидания», сопровождавшего перестройку общества, доставались частному сектору, в том числе и даже в первую очередь — местному. Капитал увеличивал свои прибыли не за счет технических инноваций и модернизации производства, а за счет эксплуатации дешевого труда. Но с точки зрения накопления второй путь ничем не хуже первого, скорее — наоборот, он проще, дешевле и удобнее.

На протяжении всего колониального периода индийский капитал мог получать стабильные прибыли, несмотря на то что значительная часть доходов оставалась в руках английских партнеров. Эта ситуация была прекрасно описана еще Марксом. По его словам, «две нации могут обмениваться согласно закону прибыли таким образом, что обе получают прибыль, но одна из них постоянно обделается»<sup>110</sup>. Развивая эту мысль он пишет: «из того, что прибыль может быть ниже прибавочной стоимости, т.е. что капитал может быть обменен с прибылью без того, чтобы реализовывать увеличение своей стоимости в строгом смысле, следует, что не только индивидуальные капиталисты, но и нации могут все время обмениваться друг с другом, а также беспрерывно повторять обмен

<sup>109</sup> A. Wells. Imperial Hegemony and Colonial Labor. In: Rethinking Marxism, April 2007, vol. 19, No. 2, p. 188.

<sup>110</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. 2, с. 384.



во все большем масштабе без того, чтобы они вследствие этого получали одинаковую прибыль. Одна нация может все время присваивать себе часть прибавочного продукта другой, не давая ничего взамен, но только здесь мерило иное, чем при обмене между капиталистом и рабочим»<sup>111</sup>.

Разумеется, деградировавшее общество не могло создать сильного спроса на товары и услуги, производимые индийским капиталом. «Поскольку индийский внутренний рынок находился в состоянии депрессии, для предпринимателей оказывалось непросто реализовать прибавочный продукт, который они могли столь дешево извлечь из труда крестьян и других работников. Однако уже в 1820-е годы начали открываться новые внешние рынки — в Китае, Цейлоне, в Европе»<sup>112</sup>. Деградация внутреннего рынка оборачивалась дешевизной товаров на внешних рынках и соответственно — конкурентным преимуществом индийской буржуазии. Подобное положение дел не только привязывало местную буржуазию к империи и до поры неразделимому с ней мировому рынку, но и превращало индийский капитал в силу, непосредственно заинтересованную в укреплении и росте Британской империи. Чем меньше был вклад местного капитала в формирование и развитие внутреннего рынка, чем более традиционалистским становилось общество, чем менее активно происходила затем модернизация Индии, тем более прочной была эта заинтересованность в империи и ее рынках, тем более «глобалистской» по своей идеологии оказывалась буржуазия<sup>113</sup>. «Если с точки зрения капитала смысл системы состоит в накоплении, защите прав собственности и получении связанных с ней социальных привилегий, Индия середины XIX века может считаться одним из наиболее успешных капиталистических обществ. Уровень прибыли в ее экономике был чрезвычайно высок, гораздо выше, чем на «развитом» Западе, к которому колониальное государство, периодически испытывавшее нужду в деньгах вынуждено было обращаться за кредитом, ибо сделать на месте это было слишком дорого»<sup>114</sup>. В политическом плане сложившийся режим тоже вполне устраивал поднимающуюся буржуазию: «жесткая социальная иерархия, закрепленная в юридически оформленной кастовой системе, воспроизводилась автоматически при слабой конкуренции низов; а с другой стороны, элиты могли легко обосновать свое право на

<sup>111</sup> Там же.

<sup>112</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 86.

<sup>113</sup> До известной степени отсюда следует и своего рода «обратная теорема»: именно относительные успехи, достигнутые британской администрацией в конце XIX века в модернизации и развитии страны, подготовили почву для изменения интересов и настроений местных «образованных классов», способствуя росту национализма.

<sup>114</sup> *Modern Asian Studies*, vol. 22, No. 1 (1988), p. 86–87.

привилегии ссылались на культурное превосходство, а также жертвывая деньгами на социально-значимые цели (литературу и образование, храмы и благотворительность). Требовалось немного. Редко, где в истории мы найдем пример, когда капитал и собственность доставляли своим обладателям столь блистательное положение и престиж так просто, как это было Южной Азии в Викторианскую эпоху»<sup>115</sup>.

Азиатское государство, формировавшееся на основе колониализма, было не просто капиталистическим, оно оказалось ультракапиталистическим: «когда власть Компании соединила в одной структуре “султанизм” и капитализм, частная корпорация превратилась в Султана, а государство в собственность фирмы (или точнее консорциума британских и индийских фирм), когда окрестывание и традиционализация общества свели к минимуму конкуренцию трудящихся масс и общин с верхами и способность низов к сопротивлению, стало гораздо более рациональным с экономической точки зрения поддерживать воспроизводство и накопление капитала при помощи принуждения, сокращая до минимума средства, выделяемые на воспроизводство труда, чем тратить средства на инвестиции, зачастую рискованные. Логика внутреннего развития азиатского капитализма в данном случае полностью совпадала с логикой капитализма, и обе вели общество к слаборазвитости»<sup>116</sup>.

Не удивительно, что блестящие экономические успехи Индии к началу XIX столетия были обесценены очередной реконструкцией капиталистической миросистемы. Местная буржуазия сохранила свои капиталы, но утратила стратегические позиции. Партнерство с Англией сменилось господством не только и не столько политическим, сколько экономическим. Изменившееся соотношение сил породило новые отношения, противоречия и конфликты, которые накапливаясь и ужесточаясь в конечном счете привели к восстанию сипаев. Подавив восстание, британская администрация вынуждена была заново сформировать отношения партнерства между представителями метрополии и местной элиты. Однако эти отношения уже строились на совершенно иной основе, чем во времена Роберта Клайва.

<sup>115</sup> Ibid., p. 88.

<sup>116</sup> Ibid., p. 90.

## VII. Эпоха войн и революций

Конец XVIII века оказался временем глобального революционного переворота, затронувшего не только Северную Америку и Францию, где происходили самые драматические события, но и всю Европу. Волна перемен, вызванная Великой французской революцией, распространилась благодаря военным успехам Наполеона Бонапарта по всему континенту, а затем докатилась и до Южной Америки — крушение Испанской колониальной империи было непосредственно связано как с падением режима Бурбонов в самой Испании, так и с распространением французских и американских радикальных идей среди элиты колоний.

К началу эпохи революций капиталистическая миросистема уже существовала в своих основных чертах. Буржуазные революции опираются на уже сложившиеся капиталистические отношения не только на локальном, но и на глобальном уровне. Понимание этого факта привело ортодоксальных марксистов конца XIX века к выводу, что данные революции были по существу политическими, а в их основе лежало противостояние между уже сложившимся буржуазным обществом и уже не соответствующим ему феодальным государством. Парадоксальным образом, эта теория не сильно отличается от либеральных взглядов на революцию как восстание «естественным образом» сформировавшегося гражданского общества против государства, которое искусственно сдерживает его развитие. На самом деле внутренними противоречиями раздираемы были и государство, и общество. Именно поэтому, собственно конфликты и принимали столь драматический и кровавый характер. В ходе революции все *еще-не- вполне-буржуазное* общество преобразует себя, одновременно вступая в конфликт с *уже-не- вполне-феодальным* государством.

В войнах и конфликтах XVIII века и буржуазные, и абсолютистские государства демонстрируют поразительное отсутствие классовой или идейной солидарности. В этом плане ситуация разительно отличается от XVI и начала XVII века, когда религиозные, идеологические и социальные противоречия между государствами были важнейшим фактором в их конфликтах. И наоборот, после Великой французской революции абсолютистская Европа организовала единый фронт против молодой республики, осознав — несмотря на прежние конфликты — свою идеологическую общность.

Деидеологизация европейской политики в середине XVIII века связана с тем, что первый этап буржуазных преобразований в Европе был уже завершен почти повсеместно. Англия и Голландия опережали другие стра-

ны, но в целом Западный мир представлял собой достаточно однородное целое. Восточная Европа превращалась в его периферию, но ее правящие круги либо были бессильны что-либо сделать, как в Польше или Турции, либо были вполне удовлетворены сложившимся положением дел, как это было в России, чей имперский статус и могущество вполне могли сочетаться с периферийным типом социально-экономического развития.

Ситуация изменилась к концу столетия, когда экономический рост и накопившиеся на его основе социальные перемены вновь поставили вопрос об изменениях политических.

### АМЕРИКАНСКИЙ БУНТ

По мере того как на протяжении XVIII века обострялось межгосударственное соперничество в Европе, ведущие державы, чувствуя угрозу своим колониальным позициям, прилагали максимальные усилия, для того чтобы консолидировать свой контроль над этими территориями как политически, так и экономически. Адам Смит считал, что эта политика была вредна и сдерживала рост всеобщего благосостояния. «Таким образом, — писал шотландский экономист, — после несправедливых усилий всех стран Европы взять себе всю выгоду от торговли со своими колониями ни одной из них не удалось еще до сих пор получить для себя ничего другого, кроме издержек на сохранение во время мира и защиту во время войны той притеснительной власти, которую они присвоили себе над ними»<sup>1</sup>. Отсюда, однако, преждевременно делать вывод, будто шотландский мыслитель был поборником прав угнетенных народов. Хотя он и сожалел об участи туземцев, но был глубоко убежден, что все их проблемы исчезнут сами собой по мере перехода от протекционизма к свободной торговле. Угнетение, в соответствии с его логикой, происходит вообще не от того, что те или иные туземные территории были принудительно вовлечены в систему капиталистического мирового рынка, а из того, что рынок этот неправильно, неэффективно управляется. Причем несправедливость в первую очередь проявляется не в угнетении туземцев, а в недопущении буржуа других европейских наций на колониальные рынки (другой вопрос, что и сами туземцы должны, по мнению Смита, получать свою долю выгоды от развития колониальной экономики).

Между тем объективная реальность в данном случае находилась в разительном контрасте с общим тезисом теоретика. В XVIII веке товарообмен между колониями и метрополиями рос впечатляющими темпами, свидетельствуя о том, что политические ограничения, накладывавшиеся на этот процесс европейскими державами, никоим образом не

<sup>1</sup> А. Смит. Цит. соч., с. 595.

парализовали его. Позднее, несмотря на то что идеи Смита пользовались огромным авторитетом на протяжении последующих полутора столетий, колониальные державы не торопились открывать находящиеся под их контролем рынки для своих конкурентов. И дело тут не столько в политических и военных интересах великих держав, сколько в том, что колониальный монополизм становился важнейшим инструментом снижения издержек в рамках глобальной конкуренции. Вопреки теории Смита, монополизм, обеспеченный политически, вел не к удорожанию товаров и снижению производства, а к прямо противоположному результату. Промышленность европейских метрополий, получавшая сырье и рабочую силу по наиболее выгодным для нее ценам, имевшая гарантированный сбыт на обширном колониальном рынке, могла гораздо дешевле реализовывать свою продукцию и на прочих рынках.

Противоречия между наиболее развитыми в экономическом отношении американскими колониями Англии и «старой страной» нарастали не из-за того, что Лондон сдерживал развитие своих заморских владений, а, напротив, из-за того, что получив широкие возможности для развития и неограниченный доступ к рынку новой глобальной империи, колониальный капитал быстро перерос отведенные для него пределы, начав выработать собственную систему целей и интересов. Первоначально американские элиты надеялись использовать «старую страну» в качестве инструмента для достижения своих целей, но по мере того как рассеивались эти иллюзии и выявлялось различие интересов и целей, обострялся и конфликт.

В XVII веке колонии Новой Англии задумывались как сырьевые базы, поставляющие для Великобритании древесину, смолку, пеньку и другие товары, ранее импортировавшиеся из России. Однако попытки развивать в колониях подобные производства успеха не имели. Хозяйственная структура северных колоний скорее дублировала экономику метрополии, нежели дополняла ее. В свою очередь британское правительство все менее интересовалось Новой Англией: «ориентация английской колониальной политики изменилась в пользу тропических и субтропических стран, откуда Англия могла бы получить постоянный поток экзотических продуктов для собственного потребления и вывоза в другие страны»<sup>2</sup>.

В политическом отношении колонии тоже были в значительной мере предоставлены сами себе. Самоуправление колоний в Северной Америке в значительной мере было результатом английской революции, в ходе которой местная протестантская буржуазия, воспользовавшись смутой в метрополии и при поддержке сторонников парламента в Лондоне, фактически взяла власть в свои руки.

<sup>2</sup> G.L. Beer. The Old Colonial System, Part 1, vol. II, p. 231–232.

Уже в 1640 годах преуспевающие купцы Массачусетса проявляли сепаратизм, заявляя: «английские законы мы должны соблюдать только тогда, когда мы находимся в Англии»<sup>3</sup>.

С конца XVII века североамериканские колонии и их «историческая родина» (*mother country*) все больше экономически отдалялись друг от друга. «Новая Англия практически ничего не поставляла метрополии. Больше того, колонии в значительной степени дублировали экономику Англии и конкурировали с ней в поставках продовольствия на острова Вест-Индии, в торговле, в рыболовстве»<sup>4</sup>.

Плантаторские колонии Юга развивались — с точки зрения интересов английской буржуазии — более успешно, поставляя на европейские рынки рис, сахар, хлопок и табак, выращиваемые чернокожими рабами. В этом они сближались с островами Карибского моря, перешедшими под контроль Великобритании. Именно рабовладельческие колонии (Ямайка, Барбадос и Виргиния) были первыми самоуправляющимися территориями, создавшими свои выборные институты уже в конце XVII века — естественно, только для белых поселенцев. Созданные там институты распространялись на прочие колониальные владения, а имевшие юридические прецеденты использовались для решения спорных вопросов в других местах.

К середине XVIII века Бостон, Филадельфия и Нью-Йорк превратились в ведущие торговые центры империи. Рынок Филадельфии современники называли «самым большим в известном мире, но уж точно самым большим в Америке»<sup>5</sup>. Успешное развитие этих городов было естественным результатом общего роста трансатлантической экономики и сложившегося в нем разделения труда. Корабельные доки портов северной Америки обеспечивали торговый и военный флот современными судами, коммерция процветала, а производство опиралось на растущую армию тружеников, объединявшую как свободных белых рабочих, так и чернокожих рабов. Наемный труд использовался не только в сфере производства — одним из секторов экономики, привлекавших большую массу наемных работников, была торговля, включая растущий коммерческий флот. Уже в 1700-е годы одной из важнейших задач английской морской администрации стало урегулирование трудовых споров между моряками и судовладельцами. Суды адмиралтейства (*Vice-admiralty courts*) разбирались с многочисленными претензиями по заработной плате и условиям труда, вызывая возмущение предпринимателей стремлением гарантировать оплату всей произведенной работы «до последней доски и до последнего гвоздя» (*to*

<sup>3</sup>A. Calder. *Op. cit.*, p. 163.

<sup>4</sup>G.L. Beer. *The Old Colonial System, 1660–1754. Part 1, vol. II, p. 232.*

<sup>5</sup>Цит. по: M. Radiker. *Op. cit.*, p. 70.

the last plank and to the last nail)<sup>6</sup>. Однако это не мешало судебной системе в целом активно защищать права и интересы судовладельцев — в той мере, в какой последние готовы были соблюдать элементарную законность. Трудовые конфликты часто заканчивались забастовками моряков — само английское слово «strike» произошло от обычая бастующих моряков прибивать гвоздями паруса, парализуя этим корабль. В 1741 году в Нью-Йорке низы общества взбунтовались — белые бедняки объединились с рабами-неграми, завладев на какое-то время городом. Аналогичные выступления происходили и в других местах.

Борьба за контроль над рынком, как и в большинстве капиталистических конфликтов, способствовала противостоянию метрополии и американских колоний. Эдмунд Бёрк, доказывая значение колоний для Англии, ссылаясь на огромный рынок, который открывался за океаном для британских товаров. Однако у американской буржуазии были иные планы — экспорт из метрополии не только наталкивался там на растущую конкуренцию местных производителей, но и встречал сопротивление — не случайно по мере развития конфликта с метрополией, бойкот английских товаров превратился в излюбленную форму сопротивления «произволу» Лондона.

Вплоть до конца Семилетней войны, несмотря на экономическую самодостаточность, колонии Новой Англии все еще нуждались в поддержке Британии, поскольку их надо было постоянно защищать от индейцев, голландцев и испанцев, позднее от французов. Английский флаг нужен был и судовладельцам Бостона и Нью-Йорка, прикрывая их во время плаваний в нейтральных водах, — порой одной лишь угрозы возмездия со стороны Королевского флота было обычно достаточно, чтобы обеспечить их безопасность. Однако подобные отношения с колониями были скорее обременительны для метрополии, которая по мере развития американских территорий тратила на них все больше средств, все меньше получая взамен.

В разгар Семилетней войны колонисты не видели никакой проблемы в присутствии британских войск и чиновников на их территории. В 1763 году Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin) прославлял «славный мир» (the glorious peace), подписанный в Париже, мир, который позволит Британии овладеть всей Северной Америкой и создать «единую империю на этом обширном берегу» (universal empire of that extended coast)<sup>7</sup>. А Виллиам Смит (William Smith), один из идеологов колониальной экспансии, писал: «Было бы благодеянием Божиим, если бы у нас здесь было побольше правительства»<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Цит. по: Ibid., p. 119.

<sup>7</sup> Цит. по: B. Simms. Op. cit., p. 502.

<sup>8</sup> Цит. по: Ibid., p. 540.

Переломным моментом стала Прокламация 1763 года (Proclamation Line), в соответствии с которой за индейцами — в качестве подданных короны — закреплялись земли к западу от старой границы, а колонистам запрещено было вытеснять оттуда коренное население. Приватизация земель на Западе, стихийно начавшаяся еще во время войны, была прекращена, а часть решений аннулирована. Первоначально в колониях не отнеслись к Прокламации серьезно, сочтя ее демагогическим документом, призванным успокоить «краснокожих». Рядовые поселенцы, желавшие переехать на запад, и всевозможные спекулянты и контрабандисты, разворачивавшие свой бизнес на индейских землях открыто игнорировали Прокламацию. Однако по мере того как обнаруживалось, что королевское правительство всерьез намерено выполнять свои обязательства перед индейцами, в колониях стало расти недовольство. Уже в 1763 году вспыхнуло восстание индейцев, которых удалось успокоить представителем королевской администрации, заявившим о поддержке их требований. В 1768 году английский интендант по делам индейцев сэр Виллиам Джонсон (Sir William Johnson) подписал новое соглашение с ирокезами в форте Стенвикс (Fort Stanwix), однако его политика, направленная на примирение с коренными жителями Америки, вызвала лишь возмущение в колониях и не получила должной поддержки из Лондона. Джонсон принужден был уйти в отставку, а конфликт остался неразрешенным.

Все попытки британских властей извлечь хоть какую-то финансовую выгоду из обладания североамериканскими колониями наталкивались на яростное сопротивление поселенцев и, как правило, ни к чему не приводили. Уже в 1765 году сэр Фрэнсис Бернард (Sir Francis Bernard), губернатор Массачусетса, в разговоре с британским министром обороны (secretary of state for war) констатировал, что колонии рассматривают себя как «самостоятельные государства, которых с Великобританией ничто не связывает, кроме общего короля» (perfect States, not otherwise dependent on Great Britain than by having the same King)<sup>9</sup>.

Ситуацию усугубил Акт о гербовом сборе (Stamp Act) 1765 года. Данным налогом в Лондоне пытались заставить американские колонии и Ост-Индскую компанию оплатить хотя бы часть военных расходов. Надо отметить, что английские налоги были по масштабам XVIII века не слишком обременительны. «Когда в XVIII веке народ бунтовал (а случалось это нередко), почти никогда причиной не были налоги», — замечает Лоуренс Джеймс<sup>10</sup>. К тому же требование британского парламента было вполне справедливо по сути. С одной стороны, именно события

<sup>9</sup> T. Blanning. *Op. cit.*, p. 302.

<sup>10</sup> L. James. *Warrior Race*, 2002, p. 272.



в Америке и Индии вовлекли страну в войну и армия была отправлена в колонии по просьбе их же представителей, а с другой стороны, американские колонии и Ост-Индская компания получали наибольшие выгоды от одержанной победы. В 1766 году английское правительство потребовало от Компании ежегодной уплаты 400 тысяч фунтов<sup>11</sup>. Компания, выразив некоторое недовольство, все же согласилась платить, несмотря на то что ее финансовое положение ухудшалось (особенно из-за постоянного отрицательного баланса в стремительно растущей торговле с Китаем).

Напротив, колонисты платить категорически не желали. Протест против нового налога, по выражению немецкого историка, «соединил воедино аграрно-аристократическую Виргинию с меркантильно-демократическим Массачусетсом»<sup>12</sup>.

Южные колонии, поставлявшие на мировой рынок табак и хлопок, были экономически более связаны с Европой. Но и у них возникали осложнения с лондонским правительством. Местные элиты были недовольны налогами и возмущены аболиционистскими настроениями, все более распространявшимися в Англии. Пропаганда в пользу отмены рабства была чревата крахом всей хозяйственной системы Американского Юга. Тем временем рост экономики Севера превращал его в важного партнера южных колоний.

Несмотря на различия хозяйственных систем и интересов, колонии Севера и Юга все больше объединялись в своих претензиях к метрополии, в то время как британское правительство, не сознавая нарастающей угрозы, не пыталось расколоть колонии и противопоставить их другу (хотя такие возможности у Лондона были).

В 1767 британское правительство ввело в колониях новые таможенные сборы, что вызвало бурю возмущения среди поселенцев, организовавших в ответ бойкот английских товаров. Спустя три года в Бостоне английские солдаты открыли огонь по взбунтовавшейся, но безоружной толпе, после чего эскалация конфликта стала неминуемой.

Колонисты доказывали, что парламент в Вестминстере не имеет права облагать их налогами, поскольку их делегаты там не представлены. Между тем подчинение американских колоний лондонскому парламенту предусматривалось еще Навигационными актами XVII века, законодательными решениями, без которых успешная экспансия в Америке вообще вряд ли была возможна. Парламентский суверенитет Вестминстера воспринимался как должное вплоть до середины XVIII века и совершенно не казался колонистам стеснительным или ограничивающим их свободу.

<sup>11</sup> См.: *L. James. Raj*, p. 50.

<sup>12</sup> *К. Геблер. Цит. соч.*, с. 214.

В итоге Лондон вынужден был отказаться от гербового сбора, хотя и издал декларацию (Declaration Act), в принципе подтверждавшую право парламента облагать колонии налогом. Однако каждая уступка Лондона провоцировала лишь новые требования и претензии со стороны колоний.

В XVIII веке Новая Англия превратилась в важный рынок сбыта для тропических товаров, поставляемых Ост-Индской компанией. Но подобная выгодная торговля привлекала и внимание лондонского правительства, пытавшегося после окончания Семилетней войны справиться с финансовыми затруднениями. К 1772 году Ост-Индская компания была на грани банкротства и правительство лорда Норта (Lord North) вынуждено было издать в мае 1773 года знаменитый Чайный акт (Tea Act), облагавший колонистов дополнительными сборами. Последние ответили очередным бунтом и выбрасыванием за борт привозного чая, вошедшим в историю как «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party). Торговый спор перерос в политическую революцию.

В начале XXI века, когда неприязнь к американскому империализму достигла высшей точки не только в странах «периферии», но и в общественном мнении большинства стран Запада, закономерно возник и вопрос о переоценке значения американской революции. Если раньше она представлялась демократическим и национально-освободительным движением, то теперь в ней склонны были видеть сепаратистский мятеж, вызванный своекорыстием колониальных элит, не удовлетворенных своим (и без того привилегированным) положением в Британской империи.

Консервативно настроенный Н. Фергюсон напоминает, что война за независимость США «на самом деле была гражданской войной, которая разделила социальные классы и даже семьи»<sup>13</sup>. В колониях не было даже подобия национального единства. На первых порах колебался даже Бенджамин Франклин. Лоялисты и сторонники партии Тори, сохранявшие приверженность короне, составляли значительную часть населения колоний и активно участвовали в боевых действиях, успешно применяя партизанскую тактику против войск Джорджа Вашингтона. В июле 1776 года, когда радикальные делегаты в американском Конгрессе добились провозглашения Декларации независимости, далеко не все жители колоний встретили это с энтузиазмом. «Невозможно определить точно сколько американцев поддерживало разрыв с Англией, — пишет Лоуренс Джеймс. — Джон Адамс, один из тех, кто подписал Декларацию, подсчитал, что примерно треть колонистов были за нее, а остальные разделяли взгляды лоялистов или держались нейтралитета»<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. 95.

<sup>14</sup> L. James. The Rise and Fall of the British Empire, p. 115.

Еще более жестко «ревизионистскую» точку зрения на американскую революцию выразил Самир Амин: «Взбунтовавшиеся против английской монархии американские колонисты не хотели менять своих экономических и социальных отношений, они просто не желали делиться с правящим классом страны, из которой они прибыли. Они хотели взять власть в свои руки не для того, чтобы создать общество, отличное от колониального режима Англии, а чтобы продолжать в том же духе, только с большей решимостью и большими доходами. Прежде всего их целью было продолжение экспансии на запад, что подразумевало среди прочего, геноцид индейцев. Никто не сомневался в целесообразности сохранения института рабства. Чуть ли не все основные лидеры американской революции были рабовладельцами и отнюдь не намеревались менять свое отношение к этому вопросу»<sup>15</sup>. Хотя Амин скептически относится к рассуждениям Макса Вебера о центральной роли протестантизма и кальвинистской идеологии предопределения для формирования капитализма, по отношению к американской революции он безжалостно принимает этот тезис, превращая его в аргумент против господствовавшей среди колонистов идеологии: «Геноцид индейцев являлся естественной составляющей той божественной миссии, которую возложил на себя новый избранный народ. И не стоит полагать, что это целиком осталось в прошлом»<sup>16</sup>. Протестантские секты, переселившиеся в Новую Англию, были, по мнению Амина, самыми авторитарными, жестокими и агрессивными, — именно поэтому они вынуждены были оставить Старый Свет, общество которого не хотело терпеть и поощрять их агрессивность. Напротив, «противники независимости от Англии, которые не желали порывать со страной своего происхождения, не сопереживали фанатизму сектантов Новой Англии и их библейским толкованиям»<sup>17</sup>. Эмигранты-лоялисты, массово бежавшие из независимых Соединенных Штатов в Канаду, заложили там основу более гуманного общества, в рамках которого трудящимся в гораздо большей степени оказалось присуще классовое сознание.

<sup>15</sup> С. Амин. Цит. соч., с. 92 (англ. изд.: S. Amin. *The Liberal Virus*, p. 59).

<sup>16</sup> Там же, с. 93 (англ. изд.: *Ibid.*, p. 60). Надо заметить, что в данном случае Амин не только переосмысливает в негативном ключе тезис Вебера о роли протестантизма в формировании капиталистического порядка, но и опирается на анализ перуанского марксиста Х.К. Мариатеги, который в своих «Очерках интерпретации перуанской действительности» показал, почему католически-феодалный испанский колониализм оказался меньшей катастрофой для индейцев, чем передовой англо-саксонский протестантизм. Если в первом случае колонизаторам нужны были души для спасения и работники для поместий, то прогрессивным протестантам нужна была лишь «свободная» земля, а не знающие Христа дикари были заведомо обречены на вечную гибель. См.: Х.К. Мариатеги. *Семь очерков истолкования перуанской действительности*. М.:Изд-во иностр. лит., 1963.

<sup>17</sup> Там же, с. 96 (англ. изд.: *Idid.*, p. 62).

Попытки части английской общественности добиться освобождения рабов в колониях подлили масла в огонь гражданского конфликта. Решение об отмене рабства было принято британскими властями в Америке уже в самый разгар мятежа и явно было направлено на то, чтобы получить поддержку чернокожего населения юга против сторонников независимости. Тысячи чернокожих американцев, примкнувших к британской армии, участвовали в строительстве укреплений, транспортном снабжении войск, а порой и сражались в ее рядах. К концу войны те из них, кто задержался в Нью-Йорке и не был эвакуирован вместе с уходящими частями, были проданы назад в рабство.

Увы, декларация об освобождении рабов, с одной стороны, внесла смятение в ряды лоялистов, среди которых тоже имелись рабовладельцы, а с другой стороны, консолидировала белое население Юга на антибританских позициях. Когда некоторые радикально настроенные сторонники независимости пытались перехватить британскую инициативу и со своей стороны осудить рабство, они не получили широкой поддержки.

В самой Англии либеральный парламентарий Эдмунд Бёрк резко высмеивал идею освобождения рабов, ее «сторонников и пропагандистов» (*advocates and panegyrist*), напоминая, что, во-первых, Англия сама вовлечена в работорговлю, а во-вторых, рабы не примут освобождения, поскольку они по большей части «очень привязаны к своим хозяевам»<sup>18</sup>.

Другие политики и публицисты высказывали свое мнение в еще более жесткой форме. «Вооружать чернокожих рабов против своих хозяев, возмущался герцог Ричмонд (*Richmond*), — вооружать дикарей, которые будут самым зверским образом убивать пленников и даже непременно съедят их, это, по моему мнению, нельзя назвать справедливой войной против наших собственных американских граждан» (*To arm negro slaves against their masters, to arm savages, who we know will put their prisoners to death in the most cruel tortures, and literally eat them, is not in my opinion, a fair war against fellow subjects*)<sup>19</sup>.

Джон Уилкс (*John Wilkes*), депутат парламента от Мидлсекса (*Middlesex*), известный своими радикально-демократическими взглядами, писал, что нет ничего ужаснее, чем мысль о том, как индейцы, восставая против белых людей, получают оружие и помощь от английских генералов: «Душа человеческая содрогается при мысли о подобной сцене!» (*Human nature shrinks from such a scene*)<sup>20</sup>. Индейцы, подчеркивал он, сплошь людоеды и кровопийцы, они почти так же отвратительны и жестоки, как евреи.

<sup>18</sup> *E. Burke. Selected Writings and Speeches*, p. 167.

<sup>19</sup> Цит. по: *B. Simms. Op. cit.*, p. 594.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 595.

Между тем аболиционизм британского правительства был, как минимум, непоследовательным. Это очень хорошо иллюстрируется ситуацией, возникшей после заключения мира, когда освобожденных американских рабов решено было переселить в африканскую колонию Сьерра-Леоне. «Переименованная в «Страну Свободы» Сьерра-Леоне оставалась одновременно территорией рабства, — констатирует известный историк Саймон Шама (Simon Schama). — Королевский флот, которому поручено было сопровождать конвой в новую свободную колонию и при необходимости защищать ее, одновременно получил приказ прикрывать британский центр работорговли на острове Банс (Bance Island), который находился немного выше по течению реки»<sup>21</sup>.

Перечисляя пороки американской революции, Амин, как пристрастный судья, не находит ни одного повода для снисхождения. Мелкобуржуазные низы колониального общества, выступившие в поддержку независимости, при подобном подходе выглядят жертвами политических интриг и манипуляции со стороны отцов-основателей, которые воспользовались их энтузиазмом, но ничего не дали взамен, оттеснив их от рычагов политической власти, как только вопрос об отношениях с Англией был более или менее урегулирован, — в этот момент первоначальные «Статьи Конфедерации» (Articles of Confederation) были заменены на менее демократическую, но зато более демагогическую Конституцию.

Можно сказать, что в 1775–1781 годах элиты североамериканских колоний-штатов использовали «свои» низы против Британии так же, как 90 лет спустя элиты южных штатов смогли опереться на массы белого населения в борьбе против Севера. Действительно, политические и культурно-психологические механизмы народной мобилизации на Юге во время Гражданской войны были примерно те же, что и во время Войны за независимость, причем идеологи южан совершенно сознательно представляли свои действия против Севера, как продолжение революционного восстания прошлого столетия. Единственное различие, следовательно, состоит в том, что союз плантаторов южных штатов и буржуа Новой Англии в XVIII веке победил, а плантаторы Юга в XIX веке проиграли и не смогли написать историю на основании собственного патристического мифа. В точности, как в известном стихотворении: «мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Революция в Америке предстает перед нами как раз таким «мятежом, закончившимся удачей».

Несмотря на идеологическую привлекательность подобного взгляда на американскую историю с точки зрения радикальных левых образца 2000-х годов, данный подход страдает такой же однобокостью, как и

<sup>21</sup> S. Schama. *Rough Crossings. Britain, the Slaves and the American Revolution*. London: BBC Books, 2006, p. 221.

прежний националистический миф об отцах-основателях и освободительной революции. Буржуазия Новой Англии сумела создать широкий социальный блок, объединивший, с одной стороны, плантаторов Юга, а с другой стороны, радикально настроенных мелких собственников и фермеров Севера. Иными словами, ей удалось добиться своих целей за счет успешно установленной политической гегемонии, которая, однако, могла быть обеспечена лишь за счет серьезных уступок, сделанных мелкобуржуазным низам общества. Именно поэтому мятеж, начавшийся как эгоистическое выступление колониальных элит и связанных с ними средних слоев, завершился как революция и породил самое демократическое на тот момент государство. Другое дело, что еще до того, как была закончена борьба за независимость, важнейшей заботой американских элит стало сдерживание демократического давления низов. С чем отцы-основатели в целом успешно справились.

Большинство исследователей, анализирующих военные действия, которые вели британская армия и флот против восставших штатов, сходятся на том, что англичане действовали на удивление нерешительно и неумело, что резко контрастирует с поведением британских сил как во время Семилетней войны, так и с их действиями во время Наполеоновских войн. Вряд ли можно объяснить произошедшее отсутствием хорошего командования или незнакомством с полупартизанской тактикой колонистов. Генералы были не лучше, и не хуже, чем во время Семилетней войны (зачастую просто те же самые), да и тактические приемы, применявшиеся сторонниками независимых штатов, были те же, что прежде у франко-канадского ополчения. Подобные приемы были хорошо изучены во время предыдущих кампаний, и с ними регулярная армия научилась эффективно бороться (с той лишь разницей, что франко-канадские ополченцы считались лучшими бойцами, чем милиция Новой Англии). К тому же на стороне британских сил выступало большое число индейцев и американских лоялистов, прекрасно знакомых с местными условиями, применявших ту же тактику.

Однако в условиях, когда британская сторона проявляла нерешительность, баланс общественного мнения постепенно сдвигался в пользу сторонников независимости. Лоялисты постоянно жаловались на то, что не получают достаточной поддержки от «нерешительных британских генералов»<sup>22</sup>. Эти колебания Фергюсон объясняет нежеланием англичан воевать против белых колонистов, которые были так похожи на них. Лоуренс Джеймс отмечает, что главной проблемой британского командования в Америке была «неопределенность целей»<sup>23</sup>. Однако в действительности

<sup>22</sup> *N. Ferguson. Op. cit., p. 96.*

<sup>23</sup> *L. James. The Rise and Fall of the British Empire, p. 114.*

за странным поведением британских военных и политических властей в Америке стоят куда более глубокие причины, которые историк не может отрицать: «краткосрочные выгоды от восстановления британской власти над тринадцатью колониями оказывались гораздо менее значительными, чем долгосрочные проблемы, связанные с возможной победой»<sup>24</sup>.

Реальная причина неэффективности британских действий лежит не в военной, а в политической и экономической сферах. Далеко не все американцы хотели независимости, но и в Британии не было решительного единства среди общества и элиты по вопросу о сохранении колоний. «Все конфликты, в которых участвовала Британия XVIII века, вызывали в стране острые разногласия, — признает Брендан Симмс, — но американская война разделила общество как никогда прежде»<sup>25</sup>. По сути гражданская война между «лоялистами» и «патриотами» в Америке продолжалась в виде острого политического конфликта в Англии, а все происходящее некоторые современники называли «первой британской гражданской войной» (the first British civil war)<sup>26</sup>. Если у Джорджа Вашингтона было множество недругов в Америке, то это компенсировалось наличием множества сторонников в Англии.

Те, кто принимали решения в Лондоне, прекрасно понимали, что даже самая решительная военная победа не гарантирует укрепления власти короны над отдаленными американскими территориями, если за ней не последует политический компромисс. Такова была стратегия Британской империи, с помощью которой в XVIII веке было подавлено сопротивление горных кланов в Шотландии, то же происходило позднее в Индии после восстания сипаев, в Южной Африке после победы над бурами. Главный вопрос был в цене компромисса.

Эдмунд Бёрк, активно (и не совсем бескорыстно) отстаивавший в Англии интересы колоний, постоянно напоминал о необходимости уступок: «Мир требует соглашения; и если имеет место спор по материальным вопросам, соглашение так или иначе всегда подразумевает те или иные уступки»<sup>27</sup>. Главный вопрос, таким образом, состоял не в том, нужно ли идти на компромисс в принципе (на этот счет ни у Бёрка, ни у многих его оппонентов сомнения не было), а в том, «какие уступки должны быть сделаны»<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. 100.

<sup>25</sup> B. Simms. Op. cit., p. 593.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> E. Burke. Selected Writings and Speeches, p. 153. Надо отметить, что у Бёрка был материальный интерес — он получал жалованье в качестве представителя ассамблеи Нью-Йорка в Англии.

<sup>28</sup> Ibid.

В этом-то и состояла трудность. Все прекрасно сознавали, что проблема не сводится к спору о законности новых налогов. Значительная часть знаменитой речи Бёрка о примирении с Америкой посвящена попыткам опровергнуть мнение тех, кто подозревал, будто «колонисты имеют собственные дальнейшие планы, они не останутся на этом соглашении и потребуют пересмотра торговых законов»<sup>29</sup>. Бёрк не хуже своих противников понимал, что именно так дело и обстоит, однако признать это означало бы порушить всю его стройную систему аргументов, доказывавших, что единственной причиной мятежа является нежелание колонистов платить налоги, не утвержденные их местными собраниями.

Положение дел в американских колониях, особенно в Новой Англии, было таково, что любой эффективный компромисс оказывался для Англии экономически менее выгодным, нежели признание независимости штатов. Известный публицист и мыслитель Джошуа Такер (Josiah Tucker) писал во время войны за независимость, что колонии в Америке были «камнем на нашей шее» (a Millstone hanging about the Neck of this Country)<sup>30</sup>. Поскольку британцам не хватило решимости избавиться от этого «камня на шее», надо лишь поблагодарить американцев, что они своим восстанием облегчили неизбежное и необходимое решение. Призывая идти навстречу колониям, Бёрк указывал на огромное значение американской торговли для Британии, но одновременно подчеркивал блестящие перспективы экономического развития Америки. Напротив, Адам Смит напоминал, что «при современной системе Великобритания ничего кроме убытка, не получает от своего господства над колониями»<sup>31</sup>. Эти колонии (в том виде, в каком они сформировались ко второй половине XVIII века) были скорее обузой для метрополии, нежели ценным приобретением, за которое надо было держаться. Но в то же время факт отделения колоний в политическом отношении был катастрофой. Он не только наносил ущерб престижу империи, но и создавал опасный прецедент, который мог быть использован (и использовался) в совершенно иных ситуациях. Непоследовательность британской политики по отношению к тринадцати взбунтовавшимся колониям усугублялась идеологическим расколом в рядах самих английских элит. Консерваторам были отвратительны политические принципы колонистов, а потому они склонны были положительно относиться к их отделению от империи. Напротив, либералам эти принципы в значительной мере импонировали, и именно поэтому они стремились ценой переговоров и уступок удержать бунтовщиков в рамках империи.

<sup>29</sup> Ibid., p. 171–172.

<sup>30</sup> Цит. по: B. Semmel. *The Rise of Free Trade Imperialism: Classical Political Economy the Empire of Free Trade and Imperialism 1750–1850*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 20.

<sup>31</sup> А. Смит. Цит. соч., с. 585.



Эти объективные противоречия предопределили и непоследовательность политики, что предопределило отсутствие четкой стратегии и решительности в военных операциях.

## ВОЙНА И МИР В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ

Поддержав восставшие колонии, в 1778 году Франция вступила в войну, год спустя к ней присоединилась Испания, а затем и Голландия. Вступление Франции было продиктовано не только желанием отомстить за поражение в Семилетней войне, но и опасением того, что агрессивные настроенные американские колонии договорятся с Лондоном, потребовав в качестве цены компромисса нового расширения — за счет владений, оставленных Франции после прошлой войны в Луизиане<sup>32</sup>. «Они обрушатся на нас с такой силой, как будто бы и не было гражданской войны», — писал Людовик XVI своему кузену Карлу III Испанскому. Именно этот страх вынудил его в срочном порядке признать независимость Соединенных Штатов и поддержать их военными усилиями «дабы воспрепятствовать их воссоединению с метрополией»<sup>33</sup>.

Положение Британии осложнилось, когда колониальный конфликт перерос в новую широкомасштабную войну с Францией и Испанией, которые стремились «переиграть» итоги Семилетней войны, вернув себе потерянные позиции в Африке, Индии и Северной Америке, и еще больше, когда неожиданно для британцев к антианглийской коалиции присоединилась и Голландия. В новой ситуации Лондон вынужден был столкнуться и с неприязненным отношением своих бывших партнеров и союзников, которые не были удовлетворены своим положением в условиях новой английской гегемонии. Россия и Пруссия провозгласили «вооруженный нейтралитет», заявив, что не позволят Королевскому флоту обыскивать свои корабли под предлогом поиска военной контрабанды. Лондону пришлось смириться с этим «бунтом союзников». Вооруженный нейтралитет России был фактически признан британским правительством, которое велело Королевскому флоту «оставить в покое русские корабли»<sup>34</sup>. Единственный за все время военных действий захват русских судов был произведен не англичанами, а союзной с американца-

<sup>32</sup> Статус Луизианы оставался двусмысленным, она была передана Испании, но могла быть возвращена Франции, что и произошло впоследствии. Кроме того, Париж волновала безопасность принадлежащих ему островов в Вест-Индии. В самом деле, одним из возможных способов достичь компромисса с колонистами для Лондона было бы попытаться удовлетворить их аппетиты за счет третьей стороны — французов. Так, что опасения французских политиков были небезосновательными.

<sup>33</sup> Цит. по: Французский ежегодник 2008, с. 119.

<sup>34</sup> The Cambridge History of British Foreign Policy, vol. 1, p. 135.

ми Испанией, что вызвало бурную реакцию в Петербурге и сыграло на руку проанглийской партии.

После того как британскому флоту пришлось вступить в борьбу с французскими, испанскими и голландскими силами сразу на нескольких театрах боевых действий, он на некоторое время утратил господство над Атлантикой. В 1781 году в Йорктауне (Yorktown) была заблокирована восьмьдесятитысячная английская армия лорда Корнуэльса (Lord Cornwallis). Не получив ожидаемой поддержки с моря, она капитулировала. Это поражение было прямым следствием потери морского превосходства. Правда, английский флот все же прибыл в Йорктаун, опоздав всего на пять дней<sup>35</sup>.

Средиземное море было оставлено, что привело к резкому падению английской торговли, поскольку корабли, шедшие под британским флагом, становились легкой добычей французских корсаров. В Вест-Индии ряд островов был захвачен французами, а угроза нависла над Ямайкой — важнейшим экономическим и политическим центром Британской империи в регионе. Франко-испанская коалиция готовилась к вторжению на Британские острова (маленькие острова в Ла-Манше уже подверглись атакам), а потому основные силы флота пришлось сосредоточить у собственных берегов. Ответом на эти опасности, однако, стала беспрецедентная мобилизация Королевского флота, численность и сила которого на протяжении войны непрерывно возрастали. Гарнизон Гибралтара неколебимо выдерживал осаду, обеспечивая для британского флота возможность возвращения в Средиземное море. В октябре 1782 года франко-испанские силы вынуждены были снять осаду с Гибралтара. В 1778 году в составе флота имелось 66 линейных кораблей, в 1780 году их было уже 95. Численность личного состава выросла с 16 тысяч к началу войны до 60 тысяч человек в ее разгаре и до 100 тысяч к моменту подписания мира. В апреле 1782 года адмирал Джордж Родней (George Rodney) нанес французскому флоту решающее поражение в битве при Сейнте (battle of the Saintes), вернув Англии морское господство. «Французы быстро утратили веру в свой флот: было ясно, что нет смысла продолжать борьбу против британского морского господства»<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Показательно, что Йорктаунская капитуляция никак не отразилась на карьере лорда Корнуэльса, хотя формально ее последствием была потеря североамериканских колоний. Через несколько лет мы находим лорда на посту губернатора Бенгалии — явное повышение, особенно если учесть, что пост этот являлся не только престижным и ответственным, но и крайне выгодным. Для сравнения можно вспомнить судьбу адмирала Бинга (John Byng), неудача которого привела к потере Минорки. Адмирал был предан суду и расстрелян. Поражение Корнуэльса явно устраивало, если не всю британскую элиту, то, по крайней мере, значительную ее часть, искавшую повода для прекращения войны и примирения с бывшими колониями.

<sup>36</sup> А. Herman. *Op. cit.*, p. 318.

Опасаясь проблем в Ирландии, английское правительство существенно смягчило антикатолическое законодательство в стране, откуда прибывали многочисленные пополнения для флота и особенно для армии. Вооруженные силы тоже выросли. Если в 1774 году численность сухопутных сил составляла 72 батальона, то в 1778 году — уже 118<sup>37</sup>. «Военные усилия сопровождались впечатляющей психологической и культурной мобилизацией — патриотический и гражданский подъем охватил общество. Разумеется, народный энтузиазм поддерживался пропагандой, но в значительной мере он был стихийным»<sup>38</sup>. Война была популярна среди масс британского народа, по крайней мере, на первых порах. Выступление Франции и Испании, а затем и Голландии на стороне восставших колоний вызвало в Британии волну патриотического возмущения.

С начала XVIII до конца XX века Британия не проиграла ни одной войны за исключением американской войны за независимость. Разумеется, британские силы не раз терпели поражения на поле боя, порой совершенно катастрофические. Однако каждый раз правящим элитам удавалось сплотить нацию и продолжить борьбу, до тех пор пока неудачи не сменялись победами или, по крайней мере, появлялась возможность почетного мира, соответствовавшего интересам империи. На этом фоне американское исключение выглядит особенно значимым.

По итогам морской войны Англия отнюдь не выглядела проигравшей стороной. Список потерь, который был опубликован лондонским «Политическим журналом» в 1783 году, включает всего 80 судов, захваченных противником, из которых 25 были потом отбиты назад. Всего 22 британских судна были потоплены. Приведенный в том же номере журнала список захваченных или потопленных неприятельских судов (американских, французских, испанских и голландских) занимает 2 полные страницы, одних только французских кораблей было захвачено 129 и 11 потоплено<sup>39</sup>.

Несмотря на победы при Саратоге и капитуляцию Йорктауна, армии Джорджа Вашингтона были значительно слабее британских. Немецкий историк Конрад Геблер констатирует, что война за независимость, хоть и завершилась успешно, «разоблачила весьма печальную картину военной силы Союза»<sup>40</sup>. Капитуляция Йорктауна была серьезным психологическим ударом для Британии. Однако усталость от войны сказывалась с

<sup>37</sup> См.: *B. Simms. Op. cit.*, p. 618, 666.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 667.

<sup>39</sup> *The Political Magazine and Parliamentary, Naval, Military and Lottery Journal*, vol. 5, August 1783, p. 89–95.

<sup>40</sup> *К. Геблер. Цит. соч.*, с. 266.

обеих сторон. В американских войсках происходили мятежи, а английские командиры жаловались на настоящую эпидемию пьянства среди королевских офицеров<sup>41</sup>. Фактически с октября 1781 года, когда сдался Йорктаун, военные действия в Америке прекратились. Обе стороны оставались на своих позициях, не имея больше ни сил, ни желания предпринимать что-либо друг против друга. К концу войны англичане все еще располагали сильными гарнизонами во многих стратегически важных городах и крепостях, пользовались поддержкой индейских племен на Западе, контролировали Нью-Йорк и вполне способны были продолжать боевые действия. Отсутствовала не военная сила, а политическая воля.

Безусловно, Британия была истощена финансово. В начале 1780-х годов 56% годового бюджета шло на покрытие национального долга, превысившего 240 миллионов<sup>42</sup>. Но континентальные противники Англии были истощены ничуть не меньше. А в годы наполеоновских войн британские финансы выдержали национальный долг, который был больше почти в два с половиной раза. Как отмечает Симмс, в годы войны с американскими колониями «британская налоговая и политическая система проявила себя как никогда эффективной»<sup>43</sup>. Финансовая система оказалась в состоянии выдержать бремя войны, чего нельзя сказать о принадлежавшей к лагерю победителей Франции.

В марте 1782 года ушел в отставку кабинет лорда Норта (Lord North), а новое правительство поставило своей главной целью достижение мира с американцами и их союзниками в Европе. Подписывая мир с Соединенными Штатами, английские дипломаты шли на самые щедрые уступки, в то время как американцы делали все возможное, чтобы свести к минимуму свою зависимость от недавнего союзника — Франции. Когда один из французских переговорщиков, пытаясь польстить американцам сказал, что Соединенные Штаты когда-нибудь станут величайшей империей мира, он получил в ответ насмешливое замечание: «Да, и они все будут говорить по-английски, все как один, сэр!»<sup>44</sup>.

Соглашение между восставшими колониями и метрополией далось настолько легко, что в ходе переговоров французская делегация начала опасаться: не заключат ли американцы с британцами сепаратный мир, бросив своих европейских союзников на произвол судьбы.

Французский представитель на переговорах с изумлением писал, что уступки англичан «превосходят все мои ожидания»<sup>45</sup>. Уступки были

<sup>41</sup> См.: *L. James. The Rise and Fall of the British Empire*, p. 118.

<sup>42</sup> См.: *L. James. Warrior Race*, p. 272.

<sup>43</sup> *B. Simms. Op. cit.*, p. 667.

<sup>44</sup> Цит.: *Ibid.*, p. 661.

<sup>45</sup> Цит.: *Ibid.*, p. 659.

настолько значительны и настолько явно не продиктованы военной необходимостью, что критики на родине упрекали главного английского переговорщика графа Шелборна (Earl of Shelburne) в разрушении Британской империи, а уступки в территориальных вопросах зашли так далеко, что вызвали «возмущенные протесты канадских купцов»<sup>46</sup>.

Главными пострадавшими по итогам англо-американского мирного соглашения оказались индейцы Северной Америки. Британские администраторы сами сетовали, что поддерживавшие их индейцы оказывались «брошены нами на произвол их безжалостного и неумолимого врага»<sup>47</sup>. В 1783 году еще до того, как договор в Париже был подписан, лондонский журнал сообщал, что известие о готовящемся примирении Британии с Соединенными Штатами, Францией и Испанией американские индейцы восприняли «с благородным гневом» (with noble indignation), они считали себя преданными и жаловались, что обязательства короля Георга III оказались «пустым звуком» (empty sound). Обращаясь к английскому губернатору, делегаты коренных жителей Америки напоминали о своей лояльности и об угрозе, которая нависла над ними: «ложными посулами вы вовлекли нас в свой конфликт, а теперь оставляете нас наедине с нашими бедами, вы как овцы бежите от своих врагов и советуете нам искать мира с теми самыми людьми, презирать которых вы нас научили»<sup>48</sup>. Представители племен просили напоследок хотя бы обеспечить их оружием и боеприпасами, одновременно заявляя, что скорее покинут страну вместе с англичанами и лоялистами, чем согласятся жить под властью американских поселенцев и испанцев (последним по мирному договору возвращена была Флорида). Однако ради добрых отношений с бывшими противниками в Лондоне решились пожертвовать интересами своих верных сторонников.

Лоялисты получили возможность переселиться на север, в канадские земли, оставшиеся под контролем Лондона. Вопреки ожиданиям многих сторонников американской независимости, Канада на протяжении всей войны оставалась для британцев спокойным тылом. Малочисленные французские поселенцы нуждались в поддержке государства для того чтобы защитить себя от индейцев и не имели политической силы, чтобы сделать это самостоятельно. А производимые ими товары имели ценность только в том случае, если им был гарантирован сбыт на европейском рынке. Поэтому они обречены были стать лояльными британскими подданными точно так же, как были раньше верными подданными

<sup>46</sup> E. McInnis. *Canada: a Political and Social History*. N.Y. — Toronto — London: Holt, Rinehart & Winston, 1963, p. 160.

<sup>47</sup> Ibid., p. 187.

<sup>48</sup> The Political Magazine and Parliamentary, Naval, Military and Lottery Journal, vol. 5, July 1783, p. 13.

французской монархии. В свою очередь британские власти стремились урегулировать отношения с индейцами за счет взаимных уступок и гарантий — не из гуманных соображений, а потому что им так было дешевле и проще. Французские поселенцы быстро обнаружили, что английские купцы открывают перед ними новые рынки сбыта. «Квебек был теперь частью британской торговой системы, которая создавала больше возможностей, чем старая французская империя»<sup>49</sup>. Массовое переселение лоялистов из отделившихся колоний Новой Англии закрепило связь Канады с Британией. Даже Вудро Вильсон в весьма патриотической «Истории американского народа» вынужден признать, что сразу же после обретения независимости, победители начали репрессии против своих политических противников, а бегство из нового государства приняло массовый характер: «Тысячи и тысячи людей направлялись в Нью-Йорк, надеясь спастись там под защитой британского оружия»<sup>50</sup>. Английская администрация, сохранявшая контроль над городом, вынуждена была организовать их эвакуацию. «Больше двадцати девяти тысяч беженцев (включая три тысячи негров) бежали в Канаду из одного только штата Нью-Йорк в течение этого драматического и сумбурного 1783 года»<sup>51</sup>. Массовая эмиграция имела место и в других штатах. «Просто поразительно» (*amazing*), замечает Найл Фергюсон, что «столько народу проголосовало ногами против американской независимости»<sup>52</sup>. По английским данным, более 40 тысяч лоялистов, расселились в провинциях Онтарио, Новая Шотландия (*Nova Scotia*) и Нью-Брансуик (*New Brunswick*), создав в этих заросших лесом пустынных местах «приятные фермы, процветающие деревни и города»<sup>53</sup>.

В итоге американская революция породила «не одну, а две нации»<sup>54</sup>. Канада, сохранившая верность короне, оказалась ее порождением ни в меньшей степени, чем отделившиеся от Англии Соединенные Штаты.

Оценивая итоги второго Парижского мира, Кембриджская история британской внешней политики констатирует: «Если сравнивать его с Парижским миром 1763 года, итоги которого Франция и Испания стремились пересмотреть, новый договор, конечно, свидетельствует о поражении Британии и фиксирует ее потери. Однако не следует упускать

<sup>49</sup> E. McInnis. Op. cit., p. 132.

<sup>50</sup> W. Wilson. A History of the American People. N.Y. — London, Harper & Brothers Pbl, vol. 3, p. 26.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. 101.

<sup>53</sup> G.R. Parkin. Round the Empire. London, Paris and Melbourne: Cassell & Co. Ltd., 1892, p. 32.

<sup>54</sup> A. Lower. Op. cit., p. 87.

из виду, что все территории, уступленные европейским соперникам Англии, были у них же захвачены в предыдущих войнах, а большую часть приобретений 1763 года удалось сохранить»<sup>55</sup>.

Брендан Симмс уверен, что поражение Лондона в борьбе за американские колонии было вызвано недооценкой проблем, существовавших в Европе. Действительно, Британия оказалась в изоляции, а потом вынуждена была бороться одновременно почти против всех ведущих держав — Франции, Испании, Голландии, а Россия, Австрия и Пруссия заняли позицию нейтралитета, который грозил обернуться противостоянием с Англией.

Однако эта катастрофа вызвана не отсутствием внимания к европейским делам, а непониманием угрозы, назревавшей в Америке. Колонии втянули Лондон в Семилетнюю войну, которую британцам пришлось вести в крайне невыгодной ситуации, эти же колонии спустя 20 лет спровоцировали новую войну, ее в Лондоне не ждали и к ней не готовились — ни в военном, ни в дипломатическом отношении.

Английская дипломатия, крайне эффективная во всех остальных ситуациях, неизменно давала сбой тогда, когда в дело вмешивались американские колонии. Здесь нет ничего удивительного. Колонии воспринимались в Лондоне как проблема, но не угроза. А в 1760-е и 1770-е годы колониальный конфликт трактовался как продолжение внутреннего и потому вообще не рассматривался в контексте внешней политики, до тех пор пока колонисты не обратились за помощью к Франции. Разумеется, некоторые внутренние проблемы Британии приобретали интернациональный характер, но это были дела совершенно иного рода, например — проблема Ирландии.

В Лондоне не ждали, что в колониях дойдет до вооруженной борьбы. Еще большей неожиданностью для английских политиков было то, что лидеры колонистов с легкостью нашли себе союзников в Европе. Прежде внутренними врагами, объединявшимися с врагами внешними, были для британской буржуазной монархии традиционалисты — католики и якобиты, сторонники свергнутой династии Стюартов. То были противники либерально-буржуазного режима, и вполне логично, что они привлекали на свою сторону абсолютистскую Европу. Но то, что такую же позицию займут американские либералы, ссылающиеся на принципы британской конституции, к этому в Лондоне готовы не были. Хотя в своем прагматизме отцы-основатели Соединенных Штатов были всего лишь достойными учениками британских вигов, которые тоже были готовы, несмотря на свой либерализм, сотрудничать с любыми, самыми авторитарными континентальными режимами, если находили это выгодным.

<sup>55</sup> The Cambridge History of British Foreign Policy, vol. 1, p. 138.

Сразу же после подписания Парижского мира Англия и США взялись за разработку коммерческого договора, который должен был воплотить в жизнь «семейное примирение между двумя нациями» (family compact between two nations)<sup>56</sup>. Однако между ними оставалось слишком много нерешенных проблем. Пограничные конфликты между новой независимой Америкой и британской Канадой на первых порах возникали постоянно. Индейцы, сопротивлявшиеся движению американских колонистов на Запад, получали некоторое количество оружия и боеприпасов в обмен на меха от канадских купцов, которые, впрочем, руководствовались не политическими, а коммерческими соображениями.

Отделившись от Британии политически, американская буржуазия сразу же начала настаивать на сохранении хотя бы частично привилегий и позиций, которые она ранее имела в Британии и в других странах, когда американцы еще являлись подданными короны. Английский правящий класс был вполне готов пойти навстречу своим недавним противникам, не забывая, однако, напоминать, что провозгласив независимость, они сами лишили себя всех прежних прав: «ведь если они требуют режима наибольшего благоприятствования, то пусть будут благодарны нашему либерализму и доброжелательности и не надеются, будто мы жертвуем ради них хоть толикой морской и торговой мощи Великобритании»<sup>57</sup>.

После отставки графа Шелборна правительство Виллиама Питта (William Pitt) в Лондоне продолжало тот же курс на примирение. Еще 1781 году был принят «Билль о взаимодействии с Америкой» (American Intercourse Bill), который делал для кораблей еще не признанных Соединенных Штатов исключение из Навигационных актов, что резко облегчило торговлю американцев с Вест-Индией. Если в преддверии независимости 13 колоний и острова Вест-Индии поглощали 37% британского экспорта, то в 1797–1798 годах — уже 57%<sup>58</sup>. Поскольку главная забота английской буржуазии состояла не в сохранении суверенитета, а в удержании своих позиций на рынке бывших колоний, Лондон готов был идти ради этого практически на любые уступки в вопросах законодательства.

«Вторая Британская империя», начало которой было положено отделением Соединенных Штатов, отнюдь не страдала от недостатка территории. В дополнение к бескрайним просторам Канады, доступным для колонизации на Западе, владения британской короны пополнились за счет открытия Австралии. Обширная территория этого континента, как и Новая Зеландия, рассматривалась в Лондоне в качестве замены потерянным американским колониям. Тем временем завоевание Бенга-

<sup>56</sup> Ibid., p. 150.

<sup>57</sup> The Political Magazine and Parliamentary, Naval, Military and Lottery Journal, vol. 5, August 1783, p. 83.

<sup>58</sup> См.: B. Semmel. Op. cit., p. 30.



лии открывало новые перспективы на Востоке. Однако новая империя должна была строиться в значительной мере заново, по другим принципам, чем прежняя, и на основе уроков, которые еще предстояло извлечь из событий Американской революции. Политическая и экономическая организация империи после 1781 года радикально изменилась. Канаде, Австралии и другим самоуправляющимся колониям, а позднее и Индии, был гарантирован налоговый суверенитет, исключавший повторение конфликтов, подобных спору о гербовом сборе 1765 года, но одновременно принимались меры, направленные на укрепление политической связи колоний с метрополией. Расширяя свою империю по всей планете, британский правящий класс заботился о том, чтобы ни одна из «белых колоний» (позднее превратившихся в доминионы) не стала экономически слишком сильной и самодостаточной, в то же время всячески поощряя их взаимосвязи и взаимозависимость — империя оказывалась скреплена уже не только «по вертикали» (отношениями между «центром» и «регионами»), но и «по горизонтали».

В самой Америке завершение войны знаменовалось новым всплеском общественных конфликтов и политическими изменениями. Победа колониальных элит в борьбе против Англии была достигнута ценой социальных и политических уступок, позволивших сформировать вокруг движения за независимость широкий блок общественных сил, интересы которых далеко не во всем совпадали. Больше того, для низов американского общества независимость была ценна не как таковая, а прежде всего как возможность повысить свой вес и заставить считаться с собой, преодолев олигархический характер британской политики. Однако уже к концу войны за независимость важнейшей заботой американских элит стала не борьба с бывшей метрополией, а удержание под контролем собственных низов. В условиях, когда между враждующими сторонами практически не было военных действий, подавление мятежей в рядах собственных войск требовало гораздо больше внимания американских элит, чем утасующая война.

Ситуация лишь усугубилась после подписания мира. Америка переживала экономический кризис. Производство и торговля получивших независимость Соединенных Штатов нуждались в кредитах, которые банки бывшей метрополии охотно готовы были предоставить, стремясь сохранить там свои позиции. Но американская сторона настаивала на еще больших уступках, одновременно не слишком тщательно выполняя собственные обязательства<sup>59</sup>. В результате торговое соглашение так и не было

<sup>59</sup> Одно из требований американской стороны состояло в том, чтобы англичане заплатили рабовладельцам компенсацию за негров, освобожденных британскими войсками и вывезенных из Нью-Йорка. Эти требования проходили по разделу имущественных претензий. См.: *The Cambridge History of British Foreign Policy*, vol. 1, p. 155.

подписано вплоть до 1791 года, когда разразившаяся война между Англией и революционной Францией вновь осложнила ситуацию на американском континенте. Только в 1794 году, когда возникла опасность для американской торговли с французскими колониями, было наконец подписано экономическое соглашение. Обе стороны предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования в торговле, Навигационный акт не распространялся на американские суда, прибывавшие в порты, принадлежавшие британской империи на территории Европы и Индии. В случае войны между двумя сторонами договор гарантировал неприкосновенность частной собственности, более того, «купцы получают возможность продолжать свою торговлю, даже если две нации будут находиться в состоянии войны»<sup>60</sup>. Американская сторона перестала требовать компенсации за освобожденных англичанами черных рабов или их возвращения. Английские войска оставались на территории США вплоть до 1796 года, когда они наконец покинули все занимаемые ими форты.

В Америке окончание войны знаменовалось кризисом, приведшим к расколу социального блока, одержавшего победу в борьбе за независимость. Торговая буржуазия стремилась как можно скорее восстановить отношения с Британией, но несмотря на многочисленные уступки Лондона, не могла рассчитывать в полном объеме на прежние привилегии. Английская буржуазия, лишившись колоний, одновременно сняла с себя и расходы по их поддержке, сохранив для американцев торговые привилегии ровно в той мере, в какой это способствовало сохранению позиций самих англичан на американском рынке. Британские партнеры требовали оплаты всех товаров серебром по международным ценам, а Королевский флот отказывался прикрывать иностранные, с некоторых пор, купеческие суда в нейтральных водах. Доступ к кредиту резко сократился, а кредит стал дороже.

В свою очередь крупный бизнес в Америке старался компенсировать потери, переложив их бремя на фермеров и прочую мелкую буржуазию — на тот самый «народ», благодаря поддержке которого война была выиграна. Иными словами, материальное положение масс с окончанием военного конфликта не только не улучшилось, а напротив, ухудшилось. Фермеры разорялись под тяжестью долгов и налогов. Рабочие, ремесленники и крестьяне Новой Англии неожиданно для себя обнаружили, что новый демократический порядок, установленный «своей» буржуазией, может оказаться хуже иностранного гнета. В 1786–1787 годах произошло восстание в Массачусетсе, во главе которого встал ветеран войны за независимость Даниел Шейс (Daniel Shays)<sup>61</sup>. Отцы-основатели отве-

<sup>60</sup> The Cambridge History of British Foreign Policy, vol. 1, p. 157.

<sup>61</sup> О восстании Шейса подробнее см.: J. Friesia. Toward an American Revolution. Exposing the Constitution and other Illusions. Boston, MA: South End Press, 1988.

тили на выступление низов настоящим всплеском классовой ненависти. Сэмюэл Адамс (Samuel Adams), отличившийся в послевоенные годы последовательной и решительной защитой интересов рабовладельческого Юга, обвинил восставших в связях с иностранцами и увидел за их спиной «британских эмиссаров». Он требовал в связи с восстанием Шейса отмены неприкосновенности личности (*habeas corpus*), настаивая, что только сопротивление монархии является благородным делом, а вооруженное выступление против республики должно караться смертью<sup>62</sup>. Джеймс Мэдисон (James Madison) высказывался в том же духе: «Злоупотребление свободой не менее опасно, чем злоупотребление властью»<sup>63</sup>.

Ответом элиты на восстание Шейса были не только репрессии, но и изменение государственного устройства Америки. Статьи Конфедерации были заменены новой Конституцией Соединенных Штатов, усилившей центральное правительство. Политический контроль вернулся в руки привилегированных социальных слоев, которые чуть было не утратили его в ходе войны с Англией. Тем самым американская буржуазия успешно совершила свой собственный термидорианский переворот еще до того, как началась французская революция, которой мы обязаны этим термином и другими соответствующими понятиями.

Французская революция вызвала разногласия среди американской элиты, напугав Вашингтона, Гамильтона (Hamilton) и умеренных федералистов, возмущавшихся царящим во Франции насилием и неуважением к правам собственности. Более осторожный в оценках Джефферсон, соглашаясь с этой оценкой, призывал помнить, что все это — не более, чем «печальный, но непродолжительный эпизод в истории победоносной глобальной революции» (*lamentable but passing chapter in a larger history of triumphant global revolution*)<sup>64</sup>.

Успехи революционных армий Франции, а затем победоносное расширение империи Наполеона, напугав руководство США, заставили его сблизиться с Британией. Однако проанглийская политика Гамильтона была уравновешена французской сговорчивостью. Уступив Луизиану Соединенным Штатам, французский император поступил в высшей степени дальновидно: он не только получал от американцев остро необходимые ему деньги, но и избавлялся от заморской территории, которую после катастрофы под Трафальгаром его флот не мог эффективно защищать, с которой не было ни постоянной связи, ни торговли. В свою

<sup>62</sup> См.: *H. Zinn. A People's History Of The United States. N.Y.: Harper, 1995, p. 93–94*

<sup>63</sup> *E. Foner. Give Me Liberty! An American History. N.Y.: W.W Norton & Company, 2006, p. 219.*

<sup>64</sup> *R. Kagan. Op. cit., p. 110.* Подобные замечания заставили позднейших американских историков сравнивать Джефферсона с Лениным и Мао. См.: *Ibid., p. 434.*

очередь для США открывалась возможность дальнейшей экспансии на юго-запад, в которой были заинтересованы прежде всего умеренные лидеры рабовладельческого Юга. После покупки Луизианы в Вашингтоне решительно меняют внешнеполитическую ориентацию. В условиях, когда война с республиканской и затем наполеоновской Францией требовала растущего напряжения сил, в Лондоне все меньше внимания уделяли событиям в Новом Свете, где зрели семена нового конфликта. Продолжающееся сопротивление индейцев было одним из факторов, подтолкнувших Соединенные Штаты к вторжению в Канаду. В 1812 году, когда империя Наполеона, казалось, достигла наибольшего могущества, а французские армии двигались для решающей схватки с Веллингтоном в Испании и с фельдмаршалом Кутузовым в России, американские войска напали на Канаду, пытаясь отторгнуть эту оставшуюся беззащитной британскую колонию. Английские силы не превышали 4000 человек, так что исход дела казался предрешенным. Однако канадские ополчения быстро остудили пыл нападавших. Французская милиция нанесла американцам поражения при Шатогье (Chateaugay) и Лаколле (Lacolle). Война Англии с Наполеоном не только не ослабила лояльность франкоязычных подданных Лондона, но наоборот, укрепила их связь с Англией. Консервативный аграрный и насквозь католический Квебек не принял французскую революцию. Часть англоязычных поселенцев в британских владениях, напротив, отказывалась братья за оружие против американцев. Впрочем, в Новой Англии по той же причине милиция отказывалась идти воевать против Канады. Большая часть продовольствия для английских сил поставлялась торговцами Вермонта и Нью-Йорка.

Война, начавшаяся в 1812 году американским вторжением в Канаду, завершилась вничью Гентским миром (Treaty of Ghent), подписанным в 1814 году и вступившим в силу в 1815 году. Лондон опять, как и после предыдущей войны, проявил чрезвычайную стоворчивость, не пытаясь использовать свое очевидное военное и политическое преимущество после разгрома Наполеона<sup>65</sup>. В очередной раз Британская империя пожертвовала интересами своих туземных союзников, бросив сражавшихся против американских войск индейцев на произвол судьбы. Лондон вполне удовлетворился тем, что угроза вторжения с юга для Канады была ликвидирована. Главным итогом войны, однако, было не умиротворение американо-канадской границы, а установление новой системы отношений между Британской империей и ее будущей геополитической наследницей, американской республикой.

<sup>65</sup> Некоторым утешением для американцев была победа над английским экспедиционным корпусом под Новым Орлеаном, но на исход войны она не повлияла никак: в тот момент, когда в Луизиане происходило сражение, в Генте делегации сторон уже подписали мир.

После конфликта 1812 года две англоязычные державы уже не вступали в открытую борьбу. На протяжении большей части XIX века США и Англия далеко не всегда поддерживали дружеские отношения, но несмотря ни на что американский капитализм развивался в тени британского, признавая установленные английской буржуазией правила игры.

Британская торговля с Америкой не только не прекратилась, но, напротив, начала стремительно расти после того, как Соединенные Штаты стали независимыми в 1783 году. Особенно увеличился экспорт сырья из южных рабовладельческих штатов. Разворачивавшаяся в Англии промышленная революция резко увеличила спрос на дешевое сырье, которое производили русские крепостные и американские негры-рабы. Из России шло продовольствие и дешевый металл, из Америки хлопок. Поставки хлопка-сырца из Соединенных Штатов в 1780-е годы составляли по весу в среднем 15,5 миллиона фунтов в год, а к 1800 году почти удвоились, достигнув 28,6 миллиона фунтов. «Только американские плантации, сочетавшие рабский труд с частичной механизацией, могли производить хлопок в достаточных количествах, чтобы загрузить работой новую машинную промышленность Ланкашира. К 1840 году 80% хлопка-сырца поставлялось туда из Америки»<sup>66</sup>. В период наполеоновских войн, когда, как назло, сельское хозяйство Англии страдало от неурожая, американское зерно помогало вплоть до 1812 года кормить армию Веллингтона. Поставки, пусть и в меньшем объеме, продолжались даже после того, как между двумя странами начались военные действия.

Отношения с Соединенными Штатами занимают особое место в имперской политике Британии. Несмотря на очевидные амбиции американской элиты, они становятся все более партнерскими. На протяжении полутора столетий Лондон был готов идти на уступки, формируя это партнерство. Такая политика была вознаграждена на первых порах отсутствием серьезного имперского вызова со стороны Америки, а затем сотрудничеством между «старой» и «новой» империями в процессе передачи гегемонии. На протяжении всего XIX века Великобритания оставалась главным торговым партнером США, в 1890-е годы на нее приходилось более половины их экспорта и четверть импорта<sup>67</sup>.

Гораздо более острой проблемой для британской гегемонии оказалась революция во Франции и последовавшая за ней беспрецедентная экспансия империи Наполеона.

<sup>66</sup> L. James. *The Rise and Fall of the British Empire*. London: Abacus, 2005, p. 119.

<sup>67</sup> Chambers's Encyclopaedia. *A Dictionary of Universal Knowledge*, London & Edinburgh, 1895, vol. 10, p. 381.

## ОТ ДЕМОКРАТИИ К ИМПЕРИИ

В XVII–XVIII веках английская и французская модели развития капитализма — по крайней мере, на политическом уровне — выглядят прямо противоположными. Если в Англии буржуазия передоверяет свои дела государству, то во Франции правительство поручает свои дела буржуазии. И в том, и в другом случае нарождающийся буржуазный класс не оказывается в проигрыше, получая заказы и прибыли, однако и в том, и в другом случае возникает проблема контроля.

В Англии монархия Стюартов пытается освободиться от контроля буржуазии, в то время как во Франции буржуазия пытается избавиться от контроля монархии. В итоге революционные процессы, разворачивающиеся в двух странах, прямо противоположны друг другу. Поражение Фронды, произошедшее в XVII веке на фоне успехов лондонского парламента, закрепило противоположность английской и французской политической модели. Английский парламент защищается от посягательств на его права, и лишь в ходе борьбы, вынужденно переходит к наступательным действиям, тогда как во Французской революции, 100 лет спустя, сразу же начинается наступление на монархию. Английская революция оказывается до известной степени консервативна (и эти ее консервативные черты в еще большем, почти карикатурном масштабе воспроизводит американская революция). Напротив, Французская революция с самого начала разворачивается как радикальное, новаторское движение. Ее радикализм был также предопределен и ее сравнительным запозданием по сравнению с английской. Не только потому, что происходила она у условиях более развитого капитализма, но и потому, что французская буржуазия на более раннем этапе упустила шанс направить политическое развитие более или менее по английскому руслу.

На протяжении почти всего XVIII века можно наблюдать, как начинания версальского двора терпят крах одно за другим. Франция не может стать просвещенной монархией не потому, что буржуазия слаба, а наоборот, потому, что этот класс слишком силен и выдвигает слишком высокие требования, на которые правительство и традиционная аристократия не могут согласиться при всей своей искренней готовности идти навстречу интересам капитала. Власть пытается, как часто бывает, разрешить внутренние противоречия за счет внешней экспансии — война с Англией должна увеличить для Франции ее долю мирового рынка и тем самым удовлетворить аппетиты буржуа, не жертвуя положением аристократии. Однако войны эти заканчиваются поражениями. Парадоксальным образом, именно несчастный Людовик XVI, окончивший жизнь на гильотине, был единственным из Бурбонов, кому удалось выиграть войну против Англии.

Война за независимость Соединенных Штатов завершилась успешно для последних в значительной мере благодаря вмешательству Франции. Если бы не французский флот, затруднявший операции британцев в Америке, не экспедиционный корпус маркиза Лафайета и, главное, если бы не французские военные операции на многочисленных второстепенных театрах военных действий, мешавшие англичанам сконцентрировать силы и ресурсы в Северной Америке, восставшим колонистам вряд ли удалось бы добиться независимости. Максимум, на что они могли бы рассчитывать — это более или менее приемлемые условия компромисса с метрополией.

Каждое новое столкновение с Англией оказывалось для французской монархии все более фатальным. Война за Австрийское наследство завершилась с неопределенным результатом (единственным бесспорным победителем была Пруссия Фридриха Великого, захватившая Силезию), Семилетняя война закончилась разгромом Франции, но именно война за независимость американских колоний, формально принесшая Бурбонам победу, обернулась для страны окончательной катастрофой.

Парижский мирный договор 1783 года мало что дал Франции. Возвращение Сенегала никак нельзя было считать достаточным призом в конфликте, принесшем огромные траты и потери. Это был очевидный провал государства с буржуазной точки зрения. В экономическом плане итоги войны были катастрофическими. Торговля в очередной раз пострадала. Флот понес колоссальные потери. Английский журнал не без злорадства констатировал в 1783 году: «Французы, кредитовавшие американцев, сейчас сами банкроты»<sup>68</sup>.

Чудовищный бюджетный дефицит, которым обернулась война для Франции, стал одной из причин, принудившей Людовика XVI созвать в 1789 году Генеральные Штаты, что и послужило началом революции. Позднее король признавал эту войну своей важнейшей ошибкой и жаловался, что в войну его втянули министры, которые «отчасти воспользовались моей молодостью»<sup>69</sup>.

Таким образом, французская революция, хоть и была порождена внутренним кризисом Старого режима и растущими социальными противоречиями внутри страны, оказалась вполне закономерным результатом неудачи в ходе глобального противостояния с Англией. Революции довольно часто происходят после проигранной войны (так было и в дни Парижской Коммуны, и в России 1905 или 1917 года, в Германии 1918 года). Великая французская революция произошла после войны выигранной. Но эта победа не сильно отличалась от поражения.

<sup>68</sup> The Political Magazine and Parliamentary, Naval, Military and Lottery Journal, vol. 5, July 1783, p. 84.

<sup>69</sup> Цит. по: Французский ежегодник 2008, с. 116.

Неспособность Старого режима использовать поражение Британии в своих интересах, с точки зрения буржуазии, несомненно, должна была восприниматься как доказательство его несостоятельности даже в большей степени, нежели непосредственное поражение в Семилетней войне. В свою очередь новый революционный режим, как и следовавшая за ним империя Наполеона Бонапарта, продемонстрировали способность к победоносной экспансии, на которую абсолютистская Франция была органически неспособна.

Однако прежде, чем буржуазия смогла воспользоваться плодами перемен, ей пришлось столкнуться с новой опасностью, быстро затмившей все проблемы, с которыми она сталкивалась при Старом режиме.

Возвращение на сцену средневекового сословного представительства в лице Генеральных Штатов как будто мистическим образом выпустило на волю духов прошлого. Массы, ранее подавленные и в лучшем случае восторженно следовавшие за своими буржуазными лидерами, внезапно обрели собственный голос. И это был голос классовой ненависти. Картины революционного Парижа конца XVIII заставляют вспомнить городские восстания Марсея и Кабоша. Но на сей раз исход борьбы оказался противоположным: королевская власть рухнула в кровавых конвульсиях.

Старый режим был слишком силен, а верхи буржуазии слишком коррумпированы им и связаны с ним, чтобы осуществить необходимые изменения в политической системе без участия масс. Но в итоге сменившая Старый режим демократия оказалась слишком радикальна и явно антибуржуазна. Позднее Макс Вебер отмечал, что политическая свобода порождена была не столько природой капитализма, вполне обходящегося и без нее, а сколько условиями, в которых капитал формируется и приходит к власти<sup>70</sup>. Ничто не подтверждает этот тезис столь явно, как история Великой французской революции.

«Попытки организовать во Франции политическую свободу не удалось, — замечает Николай Кареев, — ни в форме ограниченной монархии (конституция 1791 г.), ни в форме демократической республики (конституция 1793 г.), ни в форме республики буржуазной (конститу-

<sup>70</sup> «Теперешняя “свобода”, — писал Вебер, — дала первые ростки при уникальном стечении обстоятельств и условий, и они никогда более не повторятся» (М. Вебер. К состоянию буржуазной демократии в России. Париж: Синтаксис, 1988, № 22, с. 94). В другом месте немецкий социолог еще более категоричен: «Было бы совершенно смехотворно надеяться, что нынешний зрелый капитализм (этот неизбежный итог хозяйственного развития), каким он импортирован в Россию и установился в Америке, как-то сочетается с “демократией” или даже со свободой (в любом смысле слова). Вопрос стоит совершенно иначе: каковы в этих условиях шансы на выживание “демократии”, “свободы” и проч. в долгосрочной перспективе?» (Там же, с. 93).



ция III года), и фактически Франция то и дело попадала в ту или другую диктатуру, была ли то диктатура учредительного собрания, или революционного правительства, или, наконец, счастливого полководца. Плебиситарная республика эпохи консульства была в сущности военной диктатурой, которая воскрешала античный цезаризм и нуждалась только в имени империи, чтобы вполне проявить свой антиреспубликанский характер. Наклонность к признанию диктатуры поддержали во Франции внешние и внутренние опасности, грозившие новому социальному строю, созданному революцией, и та самая буржуазия, которая наиболее выиграла от революции, сумела также лучше других общественных классов воспользоваться и порядком вещей, вышедших из переворота 18 брюмера, для упрочения своего положения в новом бессловном обществе»<sup>71</sup>.

Потребовалась серия революций, переворотов и гражданских войн, чтобы демократическая республика все же утвердилась в буржуазной Европе. Вопрос о том, как соединить политическую свободу и всеобщее избирательное право с классовым господством капитала, оставался неразрешимой дилеммой для европейского общества, до тех пор пока не настала эра империализма, когда внешняя экспансия Запада позволила превратить колониальные захваты и экономическое подчинение стран «периферии» в механизм перераспределения средств внутри «центра». Однако это решение, благодаря которому лояльность подчиненных классов была обеспечена при минимуме уступок со стороны элиты, было найдено лишь к концу XIX века, и даже оно не гарантировало европейское общество от острых социальных конфликтов. В первой половине столетия ни масштабы европейского господства над внешним миром, ни его экономические механизмы, ни внутреннее устройство самих западных стран еще не давали такой возможности. Напротив, для Франции времен Бонапарта, отрезанной от внешних рынков английской конкуренцией и блокадой, полем экспансии становилась сама Европа.

В таких условиях способом консолидации общества становится патриотизм. Но на сей раз это был патриотизм революционный, нераздельно связанный с идеей перемен и освобождения. Именно в этой форме он овладел умами французов и именно благодаря этому соединению сделался своеобразной «моделью» для множества позднейших национальных движений, включая те из них, которые на самом деле не разделяли его демократического содержания. Идеология, первоначально призванная служить единению «нации» вокруг правящей династии и объединить «государственный интерес» с интересом народа, обернулась лозунгом прав человека и пониманием Отечества как Республики. Лишь став республикой, Франция по-настоящему становится нацией, преодолевая

<sup>71</sup> Н.И. Кареев. Политическая история Франции в XIX веке. СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1902, с. 31.

региональные особенности провинциальной жизни, обретая сознание общей судьбы и истории.

Французская революция положила начало созданию массовых «народных» армий, основанных на всеобщей воинской повинности. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще раньше в Англии и Швеции. При Елизавете I для борьбы с возможным испанским вторжением была создана своего рода территориальная армия. А войска Густава Адольфа в начале Тридцатилетней войны радикально отличались от других европейских армий именно тем, что состояли не из наемников, а из крестьян, призванных на военную службу и объединенных своеобразной религиозно-патриотической идеологией. «Армия нового типа», организованная Оливером Кромвелем, была следующим шагом в этом направлении. Но именно демократические идеи Французской революции позволили создать новую военную систему, с которой на протяжении двух десятилетий не могла справиться ни одна континентальная держава. Сплоченность французских батальонов, вертикальная мобильность, дававшая войскам практически неограниченный кадровый резерв для офицерского корпуса, возникавшая на этой основе близость между офицерами и солдатами, каждый из которых, по словам Наполеона, нес в своем ранце маршальский жезл, наконец, беспрецедентная мобилизационная эффективность, все это делали французскую армию практически непобедимой на протяжении двух десятилетий — от битвы при Вальми в 1792 году до сражения при Бородино в 1812<sup>72</sup>. И только появление в Европе новых патриотических движений, изменивших характер войны после 1812 года, положил конец этой череде французских побед.

Сокрушая феодальные режимы и армии, революционная, а позднее бонапартистская Франция демонстрировала одновременно силу демократического импульса, полученного ее социальной жизнью после свержения Старого режима (импульса, который продолжал работать на социально-культурном уровне даже после того, как демократические завоевания были народом утрачены), и привлекательность идей революционного национализма, подразумевающего не иррациональную любовь к родине («потому что другой нет»), а гордость за собственную

<sup>72</sup> Приходится констатировать, что священная для русского исторического сознания битва при Бородино отнюдь не была победой русского оружия. Тактически закончившись вничью (обе армии остались на своих позициях), она сопровождалась для русских значительно большими потерями, чем для французов, а последующее отступление армии Кутузова и сдача Москвы дали Наполеону основания считать себя победителем. Чего не понял французский император, так это того, что в ходе войны произошел психологический перелом, и русские, с которыми он сражался при Бородино, уже совершенно не те, что были при Аустерлице. Именно этот психологический перелом дает основания справедливо причислять Бородино к списку русских побед.

страну, выступающую носителем принципов свободы и прогресса перед лицом реакционного внешнего мира. Это настроение, отчасти свойственное солдатам Густава Адольфа в начале Тридцатилетней войны или английским морякам, защищавшим остров от иностранного вторжения в начале Семилетней войны, теперь было присуще победоносным французским батальонам.

Французская экспансия казалась в первые годы XIX неукротимой, а армии империи непобедимыми. Но на ее пути встало два препятствия, оказавшихся слишком значительными, чтобы их смог преодолеть даже военный гений Бонапарта. Этими препятствиями оказались Англия и Россия.

Непримиримость, проявленная английским правящим классом по отношению к революционной Франции, ярко контрастирует с упорным стремлением достичь компромисса с восставшими колониями во время американской войны. Разумеется, в случае Франции играли роль и неприязнь к традиционному сопернику, и конкуренция коммерческих интересов. Но было еще что-то, что выходит за рамки этих привычных мотивов. Французская революция оказалась первой со Средних веков народной революцией, когда буржуазия потеряла контроль над политическим процессом. В ходе голландской и английской революций контроль удавалось сохранить, пусть и с большим трудом — диктатура «лорда протектора» Оливера Кромвеля была направлена, по крайней мере, настолько же против аристократической реакции, насколько и против революционных масс (не случайно избирательный ценз в парламенте времен протектората оказался более высоким, нежели во времена ненавистных Стюартов). В Соединенных Штатах отцы-основатели успешно удерживали движение под своим контролем, подавив выступления низов после окончания войны. И лишь во Франции массы вырвались на авансцену политической истории, стихийно повторяя сценарии средневековых народных восстаний. Эта антибуржуазная, по сути, динамика революции сделала английскую элиту непримиримым противником французской республики. И хотя политический контроль буржуазии был восстановлен в ходе термидорианского переворота, а затем укреплен режимом империи, инерция противостояния между Парижем и Лондоном уже набрала мощные обороты.

По мере того как французская буржуазия обретала уверенность в себе, противостояние с Англией подпитывалось возобновлением коммерческого соперничества и борьбы за рынки. Теперь уже агрессивной стороной выступала Франция, стремившаяся вытеснить с континента английский капитал.

Борьба Англии и Франции в начале XIX века начала напоминать знаменитое противостояние «слона и кита». Господство Британии на море уравновешивалось непобедимостью французских армий на суше. Как

замечает Тим Блэннинг, после 1793 года «господство Королевского флота на море было настолько полным, что французская заморская торговля фактически прекратилась» (Royal Navy ruled the waves to such effect that French overseas trade virtually collapsed)<sup>73</sup>. Зато ни одна коалиция, поддержанная на континенте английскими деньгами, до 1812 года не могла одержать верх над Наполеоном Бонапартом и его маршалами. Позднее Адмирал Альфред Тайер Мэхэн описывал наполеоновские войны как столкновение двух больших стратегий — лорда Нельсона и Наполеона<sup>74</sup>. Кульминацией этой борьбы стала битва при Трафальгаре, показавшая, что военные силы наполеоновской империи не смогут вырваться из континентального плена, а Бонапарт не только не сумеет нанести Англии удар через пролив, но и французская буржуазия не сможет вырваться на оперативный экономический простор в глобальных масштабах. После этого у Бонапарта не оставалось иного пути, как пытаться расширять свое господство над континентом, вплоть до того момента, когда его военная машина надорвалась в 1812 году, столкнувшись с народной войной в России и Испании.

Поставив под контроль большую часть континента, Бонапарт пытался удалить с европейских рынков английские товары, перенаправив поставки сырья из Восточной и Центральной Европы во Францию. Эта «континентальная блокада» явилась содержанием наполеоновских войн ничуть не меньше, чем хорошо известные сражения и знаменитые победы французских маршалов. Но именно на этом поприще императору не удалось добиться успеха.

«Своею запретительною системою Наполеон думал не только убить английскую торговлю, но и создать монополию для французской промышленности», — пишет Кареев<sup>75</sup>. Однако не произошло ни того, ни другого. «Французские капиталисты, действительно, бросились производить на весь европейский материк, не приняв в соображение ни того, что постоянные войны подрывали покупательные средства населения всех стран, ни того, что страшное вздорожание продуктов, привозившихся из колоний, само по себе делало их покупку почти совершенно недоступной большинству прежних потребителей, ни того, наконец, что и вне Франции началась усиленная в сравнении с прежним временем фабрикация тех же предметов, производством которых занялись теперь французские капиталисты»<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> T. Blanning. *Op. cit.*, p. 107.

<sup>74</sup> См.: А. Т. Мэхэн. Влияние морской силы на французскую революцию и империю, т. 2. 1802–1812. М. — СПб.: АСТ — Terra Fantastica, 2002.

<sup>75</sup> Н. И. Кареев. Политическая история Франции в XIX веке, с. 61.

<sup>76</sup> Там же.

Незапланированным результатом этой системы стали рост производства и начало индустриализации в большинстве стран континентальной Европы, включая Россию, но для французских промышленников это была скорее плохая новость. Они не могли завоевать новые рынки, с которых оказывались вытеснены англичане — их продукция была дороже местной, ее надо было транспортировать на большие расстояния по плохим дорогам, поскольку морские пути были закрыты. Однако даже там, где имел место промышленный рост, он очень скоро споткнулся об узость рынка. Повсеместно возник кризис перепроизводства. За время правления Наполеона экономические кризисы случались дважды — в 1806 и в 1811 году, каждый раз демонстрируя слабость построенной им «континентальной системы».

Советский историк Тарле очень ярко описывает растерянность и бессилие императора перед лицом этих событий: «Здесь уже не могли помочь ни контрибуции, ни хватание за горло финансовых хищников, ни образцовая отчетность и строгость контроля, ни все совершенство бюрократической машины, созданной Наполеоном. Разразившийся в 1811 году кризис был прежде всего (но далеко не исключительно) кризисом сбыта тех товаров, которые главным образом и составляли предметы торговли и промышленности, обогащавшие Францию. Кому было сбывать знаменитые ювелирные изделия парижских мастерских? Кому было продавать дорогую мебель, над выделкой которых работало чуть ли не три четверти населения Сент-Антуанского предместья? (...) Все эти французские предметы роскоши выдывались не только для внутреннего рынка, но для всего мира, а весь мир для французских товаров оказывался очень сокращенным: Англия отпала, Америка, как Северная, так и Южная, отпала, богачи-плантаторы с Антильских и Маскаренских островов отпали. Вообще отпали все покупатели (богатейшие и многочисленные) из всех стран, отделенных от европейского континента “соленой водой”, потому что на “соленой воде” безраздельно властвовали англичане»<sup>77</sup>.

Британия тоже страдала от экономических кризисов, но военные заказы правительства становились важным подспорьем для промышленности. Между тем Россия и другие страны Восточной Европы, отрезанные «континентальной блокадой» от английского рынка, испытывали сильнейшие трудности со сбытом своего сырья. Деньги стремительно обесценивались, за бумажную ассигнацию достоинством в 1 рубль давали теперь серебром всего 26 копеек. Помещики — до сих пор главные покупатели французских изделий — были разорены как войнами, так и блокадой.

<sup>77</sup> Е. Тарле. Наполеон. М.: АСТ, 2008, с. 233.

Экономическая логика кризиса толкала правящие круги России и Восточной Европы на нарушение блокады, тогда как Франция, заинтересованная в расширении единого континентального рынка, стремилась к неуклонному соблюдению блокады, пытаясь превратить европейский рынок в противовес глобальному. Таким же образом складывались дела и на западной окраине Европы — в Испании и Португалии, для которых господство Франции означало также и фактическую потерю связи с собственными заморскими колониями (и в конечном счете обернулось потерей значительной части их империй).

Контроль над всем континентальным пространством Европы был для Наполеона вынужденной стратегией, которая сделала неизбежной смертельную схватку с Россией как крупнейшей континентальной державой, с которой при прочих условиях император предпочел бы и вполне мог сосуществовать в мире. Вместо этого он оказался заперт со своей армией в горящей Москве, откуда пришлось потом отступать до Парижа.

Планируя поход в Россию, император исходил из прежнего опыта борьбы с русской армией, которая хоть и была для французов тяжелым противником, но постоянно терпела стратегические поражения.

Неспособность спланировать кампанию стратегически отличала всех русских генералов того времени. Даже знаменитый поход Суворова в Швейцарию чуть не закончился катастрофой, и лишь с огромным трудом генералиссимусу удалось отступить, выведя остатки своих (безусловно, героических) войск из ловушки. «Тот факт, что Суворов совершил прорыв в условиях, в которых это было сделать невозможно, — признает военный историк А. Храмчихин, — скрасил для нас очевидное поражение в кампании в целом. Более того, он позволил представить это поражение как невероятную, триумфальную победу»<sup>78</sup>. На протяжении наполеоновских войн большинство сражений между русскими и французами были проиграны царскими войсками или завершились, не дав решительного успеха ни одной стороне, подобно Бородинской битве. Но даже самые большие неудачи, как, например, под Аустерлицем, не приводили к разгрому армии и не заставляли Россию прекратить борьбу. Тильзитский мир Александру I пришлось заключать не потому, что армия потеряла боеспособность, а потому, что Англия, разочаровавшись в перспективах континентальных держав, перестала субсидировать военные усилия Петербурга. Войска, готовые сражаться, у царя были, только кормить и вооружать их было нечем.

Русские историки не без гордости пишут, что царская армия «была единственной в мире, способной воевать с французами практически на

<sup>78</sup> А. Храмчихин. Как Россия освободила Европу. Русская жизнь, 2007, № 17, с. 74.

равных»<sup>79</sup>. На самом деле, конечно, правильно было бы сказать не «в мире», а на европейском континенте. Однако если в случае с британской армией понятно, почему она — будучи порождением наиболее развитого на тот момент буржуазного общества — могла успешно противостоять французским войскам, то как объяснить успехи русских?

Преимущество французских войск после революции определялось изменившейся социальной природой государства и армии, которая стала гораздо более народной, демократичной, а главное — однородной. Именно эта однородность французского пехотного батальона предопределяла победы республики, а потом империи ничуть не меньше, чем полководческий гений Наполеона. Напротив, армии континентальных монархий, состоявшие из бесправных рекрутов, наемников и офицеров-аристократов, принадлежали все еще к другой эпохе — это относилось даже к войскам Пруссии. В Англии, несмотря на сохранявшиеся сословные различия, демократизм военной организации достигался за счет того, что обедневшие представители дворянства уже со Средних веков вынуждены были занимать не только нижние офицерские чины, но и поступать на службу рядовыми, а представители общественных низов, став профессиональными военными, получали престиж и статус, недоступный для них при ином роде занятий. Парадоксальным образом, схожие черты приобрела и русская армия, созданная Петром Великим. Хотя требование Петра, чтобы дворяне начинали службу со звания рядового, никогда на практике не выполнялось, армия оказалась в авторитарной царской империи самым демократическим институтом, каналом вертикальной мобильности. Служба давала право на дворянский титул. Солдат, подобно чиновнику, был одет в европейское платье, тем самым резко поднимаясь над массой крестьян, из которых рекрутировался.

Низший командный и унтер-офицерский состав формировался из представителей социальных низов, приобщавшихся к государственной системе со всеми вытекающими отсюда правами и возможностями. Именно это нижнее звено управления играет решающую роль в любой военной системе. Безымянный русский прапорщик конца XVIII — начала XIX века оказывался хоть и непризнанной, но ключевой фигурой, обеспечившей все триумфы Российской империи.

Владея стратегической инициативой, Бонапарт был уверен в своей способности навязывать всем противникам условия войны и мира. Но по мере того как «континентальная система» выдыхалась, положение дел начинало меняться. Экономический кризис диктовал Франции требования военной необходимости, а попытки решать все вопросы силовым путем вели к катастрофе. Победители Наполеона — князь Кутузов

<sup>79</sup> А. Храмчихин. Цит. соч., 76.

и лорд Веллингтон — четко уловили динамику ситуации, предпочитая придерживаться оборонительной тактики, изматывая противника в ходе тяжелой и бесперспективной для него борьбы.

Между тем революционная и имперская Франция не только одержала победу над феодальными армиями, но и заразила Европу своими идеями, и это тоже самым катастрофическим образом обернулось против политической системы, создаваемой Бонапартом. Одной из ключевых идей нового порядка был патриотизм. Распространив по всему континенту национальное самосознание, французские завоеватели вложили в руки побежденных мощное идеологическое оружие для борьбы против самих себя. Это стало в полной мере понятно во время кампаний 1812–1815 годов, когда неожиданно для себя французские генералы обнаружили, что противостоят им уже не феодальные, а национальные армии, созданные по образу и подобию их собственной, обладающие не только схожей тактикой, но и схожим сознанием. Еще до того как тактические схемы Бонапарта разбились о неколебимую оборону пехоты Веллингтона при Ватерлоо, его стратегия потерпела крах.

Венский конгресс, собранный державами-победителями после падения Наполеона, подвел итог периоду войн и революций, закрепив произошедшие перемены в максимально консервативной политической форме. Но Европа и мир были уже радикально иными, нежели до Великой французской революции, признать это должны были даже монархи и бюрократы, собравшиеся в Вене. Система, которую публицисты конца XX века по безграмотности называли «Вестфальской», на самом деле сложилась лишь на Венском конгрессе. Европа превратилась в сообщество формально равноправных суверенных и независимых государств. И эти государства все в большей или меньшей степени стремились — в подражание Франции — стать нациями.

Технические условия для развития национального государства создал уже европейский абсолютизм своей политикой централизации. Однако новый этап социального и экономического развития требовал консолидировать систему культурно и идеологически.

«Поскольку к середине века все династические монархи использовали какой-нибудь бытующий на их территории язык как государственный, а также в силу быстро растущего по всей Европе престижа национальной идеи, в евро-средиземноморских монархиях наметилась отчетливая тенденция постепенно склоняться к манящей национальной идентификации. Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они немцы, а их кузены с несколько большими затруднениями превращались в румын, греков и т.д.»<sup>80</sup>

<sup>80</sup> B. Anderson. *Imagined Communities: reflections on the origins and spread of nationalism*. London: Verso, 1991, p. 85.



Однако сформировать новую идентичность власти удавалось далеко не всем. На протяжении последующих десятилетий европейские династические монархии с большим или меньшим успехом пытаются решить эту задачу, и неудачи, с которыми они на этом пути сталкиваются, в следующем столетии оборачиваются крушением империй, казавшихся вполне стабильными и «естественными» с геополитической или географической точек зрения. Первой начинает разрушаться под воздействием возникающих национальных движений Османская Турция, затем кризис поражает Австро-Венгрию, а к началу XX века — Российскую империю. Гогенцоллернам, объявившим себя немцами, удалось справиться с проблемой лучше, чем Габсбургам, несмотря на то что этнический состав их подданных тоже был далеко не однороден. Германия, Италия, Испания и другие западные страны в той или иной мере стремятся стать похожими на Францию, но одновременно придать заимствованному оттуда национализму консервативный характер. Во Франции, ставшей образцом национального государства для остальной Европы, также торжествует консервативная трактовка национализма.

Французский национализм все более обращен в прошлое. Воспоминание о былых победах и конфликтах оказывается удобным инструментом для консолидации народа в настоящем. Другое дело, что эта историческая память, культивируемая для решения внутренних задач, не всегда соответствует меняющимся задачам внешней политики. Франция середины XIX века все еще с ностальгией вспоминает Наполеона или — в интересах консервативной консолидации — возрождает культ Жанны д'Арк. А тем временем Англия становится ее главным партнером, покровителем и союзником.

## VIII. Буржуазная империя

Крах Наполеона означал для капиталистической миросистемы конец борьбы за гегемонию, которая велась непрерывно с конца XVII до начала XIX века. Начинаются десятилетия относительно спокойного развития, в котором бесспорно лидирующую роль играет Британия. Ее лидерство никем не оспаривается и не подвергается сомнению, даже если и вызывает у многих недобрые чувства.

В 1856 году, в разгар Крымской войны, лондонский «The Economist» писал: «Все просто. Для своего величия мы не нуждаемся ни в чем, ибо все, что может быть нам нужно, у нас уже есть. И если благодарный мир наконец осознает все значение наших заслуг перед ним и предложит нам какое-либо вознаграждение, вряд ли найдется на всей планете хоть что-то, что нам было необходимо, но еще не принадлежало бы нам»<sup>1</sup>.

Многолетнее царствование королевы Виктории сопровождалось в Британии чувством стабильности, но одновременно было временем динамичного технического прогресса и всеобщей уверенности в неизбежности прогресса культурного и социального. Войны, революции и конфликты вспыхивают то тут, то там, но они уже не приобретают масштабов глобальных потрясений. Либеральное сознание в континентальных странах видит в этих неурядицах лишь признак несовершенства политического или социального устройства отдельных стран, все еще не достигших передового уровня, образцом которого являются Англия и, отчасти, Франция. Викторианская эпоха выглядит на фоне предшествующих и последующих исторических периодов временем благополучия и спокойствия. Европейские империи сотрудничают друг с другом, постепенно становясь глобальными, все подчеркивают готовность следовать нормам международного права, гуманности и цивилизованного поведения.

С того момента, как в ведущих европейских странах установились и стабилизировались новые отношения собственности и сформировалась соответствующая им правовая система, потребность господствующих классов в государственном вмешательстве быстро сокращается. Сложившаяся система институтов позволяет воспроизводить буржуазный порядок более или менее автоматически, хотя все равно приходится регулярно прибегать к насилию, когда общественные низы пытаются выйти из отведенных для них рамок — будь то во время чартистского движения в Ан-

<sup>1</sup> The Economist, 5.01.1856, vol. XIV, No. 645, p. 8.

глии или во время революционных событий 1848 и 1871 годов во Франции. Однако теперь государственное насилие оказывается исключительно консервативным и спорадическим. Его цель состоит не в преобразовании общества, а в его защите от революционных поползновений. Либеральная общественная мысль отводит правительству роль «ночного сторожа», присутствие которого не особенно заметно, пока все идет нормально. Политики Викторианской эпохи вполне согласны с подобным видением своей роли, ведь конструктивно преобразовательные задачи государственная власть — с точки зрения и в интересах буржуазии — уже выполнила.

Другое дело, что подобное ограничение роли государства имеет место лишь по отношению к странам западного «центра», да и то — наиболее развитым. На «периферии», напротив, практика государственного насилия и принуждения к рынку остаются повседневной реальностью.

Поскольку же страны «центра» и «периферии» в мире XIX века связаны между собой политическими структурами империй, сокращение роли правительства в европейских странах вовсе не влечет за собой сокращения его аппарата, уменьшения масштабов его деятельности или снижения его престижа. Напротив, государство продолжает расти и развиваться, но теперь растущая часть деятельности правительственного аппарата направлена вовне — на поддержание, расширение и защиту колониальных империй.

## ИМПЕРИАЛИЗМ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В середине XIX века в Британии традиционная имперская политика, основанная на поощрении монополий и государственном протекционизме, сменилась более либеральным курсом, соответствовавшим рыночным доктринам Адама Смита и его учеников. Либеральные политики середины XIX века превратили политическую экономию, по выражению Бернарда Земмеля (Semmel), «в некое подобие светского священного писания, обладающего авторитетом как моральной, так и научной истины»<sup>2</sup>. Эти перемены отражали новую стадию развития капитализма и изменившееся положение Британии в мировой системе, когда гегемония ее уже никем всерьез не оспаривалась. Однако это отнюдь не означало отказа от внешней экспансии. Не только Британская империя продолжала в эту эпоху расширяться, но и Соединенные Штаты решительно передвигали свои границы на запад, занимая территории индейских племен и захватывая пограничные провинции только что обретшей независимость Мексики. Этот период Бернард Земмель характеризует как «империализм свободной торговли» (*free trade imperialism*)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> B. Semmel. Op. cit., p. 7.

<sup>3</sup> Ibid., p. 4.

Особенность данного этапа в развитии империи состояла в том, что, с одной стороны, правительство заботилось о том, чтобы держать внешние рынки открытыми, причем готово было за это платить определенную цену внешнеторговым партнерам, постепенно отказываясь от протекционистской защиты собственной экономики, а с другой стороны, Лондон не колеблясь прибегал к силе, каждый раз когда где-либо в мире видел угрозу для защищаемой им либеральной системы или своим стратегическим интересам.

Разумеется либерализм самой либеральной из всех мировых империй никогда не был абсолютным. Как отмечает Валлерстайн, считается, что на протяжении «эпохи свободной торговли» по сравнению с Францией и другими европейскими державами «британское правительство меньше регулировало экономику и меньше облагало ее налогами», однако государственные заказы постоянно стимулировали промышленность<sup>4</sup>. Зачастую не невидимая рука рынка подталкивала производство, а само британское государство со своим осторожным и эффективным вмешательством «оставалось невидимым»<sup>5</sup>. В то же время активное вмешательство государства можно описать как «регулирование, главной целью которого является устранение ограничений для рынка» (*a regulation presumably aimed at freeing the market*)<sup>6</sup>. Будет большой ошибкой утверждать, будто правительство никак не влияло на экономику и не вмешивалось в происходящие процессы. Вопросы развития сельского хозяйства, мореходства и многих других отраслей постоянно находились в сфере интересов парламента. На протяжении XVIII века в Англии налоги росли даже быстрее, нежели во Франции.

Психологической и идеологической основой политики свободной торговли было ощущение самоочевидного превосходства Британии в мире — на политическом и военном уровне, но прежде всего в промышленности. Однако на заре индустриальной революции протекционизм в Англии активно применялся, например, для защиты местного текстиля от конкуренции со стороны Индии. Задача облегчалась тем, что одно и то же государство контролировало обе стороны рынка — и экспорт, и импорт. Начало индустриализации в Англии сопровождалось одновременным повышением импортных пошлин на текстиль в самой Британии и открытием рынка в Индии. В 1813 году пошлины на индийский текстиль были повышены на 20%. На ситцевые ткани (*calicoes*) пошлины составили 78%, а на муслиновые ткани (*muslins*) — 31%. Как признавал

<sup>4</sup> *I. Wallerstein. Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s. San Diego: Academic Press, Inc., 1989. p. 19.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 19.

один из авторов викторианской эпохи: «Если бы не эти запретительные тарифы и меры, фабрики Пейсли и Манчестера пришлось закрывать, и даже применение паровой машины их не спасло бы»<sup>7</sup>.

Разумеется, промышленная революция быстро изменила мировую экономику и глобальное разделение труда. Уже в 1793 году производительность ланкастерского текстильщика была в 400 раз выше, чем у индийского ткача. Не удивительно, что после того как в 1813 году свободная торговля была введена в Индии, ее первейшим последствием было крушение местного производства. Если до того Индия имела позитивный торговый баланс с Европой и Англией, то в последующие 20 лет импорт тканей из Британии вырос в 50 раз, а экспорт текстиля в Британию сократился на три четверти<sup>8</sup>. Для самих индийских ткачей это обернулось катастрофой, когда сотни тысяч людей, потеряв работу, просто умирали от голода. Дакка, которая была цветущим центром текстильного производства в XVIII веке, превратилась в город-призрак, за те же 20 лет ее население сократилось со 150 тысяч до всего 20 тысяч жителей.

Индустриальная революция закрепила и упрочила торговое и военное превосходство Великобритании над остальными западными державами. В период между 1760 и 1830 годами Соединенное Королевство обеспечивало две трети прироста мирового промышленного производства. Если к середине XVIII века на долю Британии приходилось менее 2% мировой продукции обрабатывающей промышленности (*manufacturing*), то в первой половине XIX века ее доля выросла до 10%, а к 1860-м годам — до 20%. В Британии выплавлялось 53% мирового железа. На долю страны, где проживало всего 2% населения планеты, приходилось примерно половина промышленного потенциала человечества<sup>9</sup>.

На фоне этого экономического успеха происходит систематическая либерализация экономики. Протекционистские тарифы уходят в прошлое, как и Навигационные акты, ограничения на вывоз промышленных машин отменяются. Но несмотря на то что английская экономика XIX века в целом развивалась под знаком либерализма, споры между протекционистами и сторонниками свободной торговли были важнейшей линией раздела между партиями в парламенте. В то время как либералы-виги отстаивали отмену любых торговых ограничений, консерваторы-тори настаивали на защите местных производителей, в первую очередь — сельскохозяйственных. Если отмена протекционизма и открытие рынков были общей стратегической линией всех сменявших друг друга кабинетов, то на тактическом уровне имели место и протек-

<sup>7</sup> Цит. по: *N. Robins. Op. cit., p. 148.*

<sup>8</sup> См.: *Ibid., p. 148.*

<sup>9</sup> См.: *P. Kennedy. The Rise and Fall of Great Powers, p. 151.*

ционистские зигзаги. Система протекционизма демонтировалась постепенно и очень осторожно, чтобы не спровоцировать слишком серьезных кризисов и конфликтов, способных дестабилизировать политическую и социальную ситуацию.

Утверждение принципа свободной торговли способствовало примирению с Францией.

Далеко не случайно прекращение англо-французского противостояния совпадает с первой волной индустриальной революции. Само по себе военное крушение наполеоновской империи отнюдь не удаляет Францию из европейской или мировой политики. В качестве военной и даже торговой державы она довольно быстро возвращает себе заметное положение на континенте. Но это не приводит, в отличие от предыдущих десятилетий, к конфликту с Англией. Более того, отныне бывшие соперники постоянно выступают в качестве партнеров — и при Наварине, где флоты обеих держав вместе с русскими громят турок, и в Крыму — в войне против России, и в Египте — при строительстве Суэцкого канала, в Китае — во время периодически повторяющихся интервенций, в ходе раздела Африки и, наконец, на полях сражений двух мировых войн.

Произошедшая перемена в геополитике имела под собой вполне понятные экономические причины. Мировой и британский капитализм в очередной раз реструктурируются. В новой ситуации появляется и возможность для компромисса, удовлетворяющего как английский, так и французский капитал. Промышленное лидерство Британии делает ее не только более терпимой к торговой и финансовой экспансии Франции, но и заинтересованной в этой экспансии. Возникает своеобразное разделение труда. Начиная с 1840-х годов французский капитализм развивается в симбиотической связке с английским, заполняя в первую очередь те ниши, которые оставляла свободными британская буржуазия. По мере того как в ходе развития промышленной революции английский капитал перемещается из торговли в производство, во Франции, напротив, наблюдается подъем морской торговли, за которым следует развитие судостроения и ряда других отраслей. Французский финансовый капитал тоже находится на подъеме, активно взаимодействуя с британской промышленностью. Однако, в отличие от предыдущего века, рост французской торговли и кредита не только не вызывает страха по ту сторону Ла-Манша, но, напротив, воспринимается вполне позитивно. Навигационные акты уходят в прошлое, превращая французский торговый флот в основного перевозчика английских товаров. Не удивительно, что это отражается и на политическом уровне. Борьбу сменяет сотрудничество. С середины XIX века Англия и Франция, несмотря на отдельные проблемы, возникающие между ними, выступают единым фронтом в мировой политике — и во время Крымской войны, в Египте и Китае,

Значительная часть внешнеполитических усилий Британской империи была направлена именно на открытие внешних рынков для товаров британской промышленности и, отчасти, других европейских наций. Проводя этот курс, империя без колебаний отправляет свои корабли в самые разные части планеты, приказывая им патрулировать берега Бразилии, бомбить портовые города Китая или штурмовать Петропавловск-Камчатский.

Сторонники либеральной идеологии неоднократно подчеркивали, что свободная торговля и рынок противоречат принципам, на которых строятся империи, но на практике это оказывалось совершенно не так<sup>10</sup>. Принципы свободной торговли доминировали в британской политике вплоть до Великой депрессии 1929–1932 годов, ничуть не препятствуя агрессивному расширению империи. Данный процесс внешне представлялся как бы стихийным — империя росла «не как структура или организм, а как город или лес» (*less like a structure than like an organism, less like a city than a forest*)<sup>11</sup>. Но какие стихийные силы двигали этот процесс? Точно так же как рост леса или, тем более, города, при всей его стихийности, подчиняется определенной закономерности и логике, так и рост империи позволял решать насущные задачи, стоявшие не только перед британским капиталом, но и перед капитализмом вообще.

Роль гегемона в мировой системе предполагает определенную ответственность независимо от того, осознается это правящим классом господствующей державы или нет. Британская элита XIX века эту ответственность сознавала. Поддержание равновесия в системе становится в эту эпоху важнейшей политической задачей, на которую силы государства направлены не в меньшей степени, чем на защиту его собственных «непосредственных» интересов. Другое дело, что стабильность вполне соответствует политическим и экономическим интересам господствующей в мире буржуазной империи.

Время гегемонии оказывается далеко не всегда легким. Ведь империя вынуждена постоянно втягиваться в локальные и региональные конфликты, которые ее непосредственно, казалось бы, не затрагивают.

Усилия империи по поддержанию глобального мира и порядка давали свои плоды. Как замечает российский политолог В.С. Малахов, благодаря британской гегемонии «в течение целого столетия существовал относительный мир». И напротив, «ослабление британской гегемонии в начале XX века привело к дестабилизации международного порядка»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> В качестве относительно нового образца подобной литературы на русском языке см.: Е.Т. Гайдар. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007.

<sup>11</sup> C.F. Lavell, Ch.E. Payne. Op. cit., p. 84.

<sup>12</sup> В.С. Малахов. Государство в условиях глобализации. М.: КДУ, 2007, с. 133.

В этом плане две мировые войны, русская революция, крушение европейских континентальных империй, фашизм и тоталитаризм могут рассматриваться как результаты кризиса гегемонии в капиталистической миросистеме. На уровне идеологии это воспринимается как доказательство «бескорыстия» и особой моральной миссии империи (причем до известной степени данная оценка верна: по крайней мере так формируется самосознание имперского правящего класса). Однако в основе подобной политики все равно лежит собственный интерес, который никогда не приносится в жертву интересам партнеров и союзников, и наивно-цинично принимается за интерес «всеобщий».

«Мировая система, которая сложилась после 1815 года, все более нуждалась в Королевском флоте, взявшем на себя роль международного полицейского, — торжествующе сообщает английский морской историк Артур Герман (Arthur Herman). — Морские пути, скреплявшие между собой различные части Британской империи, стали открыты для других наций, поскольку это соответствовало британскому принципу свободной торговли. Мир и безопасность, которые флот гарантировал британским берегам, теперь обеспечивались им и для других частей света. Личная свобода, ранее являвшаяся привилегией англичанина, сделалась универсальным правом человека, и флот решительным образом положил конец работорговле. Корабли под британским флагом регулярно вмешивались в события, происходящие в разных концах мира, чтобы защитить своих сограждан и граждан других стран от тирании и насилия. Империя, некогда порожденная жадностью, амбициями и насилием, превратилась в основу нового, прогрессивного мирового порядка»<sup>13</sup>.

Этот триумфалистский взгляд историка на прошлое вполне соответствует тому, как видели себя современники, с той лишь разницей, что автор, отдавая дань политической корректности, делает несколько больший акцент на признание темных сторон имперской экспансии. В данном случае, однако, принципиально то, что Викторианская империя воспринимала себя не только в качестве военной или экономической силы, но также и глобальной моральной силы, причем эти претензии признавались значительной, если не большей, частью мирового сообщества (в отличие от аналогичных претензий руководителей США в начале XXI века).

Борьба против работорговли была, несомненно, важнейшим моральным козырем Британской империи в XIX веке. К тому времени экономическое значение рабства было уже существенно меньшим, чем в предыдущие столетия. Политические реформы в Англии и расширение

<sup>13</sup> А. Herman. *Op. cit.*, p. xix. К чести Артура Германа следует отметить, что прославляя борьбу флота против работорговли, честно признается, что именно в этом бизнесе начинали свою карьеру основоположники британской морской мощи, да и вся атлантическая экономика была построена на рабстве.



избирательного права после парламентской реформы 1832 года сделали британскую элиту более чувствительной к давлению общественности, а общественное мнение более ориентированным на демократические ценности. В этот период аболиционистская пропаганда в Британии начинает все более широко распространяться, заставляя правящие круги считаться с настроением общества, а индустриальная революция делает свободный труд более производительным, его воспроизводство становится менее зависимо от косвенной «субсидии», получаемой за счет эксплуатации несвободного труда в странах «периферии».

Прекращение работорговли превратилось в официальный принцип британской политики, дававший, впрочем, хорошее моральное и политическое основание действиям флота, который теперь контролировал океанское судоходство не только в военное, но и в мирное время. Торговля рабами была отменена в британских колониях в 1808 году, а само по себе рабство уничтожено в 1834 году, что немедленно негативно сказалось на экономике: британские колонии стали проигрывать конкурентную борьбу французским, испанским и португальским сахарным плантациям в Вест-Индии, где по-прежнему использовался труд рабов. У англичан не оставалось иного выхода, кроме как использовать принуждение — вплоть до применения вооруженной силы, чтобы заставить своих конкурентов принять новые правила. «Для Королевского флота, превратившегося из господствующей военной силы в полицейскую силу мирового порядка, прекращение работорговли оказалось первым испытанием в новой роли», — констатирует Герман<sup>14</sup>. Усилиями английских моряков перевозка живого товара из Африки в Америку оказалась серьезно затруднена. Однако здесь им пришлось столкнуться с активным сопротивлением завоевавших независимость Соединенных Штатов Америки. Основными импортерами рабов к тому времени были уже не Соединенные Штаты, а Бразилия и Куба. Однако торговые операции активно велись именно американскими судовладельцами. Мало того, что американские корабли продолжали транспортировать рабов, но и флаг США служил прикрытием для всех, кто участвовал в этом бизнесе. «Капитаны судов, принадлежавших другим нациям, защищались от британских обысков, поднимая флаг США. Американские цвета, к возмущению британцев, превратились в прикрытия для португальских, испанских и бразильских работорговцев»<sup>15</sup>.

Несмотря на многочисленные призывы и протесты Лондона, в Вашингтоне твердо стояли на своем. Лорд Палмерстон, возглавлявший в те годы английскую дипломатию, изумленно спрашивал американских

<sup>14</sup> А. Herman. *Op. cit.* p. 419.

<sup>15</sup> R. Kagan. *Op. cit.*, p. 217.

дипломатов, неужели «правительство в Вашингтоне может искренне и сознательно желать, чтобы флаг и корабли Союза продолжал оставаться, как сейчас, прикрытием для злодеев и мерзавцев всех стран, которые безнаказанно совершают деяния, караемые смертью в большинстве стран, включая даже Вашу страну»<sup>16</sup>. На коллег с другого берега Атлантики эти слова не возымели никакого действия. Американские дипломаты объявляли английскую борьбу с работорговлей покушением на свой суверенитет. И лишь в 1862 году, когда в США произошел открытый разрыв между северными и южными штатами, позиция Вашингтона вдруг резко изменилась, а вопрос о суверенитете как-то сам собой снялся с повестки дня. Тогда же пришло и освобождение русских крестьян от крепостной зависимости. В Бразилии рабство было отменено позднее — в конце правления императора Педру II (Pedro II) в 1888 году. «Крещеная собственность» по обе стороны Атлантического океана приобрела формальное равноправие в рамках нового этапа развития капитализма.

Сколь бы велика ни была заслуга Королевского флота в борьбе против рабства, далеко не все его операции имели столь же благородные цели. В те самые годы, когда корабли, патрулировавшие Атлантику, освобождали чернокожих рабов, другие корабли под тем же флагом прикрывали опиумную торговлю в Китае.

Империя постоянно была обречена воевать, защищая, на первый взгляд, чужие интересы. Британский флот то громит турок вместе с русскими под Наварином, то защищает интересы Турции от русских под Севастополем. Солдаты в красных куртках сражаются с непальскими гуркхами в Индии, а потом британские чиновники помогают организации непальской монархии. Империя защищает не только свои интересы, но и общий порядок. Другой вопрос, так ли гуманен и справедлив этот порядок, как представляют его идеологи. Колониальное угнетение и эксплуатация трудящихся являются такой же естественной его частью, как и свобода и уважение к принципам права.

Впрочем, вызов существующей системе очень часто исходит не от угнетенных народов и классов, а от национальных и региональных элит, недовольных своим местом в ней, стремящихся использовать оказавшиеся у них на руках козыри для того, чтобы изменить в свою пользу правила игры и перераспределить мировые ресурсы.

Империя принуждена противодействовать амбициям региональных держав даже тогда, когда последние непосредственно не выступают против нее. Именно этим определяется англо-русский конфликт второй половины XIX века. Сами по себе имперские амбиции Петербурга отнюдь не являются угрозой для Британии — ни в экономическом, ни в геополитическом

<sup>16</sup> Цит. по: Ibid., p. 217.

тическом смысле. Более того, вступая в конфликт с бывшим союзником, Британия подвергает риску свои стратегические позиции в Азии, которые ранее Российская империя надежно прикрывала. Однако стремление Петербурга контролировать все Черное море и нескрываемое намерение разделить Оттоманскую Турцию провоцируют нестабильность, которая чревата непредсказуемым изменением всей мировой расстановки сил.

Напротив, перегруппировка политического пространства в Германии и Италии на первых порах не вызывает у элит Британской империи столь болезненной реакции, поскольку не влечет на первых порах дестабилизации или непредсказуемого изменения ситуации за пределами этих стран.

Попытки царя Николая I прикончить «больного человека Европы», как называли тогда Турцию, привели к первой большой европейской войне со времени поражения Наполеона.

Великобритания и Франция, поддержанные Пьемонтом, выступили на стороне Оттоманской империи, которая воспринималась в общественном мнении Запада жертвой агрессии. Лондонская пресса полна была публикаций о необходимости защищать основы свободного общества от царского деспотизма, хотя деспотизм Султана был ничем не лучше. На самом деле, однако, между Россией и Турцией существовало одно принципиальное различие, о котором говорилось куда меньше: Петербург пытался проводить протекционистскую политику, тогда как Стамбул все более открывал свое экономическое пространство для иностранного коммерческого присутствия.

Зная военную силу русских, британские военные отнюдь не ожидали, что столкновение с царскими армиями будет легким. Однако неожиданно обнаружилось, что основные потери британцам и их союзникам причиняло не сопротивление неприятеля, а некомпетентность собственных генералов и отсталость собственных структур.

Стороны как будто соревновались в некомпетентности. В то время как Королевский флот шел к Севастополю сражаться с русским, царские адмиралы сами затопили свои корабли в бухте города, не сделав ни одного выстрела по неприятелю. После того как англичане неудачно высадили десант в Петропавловске, русское командование приказало взорвать укрепления и эвакуировать крепость — когда англо-французская эскадра подошла к Петропавловску для повторного штурма, она обнаружила, что основная база русского тихоокеанского флота, уничтожить которую их послали, самоликвидировалась. Со своей стороны, англичане прославились самоубийственной акцией под Балаклавой, во время которой легкая бригада кавалерии героически атаковала русские батареи, выполняя неправильно понятый приказ, а потери от морозов и болезней во время осады Севастополя превосходили боевые потери.

Но каковы бы ни были ошибки англо-французского командования, союзники просто не могли позволить себе поражения. Трудности, которые испытывала британская армия в первую кампанию, будучи плохо подготовленной к боевым действиям в условиях суровой крымской зимы, лишь усилили в Лондоне стремление успешно довести дело до конца. В странах континента могло сложиться мнение, что «военная мощь Англии приходит в упадок» (*the military power of England had set for ever*)<sup>17</sup>. Под вопрос был поставлен престиж империи.

Сведения, поступающие с театра военных действий, создавали в английской обществу представление о «превосходной отваге солдат и преступной некомпетентности их офицеров» (*superb gallantry of the soldiers and the criminal incompetence of their officers*)<sup>18</sup>. К тому же пресса подробно освещала каждую ошибку и неудачу собственной армии (в отличие от российской официальной пропаганды, приукрашивавшей положение дел). Шотландский журнал жаловался: «Мир позабыл, что в условиях свободы легче залечить раны, чем скрыть их, и хотя нация ежедневно получала полный список неудач, переживаемых армией, нация ни на минуту не теряла решимости довести дело до победы»<sup>19</sup>.

В таком настроении британская армия и ее союзники с удвоенными силами возобновили натиск на Севастополь весной 1856 года. Но к тому времени, когда англо-французские силы сломали сопротивление защитников города, в Лондоне уже созрело твердое убеждение, что армии необходимы серьезные реформы: «Страна поняла, что героических воспоминаний о Ватерлоо уже недостаточно»<sup>20</sup>. В Петербурге сделали аналогичные выводы, осознав, что армия и держава не могут больше жить славой Бородина. Российское государство вступает в период «Великих реформ».

Для английских элит важным итогом войны стала убежденность в том, что необходимо поддерживать «наш тесный и искренний союз с Францией». Напротив, с Россией надо было как можно скорее налаживать отношения, опираясь на «мудрый и примирительный дух, который демонстрирует правительство в Петербурге»<sup>21</sup>. Этот дух примирения выразился не в последнюю очередь в пересмотре русской таможенной политики, которая из протекционистской превратилась в либеральную.

<sup>17</sup> *The Edinburgh Review*, 1855, vol. CII, No. 208, p. 580.

<sup>18</sup> A. Wood. *Nineteenth Century Britain, 1815–1914*. London: Longmans, 1960, p. 199.

<sup>19</sup> *The Edinburgh Review*, 1855, vol. CII, No. 208, p. 580.

<sup>20</sup> A. Wood. *Op. cit.*, p. 204.

<sup>21</sup> *The Edinburgh Review*, 1855, vol. CII, No. 208. p. 584–85.

## ИМПЕРИЯ В АЗИИ

Походы Клайва привели не к завоеванию Индии англичанами, а к установлению на субконтиненте британской экономической и политической гегемонии. Причем ни сама Ост-Индская компания, ни правительство в Лондоне не воспринимали сложившееся положение как временное или переходное. Заранее составленного плана завоевания не было, как не было и уверенности в том, что надо расширять свои территориальные приобретения.

Новый этап британской экспансии в начале XIX века, как и в середине XVIII столетия, был спровоцирован изменившимися обстоятельствами и страхом потерять достигнутое. Появление Наполеона в Египте вызвало панику среди лондонских политиков и руководителей Ост-Индской компании, опасавшихся, что закрепившись в стране фараонов, французы сделают бросок в Индию. Английским дипломатам в Петербурге было велено договариваться о возможности получить русские войска для азиатской войны, а в самой Индии решено было нанести удар по местным правителям, которые могли бы стать потенциальными союзниками французов. Удержать Египет в качестве плацдарма для колониальной экспансии Наполеон не смог, но к тому моменту, когда это стало ясно, ситуация в Индии изменилась необратимо. Армии под командованием Артура Уэлсли (Arthur Wellesley), будущего герцога Веллингтона, провели серию успешных кампаний против маратхских княжеств и значительно расширили границы британских владений. После этого завоевание шло практически непрерывно, пока вся территория субконтинента не оказалась объединена под властью Компании.

Окончательное завоевание Индии увеличило не только экономические возможности британского капитала в Азии, но и мощь империи. Как отмечает английский историк, «после того как под контролем европейцев оказались военные ресурсы Индии, появилась возможность дальнейшего расширения влияния Запада»<sup>22</sup>. Индийские армии стали важнейшей опорой империи. Уже в 1762 году небольшой контингент сипаев участвовал в британской экспедиции против испанской Манилы, а в течение XIX века индийцы несли службу на всем пространстве империи — в Бирме, в Африке, в Восточной Азии. Они играли решающую роль в британских войнах против Китая. Из Индии прибывали в покоренные и оккупированные страны и администраторы. Чиновники и бизнесмены, специалисты и военные, представители новой индийской элиты не просто служили делу империи, но в значительной мере формировали ее облик, практику, институты, идеологию, повестку дня.

<sup>22</sup> The Political Economy of Merchant Empires, p. 184.

Для Британской империи Индия была не просто колонией, не только самой богатой и густонаселенной территорией, не только «жемчужинной» в короне. Уже к началу XX века Индия по своему статусу напоминала скорее доминионы, чем прочие колонии — другое дело, что она, в отличие от Канады и Новой Зеландии, не имела демократического правительства. Как замечал один из британских авторов того времени, «эта страна, несомненно, давно перестала быть просто колонией, и хотя она, безусловно, зависит от нас, но управляется во многих отношениях как независимая империя»<sup>23</sup>.

Индия представляла собой своеобразный «имперский центр, производивший все то, без чего империя была бы невысказима — людей, товары, идеи. Все это распространялось отсюда. Южная Африка, особенно Наталь, Центральная и Восточная Африка, берега Аравии и Персидского залива, острова Индийского океана, Малайский полуостров, побережье Китая от Гонконга до Шанхая, — все эти регионы попал в орбиту империи, зависели от решений, принимаемых не только в Лондоне, но и в Калькутте, Бомбее, Мадрасе», — пишет историк Томас Р. Меткалф (Thomas R. Metcalf)<sup>24</sup>.

Самым драматическим образом экспансия англо-индийского капитала сказалась на судьбе Китая, когда обнаружилось, что выращиваемый в Индии опиум является чуть ли не единственным экспортным товаром, на который имеется спрос в Поднебесной.

В 1793 году английское посольство привезло в Китай образцы самых лучших достижений европейской науки и цивилизации, но императорское правительство оценило их как «странные и дорогие предметы» (*strange and costly objects*), не представляющие никакого интереса. Китайцы заявили, что они уже «имеют все возможные вещи», а потому «не испытывают нужды в изделиях вашей страны»<sup>25</sup>.

Европа, напротив, нуждалась в китайских товарах, потреблять которые она готова была в возрастающих количествах. После того как чаепитие стало привычной частью образа жизни в Англии и Северной Америке, Ост-Индская компания сделала торговлю данным продуктом одним из важнейших направлений своей деятельности. Единственную конкуренцию поставкам чая из Китая, которые контролировались Компанией, составляли сухопутные караваны, направлявшиеся через пустыню Гоби в Россию. Однако эти поставки были ограничены, и русские купцы не могли серьезно соперничать с англичанами на мировом рынке.

<sup>23</sup> H.C. Morris. *History of Colonization*. London — N.Y.: MacMillan, 1908, p. 255.

<sup>24</sup> *Colonialism and the Modern World. Selected Studies*. Ed. by G. Blue, M. Bunton, and R. Croizier. Armonk & London: M.E. Sharpe, 2002, p. 26.

<sup>25</sup> J. Beeching. *The Chinese Opium Wars*. London: Hutchinson, 1975, p. 17.

Поскольку Ост-Индская компания неспособна была что-либо продать в Китае, ее затраты вынуждены были компенсировать европейские и американские потребители (что и было одним из поводов недовольства в североамериканских колониях). Исправить ситуацию оказалось возможно единственным способом — наладить в Китае поставки опиума из Индии.

Опиум культивировался и применялся здесь для медицинских целей. Уже в начале XVIII века его привозили в Китай, где постепенно распространялось курение опиума, однако в скором времени оно было запрещено императорскими декретами. Другой вопрос, что декреты эти не выполнялись, и в Китай к середине века из Индии ежегодно ввозилось около 1000, а по некоторым данным всего 400 ящиков (chests), наркотика. Несмотря на очередной жесткий запрет, введенный в 1799 году, эта торговля бурно развивалась, достигнув к 1820 году 5000 ящиков. К 1840 годам импорт достиг 40 тысяч ящиков в год<sup>26</sup>. В этом бизнесе наряду с англичанами и индийскими купцами участвовали турецкие производители опиума, португальцы и американцы. Конфедерация маратхов была еще одним, независимым от британцев, источником поставок наркотика в Китай — торговое соперничество между ней и Ост-Индской компанией стало одной из причин конфликта, завершившегося в 1817–1818 годах разгромом конфедерации и установлением английского господства над ее территорией (и ее экспортом). «К 1830 году масштабы продаж опиума настолько увеличились, что ни один другой товар в мире не давал таких торговых оборотов», — констатируют английские источники<sup>27</sup>.

Опиумная торговля привела к нарастающему оттоку серебра из Китая, что, в свою очередь, заставило императорскую казну увеличивать налоги, разоряя крестьян и вызывая недовольство населения. Разрушительные последствия курения опиума для китайского общества отнюдь не были секретом для английских джентльменов, ведущих дела в Азии. Как отмечала газета «Chinese Courier» в 1833 году: «ничто не заставляет китайцев идти на уступки иностранцам в такой степени, как это постоянное, непрекращающееся обнищание страны, происходящее от продажи данного товара»<sup>28</sup>.

В 1835 году очередная попытка китайских властей остановить незаконную торговлю привела к военному столкновению с англичанами. «Опиумные войны» были, конечно, «далеко не только столкновением из-за поставок опиума» (about much more than opium)<sup>29</sup>. Доступ к китай-

<sup>26</sup> См.: А.А. Дельнов. Цит. соч., с. 559.

<sup>27</sup> J. Beeching. Op. cit., p. 39.

<sup>28</sup> Цит.: Ibid., p. 43.

<sup>29</sup> N. Ferguson. Op. cit., p. 167.

скому рынку и контроль над внешней торговлей Поднебесной империи были главными призами, за которые шла борьба.

Открыть китайский рынок для продукции растущей английской промышленности становилось особенно важно на фоне очередного рыночного спада, который разразился в 1836 году. В Лондоне прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько шаткой была его позиция с моральной точки зрения, но экономические выгоды от приобщения Китая к мировой системе были слишком велики, чтобы можно было отказаться от них из-за соображений нравственного порядка. В 1840 году эскалация конфликта, периодически принимавшего насильственную форму, привела к полномасштабной войне.

Китайская армия была к началу XIX века крайне отсталой с точки зрения вооружения, но бюрократическая система Поднебесной империи позволяла мобилизовать и содержать значительные массы дисциплинированных бойцов, что до поры позволяло уравнивать техническое превосходство Запада. Ситуация изменилась после окончательного присоединения Индии к Британской империи. Созданная англичанами индийская армия резко изменила соотношение сил в Восточной Азии. Отныне силы, находившиеся под командованием британских генералов, могли одновременно обеспечить себе и техническое преимущество, и достаточную численность, чтобы взять верх над любой другой армией в Азии.

Как и следовало ожидать, Первая опиумная война завершилась победой британцев, навязавших в 1842 году Поднебесной свои условия мира. В состав британских владений вошел Гонконг, на долгие годы превратившийся в стратегическую базу Королевского флота, торговый форпост и опорный пункт для дальнейшего наступления против Китая. После поражения 1842 года китайская империя все больше приходила в упадок. Под давлением внешних противников и внутренних противоречий она быстро утрачивала свою славу и могущество. В 1850-е годы страну потрясло восстание тайпинов, началась затяжная гражданская война между ними и императорским правительством. Европейские державы пользовались любым поводом, чтобы вмешиваться во внутренние дела Поднебесной. К европейцам вскоре присоединилась и Япония — успехи модернизации в 1860-е годы превратили Страну Восходящего Солнца в серьезную военную силу. Японский империализм формировался и укреплялся, участвуя наряду с европейцами в разграблении Китая.

Вторая опиумная война 1856–1860 годов обернулась столкновением Китая не только с Британией, но и Францией. Китайские порты были открыты для европейской торговли. Вошедшие в Пекин европейские армии подвергли его систематическому разграблению: «с тех пор китай-



ские редкости и безделушки стали неперенным атрибутом европейских буржуазных гостиных»<sup>30</sup>.

В нашествии на Китай приняла участие и Россия, воспользовавшаяся слабостью соседней империи, чтобы навязать ей в 1860 году неравноправный договор о границах. Как признает отечественный историк, «по отношению к Китаю Россия была ничуть не лучше других европейских держав и США»<sup>31</sup>. Разграничение территории шло по китайскому берегу Уссури, а не по середине фарватера реки, так что все острова отошли к России. Уступленные китайцами земли вошли в состав Уссурийского края.

На протяжении второй половины XIX века Китай превратился в объект европейской политики, полностью утратив способность самостоятельно контролировать свои международные связи и отношения. Наибольшую выгоду из упадка Поднебесной извлекла Британия. К 1898 году на ее долю приходилось 82% китайской внешней торговли<sup>32</sup>. Английские предприниматели понемногу проникали и на внутренний рынок Поднебесной — после открытия внутренних провинций империи для иностранных предпринимателей английские суда получили возможность обслуживать там внутренние торговые маршруты.

## РЕКОНСТРУКЦИЯ

Великий русский экономист Н. Кондратьев характеризует период с середины 1840-х по 1870-е годы как время «повышательной волны» в развитии экономики<sup>33</sup>. Однако во второй половине 50-х годов XIX века мировой рынок пережил глубокий кризис, за которым следует волна социально-политических потрясений, ведущих к серьезной реконструкции капитализма.

К концу 50-х годов Британия являлась «мастерской мира» и единственной индустриальной экономикой планеты. Франция из соперника превратилась в партнера, а остальной мир, включая даже динамично развивавшиеся Соединенные Штаты, далеко отставал от Англии. Однако в течение следующего десятилетия в Европе и Америке происходят перемены, радикально меняющие соотношение экономических сил. Оставаясь ведущей державой, Британия утрачивает промышленную монополию. Как ни парадоксально, происходит это при активном содействии самого же британского капитала, который нуждается в новых рынках для сбыта своей продукции. Если до середины века Англия вывозила в первую

<sup>30</sup> А. А. Дельнов. Цит. соч., с. 585.

<sup>31</sup> История Китая. М.: АСТ — Мн.: Харвест, 2005, с. 649.

<sup>32</sup> См.: The Nation, vol. 66, No. 1708, March 24<sup>th</sup> 1898, p. 217.

<sup>33</sup> См.: Н. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989, с. 181.

очередь изделия своей обрабатывающей промышленности, то в теперь на первое место выходит экспорт технологий и оборудования. Если бы этого не произошло, то британское машиностроение просто захлебнулось бы после завершения индустриализации в собственной стране.

Соответственно, меняется и таможенная политика. Любопытно, что в период индустриальной революции британский либерализм распространялся на вывоз и ввоз товаров, но отнюдь не на передачу технологий и экспорт промышленного оборудования (значительная часть английских машин, использовавшихся русскими заводами в середине XIX века, была вывезена нелегально). Во второй половине века попытки ограничить вывоз станков и промышленного оборудования сменяются правильными мерами, стимулирующими именно этот род экспорта.

Статистические данные свидетельствуют о резком изменении структуры британского экспорта на протяжении второй половины XIX века. Если в 1850–1870-е годы британский экспорт рос по всем направлениям, то к концу 1880-х годов вывоз важнейших видов готовой продукции заметно сократился. Потери отчасти покрывались тем, что экспорт машин и промышленного оборудования продолжал расти. Так, например, из Соединенного Королевства в 1854 году вывезли текстильных изделий на 31 700 тысяч фунтов, в 1870-м — в два с лишним раза больше, на 71 400 тысяч фунтов, а в 1887-м — всего на 71 тысячу фунтов. Еще более впечатляющая картина получается с другими видами товаров. Вывоз железа составил 11 700 тысяч фунтов в 1854 году, 111 000 тысяч в 1870 году и 107 100 тысяч в 1887 году, льняных изделий соответственно экспортировали на 5100 тысяч, 10 400 тысяч и 8700 тысяч фунтов, шерстяных изделий — на 10 700 тысяч, 26 600 тысяч и на 24 600 тысяч фунтов. Напротив, вывоз оборудования продолжал расти, более чем удваиваясь каждое десятилетие с 2200 тысяч фунтов в 1854 году до 5300 тысяч фунтов в 1870-м и 12 800 в 1887 году<sup>34</sup>.

Точно так же, как Англия неожиданно и добровольно уступила Франции значительную долю морской торговли, на новом этапе она легко отказывается от промышленной монополии, сохраняя, однако, за собой техническое и экономическое лидерство. Напротив, для остальной Европы и Северной Америки переход от торгово-аграрного капитализма к промышленному дается непросто. Мировая система переживает болезненный период реконструкции, сопровождающийся драматическими переменами в политической, экономической и социальной сферах.

Большинство европейских стран переживает в это время серьезные реформы, порой сближающиеся по своим масштабам с революциями. Ликвидация крепостничества в России, Гражданская война и отмена рабства в США, революция Мэйдзи в Японии, создание первого британ-

<sup>34</sup> Chambers's Encyclopaedia. A Dictionary of Universal Knowledge, London & Edinburgh, 1895, vol. 5, p. 377.

ского доминиона в Канаде, ликвидация Ост-Индской компании и создание Индийской империи под контролем Лондона, Рисорджименто — образование под властью Пьемонта единого итальянского государства, наконец, Австро-прусская и Франко-прусская войны, завершившиеся возникновением Германской империи — все эти события изменили карту мира и соотношение сил в нем. Буржуазное хозяйство становилось индустриальным, сеть железных дорог связывала теперь между собой не только крупнейшие города, но и основные производственные регионы, порождая новую экономическую географию.

Маленькая Бельгия оказалась первой страной на континенте, пережившей индустриализацию. Очень скоро аналогичные процессы развернулись во Франции и Германии, Соединенных Штатах, на севере Италии, в испанской Каталонии и в некоторых регионах России. Этот процесс и сопровождавшие его социально-политические изменения происходили во всех странах, претендовавших в соответствии с критериями викторианской эпохи на звание «цивилизованных». Однако наиболее серьезные последствия для дальнейшей судьбы мира имели перемены, развернувшиеся в Америке и Германии.

В первой половине XIX века с точки зрения развития мирового капитализма Соединенные Штаты представляли собой своеобразную аномалию, совмещая в одном государстве два типа развития — Север был по отношению к миросистеме частью «центра», тогда как Юг развивался по логике «периферии». Однако это отнюдь не мешало элитам рабовладельческого Юга чувствовать себя вполне комфортно и даже демонстрировать агрессивнo-имперские амбиции.

Несмотря на то что в северных штатах рабство было официально запрещено, экономические и политические интересы южан существенно влияли не только на общие американские приоритеты, но и на взгляды и позиции политиков, являвшихся выходцами с Севера. Историк Роберт Кейган (Robert Kagan) подчеркивает, что на протяжении большей части XIX века «рабство определило характер американской внешней политики» (slavery shaped American foreign policy)<sup>35</sup>.

Численность рабов в южных штатах продолжала быстро расти, хотя, конечно, не так быстро, как численность «белого» населения, пополняемого за счет иммиграции. Если в 1790 году в Соединенных Штатах проживало чуть более 3172 тысяч белых, около 58 тысяч свободных «цветных» граждан и 697 тысяч рабов, то к 1820 году население более чем удвоилось, составив соответственно 7862 тысяч белых, 233 тысячи свободных «цветных» и 1538 тысяч рабов. В 1860 году в стране проживало 26 922 тысячи белых, 488 тысяч свободных «цветных» и 3 938 760 рабов<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> R. Kagan. *Op. cit.*, p. 185.

<sup>36</sup> Chambers's Encyclopaedia, vol. 10, p. 380.

Рабовладельческий Юг и промышленный Север имели разные интересы, однако и тот, и другой в равной степени были ориентированы на экспансию. Если Северу были нужны свободные пространства и ресурсы на землях, откуда необходимо было вытеснить коренное население, то плантаторов Юга вдохновляла «мечта о тропической империи» (*Dream of Tropical Empire*)<sup>37</sup>. Удовлетворяя требования Севера, правительство США посылало кавалерию громить индейские поселения к западу от Миссисипи. Ради интересов южан оно шло на войну с Мексикой и портило отношения с выступавшей против рабства Британией.

Этот симбиоз двух экспансионистски ориентированных, но по-разному организованных буржуазных обществ, мог продолжаться до тех пор, пока общая военная сила обеспечивала интересы обеих сторон. Однако к середине XIX века, когда, отторгнув у Мексики Техас и Калифорнию и подавив сопротивление индейцев, американские войска вышли к Тихому океану, континентальная экспансия достигла своих естественных пределов. С того момента противоречия между Севером и Югом начинают стремительно обостряться, завершаясь гражданской войной.

Правящие классы Юга объективно стремились к тому, чтобы превратить США в периферийную империю, подобную крепостнической России. Но буржуазное развитие Севера находилось с данной перспективой в явном противоречии. Дело не в том, что Юг отставал, а в том, что его ресурсы использовались напрямую для развития мировой экономики, и в первую очередь для английской промышленности, вместо того чтобы обслуживать индустриализацию Севера<sup>38</sup>.

Незадолго до начала Гражданской войны техасский сенатор Льюис Уигфолл (*Louis Wigfall*) объяснял английскому журналисту, что индустриальное и экономическое развитие Югу в сущности не нужно: «Мы сельскохозяйственный народ: мы примитивные, но цивилизованные люди. У нас нет городов — а зачем они нам? Мы не имеем литературы — но какой нам сейчас от нее прок? У нас нет прессы — и в этом наше счастье. (...) У нас нет торгового флота, нет и военного флота — ни в том, ни в другом мы не видим никакой необходимости. Вы сами на своих кораблях вывезете нашу продукцию, сами же будете ее охранять. Мы не хотим иметь промышленность, торговать и плодить индустриальных рабочих. Пока у нас есть наш рис, наш сахар, наш табак и наш хлопок, мы сможем в обмен на них купить себе все, что нам потребуется у дружественных наций, и у нас еще останутся деньги»<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 234.

<sup>38</sup> Показательно лицемерие английской политики тех лет: осуждая рабство и критикуя отсталые нравы американцев, британская буржуазия отнюдь не отказывалась от дешевой продукции, произведенной с помощью плантационного труда, а в годы Гражданской войны явно поддерживала южан.

<sup>39</sup> *M. Wagner. The American Civil War: 365 Days.* Abrams, N.Y.: Library of Congress, 2006, p. 22.

Легко догадаться, что элита с такими представлениями о хозяйственной и социальной жизни была совершенно несовместима с динамичным модернизмом американской буржуазии Севера, амбиции и перспективы которой были связаны с индустриальным ростом.

Когда между Севером и Югом разразилась война, в Лондоне не знали сожалеть об этом или радоваться: «британское общественное мнение было глубоко разделено»<sup>40</sup>, — констатирует английский историк А. Вуд. Рабство официально осуждалось, но хлопок... Южные штаты поставляли в Англию 75% используемого там хлопка-сырца «и жизнь каждого пятого англичанина так или иначе была связана с текстильной промышленностью»<sup>41</sup>. Блокада, установленная северянами вокруг побережья южных штатов, немедленно отразилась на английской промышленности. По мнению стратегов американского Юга, это должно было спровоцировать вступление британцев в войну на их стороне. Однако южане, уверенные в том, что их сырье незаменимо, просчитались. Британское правительство приложило энергичные усилия для того, чтобы увеличить производство хлопка в колониях: «к 1863 году поставки с Востока вернули к жизни английские фабрики»<sup>42</sup>.

В данном случае лидеры Юга совершили ошибку, которую 100 лет спустя неоднократно повторяли амбициозные руководители поднимающихся держав «периферии» — переоценивая стратегическое значение своего сырья, они не осознавали, что страны «центра» всегда имеют значительно большее пространство для экономического и политического маневра, чем кажется на первый взгляд.

После победы в Гражданской войне, воссоединив Соединенные Штаты под своей властью, правящие круги Севера не только предприняли на Юге широкомасштабную Реконструкцию, радикально изменив тамошнее общество, но и дали толчок к новому этапу индустриализации, опиравшейся на политику протекционизма и замещения импорта. Ресурсы Юга — как людские, так и сырьевые — были направлены на решение индустриальных задач Севера. Юг на протяжении еще нескольких десятилетий оставался сравнительно отсталой частью страны, но в целом Реконструкция достигла своих задач. Уже в 1895 году современники констатировали: «Юг быстро превращается в процветающее индустриальное общество»<sup>43</sup>. Николай Кондратьев замечал, что после завершения Реконструкции США начинают вовлекаться в орбиту мирового хозяйства «особенно усиленно»<sup>44</sup>. Протекционизм способствовал росту про-

<sup>40</sup> A. Wood. Op. cit., p. 240.

<sup>41</sup> Ibid., p. 243.

<sup>42</sup> Ibid., p. 244.

<sup>43</sup> Chambers's Encyclopaedia, vol. 10, p. 389.

<sup>44</sup> Н. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989, с. 211.

изводства, ориентированного на местное потребление. Консолидация внутреннего рынка США была залогом успеха этих усилий, поскольку величина и емкость «защищаемого» рынка имеет прямое отношение к шансам подобной политики на успех.

В то самое время, когда в Америке разворачивался конфликт Севера и Юга, в Европе встал вопрос об объединении Италии и Германии. На протяжении нескольких столетий политическая раздробленность в обеих странах принималась как должное большинством населения, не говоря уже об элитах, несмотря на растущую критику со стороны демократической и националистической интеллигенции, находившейся под влиянием французских революционных идей. На низовом уровне немецкая и итальянская культурная идентичность превосходно уживалась с местным патриотизмом, который мы особенно хорошо видим во время Семилетней войны, когда оккупированная пруссаками Саксония упорно не желала принимать власть «иностранный» правительства, за что в итоге Дрезден был наказан варварской артиллерийской бомбардировкой.

Однако в конце 1850-х годов ситуация резко меняется. Возникающие индустриальные центры нуждаются в полноценном национальном рынке, чтобы развиваться. Индустриализация в Америке и континентальной Европе происходила на фоне растущего протекционизма. Этот протекционизм был направлен в первую очередь против английского импорта, ограничение которого было важнейшим условием для того, чтобы местное производство начало развиваться, замещая его. Однако это в свою очередь создавало ситуацию, когда шансы на успех имели лишь те страны, которые могли обеспечить своей промышленности достаточно большой «национальный» рынок. Экспансия промышленности и распространение романтического национализма идут в Европе второй половины XIX века рука об руку, другое дело, что идеология, подчиняясь собственным закономерностям, начинает стремительно проникать и в более отсталые регионы континента, заражая их национализмом, увы, не опирающимся на необходимые экономические, социальные и культурные перспективы. Этот национализм быстро приобретает реакционный характер, превращаясь в платформу для консолидации озлобленной мелкой буржуазии и некомпетентной провинциальной интеллигенции.

Со своей стороны правящие круги Пруссии и Пьемонта быстро осознают открывающиеся новые возможности и встающие перед ними исторические задачи. Консервативные бюрократические и монархические круги, ранее смертельно боявшиеся радикальных идей, неожиданно начинают воспринимать их и даже идти на сближение с революционерами. Если в Пруссии канцлер Бисмарк (Bismark), оставаясь идейным консерватором, с легкостью перехватывал идеи социалистов, закладывая

основы первой современной пенсионной системы в Европе, реформируя систему образования и начиная «культурную борьбу» (*Kulturkampf*) против клерикализма, то в Италии граф Кавур (*Cavour*) пошел еще дальше, использовав революционное ополчение под началом Джузеппе Гарибальди (*Giuseppe Garibaldi*) для захвата Неаполя. Как отмечает французский историк Катрин Брис (*Katherine Brice*), представление, будто Неаполитанское королевство было по собственной инициативе завоевано гарибальдийскими «тысячниками», является «сплошной иллюзией». Кавур, не покидая Турина, контролировал ситуацию от начала до конца. «Правительство Турина поддерживало проведение этой военной операции и поставляло оружие войскам исподтишка. Тысячники далеко не были народной армией, в их рядах нашли место преимущественно буржуа в изгнании, выдающиеся деятели, а также представители среднего класса. Освобождение Сицилии больше было делом сицилийской буржуазии, которая долго питала мечты о независимости, и теперь они, казалось, были близки к своему воплощению, нежели крестьян, которых больше заботил вопрос об отмене налога на помол пшеницы. Фактически речь шла о завоевании новых территорий Пьемонтом руками армии под командованием Гарибальди»<sup>45</sup>.

После взятия Неаполя правительство Кавура довольно легко сумело отодвинуть Гарибальди на вторые роли, несмотря на огромную популярность и славу последнего. Армии Пьемонта уже активно вступили в дело, захватывая соседние области. В феврале 1861 года парламент, представлявший большую часть провинций страны, провозгласил пьемонтского монарха Виктора Эммануила королем Италии. Лидирующая роль Турина была предопределена уровнем его промышленного развития: «Внешняя торговля Пьемонта в 1859 году составляла треть внешней торговли всей Италии. Кроме того, здесь были развиты пути сообщения. Сеть железных дорог в Пьемонте в 1859 году достигла протяженности 800 километров и была первой железной дорогой на территории Италии. Перевозки грузов, проходившие через порт Генуи, превосходили в несколько раз количество перевозок Венеции и Неаполя»<sup>46</sup>. Столь развитая транспортная инфраструктура способствовала росту промышленного производства, которое, однако, нуждалось в рынках сбыта и трудовых ресурсах. Процесс объединения страны — Рисорджименто (*Risorgimento*) — решал не только национальные задачи, но и обеспечивал условия для дальнейшего развития туринаской промышленности.

Полноценное объединение Италии затянулось почти на десятилетие, поскольку руководителям нового королевства приходилось лавировать

<sup>45</sup> К. Брис. История Италии. СПб.: Евразия, 2008, с. 412.

<sup>46</sup> Там же, с. 407.

между более сильными державами — Австрией и Францией, каждая из которых в прежние времена имела сильные позиции на территории разделенной страны. Но стремлениям нового королевства сопутствовал успех. Сначала итальянцам удалось при помощи французского императора Наполеона III вытеснить австрийцев из северо-восточных областей и присоединить Венецию, а затем, воспользовавшись поражением французов в войне с Пруссией и крахом режима Второй империи, итальянские войска захватили в 1870 году Рим, сделав его столицей королевства. Объединение страны было закончено, дело оставалось за малым. Как говорил один из политиков эпохи Рисорджименто: «Мы создали Италию, теперь нам предстоит создать итальянцев»<sup>47</sup>. До известной степени та же проблема стояла и в Германии. Прусское чиновничество довольно быстро прониклось романтическими представлениями о национальном духе, но их требовалось подкрепить системой институтов в сфере культуры и образования, не говоря уже о реальной общности политической и социальной жизни.

Принято считать, что Тридцатилетняя война, закрепив раздробленность Германии, задержала создание единой немецкой нации на добрые 200 лет. Однако не менее существенно и то, что многочисленные государства, сохранившиеся на территории Священной Римской империи, были по большей части слишком малы, слишком зависимы друг от друга и не обладали критической массой населения и территории, чтобы на их основе могла успешно формироваться собственная нация. В конечном счете именно такое соотношение сил в Германии стало предпосылкой развития единой культуры, общей экономики и в итоге — общегерманского общества. Буржуазии было тесно в рамках вольных городов и княжеств, она по мере возможности разворачивала свои предприятия на всей территории империи. Известные интеллектуалы и амбициозные чиновники перебирались из одного герцогства или королевства в другое в поисках признания своих заслуг. На этом фоне неизбежно было формирование общего исторического самосознания. В конечном счете именно такое раздробление создавало предпосылки для последующего объединения.

Если бы конфликты XVI–XVII веков закончились разделением империи на несколько более или менее крупных королевств, поглотивших вольные города и мелкие герцогства, то вместо единой немецкой нации могли бы в итоге возникнуть несколько родственных наций (доказательством чему может быть постепенное обособление Австрии и самостоятельное развитие Люксембурга).

Немецкая нация была «открыта» и в значительной мере сконструирована в середине XIX века. Исходной точкой были наполеоновские войны,

<sup>47</sup> Там же, с. 421.



пробудившие национальное сознание, кульминацией стала революция 1848 года, сформулировавшая демократический общенемецкий проект. Однако именно индустриализация середины XIX века стала переломным пунктом, после которого формирование германской нации превращается из культурно-идеологического в практический проект. Германия одновременно становится единой страной и империей, претендующей не только на серьезные позиции в Европе, но и на весомое присутствие в мире, включая заморскую торговлю и приобретение колоний.

Точно так же, как формирование британской империи совпало со становлением капитализма, германский имперский проект стал возможен в эпоху очередной реконструкции капиталистической системы, когда Европа и Северная Америка переживали волну индустриализации. Эти обстоятельства наложили свою печать и на становление культурных традиций общества, и на форму, которую приняла организация государственной жизни. Еще в середине XIX века немец казался самому себе существом мечтательным, непрактичным, склонным скорее к поэзии, чем к практической торговой или промышленной деятельности, считавшейся привилегией прагматичных англичан.

Разумеется, прусская дисциплина была знаменита по всей Европе. Но Пруссия это еще не вся Германия, а прусская военно-бюрократическая организация — еще не все общество.

Как часто бывает в стране, где отсутствие сильного и единого государства ограничивает возможности карьеры для молодежи из «среднего класса», Германия экспортировала специалистов, энергичных и деловых людей, которые предпочитали искать счастья и успеха на Востоке Европы. То же относится и к Шотландии массово поставлявшей военных специалистов и бюрократов в Россию, Польшу и даже Швецию, пока объединение с Англией не открыло для них более широкое поприще в масштабах Британской империи.

На Востоке немец сталкивался с населением еще менее модернизированным, более патриархальным и традиционным, чем в Германии, выступая носителем европейского прогресса и предприимчивости (тем более, что именно в этом качестве привлекали немцев власти Речи Посполитой и Российской империи). Он был преисполнен чувства превосходства по отношению к местному населению, но одновременно на Западе испытывал постоянное унижение и комплекс неполноценности, сталкиваясь с передовым экономическим бытом и политической организацией англичан и французов.

Этот комплекс неполноценности удалось преодолеть во время Наполеоновских войн, но лишь частично. Революция 1848 года, закончившаяся в Германии поражением, лишь усугубила ощущение национальной отсталости. Поэтому победоносные войны Пруссии против Дании,

Австрии и, наконец, Франции были восприняты обществом как долгожданный реванш, возвращающий Германии тот вес и авторитет, которого она была лишена на протяжении столетий. Этот политический успех был закреплен не менее впечатляющими успехами экономической, социальной и культурной модернизации, поощряемой берлинским правительством. Промышленность получила не только рынки и стабильную валюту, но и хорошо образованную, дисциплинированную и добросовестную рабочую силу, над воспроизводством которой неуклонно и систематически трудились власти новой империи.

Для немецкой нации индустриальная революция оказалась таким же объединяющим и формирующим опытом, как социально-политические революции для Англии и Франции. Общегерманские объединения промышленников и представителей деловых кругов возникают еще до того, как появляется единое государство. Показательно, что одним из первых общегерманских союзов было Объединение немецких обществ любителей истории и древности (1852), но вскоре после него появляется Союз производителей алкогольной промышленности Германии (1857), Конгресс немецких экономистов и Горнопромышленная палата (1858), Немецкая торговая палата (1861) и т.д.<sup>48</sup> Вскоре за объединениями предпринимателей начинают возникать и общенациональные профсоюзные структуры. В 1853 году создается Германский таможенный союз, куда отказалась войти Австрия.

Буржуазная модернизация, которая состоялась в передовых странах Европы благодаря успеху революционной борьбы «третьего сословия», оставалась в Германии незавершенной после неудачи движения 1848 года. Однако она была завершена «пассивной революцией» (или «революцией сверху»), проведенной канцлером Бисмарком и прусскими чиновниками, в процессе объединения.

Политическое объединение и индустриальная революция в Германии не только совпали по времени, они представляли собой единый, внутренне неразделимый процесс, в котором все элементы поддерживали и подпитывали друг друга. Массовое перемещение населения из деревни в город, фабричная дисциплина, новые средства связи и транспорта собрали вместе, перемешали выходцев из разных традиционных Земель, подорвали «местный патриотизм» и подавили на бытовом уровне региональные диалекты, окончательно заменив их господством литературного языка Hoch Deutsch.

Эти впечатляющие успехи, однако, были достигнуты под руководством авторитарной прусской бюрократии и в значительной мере благодаря ей. Как отмечают современные немецкие исследователи, подоб-

<sup>48</sup> См.: Краткая история Германии. СПб.: Евразия, 2008, с. 293.

ное противоречие сказалось на всей дальнейшей эволюции страны и ее политической системы: «Результатом этой “революции сверху” была та самая одновременность неодновременного, на которую обращали внимание многие историки: с одной стороны, современное и динамично развивающееся индустриальное общество, вступившее в 1870-е гг. в решающую стадию промышленного переворота, а с другой стороны, традиционная система политического господства, ориентированная на авторитарные принципы и сохранение статус-кво»<sup>49</sup>.

Между тем успехи Италии, создавшей более либеральную систему, оказались куда менее впечатляющими. К 1870 году, когда объединение было закончено, новое королевство оказалось одной из наиболее отсталых стран Запада. Финансовое положение государства было плачевным. По подсчетам английских экономистов, национальный долг, составлявший в 1861 году около 125 миллионов фунтов, вырос к 1895 году до 492 314 300 фунтов, что было особенно тяжелым бременем «в условиях низкой производительности экономики»<sup>50</sup>. Катрин Брис объясняет такое положение дел слабым развитием аграрного капитализма: 60% населения страны обеспечивало себе существование, работая на земле, «состояние сельского хозяйства страны имело очень важное значение, при том что ситуация на местах была крайне безрадостной»<sup>51</sup>. На севере развивался аграрный капитализм, представленный крупными, ориентированными на рынок хозяйствами, но сельские предприниматели страдали от иностранной конкуренции. Напротив, в центральной и южной Италии сохранялись полуфеодалные формы земледелия. Показательно, однако, что итальянское правительство — гораздо более либеральное в своей экономической и социальной политике, чем немецкое, ничего не смогло сделать для ликвидации разрыва между Севером и Югом. Отсталость Юга оставалась важнейшей проблемой, отягощавшей развитие Италии в течение всей последующей истории страны. Разрыв, не преодоленный в XIX веке, пытались компенсировать дорогостоящими правительственными программами 100 лет спустя, но к тому времени само итальянское государство уже было вполне устоявшейся системой институтов, сложившейся под влиянием этой отсталости и двойственности. Потому политика «национальной» бюрократии по отношению к Югу отличалась такой же неэффективностью и коррумпированностью, как и само общество южной Италии.

Последним крупным потрясением эпохи Реконструкции 1860-х годов стала революция Мэйдзи в Японии. Эта странная «революция-

<sup>49</sup> Там же, с. 303.

<sup>50</sup> Chambers's Encyclopaedia, vol. 6, p. 246.

<sup>51</sup> К. Брис. Цит. соч., с. 428.

реставрация», сопровождавшаяся восстановлением власти императорского дома, не была в полной мере оценена европейскими наблюдателями, но по своим масштабам и последствиям оказалась одним из самых радикальных преобразований того времени. После короткой гражданской войны в 1868 году был свергнут феодальный режим сегуната (shogunate), благодаря которому в течение двух с половиной столетий у власти оставалось семейство Токугава (Tokugawa). Под предлогом возвращения императору его номинальной собственности была произведена национализация земли и ликвидированы феодальные вотчины. Новое централизованное государство произвело административную реформу. Вместо ликвидированных княжеств создали префектуры, границы которых принципиально не совпадали со старыми феодальными владениями. Сословия были уравнены в правах. Централизованное государство взялось за организацию армии и флота по европейскому образцу. Происходила стремительная, часто насильственная модернизация быта, управления, образования, крестьянских детей заставляли идти в школы даже принудительно: «расходы правительства Японии на образование равнялись оборонному бюджету»<sup>52</sup>.

Несмотря на ликвидацию сословных различий и создание каналов для социальной мобильности простолюдинов, японское правительство заботилось о том, чтобы привлечь к реконструкции общества представителей старых привилегированных сословий. Новый японский капитализм обеспечивал их лояльность предоставляя им новые возможности в рамках растущего государства. «Трудоустройство самураев оказалось выполнимой задачей, — констатирует российский историк Эльдар Дейноров. — Государство формировало армию, но особенной популярностью среди бывшего феодального сословия пользовалась полиция, которую комплектовали из них (по крайней мере, среднее звено). Образованность самураев дала стране врачей, ученых, преподавателей. Так что, при разумной политике, эти люди вписались в эпоху. Что же до чиновников, вышедших из среды небогатых самураев, то среди них было распространено такое странное понятие, как честность»<sup>53</sup>.

Феодальные традиции там, где появлялась такая возможность, были поставлены на службу модернизации. Укрепляя правительственный аппарат, Япония в течение 20 лет преобразилась в своеобразное, но вполне стоящее в ряду со странами Запада государство. И это очень скоро почувствовали на себе соседние страны Азии, на которые японский империализм обрушился с полной силой, как только такая возможность ему представилась.

<sup>52</sup> Э. Дейноров. История Японии. М.: АСТ, 2008, с. 569.

<sup>53</sup> Там же, 577.

## ПАССИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДИИ И КАНАДЕ

Если объединение Италии и Германии повсеместно приводится в качестве классических примеров «революции сверху», или «пассивной революции»<sup>54</sup>, то процессы, происходившие в тот же период на просторах Британской империи, как правило, вызывают меньше внимания. Между тем в ней происходили схожие перемены.

Самые радикальные преобразования пережила в 1860-е годы Индия, изменившая не только свою политическую, но до известной степени — социальную и культурную организацию.

Толчком к началу перемен стало восстание сипаев, вошедшее в английские исторические книги под названием «индийского мятежа» (Indian Mutiny). Это восстание сипаев, спровоцированное оскорблением религиозных чувств индийских солдат британскими офицерами, происходило на фоне мирового экономического кризиса. Армейский мятеж, поддержанный частью традиционной знати, сопровождался массовым выступлением крестьян против помещиков (заминдаров), являвшихся одновременно представителями Компании на местах. Бунты были не только направлены против британских властей, но и против сложившейся социальной системы, что отнюдь не соответствовало целям и идеологии восставших. Досталось и местной буржуазии, имущество которой подвергалось разграблению. Как замечает Лоуренс Джеймс, «совершенно не ясно, смогли бы повстанцы найти общий язык с взбунтовавшимся крестьянством. Зато сразу стало ясно, что разграбление и уничтожение частного имущества, нападения на банкиров и бизнесменов убедили состоятельную часть населения в том, что у них больше общего с британцами, чем с восставшими»<sup>55</sup>. Парадоксальным образом, «бунт» 1857 года способствовал консолидации союза между колониальными властями и индийской буржуазией. Британский агент в Дели Мохан Лал (Mohan Lal), сообщал что деловые люди независимо от вероисповедания ждали возвращения колониальных войск, вместе с которыми вернутся «британские законы и суды» (British laws and courts)<sup>56</sup>.

Разразившаяся гражданская война сопровождалась многочисленными жестокостями, причем жертвами расправ становились все европейцы, попадавшие в руки сипаев, в том числе женщины и дети. Эти зверства были использованы колониальной пропагандой для обоснования репрессий, причем значительная часть индийского общества была возмущена и напугана не меньше, а даже больше, чем англичане — последние, по крайней мере, могли просто покинуть вышедшую из подчинения страну.

<sup>54</sup> Нелишне напомнить, что именно на основе опыта Рисорджименто Антонио Грамши и сформулировал свою концепцию «пассивной революции».

<sup>55</sup> L. James. Raj, p. 72–73.

<sup>56</sup> Ibid., p. 73.

Несмотря на серьезность угрозы, которая нависла над британской властью в Индии, восстание сипаев продемонстрировало также и наличие серьезной поддержки, которую эта власть имела в стране. Английские имперские историки восторженно описывают «проявления верности» (exhibitions of fidelity) местных правителей и части населения.

В Индии бушевала гражданская война, в которой победа британской администрации была возможна лишь благодаря массовому участию индийцев на ее стороне. Индийские войска продолжали сражаться против своих соотечественников в армии Компании, состоятельные люди жертвовали средства на содержание колониальных войск, снабжали их провиантом и припасами. Многочисленные агенты, далеко не всегда платные, информировали генералов о передвижении противника, подсказывали лучшие дороги, вели отряды по тайным тропам. Особую роль в защите позиций империи сыграли сикхи. «Самоотверженная преданность и отвага, с которой этот народ, лишь недавно завоеванный, шел за нашими знаменами, беспрецедентна в мировой истории. Они продемонстрировали высший образец политической честности и те усилия, которые они прилагали для подавления бунта, грозившего разрушить это мирное общество, являются лучшим доказательством справедливости нашего правления и, в любом случае, силы и мудрости нашей расы»<sup>57</sup>.

Подводя итоги этой войны, имперские историки торжествующе констатировали: «Бунт показал, что Индия не была и, видимо, никогда не будет единой в оппозиции к нашей власти»<sup>58</sup>.

Однако как бы ни успокаивали себя идеологи и пропагандисты, восстание продемонстрировало порочность сложившейся системы управления и наличие в стране массового недовольства. Для того чтобы консолидировать власть империи, требовались радикальные перемены, и они последовали. Политическая реформа, начавшаяся после подавления Мятжежа, радикально изменила структуру и до известной степени даже природу британского владычества. Ост-Индская компания была национализирована, а в 1876 году королева Виктория после некоторых колебаний приняла титул императрицы Индии. Административная практика резко изменилась, а государство, ранее передоверявшее свои функции заминдарам и другим местным посредникам, теперь непосредственно присутствовало на всех уровнях общественной жизни.

Впрочем, несмотря на наведение порядка в управлении, новая администрация не была единой для всей территории Индии. Прямое британское правление было введено лишь на территориях, ранее принадлежавших Компании. Князья и туземные правители сохранили свои владения, но обязаны были подчиняться регулярным британским инспекциям.

<sup>57</sup> W.C. Pearce. Op. cit., p. 209.

<sup>58</sup> G.R. Parkin. Op. cit., p. 210.

Индийская империя должна была восприниматься не только как новая форма организации колониального режима, но как продолжение и восстановление государственности Великих Моголов. Королевская прокламация, провозглашавшая создание нового государства, подчеркивала, что оно будет основываться на «древних правах, нормах и обычаях Индии» (*ancient rights, usages and customs of India*)<sup>59</sup>. Британская администрация действительно руководствовалась в своей деятельности индийскими традициями в том виде, в каком они сложились или сохранились к середине XIX века. Дело лишь в том, что сами эти традиции нормы были уже отнюдь не только плодом древней самобытной истории, но и радикально изменились под европейским влиянием.

Реорганизация административной системы сопровождалась широкомасштабным возобновлением общественных работ, в первую очередь направленных на развитие инфраструктуры — строительство железных и шоссейных дорог, каналов и правительственных зданий. Развитие транспорта сопровождается первыми шагами, ведущими к индустриализации страны, зарождением местного рабочего класса. Во времена Ост-Индской компании железнодорожное строительство было подчинено коммерческим интересам, зависело от частных инвесторов, а потому развивалось слабо. Английские военные, для которых дороги представляли не коммерческий, а стратегический интерес, открыто жаловались, что Компания достигла «столь малого прогресса в материальном развитии Индии» (*so little progress in the physical development of India*)<sup>60</sup>. Теперь заботу о «материальном развитии» взяла на себя непосредственно администрация, достигшая за короткий срок впечатляющих результатов.

Параллельно с усилиями по модернизации инфраструктуры в Индии развернулась, по выражению Лоуренса Джеймса, «революция в образовании» (*educational revolution*)<sup>61</sup>. В период, непосредственно следовавший за восстанием сипаев, было основано пять университетов, которые открывали свои филиалы в разных частях страны. К 1900 году университет Калькутты был самым большим в мире по числу студентов. Высшее образование предоставлялось на английском языке, причем от молодых людей требовали также знания латыни и греческого. С ростом образованного среднего класса получила бурное развитие и пресса, причем не только на английском, но и на местных языках.

Усилия правительства, направленные на увеличение численности индийцев во всех звеньях государственного аппарата, были столь успеш-

<sup>59</sup> Цит. по: *W.C. Pearce. Op. cit., p. 211.*

<sup>60</sup> Цит. по: *L. James. Raj, p. 185.*

<sup>61</sup> *Ibid., p. 344.*

ными, что вызвали беспокойство у «белого» населения. Европейская община Индии, составлявшая в 1860-е годы примерно 62 тысячи человек, стремилась сохранить привилегированное положение, доказывая, что привлечение коренных жителей на правительственную службу или в систему управления железными дорогами будет иметь самые плачевные последствия. Ими была даже создана Англо-Индийская ассоциация по защите прав европейцев (Anglo-Indian and European Defence Association), проводившая шумные собрания, о которых с симпатией сообщали лондонская «Times» и «Daily Telegraph»<sup>62</sup>.

Подобные выступления неизбежно породили ответную мобилизацию образованных слоев индийского общества. В декабре 1885 года в Калькутте прошло первое общее собрание Индийского национального конгресса (ИНК). Он объединил многочисленные небольшие общества и группы, ранее уже действовавшие в разных частях страны. Никому и в голову не приходило, что подобная коалиция может посягнуть на фундаментальные основы британского владычества. Лишь в качестве отдаленной стратегической перспективы участники Конгресса видели предоставление Индии самоуправления, как в Канаде или в «белых колониях» тогда еще не объединившейся Австралии.

На собраниях Индийского национального конгресса королеву Викторию называли не иначе как «Матерью» (Mother), а один из идеологов движения Ачхат Ситарам Сат (Achyut Sitaram Sathe) красноречиво объяснял в любви к Британии: «Образованный индеец лоялен государству и поддерживает его — в этом наши чувства едины с нашим разумом. Английский флаг — наша физическая защита, английская философия — наше духовное пристанище»<sup>63</sup>.

Замирение страны, осуществленное викторианскими администраторами после ликвидации Ост-Индской компании, оказалось столь успешным, что колониальный режим сумел приобрести поддержку в низах общества. Портреты королевы Виктории — своеобразной далекой белой богини — красовались на стенах крестьянских домов. В начале XX века немецкий историк с уверенностью писал, что законом 1858 года «заканчивается самостоятельная история Индии, вошедшей отныне в состав великой Британской империи; все, что произошло там в последующее время, принадлежало уже истории Англии»<sup>64</sup>.

Однако далеко не все были столь довольны ходом дел в Британской Индии. Усилия по модернизации страны ничуть не облегчили положения сельских низов, которые в те самые годы, когда правительство лорда

<sup>62</sup> См.: Ibid., p. 351.

<sup>63</sup> Цит. по: Ibid., p. 352.

<sup>64</sup> Э. Шмидт. Цит. соч., с 293.



Каннинга (Lord Canning) с гордостью рапортовало об очередных успехах, пережили ужасающий голод, унесший по оценкам самих британцев до полумиллиона человеческих жизней<sup>65</sup>. По отношению к этим, пока еще бессловесным, массам образованное общество готово было выступить защитником и покровителем, полагая их лояльность по отношению к себе как нечто естественное. Как говорил один из лидеров Конгресса в 1898 году: «Индийцы, получившие английское образование — это разум и совесть страны, законные выразители интересов безграмотных масс, наша миссия — говорить от их имени и управлять ими»<sup>66</sup>.

Если Индия сделалась к концу XIX века образцом для всех остальных «туземных колоний» Британии, то Канада в тот же период становится моделью для поселенческих «белых колоний», превращающихся в доминионы.

Война 1812 года стала первым канадским «национальным» достижением. Население Канады не превышало 300 тысяч человек против 8 миллионов в Соединенных Штатах, однако канадцы вышли из нее победителями. Имперские историки восхищенно описывают, как местные отряды, состоявшие из англо-канадцев и французов, «сражались бок о бок с равной отвагой», нанеся сокрушительное поражение агрессорам<sup>67</sup>. В ходе войны 1812 года «жители Канады доказали свое право считаться одними из самых патриотичных британских граждан»<sup>68</sup>.

В реальности, однако, все обстояло несколько сложнее. Несмотря на консолидацию общества, вызванную войной против США, английская власть в Канаде отнюдь не всегда опиралась на единодушную поддержку населения. Франко-канадские патриоты под руководством Луи-Жозефа Папино (Louis-Joseph Papineau) требовали расширения автономии и в 1834 году парламент Нижней Канады (Low Canada) направил в Лондон 92 резолюции, требуя предоставления дополнительных прав для провинций Британской Северной Америки. Лондон ответил десятью резолюциями, отвергавшими основные требования канадцев, после чего в 1837 году началось Восстание Патриотов, к которому присоединилась и часть англо-канадцев. Провозглашенная восставшими Республика Канада была быстро разгромлена регулярной армией. Папино бежал во Францию, а многие его сторонники были повешены, но уже в 1848 году он смог вернуться в страну и снова заняться политической деятельностью. За военными успехами и репрессиями как всегда последовали уступки и консолидация. В 1867 году был провозглашен доминион Канада, полу-

<sup>65</sup> См.: *W.C. Pearce*. Op. cit., p. 212.

<sup>66</sup> Цит. по: *L. James*. Raj, p. 352.

<sup>67</sup> *G.R. Parkin*. Op. cit., p. 33.

<sup>68</sup> *Ibid.*

независимое государство в рамках Британской империи. Его статус стал позднее образцом для других стран, получавших самоуправление.

Показательно, что право на самоуправление открыто связывалось с расовой и культурной принадлежностью жителей территории. Имперские идеологи постоянно подчеркивали принципиальное различие между «белыми колониями» и остальными владениями империи. Канада стала образцом для управления в Австралии и Новой Зеландии: поскольку там «население происходит от британцев и европейцев и, конечно, там можно позволить людям самим руководить своими делами. Там где народ колоний принадлежит к другим расам, подобное невозможно...»<sup>69</sup> Причина, разумеется, не в расизме британских администраторов, а в самих туземцах и их культуре. «В Индии людьми управляют. Они к этому привыкли за столетия, задолго до того, как мы взяли в свои руки власть в этой стране. Сколько потребуется времени, чтобы положение дел изменилось, сказать невозможно. На Востоке перемены происходят очень медленно»<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> Ibid., p. 34.

<sup>70</sup> Ibid., p. 229.

## IX. Империализм

Глобальная реконструкция 1860-х годов изменила экономическую и политическую карту мира, но не подорвала господствующего положения Британской империи. Ее могущество оставалось неоспоримым, опираясь не только на военную мощь, но и на ряд экономических преимуществ, которые сохранялись даже в новой ситуации. В эпоху протекционизма размеры «защищенного» рынка становились крайне важным условием для дальнейшего развития, а в этом плане держава королевы Виктории с ее огромными ресурсами, территориальными просторами и многомиллионным населением не имела себе равных. Она была не просто самым большим государственным образованием на планете, но и самым большим интегрированным рынком, доступ к которому был крайне важен и привлекателен для промышленников всех остальных стран. К тому же империя продолжала расти, расширяя свои владения, ставя под свои знамена новые континенты и открывая новые рынки.

И все же происходившие в мире перемены имели для Британии свою негативную сторону. Ее промышленность острее всего ощутила на себе рост протекционизма. Слава бывшей «мастерской мира» уходит в прошлое. К тому же роль глобального гегемона, сопряженная не только с многочисленными выгодами, но и со значительным бременем забот и ответственности, обходится державе королевы Виктории все более дорого. В то время как объединенная Германия, США и Россия постепенно переходили к протекционизму, в Британии на протяжении второй половины XIX и даже в начале XX века сохранялась политика свободной торговли. Эта политика была далеко не оптимальным решением с точки зрения британского предпринимательского класса, а в доминионах и колониях она вызывала открытое недовольство. Однако такова была цена, которую империя должна была платить за роль лидера всего капиталистического мира.

Массовое железнодорожное строительство создает спрос для производителей металла, угольных шахт и машиностроительных заводов, но одновременно ведет к относительному упадку морской торговли и понижает значение военно-морской мощи. Перемещение товаров внутри Европы теперь происходит преимущественно сухопутным путем. Развиваются города, расположенные рядом с залежами угля и металлов, в то время как рост портовых центров замедляется.

К концу XIX века начинает выходить на передний план «социальный вопрос». Индустриальная революция, обогатив британских предпринимателей, разорила рабочий класс острова. Замена людей машинами со-

проводилась массовым ростом безработицы и снижением заработной платы. К середине XIX века положение дел начинает немного улучшаться, но недостаточно, чтобы сгладить вопиющие социальные противоречия, которые становятся тем более очевидными в стране, где свободная печать допускает публичное обсуждение проблемы.

Нищета масс не только создает угрозу социального взрыва, с которой вынуждены считаться сменяющие друг друга либеральные и консервативные кабинеты, но и усугубляет экономические проблемы. До тех пор пока Британия оставалась «мастерской мира», реализация ее продукции была гарантирована внешними рынками. Низкая покупательная способность рабочих в собственной стране не только не являлась проблемой для промышленности, но, напротив, стимулировала динамичное развитие бизнеса, снижавшего издержки за счет заработной платы. Однако по мере того как индустриальная монополия Англией утрачивалась, ситуация менялась. Мало того, что обострившаяся конкуренция из-за низкой покупательной способности трудящихся создавала проблему сбыта в Британии, но и новые индустриальные державы, не могли повторить английский опыт, ибо не имели монопольного положения в мировой торговле.

Развитие глобальной конкуренции превратило «рабочий вопрос» в настоящую головную боль капиталистов — не только потому, что организованный пролетариат претендовал, если еще не на власть, то по крайней мере на политические свободы и экономические права, но и потому, что сама буржуазия не могла уже развиваться, не делая уступок рабочему движению. Проблема, однако, состояла в том, чтобы повысить доходы наемных работников, не жертвуя прибылями капиталиста. Идеологи рабочего движения, обращаясь к становящимся все более популярными работам Карла Маркса, предсказывали революцию. Буржуазия отрицала эти пророчества, ссылаясь на логику эволюционного прогресса, но страшилась их и в глубине души в них верила. Даже те, кто категорически осуждал входящие в моду социалистические идеи, сознавались, что с «социальным вопросом» надо что-то делать. Однако рост заработной платы означал снижение прибылей капиталистов и понижение конкурентоспособности промышленности на внешних рынках. В рамках западной экономики XIX века разрешить это противоречие было невозможно.

### ПОЗДНЕВИКТОРИАНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Трудности, переживаемые мировой экономикой в период 1870–1880-х годов, в последствии получили название «поздневикторианской депрессии». Начавшись в Англии, она постепенно охватывала весь мир от Америки до России и от Австралии до Швеции. «Экономические

основания торжествующей цивилизации были потрясены. После того как целое поколение жило в условиях беспрецедентного роста, мировое хозяйство погрузилось в кризис»<sup>1</sup>.

Строительство заводов, сооружение железных дорог и развитие торговли, все это продолжалось, иногда почти такими же темпами, как и прежде, но цены падали. Масштабы депрессии хорошо иллюстрируются динамикой английского экспорта. Если в 1854 году товаров с Британских островов вывезли на 97 200 тысяч фунтов, а в 1870 году на 199 600 тысяч фунтов, иными словами, за период глобальной реконструкции экспорт, несмотря на все протекционистские барьеры, удвоился, то в 1887 году он составил 221 400 тысяч фунтов — ничтожный рост для столь длительного периода<sup>2</sup>. В 1873–1896 годах уровень цен в Британии упал на 40%, причем, к ужасу предпринимателей, «не было никакой возможности пропорционально понизить заработную плату»<sup>3</sup>. Депрессия сопровождалась нарастанием конфликта между трудом и капиталом, а главное — быстрым ростом самосознания рабочих, которые вступали в профсоюзы, основывали социалистические партии, судились с предпринимателями и бастовали.

Вместе с ценами падали и прибыли. Создавалась ситуация, когда поддержание промышленного роста давалось лишь за счет снижения его рентабельности. Индустриализация привела к ускорению капиталистического развития, росту мощи буржуазии и эффективности производства, но одновременно привела к понижению нормы прибыли во всех ведущих западных экономиках и в глобальном масштабе.

Еще до Маркса экономисты обнаружили тенденцию нормы прибыли к понижению. Либеральные авторы склонны были винить в этом рабочих, которые, требуя повысить заработную плату, принуждали капитал снижать свою долю в общем доходе. Напротив, Маркс показал, что норма прибыли «понижается не потому, что труд становится менее производительным, а потому, что он становится более производительным»<sup>4</sup>. Рост производства ведет к тому, что норма прибыли снижается из-за насыщения рынка, усиления конкуренции при ограниченной покупательной способности трудящихся. Однако главной причиной, толкающей ее вниз, является изменение органического строения капитала, иными словами, необходимость все больше средств тратить на техническое перевооружение производства. По мере внедрения все более дорогой и сложной техники соотношение основного капитала (вложенного в обо-

<sup>1</sup> E. J. Hobsbawm. Op. cit., p. 33.

<sup>2</sup> Chambers's Encyclopaedia, vol. 5, p. 377.

<sup>3</sup> E. J. Hobsbawm. Op. cit., p. 37–38.

<sup>4</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1, с. 263.

рудование) и оборотного капитала (вложенного в эксплуатацию труда) меняется в пользу первого, в то время как прибыль приносит второй. В свою очередь именно эта тенденция к понижению прибыли вызывает периодическую потребность капитализма в новых рынках и отраслях, новых товарах и в привлечении на рынок труда новых масс рабочих, которых можно эксплуатировать более простыми и «дешевыми» методами. «С появлением в жизни людей новых предметов и услуг они становятся частью новых рынков, которые сначала быстро растут, — писал историк Александр Шубин в связи с более поздними кризисами. — Распространение новинок влечет развитие рынков сырья для их производства и эксплуатации, комплектующих, соответствующей инфраструктуры и т.д. Востребовав один предмет, общество выписывает путевку в жизнь и другим. Спрос на автомобиль порождает и рынок автомасел, спрос на компьютер — рынок компьютерных игр»<sup>5</sup>. На первых порах все эти новые рынки демонстрируют очень высокую рентабельность, спрос неизменно опережает предложение. А через взаимодействие с деловыми партнерами прибыль перераспределяется по всей экономике. Иными словами, повышается не только прибыльность отдельных компаний и секторов хозяйства, но и средняя норма прибыли. Таким образом, как замечал Маркс, «те самые причины, которые ведут к понижению общей нормы прибыли, вызывают противодействия, тормозящие это понижение, замедляющие и отчасти парализующие его»<sup>6</sup>.

Беда в том, что потенциал подобной «инновационной волны» через некоторое время исчерпывается, а для следующей волны требуется внешний толчок не только в виде научных и технических открытий, но и в виде социальных изменений, делающих эти открытия востребованными и необходимыми.

Описанная Марксом тенденция провоцирует периодические всплески кризисов и конфликты. Повторяющиеся технологические революции, сопровождающиеся радикальными изменениями в потреблении и образе жизни, дают возможность резко изменить состояние рынка и, оживив его, поднять норму прибыли. А завершение технических революций столь же неизбежно сопровождается кризисами и снижением прибыльности. Именно здесь на помощь промышленному капиталу приходит торговый, создавая новые рынки и открывая для коммерческого использования различные сферы жизни, которые ранее не были коммерциализированы.

Периодически повторяющийся кризис прибыльности в рамках промышленного капитализма предопределяет столь же регулярно повто-

<sup>5</sup> А. Шубин. Великая депрессия и будущее России. М.: Яуза, 2009, с. 9.

<sup>6</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1, с. 261.

ряющийся реванш торгового и финансового капитала, «возвращающегося» в мировую историю в новых и новых формах, вместе с идеологией свободной торговли, открытых рынков и беззастенчивой эксплуатации людей и ресурсов.

Именно это и произошло в ходе «поздневикторианской депрессии». Как отмечает английский историк Э. Хобсбаум (E. Hobsbawm), драматизм глобальной ситуации конца XIX столетия состоял в том, что «наиболее развитые экономики разом почувствовали потребность в открытии новых рынков»<sup>7</sup>.

Между тем торговый капитал не может завоевывать рынки без участия государства, без насилия и принуждения. Необходимость новых рынков в конце XIX века была равнозначна неизбежности новых колониальных войн.

### ГОНКА ЗАВОЕВАНИЙ

Новая волна колониализма, начавшаяся в 1870-е годы, вела к расширению западного мира за счет новых «варварских» территорий, ранее оставшихся без внимания, и давлению на азиатские государства, сохранявшие свою независимость. Колониальная экспансия, продиктованная экономической необходимостью, поддерживалась демографическим перевесом Запада. В Европе XIX века наблюдается явный демографический взрыв. Если к концу XVIII столетия азиаты составляли две трети населения планеты, то в 1900 году, как указывает Э. Хобсбаум, их доля уменьшилась примерно до 55%. В свою очередь, за это же время численность европейцев «по самым скромным подсчетам удвоилась»<sup>8</sup>.

Основным направлением колониальной экспансии стала Африка, рассматривавшаяся европейцами как ничейная территория, которую можно разделить между собой. Захват колоний в Африке до середины XIX века был связан с необходимостью создания якорных стоянок, военно-морских баз и складов. Некоторые историки склонны считать, что в тот период не Королевский флот был инструментом строительства империи, а наоборот, «империя, или по крайней мере, изрядная часть ее, была дополнением к флоту»<sup>9</sup>. Однако ситуация радикально изменилась к концу столетия. Продвижение западных держав в глубь континента часто сопровождалось подписанием формальных соглашений с вождями племен, туземными правителями и царьками, но отсутствие по-

<sup>7</sup> E.J. Hobsbawm. *The Age of Empire, 1875–1914*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987, p. 66.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>9</sup> B. Moore, H. Van Nierop. *Colonial Empires Compared: Britain and the Netherlands, 1750–1850*. Aldershot: Ashgate, 2003, p. 4.

добных договоров никогда не становилось препятствием для экспансии. Лидерами нового колониализма становятся все те же Англия и Франция, однако на сей раз, как и в XVI–XVII веках, в «гонку завоеваний» вступают все европейские страны, обладающие хоть каким-то военным и морским потенциалом. Германия, Бельгия и Италия создают свои заморские империи. Португальские африканские владения продвигаются вглубь континента, Голландия пытается консолидировать и расширить свой контроль над Индонезией, Россия захватывает Среднюю Азию, Япония пытается создать себе плацдармы в Китае и Корее, что ей в конечном счете удастся.

В 1800 году европейские державы претендовали приблизительно на 55% территории планеты, но реально контролировали не более 35%. В 1878 году им принадлежало уже 67% мировой суши, причем на сей раз контроль был уже не номинальным, а реальным. К 1914 году 85% земли входило в состав европейских империй<sup>10</sup>. Численность населения колоний за период с 1876 по 1914 год увеличилась с 314 до 570 миллионов человек, т.е. на 81%<sup>11</sup>. Отчасти, конечно, это достигнуто за счет естественного прироста, но главным образом за счет завоеваний.

Новая волна колониальной экспансии почти не оставляет шанса на самостоятельное существование государствам «периферии». Отныне их независимость обеспечивалась лишь доброй волей великих держав, предпочитающих сохранять их в качестве своего рода буферных зон между владениями основных империй, либо оказывалась «результатом неспособности соперничающих держав договориться о формуле раздела, либо была связана с тем, что территория страны была слишком велика»<sup>12</sup>. К началу XX века в Азии сохранилось всего 4 самостоятельных государства — Персия, Афганистан, Таиланд, Китай, не считая, конечно, Японии, которая сама являлась империалистической державой, и Непала, находившегося под негласным протекторатом Британской Индии. Африка была полностью поделена между европейскими державами, единственной страной, отстоявшей свою независимость, оказалась Эфиопия, с которой не смогла справиться не отличавшаяся особой доблестью итальянская армия. Там, где сохранялась сильная традиция собственного «имперского» государства, колонизация сталкивалась с систематическим сопротивлением.

Порой (например, в Марокко, Малайе, Омане, частично в Нигерии) европейские державы вынуждены были идти на компромисс, сохраняя

<sup>10</sup> См.: *H. Magdoff*. *Imperialism: From the Colonial Age to the Present*. N.Y.: Monthly Review Press, 1978. p. 19, 35.

<sup>11</sup> См.: *В.И. Ленин*. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 27, с. 434.

<sup>12</sup> *E.J. Hobsbawm*. *Op. cit.*, p. 57.



туземное правительство в форме протектората. В таких случаях «туземные» военные силы включались в армии колонизаторов, а бюрократический аппарат строился на основе постепенного сращивания местных традиций с европейскими. В Египте, несмотря на сильное сопротивление общества, англичанам удалось установить свой контроль, навязав стране двусторонние соглашения и поделившись с ней властью в завоеванном с большим трудом Судане. Англо-египетская администрация в Судане стала уникальным примером того, как оккупированная и колонизованная арабская нация выступила формально равноправным участником колониального завоевания.

Напротив там, где не было собственной государственно-политической традиции или она была слаба, ее создавал именно колониализм. Решающую роль, таким образом, играла не техническая отсталость колонизируемых народов, а уровень их политической организации. Серьезные проблемы стали возникать у европейцев в колониях уже после того, как усилиями европейских чиновников и военных в Африке установился государственный порядок, хоть сколько-нибудь напоминавший западный.

Колониальная экспансия Европы представляла собой в конце XIX века активное соревнование основных держав, но происходило это соревнование по определенным правилам. Англия сосредоточила внимание на расширении азиатских владений, сформировав обширное имперское пространство от Западной Индии до Малайи, включавшее Цейлон, Бирму, острова Индийского океана, Сингапур. В Африке британские колонизаторы постепенно продвигались вглубь континента, расширяя свои традиционные плацдармы и стремясь в первую очередь контролировать регионы с хорошим сельскохозяйственным потенциалом, либо пригодные для заселения европейскими колонистами. Франция оккупировала Индокитай и стремилась максимально расширить подчиненное ей физическое пространство в глубине Африки. Бельгия, Германия и Италия захватывали то, что не успели захватить англичане и французы.

Европейские державы своей властью объединили планету в единое политическое, экономическое и даже социальное целое в такой степени, что глобализацию конца XX века можно считать лишь повторением империалистического опыта конца предыдущего столетия. Даже в начале 2000-х годов историки отмечали, что «этот колониальный мир был интегрирован в гораздо большей степени, чем постколониальный мир между 1950-ми и 1990-ми годами, а возможно, даже больше, чем мир сегодняшний»<sup>13</sup>.

В свою очередь европейская жизнь радикально менялась под воздействием колониального опыта. Тысячи и тысячи людей, направляе-

<sup>13</sup> Colonialism and the Modern World. Selected Studies. Ed. by G. Blue, M. Bunton, and R. Croizier. Armonk & London: M.E. Sharpe, 2002, p. ix.

мые в колонии в качестве администраторов, военных, торговцев, а то и просто рабочих, приносили домой сведения об ином, экзотическом и притягательном мире, который не только становился объектам «цивилизующего» воздействия «белого человека», но и сам глубоко менял его сознание. Эдвард Саид (Edward Said) пишет, можно сказать, что колониальная реальность (colonial actuality) присутствовала «в самом сердце жизни метрополий», оказывая влияние на культуру, поведение, нравы Запада. «Британская Индия и французская Северная Африка играли огромную роль в развитии воображения, экономики, политической жизни и социальной повседневности английского и французского обществ»<sup>14</sup>. Это влияние было глубоким и всесторонним. Как отмечает Саид, в Европе конца XIX века «ни одна сторона жизни не осталась незатронутой влиянием империи; экономики жаждали заморских рынков, сырья, дешевого труда и целинной земли, а военные и дипломатические ведомства все больше и больше были заняты защитой заморских владений и поддержанием порядка среди их населения»<sup>15</sup>. Даже после того как колониализм ушел в прошлое, созданную им связь между Европой и ее бывшими колониями разорвать невозможно. «Кто сегодня в Индии или Алжире может с уверенностью сказать, какая часть современной жизни сформировалась под английским или французским влиянием, а какая порождена собственными традициями? Но кто в Лондоне или Париже сможет утверждать, будто жизнь этих имперских центров не подверглась влиянию Индии или Алжира?»<sup>16</sup>

### «НИЗШИЕ РАСЫ»

Идеологическим обоснованием колониализма стало распространение цивилизации. Гуманность и демократизм Запада находили выражение в его техническом превосходстве, которое, в свою очередь, предъявлялось в качестве доказательства превосходства культурного и морального. Достижения европейской цивилизации XVIII–XIX веков были самым убедительным аргументом, а тот факт, что сами эти успехи оказались обеспечены ценой колониального грабежа, рабства и кровопролития, никоим образом не умалял морального превосходства «белого человека».

«Запад, который мы сейчас представляем, его особенные институты — все это возникло на протяжении последнего века или даже полувека»<sup>17</sup>, — признавал Леонард Элстон (Leonard Alston), один из ан-

<sup>14</sup> E. Said. *Culture and Imperialism*. London: Chatto & Windus, 1993, p. 8.

<sup>15</sup> Ibid., p. 7.

<sup>16</sup> Ibid., p. 15.

<sup>17</sup> L. Alston. *The White Man's Work in Asia and Africa*. London — N.Y. — Bombay: Longmans, Green & Co., 1907, p. 11.

глийских имперских публицистов начала XX века. Однако тот же автор, ни минуты не смущаясь, настаивал: «с добросовестностью и твердым пониманием ответственной миссии, которую мы сами на себя возложили, мы должны заботиться о том, чтобы поднять до нашего уровня всех, кого мы сможем поднять, без колебаний и сомнений, как подлинники защитники всеобщих интересов, мы должны управлять планетой, не поддаваясь соблазнам алчности и жестокости, заботясь о том, чтобы наше цивилизирующее влияние проникло в самые отдаленные углы самых диких стран, мы должны направить всех подвластных нам по пути справедливости, и не дать сбить себя с этого пути сомнениями в своей правоте или ложной сентиментальностью»<sup>18</sup>.

Такой подход вполне допускал и даже делал морально необходимыми двойные стандарты, поскольку жесткий авторитаризм по отношению к «варварским народам» был важным условием успеха «цивилизаторской миссии», а демократия «для своих» ничуть не противоречила жесткому контролю над теми, кого предстоит поднять до «своего уровня». Однако между колониальной экспансией и внутренней политикой европейских государств, несмотря на все различия, не было непреодолимой границы. Методы, испробованные в Европе, переносились в колонии и наоборот. Историки отмечают, например, явную связь между политической революционной Францией в Бретани и деятельностью французского военно-административного руководства в Алжире 40 лет спустя<sup>19</sup>. Опыт военных диктатуры авторитарно-централизованной бюрократии, накопленный в Европе, активно переносился в колонии. При этом имперские публицисты постоянно жаловались на трудности, связанные с применением западных ценностей «по отношению к низшим расам» (*in relation to the lower races*)<sup>20</sup>.

Немецкий подход оказался еще радикальнее британского: не связанные необходимостью оправдывать свои действия перед общественным мнением, германские чиновники и военные в Африке стремились не столько поучать «низшие расы», сколько ставить их перед простым выбором: подчиниться или быть уничтоженными. Подобная свобода действий была связана не только со слабостью свободной прессы в Германии, но и с доминирующим в общественном мнении настроением. Немцы, как народ, подвергавшийся раньше дискриминации со стороны более сильных европейских наций, имел теперь право компенсировать себя за счет не знающих цивилизации африканцев. Впрочем, официальные германские документы, пусть и в более грубой форме, повторяют

<sup>18</sup> Ibid., p. 15.

<sup>19</sup> См.: *Colonialism and the Modern World. Selected Studies*. Ed. by G. Blue, M. Buntton, and R. Croizier. Armonk & London: M.E. Sharpe, 2002.

<sup>20</sup> L. Alston. *Op. cit.*, p. 19.

те же тезисы, что и английские или французские. Немецкая политика в Африке направлена на то, чтобы «принести сюда европейскую культуру и порядки»<sup>21</sup>. Однако для капитала политика открывает «возможность значительных прибылей»<sup>22</sup>. Эта замечательная перспектива — насаждать цивилизацию и еще на этом хорошо зарабатывать, осложнялась лишь наличием значительного риска, связанного с деятельностью в колониях. В связи с этим основанное в 1884 году Немецкое колониальное общество (*Gesellschaft für Deutsche Kolonisation*) требовало от правительства дополнительных средств и гарантий для поддержки бизнеса.

Не менее жесткой была и колониальная практика в Конго, прикрывавшаяся на первых порах демагогической пропагандой о гуманном управлении страной со стороны бельгийского короля Леопольда. Разоблачение этой пропаганды, катастрофически контрастировавшей с реальным положением дел, вызвало в Европе большой шум, заставляя многих задуматься о добросовестности западных цивилизаторских претензий вообще. На таком фоне британский колониализм выглядел, если не более гуманным, то, по крайней мере, более честным.

Разумеется, в самих европейских странах далеко не все одобряли колониальную практику и идеологию. Однако большинство викторианских критиков имперской политики были недовольны скорее методами ее реализации, нежели ее целями. Так, либеральные политики XIX века, вошедшие в историю под именем «колониальных реформаторов» (*Colonial Reformers*), отнюдь не были сторонниками деколонизации и противниками империи. Напротив, они выступали за такую реорганизацию имперской системы, которая могла бы в большей степени соответствовать интересам изменившейся британской буржуазии. В соответствии с их представлениями, систематическая колонизация «должна была бы проводиться частными компаниями, ради прибыли»<sup>23</sup>. Их требование защитить колонии от вмешательства из Лондона на практике выражалось в противодействии попыткам британских властей оградить права маори — коренного населения Новой Зеландии, систематически вытеснявшихся белыми со своих земель. Во имя свободы торговли радикальные реформаторы поддерживали и Опиумные войны против Китая.

Более радикальные авторы ратовали за превращение империи в «федеративный союз наций» (*the company of nations federated*), добиваясь создания имперского федерального совета и принятия конституции<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> O. *Arendt*. Ziele deutscher Kolonialpolitik. Berlin: Verlag von Walter & Upolant, 1886, S. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, S. 29.

<sup>23</sup> B. *Semmel*. *Op. cit.*, p. 205.

<sup>24</sup> *The Federation of British Empire*. London: Gibbs, Shallard & Co, 1886, p. 14.

Некоторые даже пророчески заявляли, что империя должна выбрать один из двух путей: «либо мы движемся к федерации, либо к распаду»<sup>25</sup>.

Некоторые шли так далеко, что заявляли: «социализм... вполне соответствует принципам, на которых должна быть построена Федерация»<sup>26</sup>. Однако реформаторы, подробно останавливаясь на отношениях Британии с Канадой, Австралией и Ирландией, в лучшем случае обходили молчанием вопрос о будущем статусе Индии. Получит ли она равные права в подобной федерации? Разумеется, нет. Это настолько самоочевидно для авторов того времени, что вопрос даже не формулируется. Зато федерализацию империи связывали с ирландским вопросом — подобная система «устроит самым лучшим образом и ирландцев, и империю в целом»<sup>27</sup>.

Отсутствие упоминаний об Индии говорит само за себя — демократия и федерализм были предназначены только для белых людей, говорящих по-английски. Те же авторы, которые говорили о преимуществах социализма, заявляли: «Индией мы обладаем, мы удерживаем ее и мы намерены удерживать ее дальше, защищая свое господство там со всей энергией и силой, на какую мы способны»<sup>28</sup>. Другое дело, что сами индийские элиты того времени вполне склонны были вписаться в подобную перспективу, создавая своего рода «второй эшелон» федерализации. К началу XX века схожие настроения получили развитие и в Африке.

Напротив, идея имперской федерации не получила ожидаемой поддержки в доминионах, которые предпочитали расширять свою автономию в рамках империи. Идеи реформаторов-федералистов оказались преждевременными для XIX века, не получив должной поддержки на периферии империи, элиты которой в целом были удовлетворены сложившимся положением, а спустя несколько десятилетий, когда ситуация изменилась, были благополучно забыты и вытеснены новыми политическими концепциями.

Не было однозначной позиции по колониальному вопросу и среди левых. По мнению Бернарда Земмеля, Маркс «явно предпочитал Британскую империю всем остальным»<sup>29</sup>. Разумеется, автор «Капитала» не

<sup>25</sup> Centurion. An Essay on Practical Federation. London: Hatchards, Piccadilly, 1887, p. 37.

<sup>26</sup> P. Ross. Federation and the British Colonies. A Paper of Suggestions. London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1887, p. 29.

<sup>27</sup> G. Ferguson Bowen. The Federation of the British Empire. London: Unwin Brothers, 1886, p. 8.

<sup>28</sup> P. Ross. Op. cit., p. 6.

<sup>29</sup> B. Semmel. Op. cit., p. 210. В этом плане было бы любопытно сравнить статьи Маркса по индийскому вопросу с выступлениями Эдмунда Бёрка против Гастингса. Если Бёрк понимает, что права человека универсальны, то для Маркса

был сторонником или апологетом британского колониализма, но он видел сложность и противоречивость исторического процесса, указывая на социальный и экономический прогресс, который стал возможен благодаря успехам Британии.

Энгельс весьма осторожно высказывался о перспективах деколонизации. Когда Карл Каутский в переписке с Энгельсом высказал мысль, что и для английского пролетариата, и для Индии было бы взаимно выгодно, если бы Индия сохраняла связь с Британией<sup>30</sup>, он получил в ответ следующее рассуждение: «Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще: то же самое, что думают о ней буржуа. Здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и либерально-радикальная, рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии, ее монополией на всемирном рынке. По моему мнению, собственно колонии, то есть земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Австралия, все станут самостоятельными; напротив, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские португальские, испанские владения, пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности. Как именно развернется этот процесс, сказать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже весьма вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться, причем, разумеется, дело не обойдется без всяческого разрушения. Но подобные вещи неотделимы от всех революций. То же самое может разыграться еще и в других местах, например, в Алжире и в Египте, и для нас это было бы, несомненно, самое лучшее. У нас будет довольно работы у себя дома. Раз только реорганизована Европа и Северная Америка, это даст такую колоссальную силу и такой пример, что полувцилизированные страны сами собой потянутся за нами; об этом позаботятся одни уже экономические потребности. Какие социальные и политические фазы придется тогда

---

очевидно, что сама идея «прав человека» есть результат буржуазных революций, капиталистического развития и порожденной ими идеологии Просвещения. Поэтому автор «Капитала», никого не оправдывая, совершенно чужд морализаторства. Вопрос для Маркса состоит не в том, чтобы ссылаясь на преступления и несправедливости, органически порождаемые господством капитала, отрицать сам факт достигнутого капитализмом исторического прогресса, а в том, чтобы вслед за тем показать, что капитализм по своей природе не может обеспечить прогресс иным способом, а сама его способность выступать в качестве прогрессивной преобразующей силы исчерпывается в ходе исторического развития. Пресловутое «творческое разрушение» (creative destruction), открытое Шумпетером, превращается на определенном историческом этапе в обычное разрушение без всякого творчества.

<sup>30</sup> См.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 35, с. 443.

проделать этим странам, пока они дойдут тоже до социалистической организации, об этом, я думаю, мы могли бы выставить, лишь довольно праздные гипотезы. Одно лишь несомненно: победоносный пролетариат никакому чужому народу не может навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы. Разумеется, этим не исключаются никоим образом оборонительные войны различного рода»<sup>31</sup>. Как видим, позиция Энгельса здесь достаточно двойственная и она не исключает возможности сохранения связи между метрополией и колониями даже после победы революции, тем более что «оборонительные войны» могут быть и борьбой прогрессивного пролетариата метрополии против реакционных колониальных элит, выступающих под «национальными» лозунгами. Все эти проблемы встали перед советской Россией после революции 1917 года, и политика большевиков по отношению к бывшим царским колониям в Средней Азии в очень большой степени соответствовала представлениям Энгельса о том, что должен делать пролетариат, унаследовавший империю от старого правящего класса.

В XX веке общий рост антиимпериалистических настроений, захвативший не только левых, но и значительную часть либеральной интеллигенции, привел к резкой переоценке колониального опыта, который интерпретировали — выворачивая наизнанку формулы официальной идеологии прошлого — в исключительно негативном плане. На смену имперской пропаганде и легендам о «миссии белого человека» пришло упрощенное понимание колониализма, просто как завоевания и принуждения. Восторжествовала мелкобуржуазная политкорректность, заменяющая попытки проникнуть в суть явления осуждением и запретами. Критический анализ колониализма оказался не востребовавшимся, поскольку отношения правящих и управляемых, европейцев и не-европейцев, «белых» и «цветных» были сведены к отношениям господина и раба, насильника и жертвы, к простому противопоставлению двух миров<sup>32</sup>.

В подобном повествовании доминирует морализаторство и полностью игнорируется сложная социально-политическая иерархия колониального мира, важнейшим элементом которой были местные («туземные») элиты. Лишь позднее, когда иллюзии, связанные с деколонизацией, отошли в прошлое, а новые независимые государства продемонстрировали свою способность обслуживать интересы международного капитала более жестко, цинично и ревностно, чем прежние колониальные администрации, среди историков и социологов стал утверждаться более критический взгляд на проблему.

<sup>31</sup> Там же, с. 297–298.

<sup>32</sup> В этом плане особенно характерны работы Франца Фанона (Frantz Fanon). См.: *F. Fanon. Peau Noire, Masques Blancs*. Paris: Editions du seuil, 1952.

На самом деле колониальный мир, сложившийся к концу викторианской эпохи, представлял собой гораздо более сложное и противоречивое образование: «имперский контроль всегда зависел от того, насколько колониальная администрация окажется способна сотрудничать с влиятельными группами местного общества. Обе стороны всегда прилагали массу стараний, чтобы достичь подобного взаимопонимания»<sup>33</sup>.

Численность европейцев в Тропической Африке была невелика, точно так же как незначительной она была и в азиатских странах — по отношению к численности местного населения. Построение государства европейского типа, проникающего в повседневную жизнь и непосредственно присутствующего на низовом уровне, требовало многочисленного административного, полицейского и военного персонала, не говоря уже о юристах, нотариусах, переводчиках, почтовых служащих, технических специалистах и менеджерах. Систематическая подготовка местных кадров была главной заботой и главной головной болью всех колониальных администраций, и от качества подобных кадров зависела эффективность управления территорией. Со своей стороны «туземные» кадры всегда могли прибегнуть (и нередко прибегали) к бюрократическому саботажу, когда сталкивались с совершенно неприемлемыми или некомпетентными инициативами европейцев.

«Имперская политика проводилась в жизнь тысячами жителей колониальных стран, сотрудников, агентов, чиновников и солдат, — писал историк Кевин Рейли (Kevin Reilly), — очень часто амбиции колонизаторов разбивались о сопротивление безымянных «туземцев» и посредников, включая юристов, обученных в европейских университетах и использующих свои знания против европейцев. К тому же не было и единой имперской политики. Скорее, мы видим разногласия. Между дипломатическим ведомством и колониальными губернаторами, между политиками и чиновниками, ответственными за осуществление этой политики... То же самое можно сказать и про другую сторону, если вообще здесь можно говорить о двух сторонах. Для одной части колонизованного населения проводимая политика была репрессивной, для других — прогрессивной. Колонизованный народ одной территории (как например сикхи) может участвовать в установлении колониального режима в другой стране...»<sup>34</sup> Правила игры на протяжении истории колониальных империй неоднократно менялись: «в колониальном “проекте” или “предприятии” ничто не было предопределено заранее, все менялось по ходу дела»<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> A. N. Porter, A. J. Stockwell, ed. *British Imperial Policy and Decolonization, 1938-64*. London: Macmillan Press, 1987, vol. 1, p. 5.

<sup>34</sup> *Colonialism and the Modern World. Selected Studies*, p. vii-viii.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. viii.



В конечном счете задачи колониализма были экономическими. Потому и национальный гнет, и либерализм, и поощрение промышленного развития, и строительство транспортной инфраструктуры, и меры по распространению просвещения, и полицейские репрессии, все это так или иначе было связано с решением главной задачи — интеграции новых территорий глобальной «периферии» в капиталистическую миросистему.

Внедрение капитализма в новых колониях происходило медленно и наталкивалось на пассивное сопротивление туземцев. Особенно сложно было создать рынок труда. «В первоначальный период колониализма нигде в Африке туземцы добровольно не нанимались на работу. Мысль об оставлении своего родного поселка, земли, находящейся в собственности родовых групп, ради того, чтобы отправиться зарабатывать деньги, которым туземец не знал цены, в места, находящиеся на значительном расстоянии от родного дома, не представлялась тогдашнему африканцу ни правильной, ни справедливой»<sup>36</sup>. Для того чтобы приобщить население к рынку труда, колониальное государство вынуждено было прибегать к различным формам принуждения, начиная от более жестких в немецких колониях и бельгийском Конго, заканчивая более мягким в британских владениях, где туземцев побуждали зарабатывать деньги, облагая их налогами. И все же лишь к концу колониального периода можно было говорить о том, что подобные усилия завершились успехом, по крайней мере, в ряде африканских стран. А между тем европейский капитал продолжал нуждаться в экономическом пространстве, которое, как выяснилось, росло гораздо медленнее, чем физическое пространство, занимаемое колониями.

Викторианская эпоха завершалась под гордые разговоры о мире и прогрессе, в которых все более слышались скрытые ноты сомнения. Весь земной шар был разделен между ведущими европейскими державами, к которым присоединились Соединенные Штаты. Свободных пространств для экспансии на планете больше не оставалось, а капиталу по-прежнему было тесно. На первый план выступали противоречия между самими западными империями.

## ТЕОРИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА

К концу XIX века многие исследователи заметили, что с капитализмом происходит что-то, заставляющее говорить о новой фазе его развития. Особенно остро дискуссия охватила сторонников социал-демократии. Общество и экономическая система изменились по сравнению с тем, что анализировал в «Капитале» Карл Маркс, появились новые факты, нуждающиеся в теоретической трактовке и понимании.

<sup>36</sup> История, социология, культура народов Африки, с. 265.

Мировые империи достигли небывалой военно-политической мощи, а капиталистические фирмы превратились в глобальные корпорации, подчиняющие себе жизнь сотен тысяч и даже миллионов людей. Эти компании по-прежнему были связаны с той или иной страной, правительство которой ревностно защищало их интересы, но сами эти интересы уже стали глобальными, охватывая самые разные страны и континенты. Заморские инвестиции были не менее важны, чем завоевания, а кредит европейских банков становился доступен в самых отдаленных и «варварских» уголках планеты.

Рынок свободной конкуренции уходит в прошлое даже там, где правительства придерживаются либеральных экономических принципов. Конкуренцию устраняет не протекционизм, а концентрация и монополизация капиталов. Логика накопления подчиняет себе логику рынка. Крупные корпорации продолжают соперничество между собой, но эта борьба радикально отличается от конкуренции небольших фирм, характерной для капитализма XVIII и большей части XIX века. Решающую роль на рынке играет уже не индивидуальный покупатель, а инвестор, формирующий спрос. Компании сражаются не за потребителя, а за доли рынка и сырье.

Разумеется, все эти явления были известны с самого начала существования капитализма. Если бы не было крупных капиталов и соперничества между ними, не было бы и войн, политических и социальных потрясений, определивших лицо Европы к началу XX столетия. Точно так же задолго до этой эпохи были известны монопольные компании, международный кредит и корпорации. Однако концентрация производства сделала возможными и неизбежными монополии нового типа, объединяющие производство и торговлю, централизованно организующие процесс добычи сырья, его транспортировки и переработки. Конкуренция капиталов оказывается несравненно важнее, чем конкуренция товаров. Если в первой половине XIX века ряд крупнейших компаний возвышался над массой средних и мелких как вершина айсберга, то теперь концентрация капитала достигает такой степени, что мелкий и средний бизнес полностью оказывается подчинен крупному, выживая в нишах, заранее ему отведенных самими же монополиями.

Сочетание производственной концентрации с формальным соблюдением требований свободной торговли на практике увеличивало способность корпораций контролировать рынок. Фигура индивидуального капиталиста, собственника, ведущего дела семейной фирмы, уходит в прошлое. И даже там, где компании остаются в руках семьи, управление ею превращается в сложный бюрократизированный процесс. Государственная и корпоративная бюрократия развиваются в тесном симбиозе, обмениваясь кадрами и обслуживая друг друга.

Английский экономист Джон А. Гобсон (John A. Hobson) был первым кто описал новое состояние капиталистической системы, определив его как эру империализма. Этот термин активно подхватили и наполнили новым содержанием марксистские авторы — Рудольф Гильфердинг (Rudolf Hilferding) и Н.И. Бухарин, а затем В.И. Ленин опубликовал свою знаменитую книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Задним числом многие считали работу Ленина вторичной. Так, английский экономист Энтони Брюер (Anthony Brewer) полагает, что «она почти ничего нового не дает для развития теории империализма»<sup>37</sup>. Все основные ее идеи можно обнаружить у Гобсона, Бухарина, Гильфердинга или в работах Розы Люксембург. Однако не случайно, что именно короткая книга Ленина оказалась классическим марксистским текстом об империализме, значимым даже для историков и экономистов, чуждых марксистской традиции. И дело тут не только в политическом значении, которое приобрела фигура Ленина задним числом, когда он из теоретика-эмигранта превратился в лидера русской революции (в конце концов множество других, порой более оригинальных текстов Ленина были преданы забвению), а в очевидных достоинствах его работы.

Безусловно, не Ленин «открыл» империализм и не он первым сформулировал его основные черты и признаки. Но именно он суммировал и систематически обобщил работу проделанную до него другими авторами, превратив чужие теоретические открытия, наблюдения и комментарии в стройную аналитическую систему, позволяющую понять и объяснить происходящие в мировом капитализме процессы. Четкие и простые определения Ленина закрепились в общественном сознании и марксистской теории, превратившись в базовую идеологическую доктрину левого движения XX века.

Ключевым тезисом Ленина является существование тесной связи между монополизацией капитала и колониальной экспансией: «Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял империализм. Но “общие” рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в пустейшие банальности или бахвальство, вроде сравнения “великого Рима с великой Британией”. Даже капиталистическая колониальная политика прежних стадий капитализма существенно отличается от колониальной политики финансового капитала»<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> A. Brewer. *Marxist Theories of Imperialism*. London & N.Y.: Routledge, 1989, p. 116.

<sup>38</sup> В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 27, с. 379–380.

Новый империализм, согласно Ленину, представляет собой специфическую форму организации капитализма, возникшую к концу XIX столетия и резко отличающуюся от предшествующей экономической, социальной и политической модели. Ленин определил империализм следующим образом:

«1) Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого “финансового капитала”, финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами»<sup>39</sup>.

Финансовый и промышленный капитал все более сражаются, банки уже не только предоставляют кредит производству, но и непосредственно контролируют его, частные фирмы превращаются в многосторонние деловые империи, тесно связанные с правительством.

Характеризуя империализм в первую очередь как монополистический капитализм, Ленин неоднократно подчеркивает, что «свободный рынок все больше уходит в область прошлого»<sup>40</sup>. Однако в то же время Ленин постоянно связывает империализм с обострением и ужесточением конкуренции: «Чем выше развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний»<sup>41</sup>. Объяснение этому кажущемуся противоречию состоит в том, что на место состязания мелких производителей, стремящихся привлечь потребителя, приходит борьба за раздел рынков и ресурсы, борьба, которая невозможна без участия государства и не исключающая применения протекционистских мер. Иными словами, наступает время силовой конкуренции.

На самом деле силовая конкуренция имела место с самого начала развития капитализма точно так же, как и протекционизм. Напротив, свободный рынок был в истории капитала скорее эпизодом, определенным этапом, хотя, естественно, далеко не случайным и в ходе истории неоднократно повторяющимся. Силовая конкуренция начала XX века была новым явлением не по отношению ко всей истории капитализма, а по отношению именно к предшествующей эпохе, ко временам расцвета викторианской Англии, которая, будучи мировым центром и своего рода монополистом в сфере промышленного производства, не нуждалась в протекционистских мерах сама и всячески противодействовала их введению в других странах<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Там же, с. 386–387.

<sup>40</sup> Там же, с. 381.

<sup>41</sup> Там же, с. 380.

<sup>42</sup> Косвенным образом это признает сам Ленин: «Сначала Англия стала, раньше других, капиталистической страной и, к половине XIX века, ввела свободную

И все же ленинское представление о новизне империализма было справедливо. Общество изменилось потому, что изменилось производство и был достигнут новый уровень накопления капитала: «Концентрация производства; монополии, вырастающие из нее; слияние или сращивание банков с промышленностью — вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия»<sup>43</sup>.

Новизна империализма состояла еще и в том, что впервые внешняя экспансия рассматривалась правящими кругами не только как средство ускорить накопление капитала и повысить норму прибыли, но и как способ решения «социального вопроса». Английский предприниматель и колониальный деятель Сесиль Родс (Cecil Rhodes) сформулировал эту связь с предельной простотой в 1895 году: мы «должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках». Это не просто «решение социального вопроса» (a solution for the social problem), но единственный способ избежать «убийственной гражданской войны» (a bloody civil war). Иными словами, «если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»<sup>44</sup>.

Взгляды Родса вполне соответствовали общему настроению правящих кругов Британской империи. И чем острее вставал перед буржуазным обществом «социальный вопрос», тем большей была готовность решать его за счет завоеваний.

## ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА: БРИТАНИЯ

Конец британской промышленной монополии отнюдь не означал финала британской мировой гегемонии. Точно так же как коммерческое превосходство голландцев в XVII веке не привело Соединенные провинции к политическому господству в мире, так и утрата промышленного превосходства не означала заката Британской империи. Ее политиче-

торговлю, претендовала на роль «мастерской всего мира», поставщицы фабрикатов во все страны, которые должны были снабжать ее, в обмен, сырыми материалами. Но эта монополия Англии уже в последней четверти XIX века была подорвана, ибо ряд других стран, защитившись «охранительными» пошлинами, развились в самостоятельные капиталистические государства. На пороге XX века мы видим образование иного рода монополий: во-первых, монополистических союзов капиталистов во всех странах развитого капитализма; во-вторых, монополистического положения немногих богатейших стран, в которых накопление капитала достигло гигантских размеров. Возник громадный «избыток капитала» в передовых странах» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 359).

<sup>43</sup> В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, с. 344.

<sup>44</sup> Цит. по: R. Palme Dutt. The Crisis of Britain and the British Empire. London: Lawrence & Wishart Ltd., 1957, p. 79.

ская роль сохраняется еще на протяжении целой эпохи, другое дело, что характер и смысл гегемонии меняется, так же как меняется сам мир.

Индустриализация континентальной Европы, начавшаяся в 1860-е годы, на первых порах способствовала продолжению экономического роста в викторианской Англии. На этот период приходится ее расцвет. Будучи крупнейшим импортером сырья, она своим спросом формировала мировые рынки. Британская империя в 1870-х годах имела торговый флот, который на 12% превосходил по тоннажу флот всех других европейских стран вместе взятых, ее фабрики и заводы выплавляли 53% всего чугуна и стали, производимых в мире, почти половину всех текстильных изделий. Рост экономики объединенной Германии на первых порах рассматривался как позитивный фактор — расширение рынков означало увеличение сбыта для английской продукции. Британия выступала глобальным кредитором, в том числе и по отношению к быстро растущей экономике США. Даже перед самым началом Первой мировой войны на ее долю приходилось 44% мировых капиталовложений<sup>45</sup>.

Культурное влияние Англии, куда менее значимое в Европе первой половины XIX века, чем французское или даже немецкое, постепенно росло. Уже в викторианские времена в Лондоне с гордостью заявляли, что английский язык «становится языком мира» (*is becoming the language of the world*).<sup>46</sup>

Экономическая мощь, финансовая стабильность, эффективная и опытная дипломатия и морское господство — все эти факторы обеспечивали повсеместное присутствие Британской империи, выходявшее далеко за пределы ее непосредственных владений и сфер влияния.

В период между 1860-ми и 1890-ми годами единственной державой, развитие которой вызывало некоторое беспокойство в Лондоне, была Российская империя. Либеральная экономическая политика вновь сменилась в России — в соответствии с общими веяниями — протекционизмом. А война 1877–1878 годов на Балканах показала, что Петербург оправился от поражения в Крымской войне и по-прежнему стремится расширить свои позиции в бассейне Черного моря. Правда, победа над турками, на сей раз воевавшими в одиночку, далась не без труда, но к концу войны Оттоманская империя была на грани разгрома, а российские войска стояли под Стамбулом. Потребовалось очередное вмешательство англо-французской дипломатии, подкрепленное демонстрацией военно-морской силы, чтобы спасти турецкую столицу. Однако даже из этого кризиса Лондон сумел извлечь максимум выгод. В обмен на английские гарантии безопасности, Турция уступила Кипр, ставший

<sup>45</sup> См.: В.С. Малахов. Цит. соч., с. 76–77.

<sup>46</sup> *The Federation of British Empire*. London: Gibbs, Shallard & Co, 1886, p. 7.

важной базой для Королевского флота в Восточном Средиземноморье. А военное столкновение с Петербургом удалось предотвратить в ходе Берлинского конгресса. Условия Сан-Стефанского мирного договора, продиктованные туркам российскими военными, были пересмотрены. В России еще слишком хорошо помнили про Крымскую войну. Угроза потенциального русского вторжения в Индию через Среднюю Азию не произвела на британцев впечатления, скорее способствовала ужесточению их позиций по отношению к Петербургу. К тому же к числу потенциальных противников России могла присоединиться Австро-Венгрия, недовольная усилением ее позиций на Балканах, а Бисмарк откровенно давал понять русским коллегам, что на поддержку Германии в случае войны рассчитывать не приходится.

Будучи, несмотря на все свои неудачи мощной военной державой, Российская империя не располагала ни значительной индустриальной базой, ни серьезным океанским флотом, чтобы рассматриваться в качестве угрозы для глобального равновесия, как его понимали в Лондоне. Пол Кеннеди (Paul Kennedy) в книге «Взлет и падение великих держав» замечает, что Британская империя середины XIX века действовала в геополитическом вакууме — у нее не было серьезных соперников на глобальном уровне после 1816 года и до 1880-х годов. США переживали Гражданскую войну и ее последствия. Германия не имела флота, а амбиции России после Крымской войны ограничивались восстановлением того положения на Черном море, которое имело место в 1840-е годы. Французская военная мощь была значительной только на суше, к тому же эволюция французского капитализма превратила его из соперника в младшего партнера британского. Результатом такого геополитического расклада была «Блистательная изоляция» (*splendid isolation*) единственной сверхдержавы.

«Возникла приятная ситуация, при которой британское морское превосходство росло, несмотря на то, что расходы на флот сокращались или оставались неизменными»<sup>47</sup>. Британская буржуазия могла себе позволить уникальное сочетание подавляющей военной мощи и относительно низких военных расходов. Расходы на оборону составляли всего 2–3% валового внутреннего продукта: «размеры британского экономического присутствия в мире были куда большими, чем военная мощь империи»<sup>48</sup>.

В условиях, когда в Европе и Америке поднимались новые центры политической силы, роль гегемона состояла в том, чтобы продолжать поддерживать равновесие, обеспечивая «Концерт держав». Это, до поры, устраивало всех.

<sup>47</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of British Naval Mastery*, p. 178.

<sup>48</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers*, p. 153.

Переставая быть единственной в своем роде страной, Британия оставалась первой среди равных и была признана в этом качестве всеми остальными участниками мировых процессов. Однако по мере укрепления колониальных и индустриальных позиций Германии, в Лондоне начинали испытывать беспокойство.

К началу «гонки завоеваний» викторианская Англия уже располагала достаточными территориями, а традиционная британская политика была ориентирована в первую очередь не на территориальный контроль, а на удержание и развитие торгового преимущества. Однако активная колониальная экспансия других держав, прежде всего быстро развивающейся Германии, заставила британцев приложить дополнительные усилия для расширения собственной империи. Так, по мнению польского историка, завоевание Кении и других территорий в Восточной Африке было вызвано не столько собственными планами Лондона, сколько необходимостью сдерживания немцев, захвативших плацдарм в Танганьике: «Речь идет о безопасности фланга, прикрывавшего путь в Индию, а также весь бассейн Индийского океана — фланга, важного для интересов английского империализма. Теперь уже этот вопрос из местной проблемы торговых выгод превращается в проблему принципиального значения, тем более что, как это вскоре станет очевидным, на территории Кении может жить и работать белый человек. Таким образом, дело касалось потенциального стратегического опорного пункта»<sup>49</sup>.

Хотя ситуация в мире менялась, британский правящий класс оставался неколебимо уверен, что морское господство обеспечивает стратегическое преимущество над любым возможным противником. С этим были согласны и многие военные теоретики других стран. Изучая опыт Британии, американский адмирал А.Т. Мэхэн пришел к выводу о решающем значении морских сил в борьбе за глобальное господство. Однако, как отмечает Пол Кеннеди, идеи адмирала «принадлежали прошлому» (*were too rooted in the past*)<sup>50</sup>. В январе 1904 года Хэлфорд Маккиндер (Halford Mackinder) прочитал в Королевском географическом обществе (Royal Geographical Society) лекцию, в которой предупреждал о конце «колумбовской эпохи» и начале новой эры<sup>51</sup>. Отныне успех держав будет определяться способностью концентрировать ресурсы, а значение флота начнет постепенно снижаться. Индустрия и железные дороги важнее

<sup>49</sup> История, социология, культура народов Африки. Статьи польских ученых. М.: Наука, 1974, с. 255. Можно сказать, что логика европейских держав в Восточной Африке к концу XIX века оставалась той же, что у португальских завоевателей времен *Estado da India*.

<sup>50</sup> P. Kennedy. *The Rise and Fall of British Naval Mastery*, p. 183.

<sup>51</sup> *Geographical Journal*, April 1904, vol. XXIII, No. 4.



для мощи государства, чем мощные морские силы: «успех будет сопутствовать державам, опирающимся на индустриальную мощь»<sup>52</sup>.

Новое стратегическое значение железных дорог полностью вскрылось только во время Первой мировой войны. Если раньше превосходство британского флота гарантировало, что даже со сравнительно небольшими силами, имперские генералы всегда могли первыми оказаться в нужное время в нужном месте, неизменно удерживая инициативу, то теперь перебрасывать подкрепления по суше оказывалось легче, чем по морю. Однако еще до того, как стали понятны военные последствия массового железнодорожного строительства, его экономические результаты дали о себе знать, резко ускорив индустриализацию Америки и Германии, обеспечив растущей промышленности легкий доступ к географически удаленным ресурсам и рынкам сбыта.

### АМЕРИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

В феврале 1898 года администрация президента Уиллиама Маккинли (William McKinley) использовала взрыв американского броненосца «Мэн» (USS Maine) в Гаване в качестве предлога для вмешательства в дела испанских колоний, где уже на протяжении нескольких лет бушевала война за независимость — на Кубе, в Пуэрто-Рико и на Филиппинах повстанцы вели успешную борьбу против слабеющей империи. Взрыв американского броненосца так и остался необъясненным, положив начало своеобразной традиции странных инцидентов, провоцировавших американские военные акции за рубежом (от гибели «Луизитании» в 1915 году и Тонкинского инцидента 1964 года до нападения террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году).

Правительство США объявило себя защитником Кубы, настаивая на том, что оно «отказывается от всякого намерения взять данный остров под свой контроль, юрисдикцию или суверенитет, ограничивая все свои стремления установлением там мира»<sup>53</sup>. Данное обязательство формально было соблюдено — по отношению к Кубе, но не к Филиппинам и Пуэрто-Рико, тоже оккупированным американцами в ходе войны. На основании подобных заявлений будущий президент США Вудро Вильсон (Woodrow Wilson) в «Истории американского народа» даже задним числом сделал вывод, что применительно к Кубе «интервенция была вызвана не стремлением расширить пределы Соединенных Штатов, но исключительно желанием защитить тех, кто являлся жертвой угнетения, дать им возможность самим сформировать свое правительство, восста-

<sup>52</sup> Ibid., p. 441.

<sup>53</sup> Цит. по: W. Wilson. A History of the American People, vol. 5, p. 274.

новить на острове мир и порядок, а также утвердить там принцип свободы торговли»<sup>54</sup>

Еще до того, как начались боевые действия Испано-американской войны, в самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия по поводу открывающихся перед страной перспектив. Победа над слабой и находившейся на грани банкротства Испанией не вызывала сомнений, но открытым оставался вопрос о судьбе испанских колоний, которые неминуемо должны были оказаться под американским контролем, и о том, насколько новый статус колониальной державы совместим с республиканскими традициями Америки.

На деле, разумеется, США были агрессивной имперской державой с самого момента своего возникновения, причем именно потребность американских элит в самостоятельной экспансии предопределила не только их решимость отделиться от Британии, но и способность правящих кругов Севера и Юга объединиться и выработать общий проект независимости. Роберт Кейган резонно замечает, что поворот политики США в сторону империализма в 1898 году вовсе не был разрывом с национальными традициями, как считали противники (и даже некоторые сторонники) проводимого курса. Напротив, «он вырос из старых и мощных американских традиций» (*it grew out of old and potent American ambitions*), продемонстрированных еще отцами-основателями<sup>55</sup>.

Однако для общественного мнения Америки именно война с Испанией оказалась моментом истины, когда массы граждан, искренне верившие в республиканские ценности, внезапно осознали империалистический характер собственного государства.

Впрочем, отстаивая необходимость колониальной экспансии, американские правящие круги одновременно подчеркивали, что, во-первых, их действия в значительной степени являются вынужденными, а во-вторых, американский колониализм будет совсем не таким, как испанский, британский или французский. Аннексия Гавайских островов, например, оправдывалась тем, что «если мы не возьмем Гавайи себе, это сделает Англия»<sup>56</sup>. С другой стороны, оценивая перспективы будущей американской колониальной империи, либерально-прогрессивная газета «The Nation» писала: «Британское владычество в Индии было связано на первых порах с деспотизмом частной торговой компании, совершенно безответственной. В нашей политической системе нет ничего подобного. Мы не сможем править зависимой территорией, иначе как с

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> R. Kagan. Op. cit., p. 416.

<sup>56</sup> The Nation, vol. 66, No. 1708, March 24<sup>th</sup> 1898, p. 216.

помощью выборов» (by the ballot)<sup>57</sup>. Такой колониализм может принести только благо подвластному, так же как победа Севера над Югом в Гражданской войне и последовавшая за тем политика Реконструкции пошла на пользу побежденным. «Нам предстоит проделать на Кубе то же, что тридцать лет назад мы сделали на Юге. Это будет такая же реконструкция, хотя на сей раз будет труднее, поскольку нам придется проводить свою линию среди народа, не знающего нашего языка, не разделяющего наших идей и несомненно готового возненавидеть нас, если мы прибегнем к принуждению»<sup>58</sup>.

Объявив войну Испании, США легко захватили Кубу и Пуэрто-Рико, а затем и Филиппины, где, однако, им пришлось столкнуться с активным сопротивлением тех самых повстанцев, которых, согласно официальной версии, они пришли поддерживать. Подписав Парижский мир, Испания отказалась от прав на свои колонии, оккупированные американцами. Если Кубе формально была предоставлена независимость, то на Филиппинах и в Пуэрто-Рико была установлена колониальная администрация. Гуам — южный остров в составе Марианского архипелага, подчинявшегося генерал-губернатору Филиппин, был передан по Парижскому договору Соединенным Штатам, а в феврале 1899 года Испания продала остальные Марианские острова Германской империи.

Объясняя захват Пуэрто-Рико и Филиппин, Вудро Вильсон сетовал, что переход к новой колониальной политике случился как-то сам собой, вынужденно, поскольку старая испанская администрация рухнула, образовался политический вакуум — нельзя же было бросить острова на произвол судьбы! В действительности никакого вакуума не было — филиппинские повстанцы представляли собой реальную политическую и военную силу, с которой США пришлось бороться еще на протяжении нескольких лет.

Колониальная война, начатая американскими силами на Филиппинах, по разным оценкам стоила местному населению от 200 тысяч до миллиона жизней. Как отмечает российский историк В.В. Сумский, «методику противоповстанческих операций, примененную во второй половине XX в. во Вьетнаме, Америка впервые — и при этом с пугающей жестокостью — опробовала в своей азиатской колонии»<sup>59</sup>. Однако успех колониальной политики был предопределен не только карательными операциями, но в первую очередь сотрудничеством местной буржуазии, с готовностью поддержавшей новых хозяев. Уже в 1900 году колониальные власти занялись организацией системы представительства, которое

<sup>57</sup> The Nation, vol. 66, No. 1707, March 17<sup>th</sup> 1898, p. 199.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> В.В. Сумский. Цит. соч., кн. 1, с. 329.

обеспечивало участие местных элит в управлении колонией. Для буржуазии Манилы и других хозяйственных центров архипелага участие в азиатской экспансии США и превращение островов в форпост этой экспансии сулило гораздо большие выгоды, чем независимость<sup>60</sup>.

История Вильсона дает вполне откровенное объяснение случившемуся. Америка, становясь мировой торговой державой, неминуемо оказывалась и державой колониальной. «От освоения собственных ресурсов страна должна была перейти к завоеванию мировых рынков. На Востоке открывался обширный рынок, и политики, равно как и торговцы обязаны принимать это во внимание, играя по правилам конкуренции — путь на этот рынок надо открыть с помощью дипломатии, а если надо, то и силы. И Соединенные Штаты просто не могли отказаться от возможности создать форпост на Востоке, возможности, которую открывало для них обладание Филиппинами»<sup>61</sup>. Ради этого американцам пришлось даже пожертвовать некоторыми идеалами, отступить от принципов, которые «разделяли все их вожди, начиная с самого начала их истории» (*professed by every generation of their statesmen from the first*)<sup>62</sup>.

По мере того как развивалась американская колониальная экспансия, менялся и тон прессы, а вместе с тем улетучивались иллюзии относительно специфического демократизма американской империи. На страницах той же «*The Nation*» идеализм сменяется прагматизмом: «Если мы решили аннексировать страны и управлять народом, отличающимся от нас расой, религией, языком, историей и много чем другим, народом, который скорее всего будет нас ненавидеть и считать нашу власть “игром”, нам нужно готовить администраторов, точно так же, как пушки и корабли. Мы должны делать то же, что делают все остальные завоеватели и колонизаторы, то что делает Англия, то, что делают Германия и Россия»<sup>63</sup>.

Эти слова оказались пророческими. Новые американские администраторы управляли Филиппинами и Пуэрто-Рико теми же методами, что и европейские колониальные чиновники, только жестче, активно внедряя английский язык и эффективно контролируя принятие всех решений даже на местном уровне.

Разумеется, вопрос о том, как примирить республиканские ценности и имперские амбиции не мог быть полностью проигнорирован либеральной частью общественного мнения. Однако ответ, который давали публицисты тех лет, был цинично прост — никак. Если английская парламентская система и Французская Республика смогли проигнори-

<sup>60</sup> Подробнее см.: Там же, с. 323, 329 и др.

<sup>61</sup> *W. Wilson. A History of the American People, vol. 5, p. 276.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. 294.

<sup>63</sup> *The Nation, vol. 66, No. 1716, May 19<sup>th</sup> 1898, p. 377.*

ровать это противоречие, подавляя сопротивление местных жителей на Мадагаскаре и в Судане, то почему американская демократия не может действовать точно так же на Филиппинах и в Пуэрто-Рико? «Действительно, трудно согласовать прекрасные демократические принципы прав человека с жестоким подавлением недовольства мальгашей, суданцев или филиппинцев, лишая их прав, которые мы сами признаем и уважаем. Но почему мы считаем, будто демократия должна быть более последовательна в своих действиях, чем другая форма правления?»<sup>64</sup>.

Во имя коммерческих интересов демократия вынуждена была проявить некоторую непоследовательность...

Разумеется, далеко не все граждане американской республики разделяли подобный прагматический взгляд на вещи. 19 ноября 1898 года в Бостоне была основана Антиимпериалистическая лига, после чего аналогичные организации начали возникать во всех штатах. Спустя год они уже насчитывали в совокупности около миллиона членов. В октябре следующего года состоялось учреждение общенациональной Американской антиимпериалистической лиги. Руководящую роль в лиге играли либеральная интеллигенция и представители мелкобуржуазной «популистской» оппозиции. Лига выступала против Парижского мирного договора, по которому Филиппины и Пуэрто-Рико переходили во владение США, а после утверждения договора в феврале 1899 года призывала остановить американскую интервенцию на Филиппинах, высказываясь за предоставление архипелагу независимости.

Одним из идеологов Лиги стал знаменитый писатель Марк Твен, решительно выступивший «против попыток имперского орла запустить свои когти в другую страну»<sup>65</sup>. Антиимпериалисты объявляли себя защитниками традиционных демократических ценностей Америки, заявляя о намерении объединить всех тех, «кто не согласен с попытками республики управлять империей, разбросанной по отдаленным частям света»<sup>66</sup>.

К 1901 году, однако, деятельность Лиги пошла на спад. Не добившись изменения политического курса, движение вынуждено было смириться с его последствиями. Во время Первой мировой войны Американская антиимпериалистическая лига не выступала против участия в ней США, хотя некоторые ее члены и выражали несогласие с политикой правительства. В 1921 году Лига была распущена. Оказав определенное влияние на идеологию американских левых, она почти не оставила следов в американском массовом сознании, для которого противоречие между демо-

<sup>64</sup> Ibid., p. 375.

<sup>65</sup> New York Herald, 15.10.1900.

<sup>66</sup> The Nation, vol. 71, No. 1833, August 16<sup>th</sup> 1900, p. 121.

кратическими нормами внутренней политики и антидемократической внешнеполитической практикой так и не получило серьезного осмысления вплоть до войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов.

Завоеванные Филиппины превратились в базу для американской экспансии в Восточной Азии. Международная ситуация этому благоприятствовала. В 1884 году китайское правительство потерпело поражение от Франции, а в 1895 — от Японии. Консервативное и некомпетентное правительство императрицы Цыси срывало все попытки реформ, создавая условия для мощного социального взрыва. Он не заставил себя долго ждать. За наводнением 1898 года последовало народное восстание ихетуаней (боксеров), которое быстро обернулось против иностранного присутствия в стране. В 1900 году боксерами был убит немецкий посланник в Пекине, большое количество других европейцев и китайских христиан. Это дало повод для очередной интервенции, в которой наряду с немцами и англичанами приняли участие французы, австрийцы и итальянцы. Россия заняла Манчжурию. Поддержали интервенцию и Соединенные Штаты.

Весной 1898 года газета «The Nation» хладнокровно констатировала, что Китайская империя распадается: «Ничто не может спасти ее и единственный вопрос в том, кто приберет к рукам ее части»<sup>67</sup>. Американская публика вполне созрела для того, чтобы поддержать участие в дележе.

Приобретение собственных колоний в ходе испано-американской войны заставило буржуазное общественное мнение в США переоценить и роль других колониальных держав. В разгар конфликта с Испанией «The Nation» писала, что «союз между Англией и Соединенными Штатами сейчас, после столетия взаимной неприязни и недоверия, становится задачей практической политики»<sup>68</sup>. Английская колониальная практика теперь представляла перед читателями газеты исключительно в позитивном свете, а необходимость сотрудничества двух держав обосновывалась отнюдь не прагматическими, а самыми высокими соображениями. В то время как американцы заботятся о развитии демократии в бывших испанских колониях, миссия Британской империи состоит в распространении просвещения в Азии. Потому любое ослабление ее позиций на Востоке «будет означать поражение цивилизации, которая будет отброшена назад по меньшей мере на столетие»<sup>69</sup>.

Однако по сравнению с европейскими державами Соединенные Штаты все же оставались в Китае на вторых ролях. Наибольшую активность в новом натиске на Китай проявили Россия и Германия, ранее не имев-

<sup>67</sup> The Nation, vol. 66, No. 1711, August 14<sup>th</sup> 1898, p. 277.

<sup>68</sup> The Nation, vol. 66, No. 1716, May 19<sup>th</sup> 1898, p. 375.

<sup>69</sup> Ibid.

шие сильных позиций в Поднебесной империи. В 1900 году американская газета с завистью и восхищением констатировала, что завоевав Манчжурию, Россия «присоединила одну из богатейших провинций мира»<sup>70</sup>. Как и другие колониальные захваты, российская экспансия пойдет исключительно на пользу покоренному народу, и под властью Романовых китайское варварство уступит место русской цивилизованности: «Россия наверняка введет в этом регионе передовую цивилизацию, под ее властью там воцарится порядок, а за ним непременно последует и процветание»<sup>71</sup>.

Этим надеждам, однако, не суждено было сбыться. Дележ добычи в северном Китае обернулся острым конфликтом, а затем и войной между Россией и Японией. Разгромив русские войска на суше, японцы завершили войну 1904–1905 годов, потопив русский флот в Цусимском проливе и заняв отчаянно сопротивлявшийся Порт-Артур. Для России исход войны означал начало эпохи революционных потрясений, для Японии знаменовал ее восхождение в качестве новой империалистической державы, претендующей на равные права и влияние со своими европейскими партнерами и соперниками.

А для Америки успех Японии означал появление нового и неожиданного соперника, с которым еще предстояло столкнуться в кровавом конфликте.

<sup>70</sup> The Nation, vol. 71, No. 1837, September 13<sup>th</sup> 1900, p. 207.

<sup>71</sup> Ibid.

## Х. Кризис гегемонии

Политики и экономисты в середине XIX века так же, как и в первые годы XXI века, были убеждены, что интернационализация капитала и развитие торговых связей приведет к миру и процветанию, сведя на нет войны и конфликты между государствами. «Либеральная буржуазия той эпохи, даже если на практике она стремилась к господству в мире и эксплуатации ресурсов планеты, искренне верила, что повсеместное утверждение принципов свободной торговли и капиталистических отношений в конечном счете приведет к гуманному мировому порядку, где не будет границ, где будут царить мир, гармония и единодушие»<sup>1</sup>, — иронически писал Палм Датт в 1936 году. Для человека, пережившего Первую мировую войну, эта ирония была горькой и оправданной. Между тем в начале XX века мало кто ждал, что предстоящая эпоха окажется столь трагичной и кровавой.

Политика глобальной интеграции, проводившаяся общими силами всех мировых держав на протяжении нескольких десятилетий, привела не к исчезновению противоречий, а напротив, к тому, что они приобрели невиданный ранее масштаб, интенсивность и взаимосвязь. Результатом этой политики оказались конфронтация между державами и война.

Оценивая перспективы империализма, Ленин справедливо ссылаясь на неравномерность развития ведущих западных стран: «равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может»<sup>2</sup>. Ускоренное развитие Германии и Америки, догоняющих и опережающих старые европейские державы, вело к неизбежному перераспределению влияния, ролей и ресурсов в мире. А это означало конфликт.

Германия и Соединенные Штаты все более открыто и сознательно претендовали на мировую гегемонию. И хотя военно-политическое положение Британии оставалось доминирующим, поддерживать его становилось с каждым годом все сложнее.

К счастью для Англии, претенденты на ведущую роль в мире должны были иметь дело не только со старым гегемоном, но и друг с другом, а также с поднимающимися региональными державами, такими как Россия и Япония. В ходе начавшейся борьбы правящие классы США и

<sup>1</sup> R. Palme Dutt. *World Politics. 1918-1936*. London: Victor Gollancz Ltd., 1936, p. 85.

<sup>2</sup> В.И. Ленин. Полное собрание соч., 5-е изд., т. 27, с. 417.



Германии выработали две противоположные стратегии по отношению к старому гегемону, и именно столкновение этих двух стратегий в значительной мере определило ход конфликта между империалистическими державами XX века.

Стратегия Германии была жестко наступательной. Она предполагала конфронтацию, захват колоний и подрыв влияния. Даже если главным объектом агрессии оказывалась не Англия, а соседние с Германией континентальные государства — Россия и Франция, для британского правящего класса не было секрета в том, что именно его глобальная гегемония находится под угрозой. А потому империя готова была защищать французские, бельгийские и русские интересы с неожиданной решимостью и бескорыстием.

Напротив, стратегия США на фоне германского вызова состояла в поддержке Британии. На протяжении XX века Америка постоянно демонстрировала Англии готовность выступить ее партнером и защитником, причем, со своей стороны, демонстрировала не меньшую лояльность и бескорыстие по отношению к Лондону, чем Лондон по отношению к Парижу. Но постепенно стареющая и осаждаемая врагами империя превращается в заложника своего союзника. А союзник из младшего партнера — в равноправного и, наконец, в старшего.

## ГЕРМАНСКИЙ ВЫЗОВ

«При сопоставлении важнейших экономических показателей — удельного веса колониальных владений, вывоза капитала и внешней торговли Германии с ее местом в мировом промышленном производстве станет ясно, почему германский империализм отличался особой агрессивностью»<sup>3</sup>, — писал советский историк В.И. Дашичев. Подобная «несправедливость» в распределении глобального влияния европейских стран и народов вызывала возмущение не только немецкого правящего класса, но и значительной части общества, воспринимавшего Германию как жертву притеснений со стороны других европейских стран. Право немцев на расширение «жизненного пространства» становилось идеей, понятной и одобряемой даже среди социал-демократов. И если решение «социального вопроса» связано с расширением империй и захватом колоний, то разве не имеют немецкие трудящиеся такое же право на материальное благополучие, как и их коллеги в Англии или Франции?

В 1940-е годы советский академик Ф.А. Ротштейн иронически назвал идеологию германской империи «философствующим империа-

<sup>3</sup> В.И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. М.: Наука, 1973, т. 1, с. 31.

лизмом»<sup>4</sup>. Материальные интересы капитала обосновывались через глубинные потребности национальной жизни, сопрягаясь с высотами немецкого духа.

«Германский империализм не довольствовался тем, что практически присоединился к “злому духу” всемирного империализма: отчасти по старой, еще не изжитой даже в новых условиях, традиции немецких философов “осмысливать” вкривь и вкось исторический процесс, вместо того чтобы активно в нем участвовать, но главным образом из стремления, как запоздалый гость на империалистическом пиру, утвердить свое право на место за уже занятым столом, идеологи германского империализма облекли его вожделения в философскую систему, где все было на своем месте: и экономическая потребность в жизненном пространстве за морем и в самой Европе, и верховенство германского народа над всеми прочими народами земного шара, и физическое и моральное вырождение других наций, и чистота самой германской расы, которой якобы угрожала примесь чужой крови (в особенности еврейской), и высокое общественно-биологическое значение войны как фактора отбора и воспитания, и многое, многое другое, что и в голову не приходило матерым империалистам-практикам других наций. Не только политическая литература и журналистика, но и умозрительная философия, историческая наука во всех ее разветвлениях и даже науки естественные и физико-математические прониклись этими догмами, служа им и распространяя их, пропитывая ими народ во всей его толще и выращивая в их духе молодые поколения»<sup>5</sup>. Не только консервативная и либеральная мысль, но даже социал-демократия оказалась затронута этим влиянием.

Накануне Первой мировой войны немецкий генерал Фридрих фон Бернгарди (Friedrich von Bernhardi) восторженно писал: «Немецкий народ в очередной раз доказал свою исключительную способность к торговле и мореплаванию. Вернулись славные дни Ганзейского Союза»<sup>6</sup>. Промышленность развивается, население растет, экономические успехи превосходят все ожидания. Однако «мы не можем завоевать рынки в колониях Англии. Наши собственные колонии не могут приобрести наши товары в достаточных количествах, а все остальные страны закрывают двери своих экономик перед иностранцами, особенно же перед нами, немцами — все хотят развивать собственную промышленность и отстаивать собственную независимость»<sup>7</sup>. В подобной ситуации единственным выходом остается расширение империи. Это цель, «ради ко-

<sup>4</sup> Ф.А. Ротштейн. Цит. соч., с. 196.

<sup>5</sup> Там же, с. 197.

<sup>6</sup> F. von Bernhardi. Germany and the Next War. London: Edward Arnold, 1914, p. 81.

<sup>7</sup> Ibid., p. 82.

торой нам придется бороться и побеждать, преодолевая могущество и ненависть других держав»<sup>8</sup>. Страна должна готовиться к войне, в народе надо культивировать «единодушную волю к власти»<sup>9</sup>. Армия и флот становятся воплощением национального духа. Будущее Германии — «мировая власть или крушение»<sup>10</sup>.

Первой попыткой германского империализма проверить на прочность Британскую империю была Англо-бурская война. С точки зрения европейского общественного мнения столкновение двух маленьких бурских республик на юге Африки с Британией воспринималось как героическая борьба горстки белых поселенцев против Левиафана империи. На практике все выглядело несколько иначе. Уже в 1896 году немецкие войска были посланы в Африку, готовые в случае необходимости поддержать буров в Трансваале и Оранжевой Республике, а немецкие крейсера подошли к берегам Мозамбика, добываясь от португальских властей разрешения на проход немецких подразделений через их территорию. В отличие от Британской империи, буры тщательно готовились к войне, а Германия обеспечила их армии самым современным оружием, включая новейшие пулеметы и крупнокалиберную артиллерию, которая существенно превосходила британскую. Именно этим техническим превосходством буров и объясняются тяжелые поражения английских войск, сопровождавшиеся ужасающими, невиданными доселе потерями: сражения в Южной Африке предвосхищали бойню Первой мировой войны.

Англо-бурская война, как и последовавшая за ней Русско-японская, не только знаменовала собой начало новой эры — борьбы за империалистический передел мира, но и оказалась прообразом целого ряда «периферийных» войн XX века, когда столкновение великих держав происходило опосредованно. Германия действовала через буров так же, как позднее Советский Союз боролся с США, опираясь на Северный Вьетнам, Северную Корею и арабские страны, а Америка наносила удары по советским позициям, используя Израиль и афганских повстанцев. Отныне локальные войны становятся частью глобального противостояния.

В конечном счете дисциплинированная и набравшаяся нового боевого опыта британская армия смогла преодолеть сопротивление буров. Парадоксальным образом, война в Южной Африке породила среди англичан и жителей доминионов волну патриотических чувств и имперского энтузиазма, хотя, как отмечают многие исследователи,

<sup>8</sup> *F. von Bernhardi. Op. cit., p. 84.*

<sup>9</sup> *Ibid., p. 114.*

<sup>10</sup> *Ibid., p. 85.*

накануне конфликта «британцы отнюдь не были едины в поддержке империализма»<sup>11</sup>. Если для внешнего мира африканская война воспринималась как пример агрессии мощной державы против маленьких свободолюбивых поселенческих республик, то внутри самой Британской империи эта война стала высшей точкой консолидации и ощущения внутреннего единства. Ряды армии, сражающейся против буров, пополнили многочисленные волонтеры из Канады, Австралии, Новой Зеландии и даже из Индии. Никто иной как Мохандас Ганди (Mohandas Gandhi), будущий лидер борьбы за независимость Индии, помогал сформировать Индийский медицинский корпус (Indian Ambulance Corps), в котором он сам служил и даже получил боевую награду. После смерти королевы Виктории он возглавил в Дурбане (Durban) индийскую траурную процессию и от имени индийских подданных короны в Африке послал в Лондон телеграмму, соболезнуя королевской семье в связи с кончиной «величайшего и самого любимого монарха в мире» (of the greatest and most loved Sovereign on earth)<sup>12</sup>.

Далеко не все решается качеством вооружения. Под командованием генерала Робертса английские войска научились избегать лобовых столкновений с неприятелем, предпочитая обходные маневры, направленные на окружение противника. Все основные города Трансвааля и Оранжевой Республики были захвачены. Борьба продолжалась еще в течение некоторого времени — потерпев поражение на поле сражений, буры перешли к тактике партизанской войны. Как заметила американская «The Nation», разгромив армии буров, лорд Робертс «вскоре вынужден был обнаружить, что одно дело завоевать страну, другое — умиротворить ее»<sup>13</sup>. Но партизанской войне буров английские генералы противопоставили свое собственное изобретение, которому тоже предстоит сыграть значительную роль в XX веке — концентрационные лагеря. По признанию самих английских историков, в этих лагерях погибло не менее 20 тысяч женщин и детей<sup>14</sup>.

Впрочем, решающую роль в прекращении войны сыграли не репрессии против мирного населения, а способность английских властей использовать против колонистов-буров коренное чернокожее население. Африканцам не доверяли, старались не вооружать их огнестрельным оружием, но в конечном счете именно они решили исход борьбы.

<sup>11</sup> См.: *Th. C. Caldwell. ed. The Anglo-Boer War. Why Was It Fought? Who Was Responsible?* Boston: D.C. Yeath & Co, 1965, p. x.

<sup>12</sup> *P. Brendon. The Decline and Fall of the British Empire. 1781–1997.* London: Johnatan Cape, 2007, p. 229.

<sup>13</sup> *The Nation*, vol. 71, No. 1836, September 6<sup>th</sup> 1900, p. 181.

<sup>14</sup> См.: *Th.C. Caldwell. ed. The Anglo-Boer War*, p. viii.

Как обычно бывало в истории Британской империи, за подавлением вооруженного сопротивления последовал в 1902 году очередной компромисс — мирный договор был подписан в поселке Феринихинг под Преторией (the Treaty of Vereeniging) и оказался крайне выгодным для побежденных. На место британских колоний и бурских республик пришел новый доминион — Южно-Африканский Союз, в котором бурские элиты получили решающее политическое влияние (ключевые позиции в бизнесе остались за английской буржуазией). В 1914 году южноафриканские войска, возглавляемые закаленными в боях бурскими генералами, уже сражались за Британскую империю против немцев на территории нынешней Намибии (Германской Юго-Западной Африки).

Следующий международный кризис возник вновь в Африке, но уже на севере континента. Еще в 1830 году французы овладели Алжиром, а в период «гонки завоеваний» установили контроль над Тунисом. На очереди было Марокко. В 1904 году Италия, Британия и Испания согласились признать «особые права» Франции в Марокко — султанату предстояло стать французским протекторатом. Со своей стороны Париж признавал права англичан на Египет, итальянцев на Ливию и испанцев на Сеуту и Мелилью на северном побережье Марокко. Однако Германия в договоренностях не участвовала. В 1905 году в Танжер неожиданно прибыл немецкий кайзер Вильгельм II. Германский монарх произнес горячую речь, обещая султану поддержку в борьбе с Францией и предложил ему оборонительный союз. Момент для конфликта был выбран крайне благоприятный, поскольку Россия, основной союзник Франции на континенте, была парализована войной с Японией и внутренним кризисом, перераставшим в революцию. В берлинском генеральном штабе уже был готов знаменитый план Шлиффена (Schlieffen Plan), в соответствии с которым немецкие войска должны были разгромить французов за несколько недель, пока русская армия на востоке не успеет отомобилизоваться. Франция вынуждена была идти на уступки, отложить планы установления своего протектората над Марокко и прибегнуть к дипломатической поддержке Великобритании, Италии и России. Международный конгресс, созданный в испанском городе Альхесирас (Algeciras) в январе 1906 года, сумел предотвратить войну, но уже в 1911 году в Марокко вспыхнул новый кризис. Немецкая канонерская лодка прибыла в атлантический порт Агадир (Agadir), а в Берлине заявили о намерении создать там военно-морскую базу. На сей раз французы смогли вновь избежать войну ценой уступок — Германии был передан Камерун.

В конечном счете война, которая дважды чуть не началась в Африке, разразилась из-за убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда (Ferdinand) в Сараево. Однако даже если бы сараевский выстрел не прозвучал в роковой день 28 июня 1914 года, Европа все равно начала бы во-

евать из-за какого-то другого повода. Легкость, с которой локальный дипломатический кризис перерос в мировую войну, была связана именно с тем, что к войне все были готовы и ее, в сущности, хотели все. К тому же начинающийся в 1914 году экономический кризис грозил стать одним из самых тяжелых в мировой истории — тем, чем впоследствии оказалась Великая депрессия. Глобальная экономика только что оправилась от кризиса 1899–1904 годов, сопровождавшегося Англо-бурской и Русско-японской войнами. На сей раз вновь война казалась наилучшим выходом. Другое дело, что ни в Берлине и Вене, ни в Париже и Лондоне, ни тем более в Петербурге не отдавали себе отчета в том, сколь затяжной и кровавой окажется конфликт и сколь грандиозными будут его социально-политические последствия.

## ИТОГИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первая мировая война чуть было не обернулась триумфальной победой Германии. План Шлиффена сработал. Политика Англии, которая предполагала сломить немцев с помощью морской блокады и колониальных операций, предоставив вести сухопутную войну Франции и России, показала свою полную несостоятельность. Российские армии сумели развернуть бои на Восточном фронте неожиданно быстро, сдержав немецкое наступление на Париж, но заплатить за это пришлось тяжелым поражением. В августе 1914 года, понеся тяжелые потери, русские войска вынуждены были отступить из Восточной Пруссии.

На Западе англичанам пришлось своими силами спасти союзника, отправляя массовые подкрепления на континент. В сентябре благодаря усилиям марокканских и английских войск немецкое наступление было остановлено, произошло «чудо на Марне» (*англ.* — *Miracle of the Marne*, *фр.* — *Miracle de la Marne*). Война приобретает затяжной позиционный характер.

На протяжении всей войны британцам так и не удалось превратить свою морскую силу в решающий стратегический фактор. Сражения в Гельголандской бухте (*Battle of Heligoland Bight*) в августе 1914 года и у Доггер-банка (*Battle of Dogger Bank*) в январе 1915 года закончились в пользу англичан, но Ютландское сражение (*Battle of Jutland*) обернулось явным успехом немцев, которые нанесли британскому флоту тяжелейшие потери, тогда как их собственные корабли пострадали меньше. «Победу по очкам» за германским флотом признают и английские авторы<sup>15</sup>. Однако странным образом, после Ютландского боя именно немецкий, а не английский линейный флот заперся в своих гаванях и фактически отказался от борьбы за превосходство на море. Иными словами, стра-

<sup>15</sup> См.: Х. Вильсон. Линкоры в бою. 1914–1918 гг. М.: Изографус, ЭКСМО, 2002.

тегические последствия этой успешной для немцев битвы были ровно такими же, как если бы их флот был полностью разгромлен и потоплен. Разумеется, подобные действия германского командования были тяжелой ошибкой, на которую задним числом сетовали многочисленные историки и мемуаристы. Однако решение спрятать флот до конца войны было далеко не случайным.

В морских битвах, в отличие от сухопутных, победа и поражение оценивается исключительно по количеству потопленных и поврежденных судов — тот факт, что немецкие корабли отступили с места сражения принципиальной роли не играет. Тем не менее для Кайзера и германского правительства ужасающие потери Ютландского боя свидетельствовали о том, что новое сражение может обернуться еще более катастрофическими последствиями и гибелью значительной части флота. По итогам Ютланда можно предсказать, что для англичан результаты повторного столкновения были бы не лучшими, а скорее всего даже еще худшими. Но германские военные исходили из определенных рациональных оценок, учитывая допустимый уровень потерь, тогда как британские адмиралы, подобно русским генералам, верили в необходимость наступления любой ценой. Потому британский флот, несмотря на неудачу, продолжал искать встречи с противником, а германский, несмотря на успех, прятался. Иными словами, возникший чрезвычайный уровень риска британская стратегия допускала, а германская — нет.

Затяжная позиционная война на два фронта оказалась не под силу Германии, а вступление в борьбу Соединенных Штатов в 1917 году сделало ее положение безнадежным. Высокоорганизованное индустриальное общество было способно выдержать тяжелейшую нагрузку четырехлетнего конфликта, в котором менее развитые в экономическом отношении союзники — Турция, Австро-Венгрия, Болгария — сделались для Германии скорее обузой, нежели опорой. Однако именно индустриальная мощь привела к тому, что немецкие правящие круги недооценивали прочие факторы борьбы, полагаясь прежде всего на свое организационное и техническое превосходство.

К концу войны победители и побежденные были равно истощены. В России бушевала революция, умеренный режим временного правительства рухнул, не в последнюю очередь из-за стремления выполнять союзнические обязательства, продолжая войну. К власти пришли большевики во главе с Лениным — пугающая новость для всех правящих классов Европы.

Тем временем Австро-Венгрия разваливалась на составные части, Османская империя агонизировала и под вопросом было выживание Турции в качестве самостоятельного государства, а в самой Германии русский пример вдохновил левое крыло рабочего движения на рещи-

тельные действия. Но и во Франции армия была деморализована, а Британия с трудом переживала опыт первой в ее истории всеобщей мобилизации.

На этом фоне Соединенные Штаты и их президент Вудро Вильсон (Woodrow Wilson) выглядели единственной силой, способной остановить безумие и вернуть мир старому континенту. Мирный план Вильсона, знаменитые «14 пунктов», предусматривал не только прекращение войны, но и демократизацию международной жизни, национальное самоопределение, учет мнения жителей территории при решении вопроса об ее государственной принадлежности, уважение к правам малых народов. Приезд американского президента в Европу был триумфальным. Повсюду его встречали восторженные толпы. «Формально мирный договор строился на основе 14 пунктов Вильсона, — по крайней мере обе враждующие коалиции официально об этом заявили. — Взоры всего мира прикованы были к Вильсону. Все видели в нем спасителя»<sup>16</sup>.

Радикально-демократические заявления Вильсона должны были не только продемонстрировать, что возврат к старому консервативному порядку невозможен, но и предотвратить разрастание европейской революции, перехватив инициативу у русских большевиков, популярность которых на Западе быстро росла не только в левых кругах<sup>17</sup>.

Если большевики апеллировали прежде всего к социальному освобождению и классовым интересам трудящихся, видя самоопределение народов одним из элементов общего преобразования политического мироустройства, то концепция самоопределения Вильсона, острие которой явно было направлено против старых империй, игнорировала связь между национальным и социальным угнетением, апеллируя прежде всего к национальным движениям, получившим развитие в полупериферийных странах Восточной и Центральной Европы. Именно эти движения извлекли наибольшую выгоду из подготовленного усилиями Вильсона и его коллег Версальского мира. Карта Европы пополнилась новыми государствами — возродилась Польша, на севере возникла Финляндия, получила независимость Чехословакия, на Балканах сложилась Югославия. Все эти государства стали возможны благодаря крушению континентальных империй — распаду Австро-Венгрии, революции в России. Однако не в меньшей степени эти страны были продуктом культурно-идеологического процесса, породившего волну национализма в самых разных концах континента.

<sup>16</sup> История дипломатии. Под ред. В.П. Потемкина. М.—Л.: ОГИЗ, т. 3, с. 20.

<sup>17</sup> Любопытно, что до того, как Нобелевская премия мира была вручена Вудро Вильсону за Версальский мир, норвежские социал-демократы выдвигали на эту же премию В.И. Ленина. См.: В. Галин. Политэкономика войны. Тупик либерализма. М.: Алгоритм, 2007, с. 8.



Неоромантическая концепция нации, распространившаяся в Европе на фоне объединения Германии и итальянского Рисорджименто, воспринимала народ как некий целостный, коллективный организм с собственной историей, которая представляла собой не развитие общественных противоречий, а единый и логичный процесс становления национального духа и самосознания. Каждый «народ» является или должен стать «нацией», либо исчезнуть с лица планеты. Земля, территория становятся необходимым атрибутом народа, который, не имея собственного географического пространства, лишен и полноценного существования. «Собственное» государство оказывается обязательным условием «полноценности». По сравнению с реальной историей, здесь все ставится с ног на голову. В то время как исторически именно государственное развитие формировало нации, романтический взгляд воспринимает нацию как нечто изначально данное (только, порой, не раскрывшее своего потенциала), подразумевающее государственность как следствие. Соответственно, для всех народов право на создание собственного государства вытекает из априорного существования нации.

Политическим следствием подобной философии становится лозунг «права наций на самоопределение», понимаемый как право определенного народа создать «собственное» государство на «своей» территории. Эта идеология овладевает массами славянской интеллигенции в Австро-Венгрии, заставляет образованные слои общества в Финляндии переходить с родного шведского на трудный финский язык, порождает национальное возрождение среди народов Прибалтики, разделяя сторонников возрождения Речи Посполитой на польских и литовских патриотов, которым в ближайшем будущем предстоит столкнуться в вооруженной борьбе. Эта же идеология порождает в конечном счете как украинский национализм, так и сионизм среди еврейского населения Польши и Украины.

К началу XX века идея «самоопределения наций» настолько господствовала в левых кругах, что Роза Люксембург и австро-марксисты, придерживавшиеся иного мнения, выглядели в рядах социал-демократии явными диссидентами. Между тем нельзя сказать, что подобные взгляды опирались на теорию или воззрения Карла Маркса. Сторонники «самоопределения наций» неизменно цитировали работы Маркса по ирландскому вопросу, где автор «Капитала», обращаясь к англичанам, подчеркивал: народ, угнетающий другой народ, сам не может быть свободен. Однако у Маркса речь идет именно об угнетении, а не о каких-то метафизических, врожденных «национальных правах». Иными словами, проблемой является не ущемление национальных прав, а именно конкретная дискриминация, социально-культурное угнетение и неравноправие ирландцев в Соединенном Королевстве. Эта проблема может

быть решена как созданием собственного государства, так и преодолением неравенства в ходе преобразования общebritанского государства. И для Маркса ни один из двух вариантов сам по себе, в абстрактном виде, не является предпочтительным. Применительно к Польше Маркс и Энгельс были горячими сторонниками независимости, но когда речь заходила о Центральной Европе, они же писали про реакционную роль «неисторических народов», национальные стремления которых стали одним из решающих факторов поражения революции 1848–1849 годов в Венгрии. Маркс, таким образом, не был ни сторонником «территориальной целостности» государств, ни адептом «самоопределения». Все зависит от конкретных условий общественной борьбы и расстановки классовых сил.

Даже Ленин, принципиально отстаивавший в своих дореволюционных трудах для всех народов право на «самоопределение вплоть до отделения», неоднократно подчеркивал, что отделение и создание собственного государства есть право, а не обязанность — альтернативным сценарием всегда остается приходящая на смену империи добровольная ассоциация народов. Это относится даже к повседневной практике колониальных империй: «Когда мы ставим лозунг: свобода самоопределения, *то есть* свобода отделения, мы *всей* агитацией требуем от угнетателей: старайся удерживать выгодами, культурой, а *не* насилем»<sup>18</sup>. Парадоксальным образом, Ленин, на словах признав «право наций на самоопределение», в качестве практического политика оказался гораздо ближе к логике Маркса и Энгельса, чем к риторике своих современников. В конечном счете Советский Союз как раз и представлял собой попытку решения национально-го вопроса не на основе романтической идеологии самоопределения, а на основе политики равноправия и «позитивной дискриминации», проводящейся в рамках единого, но преобразующегося государства, изменившего свою классовую природу в ходе революции.

В этом плане Ленин и Вильсон, несмотря на сходство риторики (и там и тут «самоопределение»), выдвигали два принципиально разных подхода к национальному вопросу. В то время как русская революция предлагала национальным меньшинствам создавать вместе с русскими новое государство, где они будут равноправными гражданами, либерализм Вильсона был направлен на постепенное разложение старых империй, на смену которым должен был прийти мир небольших и слабых «национальных государств», арбитром (а позднее и гегемоном) которого становилась бы великая и свободная Америка.

То, что на практике это приведет к появлению многочисленных нежизнеспособных, по большей части авторитарных, государств, этни-

<sup>18</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, с. 436.

ческим чисткам, межнациональной резне и культурной деградации целых регионов, можно было судить уже по итогам Балканских войн 1912–1913 годов. Новые границы, сформированные Версальским миром в Центральной Европе, дали тот же результат, только в гораздо больших масштабах. Но каждый раз трагическое развитие событий на местах интерпретировалось как проявление «эксцессов», местной «дикости» или же недостаточно последовательного проведения общего либерально-романтического принципа, который оставался незыблемым. Впоследствии каждая новая волна «самоопределений» неизбежно сопровождалась одними и теми же последствиями, однако это ничего не меняло на уровне политической теории. Оппонентами самоопределения выступали только дремучие националисты из господствующих наций, великодержавные шовинисты и консерваторы, одержимые имперской ностальгией (своего рода последние представители «классического» романтизма, противостоящие неоромантизму индустриальной эпохи). Неоспоримое господство догматов национального самоопределения, как среди либералов, так и среди левых, оказалось одним из наиболее эффективных инструментов новой идеологической гегемонии на глобальном уровне.

Распад Австро-Венгрии привел к появлению на ее месте своеобразных «мини-империй», многонациональных государств. Такими «мини-империями» оказались и Чехословакия, и Югославия, и даже Польша в границах 1920 года, включавшая в себя немецкие, украинские, белорусские и литовские земли. Проблема, однако, состояла не в том, что эти общества были по составу населения многонациональными, а в том, что будучи этнически и культурно неоднородными, они пытались строить свою политическую организацию таким образом, будто являлись однородными национальными государствами. В период после 1918 года такие государства могли существовать лишь поддерживаемые «силовым полем Версаля»<sup>19</sup>, а после Второй мировой войны, несмотря на проведенные под советским влиянием культурно-политические реформы, они сохранялись благодаря аналогичному «силовому полю» СССР. Распад советской системы в 1989–1991 годах, как прежде и распад версальской системы, привел к разрушению Чехословакии и Югославии. Что касается Польши, то она после катастрофы 1939 года возродилась в новых границах.

Новые национальные государства воспроизводили модель старых, прежде всего Франции и Германии, но сложившись в более позднюю эпоху, они сталкивались со множеством новых проблем, для решения которых у них зачастую не было ни средств, ни возможности. Новые государства, несмотря на агрессивную националистическую идеоло-

<sup>19</sup> В. Галин. Политэкономика войны. Заговор Европы. М.: Алгоритм, 2007, с. 85.

гию, обладали изначально слабым суверенитетом, ибо за редким исключением не имели возможности создать самостоятельный военно-промышленный комплекс. Военно-техническая революция, начавшаяся в морских вооружениях с 1900-х годов, к концу Первой мировой войны полностью изменила характер армий. Произошла механизация вооруженных сил, а само военное дело стало неотделимым от развития промышленности. Военные конфликты превратились в соревнование индустриальных и транспортных систем. Танки и авиация могли быть произведены далеко не во всех странах. Впрочем, решающее значение имела даже не способность производить современное оружие (в конце концов, боевые машины можно было приобрести, что сделало экспорт вооружения одной из важнейших отраслей мирового рынка, но в ходе реальной войны их нужно было ремонтировать, заменять, снабжать боеприпасами). Страна, не обладающая собственным производством, не могла этого делать самостоятельно в условиях долгосрочного военного конфликта. Следствием оказалось быстрое и неизбежное превращение стран с ослабленным суверенитетом в сателлитов той или иной из ведущих держав. Восточная Европа, ориентировавшаяся на победителей Первой мировой войны, после Великой депрессии постепенно стала оказываться в орбите германской политики — за исключением Польши и Чехословакии, — что предопределило характер дальнейших конфликтов в регионе. После Второй мировой войны и деколонизации стран Африки и Азии те же тенденции проявились с новой силой, причем военно-техническая зависимость дополнилась зависимостью от внешней экономической помощи и экспертной поддержки. Новые независимые государства в большинстве своем вынуждены были примыкать к одному из двух лагерей «холодной войны», ориентируясь либо на США, либо на Советский Союз, а после его распада новая волна формирования независимых государств на осколках советского блока повторила ту же судьбу. Не прошло и двух десятилетий, как большинство этих стран оказались в полной зависимости от своих западных партнеров и покровителей. К началу XXI века реальное «содержание» суверенитета было явно неодинаковым для разных стран, причем способность к проведению самостоятельной политики у многих восточноевропейских государств была даже ниже, чем у карликовых немецких княжеств XVIII столетия.

Демократический международный порядок, предложенный Вудро Вильсоном, должен был опираться на равноправное представительство стран в Лиге Наций. Но именно здесь американскому президенту пришлось потерпеть самое позорное поражение: в Лигу Наций не вступили Соединенные Штаты, где после напряжения мировой войны нарастал изоляционизм. Точно так же не слишком удалась и попытка Вильсона ограничить

империалистические амбиции победителей. Франция навязала Германии выплату огромных репараций и выговорила для себя возможность разместить в побежденной стране свои войска — эти агрессивные действия впоследствии способствовали ответной националистической мобилизации немцев и готовили почву для прихода к власти Гитлера. В отношении оккупированных осколков Германской и Оттоманской империй победители тоже не проявили готовности отступить от империалистических принципов. Свободное арабское государство, которое пропагандировал Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский (Thomas Edward Lawrence, Lawrence of Arabia), поднимая восстание против османов, не было создано. Захваченные у немцев и турок территории были переданы Англии, Франции, Бельгии и Японии не в качестве колоний, а на основе мандата Лиги Наций, что предполагало, во-первых, последующее предоставление им независимости, а во-вторых, соблюдение колонизаторами определенных обязательств под международным контролем. Так мандат Лиги Наций, предоставленный Британской империи на Палестину, гласил: «Держатель Мандата должен быть ответственен за приведение в действие декларации, сделанной впервые 2 ноября 1917 года Правительством его Британского величества и принятой упомянутыми державами, в пользу установления в Палестине национального дома для еврейского народа, при ясном понимании, что не должно быть сделано чего-либо, ущемляющего гражданские и религиозные права существующих нееврейских сообществ в Палестине или права и политический статус, которыми пользуются евреи в какой-либо другой стране»<sup>20</sup>.

На практике, однако, подмандатные территории по методам управления проводимой там политики и повседневной общественной практики не отличались от обычных колоний. Соединенные Штаты расширили свою заморскую империю, получив в управление по мандату Лиги Наций ряд островов в Тихом океане. Британские доминионы также стали колониальными державами — Южно-Африканский Союз получил мандат на бывшую Германскую Юго-Западную Африку (нынешняя Намибия), Австралия приобрела Новую Гвинею, а Новая Зеландия — Самоа.

## СОВЕТСКИЙ ВЫЗОВ КАПИТАЛИЗМУ

На фоне красивых и популярных заявлений, сделанных Вильсоном в конце Первой мировой войны, демократические достижения его внешней политики оказались весьма скромными. Однако в одном его усилия увенчались впечатляющим успехом: революционную волну, поднимавшуюся по всей Европе и даже в Азии, удалось сдержать.

<sup>20</sup> The Origins and Evolution of the Palestine Problem, 1917–1988. N.Y.: United Nations, 1990, Part I, 1917–1947, p. 86.

В Венгрии и Германии произошли революции, но Венгерская советская республика была подавлена, а в Германии процесс удержали под контролем умеренные социал-демократы — правда не без помощи репрессий. Вожди левых Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) и Роза Люксембург (Rosa Luxemburg) были убиты в январе 1919 года, а рабочее восстание в Берлине разгромлено. Весной того же года вспыхнуло новое восстание, на сей раз в Баварии. Но Баварскую советскую республику ждала та же участь.

В условиях послевоенного политического вакуума попытка установления рабочей власти была предпринята также в Эльзасе. Там советская республика (*фр.* — République alsacienne des conseils, *нем.* — Elsässische Räterepublik) просуществовала меньше месяца, после чего рабочие советы были распущены вошедшими в область французскими войсками.

В конечном счете поражение европейской революции, на которую в 1918–1919 годах возлагали надежды лидеры большевиков, было предопределено все же не репрессиями, а политической слабостью радикальных левых и сознательными усилиями либеральных политиков, возглавлявших страны-победительницы. Если националистические движения в рамках Версальского порядка в значительной мере добились своих целей, то левые, напротив, проиграли. Однако даже после спада революционной волны 1918–1919 годов угроза массовых рабочих выступлений оставалась для правящих классов вполне реальной и требовала соответствующей стратегии. Революционные процессы продолжались в Китае, а в Германии и Франции возникли мощные коммунистические партии. Левые силы в Италии оставались весьма влиятельными и радикальными, их позиции подорвал лишь фашистский переворот Бенито Муссолини (Benito Mussolini) в 1922 году.

Попытки найти ответ на вызов русской революции 1917 года составляют в значительной мере содержание либеральной и социал-демократической политики в Европе и Америке на протяжении всего периода между двумя мировыми войнами, причем нет никаких оснований говорить об их успехе. Ситуация отчасти облегчается угасанием революционного импульса в самой советской России, где пролетарская революция проходит все знакомые фазы от диктатуры победившей радикальной партии до ползучего термидорианского переворота и, в конце концов, установления бонапартистского режима во главе с И.В. Сталиным. Советский Союз, пришедший на смену Российской империи, постепенно переходил от внешнеполитического курса, нацеленного на поддержку мировой революции, к «реальной политике», предполагавшей лавирование между империалистическими державами и упрочение собственных государственных позиций.

Социалистические идеалы в том виде, как их сформулировало рабочее движение конца XIX века, осуществлены не были, а хозяйственная и культурная отсталость России диктовали неизбежность бюрократического вырождения советского режима, вырождения, которое началось еще при жизни Ленина. Провозгласив ставку на «строительство социализма в одной стране», лидеры Советского Союза хоть и не отменили лозунг мировой социалистической революции, но отодвинули его на второй план, постепенно вытесняя его в глубины идеологического бессознательного. Когда в 1925 году революция развернулась в Китае, Сталин призывал местных коммунистов не повторять большевистскую тактику радикализации революции снизу через оппозиционную борьбу с новой властью, а напротив, советовал им «проникать в аппарат новой власти, сближать этот аппарат с крестьянскими массами и помогать крестьянским массам через этот аппарат удовлетворять свои насущные требования»<sup>21</sup>. Не удивительно, что итогом такой умеренной политики стало катастрофическое поражение коммунистов, за уничтожение которых новая власть взялась со всей энергией, как только ей предоставилась возможность. Лишь позднее, когда китайские коммунисты под руководством Мао выработали и применили собственную политическую линию, не слишком оглядываясь на Москву, ситуация радикально изменилась в их пользу.

Однако даже в форме бонапартистского режима советское государство представляло собой проблему и вызов для мирового капитала в той мере, в какой демонстрировало возможность победоносной антибуржуазной альтернативы, а также демонстрировало социальную практику, разительно отличающуюся от капиталистической. Эта практика оказывала растущее воздействие на общественное мнение западных стран, причем не только на левых<sup>22</sup>. В то время как сведения о сталинских репрессиях, лагерях и ужасах коллективизации были в Западной Европе недоступны либо не вызвали доверия, информация об успехах индустриального развития в СССР, системе бесплатного здравоохранения и образования, стремительном прогрессе народного просвещения и других бесспорных достижениях советского общества широко распространялась.

В краткосрочной перспективе ответом на советский вызов стала демократизация государственных институтов во многих странах, утверждение всеобщего избирательного права, включая равноправие женщин, а

<sup>21</sup> Цит. по: А. Шубин. Вожди и заговорщики. М.: Вече, 2004, с. 135.

<sup>22</sup> Характерным примером таких настроений стала книга Сиднея и Беатрисы Вебб (Sidney and Beatrice Webb) «Советский коммунизм: новая цивилизация?» (англ. изд.: *S. and B. Webb. Soviet Communism: A New Civilization?* London: Longmans Green & Co, 1947).

также попытки реформ в области пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Однако все эти меры носили непоследовательный и бессистемный характер, а параллельно с попытками демократических реформ, в странах, где кризис и классовое противостояние сказывались острее, испытывался и противоположный вариант — авторитаризм, закручивание гаек, диктатура, в крайнем варианте — фашизм.

«Революционные события в России и Германии, создание влиятельных коммунистических партий многому научили правящие круги стран Запада», — отмечает Александр Шубин<sup>23</sup>. Выяснилось, что управлять обществом игнорируя его низы, фактически большинство населения, больше невозможно. Политика переставала быть монополией «образованных классов». С одной стороны, все правительства и партии прибегают к инструментам массовой пропаганды, осваивая различные методы манипуляции общественным сознанием. Но с другой стороны, возможности манипуляции не безграничны, а пропаганда не может долгое время работать, не опираясь хоть на какие-то факты в реальной жизни.

Реформы сверху должны были, как всегда, предотвратить революцию снизу. Однако вставал вопрос о масштабах, конкретных путях и границах этих реформ. «В резерве у правящей элиты был козырь государственного регулирования — ограниченного капитализма, — продолжает Шубин. — И все же правящие элиты опасались вводить в действие решительные меры государственного регулирования. Было неясно, насколько далеко может зайти бюрократия в расширении своих полномочий, если зажечь перед ней зеленый свет. Большинство революций провоцируется отказом правящей группы провести назревшие реформы. Но лишь задним умом можно понять, какие реформы назрели, а какие — только провоцируют распад системы. А пока это не решено — страна продолжает балансировать на грани революции»<sup>24</sup>.

Реформирование капитализма происходило методом проб и ошибок, причем период 20–30-х годов XX века может считаться временем, когда преобладали неудачные и пробы, и тяжелые ошибки. Лишь значительно позднее, к концу Второй мировой войны, можно говорить о трансформации капитализма, породившего «социальное государство» (Welfare State). Для того чтобы подобная трансформация состоялась, потребовались огромные усилия, острая борьба, а главное — изменения, затронувшие не только отдельные аспекты социальной политики тех или иных стран, а структурные изменения, охватившие капиталистическую миросистему в целом. Одним из элементов этого глобального процесса оказалась и смена гегемона.

<sup>23</sup> А. Шубин. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне. 1929–1941 годы. М.: Вече, 2004, с. 41.

<sup>24</sup> Там же.



## ИМПЕРИЯ ПОД УГРОЗОЙ: БРИТАНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ

В конечном счете великие империи разрушаются не извне завистливыми врагами, а изнутри социально-экономическими и культурными процессами.

После Великой депрессии Британия сохраняла лидерство в мировой торговле, за ней следовали Соединенные Штаты, производство которых все еще оставалось до известной степени замкнуто на внутренний рынок. Как отмечает советский историк В. Дашичев, их доля в мировой торговле «не соответствовала их весу в мировом промышленном производстве»<sup>25</sup>. Поскольку экономический ущерб, понесенный Германией и Францией в ходе Первой мировой войны, был куда большим, нежели ущерб, понесенный Британией, английская промышленность вновь на короткое время заняла господствующее положение в Европе.

В пространственном отношении Британская империя достигла своего максимального расширения именно после Первой мировой войны. Ее пространство существенно увеличилось по сравнению с «золотым веком» королевы Виктории. В 1931 году она занимала площадь 34 650 тысяч кв. километров при населении в 485,5 миллиона человек. Ее территория занимала четверть обитаемой земной поверхности, где проживал каждый четвертый житель планеты. На ее долю приходилось 20% мирового урожая пшеницы, 23% мирового урожая риса, 27% собираемого в мире хлопка, 36% общего количества рогатого скота, 38% овец и 40% шерсти, 55% мирового производства резины и 100% джута. Во владениях империи собирали треть мирового урожая чайного листа, около трети тростникового сахара. Под ее контролем находилось до четверти мировых разведанных запасов нефти и 28% мировой добычи угля<sup>26</sup>.

Надо учитывать и стратегическую важность новых приобретений. Захватив немецкую Танганьiku, Британская империя установила контроль над огромным и сплошным массивом африканских земель от Кейптауна до Каира. В начале XX века именно по данному маршруту планировалось проложить Трансафриканскую железную дорогу, но строительство оказалось невозможным из-за англо-германских противоречий. После Версальского мира были устранены политические препятствия для реализации проекта, но империя просто не располагала достаточными средствами, чтобы предпринять столь грандиозное начинание. Тем не менее Танганьика была успешно интегрирована с другими британскими владениями и следы немецкого присутствия там почти полностью исчезли.

<sup>25</sup> В.И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма, т. 1, с. 30.

<sup>26</sup> Малая советская энциклопедия, М.: ОГИЗ, 1932, т. 2, с. 98, 100.

Большую стратегическую выгоду империя извлекла из приобретений на Ближнем Востоке. Мандат, полученный в Палестине, укрепил британские позиции в Восточном Средиземноморье, добавив порт Хайфа к торговым и военно-морским центрам на Кипре и в Египте, а обладание Ираком и протекторат над Кувейтом обеспечивали контроль над значительной частью мировой добычи нефти.

Применительно к данному периоду историки пишут об излишнем расширении империи (*overextended Empire*) или даже о «перенапряжении имперских сил» (*imperial overstretch*), когда пространства и массы людей, находившиеся под контролем Лондона, оказывались слишком велики, чтобы ими управлять и их защищать. В той же связи многие авторы высказывают тезис о Британской империи как о случайном конгломерате стран и территорий<sup>27</sup>. Однако более пристальный взгляд заставляет усомниться в подобных рассуждениях.

Разумеется, в процессе формирования любой империи есть «случайные» приобретения, вызванные незапланированными тактическими успехами. Но в целом все ведущие империи, начиная от Римской и включая даже Австро-Венгерскую, формировались и функционировали на основе собственной внутренней логики — в противном случае им просто не удалось бы сохранить свою целостность и устоять на протяжении столетий. Приобретенные территории дополняли и укрепляли друг друга, их ресурсы использовались для консолидации системы. Когда изменившиеся общественно-политические и социально-экономические условия подрывали эту внутреннюю логику, приходил и конец самой империи.

Действительно, кризис империи внешне принимал форму или воспринимался политиками как «*imperial overstretch*», но это было не более чем естественной иллюзией, простым и банальным объяснением, лежащим на поверхности. Если бы проблема состояла именно в излишнем расширении британских владений, она легко могла бы быть решена за счет отказа от некоторых территорий и консолидации стратегически важных позиций — именно таким путем Марку Аврелию удалось на целое столетие приостановить упадок Римской империи. После Первой мировой войны Лондон без особых колебаний отказался от контроля над Ирландией, номинально предоставив ей статус доминиона, а фактически независимость — сопровождавшая смену власти гражданская война была вызвана не столько нежеланием англичан уходить с острова, сколько внутренним противостоянием ирландских религиозных общин и партий. Показательно, что отделение Ирландии от Англии не поколебало престиж империи и не спровоцировало цепной реакции сепара-

<sup>27</sup> См.: P. Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers*; G. Arrighi. *The Long Twentieth Century* и др.

тистских движений (волнения в Индии были вызваны сугубо местными причинами и русская революция повлияла на них куда больше, чем ирландские события).

Больше того, если посмотреть на то, как имперская система справлялась с многочисленными проблемами и вызовами, стоявшими перед ней после Первой мировой войны, можно прийти к выводу как раз о прочности сложившейся структуры, выдерживавшей растущее напряжение долгое время, не подавая признаков слабости. Бесспорно, события 1938–1939 годов и распад империи после Второй мировой войны свидетельствуют о том, что происходили глубинные процессы, размывавшие экономический фундамент империи и подрывавшие ее единство. Но эти выводы могут быть сделаны лишь задним числом, в то время как для стороннего наблюдателя в 1920-е и даже в начале 1930-х годов мощь империи выглядела по-прежнему впечатляюще.

После Первой мировой войны Британия опять оказалась единственной глобальной державой. Франция, несмотря на огромную колониальную империю, тоже увеличившуюся за счет бывших германских владений, была так истощена войной, что самостоятельной роли играть не могла. Роль младшего партнера Британии, которую играл французский империализм в викторианские времена, теперь была окончательно и почти открыто закреплена за ним. Германия, потерпев поражение в войне, лишилась колоний. Россия, пережившая революцию, претендовала на ведущую роль в мировом движении социалистического пролетариата, но никак не в глобальной капиталистической системе. А Соединенные Штаты, резко усилившиеся политически и экономически, все еще не имели ни военной, ни политической инфраструктуры, которая позволила бы им выступать в роли глобальной империи (эту инфраструктуру они нарастили лишь в ходе Второй мировой войны, да и то не без помощи британцев).

Однако, несмотря на то что формально Британская империя находилась на вершине могущества, ее военное и экономическое положение было теперь крайне неустойчивым. Парадокс в том, что, будучи единственной глобальной империей, Британия не имела сил, чтобы безраздельно господствовать и на региональном уровне. В каждой части мира она сталкивалась с местной державой, чьи силы были сопоставимы с британскими или превосходили их. На континенте возрождались Германия. В Средиземноморье набирала силу Италия. На Тихом океане укрепилось влияние Японии. На Атлантическом океане усиливались позиции США, а в Латинской Америке британский империализм полностью уступил свою господствующую роль американцам.

Средств, для того чтобы в равной мере поддерживать британское присутствие во всех регионах, не хватало. Моряки жаловались на ми-

нистерство финансов, которое «помогало врагам страны», все туже «затягивая удавку на шею флота, и мешало замене стареющих кораблей»<sup>28</sup>. Однако вызвано столь непатриотичное поведение было отнюдь не пренебрежением к интересам империи, а, наоборот, необходимостью решать множество разнообразных и разнотипных задач одновременно. Причем главная проблема была не в том, что отсутствовали ресурсы для защиты империи, а в том, что ей все труднее было справляться с дополнительными задачами, стоявшими перед ней из-за ее роли мирового гегемона.

Сохранение империи теперь зависело исключительно от дипломатии, от искусства построения коалиций. Это искусство было хорошо знакомо английской элите, которая с XVIII века расширяла свою империю за счет эффективной политики союзов. Однако на более ранних этапах никто из британских союзников не обладал ресурсами, которые потенциально позволяли ему самому занять место Англии в глобальной капиталистической системе. На сей раз положение было иным.

Самые большие проблемы возникли в Индии. С конца XIX века местные политические партии имели возможность влиять на развитие событий в стране через выборные муниципалитеты и законодательные собрания провинций, хотя у них не было реальной возможности контролировать исполнительную власть. Впрочем, сами по себе выборные органы отнюдь не были образцом демократии: большая часть населения Индии не имела избирательных прав.

К началу Первой мировой войны Индийский национальный конгресс поддерживал вполне лояльные, если не дружеские отношения с колониальной администрацией, высшие чины которой посещали его мероприятия. В 1914 году он принял резолюцию, призывающую к «скорейшей победе империи» (*a speedy victory for the Empire*)<sup>29</sup>. Резолюцию поддержал и вернувшийся из Африки Ганди.

С 1916 года ключевым вопросом индийской политики стало требование самоуправления — *Home Rule* (по аналогии с Ирландией, где данное требование прозвучало еще в XIX веке). Это, впрочем, отнюдь не исключало лояльного отношения к Британии. Ганди объяснял, что его задача, никоим образом не противоречащая развитию империи — «завоевать статус полного равноправия для моих соотечественников»<sup>30</sup>.

Радикализация антиколониального движения в Индии была следствием кризиса Первой мировой войны, причем далеко не последнюю роль сыграло влияние русской революции 1917 года. Однако сама индийская буржуазия не только использовала массовые движения для того, чтобы

<sup>28</sup> Первые залпы британского флота. АСТ, М., 2004, с. 18.

<sup>29</sup> Цит. по: *R. Palme Dutt. India To-Day*. London: Victor Gollancz Ltd., 1940, p. 299.

<sup>30</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 300.

укрепить свои позиции по отношению к британским властям, но и испытывала определенный дискомфорт от происходящего.

В 1917 году британское правительство выпустило Политическую декларацию (Declaration of Policy), известную также как «декларация Монтегю» (Montagu Declaration) — по имени британского секретаря по индийским делам Эдвина Монтегю (Edwin S. Montagu), где обещало Индии самоуправление, однако не назвало ни конкретных дат, ни списка предполагаемых реформ: «важные шаги в данном направлении будут приняты в самое ближайшее время»<sup>31</sup>. С 1919 года часть управленческих функций была передана в провинциях индийским министрам, выбираемым законодательными собраниями. Индия участвовала в переговорах и подписала Версальский мир, она была представлена в Лиге Наций. Статус доминиона — по аналогии с Австралией и Канадой — был обещан, но опять без определенной даты. На протяжении следующих лет никаких новых шагов не последовало.

«Насколько близки мы к этой цели — неопределенному и не прописанному “статусу доминиона”, — писал в конце 1930- годов Пальм Датт. — Никто не знает. Никакой даты не названо. Однако ответственные представители империалистической власти постоянно напоминают нам, что, по их мнению, надо будет ждать долго»<sup>32</sup>.

Сложившаяся после реформ 1919 года переходная система не устраивала в полной мере никого, но породила «катастрофическое равновесие», когда ни одна из основных сил — ни в Англии, ни в Индии — не могла резко изменить ситуацию в свою пользу и тем самым подтолкнуть государство к проведению новой серии реформ. Для консервативных идеологов империи сохранение британской власти в Индии имело не только экономическое, но и политическое, и символическое значение. Лорд Керзон (Lord Curzon) заявлял: «Индия — это основа нашей Империи... если мы потеряем Индию, солнце империи зайдет навсегда»<sup>33</sup>. Между тем индийская буржуазия и средние классы со своей стороны настаивали на постоянно растущем числе уступок. Система управления явно отставала от потребностей меняющегося общества, колониальная бюрократия сталкивалась с возрастающими проблемами, однако сохраняла контроль. Большая часть местных элит и населения вполне готовы были мириться с существованием колониального государства, особенно при условии, если оно будет реформировано, о чем постоянно велись разговоры как в Дели, так и в Лондоне. Колониальная индийская держава — Raj — в том виде, в каком она была сформирована при королеве

<sup>31</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 431.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 436.

<sup>33</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 20.

Виктории, исчезла задолго до официального провозглашения независимости. Как отмечает Лоуренс Джеймс, старый порядок после 1919 года сменила странная и многослойная система, «вводимая постановлениями вестминстерского парламента, управляемая индийцами и контролируемая постоянно сокращающейся командой британских чиновников»<sup>34</sup>.

На фоне политической патовой ситуации происходит радикализация масс, постепенно затрагивающая и буржуазное общественное мнение. После бойни в Амритсаре, когда 13 апреля 1919 года войска открыли огонь по безоружной толпе, убив и ранив несколько тысяч человек, индийская оппозиция радикализуется, а требование политической реформы сменяется призывами к независимости. Британский парламент вынужден был начать расследование о правомерности действий бригадного генерала Реджинальда Э. Дайера (Brigadier-General Reginald E. Dyer), приказавшего своим солдатам стрелять по митингующим. Депутаты признали генерала виновным в неоправданном и чрезмерном применении силы и рекомендовали военному министру Уинстону Черчиллю (Winston Churchill) отправить Дайера в отставку.

Как констатируют английские историки, под влиянием этих событий лидеры Индийского национального конгресса превратились «из лояльных подданных короля-императора в решительных националистов»<sup>35</sup>. Однако несомненно, что эволюция взглядов местных политиков происходила не только под влиянием эмоций. Окрепшая индийская буржуазия требовала более высокого места в иерархии империи и не получая желаемого, начинала ставить под вопрос имперский проект как таковой.

Волна национализма, поднимавшаяся в Западной Европе, охватившая Восточную Европу в конце XIX века, к 20-м годам XX века докатилась до колониальных стран Азии. Как отмечает Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson), в значительной мере этот национализм был порожден самой же имперской пропагандой и созданной по западному образцу системой образования: «Ведь парадокс имперского официального национализма как раз в том и состоял, что он неизбежно внедрял в сознание колонизированных то, о чем все больше мыслили и писали как о европейских “национальных историях”, причем делал это не только через случайные бесполовые празднества, но и через лекционные залы и школьные аудитории»<sup>36</sup>. Вьетнамская и алжирская молодежь узнавала про французский патриотизм, учила миф о Жанне д'Арк и биографии героев революции. «В школы на просторах всей Британской империи проникли

<sup>34</sup> L. James. Raj, p. 640.

<sup>35</sup> N. Collett. The Butcher of Amritsar. General Reginald Dyer. London: Hambledon Continuum, 2007, p. ix.

<sup>36</sup> B. Anderson. Op. cit., p. 118.

“Великая хартия вольностей”, “Прародительница парламентов” и “Славная Революция”, толкуемые как английская национальная история. Борьба Бельгии за независимость от Голландии не могла пройти мимо школьных учебников, которые в один прекрасный день прочли конголезские дети. Так же обстояло дело с историей США на Филиппинах и, наконец, с португальской историей в Мозамбике и Анголе. Ирония тут, разумеется, в том, что эти истории писались исходя из историографического сознания, которое к началу XX века по всей Европе стало определяться в национальных категориях<sup>37</sup>. Парадоксальным образом, исторические мифы, сконструированные в Европе задним числом, стали инструментом, формирующим новое национальное самосознание у интеллигенции и элиты покоренных народов «периферии».

В Индии Ганди смог выработать собственную специфическую версию национализма, апеллирующую к традиционным ценностям, которые теперь переосмысливались как «национальные». По словам Хобсбаума, гандизм представлял собой способ «мобилизовать традиционные массы для нетрадиционных целей»<sup>38</sup>. Имея репутацию идеалиста, Ганди, тем не менее, был достаточно успешным практическим политиком, чтобы понимать, какие преимущества дает тактика ненасильственного сопротивления. Подобный подход позволял ему и его сторонникам вести жесткую борьбу против британских властей, одновременно оставаясь в пределах легальности. С другой стороны, попытка вооруженного восстания, скорее всего, привела бы не только к репрессиям со стороны колониального режима, но и к гражданской войне внутри самого индийского общества, о чем убедительно свидетельствовала история сипаев.

Ганди с его критикой индустриализации и западного общества оказался как раз той фигурой, которая нужна была укрепившейся индийской буржуазии для того, чтобы привлечь на свою сторону традиционные массы. Ганди обещал народу другую независимость, чем ту, о которой мечтало остальное руководство Индийского национального конгресса. Прежние концепции независимости он осуждал как «английское правительство без англичан» (*English rule without Englishman*)<sup>39</sup>. Однако пропаганда Ганди, обещавшая изменить общество в процессе деколонизации, не приняла формы внятной политической альтернативы, а потому оставалась не более чем идеологической риторикой, за которой все более прорисовывались контуры нового буржуазного порядка, основанного на освобождении колониального государства от контроля со стороны ветшающей

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> E.J. Hobsbawm. Op. cit., p. 78.

<sup>39</sup> Цит. по: T. Ahmet. Gandhi: the man behind the myth. *International Socialism*, Summer 2009, No. 123, p. 126.

метрополии. Апелляция к традициям и идеалам масс стала фактором политической борьбы, повлияв на ее методы, но отнюдь не на ее цели.

По инициативе Ганди была начата кампания бойкота, направленная против английских институтов и товаров в Индии. Она включала в себя отказ от почетных званий и должностей, бойкот официальных приемов, бойкот английских школ и колледжей, бойкот судов и выборов, наконец, бойкот иностранных товаров. Кампания, начавшаяся в августе 1920 года продолжалась до февраля 1922 года, когда к ее прекращению призвал сам же Ганди из-за того, что протесты начали принимать насильственный характер.

Наиболее заметные последствия имел бойкот английских тканей, поскольку по ходу дела индийское население переключилось на местные товары, пошатнув мировой рынок текстиля. «Ганди предложил своему народу относительно безболезненный путь спасения в условиях неизбежного кризиса западной цивилизации, — замечает Шубин, — максимально возможное самообеспечение. Последователи Ганди подготовились к кризису раньше и лучше других жителей планеты, вовлеченных в глобальный рынок»<sup>40</sup>. Фактически бунт против колониального гнета обернулся для национального движения Индии — в момент его наивысшего подъема — восстанием против рынка.

## ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ

«Спусковой крючок Великой депрессии следует искать в Первой мировой войне», — считает экономист Василий Галин<sup>41</sup>. В годы войны США получили своеобразный «промышленный допинг», увеличивая свою долю рынка за счет упадка европейских стран, занятых борьбой друг с другом. Выпадение России из капиталистической миросистемы кардинально изменило баланс сил, резко сузив Лондону поле для маневра, и одновременно, создав благоприятные условия для восхождения Америки. После войны для американской продукции открылись новые рынки. Между 1914-м и 1924-м годом золотой запас Соединенных Штатов увеличился с 1924 миллионов до 4499 миллионов долларов, что составляло по подсчетам экономистов «примерно половину всего золота мира»<sup>42</sup>. В итоге с 1913 по 1929 год доля США в мировом промышленном производстве возросла более чем в два раза, достигнув 43%, а национальное богатство страны увеличилось на 40%<sup>43</sup>. Правда, уже в середине

<sup>40</sup> А. Шубин. Великая депрессия и будущее России. М.: Яуза, 2009, с. 35.

<sup>41</sup> В. Галин. Политэкономика войны. Тупик либерализма. М.: Алгоритм, 2007, с. 332.

<sup>42</sup> R. Palme Dutt. World Politics, p. 67.

<sup>43</sup> См.: В. Галин. Политэкономика войны. Тупик либерализма, с. 333.



1920-х годов по мере того как производство в европейских странах начало восстанавливаться, у американских экспортеров возникли трудности со сбытом. Однако подлинного значения подобных трудностей никто в тот момент не понял.

В середине 1920-х годов мировая экономика переживала бум. Восстановление мира в Европе создало массовый спрос на самые разные виды товаров. Резко вырос экспорт из Соединенных Штатов, но и другие страны Запада развивались успешно. «Процветание казалось бесконечным, — замечает Шубин. — К концу десятилетия промышленное производство во Франции выросло на 40% по сравнению с довоенным, а в США — более чем на 20%. Скромнее были успехи Великобритании — ей удалось только восстановить довоенный уровень производства»<sup>44</sup>. Понемногу восстанавливалась и хозяйственная жизнь в Германии, разоренной войной и репарациями Версальского мира.

Как и все предыдущие кризисы, депрессию делала неизбежной узость внутреннего рынка ведущих западных стран. После того как восстановительный период закончился, мировая система снова пришла примерно в то же состояние, в каком находилась перед Первой мировой войной, когда конфликты между ведущими западными державами разворачивались на фоне сокращающегося спроса на промышленную продукцию.

Кризис, таким образом, был социальным в той же мере, что и экономическим. Александр Шубин подчеркивает, что были исчерпаны «возможности социальной системы “империализма” и емкость рынка»<sup>45</sup>. Иными словами, проблема была не в том, что европейские экономики, восстанавливаясь, создавали конкуренцию американцам, а в том, что при данной социальной модели возможности экономического роста в принципе были ограничены, а потому промышленный рост, ведя к насыщению рынков, не только не подпитывал себя, но напротив, готовил кризис перепроизводства и будущий спад.

Уже в 1924 году наметился спад, который Федеральная резервная система смогла преодолеть за счет увеличения денежной массы. Однако, как и позднее, во время кризиса конца 2000-х годов, значительная часть средств пошла не в реальный сектор, а в финансовые спекуляции, вызвав появление очередных «биржевых пузырей». История, начавшаяся с South Sea Bubble в XVIII веке, повторялась, никого ничему не научив.

Возможности для экономического роста в США были исчерпаны, а другая крупнейшая экономика тогдашнего мира — британская — переживала стагнацию. Волнения в Индии, как и неспособность Германии платить по репарациям усугубили финансовые проблемы Британии. Ни

<sup>44</sup> А. Шубин. Великая депрессия и будущее России. М.: Яуза, 2009, с. 7.

<sup>45</sup> Там же, с. 11.

у государства, ни у частного бизнеса не было достаточных ресурсов для продолжения развития. Банкиры лондонского Сити остро нуждались в деньгах. Стремясь получить свободные средства, английские финансисты начали массированную продажу своих американских активов.

В октябре 1929 года наступил «черный четверг» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Курсы акций обрушились, вызвав настоящую панику. За последующие несколько недель акции, котировавшиеся на Уолл-стрит, потеряли более трети своей стоимости — 32 миллиарда долларов. Но это было еще не концом — снижение биржевых курсов продолжалось почти безостановочно. На протяжении последующих трех с половиной лет падение производства привело к катастрофическим последствиям по всему миру. Если до этого экономика США была локомотивом, которая вытягивала за собой другие страны после Первой мировой войны, то теперь американский крах увлек за собой другие рынки. К 1933 году мировое промышленное производство снизилось на 37%. А 25 стран вынуждены были прекратить платежи по внешним долгам, объявив дефолт<sup>46</sup>.

Экономики Германии и Франции пострадали не менее катастрофически, чем американская. Несколько лучше обстояли дела в Великобритании, где промышленный спад составил примерно 10%, тогда как в Германии производство сократилось почти наполовину<sup>47</sup>. Однако следует помнить, что и послевоенное восстановление экономики Англии в 1920-е годы было довольно медленным. Иными словами, британскую экономику предохранило от катастрофического спада то, что стагнация началась там гораздо раньше.

Однако Британская империя пострадала от кризиса весьма существенно. Если доля колоний и доминионов в британском экспорте росла неуклонно, особенно в годы депрессии (34,5% в 1913 году, 43,5% в 1930 году и 46,8% в 1931 году), то доля имперских территорий в британском импорте, напротив не увеличивалась, а в годы кризиса даже снижалась (27,7% в 1913 году, 29,2% в 1930 году и 27,3% в 1931 году)<sup>48</sup>. Доля Великобритании во ввозе и вывозе ее доминионов заметно уменьшилась. Современники констатировали, что в империи «происходит ослабление внутренних хозяйственных связей»<sup>49</sup>.

Ничего или почти ничего не дал Акт о развитии колоний (Colonial Development Act) 1929 года. Колониальные элиты были все менее заинтересованы в сохранении существующего порядка, они «обнаружили, что условия имперской торговли становятся для них все менее благоприят-

<sup>46</sup> См.: В. Галин. Политэкономика войны. Тупик либерализма, с. 331.

<sup>47</sup> См.: Там же, с. 131.

<sup>48</sup> Малая советская энциклопедия, М.: ОГИЗ, 1932, т. 2, с. 102.

<sup>49</sup> Там же.

ными» (found the terms of imperial trade turning against them)<sup>50</sup>. Именно после депрессии начинаются серьезные антиколониальные выступления в Африке, усиливаются националистические настроения в Индии. Не случайно новая волна антибританских выступлений в Индии, знаменитый соляной марш Ганди, разворачивается в разгар Великой депрессии — 1930–1931 годы. Британская соляная монополия в Индии существовала на протяжении длительного времени, не вызывая массового протеста, но именно теперь ей был брошен вызов.

Вестминстерский статут 1931 года, серьезно расширив права доминионов, должен был сплотить империю, способствуя укреплению экономических связей в ее рамках. Это становилось особенно важно на фоне очередной волны протекционизма, охватившей капиталистический мир, включая саму Великобританию. Однако как доминионы, так и колонии, пытаясь справиться с кризисом, продолжали активно искать новые рынки за пределами империи, прежде всего в Америке.

Как всегда бывает во время кризисов, вера в свободную торговлю быстро сменилась призывами к протекционизму. В 1926 году группа банкиров из Англии и других стран подписала «Обращение о необходимости убрать препятствия на пути европейской торговли» (A Plea for the Removal of Restrictions upon European Trade), где утверждала, что восстановление «экономической свободы является наилучшим способом оживить кредит и коммерцию по всему миру»<sup>51</sup>. Спустя 4 года те же британские банкиры уже призывали: «Великобритания должна сохранить свой рынок открытым для импортеров из других частей империи, но должна быть готова защищать его высокими тарифами от импорта из всех других стран»<sup>52</sup>.

Подобные призывы, разумеется, были услышаны политиками. После Великой депрессии британский правящий класс постепенно отказывается от политики свободной торговли, пытаясь, как отмечают историки, замкнуться в «своей собственной торговой и финансовой орбите, вокруг Содружества и стерлинговой валютной зоны»<sup>53</sup>. Это было вполне логичным средством для того, чтобы стабилизировать и укрепить позиции империи. Но одновременно такие действия подрывали положение Британии в качестве глобального гегемона капиталистической системы.

<sup>50</sup> A.N. Porter, A.J. Stockwell, ed. *British Imperial Policy and Decolonization*, vol. 1, p. 12.

<sup>51</sup> Цит. по: R. Palme Dutt. *World Politics*, p. 97.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 98.

<sup>53</sup> D. Reynolds. *Britannia Overruled. British Policy and World Power in the 20<sup>th</sup> Century*. London & N.Y.: Longman, 1991, p. 207.

## XI. Смена гегемона

Причиной двух мировых войн была «агония европейской либеральной демократии образца XIX века»<sup>1</sup>, — считает экономист Василий Галин. В самом деле социально-политическая система Запада, в том виде, в каком она сложилась в эпоху империализма, явно не справлялась с вызовами ею же порожденного развития. Кризис и трансформация мирового капитализма в 1914–1945 годах представляли собой единый, но хаотичный и болезненный процесс, сопровождавшийся неизбежным в условиях обостряющейся классовой борьбы появлением социалистической альтернативы.

Со времени самых первых народных восстаний в средневековой Европе каждое революционное выступление масс грозило перерасти в антибуржуазную революцию, но каждый раз буржуазным лидерам политической жизни удавалось с этой угрозой справиться. В период якобинской диктатуры глубоко враждебные интересам капитала плебейские силы оказались очень близки к власти. Парижская коммуна в 1871 году продемонстрировала, что рабочие организации могут на некоторое, пусть недолгое время не только взять власть, но и сформулировать собственную позитивную программу. С этого момента социализм становится идеологической альтернативой, с которой приходится считаться. А русская революция хоть и не смогла осуществить социализм на практике в том виде, в каком провозглашала его, дала всему миру пример политического успеха радикальной антикапиталистической партии и возможность создания государства на каких-то новых принципах.

На политическом уровне социалистическая альтернатива в Европе потерпела поражение к концу 1930-х годов. Неудача испанской революции и поражение немецкой компартии свидетельствовали о том, что социальный кризис, порожденный Великой депрессией, вопреки ожиданиям многих левых заканчивается не новой революцией, а торжеством реакции. Национализм, поддержанный Вудро Вильсоном в качестве альтернативы социализму на окраинах Европы, теперь торжествовал в ее центральных странах. Однако поражение революционных сил отнюдь не означало, будто решены социальные проблемы и противоречия, породившие недовольство масс. И эти проблемы надо было решать.

Теперь правящие классы ведущих стран Запада вынуждены были одновременно заботиться о решении социальных проблем, грозящих

<sup>1</sup> В. Галин. Политэкономика войны. Заговор Европы, с. 329.

взорвать общество, и оглядываться на другие империалистические державы. Чем острее были социальные конфликты внутри каждой отдельной страны, тем сильнее был соблазн решить их за счет внешней экспансии. На идеологическом уровне эта потребность лучше всего выражалась фашистской или нацистской идеологией. В первую очередь волна агрессивного национализма охватывала страны, проигравшие в Первой мировой войне. Общественное мнение Германии остро переживало поражение. А в Италии, которая формально оказалась в лагере победителей, прекрасно помнили, что ее собственная армия умудрилась проиграть все свои сражения, а выгоды, извлеченные из участия в победоносной коалиции, оказались ничтожными.

## ИМПЕРИАЛИЗМ И ФАШИЗМ

Неудача в Первой мировой войне не сделала немецкий капитал менее агрессивным. Оправляясь от политического и экономического кризиса, связанного с военным поражением, буржуазные круги Германии искали способ вернуть себе прежние позиции в Европе и мире.

Приход к власти Гитлера и его национал-социалистов позволял разом решить несколько проблем — покончить с коммунистической угрозой, гарантировать лояльность масс, успокоив рабочий класс социальными реформами, и подготовиться к новой войне, которая должна была одновременно расширить рынок для немецкого капитала и укрепить материальную базу социальной политики за счет ресурсов завоеванных и подчиненных стран.

Между тем соотношение сил между странами, претендующими взять на себя роль глобального гегемона вместо слабеющей Британской империи, к середине 1920-х годов изменилось. Потеря колоний воспринималась в Берлине как серьезная стратегическая проблема, серьезно снижающая перспективы германской промышленности. «Если такая империалистическая держава, как Соединенные Штаты, смогла компенсировать отсутствие больших колониальных владений скрытыми формами экономической экспансии — иностранными капиталовложениями, то Германия оказалась не в состоянии сделать это»<sup>2</sup>, — пишет В. Дашичев. Первая мировая война и Версальский мир свели на нет германское экономическое присутствие за пределами Европы. Если в 1913 году иностранные инвестиции германского капитала составляли 35 миллиардов марок, а Германия занимала по этому показателю второе место в мире после Англии (75 миллиардов), опережая США (13 миллиардов) и идя практически наравне с Францией (36 миллиардов), то к середине 1930-х годов мы видим совершенно иную картину. США вышли на первое ме-

<sup>2</sup> В.И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма, т. 1, с. 30.

сто (102 миллиарда), Англия перешла на второе (71 миллиард), а Германия оказывается в конце списка. Объем ее зарубежных инвестиций составляет всего 10 миллиардов марок. «Отсюда видно, что по сравнению с довоенным уровнем Соединенные Штаты увеличили к 1938 году свои капиталовложения за границей в восемь раз, превзойдя намного первую колониальную державу — Англию, в то время как иностранные капиталовложения Германии за этот же период сократились в 3,5 раза»<sup>3</sup>.

Если Германия и готова была смириться с потерей заморских колоний, то лишь при том условии, чтобы эти утраты были компенсированы за счет возможности экспансии в Восточной Европе. Об этом открыто и ясно говорили нацистские лидеры. Немцам нужна была «новая колониальная империя на Востоке»<sup>4</sup>. Вскоре после прихода к власти, Гитлер, выступая перед генералами вермахта, объяснял им политические перспективы следующим образом: «Англичане боятся экономической угрозы больше, чем военной мощи. 80-миллионный народ разрешил свои идеологические проблемы. Необходимо теперь разрешить экономические проблемы... Это невозможно сделать без вторжения в иностранные государства и без овладения чужой собственностью»<sup>5</sup>.

Новая континентальная империя не обязательно должна была строиться за счет возвращения прежних колониальных владений (хотя после поражения Франции в 1940 году подобные планы в Берлине строили). Восточная Европа была более близкой и, как казалось, легкой добычей. Не скрывалось и то, что «эта империя при одновременном подчинении всех дунайских стран должна приблизить Гитлера к европейской гегемонии»<sup>6</sup>. Именно в этом состояла причина того, что англо-французские элиты не могли допустить бесконтрольной экспансии гитлеровской Германии на Восток. С одной стороны, казалось бы, такая экспансия снимала непосредственную угрозу для их колониальных владений, но, с другой стороны, радикально меняла общее соотношение сил в мире. К тому же оставался вопрос о восточноевропейских рынках, обострившийся на фоне трудностей, испытываемых капиталистической экономикой после Великой депрессии. Превращение восточноевропейских рынков в исключительную вотчину немецкого капитала было бы плохой новостью для английской и французской промышленности. По той же причине в Лондоне и Париже крайне негативно отнеслись к идее объединения Австрии и Германии, которая была весьма популярна в Вене в 1918–1921 годах, а потом — к идее австро-германского таможенного союза.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Цит. по: В. Галин. Политэкономия войны. Заговор Европы, с. 105.

<sup>5</sup> В. И. Дашинцев. Банкротство стратегии германского фашизма, т. 1, с. 32.

<sup>6</sup> Цит. по: В. Галин. Политэкономия войны. Заговор Европы, с. 105.

На протяжении 1930-х годов британский правящий класс колебался между пониманием опасности фашизма и страхом перед коммунизмом. Причем далеко не всегда исходившая из Германии нацистская угроза была на первом плане. С одной стороны, противостояние с Германией диктовалось не столько неприятием нацистской идеологии и политики Адольфа Гитлера, сколько геополитическим и экономическим соперничеством. С другой стороны, под коммунизмом понималась не только и не столько идеология, господствовавшая в СССР, сколько реальное массовое движение, развивавшееся в Западной Европе, включая даже ту же Англию. Несмотря на свою гуманистическую и либеральную риторику, британские элиты могли бы закрыть глаза на эксцессы германского нацизма, если бы не гегемонистские претензии Берлина. Точно так же они могли бы примириться и сосуществовать с Москвой, если бы не ее связь с Коммунистическим интернационалом. Понимая эти настроения, Сталин в разгар Второй мировой войны распустил Коминтерн.

Коммунизм представлял угрозу не для Британской империи как таковой, а для капиталистической миросистемы, гегемоном (и, следовательно, хранителем) которой выступала Британия. Вне этой системы терял смысл и империя. Напротив, германский нацизм был нацелен на то, чтобы сохранив систему, подорвать в ней позиции слабеющей Британии и занять в этой системе центральное место до того, как на ту же роль смогут с достаточным основанием претендовать Соединенные Штаты. В первом случае опасения правящих кругов Лондона основывались на классовом интересе, во втором — на имперском.

Нерешительность британского правительства усиливалось тем, что оно не чувствовало за собой надежной поддержки империи. Когда в 1938 году разразился кризис вокруг Чехословакии, доминионы ясно дали понять лондонскому кабинету, что не готовы воевать с немцами ради спасения какого-то маленького государства в Центральной Европе<sup>7</sup>. Возможно, британский премьер Невилл Чемберлен (Neville Chamberlain) использовал недовольство доминионов в качестве своеобразного политического алиби для своего кабинета, отправляясь подписывать с Гитлером позорное мюнхенское соглашение. Ведь спустя год с небольшим, когда война все-таки началась из-за Польши, все доминионы кроме Ирландии вступили в борьбу против фашизма и добросовестно в ней участвовали. Тем не менее оппозиция доминионов в 1938 году была реальностью, усугубляющей чувство растерянности и неуверенности в Лондоне. Та же растерянность, двойственность и неуверенность была характерна для поведения британских дипломатов во время провалившихся англо-франко-советских военных переговоров 1939 года.

<sup>7</sup> Подробнее см.: *L. James. The Rise and Fall of the British Empire*, p. 467–480.

Можно сказать, что страхи британской буржуазии по отношению к Германии и России носили зеркальный характер. Однако идеологическое развитие обеих континентальных держав до известной степени шло в противоположном направлении. Для германского империализма нацизм становился системой и программой, которая позволяла максимально эффективно сконцентрировать ресурсы и волю нации для борьбы за мировое господство, тогда как советская элита все явственнее отступала от идей мировой революции, все больше подчиняла деятельность мирового коммунистического движения собственным национальным интересам (в отличие от начала 1920-х годов, когда Советский Союз в значительной мере выступал в качестве источника политических и материальных ресурсов для имеющего собственные задачи Коминтерна).

Если в Лондоне идеологический и геополитический вектор находились в противоречии, запутывая правящие круги и создавая для них массу проблем в процессе принятия решений, то в Берлине эти два вектора в значительной мере (хотя не всегда) совпадали. Конфликт между Германией и СССР был предопределен совпадением логики идеологического противостояния с логикой геополитической экспансии. Конечно, здесь тоже не обходилось без колебаний и противоречий. Поддерживаемое из Москвы коммунистическое движение начала 1930-х годов безусловно представляло угрозу для капиталистического порядка в Германии и Центральной Европе, что и предопределило выбор значительной части корпоративной буржуазии в пользу фашизма — единственной эффективной на тот момент политической альтернативы социальным преобразованиям. Радикализм фашизма (и тем более — германского национал-социализма) позволял блокировать революционные импульсы в обществах, переживших унижение Версальского мира, ужасы Великой депрессии и острый всплеск классовой борьбы. Однако угроза коммунистической альтернативы была снята с повестки дня для Германии к середине 1930-х годов, а поражение республиканской Испании в гражданской войне 1936–1939 годов и разложение правительства Народного фронта во Франции свидетельствовали о том, что революционный прилив сменяется отливом уже в масштабах Европы. Именно на этом этапе для нацистских лидеров Германии становится возможно соглашение со сталинским руководством СССР, которое в свою очередь из прагматических соображений идет на пакт с Гитлером. Но социально-политический конфликт нацизма с коммунизмом накладывается на геополитическое противостояние германского империализма с атлантической мировой империей — Британией, а позднее и с Соединенными Штатами, понемногу заступающими на ее место. Логика борьбы за гегемонию в мировой системе вновь возвращает Германию, как континентальную державу, к исходной точке противостояния с Россией, только теперь на первом



плане стоят не социально-идеологические, а геостратегические соображения. Как и в случае с Наполеоном, победа континентальной державы над атлантической империей в подобном противостоянии была бы возможна лишь в случае, если удалось консолидировать контроль над всем европейским континентом. А это означало необходимость лобового столкновения с Россией. Идеологическое противостояние нацизма и коммунизма, отошедшее на второй план к концу 1930-х годов, снова оказывается важнейшим политическим фактором, теперь уже служа новой цели — обоснованию мобилизации военно-политических сил подвластной Берлину Европы на очередной «крестовый поход».

Однако на сей раз, усвоив уроки Первой мировой войны, в Германии начали войну на западе, обезопасив себе тыл на востоке. Пакт со Сталиным позволил Гитлеру решить эту проблему, после чего Вторая мировая война стала реальностью. За Польшей пришла очередь Дании, Норвегии и Франции.

Поражение Франции в 1940 году обрекало Британскую империю не столько на одиночество, сколько на неизбежную утрату глобальной роли. Победа в борьбе с Германией один на один была теоретически возможна даже в этот период: но лишь за счет концентрации всех имеющихся ресурсов в Западной Европе. А это означало неминуемый закат империи.

Морская стратегия в очередной раз дала сбой — оказывалось невозможным одновременно вести в Европе тотальную войну против Германии и защищать имперские интересы по всему миру. Знаменитый британский флот, основные силы которого ранее были сосредоточены в Северном и Средиземном морях, к началу Второй мировой войны «был раздерган по частям, чтобы решать разнообразные задачи на всех океанах»<sup>8</sup>. Как замечает российский военный историк, Королевский флот провел в годы Второй мировой войны быть может свою лучшую кампанию, при том что «он был вынужден вести такую войну, какая не предусматривалась даже для флота в золотую эпоху безраздельного господства на морях. Королевский флот оказался вынужден воевать сразу на трех океанах: в Атлантике, в Арктике, в Индийском». Сюда следует добавить средиземноморские и тихоокеанские операции, где бои велись «с ничуть не меньшим размахом и напряжением»<sup>9</sup>.

Британская империя сражалась героически и Уинстон Черчилль был, безусловно, прав назвав Вторую мировую войну ее лучшим часом (finest hour). Однако солнце империи уже заходило, а на авансцену истории выходили новые державы — Америка и Советский Союз.

<sup>8</sup> Первые залпы британского флота, с. 22.

<sup>9</sup> А.Г. Больных. Предисловие к книге П.Ч. Смит. Пьедестал. М.: АСТ, 2006, с. 17.

## ГЛОБАЛЬНАЯ РОКИРОВКА — ВОСХОЖДЕНИЕ АМЕРИКИ

Вторжение Гитлера в Советский Союз резко изменило характер и масштабы войны, создав новую геополитическую ситуацию. Провал «блицкрига» в 1941 году фактически лишил Германию шансов на глобальную победу, но во-первых, это оставалось еще далеко не очевидным для участников событий, а во-вторых, от дальнейшего хода войны зависело будущее соотношение сил между победителями.

В 1942 году, на фоне успехов, одержанных поддерживавшей Гитлера Японией, в Берлине предпринимают последнюю попытку овладеть глобальной стратегической инициативой за счет одновременного броска на Ближний Восток и в Закавказье. Военный историк Алексей Исаев характеризует задачу немецкой кампании 1942 года как «поход за нефтью»<sup>10</sup>. Еще в августе 1941 года немецкий генеральный штаб констатировал, что положение с жидким топливом «уже сейчас очень напряженное»<sup>11</sup>.

Немецкое наступление, развернувшееся одновременно на Кавказе и в Африке, было последним «глобальным проектом» немецкого империализма. Еще весной 1941 года в Ираке, где сильны были позиции арабских националистов, власть захватили сторонники Гитлера. В конце апреля 1941 года иракская армия блокировала военные базы колонизаторов, а новое правительство обратилось за помощью к Германии. В Багдад прибыла немецкая авиация, берлинское министерство пропаганды развернуло кампанию под лозунгом: «Победа держав оси несет странам Среднего Востока освобождение от английского ига»<sup>12</sup>. Восстание в Ираке было подавлено к маю 1941 года, но в Берлине все еще сохранялись надежды на арабский национализм.

К концу осени 1942 года немецкие армии стояли на Волге, на Кавказском хребте, на подступах к Александрии. «В результате проведения наступления на южном крыле фронта гитлеровское командование рассчитывало овладеть нефтяными богатствами Кавказа, нарушив связь Советского Союза с внешним миром через Иран, втянуть в войну Турцию, радикально изменив в свою пользу стратегическую обстановку на Ближнем и Среднем Востоке. Это должно было, по замыслам гитлеровских стратегов, не только поставить на грань катастрофы Советский Союз, но и создать благоприятные условия для развертывания дальнейшей борьбы против Великобритании в районах, имевших жизненно важное значение для сохранения имперских позиций англичан»<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> См.: А. Исаев: Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали. М.: ЭКСМО, 2007.

<sup>11</sup> В. И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма, т. 2, с. 288.

<sup>12</sup> История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. М.: Воениздат, 1960, т. 1, с. 310.

<sup>13</sup> В. И. Дашичев. Цит. соч., т. 2, с. 309.

Однако немецкая военная машина надорвалась. После разгрома под Сталинградом война была проиграна окончательно. В Африке армии фельдмаршала Роммеля (Rommel) после поражения при Эль-Аламейне (El Alamein) откатывались на запад. Главный вопрос войны для союзников состоял уже в том, кто пожнет основные плоды победы.

Закулисное соперничество СССР и Западных держав в рамках антигитлеровской коалиции хорошо известно и тщательно изучено. Но наряду с этим противостоянием разворачивалось и другое, куда менее заметное и гораздо менее очевидное — между Лондоном и Вашингтоном шла тихая борьба за решающие позиции в капиталистической миросистеме. Для британского руководства уже в ходе войны стало совершенно ясно, что лидирующая роль в системе мирового капитализма переходит к США. Но конкретные условия этой политической рокировки оставались не вполне очевидными. Роль Британии как второй великой державы Запада надо было определять заново и соотношение сил между союзниками менялось как на протяжении последних лет войны, так и после ее окончания.

Черчилль считал, что соотношение сил между союзниками необратимо изменилось после падения Тобрука (Tobruk) в 1942 году. В действительности это произошло гораздо раньше. Однако на дипломатическом уровне переломным моментом оказалась Тегеранская конференция 1943 года, на которой американский президент Рузвельт активно подержал Сталина в полемике с Черчиллем.

Как известно, Черчилль предлагал открыть Второй фронт на Балканах, что было вполне осуществимо уже к позднему лету или осени того же года. Сталин настаивал на высадке в Нормандии — тоже в 1943 году, хотя все участники переговоров прекрасно понимали, что речь идет о значительно более отдаленном сроке.

С чисто военной точки зрения Балканский сценарий имел целый ряд преимуществ, главное из которых состояло в том, что технически его осуществить было легче, а следовательно, открыть Второй фронт можно было раньше. О том, что предложенное Черчиллем давление на немцев с юга могло бы существенно облегчить положение советских войск, свидетельствуют события, последовавшие за высадкой союзников в Сицилии. Произошло это в разгар Курской битвы, и уже 13 июля (на следующий день после неудачного советского контрудара под Прохоровкой) Гитлер на совещании в ставке объявил своим генералам о прекращении операции «Цитадель» на Курской дуге. «Одна из причин этого решения — высадка союзных войск в Сицилии. Как заявил Гитлер, итальянцы вообще не воюют, поэтому Германии придется часть сил снять с Восточного фронта, чтобы перебросить их на юг Европы»<sup>14</sup>. Фельдмаршал

<sup>14</sup> В. Замулин. Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют. М.: Яуза; ЭКСМО, 2007, с. 569.

Манштейн (Manstein) задним числом сетовал, что именно это решение Гитлера «отняло» у него неминуемую победу под Курском<sup>15</sup>. Известно, что «военное руководство Германии восприняло подготовку союзников к высадке на Сицилии и последующие боевые действия на острове значительно спокойнее, чем фюрер»<sup>16</sup>. Однако прав в данной ситуации был именно Гитлер, а не его генералы: лидер «Третьего рейха» оценивал весь комплекс политических и военных последствий, который будет вызван капитуляцией Италии, воздействие этого факта на прочих сателлитов Германии и на общую ситуацию в бассейне Средиземного моря.

Советские историки справедливо добавляют, что даже и без событий в Сицилии, битва на Курской дуге была бы немцами проиграна — наступление германских войск выдыхалось. Однако события в Сицилии показали, что на средиземноморском театре военных действий можно сравнительно небольшими силами и быстро достигать весьма значительных стратегических результатов. После того как была прорвана блокада Мальты, на море господствовал Британский флот, а союзники имели возможность высадиться в практически любой точке огромного побережья Балкан и Южной Италии, создавая в перспективе угрозу Румынии, а в случае быстрого успеха — немецким войскам на южном фланге Восточного фронта, Будапешту и Вене. Напротив, в Северной Франции атаковать надо было сравнительно узкое, тщательно подготовленное к обороне пространство, в зоне действия основных сил немецкой авиации и подводных лодок, позиции насыщенные превосходными тыловыми коммуникациями, в непосредственной близости от самой Германии.

Принято считать, что отвергая Балканский план Черчилля, Сталин исходил из геополитической логики, стремясь в перспективе распространить советское влияние на Балканы и Восточную Европу. Скорее всего подобные соображения были не чужды генералиссимусу, но ничуть не в меньшей (а учитывая обстоятельства 1943 года, даже в большей) степени руководствовался он стратегическими соображениями. Парадоксальным образом, хотя «Балканский план» в большей степени мог облегчить положение советских войск в 1943–1944 годах, чем открытие Второго фронта во Франции, он приближал окончание войны и полный разгром Германии в куда меньшей степени, чем высадка в Нормандии, которая непосредственно угрожала бы индустриальным и жизненным центрам «Третьего рейха». Иными словами, если в плане Черчилля преобладала тактика, то требования Сталина были продиктованы соображениями стратегии.

<sup>15</sup> См.: Э. Манштейн. Утерянные победы. М.: Воениздат, 1957, с. 447–448.

<sup>16</sup> В. Замулин. Цит. соч., с. 572.

Если у Сталина, таким образом, было более, чем достаточно оснований отвергнуть Балканский план Черчилля, то куда менее очевидно, почему Сталина в Тегеране поддержал Рузвельт. Рассказы дипломатов о личном влиянии, которое оказывал генералиссимус на американского президента, остановившегося в советском посольстве, относятся скорее к области исторических анекдотов. А с точки зрения общей логики соперничества между Востоком и Западом, позиции Рузвельта должны были бы совпадать с позициями британского премьера. Однако руководство Соединенных Штатов в тот период прежде всего было озабочено не сдерживанием коммунизма, а перехватом у Британии глобальной гегемонии<sup>17</sup>.

Английский историк Питер Кларк (Peter Clarke) отмечает что задолго до Тегерана имел место «долгосрочный стратегический спор между союзниками». Планы британского премьера систематически отвергались руководством США: «не только Сталин жестко выступал по вопросу о Втором фронте: Черчилль и Рузвельт решительно не могли договориться по этому вопросу между собой в течение почти двух лет»<sup>18</sup>.

В 1942 году вооруженные силы Британской империи все еще существенно превосходили американские, но военная мощь США нарастала с каждым днем на фоне усиливавшейся зависимости англичан от экономической помощи и поставок вооружения из-за океана. В этих условиях американские политики постоянно настаивали на том, чтобы совместные операции проводились под командованием их генералов, несмотря на то что последние и по опыту, и по компетентности существенно уступали британским.

Солидаризируясь с Москвой, американское руководство систематически ослабляло влияние Лондона. А высадка в Нормандии окончательно изменяла военно-политическое соотношение сил на Западе. Если на Балканах британцы (с их флотом, боевым опытом и политическими связями) могли бы играть решающую роль в организации Второго фронта, то дорогостоящая и технически крайне сложная операция в Нормандии могла быть реализована лишь при неоспоримом лидерстве США. Тегеранская конференция оказалась не столько дипломатическим успехом Сталина, сколько историческим поражением Англии в отношениях с Соединенными Штатами.

<sup>17</sup> Сходной точки зрения, видимо, придерживается российский автор В. Трушников в книге «Атлантические войны. 1939–1945 годов. Как Америка победила Англию» (М.: АСТ, СПб.: Астрель, 2008). Проблема в том, что по теме, заявленной в заголовке книги, там почти ничего нет, а то, что есть, написано крайне сбивчиво и невнятно.

<sup>18</sup> P. Clarke. *The Last Thousand Days of the British Empire*. N.Y.: Bloomsbury Press, 2008, p. 33.

Военно-технический перевес США усилился после изобретения и применения атомного оружия. Японские дипломатические шифры были взломаны американцами и англичанами уже в середине войны, и западные союзники были неплохо осведомлены о положении дел в Токио. Не было особых сомнений в том, что воля к сопротивлению у японского руководства подорвана. В 1946 году американские военные сами признавали, что Япония должна была в любом случае капитулировать еще до конца 1945 года и это произошло бы, «даже если бы атомные бомбы не были сброшены, даже если бы Россия не вступила в войну, и даже если бы вторжение на Японские острова не планировалось бы и не готовилось»<sup>19</sup>. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не имела военного смысла — это был акт устрашения, адресованный не столько японцам, сколько союзникам Америки. Русские должны были испугаться, а западные союзники понять весь масштаб технического разрыва между ними и американцами. В последнем случае, впрочем, расчет не оправдался. Собственным ядерным оружием вскоре смог обзавестись не только Советский Союз, но также Великобритания и Франция, а позднее и Китай. Однако наращивание ядерных арсеналов в 1960-е и 1970-е годы привело к тому, что только СССР и США оказались обладателями стратегического ядерного потенциала, тогда как остальные державы, получившие доступ к новому оружию, могли лишь использовать обладание им в качестве символического доказательства своей принадлежности к числу «великих держав».

Послевоенная реорганизация капитализма закрепила новую расстановку сил. На протяжении ряда лет систематически выстраивается система институтов, призванная обеспечить американскую гегемонию. Бреттон-Вудское соглашение (Bretton Woods agreement) установило ведущую роль американского доллара. Подобное положение американской валюты не только фиксировало мощь экономики США. Британский фунт, несмотря на политическую и финансовую мощь империи, никогда не играл подобную роль, выступая всего лишь одной из европейских валют, наряду с прочими. Викторианская эпоха была временем, когда золото, выступая в роли мировых денег, позволяло обеспечивать «нейтральный» стандарт для финансовых систем во всех концах планеты. Напротив, глобальная роль доллара сделала денежную политику и Федеральную резервную систему США инструментами глобальной гегемонии. Господство доллара окончательно разрушало экономическое единство Британской империи. Распад единого хозяйственного пространства, начавшийся во время Великой депрессии, был теперь закреплен официальными соглашениями: «имперские предпочтения теперь

<sup>19</sup> Цит. по: P.B. Boyer. Promises to Keep: The United States Since World War II. Lexington — Toronto: D.C. Heath and Co., 1995, p. 32.

превратились в пустой звук, напоминая об ушедших в прошлое временах начала века»<sup>20</sup>.

Новый мировой порядок опирался на новую социальную практику, сложившуюся в годы Второй мировой войны и закрепленную послевоенными реформами. Складывалась система регулируемого капитализма, в основе которой лежали идеи Джона Мейнарда Кейнса (John Maynard Keynes). Государственное вмешательство и политика обеспечения занятости, перераспределительные меры, позволяющие повысить жизненный уровень рабочего класса и общественных низов в целом, стали новой ортодоксией, оттеснив на обочину классический либерализм. Экономическое лидерство Америки на фоне послевоенной разрухи, царившей в Европе, было неоспоримо. В 1945 году на долю Соединенных Штатов приходилось 60% мирового индустриального производства<sup>21</sup>. В 1947 году была принята «Программа восстановления Европы» (European Recovery Program). Эта программа получила название «План Маршалла» (Marshall Plan) в честь провозгласившего ее американского государственного секретаря Джорджа Маршалла (George Marshall). Эта программа предусматривала широкомасштабные вложения американских государственных средств в пострадавшие от войны западноевропейские страны. План не был, однако, совсем бескорыстным — он создавал заказы для американской промышленности и новые рынки для нее.

Повышение заработной платы, наблюдающееся повсеместно на Западе, привело к резкому расширению рынка и создавало новые возможности для экономического роста даже после того, как были решены вопросы послевоенного восстановления Европы. Америка, как крупнейшая индустриальная держава и крупнейший потребительский рынок, стала одновременно и центром притяжения, и локомотивом для экономики других стран.

Бреттон-Вудское соглашение и созданные на его основе институты, как отмечает американский историк Питер Кларк, «были непосредственно связаны с политикой полной занятости, которая шла на пользу всем» (were the international aspect of full employment policies that worked to general advantage)<sup>22</sup> и в этом смысле вполне отражали взгляды Дж. М. Кейнса, представлявшего Англию на переговорах. В итоге, как подчеркивает финский экономист Хейки Патомяки (Heikki Patomäki), итоговое соглашение «представляло собой определенную победу производительного капитала над финансовым»<sup>23</sup>. Новая система стесняла спекулятивные возможности финансового капитала, поощряя инвестиции в производство.

<sup>20</sup> P. Clarke. Op. cit., p. 266.

<sup>21</sup> См.: P.B. Boyer. Op. cit., p. 37

<sup>22</sup> P. Clarke. Op. cit., p. 265.

<sup>23</sup> H. Patomäki. The Political Economy of Global Security. War, future crises and changes in global governance. London & N.Y.: Routledge, 2008, p. 100.

Параллельно с Западной Европой восстанавливалась и Япония. Ее послевоенное экономическое возрождение и последующий подъем Южной Кореи были непосредственно связаны с господством кейнсианских принципов — как на международном, так и на национальном уровне. Соединенные Штаты не только не принуждали своих партнеров к отказу от защиты внутреннего рынка, но напротив, рассматривали такую политику как разумную и логичную, соответствующую общим перспективам защиты «свободного мира», передовыми рубежами которого являлись обе страны.

Другим условием японского чуда стала вынужденная конверсия производств, которые были первоначально созданы для военных целей, но после демилитаризации страны перестраивались на производство потребительских товаров и промышленного оборудования. Военное прикрытие, обеспеченное Соединенными Штатами, создавало возможность использовать государственные средства для развития экономики.

Если на протяжении большей части XIX века и даже в первые десятилетия XX века американский капитализм рос под военно-политическим прикрытием Британской империи, необремененный излишними военными расходами, то во второй половине XX века та же благоприятная ситуация сложилась для японского капитализма.

### «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

После Второй мировой войны Лига Наций была заменена Организацией Объединенных Наций, где привилегированное положение было предоставлено «ведущим мировым державам», выигравшим войну — США, Британии, Советскому Союзу, Китаю и восстановленной в статусе «великой державы» Франции. Последнее решение тоже было направлено на снижение удельного веса Великобритании в процессе политической реорганизации Запада.

Китай вплоть до 80-х годов XX века не играл существенной роли в ООН, тем более, что соответствующее место в Совете Безопасности осталось за буржуазным правительством, свергнутым революцией 1949 года и утратившим все свои позиции кроме острова Тайвань. По мере того как влияние Британии и ее способность вести самостоятельную международную политику снижалось, ООН превращалась в поле борьбы между Соединенными Штатами и Советским Союзом, борьбы, в которой остальные страны Запада были обречены на американское лидерство.

Противостояние двух сверхдержав — СССР и США, начавшееся сразу же после победы над Германией, было, разумеется, вызвано общей логикой глобального соперничества, но имело и другую важную сторону: оно было исключительно выгодно Вашингтону, ибо превращало его в



гаранта безопасности Запада. Перед лицом «советской угрозы» европейские и азиатские капиталистические страны должны были сплотиться вокруг американского лидера.

Политическая структура имперского господства Соединенных Штатов, в отличие от прежних колониальных империй, строилась на системе военных баз, военно-политических, а позднее экономических блоков. В 1941 году США получили доступ к британским морским базам в Атлантике в обмен на передачу сотни устаревших эсминцев (Королевскому флоту, вовлеченному в отчаянную борьбу с немецкими подводными лодками, количество было в тот момент важнее качества). В том же году американцы заняли датские военные базы в Гренландии и Исландии. Поскольку сама Дания была оккупирована, местные власти охотно предоставили свои военные объекты союзникам для борьбы за освобожденные страны.

Все эти действия вполне соответствовали военной логике антифашистской борьбы. Однако после победы над Германией военное присутствие США за рубежом не сокращалось, а наоборот, увеличивалось, несмотря на давление ряда стран, принудивших американцев уйти с их территории или из их колоний. Австралия, Дания, Франция и Британия требовали вернуть им военные объекты, занятые во время войны. К ним присоединились Панама и Исландия. В 1949 году некоторые базы были ликвидированы, но логика начинающейся «холодной войны» требовала нового развертывания американского присутствия за рубежом. Для борьбы с Советским Союзом была создана сеть военно-политических альянсов, охватывающих основные зоны потенциального противостояния: Североатлантический (НАТО), Ближневосточный (СЕНТО) и Дальневосточный (СЕАТО). В долгосрочной перспективе лишь НАТО сохранило военное и политическое значение, но механизмы проникновения американских сил на Ближний Восток и в Восточную Азию, созданные в рамках СЕНТО и СЕАТО продолжали работать после того, как сами эти блоки ушли в историю.

Еще в 1947 году Акт о национальной безопасности (National Security Act) создал в Соединенных Штатах некое подобие параллельного правительства, ведающего стратегическими вопросами, включая военно-политические отношения с другими странами. Тем самым эффективный военно-политический контроль сочетался с отсутствием административно-территориального контроля, прямой ответственности за происходящее.

Масштабы и значение этой системы выходят далеко за рамки военной необходимости, являясь, по мнению многих исследователей, основой своеобразной неформальной империи, инфраструктурой иностранного господства, «созданной формально с согласия властей суверенных госу-

дарств, где все это происходит»<sup>24</sup>. Указание на «добровольный» характер военного сотрудничества во многих случаях вполне обосновано. Например, в Южной Корее решение американцев о возможном частичном выводе войск в связи с общим изменением стратегической ситуации в 2003–2004 году вызвало столь острое недовольство местных элит, что один из местных экспертов вынужден был опубликовать в прессе статью, призывающую их «проявить благоразумие», смириться с «неприятной реальностью» и «признать, что основная ответственность за оборону страны лежит на самих корейцах»<sup>25</sup>.

Военно-политическое и экономическое господство США способствовало формированию местных элит, встроенных в новую имперскую систему ничуть не менее (а порой — более) органично, чем прежние колониальные элиты, и воспринимающих доминирование иностранной державы в качестве важнейшего условия как сохранения сложившегося социального порядка, так и самого существования своего государства. Таким же образом, позднее, восточноевропейские республики, обретя независимость от СССР после распада советского блока, сразу же пожертвовали многими элементами своего долгожданного суверенитета в пользу Европейского союза и Североатлантического альянса.

Американская система военных баз за рубежом начала складываться во время Второй мировой войны.

Стремительный рост числа американских военных баз начался в ходе Корейской войны и продолжался во время войны во Вьетнаме. К 1967 году американское военное присутствие за рубежом достигло того же уровня, что и во время Второй мировой войны<sup>26</sup>. На идеологическом уровне эта новая реальность была закреплена доктриной, согласно которой система баз является «законным и необходимым инструментом власти США, морально оправданным и закономерным символом роли, которую США играют в мире»<sup>27</sup>.

География американского военного присутствия отражала не только стратегические приоритеты новой глобальной державы, но и масштабы ее политического и экономического влияния. Многие базы закрывались под давлением местных правительств и по требованию общественности. Поражение во Вьетнаме вынудило США покинуть свои военные объекты в Индокитае. Но несмотря на это глобальная сеть военных баз продолжала расти, причем окончание «холодной войны», как и победа

<sup>24</sup> *The Bases of Empire. The Global Struggle against U.S. Military Posts.* Ed. by C. Lutz. London: Pluto Press, 2009, p. ix.

<sup>25</sup> *Korea Focus*, vol. 12, No. 1, January – February 2004, p. 6.

<sup>26</sup> См.: *The Bases of Empire*, p. 14.

<sup>27</sup> *J.R. Blaker. United States Overseas Basing: An Anatomy of the Dilemma.* N.Y.: Praeger, 1990, p. 28.

во Второй мировой войне обернулась не сокращением, а расширением заморского военного присутствия американцев. В 2008 году, к концу правления администрации Дж. Буша младшего, военное присутствие США на планете достигло кульминации: «Официально более 190 тысяч военнослужащих и 115 тысяч гражданского персонала размещены на 909 базах в 46 странах и территориях. Американские военные владеют или арендуют там 795 тысяч акров земли и 26 тысяч зданий и сооружений, которые оцениваются в 146 миллиардов долларов. Однако эти официальные данные не соответствуют действительности, поскольку в них не включены войска и структуры США в Ираке и Афганистане, переброшенные туда за последние годы, а также неизвестные или тайные базы, в Израиле, Кувейте, Филиппинах и других местах»<sup>28</sup>.

Отстаивая собственные идеологические приоритеты и геополитические интересы, Советский Союз объективно обречен был играть на усиление глобальной роли США. Революции в странах капиталистической «периферии» — в Китае, во Вьетнаме и позднее на Кубе — открыли новые фронты «холодной войны», которая на первых порах далеко не всегда складывалась в пользу Запада. С другой стороны, гонка вооружений и балансирование на грани войны создавали стимул для экономического роста и научных изысканий. До тех пор пока настоящей большой войны удавалось избежать, эта система работала в полном соответствии с идеями Кейнса о государственных заказах и инвестициях, превращающихся в стимул роста.

Разумеется, «горячих» войн удавалось избежать далеко не всегда. Но теперь конфликты, вспыхивавшие на «периферии» системы, не перерастали в глобальное вооруженное противостояние. С июня 1950 по июль 1953 года продолжалась Корейская война, несколько раз возникали военные действия на Ближнем Востоке между Израилем, пользовавшимся поддержкой Америки, и арабскими странами, получавшими помощь из СССР. В октябре 1962 года две сверхдержавы чуть не столкнулись в военном противостоянии во время Карибского кризиса, когда была предпринята попытка установить на Кубе советские ракеты, нацеленные на Америку. В итоге, однако, стороны пришли к компромиссу. Москва отказалась от установки ракет на Кубе, а американцы убрали свои ракеты из Турции.

Вьетнамская война, начавшаяся еще со столкновения коммунистических повстанцев с французскими колонизаторами, переросла в многолетний военный конфликт с участием США. Поражение Америки во Вьетнаме в 1975 году оказалось тяжелым ударом по ее мировому престижу так же, как и исламская революция в Иране, которую американская

<sup>28</sup> The Bases of Empire, p. 1.

политика оказалась не в силах предотвратить. Но уже в конце 1970-х годов внешняя политика США, извлекая уроки из своих неудач предыдущих десятилетий, обретает новую наступательную энергию. Реваншем за поражение во Вьетнамской войне оказывается война в Афганистане, где, в свою очередь, увяз Советский Союз. К началу 1980-х годов «холодная война» начинает все более складываться в пользу Америки, тогда как советское руководство сталкивается с растущим дефицитом ресурсов и начинает отставать в научно-техническом соревновании.

Американской гегемонии в системе мирового капитализма Советский Союз пытался противопоставить попытку создания собственной параллельной миросистемы. При этом главный вызов СССР по отношению к Западу состоял отнюдь не в гонке вооружений. Социальные программы, осуществлявшиеся в обществах советского типа, на протяжении первых послевоенных лет по-прежнему вызывали зависть во многих капиталистических странах, демонстрируя, как может решать свои проблемы общество, освобожденное от диктата прибыли и рынка. Со своей стороны Соединенные Штаты не только разворачивали собственное пропагандистское контрнаступление, демонстрируя отсутствие гражданских свобод в СССР и связанных с ним государствах, но и подчеркивая социальный прогресс, достигнутый Западом.

Новый социальный контракт, сложившийся в рамках регулируемого капитализма, открыл возможность для безболезненного прихода социал-демократии к власти в ряде европейских стран. Успехи рабочего движения были впечатляющими, но привели к достаточно умеренным результатам. В рамках смешанной экономики элементы социализма должны были стать подпорками для пострадавшего от войн и кризисов здания капитализма. Побочным эффектом реформ оказалась стабилизация западной демократии. Компромисс демократии и империализма, которого не удавалось достичь ни в XIX, ни в первой половине XX века, был достигнут на основе потребительского общества. Перераспределение ресурсов между «центром» и «периферией» продолжалось, возможно, даже в больших масштабах, чем во времена классического империализма начала XX века, но значительная часть этих средств шла на то, чтобы улучшить положение трудящихся в странах «центра». Государственные социальные программы, в соответствии с идеями Кейнса, позволяли мобилизовать средства на решение ключевых задач, с которыми не мог справиться рынок.

Как отмечает английский географ Ричард Пит (Richard Peet), поддерживая социальные реформы в Западной Европе, сами по себе Соединенные Штаты так и не стали социал-демократической страной не только на идеологическом уровне, но и на практике. «Пережив у Британии роль защитника Запада, США пошли по пути, который лучше всего с точ-

ки зрения политэкономии можно было бы назвать Военным Кейнсианством — рост поддерживался за счет больших расходов на оборону»<sup>29</sup>. Напротив, в Европе, под давлением мощного рабочего движения восторжествовало социальное кейнсианство (Social Keynesianism) — «поддержание полной занятости через государственное планирование и заботу о социальном прогрессе»<sup>30</sup>.

Терпимость, проявленная американской внешней политикой по отношению к умеренным левым в странах «центра» (но отнюдь не в странах «периферии»), дала свои плоды в виде консолидации западного общества, в целом удовлетворенного условиями послевоенного компромисса и ослабления советского влияния. Напротив, советская система сталкивалась с нарастающими трудностями по мере того, как централизованное бюрократическое планирование, показавшее свои преимущества в годы индустриализации и войны, вынуждено было погружаться в заботы о развитии все более сложного и требовательного потребительского общества. Денег «на пушки и на масло» одновременно не хватало. Успех СССР в гонке вооружений способствовал его поражению в социальном соревновании.

Однако все эти успехи Запада, достигнутые в первые 30 лет гегемонии США, стали возможны лишь благодаря сохранению контроля над периферией. Именно этот контроль, обеспечивавший систему необходимыми ресурсами, стал главным стратегическим вопросом на протяжении всего периода «холодной войны».

## ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ

Еще в начале Второй мировой войны Рузвельт прозрачно намекал своему британскому партнеру на необходимость деколонизации, призывая «признать, что перемены, происходящие в мире, не могут не затронуть Индию и другие страны»<sup>31</sup>. Черчилль мог делать вид, что не понимает намека, а имперские чиновники в колониях старались сохранять налаженные отношения с местными элитами, но меняющаяся структура капиталистической системы делала политические перемены неизбежными.

Логика политической мифологии в новых независимых государствах задним числом требовала представить деколонизацию как результат национально-освободительной борьбы. Однако парадокс в том, что к началу 1960-х годов, когда процесс деколонизации достиг своего пика, антиколониальные восстания, там, где они вообще имели место, были

<sup>29</sup> R. Peet. *Op. cit.*, p. 69.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> P. Clarke. *Op. cit.*, p. 19.

по большей части разгромлены. Именно поражение первой волны антиколониальных восстаний стало важным условием и предпосылкой деколонизации в той форме, в какой она произошла на практике.

Англичане успешно подавили выступления в Кении и Малайе. Действия французских колониальных властей были менее успешным — они потерпели поражение в Индокитае и увязли в долгосрочном алжирском конфликте. Зато им без труда удалось подавить выступление берберов в Марокко. А войска из африканского Сенегала до последнего момента оставались наиболее дееспособной и надежной частью французской колониальной армии.

Показательно, что в годы Второй мировой войны, когда французское государство фактически перестало существовать, колониальная администрация ни в одной из территорий не сталкивалась с серьезными проблемами. Изгнание французов из Индокитая было вызвано в первую очередь японской оккупацией — вернувшись сюда после Второй мировой войны, колонизаторы столкнулись с коммунистическим партизанским движением, выросшим в борьбе против японцев.

В Индии имело место националистическое выступление 1942 года. Однако выдвинутый националистами в разгар войны лозунг «Quit India» («Вон из Индии!») даже среди критиков британской власти далеко не всеми воспринимался с одобрением. В апреле 1942 года лидеры Индийского национального конгресса активно торговались с колониальными властями относительно участия в правительстве, которое было предложено самими британцами. Падение Сингапура, где английское командование позорно капитулировало перед японцами, хотя у него оставались резервы для обороны города, изменило военную ситуацию в Азии. Вставал вопрос о необходимости обороны Индии от возможного японского вторжения, а для этого требовалась политическая консолидация. После того как националистам не удалось договориться с колонизаторами о разделе власти, прозвучал призыв к англичанам убираться из Индии. Как отмечает Питер Кларк (Peter Clarke), это выступление «явно противоречило необходимости оборонять страну от Японии»<sup>32</sup>. В силу этого оно не могло получить и поддержку американских правящих кругов, которые ранее склонны были поощрять индийский национализм, претендуя на возможное посредничество между сторонниками независимости и руководством империи.

Движение «Quit India» не получило поддержки и со стороны мусульман и сикхов. Усилив раскол между религиозными и национальными общинами, оно готовило последующее разделение страны на две части. Мусульманская лига использовала возникший кризис для того, что-

<sup>32</sup> Ibid., p. 23.

бы продемонстрировать своим сторонникам опасность, исходящую от Конгресса. Уход британцев может обернуться для приверженцев ислама самыми мрачными последствиями, а независимое государство будет «державой индусов» (Hindu Raj)<sup>33</sup>. Одновременно лидеры Мусульманской лиги указывали английским властям на свою лояльность и готовность поддержать военные усилия, что разительно контрастировало с безответственным поведением конгрессистов. В виде вознаграждения Лига требовала твердых гарантий создания в исламской части Индии отдельного государства — Пакистана.

Крайне негативно отнеслось к подобным требованиям и руководство Советского Союза: в момент, когда немецкие армии стояли на Волге, дестабилизация тыла британских союзников не могла расцениваться иначе, как предательство дела антифашистской коалиции. В самой Индии, в условиях, когда ее армии сражались против Роммеля в Африке и сдерживали натиск японцев в Бирме, у самых границ своей страны, подобное выступление объективно оказывалось ударом в спину собственным солдатам — именно потому оно было сравнительно легко подавлено<sup>34</sup>.

В целом сопротивление, с которым колониальные режимы сталкивались в Азии и Африке в 1940-е и 1950-е годы было по своим масштабам гораздо менее значимым, чем в конце XIX века, в разгар военной экспансии западного империализма. А маленькая Португалия, обладавшая несравнимо меньшими ресурсами, нежели Англия и Франция, смогла удерживать свои заморские владения до середины 1970-х.

В 1950-е годы Советский Союз еще не играл активную роль в Африке и большинстве регионов Азии. Москва начала поддерживать антизападные выступления лишь во второй половине 1960-х годов, будучи втянута в военно-политическую борьбу за Африку после того, как обнаружился кризис новых, постколониальных режимов. В этот период инерция деколонизации, порождает новую волну более радикальных освободительных движений в странах, которых этот процесс ранее не коснулся, или где он был сорван местными белыми элитами — Ангола, Мозамбик, Намибия, Южная Африка, Родезия.

<sup>33</sup> См.: *L. James. Raj*, p. 570.

<sup>34</sup> Справедливости ради, надо отметить, что резолюция Индийского национального конгресса «Quit India» включала в себя выражение солидарности с народами России и Китая, а также обещание содействовать борьбе союзников против фашизма. Однако это были лишь общие слова (возможно, вполне искренние в устах таких людей, как Дж. Неру и Ганди). Хорошо известно, насколько трудным оказался процесс передачи власти в 1947 году. В условиях войны выполнение резолюции ИНК могло привести только к хаосу и вакууму власти, за которым последовали бы новые успехи Японии.

Главной причиной стремительной и, как казалось на первых порах, сравнительно «безболезненной» деколонизации стала не борьба масс, а потребность реконструкции мировой системы капитализма, и в первую очередь переход гегемонии от Британской империи к Соединенным Штатам Америки.

Англо-индийский публицист Палм Датт отмечает, что между националистами и колониальными властями в Индии накануне независимости существовал «своеобразный компромиссный альянс, направленный против массового движения»<sup>35</sup>. Сопротивление низов было в значительной мере подавлено в ходе социальных конфликтов 1920-х и 1930-х годов, но цена, которую британскому правительству пришлось заплатить за это, состояла в неуклонном укреплении политических позиций индийской бюрократии и буржуазии. Причем речь идет не только об открытых националистах из партии Конгресса, но и о более широких слоях, которые формально оставались лояльными по отношению к короне до самого последнего момента. Проблема в том, что цена их лояльности неуклонно возрастала.

Из английских официальных документов однозначно видно, что в Лондоне опасались в 1946–1947 годах в первую очередь не сопротивления индийских низов, а недовольства тамошней буржуазии и бюрократии, которые с каждым годом были настроены все более националистически. Волна массовых антиколониальных протестов прокатилась по стране в 1946 году, но не переросла в серьезное политическое сопротивление, не говоря уже о вооруженном восстании. Индийская армия была верна присяге. Зато настроения образованного среднего класса и буржуазии не составляли секрета: эти слои общества — включая даже сотрудников колониальной администрации — были настроены крайне негативно. Возникла парадоксальная ситуация: низы, по мнению британского руководства, не слишком интересовались вопросом о независимости, но без поддержки местных чиновников управлять этими низами невозможно, а чиновники требуют деколонизации.

Признав в 1947 году независимость Индии в форме доминиона, который очень скоро был заменен независимой республикой, Лондон, однако, в течение некоторого времени питал иллюзии по поводу возможности сохранения колониальной империи в Африке. Характеризуя отношение колонизаторов к перспективам политического самоуправления на этом континенте, британский историк с трогательной имперской наивностью сообщал: «Африканцев надо было защищать и искренне о них заботиться, покровительствуя им, как и положено британским властям; но ни одному разумному человеку не пришло бы в голову, что африканцам можно доверить управление собственными странами»<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> R. Palme Dutt. *The Crisis of Britain and the British Empire*, p. 201.

<sup>36</sup> P. Griffiths. *Op. cit.*, p. 292.



Еще в 1930-е годы британскими политиками была сформулирована проблема «имперской ответственности». К тому времени официальная доктрина включала в себя «обязательство поддерживать материальное благосостояние и содействовать прогрессу колониальных подданных»<sup>37</sup>. Примером «имперской ответственности» может быть положение индийских финансов во время Второй мировой войны. К 1947 году у Британии был значительный долг перед Индией. Несмотря на колониальный статус, Индия, правительство которой находилось под контролем англичан, не только сохраняла независимую финансовую систему, но и была способна (наряду с США и Канадой) кредитовать собственную метрополию. Другого способа привлечь деньги из индийского бюджета в рамках имперской системы не было.

Разумеется, лозунги «имперской ответственности» призваны были в первую очередь успокоить либеральное общественное мнение в самой Англии и в наиболее развитых частях империи. Однако в условиях, когда существовала прямая и неразрывная связь между политическими структурами метрополии и колоний, невозможно было радикально изменить политику, проводимую в «центре», не затрагивая «периферии». А это, в свою очередь, означало — пусть и в самых скромных границах — проведение мер, направленных на создание социального государства в масштабах всей империи.

В Лондоне сторонники сохранения империи строили «грандиозные планы относительно развития колоний», — констатировал Палм Датт<sup>38</sup>. Еще во время войны были подготовлены и приняты Акты о колониальном развитии и благосостоянии (*Colonial Development and Welfare Acts*) 1940 и 1945 годов, еще один аналогичный документ был обнародован в 1950 году. Пришедшая к власти лейбористская партия (*Labour Party*) обещала в 1949 году организовать между метрополией и колониями «партнерство, чтобы ликвидировать безграмотность, бедность и болезни»<sup>39</sup>.

Подобный подход означал бы перенос кейнсианской перераспределительной модели из стран «центра» в страны «периферии». Но проблема состояла в том, что именно перераспределение ресурсов между «центром» и «периферией» капиталистической миросистемы было важнейшим условием успешной реализации перехода к потребительскому обществу, происходившему на Западе. В той мере, в какой колониальная система приобретала прогрессивные черты, она переставала вписываться в общую стратегию прогрессивных реформ, происходивших в стра-

<sup>37</sup> A.N. Porter, A.J. Stockwell, ed. *British Imperial Policy and Decolonization*, vol. 1, p. 12.

<sup>38</sup> R. Palme Dutt. *The Crisis of Britain and the British Empire*, p. 287.

<sup>39</sup> Цит. по: *Ibid.*, p. 274.

нах метрополии. Разумеется, это противоречие было далеко не всегда осознанным, но оно постоянно давало о себе знать при решении практических вопросов и при составлении бюджетов.

Как замечает французский историк Марк Ферро (Marc Ferro), вопрос о том, «рентабельны ли колонии», остро дебатировался начиная с середины XVIII века, когда европейские державы перешли от создания торговых факторий и поселений к завоеваниям. «И все же, хотя стоял вопрос очень давно, в XX веке он стал центральным»<sup>40</sup>. Французское законодательство неукоснительно требовало, чтобы колонии с их административным аппаратом находились на самофинансировании и «политический класс метрополии был убежден, что общественное мнение не поддержит империю, если она будет обходиться дорого»<sup>41</sup>.

Имперская самодостаточность Британии, по словам французского историка, в середине XX века оборачивалась «экономическим упадком Англии»<sup>42</sup>. С этим соглашаются и английские авторы. Сохранение заморских владений превращалось в дорогое удовольствие. «Ресурсов стало меньше, доля Британии в мировой торговле сократилась, а расходы на поддержание и защиту империи оказывались недопустимо большими. Уход из колоний позволял сократить расходы»<sup>43</sup>.

И Колониальная система Англии и Франции предполагала существование собственного бюджета в колониях, которые, таким образом, оказывались в финансовом отношении самодостаточными. Однако в середине XX века стало ясно, что развитие колоний предполагает широкомасштабные инвестиции и перераспределение ресурсов на сей раз от «центра» — «периферии».

Во Франции, так же как и в Англии, издержки, связанные с поддержанием колониальной империи, начинали перевешивать выгоды. Главная проблема состояла в том, что империя «оплачивалась государством, а прибыли приносила частному капиталу»<sup>44</sup>. После окончания Второй мировой войны, когда капитализм перешел от режима свободного предпринимательства к государственному регулированию, когда вопросы ответственности правительства за социальную политику, образование, здравоохранение и занятость выдвигались на передний план, поддержание европейской власти в колониях становилось непозволительной роскошью.

<sup>40</sup> M. Ferro. Op. cit., p. 389.

<sup>41</sup> Lessons of Empire, p. 37.

<sup>42</sup> M. Ferro. Op. cit., p. 391.

<sup>43</sup> A.N. Porter, A.J. Stockwell, ed. British Imperial Policy and Decolonization, vol. 1, p. 5.

<sup>44</sup> Ibid., p. 393

Декolonизация оказывалась наиболее простым, а главное — наиболее консервативным решением, позволявшим за счет потери политического суверенитета метрополий сохранить экономическое *status quo*, господствующее положение «центра» по отношению к «периферии». Разумеется, практическое осуществление этой политики наталкивалось на сопротивление наиболее консервативной части западноевропейских элит, на культурную инерцию старых империй, а порой и на сопротивление части самих колониальных элит<sup>45</sup>.

С другой стороны, местные элиты получали исторический шанс взять процесс преобразований в свои руки. Без них нельзя было деколонизовать Африку и Азию так же, как раньше нельзя было поддерживать колониальный режим.

Окончательно перелом наступил после Суэцкого кризиса 1956 года. Когда в результате военного переворота в Египте к власти пришел Гамаль Абдель Насер (Gamal Abdel Nasser), встал вопрос о национализации Суэцкого канала, принадлежавшего англо-французскому консорциуму. Западные правительства возмущались нарушением прав собственности и требовали компенсировать убытки инвесторов. Возмездие не заставило себя долго ждать. Израиль, подталкиваемый к войне Парижем и Лондоном, атаковал Египет. Соединенные Штаты не скрывали своего негативного отношения к происходящему, предложив в ООН резолюцию, требующую от Израиля прекратить военные действия, но Англия и Франция наложили на нее вето. Затем Англия и Франция вторглись в зону Суэцкого канала, объясняя свои действия необходимостью защиты судоходства.

Еще за несколько месяцев до кризиса Палм Датт прозорливо констатировал: «Глубоко изменившееся соотношение сил между двумя ведущими империалистическими державами мира происходило далеко не гармонично и гладко. Конфликт интересов, экономических, финансовых и стратегических, проявлялся постоянно и продолжает нарастать. Британские империалисты все еще пользуются любой возможностью удерживать свои слабеющие позиции перед лицом Америки»<sup>46</sup>.

В то самое время, как писались эти строки, происходили события, знаменовавшие окончательный перелом в отношениях США со стары-

<sup>45</sup> В Индии уход британцев вызвал крайнее недовольство традиционных правителей, княжества которых вскоре были поглощены независимой Индийской республикой. Позднее султан Брунея настоятельно требовал сохранить на его территории присутствие английских войск. Против ухода колониальной армии возражали и правители южной Аравии. С другой стороны, колониализм «снизу» представлен был французскими поселенцами в Алжире и в других французских территориях, часть из которых так и не была деколонизована.

<sup>46</sup> R. Palme Dutt. *Op. cit.*, p. 117–118.

ми империями. Перед суэцкой авантюрой британский консервативный министр иностранных дел сэр Энтони Иден (Anthony Eden) заявил, что Британия на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее и влиятельнее, чем США, а потому не надо бояться «действовать без полной американской поддержки. Мы должны сами сформулировать свою политику исходя из наших собственных интересов в этом регионе и по возможности принудить Америку поддерживать наши решения»<sup>47</sup>. Подобный взгляд на вещи представлял собой полнейшее заблуждение. События показали, насколько ошибались в Лондоне. Сопротивление египетских войск и флота было легко сломлено, но на стороне египтян общим фронтом выступили США и СССР. Американский президент Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower) мобилизовал против Англии и Франции ООН. Он оказывал на Англию экономическое давление. Более того, он нанес империи дипломатический удар в самое сердце, как пишет британский историк: «Воспользовался тем, что боевыми действиями в Суэце были недобровольны страны Содружества, такие как Канада, Индия и Пакистан»<sup>48</sup>.

Игра была сыграна. Английский правящий класс понял урок. После провала Суэцкой авантюры «The Economist» констатировал: произошло «крушение остатков британского влияния в Восточном Средиземноморье, возможно, и на всем Ближнем Востоке»<sup>49</sup>. На самом деле речь шла о чем-то гораздо большем. Деколонизация Британской империи стала осознанной и последовательно проводимой политикой Лондона. Лозунг свертывания имперского присутствия «к востоку от Суэца» сменился тотальной эвакуацией. В Африке первой свободной страной стала Гана, она была провозглашена доминионом в 1957 году, Нигерия получила конституцию еще раньше, в 1954 году. Теперь вопрос был лишь в конкретном сроке провозглашения независимости.

Существование Британской империи, пишут английские историки, «долгое время служило интересам многих других наций»<sup>50</sup>. Иными словами, она была необходима как важный элемент мировой капиталистической системы, политически и экономически структурируя глобальное рыночное пространство. В новых условиях она утрачивала свою структурирующую и организующую роль, а потому становилась не нужна ни британскому, ни американскому, ни международному капиталу. После Второй мировой войны Британское Содружество наций (the

<sup>47</sup> Цит. по: *D. Reynolds*. Op. cit., p. 207.

<sup>48</sup> *P. Brendon*. The Decline and Fall of the British Empire. 1781–1997. London: Johnatan Cape, 2007, p. 496.

<sup>49</sup> The Economist, 6.12.1956. Цит. по: *R. Palme Dutt*. The Crisis of Britain and the British Empire. London: Lawrence & Wishart Ltd., 1957, p. 256.

<sup>50</sup> *A.N. Porter, A.J. Stockwell*, ed. British Imperial Policy and Decolonization, vol. 1, p. 6–7.

Commonwealth) все еще выглядело обновленным и несколько демократизированным вариантом империи. Решение Индии, упразддившей монархию, но оставшейся в составе Британского (тогда еще) Содружества, в значительной мере определило и курс новых африканских государств, выделившихся из Британской империи. Это решение по-своему суммирует и взаимоотношения между английской и индийской элитами в процессе деколонизации. Скорее всего, если бы британские власти пошли на более значительные уступки в 1930-е годы, Индия, подобно Австралии и Канаде, так и осталась бы номинально английским доминионом после получения независимости, а если бы Лондон не поторопился с передачей власти после Второй мировой войны, политический разрыв с бывшей метрополией стал бы полным и решительным.

Однако представление о Содружестве как демократическом продолжении империи оказалось очередной иллюзией. Уже в 1962 году, заявив о намерении вступить в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Британия явственно продемонстрировала бывшим доминионам и колониям, что она «убегает от Содружества» (*running away from the Commonwealth*)<sup>51</sup>. Подобный поворот событий вызвал далеко не восторженные чувства во многих странах, традиционно связанных с Англией. Но пути назад не было.

Французские элиты осознали смысл происходящего позднее и переживали его гораздо более болезненно. Однако им тоже пришлось смириться. Последней колониальной державой в Африке оказалась Португалия, некогда первой начавшая захват этого континента. Португальский колониализм рухнул в середине 1970-х годов.

Деколонизация была с энтузиазмом встречена европейскими левыми кругами, для которых со времен национальных революций XIX века принцип самоопределения наций был одним из ключевых идей их политической философии. Вопрос, однако, состоял в том, насколько речь шла в данном случае именно о сложившихся нациях, а главное — кем, в чьих интересах и с какими целями проводилась деколонизация на практике. Именно этот классовый аспект проблемы леворадикальное европейское сознание упускало с удивительной легкостью, ограничиваясь романтическими восторгами по поводу «зари свободы над Африкой» или «пробуждения Востока».

Деколонизация в целом прошла по империалистическому сценарию, усугубив зависимость «периферии» от «центра». Вопреки общепринятому в 1960-е годы представлению о «крахе колониальной системы империализма» в Африке и Азии, речь шла не об отступлении империализма, а о перераспределении власти и реконструкции системы контроля. По

<sup>51</sup> A. Lower. *Op. cit.*, p. xxiv.

существо, деколонизация стала еще одним, на сей раз, непризнанным преступлением империализма. Западная Европа разорила страны «третьего мира» дважды. Первый раз с помощью колониального завоевания, а второй раз с помощью независимости.

Точно так же, как сторонники свободной торговли в середине XIX века добивались ухода Компании и открытия рынка Индии, 100 лет спустя национальная буржуазия, порожденная колониализмом либо развившаяся под его влиянием, добивалась ухода колонизаторов — такова диалектика капитализма.

Имперская форма организации «периферии», характерная для XIX и первой половины XX века, должна была уступить место новой системе независимых государств, находящихся под военно-политической и экономической гегемонией США. Подводя спустя полвека итоги деколонизации, многие аналитики с изумлением обнаружили, что «постколониальная ситуация не сильно отличалась от колониальной»<sup>52</sup>.

Причину неудачи, которую — с точки зрения практических результатов независимости для народов Африки и Азии — потерпела во многих случаях деколонизация, надо искать не в конкретных ошибках или политических коллизиях, типичных для новых независимых государств, даже не в их отсталости и ограниченности кругозора местных элит (включая так называемых «радикалов»), а в том, что колониализм изначально был лишь средством реализации глобального капиталистического проекта, который после деколонизации не только не потерпел поражения, но, напротив, вступил в новую фазу. Поскольку колониализм был лишь техническим инструментом капиталистической экспансии, формой, в которой она развивалась *в условиях XIX века*, его устранение не только не решало проблемы по сути, но, напротив, делало эксплуатацию «периферии» более эффективной, более дешевой для западного «центра» и более адекватной новым, изменившимся условиям развития самого Запада.

Идеологией, восторжествовавшей в процессе деколонизации, закономерно оказался национализм, быстро принявший репрессивно-авторитарную форму. Даже такой бескомпромиссный и пронизательный критик империалистической культуры как Эдвард Саид вынужден констатировать, что националистические мифы ничем не лучше мифов западного «ориентализма», ибо сводят жизнь народа и культур к «взаимной противоположности и противостоянию» (*separation and distinctiveness*)<sup>53</sup>.

Свои политические претензии постколониальный национализм, как и любой другой национализм, обосновывает историей, переосмысли-

<sup>52</sup> Colonialism and the Modern World. Selected Studies, p. viii.

<sup>53</sup> E. Said. Culture and Imperialism, p. 408.

ваемой задним числом в удобных для себя категориях, представляя себя наследником национально-освободительных движений колониальной эпохи. В одних случаях подобная ссылка на прошлое является «технически» верной: партия Индийский национальный конгресс, существующая в начале XXI века, является продолжением того же Конгресса, в котором состояли Махатма Ганди и Джавахарлал Неру (Jawaharlal Nehru), хотя политика, социальная база и цели партии изменялись неоднократно за время его существования. Точно так же Народное движение за освобождение Анголы (Movimento Popular de Libertação de Angola), возглавляющее правительство в Луанде, формально является продолжением той же организации, что когда-то вела партизанскую борьбу против португальцев. Однако ссылки на формальную преемственность не доказывают главного — приверженности той или иной партии цели освобождения масс.

В рамках новой господствующей идеологии любое сопротивление колониальному режиму трактуется как «национальное» дело. Социальное измерение истории и тонкости политического процесса при таком подходе полностью игнорируются. Между тем массовые протесты, происходившие в Британской Индии и во многих других колониях в период европейского господства, направлены были не только против колониального государства, но и против существовавшего социального порядка, и в конечном счете отторжение колониального режима происходило не потому, что он был поддержан иностранными державами, а потому, что он являлся инструментом сохранения и защиты этого, ненавистного низам общества порядка. Однако лишь в немногих случаях антиколониальное сопротивление обернулось социальной революцией. Как раз наоборот, смена колониальной администрации на собственную, национальную власть сплошь и рядом являлась средством для сохранения, поддержания и легитимации именно данного порядка и сохранения позиций местных элит. Разорвав связь между борьбой трудящихся «центра» и «периферии», новый национализм подрывал основы интернационализма и солидарности, являющихся кардинальным условием для успеха социальных движений в глобализованном мире. Национальная независимость и деколонизация не только не ослабили позиции империализма как системы, а напротив, вдохнули новую жизнь в переживавший кризис периферийный капитализм. Эдвард Саид справедливо сетует, что энергия массовых движений, выступавших против колониальной власти, была «в конце концов выхолощена и потушена независимостью»<sup>54</sup>. И не удивительно, что политические партии и организации, пришедшие к власти в бывших колониальных странах под

<sup>54</sup> Ibid., p. 322.

лозунгами радикального национализма, к концу XX века почти повсеместно утратили свой радикализм и превратились в администраторов неокOLONиального порядка, во многом гораздо более жесткого и, одно-значно, куда менее ответственного в социальном отношении, чем прежний имперский колониализм.

Колониальное государство не только возникает тогда, когда логика развития капитализма этого требует, но и уходит со сцены тогда, когда оказывается в противоречии с этой логикой.

Конечно, столь масштабный процесс, как всегда бывает в периоды реконструкции, сопровождался то в одном, то в другом месте потерей контроля, что порой давало шансы для развития серьезных революционных движений. Антиколониальные выступления в португальских колониях, где из-за затягивания процесса деколонизации стала возможна массовая поддержка радикальных движений, во многом напоминали революцию. Точно так же народные протесты против режима апартеида в Южной Африке свидетельствовали о наличии потенциала для социальных преобразований. Но после распада советского блока и ухода СССР из Африки подобные движения уже не ставили себе иной цели, кроме примирения с международным капиталом на любых условиях.



## ХII. Империализм без империи: США

Отличительной особенностью американского империализма было то, что Соединенные Штаты не признавали себя империей. Разумеется, уже в конце XVIII века, когда молодое государство завоевало независимость от Лондона, многие говорили о нем как о будущей империи, по выражению Джефферсона (Jefferson) — «империи свободы» (an empire of liberty)<sup>1</sup>. Эта империя должна отличаться от всех предыдущих, поскольку опирается на уважение к правам личности, несет на своих знаменах лозунги прогресса и процветания. Однако даже в такой формулировке идея «американской империи» не приживалась. «Если казалось, что Соединенные Штаты отличаются чем-то от других, то не тем, что это была доброжелательная империя, а тем, что эта страна, якобы, не была империей, — писал американский историк Чарльз Майер (Charles S. Maier) в начале 2000-х годов. — Еще несколько лет назад большинство историков и комментаторов, писавших об империи, гневно отвергали предположение, будто этот термин может быть применим к Соединенным Штатам. Многие по-прежнему так считают. Империи означают завоевание и аннексию. Предполагается, что американцы никогда ничего такого не делали»<sup>2</sup>.

Конечно, никто не отрицал, что в конце XIX века Соединенные Штаты создали собственную колониальную империю вполне традиционного типа, включавшую Пуэрто-Рико, острова в Тихом океане. Сюда же относятся войны с Мексикой, оккупация Кубы и вмешательство во внутренние дела стран Латинской Америки. И все же правда то, что колониальные завоевания никогда не были главной опорой американской империи.

Успех американской гегемонии был связан с тем, что это была имперская гегемония нового типа, не нуждавшаяся в территориальном контроле над странами периферии. Выяснилось, что решающее влияние на правительства можно оказывать и без присоединения территорий. Экономическая помощь выступала как инструмент контроля даже больше, чем военная мощь.

<sup>1</sup> См.: *P.S. Onuf. Jefferson's Empire: The Language of American Nationhood.* Charlottesville: University of Virginia Press, 2000.

<sup>2</sup> *Ch.S. Maier. Among Empires. American Ascendancy and Its Predecessors.* Cambridge, Mass. — London: Harvard University Press, 2006, p. 2.

Гегемония США предполагала провозглашенную, но не осознанную ответственность за весь мир (в отличие от викторианской Британии, где мы имеем дело с осознанной, но не провозглашенной глобальной ответственностью). В этом смысле американская мировая держава, возникшая после 1945 года, представляет собой, по выражению ряда авторов, «организованное лицемерие» (*organized hypocrisy*) или «империю, которая сама себя отрицает» (*Empire in denial*)<sup>3</sup>.

Ключевым фактором успеха оказывалась способность США эффективно мобилизовать собственные и международные ресурсы для решения глобальных задач капиталистической реконструкции. При этом очень важно, что Америка, несмотря на декларируемую ее лидерами идеологию свободного рынка, стала гегемоном именно в эпоху регулируемого капитализма и, в значительной мере, в процессе формирования этой регулируемой экономики. Способность идеологического аппарата американской элиты представить достижения государства в виде достижений свободного рынка является одним из главных секретов успеха. Так, Интернет и другие информационные технологии, разработанные военно-промышленным комплексом на деньги налогоплательщика США, предъяснялись обществу и миру как доказательство жизнеспособности частной рыночной инициативы. Впрочем, нельзя видеть здесь одно лишь лицемерие. Американская экономика, в том виде, в каком она сложилась к концу XX века, действительно является рыночной, но лишь в том смысле, что вся мощь государства и все его структуры регулирования и управления направлены на поддержку частного интереса корпораций и рынка.

На протяжении послевоенного периода система американской гегемонии продемонстрировала свою силу, выдержав и выиграв противостояние с Советским Союзом, восстановив экономическую жизнь и создав потребительское общество в Западной Европе и Японии, подавив революции в Латинской Америке, подорвав глобальные позиции левых сил и рабочего движения, которые могли представлять угрозу для капитала в период 1940–1960-х годов. Выдержала система и молодежные бунты новых левых в конце 1960-х, контркультурные движения и вызов исламского фундаментализма, заполнившего вакуум на Востоке после краха левых сил. Однако как и всякая успешная система, американская гегемония вынуждена иметь дело не только со внешними вызовами, но и с последствиями своих собственных успехов, с новыми непредвиденными ситуациями, созданными ею самой.

<sup>3</sup> *Lessons of Empire*, p. 37.

## НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

Крушение Советского Союза не просто превратило Соединенные Штаты в единственную глобальную сверхдержаву, но и устранило политический вызов капитализму, существовавший на глобальном уровне. Строго говоря, советская модель перестала быть привлекательной в качестве системной альтернативы для трудящихся Запада уже к концу 1960-х годов, если не ранее. Но в течение некоторого времени соперничество двух систем оставляло свободное политическое и идеологическое пространство, допускавшее возникновение новых альтернатив, быть может не столь глобальных и радикальных, но, порой, куда более привлекательных, начиная от всевозможных версий «демократического социализма» и «третьего пути» до народно-революционных экспериментов по образцу китайской революции. В условиях «холодной войны» реформистское крыло рабочего движения добилось серьезных успехов в Западной Европе, заставив капитал пересмотреть отношения с миром труда в пользу последнего. Однако деградация и последующий крах советской системы сопровождалась растущим стремлением капитала пересмотреть сложившийся социальный контракт.

Кейнсианский период 1950–1973 годов был самым успешным за всю историю капитализма. При росте мирового населения на 2% в год средний доход на душу населения увеличился на 3% в год, что «представляло собой самые высокие темпы роста в истории человечества»<sup>4</sup>. Однако к середине 1970-х годов темпы роста начали понемногу снижаться, доказывая, что потребительское общество, сложившееся в послевоенном западном мире, тоже имеет границы развития.

На протяжении своей истории капитал регулярно использовал и приспособливал для своих целей различные социальные формы и отношения. Регулируемый капитализм второй половины XX века отличался тем, что включал в себя элементы социализма. Но эти социалистические институты система могла терпеть лишь до тех пор, пока они не подрывали общей, фундаментальной логики, на которой она построена — в первую очередь логики накопления капитала. С другой стороны, социалистические институты и отношения, проникшие в ткань капиталистического общества за XX век, имели и свою логику, то и дело вступающую в противоречие с капиталистической. В смешанной экономике, сложившейся после Великой депрессии, это противоречие было спасительным, ибо предприятия общественного сектора, институты образования, здравоохранения и пенсионной системы, массовые организации трудящихся в совокупности доделывали ту социальную и культурную работу, с которой не справлялся рынок. Однако развитие этих институтов и их

<sup>4</sup> *H. Patomäki. Op. cit., p. 100.*

усиление делало их потенциально опасными для капитала. Послевоенная система демократического регулирования уперлась в определенный тупик, свидетельствующий о том, что достигнуты границы «безболезненной» интеграции, допустимые в рамках капитализма<sup>5</sup>.

Неолиберальная идеология, которая постепенно распространяется среди правящих классов Запада, а потом и всего мира, в конечном счете сводится к призыву освободить капитализм от социалистических элементов.

Начавшаяся политическая и социальная реакция во многом повторяет процессы, происходившие еще в феодальном обществе, когда традиционные элиты, с одной стороны, допускали и даже поощряли развитие буржуазных отношений, а с другой стороны, пытались тормозить и останавливать его в тот момент, когда начинали чувствовать в них для себя угрозу.

В то же время если вся история капитализма может рассматриваться как чередующиеся фазы ориентации на свободный рынок и государственного вмешательства (либерализма и меркантилизма), то неолиберализм представлял собой вполне естественную и логичную фазу данного процесса.

Постепенно меркантилистская экономика Кейнса и его учеников уступает место новому порядку, когда в очередной раз торжествует логика торгово-финансового капитала. Снижение производственных издержек и ослабление позиций труда по отношению к капиталу — вот главные задачи, решаемые системной контрреформой. На сей раз снижение стоимости рабочей силы в странах «центра» происходит за счет индустриального развития «периферии».

Технологические изменения, произошедшие к концу XX века, создали условия для рывка капитала по отношению к труду. Как и во времена индустриальной революции, резкая смена технологий приводит на первых порах к тому, что обесцениваются навыки и опыт квалифицированных рабочих, падают их заработки и снижается занятость. Одновременная отмена социального регулирования и отказ от государственной политики поддержки занятости привел к тому, что соотношение сил на рынке труда изменилось крайне резко и не в пользу наемных работников. Одновременно новая информационная технология позволяла повысить координацию производственных процессов, рассредоточив их в пространстве. Крупные предприятия заменялись более мелкими, сложившиеся там трудовые коллективы и профсоюзы подвергались разгрому, а возрастающая часть производства переносилась в страны с дешевой рабочей силой. Чем ниже стоимость рабочей силы, тем привлекательнее

<sup>5</sup> I. Wallerstein. After Liberalism. N.Y.: New Press, 1995 (рус. изд.: И. Валлерстайн. После либерализма. М.: УРСС, 2003).

становилось государство для инвесторов. Мобильность капитала повышается, вместе с ним растет роль финансовых спекуляций и кредита. Возникает новое соотношение сил между финансовым и промышленным капиталом.

Разумеется, между двумя видами капитала нет непреодолимой границы, поскольку одни и те же компании работают одновременно на финансовом рынке и в сфере производства. Но эти сферы требуют разной логики поведения и различных приоритетов. Совмещая финансовую и производственную деятельность, развивая первую, зачастую в ущерб второй, корпорации лишь усиливали общий сдвиг от «реального сектора» к спекулятивной экономике.

Если меркантилизм ограничивает торговлю ради поощрения производства, то либерализм подрывает социальную базу производства ради поощрения торговли. Неолиберализм 1980-х годов представлял собой очередной подобный реванш — ответ на кризис промышленного капитала, порожденный исчерпанием возможностей роста и снижением нормы прибыли в рамках кейнсианской модели «социального государства».

Первым симптомом предстоящего заката кейнсианской модели стал кризис перенакопления капитала в начале 1970-х годов. Инфляционные деньги, накапливаясь в странах Запада, не находили эффективного применения. После Арабо-израильской войны 1973 года начался бурный рост цен на нефть. Нефтеносные страны Арабского Востока и Латинской Америки переживали экономический подъем, советское руководство было уверено, что нет необходимости проводить реформы и повышать эффективность управления, если можно любые необходимые товары приобрести на Западе в обмен на топливо. Однако значительная часть средств, поступивших на счета арабских шейхов и латиноамериканских правительств, не могла быть выгодно инвестирована и оседала в банках США, Западной Европы и Японии. Банки направо и налево предоставляли дешевые кредиты, стремясь пристроить «лишние» деньги, спровоцировав тем самым долговой кризис в Латинской Америке, Польше и Африке.

Государственные расходы все менее стимулировали производство, инфляция росла, а высокий жизненный уровень в промышленно развитых странах оборачивался снижением нормы прибыли. Задача реформ, развернувшихся сперва в Англии и США в начале 1980-х годов, а затем воспроизводившихся с нарастающим радикализмом по всему миру, состояла в том, чтобы понижая заработную плату, одновременно создавать новые рынки и увеличивать потребление. Эта задача, казалось бы, неразрешимая, могла быть решена на глобальном уровне. Открывая все новые и новые территории для эксплуатации, капитал перемещал производство в страны в дешевой рабочей силой, в то время как потребление по-прежнему сосредоточивалось в богатых странах Запада. Круше-

ние коммунистического режима в СССР создало после 1989–1991 годов идеальные условия для подобной экспансии. Мало того, что открылись рынки бывшего Советского блока, огромные ресурсы бывшей государственной экономики оказались разворованы и проданы за бесценок. После победы Запада в «холодной войне» страны «третьего мира» одна за другой, не имея внешней поддержки, стали сдавать свои позиции, уступая требованиям транснационального капитала. Международные торгово-финансовые институты — Мировой банк, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО) превратились в мощную силу, диктующую политику суверенным государствам<sup>6</sup>. Бумерангом этот же процесс возвращался на Запад, подрывая остатки «социального государства».

Снижение заработных плат сопровождалось систематическим снижением налогов и социальных требований к бизнесу. Считалось, что это привлечет мобильный капитал из-за рубежа и будет способствовать росту деловой активности. «Один из аспектов глобализации состоял в том, что правительства стали соревноваться в снижении налогов и стандартов, ведя “гонки на спуск”, — пишет английский экономист Гарри Шатт (Harry Shutt). — Удивительным образом глобальный истеблишмент, — включающий тех, ради кого эта политика проводилась (большой бизнес и собственников капитала), — отказывался признавать, что подобный процесс сам себя подрывает, поскольку ведет к упадку общественных служб и благосостояния граждан. Еще более удивительно, что эти круги так и не смогли оценить, что эта политика вызовет распространение недобросовестной конкуренции и приведет к постепенному разрушению инфраструктуры»<sup>7</sup>. Если крупные транспортные проекты по-прежнему осуществлялись государством, то делалось это за счет деградации второстепенных транспортных сетей, на которые не хватало денег. Это, в свою очередь, вело к упадку внутреннего рынка и деградации небольших провинциальных центров — процесс, наблюдавшийся не только в России и других периферийных странах, но и в Америке.

Как отмечает Хейко Патомьяки, начиная со второй половины 1970-х годов Бреттон-Вудская система «постепенно превращалась в неолибе-

<sup>6</sup> Следует отметить, что инвестиции, сделанные за счет нефтяных кредитов, отнюдь не решили проблему зависимости стран «третьего мира», зато подготовили возможности для появления новой формы эксплуатации, когда капитал «центра» использовал не минеральные и природные, а трудовые ресурсы «периферии», которая теперь превращалась в поставщика промышленной продукции, тогда как страны «центра» частично деиндустриализировались.

<sup>7</sup> H. Shutt. *The Decline of Capitalism. Can a Self-Regulated Profits System Survive?* London: Zed Books, 2005, p. 21–22.

ральный мировой порядок»<sup>8</sup>. Ее структуры — Международный валютный фонд, Всемирный банк и созданная несколько позднее Всемирная торговая организация — из структур, организованных для регулирования глобальной экономики, превращаются в агентства, повсеместно навязывающие своим партнерам политику дерегулирования. Приватизация, дерегулирование и коммерциализация всех сфер жизни стали лозунгом дня. Вьетнам и Китай, сохранившие коммунистическую вывеску, выставили на продажу свои гигантские трудовые ресурсы<sup>9</sup>. Дисциплинированная рабочая сила, контролируемая жестким репрессивным аппаратом, созданная за счет государства инфраструктура, — все это предопределило стремительный рост экономики Китая, который превратился в «мастерскую мира», не достигнув при этом господствующего положения в мировой капиталистической иерархии. Основные центры накопления капитала и рычаги, приводящие в движение мировую экономику, оставались достоянием западных стран.

Даже в тех случаях, когда неолиберальные меры дают определенный практический эффект в виде привлечения капитала, они оказываются неоправданными для большинства стран просто потому, что количество свободного капитала в мире ограничено, а вследствие этого ограничено и число «призовых мест» для победителей гонки. Чем меньше и беднее страна была в начале этого периода, тем ниже оказываются ее шансы и тем плачевнее результаты гонки, независимо от того, насколько добросовестно исполнялись правительством все рекомендации неолиберальных идеологов.

Индустриализация периферийных стран «глобального Юга» привела к выделению ряда лидеров (в первую очередь это относится к Китаю), в то время как положение дел в других местах продолжало ухудшаться. Более того, успех Китая и стран Восточной Азии усугублял положение «периферии» в целом. Гарри Шатт констатирует: «Усиливается маргинализация бедных стран. Положение 80% мирового населения, живущих в «развивающихся» странах или в разоренных странах бывшего Советского блока — где жизненный уровень всегда был ниже, чем в старых индустриальных странах, — драматически ухудшилось»<sup>10</sup>. Участвуя в «гонках на спуск», эти государства снижали налоги и содействовали по-

<sup>8</sup> *H. Patomäki. Op. cit., p. 101.*

<sup>9</sup> Если во Вьетнаме в конце 2000-х годов все еще шли острые дискуссии о перспективах рыночного социализма и совместимости политики, направленной на поощрение частных инвестиций, с социальной справедливостью и национальной независимостью, то Китай однозначно и решительно сделал выбор в пользу капитализма, сохранив «коммунистическую» вывеску и жестко авторитарную систему партийного контроля.

<sup>10</sup> *H. Shutt. Op. cit., p. 2.*

нижению заработной платы, но эти гонки они все равно проигрывали, не получая никакого позитивного эффекта от столь болезненных и социально опасных мер. В итоге и общество, и государство становились беднее.

Неолиберализм многими в «третьем мире» воспринимался как «второе издание», возвращение колониализма. Однако принципиальное отличие состояло в том, что «классический» колониализм представлял собой политику, обеспечивавшую социальный и культурный прогресс Запада за счет угнетения и порабощения «незападного» мира. Напротив, неолиберализм использовал ресурсы «периферии» для того, чтобы обеспечить социальный регресс в самом западном мире. В первом случае мы имеем дело с «разрушительно-созидательным» процессом (как он описан в работах Э. Шумпетера), но в новую эпоху процесс разрушения становится (по крайней мере — на уровне социальных отношений) почти тотальным. Если в начале XX века эксплуатация «периферии» способствовала снижению социальных противоречий Запада за счет перераспределения ресурсов, поступавших из колоний, то в начале XXI века она, наоборот, становится средством снижения заработной платы и подрыва социальных завоеваний трудящихся. Схожие средства используются для решения противоположных задач. И если в XIX и начале XX века можно говорить о противоречивости и двойственности процесса, о жестокой, порой, кровавой цене, уплачиваемой за социальный прогресс небольшой части человечества, то на сей раз противоречие устраняется вместе с прогрессом.

На фоне демонтажа «социального государства» (Welfare State) возможности западного потребления постепенно исчерпывались. Ограниченными оказались и глобальные трудовые ресурсы — «гонки на спуск» завершились, эксплуатация дешевого труда в Азии была доведена до крайнего предела. Отсутствие подходящей инфраструктуры и нехватка квалифицированных кадров обрекали на провал попытки использовать Африку в качестве «новой границы» для промышленной экспансии. Капитал реагировал на эти трудности, поддерживая западное потребление массовыми кредитами. Но это, в свою очередь, привело к перераспределению денежных ресурсов, которых теперь категорически не доставало в «реальном секторе», в то время как на финансовом рынке один за другим возникали спекулятивные «пузыри». Рост кредита обернулся безумным ростом цен на привлекательные для спекулянтов товары, что, в свою очередь, обрекало на нехватку средств «реальный сектор».

Как и в эпоху раннего капитализма стремительно растущий государственный долг и его обслуживание являлись механизмом перераспределения общественных средств в пользу финансового капитала. Однако в отличие от XVII и XVIII веков долг этот накапливался не на фоне роста и развития государства, а на фоне судорожных и безуспешных попыток



сократить его роль в обществе и экономике, снять с него социальные обязательства, уменьшить его расходы и свести к минимуму его аппарат, кроме, разумеется, военно-полицейского. Эти попытки регулярно проваливались, иными словами, в отличие от времен раннего торгового капитализма, поставленные цели не достигались. Хуже того, на сей раз частные корпорации продолжали ту же тенденцию, что и правительства. Несмотря на гигантское перераспределение средств в пользу частного сектора, его собственные долги росли в большинстве стран даже быстрее государственного долга (а там, где правительствам удавалось сократить свой внешний и внутренний долг, как в России 2000-х годов, долги корпораций стремительно увеличивались, достигая астрономических сумм).

Все это наглядно свидетельствовало об упадке капитализма: система оказывалась все менее способна эффективно распределять и использовать ресурсы. Она утрачивала те самые черты, которые на протяжении истории обеспечивали ее развитие и успехи.

Отрыв финансовых рынков от товарных имел место с самого момента возникновения финансового капитала в его первоначальной форме, иными словами — с XIV века. Но если в прежние эпохи диспропорции накапливались постепенно, то к началу XXI века проблема состояла уже не в рассогласовании этих процессов, а в их полном несовпадении. Как пишут французские исследователи, «финансовые рынки перемещают инвестиционные потоки с такой скоростью, что они уже не как не соотносятся с реальным перемещением товаров, которое первоначально было причиной этих финансовых потоков»<sup>11</sup>. В итоге финансовый капитал не только не выступал более в качестве фактора развития производства (за счет перераспределения ресурсов между секторами), но наоборот, превращался в паразитический нарост на мировой экономике, отвлекая средства и ресурсы от какой бы то ни было производственной и целесообразной деятельности.

## МИФ О ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Неолиберальное идеологическое наступление происходило под лозунгами торжества свободы и демократии, которым ранее угрожал не только «тоталитаризм» режимов советского типа, но и бюрократический аппарат западного государства. Ответом является повсеместное внедрение институтов формальной демократии по западному образцу и не менее повсеместная (в том числе и на Западе) приватизация общественной собственности. При этом, отмечает финский социолог Тейво Тейваинен

<sup>11</sup> L. Boltanski, E. Chapello. *The New Spirit of Capitalism*. London — N.Y.: Verso, 2005, p. 365.

(Teivo Teivainen), чем больше сокращается общественный сектор и сфера государственной ответственности за решение социальных и экономических вопросов, тем больше сужается сфера демократии, поскольку конкретные решения переходят в руки частных лиц и корпораций, не допускающих публичного обсуждения<sup>12</sup>. В основе неолиберального понимания государства лежит уверенность в том, что «демократические нормы допустимы только в политической сфере, но не в экономической сфере»<sup>13</sup>. Однако сама демократическая дискуссия, отвлеченная от социальных и экономических вопросов, становится бессодержательной. Распространение демократических свобод в глобальных масштабах оборачивается их не менее глобальной дискредитацией.

Старая либеральная политика в странах Запада примерно до 1880 года представляла собой ограниченный демократический процесс, в рамках которого массы имели определенные права, но не допускались к принятию решений: наиболее жестким образом этот принцип был выражен избирательным цензом, лишившим рабочих права голоса, но он также был закреплен во множестве других обычаев, законов и институтов. Все решалось внутри элиты, внутри господствующего класса. Гражданская война в Соединенных Штатах демонстрирует первые признаки надвигающегося восстания масс, которое становится главным содержанием политики в 1880–1930-х годах. Всеобщее избирательное право становится реальностью. Законодательно фиксируется гражданское равноправие женщин, уходят в прошлое расовая сегрегация и ограничение прав религиозных меньшинств. После победы над фашизмом в 1945 году общие принципы западной демократии кажутся незыблемыми и их торжество — по крайней мере в странах «центра» — необратимым. Под влиянием реформистских рабочих партий, добившихся реального участия во власти, политическая система выходит за рамки узкого понятия «буржуазной демократии», приобретая характер более широкого классового компромисса, обеспечивающего сохранение капитализма за счет серьезных уступок трудящимся. Однако все это уходит в прошлое к концу XX столетия, когда упадок и крушение Советского Союза знаменуют собой начало нового масштабного контрнаступления капитала.

В политической жизни 1990–2008 годов мы наблюдаем откровенный реванш элит — вытеснение массовых интересов из политики без формального отъема избирательных прав<sup>14</sup>. Социальное разделение не соответствует политическому. Различия между левыми и правыми в

<sup>12</sup> См.: *T. Teivainen. Enter Economism, Exit Politics: Experts, Economic Policy and the Political.* London: Zed Books, 2002.

<sup>13</sup> *Contemporary Sociology*, vol. 32, No. 4 (Jul., 2003), p. 485.

<sup>14</sup> См.: *Ch. Lasch. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy.* N.Y.: W.W. Norton, 1995.

официальной политике стираются, превращаясь в различие брендов на выборах, трактуемых как разновидность рыночной конкуренции, где товарами являются политики и партии. Политологи начинают говорить о потере лояльности традиционного избирателя, утрате связи партии с массой. Но в действительности не избиратели демонстрируют нелояльность к партиям, а напротив, партийные элиты проявляют демонстративную и вызывающую нелояльность к избирателям.

Не удивительно, что распространение демократии в бывших странах Восточной Европы, шедшее рука об руку с неолиберальной реформой, привело к гражданской деморализации, распространению апатии и цинизма, разочарованию в институтах представительной власти. Как замечает политолог Алла Глинчикова, применительно к российскому опыту «грубое, формальное, чисто административное внедрение западных либерально-демократических ценностей в постправославную политическую культуру ведет не к усилению гражданских тенденций, а наоборот, к их дальнейшему разрушению, поскольку деморализует общество и делает его атомизированным, политически пассивным и послушным любой власти»<sup>15</sup>. То же самое может быть сказано и про иные культуры, подвергшиеся «принудительной демократизации». «Возрожденная демократия» в Латинской Америке пришла на смену диктаторским режимам 1970-х и первой половины 1980-х годов, сохранив, однако, экономические порядки, установленные диктатурами. Замена репрессивных режимов выборными правительствами являлась по сути политическим триумфом этих режимов, ибо легитимировала результаты их террористической деятельности. Сложившийся новый порядок бразильский исследователь Руи Мартини (Ruy Marini) определяет как «пассивную демократию», установившуюся благодаря тому, что «народные движения потерпели историческое поражение»<sup>16</sup>. А исследователь из США Билл Робинсон вообще отрицает за новыми режимами право называться «демократией», характеризуя их как «полиархические» (плюралистически-олигархические). По существу речь в странах «периферии» и полупериферии идет о «поддержании не-демократических по своей сути обществ, встроенных в несправедливую международную систему» (maintaining essentially undemocratic societies inserted into an unjust international system)<sup>17</sup>. При этом, однако, Вашингтон в качестве высшего арбитра в вопросах демократии сохранил за собой право признавать свободными одни страны, соблюдающие формальные правила парламентского правления, и отказывать в этом дру-

<sup>15</sup> А. Глинчикова. Цит. соч., с. 187–188.

<sup>16</sup> R. M. Marini. América Latina: dependência e integração. São Paulo: Editora Brasil Urgente, 1992, p. 30.

<sup>17</sup> См.: W. I. Robinson. Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

гим государствам на том основании, что формального соблюдения процедур все же может оказаться недостаточно. Эта идеологическая уловка была использована, с одной стороны, чтобы обосновать сближение США с далеко не самыми демократичными государствами, выступавшими стратегическими партнерами Вашингтона в Азии, Африке и Восточной Европе, а с другой стороны, чтобы объяснить поддержку государственных переворотов, произошедших в бывших коммунистических странах в начале 2000-х годов. В соответствии с данной логикой каждый раз задним числом обнаруживалось, что свергнутый режим все же был недостаточно демократическим. Перевороты, получившие в прессе прозвище «цветных революций», произошли в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии. Последующие попытки имитировать их в Белоруссии, Молдавии и других странах были заблокированы местными элитами. Из этого, однако, отнюдь не следует ни то, что новые режимы оказались более демократичными, чем их предшественники<sup>18</sup>, ни то, что старая политическая элита, против которой были направлены перевороты, являлась принципиально антиамериканской. Идеология «продвижения демократии» наиболее успешно срабатывала именно в условиях, когда возникала необходимость замены одного дружественного режима на другой — в соответствии с соображениями тактики и политической эффективности.

Традиционным примером успешного применения западной демократической модели в постколониальном мире принято считать Индию, однако на ней список стабильных демократий в освободившейся от западного господства Азии начинается и заканчивается. Формальное соблюдение правил многопартийной системы, характерное для Африки, начиная с 1990-х годов, также не говорит о глубокой демократизации общества, тем более, что избирательные кампании регулярно завершались в 2000-х годах межплеменной резней, даже в странах, считавшихся стабильными (Кот д'Ивуар, Кения и т.д.). Случай Индии — не столько исключение, подтверждающее правило, сколько доказательство совершенно иного правила: западная социально-культурная система уже не была для этой страны «чужой» и внешней после четырех столетий сосуществования с европейцами. К тому же она была не привнесена сюда извне, не навязана сверху, а напротив, завоевана снизу самим индийским обществом (парадокс в том, что именно британцы склонны были в Индии сохранять — в модернизированном виде — политические структуры, оставшиеся со времен Великих Моголов, тогда как индийское общество, напротив, с 80-х годов XIX века добивалось реформы полити-

<sup>18</sup> В этом плане результаты «цветных революций» выглядят совершенно разными на Украине, где действительно имела место демократизация, и в Грузии, где на смену диктатуре Эдуарда Шеварднадзе пришла диктатура Михаила Саакашвили.

ческой системы по английскому образцу). По той же причине примером реально укоренившейся демократии может быть и Южная Африка после падения апартеида: мало того, что европейцы и коренное население здесь жили вместе на протяжении столетий, но именно коренное африканское население путем долгой борьбы добилось соблюдения европейских норм политического представительства.

Нарастающая дискредитация идей либеральной демократии не привела, однако, в начале XXI века к крушению доминирующей идеологии. Социальные движения и левые интеллектуалы, объединившиеся для критики неолиберальной глобализации, смогли привлечь к себе внимание, организуя массовые протесты, но они так и не стали влиятельной политической силой на международном или национальном уровне.

Важнейшим достижением неолиберализма стало установление повсеместной идеологической гегемонии, беспрецедентной по меньшей мере с конца XIX века. Подобный успех обеспечен был не силой и масштабами пропаганды или эффективностью ее манипулятивных технологий, а поражением исторических противников и критиков системы. Не только левая идеология, находившаяся в глубоком кризисе, утратила свои позиции, но и буржуазная прогрессивная традиция оказалась под вопросом. Критика наследия Просвещения, начатая «слева» после Второй мировой войны, в конечном счете обернулась идеологической основой для целого ряда реакционных утопий.

Марксистская диалектика исходила из двойственной роли просветительской традиции, которая, с одной стороны, несет в себе общечеловеческий потенциал эмансипации, но, с другой — печать буржуазной классовой ограниченности, которая этот потенциал блокирует и извращает. Попытка просветителей представить свои собственные ценности в виде общечеловеческих несет в себе очевидное противоречие, поскольку в обществе, разделенном на классы, такие ценности невозможны либо сводятся к банальным общим местам. «Общечеловеческое» сознание теоретически возможно лишь в бесклассовом обществе. Другое дело, что складывается оно не на пустом месте, а на основе культурного и социального опыта мировой истории. Однако критика Просвещения у Маркса предполагает выявление его противоречий и классовой ограниченности, но не отторжение. Напротив, с точки зрения мыслителей XX века, Маркс в данном случае оказался недостаточно радикален, а Просвещение должно быть отвергнуто как таковое, со всеми своими концепциями прав человека и универсальной свободы и, как следствие, общей исторической логикой классовой борьбы. Эта тенденция в полной мере нарисовалась уже у Адорно и Хоркхаймера<sup>19</sup>, а затем получила новую еще

<sup>19</sup> См.: М. Хоркхаймер, Т. Адорно. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М. — СПб.: Медиум, Ювента, 1997.

более радикальную антизападную интерпретацию в книгах различных авторов, провозглашающих своей целью освобождение «третьего мира» как такового. Конечным пунктом этого идеологического путешествия оказываются мрачные антипросветительские концепции откровенно правого толка, будь то С. Хантингтон с его «войной цивилизаций» или С. Кара-Мурза с его русским имперским традиционализмом.

Данный путь был по-своему логичен. Отторжение просветительской традиции универсализма приводит к тому, что исчезает понимание или интерес к различиям между классовыми интересами и идеологиями в рамках общей эволюции западного общества, между либерализмом (который ограничивает Просвещение буржуазными рамками) и социализмом (стремящимся эти рамки преодолеть), между собственно капиталистическим и вообще «западным», «современным» и т.д.

Классовая критика капитализма сменяется критикой западной цивилизации, «модерна», или в лучшем случае, лишенного социальной специфики «индустриализма»<sup>20</sup>.

И наконец, отказ от универсалистского понимания свободы, прав человека и социального прогресса в конечном счете оборачивается по существу возвратом к средневековому представлению об общественной борьбе, как борьбе за специфические привилегии и вольности для отдельных самодостаточных групп. Внутри «западного» общества это могут быть права мусульман или гомосексуалистов, женщин или чернокожих, животных или мигрантов. Вне западного общества по ровной той же логике провозглашается суверенное право всевозможных диктаторов угнетать и контролировать собственный народ в рамках «самобытной культурной традиции» и право традиционалистского большинства отвергать любые «западные» нововведения, вроде прав женщин, гомосексуалистов или чернокожих. Причем все заканчивается непризнанием уже не специфических групповых прав, а вообще любых. Методологически принципиальной разницы между данными подходами нет, причем они постоянно укрепляются взаимоправданием и идеологическим взаимобменом. Так правые на Западе ссылаются на угрозу «исламской нетерпимости» или «русского национализма» для оправдания борьбы в защиту «западных ценностей», но тут же сами призывают положить конец «распушенности», вызванной излишней терпимостью к правам меньшинств. А традиционалисты на Востоке и в России, дословно по-

<sup>20</sup> Отсюда, конечно, не следует вывод, будто западная цивилизация или, например, индустриализм не могут быть объектом критики как таковые, но вопрос в том, насколько эта критика имеет социальное содержание и насколько она вообще ориентирована на прогрессивную социальную трансформацию. Последний вопрос остается принципиально затуманенным и запутанным до тех пор, пока мы не обращаемся к вопросу о классовой природе общества.

вторя рассказы западных правых о «распущенности» Запада, требуют на этом основании борьбы против «европейского» влияния.

Поскольку универсалистская идея классовой борьбы принципиально отрицается во всех бесчисленных вариантах этих идеологий, все они в конечном счете сводятся к защите существующего порядка, только определенным образом регулируемого.

## НОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Торжество неолиберализма вовсе не означало, будто мир, интегрированный идеологически, стал однородным, гармоничным и единым. Та же неравномерность экономического развития, что подрывала позиции Британской империи к концу викторианской эпохи, в начале XXI века начала создавать потенциальные проблемы для господствующей роли Соединенных Штатов в мире.

По существу соперничество шло между несколькими неолиберальными проектами, схожими в основных чертах, но именно потому и обреченных на неизбежное столкновение. Если в 1950-е и 1960-е годы более либеральная социально-экономическая система США и социал-демократические общества Западной Европы по-своему дополняли друг друга, то начиная с 1990-х годов, когда Западная Европа становится такой же неолиберальной, как и Америка, ситуация меняется.

Первоначально Европейское экономическое сообщество должно было ликвидировать повод для новых конфликтов, создав возрождающемуся немецкому капиталу обширные рынки для сбыта промышленной продукции, но одновременно, учитывая интересы других западных держав. Французская промышленность все более интегрировалась с западногерманской. А продолжающийся упадок Великобритании способствовал усилению в Лондоне позиций финансового капитала, который, как прежде французский банковский капитал, теперь был заинтересован в развитии американской и немецкой промышленности: он мог их кредитовать и обслуживать. В то время как западногерманские промышленные центры, восстановив производство после Второй мировой войны, заняли ведущее место в Европе, Франкфуртская биржа далеко отставала по своему значению и оборотов от Лондонского Сити, сохранявшего и даже укреплявшего свои позиции в качестве главного финансового центра Европы. Таким образом, перестройка европейского капитализма в 1950-е и 1960-е годы обеспечила новое разделение труда, создав условия для нескольких десятилетий сравнительно бесконфликтного и «гармоничного» развития.

Успех европейского проекта порождал рост амбиций. После распада Советского блока страны Восточной Европы были формально ин-

тегрированы в Европейский союз, не получив, однако, реального веса, сопоставимого с влиянием «старой Европы», ведущих стран Запада. По существу Европейский союз с его неформальной иерархией богатых и бедных стран, недемократическими процедурами принятия решений, безответственной бюрократией и круговой порукой элит превратился в еще один имперский проект. Как и в случае с Соединенными Штатами, речь идет об империи, не желающей признавать себя таковой.

В свою очередь в рамках европейского Запада роль неформального гегемона стала играть объединенная Германия, превосходящая всех своих соседей по численности населения, промышленной и финансовой мощи. Постепенно преодолевая психологическую травму, связанную с поражением в двух мировых войнах, германский правящий класс начал претендовать на растущую долю влияния в мире. Действуя через институты Европейского союза, немецкие лидеры получили возможность проводить наступательную политику, не выпуская на волю демона национализма, опасность которого была слишком хорошо понятна именно немцам.

Точно так же элиты Германии и Европейского союза не видели ни возможности, ни необходимости борьбы за перехват у США глобальной гегемонии. Однако стратегической целью европейского неолиберального проекта стал пересмотр условий американской гегемонии и повышение своей собственной роли в данной системе. Не споря с американцами в военной сфере, не идя на риск, связанный с конфронтацией и гонкой вооружений, лидеры Западной Европы бросили американцам вызов в сфере финансов, создав единую европейскую валюту — евро. Однако проект этот оказался гораздо более проблематичным, чем казалось вначале.

Объединив в одной валютной системе страны с совершенно разными типами экономики, авторы проекта сделали все страны заложниками друг друга, а хозяйство всего региона подчинили интересам и амбициям германского финансового капитала. Уровень инфляции в Испании просто не может быть таким же как в Германии, ибо для этого вся испанская экономика и общество должны были бы походить на немецкие. Магического превращения Греции в Германию, разумеется, не произошло, более того, подобной цели никто и не ставил, ибо различия, существующие между разными рынками Европы, активно использовались мобильным капиталом. Получилось так, что слишком дорогая валюта удушала развитие в Южной Европе, а та, в свою очередь, экспортировала инфляцию на Север.

Механически и насильственно объединив в рамках единой валютной системы страны с разным уровнем развития и структурой экономики, проект «евро» объективно работал не на сближение этих обществ и преодоление различий между ними, а наоборот — на обострение противоречий, что сказалось уже в середине 2000-х годов, когда массовое сопро-



тивление низов и склоки между политическими элитами Европейского союза фактически парализовали интеграционный процесс.

Рост социальных и экономических проблем в обеих частях объединенной Европы и упорное нежелание правящих кругов эти проблемы не то чтобы решать, но просто признавать, вызвал рост недовольства, которое, однако, далеко не всегда принимало демократические и прогрессивные формы. Острой темой политических дебатов стала миграция, сопровождавшаяся ростом этнической и культурной напряженности.

Следует учесть, что, по сравнению с эпохой регулируемого капитализма, характер миграции радикально изменился. «Если в 1960-е и в начале 1970-х годов эмиграция из бывших колоний на Запад была связана с растущим там спросом на рабочую силу, то с конца 1990-х годов массовое переселение превратилось в инерционный процесс, подстегиваемый социальным кризисом Юга и стремлением людей приобщиться к потребительскому обществу»<sup>21</sup>. В результате «третий мир» оказался внутри «первого».

Порожденные такой ситуацией проблемы оказались питательной средой для роста неофашистских движений, сделавшихся реальной политической силой в Австрии, Италии, Голландии, некоторых регионах Франции, а к концу 2000-х годов и в Англии. Отсутствие влиятельного левого движения в большинстве стран вело к тому, что именно крайне правые стали получать на выборах «голоса протеста». А недовольство населения ухудшающимся положением дел гарантировало, что таких голосов становилось все больше.

## ВОЙНА И СОПЕРНИЧЕСТВО

Начало XXI века было временем экономической и культурной глобализации под руководством единственной сверхдержавы — как и конец царствования королевы Виктории. В связи с этим финский экономист Патомяки призывает вспомнить, что Первая мировая война тоже «завершила в Европе полувековой период мира и экономической глобализации, очень похожий на то, что происходило в мире сто лет спустя»<sup>22</sup>.

В 2003 году накопившиеся проблемы и противоречия резко вышли наружу в связи с военной операцией США в Ираке. Приход к власти в Вашингтоне крайне консервативной администрации Дж. Буша-младшего в начале 2000-х годов резко обострил отношения между Америкой и остальным миром. Когда администрация президента Дж. Буша, ссылаясь на необходимость борьбы с террористической угрозой, предприняла

<sup>21</sup> Доклад ИГСО. Кризис глобальной экономики и Россия. Левая политика, 2008, № 5, с. 21.

<sup>22</sup> *H. Patomäki*. Op. cit., p. 125.

вторжение в Ирак и свергла правивший там режим Саддама Хусейна, вместо привычного единодушного одобрения со стороны западных союзников она натолкнулась на жесткую критику и противодействие со стороны руководства Франции, Германии и Бельгии — стран — основательниц Европейского союза. Разом обнаружился целый клубок проблем. Противоречия между Востоком и Западом объединенной Европы наложились на конфликт между Германией и США, но одновременно обнаружилось и отсутствие единства в самом Европейском союзе, где Великобритания, оберегая исторические «особые отношения» с Вашингтоном, выступила против своих партнеров на континенте.

Между тем политика Буша сама по себе отражала проблемы и трудности, с которыми столкнулась американская гегемония к началу XXI века. Растущая агрессивность пришедших к власти неоконсерваторов являлась своеобразной интуитивной компенсацией относительного ослабления экономических позиций США, а также их культурной и идеологической привлекательности для остального мира. Как отмечает Патомяки, неравномерность развития, усилившаяся вместе с дерегулированием национальных и глобальной экономик, ведет к тому, что «лидирующие государства начинают терять свои экономические и технологические преимущества, а с этим трудно смириться, и еще труднее сделать правильные политические выводы из происходящего»<sup>23</sup>.

Экономическое и техническое лидерство Соединенных Штатов, ранее совершенно бесспорное, перестало быть очевидным. С окончанием «холодной войны» снизилось и значение американской военной мощи, поскольку не было уже необходимости защищать Европу от потенциального советского вторжения. Размеры ядерных арсеналов, имевшие огромное значение в эпоху взаимного сдерживания двух сверхдержав, перестали являться решающим фактором в балансе военных сил, а доступ к ядерному оружию получили новые государства — Китай, Израиль, затем Индия и Пакистан. Атомные бомбы из глобального средства стратегического сдерживания превратились в фактор регионального баланса сил между второстепенными державами. Официально не декларируемое, но общеизвестное наличие израильского ядерного потенциала создало угрозу гонки вооружений на Ближнем Востоке. С другой стороны, дерегулирование мировой торговли обострило борьбу за рынки. Вновь, как и в начале XX века, вспыхнула борьба за ресурсы.

Развитие транснациональных компаний создавало в конце XX столетия ощущение, будто капиталы окончательно теряют связь с национальными государствами, а следовательно, исчезает и опасность превращения рыночной конкуренции в межнациональный конфликт. Однако

<sup>23</sup> Ibid.

последующие события продемонстрировали, что это не более, чем иллюзия. Корпорации постоянно рассчитывали на государственную власть при решении своих проблем и, пользуясь влиянием на правительства, провоцировали соперничество между ними, добиваясь для себя максимально выгодных условий деятельности. Последующий кризис усилил зависимость компаний от государственного финансирования, окончательно похоронив иллюзии 1990-х годов. «Государства, — размышляет Патомяки, — не равны по экономической и политической силе. Структуры производства и обмена, так же как и глобальные финансовые рынки, нуждаются для своего развития в поддержке местных сил, связанных с тем или иным государством. Дипломатические механизмы и международные соглашения постоянно используются для защиты частных интересов, которые в свою очередь переплетаются с интересами проводящих данную политику государств»<sup>24</sup>.

Хотя именно Соединенные Штаты выступили главной силой, продвигавшей глобальные рыночные реформы на протяжении двух десятилетий, в конечном счете многие аспекты этих реформ обернулись против них самих. Богатство американских корпораций возросло, но не платежеспособность американского потребителя, на спрос которого эти корпорации в первую очередь рассчитывали, создавая заморские производственные мощности. Правящие круги Вашингтона оказались в своеобразной ловушке, не имея возможности пересмотреть проводимый экономический курс, но испытывая острую необходимость что-то сделать с порождаемыми им проблемами. Они не могли просто смириться с меняющейся ситуацией, но и не имели средств для ее изменения.

В такой ситуации становится особенно привлекательным применение силового аргумента. Причем, парадоксальным образом, чем менее значительным становится военный перевес лидирующей державы, тем больше соблазн использовать его до тех пор, пока он совсем не утратит своего значения.

Односторонние действия администрации Дж. Буша в начале 2000-х годов во многом напоминали агрессивное поведение мировых держав XVI и XVII века, пытавшихся превратить мир-экономику в мир-империю. Америка действовала не как гегемон, а как лидер, пытающийся в приказном порядке давать указания другим странам и наказывать их за неисполнение. Подобное поведение сверхдержавы отражало не только ограниченность и некомпетентность ее руководства, но и кризис гегемонии. Неэффективность американских попыток навязать свое лидерство партнерам, привыкшим к гораздо более сбалансированной системе отношений, была очевидна — престиж и влияние Америки за годы

<sup>24</sup> Н. Patomáki. Op. cit., p. 123.

правления Буша резко сократились, что отразилось в конечном счете и на внутренней политике.

Усиливая свое военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке, Соединенные Штаты явно стремились поставить под свой контроль производство и транспортировку нефти и одновременно создать новую международную ситуацию, в которой возрастает значение вооруженной силы.

Окупирав Ирак, американские войска столкнулись с вооруженным сопротивлением, которое дополнялось социально-политическим хаосом, вакуумом власти и гражданской войной. К тем же результатам привело и вторжение в Афганистан. Политика американцев в оккупированных странах оказалась внутренне противоречивой. С одной стороны, в Ираке оккупационные власти допустили определенную самоорганизацию местного общества, позволив выйти на поверхность религиозным общинам и кланам, влияние которых было подавлено прежней диктатурой. И в Афганистане, и в Ираке американцы всячески поощряли создание местной администрации и армии. С другой стороны, представители США не доверяли местным политикам и военным, не отказывались от политического контроля. При этом, не имея возможности построить, как в XIX веке, полноценную колониальную администрацию, оккупанты постоянно вынуждены были прибегать к методам косвенного неформального контроля, которые то и дело не срабатывали.

Попытка опереться на местные структуры вызвала к жизни не расцвет гражданского общества, а возрождение клановых, племенных и религиозных общин, архаических сил, подавленных предыдущей, свергнутой американцами властью. Насажение демократии и поощрение гражданского общества на практике обернулось не модернизацией, а архаизацией политической жизни Ирака. Как отмечают исследователи, в подобной стране «американские стратеги могли рассчитывать на иной результат только в силу полного исторического невежества» (*American policy analysts have expected a different result only by neglecting its history*)<sup>25</sup>.

В отличие от практики британского колониализма или от советской модели «братской помощи» для стран «третьего мира» американский проект не предусматривал систематической работы по созданию социально-политических институтов, производственной и транспортной инфраструктуры, планомерной работы по подготовке необходимых для них местных административных и технических кадров — предполагалось, что все эти вопросы можно решить либо за счет вливания в страну денег, либо их стихийно решит рынок.

Однако тактические неудачи, пережитые американцами в Ираке и Афганистане, оказались не столь важны, как долгосрочные последствия

<sup>25</sup> *Lessons of Empire*, p. 111.

начатых ими силовых действий. Как отмечает Патомяки, война в Ираке, спровоцировавшая острую полемику между сторонниками и противниками «нового империализма», продемонстрировала, что положение в мире «начинает напоминать эру 1873–1895 годов»<sup>26</sup>. В начале XXI века опять можно говорить о «соревновании империализмов» (*competing imperialisms*), как и в начале XX столетия<sup>27</sup>. «Логика насилия и войны снова становится ключевым элементом глобальной политической экономики»<sup>28</sup>.

Однако принципиальное отличие ситуации, сложившейся в начале XXI века от эпохи классического империализма состояло в том, что не существовало державы, готовой взять на себя роль глобального гегемона и открыто претендующей на это. Скорее Соединенным Штатам приходилось иметь дело одновременно со множеством частных вызовов со стороны сил, претендующих на пересмотр правил игры, либо на отдельные функции, ранее являвшиеся монополией глобального лидера. Речь, таким образом, шла не столько о возможной смене гегемона, сколько о кризисе гегемонии как таковой.

### ИЛЛЮЗИЯ «НОВОЙ ГЕГЕМОНИИ»

Теоретики миросистемной школы, склонные верить, что капитализм в принципе не может обходиться без державы-гегемона, в течение двух последних десятилетий XX века и в начале XXI столетия непрерывно обсуждали вопрос о том, кто в этой роли придет на смену Америке. Внимание их было сконцентрировано на странах Азии, куда в ходе неолиберальной глобализации перемещалась с Запада значительная часть промышленного производства.

В самой Азии соотношение сил менялось. Если в начале 1990-х годов однозначным экономическим лидером региона была Япония, к которой постепенно приближалась Южная Корея, то с середины десятилетия та же логика неравномерного развития приводит к ослаблению позиций этих двух стран и усилению Китая.

Описывая перераспределение капитала между государствами, Маркс замечает, что венецианские кредиты «составили скрытое основание капиталистического богатства Голландии, которой пришедшая в упадок Венеция ссужала крупные денежные суммы. Таково же соотношение между Голландией и Англией. Уже в начале XVIII века голландские мануфактуры были далеко превзойдены английскими, и Голландия перестала быть господствующей торговой и промышленной нацией. Поэтому

<sup>26</sup> *H. Patomaki. Op. cit., p. 125.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid., p. 156.*

в период 1701–1776 годов одним из главных ее предприятий становится выдача в ссуду громадных капиталов, в особенности своей могучей конкурентке — Англии. Подобные же отношения создались в настоящее время между Англией и Соединенными Штатами»<sup>29</sup>.

В последнем случае прогноз автора «Капитала» вполне оправдался — американский капитализм унаследовал у британского господствующее положение в миросистеме. Однако с того момента, когда Маркс обнаружил переток капитала из Британии в США, до того момента, когда США действительно превратилась в ведущую мировую державу, сменив Великобританию, прошло без малого столетие. На протяжении этого времени Америка не только превратилась в ведущую экономическую державу мира, но и систематически использовала свои ресурсы для поддержки слабеющей Британской империи. Иными словами, финансовый поток уже в начале XX века двинулся в обратном направлении. Позднейшая история США продемонстрировала, что возможна и другая логика: чем слабее становилась американская экономика на рубеже XX и XXI веков, тем больше она зависела от притока финансовых средств из других стран — Японии, Китая, России и т.д.

Напротив, восхождение Японии в 70-х годах XX века не привело к массовому перетоку средств из США в Азию. Японская буржуазия продолжала кредитовать американские компании и инвестировать средства в американскую экономику. Международная валютно-финансовая система способствовала тому, что американский доллар оставался наиболее привлекательным инструментом глобального накопления. А неолиберальная экономическая модель делала вложения в финансовый сектор более выгодными, чем производственные инвестиции. В результате деиндустриализация США и промышленный рост в государствах Азии не только не привели к перераспределению средств между Америкой и этими странами, но, наоборот, способствовали постоянному перетоку ресурсов в обратном направлении. С другой стороны, рост азиатских производств зависел от американского потребления, которое поднимающиеся индустриальные гиганты вынуждены были прямо и косвенно субсидировать. К сентябрю 2008 года Китай оказался основным кредитором Соединенных Штатов, которые были должны ему 85 миллиардов долларов<sup>30</sup>.

После того как на фоне ослабления Японии в 1990-е годы Китай превратился в азиатского и позднее мирового промышленного лидера, первым следствием такой перемены стал приток китайских капиталов в США. Джованни Арриги объясняет подобное положение дел политиче-

<sup>29</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 765–766.

<sup>30</sup> См.: *Inprecor*, novembre-décembre 2008, № 543–544, p. 13.

скими обстоятельствами<sup>31</sup>. Однако дело не только в политических процессах, но и в структурах. Государству, выступающему в роли гегемона мировой капиталистической системы, недостаточно быть экономически сильным, обладать финансовыми и материальными ресурсами. Необходимо нарастить соответствующие структуры — организационные, политические, военные, культурные. Необходимо, чтобы собственная экономика державы-гегемона была не просто сильна, но и организована соответствующим образом.

На протяжении значительной части XX века Соединенные Штаты, несмотря на всю свою промышленную и финансовую мощь, не обладали достаточной степенью структурной «зрелости». Именно поэтому американские элиты вынуждены были поддерживать Британию, выплачивая ей своеобразную дань.

Ни Китай, ни Индия, несмотря на укрепление своих позиций, не могли претендовать на глобальную роль, принадлежавшую Америке. Однако со своей стороны, Соединенные Штаты не могли эффективно выступать в роли лидера по отношению к странам, от которых во многом сами зависели.

Экономические реформы, начатые в Китае после смерти председателя Мао под руководством Дэн Сяопина, за четыре десятилетия преобразили страну, превратив ее в мирового промышленного лидера. Реформы велись на первых порах осторожно, в соответствии с принципом «переходя реку, ногами ощупываем камни»<sup>32</sup>. Вслед за фактической ликвидацией сельскохозяйственных коммун началось внедрение рыночных отношений в промышленность и привлечение иностранного капитала в «особые экономические зоны», но на первых порах без приватизации государственной собственности. В результате первого десятилетия реформ, с 1978 по 1988 год темпы роста промышленной продукции составили 10% в год, а заработная плата городских трудящихся возросла на 70%<sup>33</sup>.

Ключевой вопрос был в сохранении политического контроля, которому угрожали как сопротивление ортодоксальных маоистов, так и требования диссидентов-либералов. В 1989 году массовые выступления студентов, добивавшихся демократических перемен, были жестоко подавлены, после чего возникли условия для следующего этапа либеральных реформ. Вдохновленное успехами 1980-х и начала 1990-х годов, новое поколение китайских руководителей оказалось смелее. Со своей стороны, бюрократическая элита, эволюционировавшая в меняющихся

<sup>31</sup> См.: *Chaos and Governance in the Modern World System*, p. 266–268.

<sup>32</sup> А.А. Дельнов. Цит. соч., с. 819.

<sup>33</sup> См.: Там же, с. 823.

условиях, была уже гораздо более готова к приватизации и открытой реставрации капитализма, будучи уверенной, что может двигаться дальше по этому пути, не рискуя потерять контроль над событиями.

Вписываясь в глобальную экономику, китайские лидеры не только стремились использовать в своих интересах восторжествовавший неолиберальный порядок, но и все более последовательно воплощали его принципы внутри собственной страны, невзирая на возникающие то тут, то там всплески массового недовольства.

Заработная плата промышленных рабочих удерживалась на низком уровне. Стачки и бунты жестко подавлялись, попытки создания свободных профсоюзов пресекались<sup>34</sup>. Тем самым «коммунистический» режим Китая создал наиболее привлекательные условия для транснациональных инвесторов. Открытый переход к капитализму вызвал появление среди интеллигенции и рабочих оппозиционного течения «новых левых». Уже в 1992 году генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь, осудив «буржуазный либерализм», главной опасностью назвал «левый уклон»<sup>35</sup>. В 2002 году на своем XVI съезде Коммунистическая партия Китая, объявив себя выразителем интересов всех слоев народа, разрешила вступать в свои ряды представителям буржуазии. «Более того, вскоре сложилась практика, при которой, чтобы получить разрешение на открытие частного предприятия, очень желательно иметь партийный билет КПК. Уже на XVI съезде присутствовал делегат, обладающий личным состоянием в 150 миллионов долларов»<sup>36</sup>.

Среди представителей миросистемной школы на Западе промышленный рост Поднебесной империи вызвал настоящую эйфорию. Джованни Арриги предрекал превращение Китая в нового глобального гегемона, идущего на смену дряхлеющим Соединенным Штатам. Восхваляя успехи капиталистического Китая, радикальный мыслитель признавал, что партия превратилась в «комитет по управлению делами национальной буржуазии»<sup>37</sup>, но выражал надежду, что устанавливаемый в итоге порядок будет лучше западного, поскольку окажется проникнут «конфуцианским идеалом социальной гармонии»<sup>38</sup>.

Подобно России конца XIX века, Китай стал империалистической державой, не переставая быть «периферией». Политическая организа-

<sup>34</sup> Подробнее о социальных конфликтах в Китае см.: B. Astarian. Luttons de classes dans la Chine des réformes (1978–2009). La Bussière: Les Éditions Acratie, 2009.

<sup>35</sup> А. А. Дельнов. Цит. соч., с. 828.

<sup>36</sup> Там же, с. 832.

<sup>37</sup> G. Arrighi. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London: Verso, 2007, p. 359 (рус. изд.: Дж. Арриги. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. М.: ИНОП, 2009).

<sup>38</sup> Ibid., p. 329.



ция постмаоистского Китая не только отличала его от западных стран, претендовавших на мировую гегемонию ранее, но и ставила под вопрос саму возможность установления и поддержания этой гегемонии.

Державы-гегемоны в капиталистической миросистеме далеко не всегда были образцом либеральной экономики, но их политическая жизнь всегда была построена на основе либеральной демократии. Традиционная западная гегемония, будь то английская или американская, предполагала сочетание компромисса и демократических принципов управления внутри собственной страны (и в целом по отношению к «центру») с жестким применением авторитарных мер по отношению к «периферии». В Китае начала XXI века, напротив, именно своя территория оказалась пространством политического авторитаризма, исключающего возможность социального компромисса с общественными низами. Массы были подчинены жесткому контролю, осуществляемому в интересах капитала «коммунистической» партии.

По отношению к внешнему миру постмаоистский Китай тоже не демонстрировал особого демократизма. В поисках дешевых сырья и рабочей силы китайские корпорации в начале XXI века активно осваивали Африку, не обращая ни малейшего внимания на положение дел с правами человека или гражданскими свободами в соответствующих странах. «В обмен на доступ к природным ресурсам африканских стран Пекин инвестирует в строительство дорог и морских терминалов, школ и больниц, жилья и производственных мощностей», — писал в 2009 году журнал «Эксперт»<sup>39</sup>. Китайские инвестиции направлялись в Бирму, где на Китай приходилось в том же году 87% иностранных инвестиций, а также в Иран<sup>40</sup>. Китайские компании скупали акции предприятий в Казахстане и Средней Азии, они активно распространяли свое влияние на Латинскую Америку. Однако эта внешняя экспансия отнюдь не предполагала радикального изменения социальных отношений внутри самого китайского общества, к чему стремились идеологи и практики западного колониализма конца XIX века, открыто видевшие в своей завоевательной политике средство снижения классовой напряженности в собственной стране. Напротив, Китай начала XXI века нуждался во внешних ресурсах прежде всего для того, чтобы сохранять дешевую рабочую силу, опираясь на которую, китайские компании могли бы продолжать товарную экспансию на внешних рынках.

Промышленный рост Китая осуществлялся на основе безжалостной эксплуатации дешевой рабочей силы, что вело к понижению социальных стандартов в мировом масштабе. Фактически речь шла о возврате

<sup>39</sup> Эксперт, 2009, № 17, с. 24.

<sup>40</sup> См.: Там же, с. 26.

капитализма к наиболее жестоким формам эксплуатации, характерным для раннего индустриального периода. А численность людей, ежегодно пополняющих рынок труда, была столь велика, что это влияло на глобальное соотношение труда и капитала.

«В настоящий момент, — писал французский журнал в 2009 году, — ежегодно около 20 миллионов китайских крестьян покидает деревню, чтобы искать работу в сфере промышленности и услуг. Это равносильно тому, как если бы каждый год к мировому рынку прибавлялась страна размером с Францию, где в экономике занято примерно столько же людей»<sup>41</sup>.

Эти новые пролетарии, не имеющие опыта борьбы и классовой самоорганизации, лишённые права на создание свободных профсоюзов и находящиеся под жестким политическим и полицейским контролем государства, объективно создавали мощнейший трудовой демпинг, подрывавший завоевания трудящихся не только в Западной Европе и США, но даже в других странах Азии, странах бывшего советского блока и в Латинской Америке.

Здесь мы видим еще одно важнейшее различие между Китаем и предшествующими претендентами на гегемонию. И Англия, и Америка в эпоху своего расцвета были не только лидерами в производстве, но также научными и технологическими лидерами. Именно это преимущество позволяло им удерживать свой перевес на протяжении многих десятилетий, одновременно подтягивая к своему уровню другие промышленные страны. В Китае мы не только не видим ничего подобного, но напротив, обнаруживаем обратную тенденцию. Наличие многомиллионной массы дешевой китайской рабочей силы в начале XXI века делало нерентабельной не только внедрение новой трудосберегающей технологии, но даже применение многих изобретений и механизмов, которые были давно уже внедрены. Таким образом, в мировом масштабе конец XX и начало XXI века оказались беспрецедентным временем, когда технический прогресс мировой промышленности не только сдерживался, но в значительной мере был обращен вспять.

Однако китайская модель эксплуатации наталкивалась на растущие трудности и противоречия уже к середине 2000-х годов. Вопреки широко распространенному мнению, Китай в начале XXI века оказался не новой «мастерской мира», а скорее «сборочным цехом планеты». В отличие от викторианской Англии, здесь производились изделия по чужим технологиям, по заграничному дизайну и за счет инвестиций иностранного капитала. К тому же значительная часть комплектующих, из которых собирались изделия с маркой «made in China», производилась в других странах Азии.

<sup>41</sup> Inprecor, novembre-decembre 2008, No. 543–544, p. 10.

Китайский рынок труда и социальные отношения в стране тоже испытывали все большие трудности. С одной стороны, давала свои плоды демографическая политика, проводимая Пекином на протяжении нескольких десятилетий — наблюдалось резкое снижение рождаемости. С другой стороны, отсутствие общенациональной пенсионной системы увеличивало нагрузку на молодые поколения, которым приходилось из своих доходов поддерживать стариков. Деревня постепенно переставала являть собой неисчерпаемый резервуар трудовых ресурсов. Консолидация рабочего класса, который раньше постоянно размывался выходцами из села, становилась реальной перспективой, несмотря на любые репрессии. Мировой капиталистический кризис, начавшийся в 2007 году, выявил и резко обострил все эти противоречия и закономерно сопровождался мощным всплеском рабочего протеста. Безработица, которая уже в 1990-е годы достигала 10% трудоспособного населения, приблизилась к 20%. По выражению французского журналиста, китайское общество стояло на пороге «социальной драмы» и даже «социального шока»<sup>42</sup>.

## КРИЗИС

В 2008 году разразился грандиозный экономический кризис, один из самых масштабных и глубоких за всю мировую историю. Оценивая значение кризиса для Соединенных Штатов, экономист Даг Хенвуд (Doug Henwood) заметил, что потери рабочих мест уже в первые два года спада оказались самыми высокими со времени окончания Второй мировой войны: «Мало того, что мы имеем дело с самым большим ростом безработицы в современную эпоху, но он еще и наступил после самой слабой экономической экспансии за всю известную историю»<sup>43</sup>. В отличие от обычных периодов повышения и понижения деловой активности, период 2000-х годов в США характеризовался тем, что даже во время роста инвестиции явно отставали от прибылей, а новых рабочих мест создавалось исключительно мало. Низкая инвестиционная активность американского бизнеса особенно бросалась в глаза на фоне высоких прибылей. Неолиберальная политика привела к восстановлению нормы прибыли после спада, имевшего место в начале 2000-х годов, но эти дополнительные средства вкладывались не в производство, а в финансовые спекуляции.

Кризис конца 2000-х подвел итоги двух декад «реформ справа», выглядевших особенно мрачными на фоне достижений регулируемого капитализма, с критики которого началось установление неолиберальной гегемонии на Западе. Главным результатом дерегулирования оказалось

<sup>42</sup> См.: Inprecor, novembre-décembre 2008, No. 543–544, p. 13, 10.

<sup>43</sup> Left business observer, September 2009, No. 121, p. 4.

долгосрочное снижение темпов роста валового внутреннего продукта в мировом масштабе. Гарри Шатт констатирует: «Углубляющаяся экономическая стагнация. Вопреки ожиданиям обнаружилось, что темпы роста глобального производства (если оценивать его по росту ВВП) по сравнению с 1970-ми годами снижались в течение каждого следующего десятилетия»<sup>44</sup>.

Ожидание того, что технологические новинки конца 1990-х годов обеспечат условия для долгосрочной экспансии не оправдались. Дело в том, что информационная революция в основном затрагивала управление и потребление, а не производство. В результате потенциал экономической экспансии на этой основе оказался крайне слабым.

«Причиной кризиса стало исчерпание возможностей роста виртуально-коммуникативного сектора 1990-х годов, — отмечает Александр Шубин. — Но когда эти возможности были исчерпаны, глобальная экономика продолжала спекулятивный рост»<sup>45</sup>.

Все диспропорции, проблемы и противоречия, которые на протяжении нескольких десятилетий накапливались и игнорировались, теперь заявили о себе разом. Для того чтобы справиться с этим, корректировки курса было уже недостаточно: происходило разрушение всей неоллиберальной экономической модели, выстроенной на протяжении трех предшествовавших десятилетий.

«В результате глобализации 1975–2008 годов, явившейся новой стадией развития мироэкономики, целые регионы планеты превратились из аграрных в промышленные, — писал экономист Василий Колташов. — Сотни миллионов людей оказались вынуждены оставить традиционные натуральные хозяйства, став наемными рабочими. Произошла беспрецедентная в мировой истории пролетаризация. Пространство рыночных отношений расширилось, рабочая сила оказалась дешевле промышленных технологий. В “старых индустриальных странах” правительства стали проводить политику “сбрасывания балласта”: ликвидацию социальных завоеваний, приватизацию, снижение расходов на образование и иные общественные сферы.

Неолиберальная экономическая модель имела в своей основе противоречия, развитие которых определяло конец ее существования. Производимые в странах “периферии” товары должны были продаваться в “центре” — развитых западноевропейских и североамериканских странах. Но по мере выноса из них производства потребительские возможности населения уменьшались, лишь очень ограниченно компенсируясь “новой экономикой”: сферой услуг и информационных технологий. Рост

<sup>44</sup> Н. Shutt. *Op. cit.*, p. 2.

<sup>45</sup> А. Шубин. Великая депрессия и будущее России, с. 15.

потребительских рынков стран промышленной “периферии” не мог покрыть растущий дефицит спроса»<sup>46</sup>.

Главной жертвой финансового краха стали американские инвестиционные банки. Пять финансовых гигантов потерпели крушение один за другим. Самой крупной катастрофой стало крушение банка Lehman Brothers. После его банкротства правительство США вынуждено было вмешаться и спасти оставшиеся на плаву структуры с помощью специального агентства, поддерживавшего попавшие в беду компании финансового сектора. Акции Morgan Stanley за несколько дней потеряли 49% стоимости, акции Goldman Sachs (Голдман Сакс) упали примерно за тот же период со 175 до 86 долларов<sup>47</sup>. Спасение, обеспеченное за счет государственных средств, означало фактическую национализацию. Московский деловой журнал «Эксперт» констатировал: «В 2008 году мир стал свидетелем стремительного исчезновения независимых американских инвестиционных банков»<sup>48</sup>. Однако взвалив на правительство расходы по спасению финансового сектора, американские элиты не допустили прямого общественного контроля за деятельностью банков. Неолиберальная национализация, пришедшая на смену неолиберальной приватизации, по сути дела преследовала ту же цель — поддержание частного бизнеса и частного накопления за счет общественных средств. Иными словами, решая частные вопросы борьбы с кризисом, администрация США, как и правительства других стран, отказывались от смены курса, не желая ни проводить структурные реформы, ни бороться с основными причинами экономического краха. Смена консервативной администрации Дж. Буша на умеренно-левую администрацию Барака Обамы в Вашингтоне ничего не изменила принципиально.

Правительства ведущих стран мира единодушно реагировали на кризис, закачивая деньги в экономику, иными словами — повторяли то же, что делали Федеральная резервная система и администрация США в 1924 и 1929 годах. Вливание денег в корпорации и банки позволило на сей раз остановить падение биржевых курсов и предотвратить коллапс банковской системы, но лишь ценой углубления проблем в сфере производства и материального потребления. Это вынуждены были признавать — с некоторой долей цинизма — и либеральные эксперты: «Ни для кого не секрет, что нынешний рост фондовых рынков давно уже оторван от экономической реальности и обуславливается лишь наплывом дешевых денег, — писал московский «Коммерсант». — Эти деньги — результат

<sup>46</sup> Доклад ИГСО. Кризис глобальной экономики и Россия. Левая политика, 2008, № 5, с. 21.

<sup>47</sup> См.: Эксперт. Лучшие материалы, 2009, № 7, с. 90.

<sup>48</sup> Там же.

многочисленных программ поддержки и спасения реальной экономики, но не доходя до экономики, финансы оседают на товарных и фондовых рынках. Естественно, что пока ситуация в экономике останется близкой к катастрофической, не может идти и речи о прекращении финансовой помощи. Поэтому плохое состояние экономики является залогом роста фондовых рынков, и чем хуже будет положение в экономике, тем больше будет денег на финансовых рынках, тем дольше продлится рост»<sup>49</sup>.

Азия быстро почувствовала на себе изменение глобальной конъюнктуры. «Кризис, хоть и усугубил катастрофический дефицит платежного баланса США, торговый баланс страны несколько выправил, — констатировало агентство «Росбалт» в начале 2009 года. — Вместе с экспортом падает импорт, и в значительной степени — китайский. Дефицит торгового баланса США за один лишь ноябрь 2008 года снизился на 29% — до минимального уровня за последние 6 лет»<sup>50</sup>.

В Европе первыми жертвами кризиса стала традиционная полу-периферийная зона континента — Польша, страны бывшей Австро-Венгерской империи, Прибалтика, а на Западе — Ирландия. Латвия к лету 2009 года оказалась в состоянии фактического банкротства, от которого спасали только средства, предоставлявшиеся Европейским союзом и Международным валютным фондом. На следующем этапе кризиса обострились противоречия внутри самого европейского Запада. Экономика северных стран выдерживала спад гораздо лучше, чем страны Средиземноморья. К зиме 2009 года бюджеты Испании и Греции трещали по швам. Внешний долг Греции достиг 300 миллиардов евро, что составило примерно 125% валового внутреннего продукта<sup>51</sup>.

«При сохранении расходов на докризисном уровне, доходы местных бюджетов значительно сократились, в том числе из-за резкого сокращения туристических потоков и спада на рынке недвижимости (особенно в Испании), что резко обострило для всех этих стран проблему бюджетного финансирования и обслуживания росших все последние годы долгов, — констатировал обозреватель журнала «Большой Бизнес». — При этом сегодня ни Греция, ни Испания не могут решить ее тем же способом, каким решали и продолжают решать ее, например, США — с помощью печатного станка»<sup>52</sup>.

По сравнению с этим бюджетный кризис Великобритании казался вполне умеренным. Однако и он выглядел впечатляюще. По оценкам

<sup>49</sup> Коммерсант. 25.11.2009, с. 9.

<sup>50</sup> М. Василенко. Без протекции никак. Росбалт, 10.02.2009: <http://www.rosbal.ru/2009/02/10/616895.html>.

<sup>51</sup> См.: [http://www.newsru.com/finance/10dec2009/greece\\_debt.html](http://www.newsru.com/finance/10dec2009/greece_debt.html)

<sup>52</sup> В. Волков. Греция и Испания: Что дальше? <http://www.newsru.com/columnists/10dec2009/volkov.html>

экспертов, государственный долг страны в 2009 году составил 13% ВВП и стремительно рос<sup>51</sup>. Поскольку все ведущие правительства мира проводили политику спасения корпоративного бизнеса за счет бюджетных средств, связь между частным бизнесом и государственными структурами, которая, казалось бы, ослабела в годы глобализации, вновь усилилась (вернее, стало ясно, что описанное идеологами либерализма «ослабление» связи капитала и власти было иллюзией). Но спасая ведущие «национальные» корпорации, правительства быстро пришли к исчерпанию собственных финансовых возможностей. К середине 2010 года в ведущих странах мира находившиеся на грани разорения крупные компании были спасены, зато спасавшие их правительства сами оказались на грани банкротства. Власти вынуждены были перекладывать свои расходы на население, чем вызывали рост недовольства и массовые протесты.

Широкомасштабное правительство вмешательство в экономику, ставшее нормой жизни в ходе кризиса 2000-х годов, не означало еще отказа от неолиберальной модели, ради спасения которой государственные власти как раз и действовали. Но оно делало неизбежной политизацию экономического кризиса.

### КРИЗИС ГЕГЕМОНИИ?

Экономические потрясения конца 2000-х годов продемонстрировали, что развитие капитализма уперлось в структурный тупик. Ни попытка возврата к империалистическим методам, предпринятая администрацией Буша, ни перенос производства в страны с дешевой рабочей силой, ни массовые вливания государственных средств в частные корпорации при Бараке Обаме не создали условий для возобновления экономического роста. Точно так же и система американской гегемонии переживала острый и очевидный кризис, но ей явно не было замены.

Кризис американской гегемонии отражает исторический кризис капитализма. Этот кризис впервые дал о себе знать уже в первые десятилетия XX века, однако первые приступы кризиса — вопреки ожиданиям социалистов — удалось преодолеть за счет реформ, социальных уступок и реструктурирования мировой системы. Британская империя, как и французская колониальная система были принесены в жертву ради реконструкции мирового экономического порядка. Однако к началу XXI века капитализм вновь столкнулся с острым системным кризисом.

Встал вопрос о глобальной реконструкции, не менее масштабной, чем та, что имела место в середине XX столетия. Отсутствие влиятельной социалистической альтернативы означало, что поиски выхода могли ве-

<sup>51</sup> См.: <http://www.bfm.ru/articles/2009/12/12/grecija-i-irlandija-mogut-vyjti-iz-zony-evro.html>

стись по-прежнему в рамках того же капитализма, но экономическая и социальная логика, по которой живет система, оказывается поставлена под вопрос, а это значит, что перемены легко могут выйти за пределы рамок, в которых их хотели бы удерживать господствующие классы. До тех пор пока сохраняется господство капитала, существует и возможность антибуржуазных революций.

К началу XXI века развитие человеческой цивилизации поставило на повестку дня необходимость вести непосредственно скоординированные действия в глобальном масштабе, однако парадоксальным образом именно в этот момент капитализм, достигший своего высшего триумфа в качестве глобальной системы — не только на экономическом, но и на политическом уровне, — оказался не способен к решению этой задачи, став главным препятствием для ее осуществления.

На протяжении Нового времени, начиная, по крайней мере, с середины XVII века, европейская рационалистическая мысль была сосредоточена на том, чтобы с помощью науки и технологии покорить природу, преобразовывать ее с помощью человеческой деятельности. К началу XXI века цивилизация действительно превратилась в решающий фактор, преобразующий природу, но не сознательно и в интересах человечества, а стихийно и в значительной степени — в ущерб ему. Причем, что хуже того, даже осознавая катастрофические последствия собственной деятельности, человечество оказывалось не в состоянии остановить или реорганизовать ее — типичные признаки того, что развитие приобрело черты стихийного, неконтролируемого и не зависящего от воли людей процесса.

Это был не столько крах европейского рационализма в том виде, как он сложился к началу Нового времени, сколько итог эволюции глобального капитализма, превратившегося из рационально организованной системы в иррациональную и разрушительную стихию. Творческое разрушение, превозносимое Шумпетером, сменилось просто разрушением, безо всякого творчества, причем даже там, где реальные творческие и новаторские начинания имели место, они оборачивались именно разрушительной, иррациональной и антигуманной своей стороной.

Кризис политической гегемонии капитализма на сей раз был не промежуточным этапом, через который проходит система, преобразуя и обновляя себя, а итогом, историческим симптомом того, что система вступила в фазу упадка и неуправляемого разрушения.

Историческое достижение рыночной экономики состояло в том, что она обеспечила взаимодействие и баланс между производством и потреблением, поддерживая связь между ними там, где непосредственного контакта между людьми не было. В эпоху, когда отсутствовали глобальные коммуникации, рынок сделался первой и важнейшей информационной сетью, причем функционирующей в значительной мере стихийно.



Без развития рынка не было бы интеграции мировой экономики и, соответственно, объединения человечества.

Но с того момента как логика рынка окончательно соединилась с накоплением капитала, мы имеем дело уже не просто со стихийным процессом взаимодействия продавцов и покупателей, а с планомерным и последовательным созданием инфраструктуры, целой системы институтов. Рыночные институты, как и любые другие, на протяжении истории консолидировались, воспроизводились, вырабатывая собственную логику и собственный специфический интерес, прежде всего воплощенный в самовозрастании финансового капитала. Подобные процессы были бы невозможны без постоянного государственного регулирования, когда правительство вынуждено было вмешиваться в экономическую и общественную жизнь, не сдерживая рынок, а работая в его интересах. Однако насаждение рынка и связанных с ним институтов к концу XX века далеко переросло свои исторические и рациональные пределы. В эпоху позднего капитализма, вместо того, чтобы служить связи между производителями и потребителями, эта система институтов превратилась в преграду между ними. И чем меньше непосредственной связи было между первыми и вторыми, тем быстрее разрасталась и укреплялась рыночная инфраструктура.

Манипулируя спросом и предложением, укрепляясь за счет как потребителей, так и производителей, порожденные рынком посреднические структуры, становились фактором разобщения, дезорганизации и дискommunikации в мировой экономике. Грандиозный кризис, начавшийся в 2008 году, выявил это с максимальной ясностью. Первой естественной реакцией на него, как и на другие кризисы, было усиление роли государства и переориентация производства на местные рынки, восстановление непосредственной связи с потребителем, минюя глобальную рыночную инфраструктуру. Но это не может быть окончательным решением, ибо задачи глобального развития человечества требуют восстановления координации на новом уровне и новыми средствами. Возвращение к более ранним и простым формам рыночного обмена означает откат назад. История требует новой экономики, основанной на демократической координации.

Монополизация производства стала итогом развития свободного рынка, а олигополистическая конкуренция — глобальной формой, в которой может существовать буржуазный порядок в эпоху, когда концентрация капитала достигает планетарных масштабов. Государство в очередной раз спряталось за рынок, предоставляя капиталу непосредственное управление текущими процессами — в той мере, в какой капитал мог осуществлять его без прямого насилия, эффективно и самостоятельно.

Кризис начала XXI века свидетельствует о том, что в очередной раз ресурс буржуазного саморегулирования исчерпан. То, как быстро ис-

## XII. ИМПЕРИАЛИЗМ БЕЗ ИМПЕРИИ: США

черпываются эти ресурсы, дает основание подозревать, что свободный рынок является скорее серией эпизодов, в рамках капитализма, чем его нормой. Очередной кризис возвращает государство на авансцену экономического развития, но подобно тому, как это произошло в ходе кризисов XIV и XVII веков, а также кризисами начала XX века, это возвращение будет сопровождаться войнами и революциями. И на сей раз революции будут, скорее всего, антибуржуазными.

## Заключение

В ходе своего развития капитал нуждался в мировой экономике. А мир-система, со своей стороны, нуждалась в империях. Если бы не было великих открытий и завоеваний, не было бы технического, социального и культурного прогресса в той форме, в какой мы находим их в истории.

Капитализм одновременно система и способ производства. Но развитие буржуазного способа производства не порождает автоматически капиталистическую систему, даже если все основные ее элементы уже имеются в наличии. Исторические факты наглядно свидетельствуют о том, что именно государство играло решающую роль в формировании капитализма как экономической и социальной системы.

Правительство не только являлось (как в Британии, так и других странах) силой, поддерживающей политический порядок в интересах капитала, не только способствовало становлению институтов и отношений, необходимых для буржуазии, но и оказывалось необходимым элементом для повседневного поддержания этого экономического порядка. Напротив, мощь частных корпораций, порождающая монополизм и коррупцию, то и дело становилась угрозой для режима свободного предпринимательства в том виде, как он сложился к началу XVIII столетия.

Без постоянного государственного вмешательства не было бы ни частного предпринимательства, ни рыночной конкуренции, ни свободной торговли. Почему же, в таком случае, буржуазные публицисты, начиная со времен Джона Локка, проявляли такую подозрительность и неприязнь к государственной бюрократии, регулярно представляя ее в виде угрозы для самого существования либерального режима или, во всяком случае, как угрозу для его эффективного функционирования? Ответ по всей видимости кроется в двойственной природе государства, которое, выступая в роли инструмента правящего класса, обосновывает свое существование тем, что претендует на роль защитника и выразителя интересов всего общества. Эта двусмысленность создает для политической элиты и бюрократии постоянную возможность автономных действий, возможность появления коалиций, опирающихся на более широкие социальные слои, постоянную «опасность» того, что государство превысит необходимую, с точки зрения буржуазии, границу уступок, которые могут быть сделаны во имя поддержания лояльности трудового населения.

Такая же двойственность наблюдается и в отношении буржуазии к демократическим институтам. С одной стороны, политические свободы

и независимый суд являются закономерным и необходимым условием существования буржуазного порядка, основывающегося на сосуществовании независимых друг от друга собственников и «равноправной» конкуренции капиталов. Однако, с другой стороны, те же демократические институты могут быть использованы и «захвачены» неподконтрольными буржуазии политическими силами, стать инструментом труда в борьбе с капиталом или местом, где правящему классу будет навязан не самый выгодный для него вариант социального компромисса.

На протяжении XVII–XVIII веков и первой половины XIX буржуазии более или менее удавалось удерживать баланс между демократией и авторитаризмом, классовым диктатом и политическим представительством, государственным вмешательством и экономическим суверенитетом собственников. Начиная с середины XIX столетия равновесие начало регулярно нарушаться, а система буржуазной гегемонии переживать кризис за кризисом. Капитализм вступил в новую фазу индустриального роста, за которым последовала самоорганизация пролетариата в политический класс, а в то же время изменение соотношения сил между ведущими центрами экономического развития.

Держава, выполнявшая роль гегемона — сперва Британия, а затем Соединенные Штаты Америки — должна была сочетать сильное правительство с заботой о сохранении открытых рынков, необходимых капиталу для глобального накопления. Экономическая гегемония, таким образом, оказалась неотделима от свободы торговли (а самая сильная страна капитализма неизменно выступала самым привлекательным рынком для всех остальных). Но на практике открытый рынок ведет к ослаблению национальной промышленности в условиях, когда другие страны прибегают к протекционизму и развитие собственной промышленности вызывает потребность в государственной поддержке и стимулировании производства. До тех пор пока правительствам ведущих держав удавалось успешно балансировать между крайностями, справляясь с неизбежными противоречиями, система развивалась сравнительно благополучно. Тем не менее происходила потеря контроля, провоцирующая войны, революции и кризисы, в итоге которых равновесие восстанавливалось на новом уровне.

Запад пришел к глобальному господству именно потому, что там сложилось государство, оптимально соответствующее решению данных задач. Европейская политическая жизнь, характеризующаяся открытыми проявлениями классового конфликта, гражданскими войнами и острой борьбой различных сил, в конечном счете выработала демократические механизмы, которые способствовали накоплению капитала, не блокируя социальный прогресс. Другое дело, что по мере укрепления глобальных

позиций Запада внешняя экспансия все чаще становилась средством получить ресурсы, необходимые для ускорения социального прогресса и укрепления свободного общества.

Страны Востока проиграли Западу не потому, что отставали в развитии, а потому, что не сумели (или не успели) выработать государственных форм, обеспечивавших буржуазное развитие. Европа опередила Восток в этом отношении и именно потому стала «центром» формирующейся капиталистической миросистемы. Европейские империи стали формой организации соответствующего мирового экономического и социального пространства, а империализм — итогом развития этих империй.

По мере того как капитал становился глобальной силой, он подчинял себе логику местного развития в самых разных частях планеты, вызывая там к жизни буржуазные отношения и соответствующие идеологии. В этом плане национализм есть целиком и полностью продукт имперского глобализма, хотя это родство неизменно отрицается. Однако глобальный капитализм постоянно подавлял и подчинял себе национальные буржуазные проекты. Поэтому буржуазная альтернатива «глобализму» невозможна в принципе — другое дело, что любая серьезная попытка оторваться от миросистемы ставит под вопрос логику капиталистического развития.

Капитал совершил объединение человечества, опираясь на принуждение и насилие, неразрывно связанные с логикой накопления, которой была, в конечном счете, подчинена любая производственная деятельность. На смену этому принципу должно рано или поздно прийти демократическое согласование экономических процессов. Технологические и информационные возможности для этого есть. Но осуществление подобного принципа на практике означает конец истории капитализма.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА  
ЭКОНОМИКИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

# ИЗДАНЫ В 2010 ГОДУ

## СЕРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

*Чарльз Линдблам*

**Рыночная система: что это такое, как она работает, и что с ней делать**

*Дуглас Норт*

**Понимание процесса экономических изменений**

## СЕРИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

*Андре Горц*

**Нематериальное. Знание, стоимость и капитал**

*Ирина Савельева,*

**Классическое наследие**

*Андрей Полетаев*

## СЕРИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

*Уилл Кимлика*

**Современная политическая философия: введение**

*Роберт Аллан Даль*

**Полиархия: участие и оппозиция**

*Данило Дзало*

**Демократия и сложность: реалистический подход**

*Стивен Льюкс*

**Власть: радикальный взгляд**

*Колин Крауч*

**Постдемократия**

*Чарльз Тилли*

**Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг.**

*Карл Шмитт*

**Государство и политическая форма**

*Валерий Подорога*

**Апология политического**

*Виталий Иванов*

**Теория государства**

## СЕРИЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

*Хосе Ортега-и-Гассет*

**Миссия университета**

*Билл Ридингс*

**Университет в руинах**

*Давид Константиновский,*

**Реальность образования**

*Виктор Вахитайн,*

**и исследовательские реальности**

*Дмитрий Куракин*

## СЕРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

*Ирина Глуценко*

**Общепит. Микоян и советская кухня**

*Научное издание*  
Серия «Политическая теория»

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ  
ОТ ИМПЕРИЙ —  
К ИМПЕРИАЛИЗМУ.  
ГОСУДАРСТВО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
БУРЖУАЗНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

*Главный редактор*  
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ  
*Заведующая книжной редакцией*  
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА  
*Художник*  
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ  
*Верстка*  
ОЛЬГА ИВАНОВА  
*Корректор*  
НАТАЛИЯ ДМУХОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3  
Тел./факс: (495) 772-95-71

Подписано в печать 15.09.2010. Формат 70×100/16  
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 55,25. Уч.-изд. л. 43,50  
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Изд. № 1213. Заказ № 1521

Отпечатано в ГУП ППП  
«Типография “Наука”»  
121099, Москва,  
Шубинский пер., 6